







**ИНОСТРАННЫЕ МЕМУАРЫ, ДНЕВНИКИ,
ПИСЬМА И МАТЕРИАЛЫ**

Под редакцией И. Т. СМЛГИ

А Н Р И Р О Ш Ф О Р

1831—1913

**А С А Д Е М І А
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД**

АНРИ РОШФОР

**П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я
М О Е Й Ж И З Н И**

**ПЕРЕВОД, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ
СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
Е. С МИРНОВА**

А С А Д Е М І А

1 9 3 3



АНРИ РОШФОР
С портрета Э. Мане

АНРИ РОШФОР

Предо мною несколько вырезок из французских газет с некрологами Рошфора. Коротенькие статейки, в общем «сочувственные», главные этапы его долгой, бурной и буйной жизни. Дань «стариков» воспоминаниям прошлого, ибо — как тут же, в этих же статьях, с грустью отмечается — молодое поколение очень мало или совсем не знало его.

И это — все. Брошен камень в пруд — вода заволновалась. Пошли круги. Но через минуту они, расширяясь, исчезли, слившись с гладкой поверхностью воды.

Так отмечают в Париже смерть бывшей красавицы, некогда сводившей с ума бульвары и Елисейские поля, потом удалившейся на покой в далекую провинциальную глушь и спустя десятки лет всколыхнувшей своею смертью заглушенные было воспоминания далекого прошлого.

А между тем Рошфор на покой не удалялся. Он умер с пером в руках, на том самом посту, на который вступил слишком за полвека до того, на котором он в течение десятков лет был кумиром парижской толпы, с которого он когда-то потрясал, казалось, прочный трон последнего Наполеона, Наполеона «Маленького». Он умер восьмидесяти трех лет, 30 июня 1913 года, а 27 мая была в реакционной «Patrie» напечатана его последняя статья. В течение полувека с лишним он, с некоторыми вынужденными перерывами, ежедневно откликался на события дня.

Рошфор нисколько не преувеличивает, когда рассказывает о потрясающем успехе своего «Фонаря» и его громадном политическом значении, — это подтверждают все историки последних лет царствования Наполеона III, и ни один историк того времени не может пройти мимо Рошфора. Рошфор не преувеличивает, когда говорит, что был единственным популярным членом правительства «национальной обороны» и что достаточно было бы ему открыто выступить против этого правительства, чтобы оно было свергнуто. Народные массы на первых порах несомненно были с ним и ринулись бы по его зову в бой, если бы он мог им сказать, во имя чего нужно бороться. И позже, когда в 1880 году парламентом проведена была амнистия, разве не устроена была в его честь народными массами одна из грандиознейших манифестаций, какие когда-либо видел Париж? Массы были с ним в то время, и ни одного из возвратившихся тогда же самых заслуженных коммунаров не приветствовали они так шумно

и так восторженно, как Рошфора. Массы, широкие народные массы — и не только в Париже, но и во многих местах провинции, — были с ним, когда он, подхваченный мутным потоком буланжистского движения, ринулся в бой во имя «народных требований» рука об руку с злейшими врагами народа. И наконец, массы несомненно были с ним, когда он в 1895 году возвратился в Париж после новой амнистии. Пишущему эти строки пришлось быть в Париже в тот день. В то время Рошфор числился «социалистом», и молодая, тогда очень популярная рабочая партия устроила ему встречу. Много десятков тысяч народа, веселого, жизнерадостного парижского народа, толпилось на его пути. Он был в тот момент всеобщим кумиром. По его слову эти массы готовы были следовать за ним — если бы он мог их куда-нибудь позвать.

Правда, то был кульминационный пункт в его политической карьере. Года через два после этого пути их разошлись. Массы пошли в одну сторону, Рошфор — в другую. Но в течение почти тридцати лет Рошфора, не раз переходившего за это время из одного лагеря в другой, неизменно окружали широкие народные массы, прислушивавшиеся к его голосу, верившие ему, следовавшие за ним.

Кто же был Рошфор? Из кого состояли следовавшие за ним массы? Менялся ли их состав за это время? И если менялся, то не замечается ли в нем какой-нибудь постоянный элемент и не объясняются ли частые перемены фронта, которые можно наблюдать у Рошфора, переменами позиции, занимаемой этим элементом по отношению к другим общественным элементам Франции? Другими словами, не является ли Рошфор, сознательно или бессознательно, выразителем интересов какого-нибудь определенного общественного класса или слоя, и если да, то какого именно? Каким образом стал он выразителем его интересов? Вот вопросы, которые главным образом будут интересовать меня в предлагаемой характеристике Рошфора.

С другой стороны, Рошфор — и я попытаюсь это дальше показать — далеко не крупная величина как писатель, а как политический деятель — даже полное ничтожество. Каким же образом мог этот человек быть властителем дум, каким образом мог он играть такую видную роль, какую он в некоторые моменты своей жизни несомненно играл?



Трудно вообще разбирать какого бы то ни было писателя или общественного деятеля вне его личности, но это становится положительно невозможным, когда дело идет о такой своеобразной фигуре, как Рошфор. «Попробуйте рассматривать в нем одного только писателя: определение характера его литературных приемов займет едва несколько строк, которых почти не стоило бы написать, — совершенно основательно говорит Жюль Лемэтр*.

* Jules Lemaître, «Les contemporains», 3-е série, p. 296. — Небольшая статейка Лемэтра — лучшая вещь, какую мне пришлось читать о Рошфоре. Но если он хорошо разобрался в писательской манере Рошфора, то совсем не разобрался — да и не мог разобраться — в его общественно-политической роли.

Но как только вы попытаетесь присмотреться ко всей его фигуре, проследить его жизнь, вскрыть мотивы, которые руководили им в его деятельности, определить его роль в тех событиях, в которых он участвовал, его влияние на своих современников, — перед вами встанет сложная психологическая и общественно-политическая проблема, которую вам захочется себе выяснить». Обратимся поэтому прежде всего к тем годам жизни Рошфора, когда он складывался как писатель и общественный деятель.

Виктор-Анри Рошфор родился в 1831 году. Отец его, маркиз де-Рошфор-Люсе, до конца жизни оставался верным легитимистом; мать, наоборот, была плебейского происхождения и яркой республиканкой. Материальные средства семьи были весьма ограничены. Дед будущего памфлетиста, последовавший в 1791 году за «своим принцем» в Кобленц, распродал свои многочисленные имения за большую сумму, но так как она была выплачена ему ассигнациями, вскоре потерявшими почти всякую ценность, то он вернулся в Париж после реставрации почти нищим. Доходы со всяких sinecur и денежные субсидии признательного двора так же легко прожигались, как легко доставались, и маркиз умер, ровно ничего не оставив своим наследникам. Сын его, отец Анри, сначала попытал счастья на административном поприще, а потом стал писать водевили и легкие комедии, в свое время пользовавшиеся довольно большим успехом на парижских сценах. Литературные заработки отца и составляли единственный источник существования для семьи, — источник, повидимому, далеко не обильный, потому что молодой Анри мог кончить лицей и получить диплом бакалавра лишь благодаря тому, что министр народного просвещения, по стараниям приятелей отца, назначил ему стипендию.

Мальчик таким образом вращался преимущественно в среде литераторов и артистов и с самого детства пристрастился к театру, в который отец частенько водил своего сына, так как не мог ему доставлять других развлечений. В доме отца молодой Анри присутствовал при постоянных «конспирациях» единомышленников маркиза, таких же верных легитимистов, как и он, против «узурпатора» престола Луи-Филиппа. Мать с своей стороны не раз рассказывала сыну о героической борьбе своего отца, якобинца, во время великой революции.

На детстве Рошфора мы не станем долго останавливаться. Он провел его то в доме отца, в указанной сейчас обстановке, то в доме богатой тетки, гордой аристократки, где молодого графа приучали гордиться своим аристократическим происхождением, то в лицее. Из этого периода его жизни стоит упомянуть об одном лишь событии, о котором Рошфор частенько любил вспоминать, чтобы показать, что он с самого детства был республиканцем, если не сознательно, то инстинктивно. Мы говорим об участии, которое он, будучи шестнадцатилетним юношей, принимал в февральской революции 1848 года. Он был в то время интерном в лицее св. Людовика, и хотя интернов строго отделяли от экстернов, однако эти последние и некоторые «пионы» (надзиратели), проникшиеся демократическими идеями той эпохи, приносили жившим взаперти ученикам оппозиционные газеты и сообщали им о происходивших вне стен учебного заведения событиях. Знаменитая «банкетная кампания» пользовалась в лицее большой симпатией, хотя ученики, разумеется, не понимали ее значения,

а шестнадцатилетний Рошфор считал себя в крайней оппозиции потому лишь, что находил Луи-Филиппа крайне «злым», так как он-де «не разрешает людям собираться, чтобы пообедать и позабавиться вместе». Наступил февраль 1848 года. Царствовавшее на улицах Парижа возбуждение перенеслось и в лицей. Учителя разделялись на две партии: одни поносили демократов, другие говорили «о правах народа» и «избирательной реформе». Лицейсты, за исключением нескольких мальчиков, сыновей министров и поддерживавших министров депутатов, были, разумеется, на стороне «народа», тем более, что некоторые учителя успели уже сообщить им, что во время революции 1830 года часто раздавались крики: «да здравствует учащаяся молодежь!», принимавшая участие в баррикадных боях.

Таково было настроение в лицее, когда 23 февраля, на уроке истории, которую читал страстный сторонник избирательной реформы, один экстерн вскочил на скамью и крикнул: «В Сент-Антуанском предместье уже дерутся!» В ответ на это кто-то прибавил, что два лицейских пиона убиты на баррикадах. Ученики заволновались, их молодые головы закружились, и, вместо урока истории, класс стал строить планы о том, как бы бежать из школы, чтобы присоединиться к «борющимся братьям». В этот день однако бежать не удалось. Но на следующий день лицейсты достали где-то лестницу, перелезли через стену, без пальто, без фуражек, в соседний двор, где и были приняты с распростертыми объятиями проходившей толпою, при тех же самых возгласах «да здравствует молодежь», которые так увлекательно звучали для них в рассказах учителя истории. Молодые «революционеры» присоединились к повстанцам, и в том числе те, что считали себя убежденными сторонниками правительства. Рошфор очутился во главе манифестации. Дело кончилось, впрочем, весьма мирно. Прогулявшись с манифестантами, накричавшись вдоволь, юноша устал и спустя несколько часов был дома в объятиях растерявшейся от беспокойства матери, которой директор лицея поспешил сообщать о бегстве своего ученика.

Таков был первый политический акт будущего памфлетиста. Очевидно, это была простая детская шалость, ничего больше, потому что через несколько месяцев он видел жестокую июньскую резню, а почти через четыре года, уже будучи чиновником, — и государственный переворот Луи-Наполеона, но ни в том, ни в другом событии Фошфор никакого участия не принимал, хотя он и утверждает, что все симпатии его были на стороне республики.

Вернее однако будет сказать, что никаких глубоких не только социальных, но и политических симпатий у него в то время не было. Получив диплом бакалавра, юноша весь был поглощен мыслью о том, чтобы как-нибудь зарабатывать себе на существование, и существование возможно более широкое, — ничто другое его тогда, как видно из его мемуаров, не интересовало. Сперва пошли неизбежные «уроки», а потом столь же неизбежная «служба»: один из приятелей отца определил молодого Рошфора мелким чиновником в парижскую думу, где Рошфор и прослужил более десяти лет. Но заработок был мал, а молодой Рошфор, которого природа наделила страстным темпераментом, любил «пожить», так что надо было искать добавочной работы. Из лицея он вышел без

всяких специальных знаний, усидчивого труда не любил, но воображения было много, и связи были в литературном и театральном мире, в котором вращался отец. Рошфор решил, что будет писателем. Что он будет писать, что желал он поведать миру, что будет он защищать и против чего бороться — он не знал, как сам рассказывает в своих мемуарах *. Этот будущий политический деятель, по свидетельству одного из своих современников, «не любил политики и обнаруживал иногда поразительное невежество в этой области» **. Этого будущего литератора «не интересовала больше и литература: это был наименее читавший представитель поколения, так мало читавшего. Имена наших великих поэтов, наших великих историков, наших великих романистов ему были более известны, чем их произведения» ***. О чем же будет писать наш молодой писатель? Отец пописывал водевили и комедии, — почему ему не заняться тем же? И Рошфор стал пописывать водевили и бульварные комедии, то один, то в сотрудничестве с товарищами по службе. Первые произведения его, как водится, так и не увидели света, но последующие ставились, что называется, с переменным успехом. С некоторыми из них мне удалось познакомиться по рассказам, и, чтобы не возвращаться ни к ним, ни к его романам (он написал с полдюжины романов), отмечу, что ни одного цветочка в венец его славы они не прибавят. Водевиль — как водевиль, не хуже, но и не лучше многих сотен водевилей, шедших в бульварных театрах во время Второй империи: более или менее замысловато завязанные фабулы, более или менее остроумное их распутывание, погоня за оригинальной «обстановкой», за грубым эффектом, много веселья, искреннего парижского веселья, много остроумия, — словом, водевиль, которые для того только и пишутся, чтобы быть забытыми сейчас же по выходе из театра. Романы его сортом похуже: если для водевиля достаточно знания сцены и известной дозы воображения и остроумия, то для романа требуется настоящий художественный талант, умение создавать, добросовестное отношение к работе, а ничем подобным природа его, как увидим, не одарила. Рошфор писал свои романы, когда по обстоятельствам жизни ничего другого писать не мог, так же как писали их столь многие парижские журналисты, которые, помимо всяких работ, непременно выпускали «свой роман в год».

Но водевиль шли иногда бойко, а иногда подолгу залеживались в портфеле театральных директоров, — нужно было искать какого-нибудь постоянного заработка. После долгих мытарств Рошфор становится постоянным сотрудником «Шаривари». В то время лишь те газеты имели право говорить об экономических и политических вопросах, которые получали на это особое разрешение министра внутренних дел и вносили определенный залог; остальные, под страхом предостережений, приостановок и запрещений, не могли касаться этих вопросов и должны были довольствоваться преимущественно «литературой» и «искусством». Тогда-то главным образом и народился тип так называемых «хроникеров», т. е. таких журналистов, которые умеют более или менее бойко, более или менее остро-

* «Les aventures de ma vie», I, pp. 1—2.

** Taxile Delord, «Histoire du second Empire», t. V, p. 281.

*** Ibid., p. 282.

умно написать положенное количество строк, чтобы решительно ничего не сказать и при этом иметь вид, что говорят что-нибудь. Во «фрондирующих» газетах эти хроникеры должны были делать набег в область запрещенных вопросов и так ловко прикрывать свои намеки, чтобы до глупости придирчивая цензура не могла, при всем своем старании, придраться к чему-нибудь. Хотя «Шаривари» принадлежала к числу привилегированных газет, т. е. имела право касаться политических вопросов, но Рошфор, не любивший политики, предпочитал писать именно указавшие сейчас «хроники», которые сразу обратили на себя внимание бульварной публики. Опять-таки и про эти «хроники» в «Шаривари» я должен повторить то же, что сказал сейчас относительно его водевилей и романов: они не хуже, но и не лучше бесчисленного множества «хроник», печатавшихся в тогдашних газетах, например, «хроник» А. Вольфа, П. Верона, Карагэля и др. Но они значительно уступают «хроникам» первоклассных хроникеров тогдашнего времени: вы не найдете в них ни простоты, искренности и страстности Луи Вейо, ни подчас глубокого понимания общественно-политического положения будущего ренегата Прево-Парадоля, ни даже изящества и увлекательности формы Эдмонда Абу. Когда вы просматриваете некоторые из тогдашних «хроник» Рошфора, вас невольно поражает то обстоятельство, что ничто, решительно ничто в них не показывает, что их автор через какие-нибудь четыре-пять лет будет видным политическим деятелем, в первых рядах крайней оппозиции, чуть ли не «социалистом», каким выдавал себя тогда Рошфор. В большинстве случаев это более или менее остроумная, иногда очень остроумная, но пустейшая болтовня о бульварных событиях дня: о скачках, о каком-нибудь выдающемся преступлении, о первом представлении пьесы, о скандале в аристократическом клубе, а иногда более или менее прозрачные нападки на какого-нибудь видного деятеля империи. Нигде Рошфор не поднимается до критики учреждений.

А между тем это был один из узловых моментов в истории Второй империи. Промышленный расцвет 50-х годов сменился хлопчатобумажным кризисом, постепенно захватившим и ряд других отраслей промышленности, — и политическое положение сразу и круто изменилось. Империя, которой, казалось, еще долго не могло угрожать никакой опасности, заколебалась в своих устоях. Рабочий класс, который в течение пятнадцати лет не знал безработицы, заволновался. Он стал организовываться, сперва только на почве чисто профессиональных своих интересов, но постепенно переходил и на политическую почву. Его передовые представители, побывав в Лондоне, приняли участие в организации I Интернационала. Менее сознательные его слои, забыв предательство буржуазных республиканцев, присоединившихся к его злейшим врагам в июньские дни 1848 года, снова стали поддерживать их в их борьбе с империей. Депрессия в области ремесленного производства, столь распространенного тогда во Франции и особенно в Париже, и в области торговли вызвала волнение и среди мелкой буржуазии. Заволновался и Латинский квартал. Снова появились революционные организации среди студенчества, отдельные слои которого живо интересовались первыми успехами Международного общества рабочих. Словом, страна просыпалась после пятнадцатилетней спячки.

Напрасно стали бы вы искать в статьях Рошфора как в «Шаривари», так и в «Желтом карлике» каких бы то ни было следов того значительного общественного и политического движения, которое характеризует этот период французской жизни. Общественные и политические явления были ему совершенно чужды. На парижских бульварах сосредоточивался для него весь мир.

Но вот Рошфор из «Шаривари» и «Желтого карлика» переходит в «Фигаро», и именно в этой «литературной» газете, лишенной права заниматься экономическими и политическими вопросами, Рошфор становится борцом против империи, приобретает громадную аудиторию и начинает играть известную нам роль. Чем же объясняется эта метаморфоза? Изменился ли в самом деле так глубоко Рошфор за этот короткий промежуток времени? Что произошло с ним?



Разберемся прежде всего в его писаниях. Если бы мне нужно было охарактеризовать Рошфора как писателя одним словом, — я бы сказал, что это очень талантливый, выдающийся карикатурист. Но он не принадлежит к числу тех карикатуристов, которые умеют проникнуть в глубину психологии личности или схватить основные черты учреждения и их сделать предметом карикатуры. Для этого нужны тонкий ум, чуткая наблюдательность; для этого нужны знания, а Рошфор груб, невежда, и один из хорошо знавших его писателей совершенно верно, на мой взгляд, охарактеризовал его следующим парадоксом: «c'est un imbécile de beaucoup d'esprit»*. Рошфора хватает только на то, чтобы придаться к какой-нибудь внешней черте личности и довести ее до абсурдных размеров. Даже тогда, когда он борется против какого-нибудь режима, против учреждений, он умеет нападать только на личности, их представляющие. Но в этих пределах он — поразительный мастер, быть может, крупнейший мастер своего жанра. И «стиль» у него подходящий, по крайней мере был таким, когда он был помоложе. Один писатель про него выразился, что «это не стиль, а стилет, который заставляет рычать от боли своими быстрыми и непредвиденными ударами, наносимыми смело, лицом к лицу, среди бела дня».

Рошфор любил себя называть сатириком, — и действительно, он всю жизнь смеялся. Но смех у него какой-то особенный, холодный, расчетливый, смех по привычке, я бы сказал — смех, который превратился в ремесло, как у клоуна. Это не мучительный смех Успенского, в котором слышатся рыдания страдавшей от человеческой несправедливости души; это не негодующий смех Салтыкова, который будит в читателе любовь к тому, что любит сатирик, и заставляет его ненавидеть то, что ненавидит сатирик.

Общественная жизнь, со всей ее борьбою, с ее горем и радостями, проходит пред Рошфором, как пред маской, нарисованной над театраль-

* «Это очень остроумный болван». См. коротенький «психологический этюд» о Рошфоре Эрнеста Вогана (Ernest Vaughan) под заглавием «Joseph vendu par son beau frère» в «Aurore» от 28 сентября 1898 года.

ним занавесом и с постоянным, одинаковым смехом взвизгивающей на все что бы ни происходило на сцене. Рошфор ничего не любит и ничего не ненавидит, вернее, он любит себя и свои наслаждения. Нигде, ни в одном месте автор «не зажигает сердца», за исключением тех статей, в которых он защищает свои собственные интересы или в которых, — как в некоторые моменты его политической карьеры, — он защищал самого себя, отставив общественные интересы. Рошфору, сделавшему себе карьеру на защите «униженных и обездоленных», недоступно даже простое чувство сострадания, и все его статьи, в которых он расписывает свою «чувствительность», деланны и фальшивы, и лучшим доказательством этому служит самая преувеличенность чувств, которые он себе в таких случаях приписывает.

В своих мемуарах, например, он не раз требует четвертования для матерей, отпускающих своих ребят одних в школу, потому что с ними может случиться какое-нибудь несчастье на улице, и, заметьте, — потому что это именно и характерно для Рошфора, — ни разу, ни на одну минуту, он не задается вопросом, что, быть может, эти матери не могут себе позволить роскошь окружать своих детей таким уходом и заботами, потому что иначе дети не нашли бы куска хлеба дома по возвращении из школы...

Рошфора как писателя спасает лишь темперамент: он очень легко воспламеняется, и в эти моменты он, вероятно, искренен, но лишь для того, чтобы сейчас же остыть; его спасает и самый характер его ума и таланта. Для человека, который сделал бы предметом исследования специально писательскую психологию, Рошфор может явиться любопытнейшим объектом: трудно представить себе большее противоречие, чем то, которое существует между Рошфором-личностью и Рошфором-писателем. Рошфор-личность органически не выносит толпы. Он, которого, как писателя, постоянно окружала многочисленная толпа, который будил в ней всегда инстинкты протеста и возмущения, он, который всю жизнь искал популярности, — он буквально дрожал от волнения и страха, когда ему приходилось лицом к лицу очутиться с толпою. Рошфор лично, говорят, был очень мягкий человек и прямо неспособен был обидеть кого-нибудь и сказать резкое слово, — Рошфор за своим письменным столом груб, резок, дик, врывается в интимную жизнь людей, не щадя ни женщин, ни детей, топчет в грязь все, что попадается ему на пути, лжет, клеветает, и его лексикон бранных слов богаче, вероятно, чем у всех других французских писателей, которые вообще мастера ругаться. Я уж не говорю о ряде других противоречий, которых мне, впрочем, придется отчасти коснуться ниже.

Я сказал сейчас, что Рошфора спасает самый характер его ума и таланта. Объясню. «Если бы понадобилось определить его писательские приемы, — говорит Лемэтр в цитированной выше статейке, — их можно было бы свести, мне кажется, к двум, которые я считаю главными. В мелких вещах это — сопоставление, в той или другой форме, совершенно чуждых друг другу понятий, неожиданное сближение двух мыслей, которые как бы сами удивляются, что очутились рядом. Например, знаменитая фраза: «Франция заключает, — говорит «Имперский альманах», — тридцать

шесть миллионов подданных, не считая поводов неудовольствия» *. В более крупных вещах это — терпеливое проводимое развитие до крайних пределов и доводимое до наиболее отдаленных и наиболее смешных последствий данной забавной мелочи, бросившейся в глаза Рошфору. И почти всегда это развитие проводится в форме драматической (диалог или речь), которая усиливает комизм, заставляя жить и говорить абсурд, предполагая его осуществившимся». Свойственный Рошфору жанр вышучивания, даже когда его смех невинен и добродушен, содержит в себе дух возмущения и, если можно так выразиться, заключает в потенции бесконечную массу протеста. Этому уму нужно постоянно быть в крайней оппозиции, чтобы найти все свое амплу, чтобы обнаружить весь свой блеск, чтобы проявить всю свою силу, чтобы воспламениться и развернуться во всю свою ширь. Но так как положение крайней оппозиции постоянно менялось, то Рошфор следовал за нею — не больше. Он постоянно шел туда, где он мог развернуть свой талант. *Не он менялся, — менялось положение, где он мог быть самим собою. Это не человек убеждения, это — человек темперамента, человек положения, которое всегда относительно и подвижно.*

К половине 60-х годов, когда Рошфор вступил в число сотрудников «Фигаро», на всей французской литературе, но в особенности на периодической прессе, успело уже глубоко отразиться тяжелое давление режима, которому было положено основание 2 декабря. Я говорю не только о невыносимых цензурных условиях, душивших всякую живую мысль, но главным образом о том деморализующем влиянии, какое оказывали на литераторов разные Морни, Персины и сам бывший узник Гамской крепости **. Через посредство д-ра Верона, Сент-Бева и Мериме режим этот старался, и не безуспешно, привлечь на свою сторону прессу и писателей. По совету Сент-Бева Наполеон III накладывает свою руку на литературную богему через посредство существовавших тогда двух организаций писателей: «Société des gens des lettres» (Общество писателей) и «Société des auteurs dramatiques» (Общество драматических писателей), представлявших почти целиком всю действовавшую тогда литературную братию. Сент-Бев предлагал поместить эти оба общества в одном из государственных дворцов. Он просил для писателей того, что уже «было даровано благоволением милостивого монарха армии, промышленности, рабочим и всем служителям Франции» ***

Благодаря таким и многим другим мерам и обстоятельствам преследовавшимся целью была в значительной степени достигнута, и к тому времени, которое нас сейчас интересует, в прессе оставалось очень мало голосов, критиковавших существовавшее положение вещей. Одно из самых видных мест среди последних принадлежало, бесспорно, будущему рене-

* Непередаваемая игра словом *sujet*, которое обозначает и «подданный», и «повод», «предлог». Этой фразой начинается первый номер рошфоровского «Фонаря».

** См. в конце книги примечание «Наполеон III».

*** Из доклада Сент-Бева о предложенных им способах «ободрения» писателей, — доклада, найденного после 4 сентября среди оставленных в Тюильрийском дворце бумаг. Цитирую по *Taxile Delord, «Histoire du second Empire», t. VI, pp. 3-4.*

гату — Превю-Парадолю, почти единственному писателю, осмеливавшемуся нападать в тонкой и необыкновенно острой форме даже на главу страны.

По пути Парадоля, которого можно считать непосредственным предшественником Рошфора, и пошел вскоре прославившийся памфлетист, с тою однако разницею, что тогда как Парадоль знал, куда идет, имел очень умеренную, но определенно либеральную программу, и именно с точки зрения этого умеренного либерализма критиковал господствующий режим, — Рошфор ринулся в бой, не зная, ни зачем, ни почему, ни куда приведет его эта борьба. Это нравилось его читателям, это соответствовало его пылкому темпераменту, это давало ему имя, положение, популярность, а главное, ему хорошо платили, и он мог продолжать вести разгульную жизнь хотя и фрондирующего, но все же бульварного прожигателя жизни по потребностям, привычкам и стремлениям.

Я не преувеличиваю: это прямо бросается в глаза, когда вы просматриваете статьи, которые он помещал сперва в «Фигаро», потом в «Солнце», потом опять в «Фигаро». Читатель, естественно, поставит мне вопрос: почему же Рошфор не стал на сторону империи? Я не стану это объяснять исключительно тем, чем объяснил бы Лемэтр. Последний совершенно прав постольку, поскольку он говорит о Рошфоре середины 80-х годов, т. е. о Рошфоре, уже окончательно определившемся, уже запутавшемся в сетях того специфического слоя парижской мелкобуржуазной толпы, выразителем интересов которого он является. Но слова Лемэтра лишь отчасти верны, когда речь идет о Рошфоре середины 60-х годов, т. е. о Рошфоре, еще совсем не определившемся. О Рошфоре тогдашнего времени можно сказать лишь то, что как памфлетист он мог найти «свое мяное амилуа», «развернуться во всю ширь» скорее в оппозиции, чем на стороне господствовавшего режима. Решающую роль, повидимому, играли, с одной стороны, некоторое влияние семьи — отца-легитимиста и матери-республиканки, а с другой — тот случайный факт (что это именно случайный факт, это рассказывает сам Рошфор в своих мемуарах *), что Рошфор дебютировал на поприще журналистики в республиканском органе «Шаривари».

Что у него не было никаких политических симпатий, ясно доказывается, между прочим, тем, что он покидает «Шаривари», орган с довольно определенной для тогдашнего времени республиканской физиономией, имевший своих читателей, и переходит в бульварную «литературную» газету Вильмессана, ловкого газетных дел предпринимателя, который, почуяв, что ветер дует в сторону оппозиции, пожелал иметь в своей группе хроникеров и такого, который пересыпал бы свою хроникерскую болтовню более или менее едкими и остроумными нападками на сильных мира сего. И переходит Рошфор просто потому, что республиканская газета ему могла платить едва 150 франков в месяц, между тем как Вильмессан предложил ему сразу 500. †

Новый хроникер оправдал надежды своего расчетливого «патрона». Начал он свое сотрудничество с шумом и треском. Политики в его статьях

* «Les aventures de ma vie», I, pp. 187—190.

было сперва довольно мало, ровно столько, сколько нужно было, чтобы придать им некоторую оригинальную пикантность, но зато чуть ли не каждая «хроника» его служила поводом к новой дуэли с каким-нибудь видным представителем бомонда. Это все, что нужно было Вильмессану. Ловкий предприниматель не предвидел лишь одного — именно того, что политика, которая была сначала для Рошфора известного рода спортом, должна была, как и всякий спорт, раззадоривать Рошфора с его пылким, страстным темпераментом. Борьба, начатая почти шутя, главным образом для самого процесса борьбы, должна была неизбежно обостриться при тогдашних условиях. Какое-нибудь острое словцо, попадавшее прямо в цель, какая-нибудь едкая критика нового произведения всемогущего Морни*, который, как известно, пописывал водевили, какая-нибудь злая шутка по адресу двора — все это ожесточало цензуру, служило предметом добродушно-двусмысленными шутками, вызывало легкие пока преследования, еще более возбуждавшие остроумного памфлетиста, тем более, что это именно и нравилось большинству публики, среди которой мало было искренних приверженцев автора государственного переворота 2 декабря. Таким образом с самого начала памфлетистской карьеры Рошфора между ним и его читателями установилась постоянная связь: он следовал за ними, делал то, что им нравилось, и чем более они «смаковали» его едкие памфлеты, тем больше он сам воспламенялся, тем более усиливал он резкость своих нападений. Это давало ему определенное, ему одному лишь принадлежавшее, место в оппозиции. Он не разбирал никаких политических вопросов, — у него не было никаких знаний, — он не выставлял и не защищал никакой программы, — у него ее не было, — он пускал ядовитые стрелы, часто попадавшие в цель, он вышучивал видных представителей режима, казавшихся до тех пор всемогущими, неприступными гигантами, потому что никто раньше не дерзал на них нападать, и тем самым создавал оппозиционное настроение, показывая на деле, что можно критиковать то, что критике не подлежало. Но в какой малой мере Рошфор дорожил этой своей деятельностью, пользу которой трудно отрицать, можно видеть из того, что к концу первого же года своего сотрудничества в «Фигаро», где он имел весьма обширную аудиторию, наш памфлетист с легким сердцем покинул ее и перешел в «Солнце», прельстившись назначенным ему окладом в 20 000 франков в год. Впрочем, еще год спустя Вильмессан дал ему еще более высокий оклад — и он снова вернулся в «Фигаро». Чтобы дать читателю, не знакомому с тогдашними писаниями Рошфора, хотя бы некоторое представление о них, считаю нужным привести, с некоторыми сокращениями, его предисловие к сборнику печатавшихся в «Солнце» статей, которое я считаю одной из лучших вещей, вышедших из-под пера французского памфлетиста. Вот оно.

«Я долго носился с планом комедии в пять актов, которую я озаглавил бы «Большая богема». О, это было бы произведение необыкновенное! Хотя действующие лица моей пьесы имели бы целые коллекции титулов и благородных частиц, однако, в действительности, они бы все происходили от родителей неизвестных, хотя и предполагаемых. Во всей семье

* См. в конце книги примечание 10.

невозможно было бы найти ни одного законного отца, и если бы Гуче Капет задал кому-нибудь из них знаменитый вопрос: «Кто сделал тебя графом?» — сей последний вынужден был бы признаться, что не знает даже, кому обязан своею жизнью.

Публика могла бы думать, что, на основании закона об узурпации титулов, мои действующие лица, подписывавшие официальные документы не принадлежащими им титулами, будут преданы суду исправительной полиции. Ничуть не бывало, и в этом именно и заключается оригинальность положения: в третьем действии ложные графы превратились бы в подлинных герцогов, совершенно так же, как Жан Вальжан Виктора Гюго, который начал воровать приборы и которому дали потом подсвечники.

Любви уделено было бы в моей пьесе очень мало места, хотя женщины играли бы крупную денежную роль в жизни этих высокопоставленных лиц. После того как они восторгались бы ими в их мансардах, куда, как дурные примеры, свет проникает сверху, они очутились бы во главе страны, во дворцах, воздвигнутых не на их, а на чужие деньги, и они составили бы главный штаб одного из тех вымышленных портами фантастических правительств, которые имеют тайные советы, между тем как должны были бы иметь лишь советы судебные*.

Я бы мог воспользоваться своим планом для великолепной феерии, не прибегая к другим декорациям, кроме тех, которыми украшены** мои действующие лица, которые под конец заводят картинные галереи и основывают в то же время и династии и промышленные предприятия. Никто не знает, сколько длятся их династии, но их промышленные предприятия проваливаются от одного антракта до другого.

Это положение вещей дало бы возможность написать одно явление для моей пьесы, которое я считаю довольно оригинальным: богатый иностранец, посланный подкупить одного из моих персонажей, — которые должны были бы привезти к своей совести клок соломы (т. е. кабацкую вывеску. — *Е. С.*), чтобы показать, что она продается, — просит у него расписку в обмен за пятьсот тысяч франков, что на бирже продажной совести является порядочной ценой.

Мой персонаж спешит подписаться и протягивает руку, чтобы взять деньги, но иностранец обращается к нему со следующими словами:

— Вы не забыли своего последнего Общества для производства сахара из поломанных стульев. Так как вы были столь безгранично любезны, что взяли у меня миллион на это предприятие, то я как акционер оставляю у себя те пятьсот тысяч, что предлагал вам как покупатель совести.

Нужно однако отдать им справедливость: они обнаружили замечательный нюх в деле отыскивания бесчестных людей. Как только кто-нибудь обращал на себя внимание какой-нибудь возмутительной низостью, зверством, убийством арабских вождей или просто безобразным пьянством (непереводимая игра слов. — *Е. С.*), мои высокопоставленные бродяги начинали ухаживать за ним, привлекали его к себе всевозможными любезностями и, в конце концов, принимали его в среду своей уважаемой семьи.

Я даже придумал было сцену допросов в роде следующих:

— Были ли вы осуждены по суду?

— Три раза: в первый раз за незаконную продажу военных вещей; во второй — за то, что чересчур упорно вскрывал короля в клубах; в третий — за подлоги как государственных, так и частных бумаг.

* Т. е. адвокатов, защитников. Труднопередаваемая игра слов: *conseils privés* и *conseils judiciaires*.

** Опять игра словом *décoration*, которое значит и «декорация» и «орден».

— Превосходно. Потрудитесь нам сказать теперь, какво ваше мнение относительно того особенного класса общества, который называют честными людьми.

— Я их считаю самыми опасными врагами всякого общественного порядка, ибо они вызывают у толпы неблагоприятные для нас сравнения...

— Отлично. Еще одно слово: способный ли вы человек?

— Я — человек, способный на все.

— В мои объятия! Ты — наш. Будущность принадлежит тебе.

Моя комедия, которая имела то выгодное преимущество, что на каждом представлении можно было бы прибавлять новые сцены, отличалась еще сверх того одной особенностью: в ней не было развязки. Режиссер, одетый в черный фрак и белый галстук, которые составляют в одно и то же время и свадебный и похоронный костюм, каждый вечер делал бы публичное следующее заявление.

— Милостивые государи! Так как никто не знает, чем все это кончится, то мы решаемся опустить занавес, с тем чтобы, в случае надобности, снова поднять его.

После долгих колебаний я стал опасаться, что цензура может воспротивиться представлению моей пьесы, а потому и решаюсь дать своей книге название, которое не мог бы дать своей пьесе. Я желал бы, конечно, чтобы содержание книги больше соответствовало ее заглавию, но те из моих читателей, которым угодно было следить за моими хрониками в «Солнце», знают, что если моя мебель еще не была конфискована судебными приставами, то мои статьи часто конфискуются городскими, и что если туманны иногда мои выражения, то не туманны мои намерения. К тому же, разве мы, парижане, не понимаем друг друга и на полуслове?»

Два слова мимоходом о самой книге, которой предшествовало это предисловие. Это — ряд портретов видных деятелей господствовавшего тогда режима. Но если эти живые, легкие наброски раздражали тех, кого рисовал памфлетист, если они вызывали восторг в оппозиционных элементах, то справедливость требует сказать, что именно как портреты они крайне бледны, бледны до неузнаваемости, и если читатели все-таки догадывались, о ком шла речь, то автор достигал этого не верностью штрихов и яркостью красок, а тем фоном текущих политических и бульварных сплетен, на котором он рисовал свои наброски. Теперь, когда эти сплетни позабыты, исчезло всякое сходство, и так как Рошфор никогда не поднимается до сатиры на общие нравы эпохи (приведенное предисловие есть чуть ли не единственная попытка в этом роде), то историку наполеоновского режима произведения Рошфора не могут доставить никакого маломальски интересного материала. В глазах такого историка может быть интересным лишь то, что эти произведения могли иметь такое большое значение. Это до такой степени верно, что когда вы начинаете просматривать его знаменитый «Фонарь», вам после первой же страницы становится скучно, потому что это не больше, как ряд анекдотов и сплетен, лишенных какого бы то ни было общего значения. Совершенно прав тот писатель, который говорит: «К концу империи он (Рошфор) боролся с мелкими людшками мелкими писаниями, производившими большой шум». Как-то невольно напрашивается сравнение с нашим великим Салтыковым, — и каким же ничтожеством, каким жалким пигмеем выступает французский памфлетист рядом с нашим гигантом!

Приведенное предисловие к «Большой богеме» может служить образчиком того тона, до которого доходил Рошфор в своих нападках на деяте-

лей империи и даже на самого Наполеона III. Разумеется, преследования цензуры стали усиливаться, но именно поэтому росла и смелость нападенный памфлетиста. После года такой борьбы, в течение которой популярность Рошфора разрасталась с каждым днем, правительство решило окончательно избавиться от него и категорически заявило Вильмессану, что если он не вычеркнет Рошфора из списка сотрудников, газета его будет закрыта.

Пришлось подчиниться — Рошфор очутился без газеты. Но к этому времени положение дел изменилось. Лишь несколько лет тому назад казавшийся крепким, как скала, наполеоновский режим трещал под напором всеобщего недовольства. «Два раза в течение одного и того же царствования устраивать государственные перевороты — невозможно», — как совершенно верно писала императрица Евгения своему мужу. Наполеон III решил переменить фронт. Его переворот 2 декабря оказался возможным благодаря предшествовавшей ему борьбе классов, — почему бы не попытаться дать ей проявиться еще раз? Почему не дать некоторую свободу печати, чтобы противоположные интересы этих классов выступили рельефно наружу? Почему не обострить борьбу между роялистской земельной аристократией и городской буржуазией? Почему не дать свободу собраний и стачек рабочим, чтобы бросить друг против друга представителей труда и капитала и таким образом заставить буржуазию спасаться в объятиях реакции? Все эти вопросы были решены утвердительно — и открылась «либеральная» эра империи. Одним из первых проявлений этого «либерализма» была отмена предварительного разрешения для основания периодических изданий, и Рошфор, которому после его изгнания из «Фигаро» отказано было в разрешении издавать «Фонарь», немедленно воспользовался новой свободой. Это был самый решительный момент в карьере Рошфора. Приступив к изданию «Фонаря», он был настолько неопределившимся в политическом отношении писателем, что представитель Орлеанов, Эдуард Боше, предлагал ему средства на издание его журнала *. Прошел какой-нибудь год — и выяснившаяся борьба толкнула Рошфора, невольно для него самого, в объятия того класса, с которым он оставался затем в течение почти тридцати лет.

Не будем однако забегать вперед. Успех «Фонаря» был поразителен и превзошел все, даже самые смелые ожидания. Первый номер разошелся в количестве свыше 120 000 экземпляров, и в свете этого факта становится понятным смысл замечания историка о том, что появление этой небольшой красной, в сущности пустой по содержанию, брошюры сразу изменило политическое положение страны. И действительно, Рошфор совершенно сбросил маску. До тех пор другие памфлетисты и даже сам Рошфор позволяли себе вышучивать тех или других деятелей и редко, и то в старательно затушеванной форме, самого главу страны, — теперь Рошфор нападал непосредственно на самого императора, министров, их друзей, и нападал не в той тонкой форме, которая заставляет прощать обиды с более или менее кислой улыбкой, а грубо, резко, смело. Все недовольные, — а они составляли огромное большинство населения, — которые не дерзали выражать своего недовольства, увидели вдруг, что бороться можно, что люди уже борются.

* «Les aventures de ma vie», I, pp. 316—320.

расхватывали «Фонарь» и в каком-то упоении перечитывали десятки раз каждую дерзость. Повторяю: успех был неопиcуемый. «Фонарь» читали все, потому что и по содержанию и по форме он обращался ко всем: его читали в официальных кругах, потому что ничто не доставляет такого удовольствия куртизанам, как видеть, как насмеются над теми, кому они обязаны лстить; его читала земельная аристократия, желавшая возобновления монархии; его читала и крупная буржуазия, взваливавшая на империю вину в экономической депрессии, обнаружившейся еще в 1863 году и усилившейся особенно после выставки 1866 года; его читала и мелкая буржуазия, его читали и рабочие.

Успех, как и следовало ожидать, опьянил Рошфора. Отныне ему непозволительно было уже понижать тон своих памфлетов: публика требовала резкости, грубости, смелости, — и памфлетист преподносил ей то, чего она желала. События заставили его вскоре даже усилить характер своих нападенй. Потому ли, что представители господствовавшего режима вообще начали терять уже голову к этому времени, потому ли, что они желали показать, что они выше всяких памфлетов, но до поры до времени «Фонарь» не преследовали. Но если официально ничего против него не предпринималось, то за кулисами против Рошфора организована была возмутительная кампания лжи и клеветы: одна за другой появлялись в свет брошюрки, в которых на памфлетиста возводились самые фантастические обвинения. Рошфор отбивался, призывал в свидетели всех своих читателей и вымещал свою злобу в еще более едких памфлетах. Кончилось тем, что его предали суду, осудили — и он должен был пересечь в Бельгию.

Читатели Рошфора были слишком разношерстны, их интересы слишком противоположны, чтобы памфлеты его могли долго удовлетворять одинаково их всех. Чем дальше шла борьба, — не борьба, которую вел Рошфор в своем «Фонаре», а борьба Франции с ненавистным режимом, — чем больше эта борьба осложнялась, тем более выяснялись противоречивые стремления различных слоев оппозиции. Все усиливавшаяся резкость нападенй Рошфора отталкивала умеренно-либеральную буржуазию, которая обвиняла его в том, что чрезмерной резкостью своей он добьется лишь отмены некоторых либеральных реформ, которые Наполеон III решил дать; крайние оппозиционные элементы, наоборот, требовали борьбы беспощадной. И вот Рошфору опять нужно было стать на несколько более определенную позицию. Если после появления «Фонаря» он должен был впервые высказаться за республику, то теперь обстоятельства заставили его объявить себя радикалом и даже радикальнее простых радикалов. Произошло это по поводу законодательных выборов 1869 года. Кандидатура Рошфора была выставлена в седьмом избирательном округе Парижа. В том же округе кандидатом умеренно-либеральной буржуазии был Жюль Фавр; рабочие (преимущественно члены Интернационала) со своей стороны выставили кандидатом одного из своих товарищей, Кантагрэля. И те и другие имели определенную программу и выставляли своими кандидатами людей с определенными общественно-политическими физиономиями. Рошфор же был автором «Фонаря», — никакой другой программы у него не было. — и вокруг его кандидатуры, естественно, сгруппировалась толпа, которая, так же как и он, желала низпровергнуть господствовавший

режим, желала, может быть, чтобы он был заменен режимом республиканским, но совершенно не сознавала, какие требования она предъявит этому новому режиму, потому что если она и чувствовала, что «недовольна», то не знала, чем это недовольство можно устранить. Именно эта толпа могла удовлетворяться неопределенной смесью полумыслей, туманно формулированными пунктами программы, нахватанными из разных «крайних» программ, избирательными афишами, которые памфлетист подписывал: «радикальный кандидат» и в которых он в то же время называл себя «социалистом», на том основании, что желал сокращения рабочего дня и повышения заработной платы*. И все это было перемешано такими же неопределенными «революционными» фразами («Франция вырвется из своего болезненного сна лишь после спасительного кризиса. Я принадлежу к числу тех, которые ершились вызвать его**»), — фразами, которые так соответствовали настроению недовольной толпы.

Таким образом, как только Рошфору пришлось впервые стать на почву конкретной действительности, он, сам не имея определенной программы, сразу лишился поддержки всех более или менее определившихся, более или менее сознательных элементов зачитывавшейся его памфлетами толпы. Верной осталась ему лишь та часть парижской мелкой буржуазии, которая, будучи и по историческим традициям и по своему социальному положению постоянно недовольна, готова идти за всяким оппозиционным течением, будет ли оно, в разное время, в зависимости от данного момента, антибонапартистским или цезарианским, открыто монархическим или скрыто клерикальным, антимилитаристским или шовинистским, демагогически-буржуазным или якобы «социалистическим», лишь бы оно было «оппозиционно», лишь бы оно говорило о «правах народа», лишь бы оно прикрывалось «революционными» фразами. Осталась ему верна и та часть рабочих, которые не доросли еще до сознания своих классовых интересов, не пристали еще к классовому рабочему движению, но в которых жив был «дух протеста». *Вот эти-то два слоя парижского населения и составляли постоянный элемент в «партии» Рошфора.* Эволюцией, которую переживали эти слои, переменами в положении, которое они занимали по отношению к другим слоям населения в различные моменты общественно-политической истории Франции, и объяснялись различные метаморфозы в общественных и политических взглядах Рошфора. Рошфор сросся с этой толпой. Он следовал за ней всюду, куда бросало ее изменявшееся положение, и так как она, по самому положению своему, должна бросаться то в одну, то в другую сторону, то направо, то налево, то принимать интернационалистские идеи, то проникаться грубейшим шовинизмом, то «аплодировать» свободомыслящим, то тащиться в хвосте у клерикалов, то стоять за парламентаризм, то увлекаться цезаризмом, — то мы видим Рошфора то интернационалистом, то шовинистом, то парламентаристом, то цезарианцем, то анархистом, то централистом, то клерикалом, то атеистом или даже — что именно характерно для Рошфора — воплощающим в себе

* См. Olivier Pain, «Henri Rochefort», p. 179 (profession de foi Рошфора).

** Ibid., p. 180.

одновременно все эти противоречивые направления. И если до известной степени верно, что Рошфор являлся руководителем этой толпы, то еще в большей степени верно, что он был ее рабом. И, как раб, он должен был постоянно предвидеть минутные желания своей капризной повелительницы, улавливать их по малейшим признакам, разжигать ее низменные инстинкты, забавлять ее своими каламбурами, подыскивать едкие словечки, смеяться, смеяться всегда и непрерывно, смеяться даже тогда, когда на душе бывало тяжело и хотелось, быть может, плакать. Впрочем, Рошфор смеялся холодно, без души, как кукла, если бы кукла могла балагурить. Он жил своею жизнью, «партия» — своею. Его памфлеты — единственная связь между ним и его «партией» — приносили ему десятки тысяч дохода, — мелкие буржуа и рабочие его «партии» бились изо дня в день, борясь с непрекращающейся нуждою...

Однако мое перо забежало вперед. Указанные слои, составлявшие постоянную «партию» Рошфора, никогда своей самостоятельной политики не имели, — они всегда примыкали к тому или другому общественному течению, иногда к нескольким сразу, даже самым противоположным. Рошфор следовал за ними, так что в разное время вокруг него толпились еще и другие элементы, оставляя более или менее заметные следы и в его «партии» и, следовательно, на нем самом. Поэтому, чтобы точнее определить место Рошфора, необходимо, хотя бы вкратце, проследить эволюцию, которую пережила его «партия» с конца 60-х годов.

Предварительно остановимся однако на двух-трех фактах из жизни и деятельности Рошфора. Это даст нам возможность прибавить еще несколько штрихов к набросанной нами физиономии Рошфора. Итак, на общих законодательных выборах кандидатура Рошфора была выставлена в седьмом парижском округе. На первой баллотировке Жюль Фавр получил 12 тысяч голосов, Рошфор — 10 тысяч, социалист Кантаграль — 7½ тысяч и официальный кандидат — 4½ тысячи. При перебаллотировке Кантаграль уступил свои голоса Рошфору, и однако избранным оказался Фавр, получивший 18½ тысяч, между тем как на долю Рошфора досталось лишь 14½ тысяч голосов. Это значит, что почти 3 тысячи рабочих предпочли голосовать за Фавра, хотя последний был крайне умеренный либерал и их открытый враг. Факт чрезвычайно характерный, потому что он повторялся не раз и впоследствии. Он показывает, что сознательные рабочие считали пребывание в законодательном корпусе умеренного, но серьезного Фавра (вспомним, что это происходило в 1869 году, т. е. до правительства национальной обороны, до Коммуны, одним из палачей которой Фавр потом был, до разоблачений его мошеннических подвигов, сделанных Мильером) гораздо полезнее для борьбы с империей, чем пребывание шумливого, но бестолкового Рошфора, хотя последний в своих избирательных афишах пред баллотировкой и подчеркнул, чтобы приобрести голоса рабочих, свой интерес к «социальным вопросам»*. И надо отдать справедливость рабочим: они оценили Рошфора по достоинству. Несколько месяцев спустя кандидатура памфлетиста была вторично выставлена на частичных выборах. На этот раз он был избран (главным

* Olivier Pain, l. c., pp. 193—194.

образом благодаря глупости министра внутренних дел, который арестовал его на несколько часов на границе и таким образом превратил его избрание в общепозиционную манифестацию). Рошфор очутился в законодательном корпусе, окруженный неимоверной популярностью. Казалось бы, тут-то он должен был развернуться во всю ширь, и однако его хватило лишь на то, чтобы сделать несколько шумных выступлений, и правительство положительно оказало ему большую услугу, вскоре арестовав его и посадив в тюрьму Сент-Пелажи. Могут заметить, что эти выступления имели тогда огромное агитационное значение. Это так, но существенно то, что история повторялась всякий раз, как Рошфор попадал в законодательные учреждения. В национальном собрании в Бордо он пробыл несколько дней, в палате депутатов в 1885 году он оставался несколько месяцев и с треском покидал их, пользуясь первым подвернувшимся предлогом. Да и что ему было там делать? Знаний у него не было, работать он не привык, программы никакой не имел, как не было ее и у его «партии», которая «малым удовлетвориться не намерена», ибо она постоянно жаждет «революции» — неизвестно зачем и во имя чего. Но в то время как Рошфор, покинув с треском палату депутатов, наслаждался произведенным эффектом и снова отдавался своей разгульной жизни, люди его «партии» были попрежнему «недовольны». Положительно глубоко прав писатель, который сказал про него: «В противоположность народу, это недовольный, который очень хорошо чувствует себя в положении недовольного».

Через какие-нибудь восемь месяцев Рошфор покинул тюрьму, чтобы сразу стать членом временного правительства, которое приняло его в свою среду, потому что, как очень умно заметил Эрнест Пикар, «лучше иметь его с нами, чем против нас», т. е. «когда он будет с нами, мы сделаем с ним все, что нам будет угодно». И действительно, Рошфор даже не пробовал бороться, — да и во имя чего он боролся бы? Трошку своими красивыми речами обворожил его, и Рошфор смиренно молчал, ожидая, что «он спасет». Ему дали президентство в проблематичной «комиссии баррикад», поручили рассмотреть бумаги, конфискованные в Тюильрийском дворце и полицейской префектуре, и тому подобные пустяки и даже не давали себе труда советоваться с ним о важных делах «национальной обороны». Положение было как нельзя более смешное, но Рошфор, вероятно, так ничего и не предпринял бы, чтобы выйти из него, если бы пролетариат и мелкая буржуазия не стали протестовать против временного правительства. Движение 31 октября, когда революционный пролетариат и некоторая часть революционно настроенной мелкой буржуазии, возмущенные бездеятельностью в области обороны Парижа правительства «национальной обороны» и постоянными отсрочками муниципальных выборов, едва было не захватили власть, — это движение показало Рошфору, что если он хочет сохранить связь с массами, без которых он — ничто, ему необходимо немедленно выйти из состава правительства. И он ушел.

Но для того чтобы получить более полное представление о Рошфоре того времени, надо прочесть страницы его воспоминаний, относящиеся к событиям, разыгравшимся 18 марта. Этот человек, которого подлинные народные массы несколько месяцев тому назад освободили из тюрьмы, с триумфом доставили в городскую ратушу и заставили временное пра-

водителем этих масс, — ухитрился быть современником и очевидцем грандиозного исторического события, которое навсегда останется памятным в истории человечества, и ничего решительно не видеть, ничего в нем не понять. Он употребляет, говоря о Коммуне, слова «большинство» и «меньшинство», но даже не представляет себе, чем отличались друг от друга эти два течения. Он вовсе не упоминает об организации власти в Коммуне. Он не видит, что на его глазах совершается попытка создать новый тип государства. Он даже не подозревает, что перед ним разворачивается величественный акт классовой борьбы, что он присутствует при первой попытке построить диктатуру пролетариата. Он совсем не говорит об Интернационале и его секциях в Коммуне. Он все снижает до своего мелкого, ничтожного уровня «хроникера» и фельетониста. Он превращает Рауля Риго в какого-то диктатора, который всеми произвольно командует, в руках которого все остальные члены Коммуны являются пассивными пешками. Великого революционера Бланки он превращает в какого-то тестеобразного патриота, который вместе с ним, Рошфором, хлопотал бы, если бы был в Париже, только о том, как бы добиться соглашения с Тьером и версальцами. «Если бы Бланки, — говорил он на суде, — принимал участие в Коммуне, ни поджоги, ни убийства, конечно, не имели бы места». Вот каким языком говорил перед палачами Коммуны человек, который впоследствии называл себя «старым коммунарком»! «Я уверен, — продолжал он, — что сторонниками Бланки были как раз реакционеры, составлявшие меньшинство в Коммуне». Рошфор, не имевший ни малейшего представления о социализме, не мог понять исторического значения Коммуны.

Во время избирательной кампании, открывшей Рошфору доступ в законодательный корпус, он называл свою кандидатуру «социалистической». Что же разумел тогда Рошфор под социализмом? Посмотрите его воспоминания — и вы найдете по этому вопросу три места. Приведем их дословно.

«Я видел, что публика, даже избранная публика, читавшая «Фигаро», с каждым днем была мне более благодарна за то, что я сумел разрешить столь трудную задачу: писать в консервативной, не политической газете антиклерикальные, почти социалистические статьи, в которых я, сопоставляя наиболее титулованных особ с торговцами каштанами, отдавал предпочтение последним».

Данный торговец каштанами выше данного бездельника маркиза или герцога — таков один элемент рошфоровского «социализма».

«Хотя одновременно имели в Париже место выборы еще в четырех округах, только мое избрание носило ясно республиканский и социалистический характер, так как другие кандидаты наотрез отвергли мои крайности и в особенности императивный мандат...»

«Крайности», т. е. резкие по форме нападения на империю, и императивный мандат — таковы другие элементы этого «ясного» «социализма».

«Моя кандидатура была социалистической, потому что я подписал бельвильскую программу».

Бельвильской или «радикальной» программой называли в конце империи программу, с которой выступил на выборах 1869 года в Париже не кто иной, как Леон Гамбетта, вождь умеренного крыла буржуазных республиканцев.

Таков заключительный элемент рошфоровского «социализма».

Чуждый Коммуне, чуждый всему, чем она жила, что ее создало и что зажигало энтузиазмом сердца тысяч и тысяч людей, героически павших в борьбе за нее, Рошфор, разумеется, не мог найти себе никакого дела и скоро очутился в «оппозиции». А когда он увидел, что «примирение» с версальцами не состоится и что Коммуна решила бороться до конца, хотя никаких надежд на победу уже не оставалось, Рошфор задумал бежать. Он говорит явную неправду, когда рассказывает в своих воспоминаниях, что мысль о побеге возникла у него неожиданно, лишь в тот момент, когда секретарь Рауля Ринго предупредил его, что последний решил закрыть его газету, а его самого арестовать. Когда его в тот же день арестовали, после побега, в Мо и доставили в Версаль, смотритель тюрьмы нашел у него при обыске восемь тысяч франков в золотых монетах. Ясно, что в то время он мог только исподволь собрать такое количество золота и что мысль о побеге зародилась у него гораздо раньше.

Как бы то ни было, но он очутился в руках версальцев.

Поведение его при этой оказии было не очень красиво. После того как он в течение целых недель буквально смешивал с грязью версальцев в своем «Пароле», после того как он не переставал натравливать на них свою «партию», — гордый памфлетист ползал пред ним на коленях и молил генерала Трошю сделать благоприятное для него свидетельское показание. «Вы можете, дорогой генерал, — писал он ему, — вы можете смело свидетельствовать о всех моих действиях за время существования правительства национальной обороны, ибо, какую бы клевету ни распространяли на мой счет, уверяю вас своим честным словом, и вы ему поверите, что я не видел ни одного члена Коммуны в течение моего пребывания в Париже, куда я прибыл лишь спустя две недели после 18 марта, вызванный туда известием о смерти отца». И дальше: «Было безумием оставлять 300 000 ружей в руках столь возбужденного населения». Это писал человек, который раньше сам требовал, чтобы ружья были оставлены в руках «возбужденного населения», который в гражданской войне стал, по крайней мере в своей газете, на сторону Парижа, — что, повторяем, не мешало впоследствии Рошфору выставить себя «старым коммунар», дорого поплатившимся за свои «убеждения».

Позор увеличивался еще тем обстоятельством, что Трошю не только не поверил «честному слову» памфлетиста, но даже напечатал его письмо в газетах, равно как и свой презрительный ответ ему.



В 1874 году Рошфор — в Женеве, в кругу спасшихся бегством коммунаров, социалистов разных течений, политических эмигрантов из разных стран. Он — «революционер», левый среди левых. «социалист». Но в сущности эта среда ему чужда и непонятна. Чужды и непонятны ему и ее социальные верования, и ее идеалы, и ее плебейская психика, и ее умственные и политические интересы. Окружающие его не раз пробуют ввести его в круг этих интересов, познакомить его с учением социализма, с запросами и нуждами растущего рабочего движения. Он и сам бы непрочь

пойти навстречу этим попыткам, потому что «положение обязывает». Но ему скучно читать предлагаемые ему книги, скучно слушать импровизированные лекции своих новых приятелей. Смеяться — вот его удел, его призвание. И он смеется.

В Женеве, где он оставался до амнистии 1880 года, Рошфор встречался и с русскими революционерами и воспламенился к ним большой симпатией. Особенно восторгался он террористическими актами «Народной воли», которой посвящал по возвращении в Париж в своем «Непримиримом» восторженные статьи. Исполнительный комитет «Народной воли», поглощенный своими делами, не мог, конечно, иметь верное представление о Рошфоре, и В. Н. Фигнер рассказывает в своих воспоминаниях: «Все выдающиеся в социалистическом мире Западной Европы лица обещали ему (Исполнительному комитету. — Е. С.) свое содействие в той или иной форме, а некоторым из них, как к Карлу Марксу и Рошфору, Комитет обращался письменно с предложением оказать его агенту, Гартману, помощь в деле организации пропаганды против русского деспотизма»*. Рошфора таким образом считали в России «выдающимся деятелем социалистического движения», настолько «выдающимся», что пресловутая «Священная дружина», образовавшаяся после убийства Александра II для борьбы с террористическим движением, даже приговорила его к смерти!

Казалось бы, что при таких условиях Рошфор должен был дать себе труд хотя бы только из бесед с россиянами познакомиться немного с революционным движением в России. Но он и к этому отнесся лишь как «хроникер» и фельетонист: в этом движении привлекали его главным образом сенсация и экзотика. Г. В. Плеханов часто вспоминал про статью Рошфора, появившуюся в его «Непримиримом», после специального подбора информации, вслед за убийством царя. Рошфор, желая похвастаться перед своими читателями знанием русского революционного движения, поучал их, что в этом движении существуют две партии: «le Tchorni Pérédel» и «le Plechani». И этому человеку поручалось, на ряду с Марксом, оказывать помощь «Народной воле» «в деле пропаганды против русского деспотизма»!

Еще больше отличился Рошфор в этой области по случаю процесса В. И. Засулич, много шумевшего тогда в Европе. Рошфор в своих воспоминаниях повествует: «Возвратившись однажды вечером домой на бульвар Пленпал, я нашел у себя таинственную телеграмму, отправленную из Берлина, следующего содержания: «Не покидайте Женевы и ждите письма». Телеграмма была без подписи, но имела слишком повелительный характер, чтобы не заставить задуматься. На следующий день я получил длинный мемуар, в котором мне описывали положение молодой нигилистки Веры Засулич, только что сделавшей в Петербурге два выстрела из револьвера в генерала Трепова» и т. д. Затем, на ряду с общеизвестными, но значительно перевранными, фактами процесса следовали фантастические небывальщицы, среди которых была и такая: «Лицом, давшим ей (В. И. Засулич. — Е. С.) приют, был не кто иной, как великий князь Николай, брат Александра II, которому, как говорили, он составлял глухую оппозицию, следуя обычной традиции младших линий. Молва доходила до утверждений,

* «Запечатленный труд», М. 1931, стр. 188.

будто он снабдил Веру рыжим париком и поместил ее в вагоне первого класса, передетую барином. Эта басня настолько была принята с доверием, что все полицейские обыски направлялись на тех путешественниц, которые ехали с наибольшим комфортом». А под конец оказывается, что Рошфор чуть ли не спас Веру Засулич от выдачи ее Швейцарией царскому правительству, как будто последнее могло выдвинуть какие бы то ни было юридические основания требовать выдачи Засулич, только что оправданной гласным судом, и будто оно дерзнуло бы выступить с таким требованием после разоблачений, сделанных и подтвержденных на суде свидетельскими показаниями, и после вердикта присяжных — этой оглушительной пощечины, прозвучавшей не только на всю Россию, но и далеко за ее пределами!

И эти небыллицы — ближайшие друзья и товарищи Засулич категорически отрицали как факт посылки ему «длинного мемуара», так и «спасение» от негрозившей выдачи, — напечатаны были в переводе, без всякого редакционного примечания, в русском историческом журнале «Минувшие годы» (1920—1921 гг., стр. 85—87), откуда, также без примечаний, перепечатывались и другими изданиями.



Вотирована амнистия — и Рошфор триумфатором возвращается в 1880 году в Париж. Все прошлое объявляется им, так сказать, лишь подготовкою. Теперь пойдет настоящая политическая деятельность.

Поле для нее, действительно, необъятное и благодарное. Республика отбила все бешеные атаки монархистов и формально укрепилась. Республиканская партия, до тех пор единая, раскололась. Появляются оппортунисты, с Жюлем Ферри во главе, которые во внутренней политике уже помышляют о сближении с клерикалами и реакционерами, чтобы таким образом получить опору против растущих требований рабочего класса и мелкой буржуазии, так много надежд возлагавших на социальное реформаторство республики, а во внешней политике завязывают ряд колониальных авантур в Азии и Африке. Выступают и «радикалы», под давлением которых проводится несколько крупных реформ в области народного образования, положения печати и пр., но которые тоже ничего не намерены сделать для удовлетворения экономических нужд широких масс. Они ведут неустанную агитацию против колониальной политики оппортунистов, требуя, чтобы военные силы страны сберегались для «реванша» с Германией. Рабочая партия еще только нарождается и пока очень слаба. Широкое недовольство республикой распространяется по всей стране.

Это-то недовольство и подхватывает, его глашатаем становится Рошфор в своем «Непримиримом». Это недовольство разных слоев мелкой буржуазии — неопределенное, отрицательное, не умеющее выдвинуть никаких положительных требований, не открывающее никаких социальных и политических перспектив, — как раз отвечает настроениям, темпераменту, всему душевному складу Рошфора. Он с яростью кидается в борьбу против всего и всех. Во имя чего? Здесь все есть: и «революционные» и «социалистические» традиции 48 года, и воспоминания «героической» борьбы

с империей Наполеона, и Коммуна, и обрывки лекций его женевских приятелей, и «захват власти» бланкистов, и «народные банки» Прудона, и борьба с клерикализмом. И все это преподносится каждый день в уже окрепшей у него литературной форме «хроники» и «маленького фельетона», хотя и помещается во главе газеты в виде «руководящей» «политической» статьи.

Но это еще не весь Рошфор. Нужна была еще одна черта, которая дорисовала бы его общественно-политическую физиономию. Эту черту принес буланжизм.

В 1885 году радикалы получили власть, свалив оппортунистов на вопросе о колониальных экспедициях. Теперь они получили возможность осуществить свой лозунг сберегания и развития военных сил для «реванша». Носителем этой идеи явился популярный генерал Буланже. Началась памятная агитация, которой клерикалы и реакционеры пожелали воспользоваться для восстановления монархии, а окружавшая Рошфора недовольная мелкобуржуазная толпа — для «осуществления демократического пересмотра конституции и «социальных реформ». Ко всем прежним традициям и девизам Рошфора прибавились новые: борьба за «демократическую республику» — в союзе с монархистами, за «социальные реформы» — в союзе с крупной буржуазией и крупными помещиками, за «царство разума» — в союзе с клерикализмом.

В этом движении с наибольшей яркостью и выпуклостью проявил себя тот социальный слой или, точнее, прослойка, которая так удачно названа была «реакционной демократией». Рошфор окончательно нашел себя. Лежавшие до тех пор отдельными пластами в его душе противоречивые влияния матери, плебейки и республиканки, и отца, легитимиста и клерикала, нашли себе своеобразный синтез в устремлениях «реакционной демократии».

Рошфор нашел себя в ней и вместе с нею должен был проделать ее дальнейшую эволюцию.

Буланже, как известно, скоро сошел со сцены. Бутафорский заговорщик, ничтожный трус, он поддался ловкой провокации министра внутренних дел Констана и бежал за границу как раз в тот момент, когда решительным ударом мог обеспечить свою диктатуру. Правительство воспользовалось замешательством, арестовало главных вожakov движения и создало процесс. Рошфор, привлеченный вместе с другими, бежал в Англию.

Массы, приведенные в движение буланжизмом, искали выхода своим настроениям. Панамский скандал дискредитировал и «радикалов», и волна сочувствия хлынула к молодой социалистической партии. Выборы 1892 года были для нее триумфом. Социализм вошел в моду.

Рошфор последовал за массой — как всегда. Рошфор стал «социалистом» и даже официально примкнул к партии. «Социалистом» он вернулся в 1895 году, после амнистии, в Париж.

Через год буланжизм возрождается в новой форме — в форме знаменитого «дела Дрейфуса». Но мало-мальски вдумчивый наблюдатель не мог не видеть огромной разницы, явившейся результатом десятилетней пропагандистской и организационной работы социализма. В буланжистской толпе насчитывались сотни тысяч рабочих и еще больше, несомненно

демократической по своим настроениям, мелкой буржуазии, — для них и выдвигались буланжизмом требования демократического пересмотра конституции и социальных реформ. В антидрейфусистской коалиции рабочих не было уже совсем, а демократических элементов уже почти не было, — их место занял оппортунизм, который шел на открытый союз с незуитами и монархистами всех оттенков.

С Рошфором осталась уже исключительно только реакционная демократия. Но и ее ряды таяли. Начавшаяся после краха антидрейфусистского движения усиленная организационная работа как в рядах социалистов, так и в рядах «радикалов», отвлекла от Рошфора последние остатки народных масс.

Рошфор почувствовал, что почва ускользает из-под его ног, и делал отчаянные попытки как-нибудь примоститься, примазаться к разраставшемуся рабочему движению. Но каждый раз, когда он во время крупных стачек и других проявлений классовой борьбы предлагал свою помощь, рабочие отвергали ее, как позорящую и унижающую. *Ибо там, где появляется и крепнет классовое самосознание, — там нет места Рошфорам.*

И остался былой народный кумир один среди клерикалов и монархистов. Им безраздельно принадлежало отныне его перо, им одним оно служило.

И вместе с народными массами ушла известность. Рошфор продолжал каждый день брестерствовать своим пером, некогда острым как отточенная шпага, звонким как удар хлыста, едким как карболовая кислота. Но уже никого он, бессильный, не ранил, никого не устрашал. Захирел его «Непримиримый» и был продан в чужие руки. А сам Рошфор стал ютиться в бульварной клерикально-реакционной прессе, никому отныне не опасный, никого не интересующий.

Там, в черном стане, он и закончил свои дни.

Воспоминания Рошфора («Les aventures de ma vie») занимают пять томов. Для настоящего издания мы взяли только, со значительными сокращениями, часть первого, второй и третий томы, охватывающие тот период жизни Рошфора, когда он волею судеб играл очень видную роль в общественно-политической жизни Франции. Более ранний и позднейший периоды его жизни охарактеризованы во вступительной статье.

В помещаемых в конце книги примечаниях преимущественное внимание уделяется именам и понятиям, имеющим прямое касательство к воспоминаниям Рошфора.

Е. Смирнов

**ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МОЕЙ ЖИЗНИ**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сказать известному человеку: «вам бы следовало писать свои воспоминания» — значит любезно дать ему понять, что он больше ни на что не годен. И однако их всегда будут писать, потому что люди инстинктивно любят ворошить свое прошлое, и по мере того, как они вновь переживают его для себя, их охватывает желание поделиться своими воспоминаниями со своими современниками.

Сотнями встречал я людей, — да и вы их также встречали, — которые, держа вас за пуговицу пальто, отводят вас в сторону и доверительно заявляют вам:

— О, если бы я вам рассказал свою жизнь!

А когда они в самом деле вам ее рассказывают, вы сразу убеждаетесь, что она не представляет ни малейшего интереса. Но каждый человек видит то, что его касается, через телескоп. В продолжение тридцати пяти лет булочница, у которой мои родители покупали хлеб, каждый день в двенадцать часов спускалась из своей квартиры и садилась у кассы, от которой не отходила до восьми часов вечера. И это не мешало ей объяснять свою седину словами, которые она повторяла не без гордости:

— Что поделаешь, у меня была такая бурная жизнь!

Однако я, конечно, не нахожу возможным сравнивать свою жизнь с жизнью этой булочницы: Вследствие сцепления фактов, ответственность за которые не всегда падает на меня, я испытал почти все мыслимые ощущения. Подобно человеку, который провел бы свою жизнь в катаньи на искусственных горах, я в течение двадцати пяти с лишним лет постоянно скачивался с самых высоких вершин в самые мрачные бездны. Едва несколько месяцев спустя после того, как народ дубинами разбил ворота тюрьмы Сент-Пелажи, вырвал меня оттуда и провозгласил меня, под гром приветствий и осыпая меня цветами, членом правительства национальной обороны, меня скованным повезли в Версаль под завывания толпы, требовавшей моей смерти. В течение целого часа меня возили, как какого-нибудь Пугачева, по улицам города. И до сих пор еще стоит

у меня перед глазами образ старца в коричневом сюртуке, потрясающего красным зонтиком и восклицającego при появлении кортежа:

— Вот Рошфор! На этот раз нужно живьем содрать с него кожу!

Это по его мысли означало, что в другие разы совершали большую ошибку, оставляя мне кожу на костях.

Заметьте, что этот человек с кровавым зонтиком шесть месяцами ранее находился, быть может, на пути следования кареты, с торжеством перевозившей меня из Сент-Пелажи в городскую ратушу, и приветствовал меня вместе с сопровождавшей меня толпой.

Я вкусил от всех радостей, я жевал и пережевывал все горечи. В тесной камере версальской тюрьмы я репетировал сцену моей казни, которая, как мне говорили, должна была скоро совершиться и которую я не хотел встретить неподготовленным. Потом, когда смерть от пуль была мне заменена другой, более медленной, но, по расчетам реакции, не менее верной смертью, когда меня отправили на край света, в среду заядлых людоедов, и друзья и недруги считали меня безвозвратно сожженным солнцем, да и сам я считал, что буду им сожжен, — я ринулся в Тихий океан и снова появился в Европе. И хотя я уже достаточно был обожжен, я не испугался холодной воды, ибо я сознательно кинулся в нее. Правда, сделал я это, чтобы совершить побег.

Если бы обо мне одном шла речь в длинном повествовании, предлагаемом читателям, — если у него будут читатели, — я, пожалуй, не стал бы его писать. Но моя жизнь была, быть может, еще более разнообразной, чем насыщенной событиями. В качестве ли сына драматурга, в качестве ли автора нескольких водевилей, которыми меня сильно попрекали, в качестве ли журналиста, депутата или изгнанника я вращался во всевозможных слоях общества. Совсем ребенком отец часто водил меня на репетиции своих пьес. Не знаю, будет ли ей приятно это разоблачение, но мне было пять лет, когда мадемуазель Фаргейль, игравшая тогда «Демона ночи», давала мне конфеты в фойе театра «Водевиль».

И я находил ее столь привлекательной и красивой, что никогда не заговаривал о ней дома без того, чтобы не заключить свои похвалы исходящим из глубины сердца восклицанием:

— Я ее обожаю!

В моем неправильном детском произношении это означало: «я ее обожаю». И в течение ряда лет мать моя часто спрашивала меня:

— Что же, ты все еще обоняешь мадемуазель Фаргейль?

Мне было шесть лет, когда г-жа Дом, которой поручена была главная роль в пьесе моего отца. («Pages et Poissardes»

(«Пажи и бой-бабы»), качала меня на своих коленях, от чего она, впрочем, не отрекается.

Когда я был в коллеже, я однажды завтракал у Рашели, к которой меня повел издатель Гетцель, ставший моим крестным отцом, ибо когда мне минуло одиннадцать лет и мне нужно было поступить в коллеж, мать моя вспомнила, что забыла меня окрестить.

Вскоре после 1848 года я был однажды в улице Ла-Виль-Левек у Ламартина, тогда находившегося еще в блеске своей славы. Двадцать лет спустя я снова увидел его, старым, растолстевшим, согбенным и с покрасневшим носом, сидевшим в кабинете Полидора Мильо, который заставлял его дожидаться себя, и дожидаться главным образом банковых билетов, может быть, даже только лудиров, которые поэт приходил прозаически выпрашивать у него.

Прежде чем дать себя поглотить политике и годам тюрьмы, ссылки и изгнания, которые принесла мне эта добрая богиня, я отдавал свое время главным образом изучению выставок старых картин, которые я научился ценить у одного старого мастера по их реставрации. У меня осталась от той поры мания искателя, которая иногда заставляет меня покидать самое изысканное общество и самую захватывающую беседу, чтобы пойти погрузиться в лохмотья старого хлама и иногда часами переворачивать изъеденные червями рамы, которые представляют для меня гнезда сюрпризов и часто бывают лишь гнездами клопов.

В Лондоне во время моего последнего изгнания я отправлялся на охоту почти каждое утро. Но только, вместо того чтобы пытаться поднимать зайцев, которых я не мог бы есть и которых мне тягостно было бы убивать, я охотился в улицах Ковент-Гарден или Сен-Джемс и там много раз брал прекрасную дичь, между прочим, превосходное полотно Жерико, загнанное в самый темный угол залы, где производилась одна распродажа. Я извлек его оттуда за совсем неопределенную сумму, которая называется «кусоч хлеба».

Я видел, как кувырком летели некоторые художники, произведения которых, недавно продававшиеся по бешеным ценам, падали даже ниже своей нормальной стоимости, и наблюдал взлеты других, полотна которых, накануне только покрытые пылью, покрывались золотом на следующий день. Я видел, как Коро, на одной площадке с которым я жил в ранней юности, разбрасывал вокруг себя этюды, которые он топтал на ходу ногами и которые на недавней выставке его работ во дворце Галиера привлекали к себе все взоры.

Я встретился с Мийе в улице Нотр-Дам-де-Лорет у мелкого торговца, которому он пришел предложить за триста франков, каковых тот ему не дал, картину, впоследствии проданную за восемьдесят семь тысяч и изображавшую женщину, занимаю-

щуюся шитьем при свете лампы, а на заднем плане ее ребенок спит в люльке.

Я читал письма, в которых этот великий мастер, малейшие эскизы которого возносятся до небес, с отчаянием писал: «Я не смею проходить мимо мясника. В доме нет и сорока су — и это длится вот уже двадцать лет».

Среди таких превратностей судьбы я провел свою жизнь, соприкасаясь со всеми знаменитостями, потрясаемый всеми событиями, причастный почти ко всем катастрофам. И я подумал, что, быть может, представляет некоторый интерес не дать затеряться всем воспоминаниям, которыми полна моя голова, — тем более, что я по возможности меньше буду выдвигать свою личность, и эти мемуары, оставаясь моими, будут вместе с тем и мемуарами моих современников.

Во всяком случае враги, которых я себе создал, как и те, которых я себе еще создам, признают, что я никогда не напал на них в целях конкуренции, даже лояльной, или в целях низкого соперничества. Вместо того чтобы говорить тому, кого я старался свалить: «Уйди с этого места, потому что я хочу его занять», я всю свою жизнь придерживался другого правила: «Уйди с этого места, потому что я не хочу его занять».



ГЛАВА I

Вступление в редакцию «Фигаро». — Вильмессан. — Его грубость. — Принц и кокотка. — Г-н Бонапарт-Патерсон. — Графиня де-Сен-Лу. — Морни. — Его театр. — Последний дворянин

Я терпел несколько месяцев, но потом мне надоело постоянное выхолащивание моих статей, и я покинул «Желтый карлик» («*Nain jaune*») ¹.

Вильмессан ², не писавший в своей газете по той простой причине, что не умел писать, не имел никакого повода завидовать своим сотрудникам. Он неустанно подыскивал подходящих себе литераторов и без всякого зазрения совести увольнял их, как только они переставали ему нравиться. Поэтому он поглощал ужасающее количество журналистов, которых выматывал до полного истощения, и как только все соки оказывались выжатыми из них, он, по его собственному выражению, подносил им их «трость».

Так поступил он с Эдмондом Абу ³, академическая веселость которого всегда была несколько деланной; он вымотал даже Огюста Вильмо ⁴, которого вынуждал постоянными окриками вертеться в порочном кругу пошлых и мещанских шуток. Он нанимал для испытания многих других хроникеров, за которыми сперва всячески ухаживал, так что они появлялись в кафе «Варьетэ» триумфаторами, а потом, недели две спустя, грубо им заявлял:

— Милый мой, я каждый день получаю по поводу ваших фельетонов письма, в которых абоненты говорят мне, что у вас нет никакого таланта.

— Это меня огорчает! — ответил при мне однажды один из его сотрудников, которому он с подобной же бесцеремонностью откалывал свою обычную грубость.

— А меня-то! — резко рассмеялся ему в ответ Вильмессан. — Потому что, вы понимаете, если бы у вас был талант, я бы вас оставил у себя, а теперь я вынужден вас заменить другим.

Эти повадки плантатора внушали мне скорее отвращение и нежелание вступить в его газету. Поэтому я очень взволновался, когда он мне предложил приступить к работе, поставив мне следующие условия: я даю один фельетон в неделю — он платит мне пятьсот франков в месяц. Я всегда сомневался в своих силах, и меня охватил жестокий страх, когда я подумал, что если я не хочу оказаться выставленным за дверь через какие-нибудь пятнадцать дней, я своими статьями должен превзойти тех, что работали у него до меня. А затем мне хотелось выговорить себе право давать даже и худшие статьи без того, чтобы меня в этом попрекали в форме, которой я, конечно, не стерпел бы. Ибо при первом же замечании подобного сорта я поступил бы, как у г-на де-Монбрена, т. е. напялил бы шляпу на голову, вышел бы — и меня бы больше не увидели.

Вильмессан, который при всей показной топорности обладал большим чутьем и изворотливостью, взял меня такими лестными доводами:

— Я читал все ваши статьи в «Желтом карлике». Вы веселы и без всякой претенциозности. Сотрудники, работающие у меня, имеют такой вид, точно они ставят свою кандидатуру в академию, и поэтому становятся скучны. А вы ведь не имеете желания стать академиком?

— О, нет!

— Ну вот и приступайте к работе! Без всякой опаски отдайтесь капризам пера. Высмеивайте всех — и заставляйте всех смеяться.

Предоставленная мне таким образом свобода и определила в значительной степени успех моих первых фельетонов. Но на четвертом фельетоне я имел уже две дуэли, и мои собратья по сатирической прессе говорили, что мне ужасно везет.

Первую дуэль я вызвал статьей по поводу отъезда испанской королевы в тот момент, когда в Мадриде вспыхнула холера. Я бы, конечно, не упомянул об этой дуэли, если бы в нее не была привнесена веселая нотка поистине комической сценой. В самое утро поединка, когда я уже надевал шляпу, чтобы отправиться к моим секундантам, ко мне вошла очень красивая актриса, которая исполняла какую-то роль в одном из моих водевилей, шедшем в театре «Варьетэ», но которую я все же мало знал.

— Правда ли, что вы сейчас будете драться? — спросила она меня с неподдельным волнением.

— Да, — ответил я ей, тронутый этим знаком внимания в столь ранний утренний час. — Но успокойтесь: меня еще не похоронили.

— Еще бы! — сказала она. — Потому-то я и пришла к вам просить вас об одном большом одолжении...

— Но я очень тороплюсь...

— Вот именно! Знаете, за всех моих товарок по «Варьетэ» уже дрались на дуэли какие-нибудь мужчины. Одна только я не могла до сих пор найти такого человека, который бился бы за меня. Впрочем, мне никогда не везло.

— Ну так что же?

— Понимаете, если бы вы хотели мне доставить удовольствие, огромное, огромное удовольствие, — вы бы всем говорили, что дрались из-за меня за то, что меня оскорбили. Деретесь ли вы из-за этого или из-за чего-нибудь другого — не все ли вам равно?

Мне действительно было все равно. Но я все же должен был ей объяснить, что иду на поединок из-за статьи, которую весь Париж читал, что в нашу выдумку никто не поверит, что, кроме того, я не имею права компрометировать своего противника, превращая политическое дело в столкновение из-за женщины, что, наконец, наши секунданты составят сообща протокол встречи, который должен быть опубликован и в котором причины поединка будут тоже указаны.

Бедная девушка ушла от меня в отчаянии, продолжая свои жалобы на то, что ей никогда не везло.

Второй вызов мне был сделан принцем Ахиллом Мюратом⁵ по поводу статьи, где я только использовал свое несомненное право, комментируя публичные прения, в которые он сам дал повод вмешать свое имя.

Мне было бы поэтому совсем легко не принять его вызова. Но я только что начал становиться известным, и я не хотел отказаться от такой громкой рекламы: дуэль с собственным кузеном императора!

Для процесса, который вела Кора Пирл, одна из тех англичанок, которых в Лондоне называют «отчаянными» и настоящее имя которой было Эмма Креч, принц Ахилл выдал удостоверение, подписанное «принц Ахилл» и свидетельствовавшее об уплате нескольких тысяч франков, которые какой-то барышник незаконно требовал от упомянутой дамы.

Я подверг критике, однако в вежливой форме, тактичность подобной аттестации, и принц Мюрат, бывший тогда офицером в квартировавшем в Седане отряде колонновожатых, послал ко мне двух секундантов: знаменитого фехтовальщика барона Антонио де-Эспелета и г-на Жерома Бонапарта-Патерсона, внука короля Жерома⁶, который, как известно, женился в первый раз на американке, но брак был аннулирован Наполеоном I⁷, этим великим душеителем политических и всяких

инных свобод и стальной властным самодержцем в своей семье, как и в заседаниях сената.

Впоследствии я часто имел случай пожимать руку Антонио де-Эспелета и его брату, ставшему моим другом. Но я в первый раз и больше не встречал г-на Бонапарта-Патерсона, являвшего собою прекрасный тип американской расы и в то же время всеми своими чертами напоминавшего Бонапартов.

Во все время этого дела он вел себя по отношению к моим секундантам и ко мне так воспитанно-любезно, что сразу завоевал наши симпатии. Так как переговоры не вызвали никаких затруднений, было решено, что для избежания всяких разговоров и сплетен все будет сделано и закончено в тот же день. Но в виду невозможности вести поединок в открытом поле в два часа дня, не привлекиши к месту встречи целой толпы людей, было решено, что встреча произойдет в сен-жерменском кавалерийском манеже, в котором мы будем как у себя.

Моими секундантами были Таксиль Делор⁸, мой бывший сотрудник по «Шаривари», и директор театра «Пале-Рояль», который был уже моим секундантом несколько раз и который, сам имевший уже не мало дуэлей, умел отстаивать интересы своего клиента с замечательной твердостью и преданностью.

Борьба была непродолжительна. Я получил несерьезную рану в бедро, и когда стали упаковывать рапиры, я заметил, что офицер, стоявший во время поединка у дверей манежа, живо вскочил на лошадь и помчался по направлению к лесу. Оказалось, что он поскакал сообщить об исходе поединка самому Наполеону III⁹, нарочно затеявшему в этот день охоту поблизости, чтобы поскорее узнать, чем дело кончилось.

Полагаю, что если бы в этот момент я был в малейшей мере склонен сыграть роль «примирившегося», мое положение, по крайней мере денежное, было бы обеспечено. Я писал фельетоны, которые имели широкий круг читателей и острые выражения которых всеми подхватывались. Я только что имел поединок с кузном деспота, пред которым все низости становились еще более низкими. Он собственной персоной присутствовал на поединке. Это было как бы освящением моего значения, которое мне легко было использовать.

Но ни на одну секунду я не задумался об этом. Ни один человек не был посвящен в тайну этой авантюры, которая была завязана и развязана в какие-нибудь два часа. Вечером, когда в Париже узнали о дуэли и ее исходе, ко мне на квартиру потянулись со всех сторон — и первым явился Вильмессан. Он был в восхищении от громкой рекламы, какой это столкновение явилось для его газеты, и сразу взял со мною почтительный и сдержанный тон, от которого он никогда не отступал, — в моем присутствии, конечно, — ибо он щедро вознаграждал себя за него, когда сперва судьи империи, а за ними и судьи республики закрыли за мною тяжелые ворота своих тюрем.



НАПОЛЕОН III

Ипполит де-Вильмессан, который был незаконным сыном, — не зная даже, кажется, чьим именно, — и носил раньше несколько имен, прежде чем остановиться, наконец, на этом, питал, повидимому, к дворянской иерархии почтение, возвышавшее его, вероятно, в его собственных глазах. Бывший торговец лентами и позументами, он объявил себя легитимистом, — должно быть для того, чтобы самого себя убедить, что он также принадлежит к дворянскому сословию, хотя его фигура, речь и манеры далеко не обнаруживали в нем дворянского происхождения. С его широкой головой тюремного стражника, посаженной на плечи грузчика, он скорее походил на коммивояжера, чем на важного барина.

Он первый привил во Франции американскую рекламу, хотя ни разу не был в Америке. Рекламист по темпераменту и по инстинкту, он прибегал в этой специальной отрасли литературы к поистине чудесным выдумкам. Он покупал, например, чижику в клетке за двадцать пять су, приносил его в модный магазин и привешивал где-нибудь клетку, а на следующий день в журнале мод, в котором он подписывался «графиня де-Сен-Лу», появлялась заметка следующего содержания: «Вчера собралась толпа перед магазином «Маленький св. Фома». Оказалось, что на тротуар упала хорошенькая канарейка, и когда ее подняли, заметили, что к одному перу ее крылышка привязана свернутая бумажка, на которой написаны были такие простые слова: «Я сейчас умру, но я хочу, чтобы ты жила. Возвращаю тебе свободу. Да приютит тебя какой-нибудь прохожий и да даст он тебе счастье, навсегда для меня потерянное! Эрнестина». А к этому «графиня де-Сен-Лу» добавляла: «Бедная птичка немедленно была перенесена в магазин «Маленький св. Фома», куда прохожие, один за другим, заходили любоваться невинным участником драмы, тайна которой, вероятно, никогда не будет раскрыта».

И каждый день он придумывал другие, как он их называл, «славные штуки». Сегодня это были молодые девицы, бежавшие из монастыря, где их хотели насильно заставить облачиться в монашеские одежды, а потом их находили в качестве продавщиц в лавке, адрес которой тут же приводился; завтра — малолетние спасители пять раз кидались в воду в поисках упавших в реку товарищей.

Подобного рода трюки мало соответствовали традициям высокого роялистского рыцарства с гербовыми лилиями, которыми он кичился, как мне ясно было, только для того, чтобы удобнее было проделывать свои делишки. Его набожность и его монархизм были звеньями одного и того же плана. Он объявлял себя сторонником «законной» монархии только для того, чтобы заставить верить, что он сам — законнорожденный*.

* Игра слов: «l'égitimiste» (легитимист, сторонник «законной монархии») и «l'égitimé» (законнорожденный). — Прим. перев.

Впрочем, его крайние убеждения нисколько не мешали ему поддерживать хорошие отношения с бонапартистским правительством, которому он при случае умел поклоняться. Каждый раз, когда возникало какое-нибудь затруднение между его газетой и цензурой, он обращался к содействию г-на де-Морни¹⁰, который всегда, в конце концов, удовлетворял его просьбы, за что ему уплачивалось рекламами, до которых этот участник государственного переворота был крайне жаден.

С тех пор как этому министру кулачного права приписали изречение: «Если окажется нужным пустить в ход метлу, я постараюсь быть со стороны палки», он проникся претензией изрекать эффектные слова. Он их заимствовал из газет и затем пускал их с высоты председательского кресла своему большинству рабских депутатов, которым приказывал затем создать им рекламу, распространяя их в возможно более широких кругах. Вспоминаю его слово о «дурной голове Парижа и добром сердце провинции», которое всюду повторяли и которое я накануне того дня, как он его изрек, прочел в статье Клемана Карагеля¹¹.

Этот авантюрист, увидевший свет в каких-то меблированных комнатах и щеголявший в жизни титулом, который он ни от кого не наследовал, — ибо у него вообще никакого метрического свидетельства не было, — по существу не обладал ни способностями, ни умом. Однажды я присутствовал в законодательном корпусе при том, как он, уступив на время председательское кресло своему товарищу, выступил на трибуне с речью по поводу налога на сахар, — ибо он гораздо больше был коммерсантом, нежели политиком. Хотя министерские лакеи горячо поддерживали его своими аплодисментами, он после нескольких фраз совершенно растерялся, стал бормотать что-то несурзное и наконец вынужден был позорно покинуть трибуну. Больше он этого опыта не повторял.

Этот захвативший страну вождь большой разбойничьей шайки стремился не только пускать в ход эффектные слова, — он пытался также сочинять театральные пьесы. Он их подписывал именем «де-Сен-Реми», которое, как и его официальное имя, не было театральным псевдонимом, ибо оба имени он нашел в «алфавите», как ответил Казанова¹², когда его спросили, откуда он взял себе имя «де-Сенгалта».

Стыдно вспомнить, что в то время материального и морального угнетения какой-нибудь водевиль г-на де-Сен-Реми, которому мой друг Гектор Кремье¹³ исправлял орфографические ошибки и выпрямлял хромяющие куплеты, мог занимать общественное мнение и потрясать всю печать. По поводу представления одной из этих нелепостей я чуть не потопил «Фигаро»¹⁴ со всем его грузом и всем его экипажем, включая меня самого.

Г-н де-Сен-Реми поставил на одной светской сцене вещицу, название которой стерлось из моей памяти и на показ которой пригласили весь императорский антураж и всю драматическую

критику. На следующий день дифирамбы некоторых журналистов, чьи перья позаботились прельстить обильным возлиянием шампанского, вызывали тошноту. Особенно восторгались по поводу жалкой остроты: «Человек предполагает, а бог причиняет нездоровье». И это было все, что нашли наиболее замечательного в этом проявлении французского остроумия.

Альберик Зекон¹⁶, декоративный фельетонист, которого более красили его орден, чем его писательская искренность, заканчивал свой отчет следующей гнусностью: «О, какое счастье для нас, бедных писателей, что большая часть времени автора этого восхитительного небольшого акта поглощается заботами о высшей политике! Что было бы с нами, если бы у него было достаточно досуга, чтобы целиком посвятить себя театральным делам!»

Как раз в этот день я должен был дать свою очередную статью, и я значительную часть ее посвятил ужасающему разгрому пьесы Морни, а, отвечая на статью Альберика Зекона, без всяких околичностей накалал: «О, какое счастье для автора, что, быв участником выгодного государственного переворота, он не должен снискивать себе пером средства к существованию! Если бы кто-нибудь из нас осмелился принести какому-нибудь директору подобную нелепость, последний немедленно распорядился бы швырнуть его в конуру к капельдинершам, а им приказал бы избить его своими ножными скамеечками».

По счастью — или по несчастью — Вильмессана как раз в это время не было, чтобы вычеркнуть перед отправкой в набор это жестокое оскорбление. Морни, которого самый простой такт, казалось, должен был заставить молча проглотить пилюлю, уже в восемь часов утра послал к издателю «Фигаро» одного из своих секретарей с предложением немедленно предстать пред очи оскорбленного вельможи.

Когда я около полудня, прежде чем пойти завтракать, завернул в редакцию, чтобы насладиться эффектом, вызванным пущенной мною отравленной стрелой, Вильмессан не дал мне даже раскрыть рот.

— Вы нас убили! — воскликнул он. — Морни в исступлении. Два или три раза он воспротивился закрытию газеты. Теперь конец — при первом же случае мы исчезнем.

Но затем, все же несколько гордясь тем, что показал, за мою подпись, свою независимость, он рассказал мне, как Морни, сперва надутый как индейский петух, мало-по-малу смягчился, в надежде, что, быть может, к следующей его пьесе я отнесусь менее озлобленно. Он был тем более огорчен этим «недоразумением», что внимательно следил за моими статьями и намеревался лично меня пригласить на один из своих ближайших вечеров; он очень желал бы, чтобы меня ему представили. Нашел кого звать к себе!

Затем он стал его расспрашивать обо мне, допытываясь, почему я так настроен против него, в чем его обвиняю, что совершил он такого, из-за чего я до такой степени восстановлен против него. Вильмессан видел во всех этих вопросах простое проявление понятного любопытства. Я же видел в этом своего рода полицейское расследование, действительной целью которого было отдать себе отчет в том, в какой мере мои смелые и свободололюбивые повадки могут в надлежащий момент оказаться опасными для правительства.

Я умудрялся вызывать не только репрессии, но даже отказ от абонементов со стороны членов Жокей-клуба, которых я, говорят, задел одной статейкой, где я, пользуясь своим несомненным правом, говорил о жизни, а также и о смерти одного бесполезного вив'ра, которым слишком много занимались в печати и который умер от слишком разгульной жизни.

Позволяю себе представить здесь эти строки вниманию читателей, которые увидят в них картину праздного и в то же время изнуряющего существования, какое вели герои всяких походов на скачках, за театральными кулисами и на дуэлях и к каждому шагу которых приковано было внимание общественного мнения.

«На ипподроме вчера не видно было высокопоставленных клубистов. Этого, впрочем, нужно было ожидать, так как большинство газет сообщило на прошлой неделе, что скончался последний дворянин. Не следует однако верить, что не осталось больше ни одного последнего дворянина. В 1848 году насчитывали до тысячи двухсот пятидесяти людей, каждый из которых первым вошел в Тюильри 24 февраля. Ежегодно в Париже от той или другой причины умирает последний французский дворянин, и так как бульвары и премьеры в театрах не могли бы продолжать своего существования, если бы этот пост остался вакантным, то спешат избрать нового, который прогуливает свое дворянское достоинство по всем клубам, пока, в свою очередь, не умирает, оставляя свой скипетр другому, который избирается последним дворянином большинством голосов.

Был последним дворянином лорд Сеймур¹⁶, был им шесть месяцев назад г-н де-Морни, а недавняя смерть г-на де-Грамон-Кадрусса оставляет ныне вакантным этот завидный пост. Эта основа основ французского дворянства, конечно, не замедлит быть присужденной кому-нибудь. Но последним дворянином становятся не так просто, как становятся торговцем жареными каштанами. Торговец каштанами открывает свою торговлю с восьми часов утра и заканчивает ее в двенадцать или в четверть первого ночи, когда прекращается движение omnibusов. Последний же дворянин редко открывает свою лавочку раньше четырех часов вечера; зато иногда давно уже стоит день, а у него еще газ горит.

Кроме того, каждый человек может заниматься профессией торговца каштанами, — профессия же последнего дворянина доступна только определенным натурам. Иной может сколько угодно окружать своими заботами и своим почтением наиболее обесславленных женщин, может выпшвырнуть через окно десяток лакеев в кафе, может убить человека на дуэли и в самый день своего оправдания пойти на веселую оперетку, — някто и в ус не дует. Ему никогда не быть последним дворянином.

Но вот другой будет делать точь-в-точь то же самое, но при этом будет изрекать нечто в роде «можешь обшарить свои карманы» или «заставьте же ее пройти, чтобы ее можно было посмотреть», — и он — последний дворянин. От какой осязаемой причины зависит эта несправедливость общественного мнения? Это трудно поддается определению. Именно в вопросе о последнем дворянине пресловутое «не знаю, право!» играет капитальную роль.

А теперь, господа, чей черед? Подумайте хорошенько, прежде чем представиться на конкурс, который не замедлит состояться для назначения на высокий пост последнего дворянина. Если вы не обладаете такими легкими, чтобы проводить декабрьские ночи между четырьмя сквозняками в коридорах «Английского кафе», — не трудитесь пытаться счастье. Но если вы считаете себя способным разрешить трудную проблему — абсолютно ничего не делать и умереть от усталости в тридцать лет, — ставьте свою кандидатуру, и как только вы будете избраны столь разборчивой публикой скачек Булонского леса, будущее за вами. Вокруг вашей персоны будет постоянный оглушительный шум. Все аспиранты на франтовство станут зачисляться в ваш штаб, и самые модные фальшивые красотки будут счастливы покоряться вашим скотским насилиям. Я должен однако вас лояльно предупредить, что недели через две после вашей смерти нигде о вас вспоминать не будут, за исключением, может быть, вашего клуба, где ваши друзья без всякого стеснения будут применять к вам, перевернув его, восклицание Анре Шенье¹⁷:

— А ведь тут-то у него маловато было!»

Эта бутада, которая теперь может казаться просто насмешкой, тогда имела известное значение. Это была форма борьбы с императорской политикой, стремившейся постепенно угасить революционный дух великого города путем превращения Парижа в обширный игорный дом и в огромный цветник, в котором безудержный кутеж отвлекал бы внимание от набегов депотизма.

Показать, в каком омуте нелепых наслаждений и постыдного празднества утопали высшие классы и даже правящие слои, — недаром я ставил рядом герцога де-Морни и герцога де-Грамон-Кадрусса, — значило вести неприкрытую атаку на нравы

этих привилегированных, чьи привилегии не оправдывались никакими заслугами перед нацией, которую они приводили в негодование.

Именно так и была понята моя статья правительством. Вильмессан был вызван к префекту полиции, который в первый раз применил ко мне наименование «республиканец», — эпитет, который со времени покушения Орсини¹⁸ влек за собою выдачу через короткое время паспорта в Ламбессу¹⁹ или в Кайенну²⁰.



ГЛАВА II

Полидор Мильо. — «Солнце» — газета не политическая. — «Большая богема». — Премьера «Прекрасной Елены». — Несостоявшееся представление. — Обеды у Эжена Шаветта. — На скачках

Я видел, что публика, даже избранная публика, читавшая «Фигаро», с каждым днем была мне более благодарна за то, что я сумел разрешить столь трудную задачу: писать в консервативной, не политической газете антиклерикальные, почти социалистические статьи, в которых я, сопоставляя наиболее титулованные особы с торговцами каштанами, отдавал предпочтение последним.

Поэтому я собирался продолжать дальше в том же направлении, — несмотря на то, что мой главный редактор непрерывно чувствовал себя от преследований точно на углях, — когда истек срок заключенного между нами годичного договора. Несмотря на опасности, в которые я его повергал на каждом шагу, он хотел меня удержать у себя, и я весьма охотно возобновил бы договор на прежних условиях, т. е. с гонораром в пятьсот франков в месяц, который я вообще считал невозможным повысить, как вдруг точно с неба свалилась золоченая черешница, от которой у меня тотчас же голова закружилась.

Полидор Мильо²¹, отец Альберта Мильо²², давно уже сеявшего столько забавных фантазий в том же «Фигаро», только что основал также не политическую газету под названием «Солнце» («Soleil»). Он узнал, что я скоро получу возможность располагать собою, и предложил мне через посредство моего старого друга Эжена Шаветта²³, автора «Roi des gendres»

(«Король зятей»), «Procès Pictompin» («Процесс Пиктомпена») и других замысловатейших вещей, следующие, дотоле неслыханные условия: я буду получать тысячу пятьсот франков в месяц и сверх того премию в три тысячи франков, которая мне будет выплачена еще до того, как я приступлю к работе, при подписании договора.

Эти условия впоследствии часто бывали превзойдены — и значительно. Но в то время они еще не имели прецедента, а мои средства решительно не позволяли мне от них отказываться. Вильмессан был недоволен и заявил, что заключил бы со мною договор на тех же основаниях. Но так как не мне же было ему их ставить, а сам он никаким прямым предложением меня не предупредил, он вынужден был допустить мой уход.

Но при этом он мне сказал:

— Я понимаю, что вы не могли устоять пред таким договором. Но здесь вы имеете аудиторию, которая вас любит и которая разрастается с каждым днем, а у Мильо вы ее иметь не будете. «Солнце» — название неудачное, и газета не отвечает никакой потребности.

И он оказался прав. Хотя я работал над своими статьями столь же добросовестно, как в «Фигаро», — они перестали попадать в цель, и мои дерзости никого не трогали.

Газета влачила вялое существование, со средним тиражом, от которого я уже отвык и который гасил мое рождающееся тщеславие. К счастью, я закончил свое сотрудничество в газете громовым ударом, который мог стать моим Ватерлоо, а стал моим Аустерлицем²⁴.

Один издатель испросил у меня разрешение собрать мои статьи в «Солнце» в отдельный том, которому я предпослал бы какое мне угодно сенсационное предисловие, не опасаясь никаких замечаний и никакого контроля.

От такой перспективы во мне вспыхнул энтузиазм. Все негодование, которое я подавлял в себе и следы которого едва пробивались в газетах, каждодневно отдававшихся в жертву административной геенне, свободно вылилось в нескольких страницах, бывших главной приманкой книги. Я рисковал по меньшей мере двумя годами тюрьмы. Благодаря случаю, который я назвал бы провиденциальным, если бы кто-нибудь мог мне объяснить, что представляет собой провидение, я вышел здрав и невредим из волчьей пасти, в которую я с такой охотой ринулся.

Я дал своей книге название, уже само по себе достаточно непочтительное, — «Большая богема». И я представил в своем зажигательном предисловии* мотивированное объяснение этому названию. Как только так называемое «узаконенное число экземпляров» — точно при империи было когда-либо что-нибудь законное! — доставлено было в министерство внутренних

* См. это предисловие во вступительной статье.

дел, там все было перевернуто вверх дном. Министр юстиции немедленно был оповещен и тут же постановил возбудить против меня преследование.

Но в силу закона нужно было привлечь также владельца типографии и издателя. Тогда заметили, что книга была напечатана у Поля Дюпона, которого крупное положение в промышленности привело в законодательный корпус, где он пользовался большим весом.

Потащить меня в суд — значило посадить на скамью подсудимых и его, а осудить меня, отпустив его с миром, из опасения, что в противном случае он станет в оппозицию к правительству, значило еще больше усугубить скандал. После продолжительных совещаний между министрами и императорскими прокурорами решено было закрыть глаза, дабы не слишком широко раскрыть глаза читающей публике. Но официозным путем, который, может статься, был только ловушкой, чтобы побудить меня скрыться за границу, — что было бы наилучшим исходом для правительства, — мне было дано знать около полудня, что я сейчас буду арестован. Я решил остаться дома и ждать дальнейших событий. Меня не арестовали.

Из двух представителей большой богемы, непосредственно задетых в моем памфлете-предисловии, — Персиньи²⁵ и Морни, — последний умер нелепой смертью, доверившись невежественным отравителям, взявшимся восстановить его энергию молодости. Альфонс Додэ²⁶ превосходно описал в своем «Набобе» конец этого состарившегося престелника.

Совсем за несколько дней до того, как он слег, я был на первом представлении «Прекрасной Елены» в ложе Вильмессана вместе с г-жей Вильмессан и ее двумя дочерьми — г-жей Бурден и г-жей Жувен. Я, конечно, предоставил им передние места, а сам сидел в глубине ложи, почти совсем скрытый от публики.

В первом антракте Вильмессан мне говорит:

— Яркий свет люстры режет глаза моей дочери. Она предпочитает уступить вам переднее место и занять ваше место.

Я принял его слова за чистую монету и сел на самое освещенное место. Вскоре я заметил, что меня упорно рассматривают в бинокль из ложи, находившейся насупротив нашей. Это был Морни, который, желая меня знать по крайней мере по внешности, просил моего главного редактора посадить меня так, чтобы он имел возможность рассмотреть меня со всех сторон.

Вильмессан мне назвал его имя, — я его видел раньше только с трибуны законодательного корпуса. Во втором антракте Вильмессан вызвал меня в коридор, сказав, что задымается в зале. Там он меня вдруг покинул, подошел к группе лиц, повидимому, поджидавших его, и, обменявшись с ними несколькими словами, вернулся ко мне.

— Морни, с которым я только что говорил, — сказал он мне, — горячо желает, чтобы я вас ему представил. Он ничего не имеет против вас по поводу того, что вы писали об одной его пьесе. Идем, — он там, в нескольких шагах от нас.

— Ни за миллион! — ответил я, отступая назад, что не ускользнуло, конечно, от взоров стоявших неподалеку от нас.

— Но что он вам сделал? — спросил, сильно смутившись, Вильмессан.

— Он мне сделал Второе декабря! — очень громко ответил я. И, совсем выйдя из себя, я добавил: — Это убийца! Я не имею обыкновения представляться убийцам.

И я вернулся в нашу ложу, а Морни — в свою. Он не пропустил ни одного слова из нашего разговора, тем более, что я все сделал, чтобы он слышал все, что я сказал.

Когда, две или три недели спустя, он слег, чтобы больше уже не подняться, окружавшие его глубоко удивлены были, слыша, как он, снедаемый жаром, не только то и дело повторял мое имя, но упорно восклицал:

— Остерегайтесь Рошфора! Особенно бойтесь Рошфора!

Однажды, будучи в Ницце, я сидел на скамье на Английском бульваре рядом с господином, которого я не знал и который, обращаясь ко мне, вдруг сказал:

— Вы — г-н Рошфор? Я — Деллагант, банкир. Во время болезни Морни я почти не отходил от него. О, вы можете похвастать, что он не переставал думать о вас до последнего своего часа. Он говорил только о вас и боялся вас, точно бы вы находились в его комнате.

Я принял это за шутку со стороны г-на Деллаганта, с которым мы потом встречались в Париже. Но Альфонс Додэ и некоторые другие постоянно бывавшие у Морни люди подтвердили мне слова Деллаганта. Прием, который его милостивые авансы встретили с моей стороны, вероятно, поразил этого всесильного вельможу, не привыкшего к грубым отказам, и это впечатление еще не изгладилось к тому моменту, когда он слег. И все же странно, что, умирая, он дал императорскому правительству прощальный совет опасаться меня, которому вскоре действительно предстояло достаточно сделать против него и вполне заслужить его опасения.

Несмотря на все усилия шайки Морни превратить Париж в город разгула, он все более и более превращался в очаг глухого недовольства, иногда — страстных требований и даже заговоров. На ряду с императорской полицией возникала своего рода республиканская полиция, зорко следившая за императором, знавшая часы его выездов, места его дневных прогулок и даже его ночных походов.

Большой гуляка, авантюрист по темпераменту, довольно храбрый, он иногда после полуночи отправлялся к графини Кастилионе²⁷, очаровательной итальянке, довольно любопыт-

ный портрет которой пастелью выставил в Салоне 1859 года художник Жиро ²⁸.

Тайным наблюдением за Тюильри установлено было, что Наполеон III ездил иногда к ней по ночам, ибо главной неприятностью, выпадающей на долю монархов, является крайняя трудность принимать у себя своих метресс.

Эти выезды без охраны толкнули группу молодых людей, один из которых впоследствии рассказал мне все с доказательством в руках, на мысль захватить императора. Это явилось бы событием тем более сенсационным, что, если бы план удался, победитель Декабря исчез бы так бесследно, что никто никогда не мог бы догадаться, что с ним случилось.

План, на первый взгляд немного фантастический и даже акробатический, был прекрасно задуман. Заговорщики купили у золотаря старый фургон со всеми принадлежностями, необходимыми для очистки отхожих мест. Переодетые золотарями, они поджидали в нескольких шагах от дома, в котором жила г-жа де-Кастилионе, в одной из улиц, выходящих на авеню Елисейских полей, приезда к графине или отъезда от нее ее императорского любовника. В тот момент, когда он высаживался бы из своей кареты или когда садился бы в нее, на него накинулись бы, втолкнули бы в отверстие фургона и галопом помчались бы в Ла-Вилетт, где и вышвырнули бы в зловонную массу.

От такого трагифарсового конца, который напомнил бы конец Гелиогабала ²⁹, убитого преторианцами в отхожих местах его дворца, избавил Бонапарта один из тех случаев, которые нужно еще предвидеть, когда все, казалось бы, уже предвидено и взвешено. Наполеон III, тяга которого к женщинам доходила до эротомании, вдруг охладел к своей итальянке и тут же заменил ее женой одного из своих незаконнорожденных кузенов, каким он, впрочем, и сам был, ибо в геральдике Бонапартов ветвь незаконнорожденных занимала совершенно исключительное по размерам место.

Но в течение трех ночей под ряд профессиональный фургон мог по два часа простаивать почти у самого подъезда дома очаровательной графини, и дежурные городовые принимали это за одну из тех ассенизационных операций, какие будут необходимы, пока не проведут во Франции канализации, уже много лет существующей в Англии.

Слух, я мог бы сказать — запах этого заговора, смутно распространился по Парижу. Иные даже полагали, что итальянская графиня сама принимала в нем участие, что глаза этой страстной патриотки были лишь главной приманкой в западне, расставленной ею врагу, занявшему столицу Италии французским гарнизоном: Это предположение, которое уподобило бы г-жу де-Кастилионе Юдифи, расплачивающейся своим позором за смерть Олоферна ³⁰, было простой выдумкой. О заговоре

она ничего не знала, а «угнетения» его она, повидимому, очень желала.

Во всяком случае, на ряду с такими частными попытками, завязывался своего рода общий заговор, сперва проявившийся в произносившихся в кафе речах, а потом в ожесточенной агитации во время избирательных периодов. И вдруг это обязательное молчание, которое Эрнест Пикар³¹ назвал в законодательном корпусе «ужасающим покоем», прервано было трубным призывом, пущенным без всякого предупреждения неизвестным профессором. Огюст Рожар³², окончивший Нормальную школу, отказался принести присягу, которую самые убежденные республиканцы могли приносить Луи Бонапарту, ибо они не могли себя считать обязанными выполнять присягу по отношению к нему, раз он не выполнил присяги по отношению к ним.

Рожар напечатал свои «Речи Лабениция», — почти неизвестные нынешнему поколению, но в момент своего появления пробудившие сознание многих, — сперва в журнале «*Rive gauche*» (Левый берег³³), второй выпуск которого был конфискован, а затем отдельной брошюрой, которую буквально расхватали. Памфлетист воспользовался для своего этюда о тирании выходом в свет нелепой книги «Жизнь Цезаря», носившей на обложке имя Наполеона III, хотя она написана была для него другими, да и эти последние, вульгарно говоря, не слишком обременили свою селезенку, работая над ней.

Лабениций — это для тех, кто этого не знает, а таких, я думаю, найдется довольно много — был народным римским оратором, не перестававшим протестовать против захвата власти Августом³⁴, преследовавшим его своими эпиграммами и составившим его жизнеописание. Когда его рукопись, тщательно скрывавшаяся, была найдена и сожжена императорской полицией, он покончил с собою, не желая пережить уничтожения своего труда.

Рожар вложил в уста римского трибуна все негодование, бушевавшее как в его собственной, так и в нашей груди. Памфлет был написан в торжественном стиле, серьезность которого делала его еще более захватывающим и сосредоточенным.

Он отказывался расценивать «прозу того, кто может заточать»*, и тут же дал великолепное описание свободы в духе Августа, ибо автор, благодаря своей удивительной эрудиции, сумел дать точный портрет наполеоновского правительства, не выходя из рамок античного Рима. «Уверяют, — говорит он, — что критика будет свободна, что тирания даст литературе свободу на восемь дней. Но эти дни могут дать только ложную свободу, свободу декабрьскую, свободу карнавальную, *liber-*

* Непередаваемая игра слов, основанная на созвучии слов «*prose*» («проза») и «*proscrite*» («заточать», «ссылать», «изгонять»). — Прим. перев.

tas decembri, как говорит Гораций³⁶. Я не хочу воспользоваться ею.

«Я не хочу, выступая против книги, очутиться между мезью Октавия³⁸ и милостью Августа, не имея даже права выбора. Я не хочу, подобно Цинне⁸⁷, дать «плуту» повод показать себя великодушным, я не хочу милости, которая была бы для меня казнью».

И, отказываясь судить книгу, он судил человека:

«... Между тем сестерции дождем сыпались на плебе. Властелин все чаще стал их раздавать. Можно было подумать, что это ему ничего не стоило. Он раздавал, раздавал, раздавал. Он был так добр, что давал даже детям моложе одиннадцати лет, что было противно закону. Хорошо нарушать закон тому, кто лучше закона!

Что касается его самого, то его развлечения были просты, и если не считать того, что он, быть может, несколько слишком часто отдавал место, принадлежавшее по закону Скрибании или Ливии, то Друзилле, то Тертулле, то Терентилле, то Рурилле, то Сильвии Титисцении, то другим; если не считать того, что посреди всеобщего голода он бестактно слишком весело пиршествовал, переодетый богом, в сообществе одиннадцати собутыльников, подобно ему обоженных; что он несколько слишком страстно любил красивую мебель и прекрасные коринфские вазы, до такой степени любил, что даже иногда убивал владельца, чтобы присвоить себе вазу; что он был игрок в кости; что немного был склонен к пороку своего дяди; что в старости, когда его вкус стал более тонким, он желал предоставлять честь своей интимной близости только девственницам и что заботу доставлять ему означенных девственниц он поручил жене своей Ливии, которая, впрочем, с большим рвением выполняла эту небольшую роль, — если не считать всего этого и еще некоторых мелочей, о которых не стоит даже упоминать, Светоний уверяет, что все остальное в его жизни было правильно и вне всяких упреков».

И, великолепно олицетворяя в своем герое оппозицию, начинавшую рычать в своей клетке, он писал:

«В это время жил Лабиний. Знаете ли вы Лабиния? Это был странный, с своеобразным темпераментом человек. Представьте себе, что он упорно оставался гражданином в городе, где были уже только подданные. «Civis romanus sum»*, говорил он. И не было возможности заставить его отказаться от этого».

* Я — римский гражданин. — Прим. перев.

Если бы деспотизм испокон века не рифмовал с идиотизмом, Луи Бонапарт сделал бы вид, что не узнает себя в портрете Августа. Но этот капрал неспособен был проявить такой такт. «Речи Лабиения», которые я с огромным трудом раздобыл себе, были, подобно книге римского оратора, конфискованы и уничтожены тюльрийскими преторианцами.

Эта грубая расправа способствовала только более широкому распространению брошюры, которую все стали переписывать, так что достаточно было одного экземпляра, чтобы породить штук сорок. Признаюсь без стыда или, если угодно, со стыдом, меня охватила жестокая зависть к этой книжончке, которую я невольно сравнивал со своими, правда прозрачными, но осторожными намеками, какие я позволял себе в своих статьях.

Эта бомба, разорвавшаяся посреди стола, за которым пиршествовала императорская банда, долго преследовала меня — и, конечно, она зародила в моем легко воспламеняющемся мозгу неясный план моего «Фонаря», который явился причиной моей известности, а также и бед моих, если позволительно называть бедами радость, часто глубокую радость страдать за то, что считаешь правдой и что тебе диктует совесть.

Рожара, которого я только один раз в своей жизни видел мельком, точно дикого зверя преследовали сыщики, целую свору которых выпустили на него. Он все же ушел от них и пробрался за границу, где давал уроки, от которых жил скудно и скромно и не думая похвалиться тем, что нанес первый и ужасающий удар империи. Он сам был непримиримым Лабиением, речи которого он напомнил. Преследуемый после Коммуны теми же военными судьями, которые в качестве офицеров так много кричали «Да здравствует император!» и так мало «Да здравствует республика!», он уехал в Венгрию, где поселился в одной семье, детей которой стал воспитывать.

Это был большой талант, искренний, простой и прямой, оставивший великолепный пример того, как можно добровольно оставаться в тени, — пример, которому немногие политические деятели следуют. Жив ли он еще? Не знаю. Но чем более он был забыт, тем более я считал полезным воскресить память о нем. Франция должна, по крайней мере, помнить его. Быть может, она должна была бы поставить ему памятник.

Год, на который я связался с газетой Полидора Мильо, приближался к концу, и чем возобновлять договор на новый год, я предпочел бы вернуться на самых скромных условиях в «Фигаро», где я, по крайней мере, уверен был снова найти широкий круг читателей. Вильмессан, поджидавший моего ухода из «Солнца», снова открыл мне свои двери с предложением двух тысяч в месяц, — предложением, на которое я накинулся с тем большей охотой, что, если бы он мне предложил только пятьсот, я бы их с удовольствием принял.

«Фигаро», раньше выходивший раз в неделю, потом — дважды, превратился в ежедневную газету, оставаясь все же газетой исключительно литературной. Однако я не мог не держаться в своих писаниях самого рубежа политики, так что никогда нельзя было знать, не окажусь ли я по ту сторону рубежа и не попаду ли я под суд исправительной полиции. Правда, нужно было очень мало, чтобы вызвать переполох в министерстве внутренних дел. Дошло до того, что Вильмессан, который разорился из-за меня на извозчиков, был вызван в министерство и ему там угрожали закрытием газеты только потому, что я в ней писал: «г-жа де-Ламбаль³⁸, эта принцесса, имевшая отвратительную привычку выходить, держа свою голову на кончике пики».

Вильмессан, легко изворачивавшийся, ответил, что образ ему самому показался довольно неприличным, но не императору же выражать неудовольствие по этому поводу, ибо, если бы Людовик XVI³⁹ и Мария-Антуанетта⁴⁰ сохранили свой трон, вместо того чтобы погибнуть на эшафоте, тот, кто царствовал бы нынче во Франции, назвался бы Генрихом V⁴¹, а отнюдь не Наполеоном III.

Пика г-жи де-Ламбаль на этот раз еще прошла благополучно, но по поводу воздушного шара, который аэронавт Годар окрестил «Орлом» и который никак нельзя было заставить подняться, я совершил рецидив, написав: «Орлу положительно приходится делать большие усилия, чтобы перелетать с колокольни на колокольню и добраться таким образом до башни собора Парижской богородицы».

Эта шутка, намекавшая на известную фразу шефа династии, снова навлекла на газету яростный гнев администрации. Вильмессану объявили, что если он не покончит со мною, — будет покончено с ним.

Я знал, что недели за две до того Бисмарк⁴⁴ был столь непопулярен, что ему почти нельзя было показаться на улице без того, чтобы его карету не забросали всякими предметами. Я завязал разговор с этим военным, который был, кажется, жестяником и по сравнению с которым я, конечно, считал себя значительно выше. Воспроизвожу здесь этот краткий разговор, из которого можно вывести большое поучение.

— А что думают теперь в армии о вашем пресловутом графе Бисмарке? — спросил я.

— О, сударь, — ответил он, — это наш бог!

— Но в прошлом году вы его, кажется, ненавидели?

— А теперь мы его обожаем.

— В таком случае нужно признать, что вы не очень разбираетесь в том, чего вы хотите.

— Мнения людей меняются!

— Но, — продолжал я настаивать, — вы его ненавидели потому, что он хотел войны, а теперь вы его возносите до небес потому, что он-таки заставил вас воевать!

— Ничего не поделаешь, но это так...

Он не знал, почему это так, и я этого тоже не знал. Сознываясь, что ужасно боялся за свою жену, которая осталась бы без всяких средств, если бы он был убит, он в то же время благославлял человека, пославшего его на смерть.

И мы с Сироденом и Коньяром забавлялись наивностью нашего товарища по вагону, между тем как он мог бы с гораздо большим основанием забавляться нашей наивностью. Но наше веселье сменилось безумным хохотом, когда мы увидели, как продефилировало несколько батальонов германской армии. В одном сборнике своих старых статей я нахожу следующие строки, которые датированы 12 сентября 1866 года и в которых я не меняю ни одного слова:

«Германия является в настоящий момент страной, в которой можно слышать наибольшее количество бессмыслиц. Когда мы прибыли во Франкфурт, генерал Мантейфель⁴⁵ производил смотр войскам. Оккупационный корпус был в парадной форме. Офицеры и солдаты гордо носили остроконечные каски, напоминающие своим видом газовые аппараты.

— Их каждое утро заставляют проделывать маневры, — сказал нам самым обыкновенным тоном хозяин нашей гостиницы, — во-первых, для того, чтобы держать в страхе город, во-вторых, потому, что как раз эти полки должны рано или поздно пойти на Париж».

Можно себе представить, как мы держались за бока от этого забавного предсказания, которое я поспешил отметить в одной из своих статей в качестве образчика тевтонской спеси. Какой добрый генерал Бум этот Мантейфель! Мантейфель, идущий

на Париж! Нет, никогда еще более смехотворная сцена не украшала какое-нибудь обозрение в Пале-Рояле!

А четыре года спустя после этого военного зрелища, которое вызвало у нас столь неугасимое веселье, тот же Мантейфель вел против нас те же самые полки, которые били наши полки, занимали один за другим Лан, Амьен, Руан, Дьеп, Париж, после чего он стал главнокомандующим оккупационной армии, и, не будучи в состоянии избавиться от нее с помощью пушек, мы должны были освободиться ценою миллиардов.

Когда я возвратился в Париж в том же состоянии республиканской нераскаянности, в котором уехал, Вильмессан серьезно стал думать о том, чтобы просить разрешения превратить «Фигаро» в политическую газету. Он имел бы в таком случае право на два предупреждения до полного закрытия газеты. Это была та же смерть, но с некоторой отсрочкой.

Одна новая моя статья побудила его остановиться на этом решении. В своей истерической низости и падучей пошлости цензура запретила весь репертуар Виктора Гюго⁴⁶. «Король развлекается», «Лукреция Борджиа», «Анжело», «Бургграфы» были изгнаны из театра, как заключающие в себе оскорбление величия императорского трона, хотя они были написаны и показывались на сцене задолго до реставрации империи. Но «Кары» сделали преступными все произведения поэта. Дело дошло даже до того, что, когда двое моих друзей, Адольф Шолер и Сироден, ввели в свой водевиль, озаглавленный «Amoureux de la bourgeoisie» александрийский стих:

Je suis un vers de terre amoureux d'une étoile»*,

Анастасия** вычеркнула его, как заимствованный из «Рюи Блаза»! Вот каково было положение в отношении свободы печати.

Как раз в это время директор одного театра в Бордо, будучи не в курсе административных предписаний, объявил и поставил, с разрешения тоже неосведомленного префекта, того же самого «Рюи Блаза» в пользу жертв наводнения. Успех был огромный и сбор великолепный.

Можно было предвидеть серьезные последствия этого недоразумения: в Бордо целиком ставится пьеса, из которой в Париже нельзя процитировать ни одного стиха, даже немного исковеркав его!

Я поспешил, конечно, обратить внимание читателей «Фигаро» на эту смехотворную непоследовательность произвола. Из сопоставления запрета, с одной стороны, и разрешения, с другой, — говорил я, — следует, что произведения Виктора Гюго, нетерпимые в столице, не представляют никакой опасности в провинции. И я тоном насмешливо-серьезным спра-

* «Я — червь земли, влюбленный в звезду». — Прим. перев.

** Т. е. цензура. — Прим. перев.

шивал: каким образом директор бордоского театра мог про- шивать так мало уважения к жертвам наводнения, и без того не- счастливым, что решился раздать им сбор с пьесы, очевидно без- нравственной и подкупной, ибо она была запрещена в том самом Париже, который считается однако очагом подкупности?

«Если, — продолжал я, — Виктор Гюго — писатель до такой степени развратный и развращающий, что не может остаться в репертуаре, почему же вы его даете в пользу жертв навод- нения? А если вы его находите достаточно неопасным, чтобы ставить его в пользу этих жертв, почему не позволяете вы, чтобы его давали в пользу парижан, ни от какого наводнения не пострадавших?»

Вильмессан, которому снова пригрозили закрытием газеты, заявил, что ему надоело столь «нетерпеливое терпение» и что он внесет залог в тридцать тысяч, благодаря которому его газета получит право касаться прений в законодательном кор- пусе и помещать критику, как бы мало она ни допускалась, действий правительства.

Так создан был политический «Фигаро», в котором я, правда, был единственным политиком и который теперь не- сколько застраховался от моих наскоков. Но моя статья о поста- новке «Рюи Блаза» несомненно вызвала данное Французскому театру разрешение приступить к репетированию «Эрнани».

Министерство изящных искусств, портфель которого нахо- дился тогда в руках маршала Вальяна⁴⁷, — я выразился о нем, что он научился распознавать художественные картины в ка- драх* армии, — вообразило, что сыграет жестокую шутку с Виктором Гюго, воскресив наиболее романтическую из его пьес. «Коленопреклоненные» из кабинета министров помнили отчеты о первом, столь бурном, представлении шедевра и, не считаясь с литературной эволюцией, совершенно изменившей с 1831 года вкусы публики, они ждали свистков и провала драмы. В ожидании реванша над автором «Искупления» весь главный штаб придворных прихлебателей заполнил партер и ложи. Позади моего кресла находился Ньюверкерке⁴⁸, си- девший рядом с Вильмессаном, с которым я беседовал, пово- рачивая к нему голову, так что завсегдатай Елисейского дворца не упустил ни одного из моих замечаний, не отличавшихся, конечно, нежностью к режиму.

Вильмессан, который был олицетворенным невежеством, сказал мне перед поднятием занавеса:

— Я никогда не читал «Эрнани», но говорят, что пьесу нельзя будет довести до конца — настелько она скучна.

* Игра слов: *cadre* по-французски значит «кадры» и, вместе с тем, «рама». — П р и м. п е р е в.

— Именно в этой надежде и разрешили ее постановку, — ответил я, — но если бы мне нужно было высказать суждение о пьесе Виктора Гюго, то, конечно, не с маршалом Вальяном стал бы я советоваться на этот счет.

Ньюверкерке, с которым мне уже пришлось дважды посчитаться, слушал меня с почти ободряющей улыбкой. Я стал человеком опасным, т. е. таким, с которым нужно быть осторожным, и мне казалось, что, несмотря на мои выходы против правительства, он склонен был примириться со мною.

Возобновление драмы Виктора Гюго имело безумный успех. Ни один стих не прозвучал впустую. Партер и галерка ликовали, и крики «Да здравствует Виктор Гюго!» перекрещивались через люстру.

Правительственные лакеи, сбжавшиеся полюбоваться провалом, были подавлены. И так как невозможно было отрицать аплодисменты, вызванные великолепием стихов и величию содержания, тюильрийская банда ухватилась за глупую фразу, которая множество раз произносилась и которую Ньюверкерке, совсем обескураженный, не преминул нам снова преподнести:

— Как жаль, что такой большой талант стал заниматься политикой!

И хотя эти глубокомысленные слова не ко мне были обращены, я не мог удержаться, чтобы не ответить:

— Оказывается, одни только болваны имеют право заниматься политикой. Не очень это лестно для главы государства.

Мое замечание заставило Вильмессана рассмеяться, и товарищ министра изящных искусств возразил:

— Это совсем не одно и то же!

— Надеюсь, чорт возьми! — кинул я в ответ.

Блеск этой постановки отнял у администрации желание снять запрет, еще лежавший на других произведениях поэта. По отношению к нему допускалась не имеющая, быть может, прецедентов несправедливость — у него просто украли его пьесы и давали их в итальянском театре с музыкой Доницетти и Верди ⁴⁹ под названием «Лукреция Борджиа», «Риголетто», «Эрнани», и, несмотря на его законные протесты, их ставили без его разрешения и без выплаты ему авторского гонорара. И в то же время ему отказывали в разрешении ставить те же самые драмы на тех сценах, которым он их предназначал, и на том языке, на котором он их писал.

Он возбудил процесс против взломщиков, обкрадывавших его рукописи. Незачем говорить, что он его проиграл, ибо судьи сочли своей обязанностью заявить, что обирать врага государя, которому Франция обязана своим счастьем, — в ожидании того времени, когда она ему обязана будет вражеским нашествием, — является актом лояльным и заслуживающим одобрения.

Вероятно от этого столкновения с либреттистами и музыкантами у Гюго осталось такое отвращение к музыке. Когда

я почти совсем жил у него, на площади Баррикад, во время моего брюссельского изгнания, с августа 1868 по ноябрь 1869 года, я видел, как он вздрагивал, когда я принимался напевать арии Верди, которого он, несмотря на его умение владеть собою, покрывал грубой бранью.

Когда я шутя хотел его вывести из себя, я хладнокровно говорил:

— Ведь всем известно, что вы свою пьесу «Король развлекается» буквально списали с «Риголетто».

Мне, наконец, удалось убедить Вильмессана, что, хотя он и внес залог только для страховки, он все же должен был бы позволять себе немного политики за свои деньги. И я в каждой статье увеличивал постепенно дозу политики, прямо задевая окружавших его царедворцев, пока я, наконец, не стал нападать непосредственно на императора.

То я задевал Руэра⁶⁰, требуя от него отчета в том вполне верном помещении денег, которое он рекомендовал с трибуны законодательного корпуса под названием «мексиканских облигаций» и которое я назвал не самой великой мыслью царствования, а самым великим его жульничеством.

То я приставал к Персиньи, вышучивая его дворянские и ораторские претензии, спрашивая у него имя писателя, фабриковавшего ему речи, которые он читал в законодательных учреждениях.

А потом наступил, наконец, черед самого Бонапарта, которого я по случаю смерти Сулука⁶¹ сравнивал с этим цветным императором. Под видом биографии умершего я закончил свою параллель в выражениях, смысл которых не решились подчеркнуть предостережением газете, ибо это предостережение только усугубило бы сходство портрета.

«На ряду с другими изображениями, которыми потомство призвано восторгаться, его придворные льстецы придумали следующее. К последним годам своего царствования, когда любовь его народов начала показывать на солнце два градуса ниже чего бы то ни было, старый Сулук любил объезжать свои провинции, чтобы подогреть энтузиазм, который, точно шампанское, с каждым днем все более замораживался.

И вот, — и в этом отношении придворные лакеи Гаити заслуживают первой медали на выставке низостей, — и вот, чтобы старые уши Сулука не были опечалены мрачным молчанием, встречавшим повсюду его проезд, к колесам его вагона приделали звуковой аппарат, непрестанно кричавший «да здравствует император», пока поезд находился в движении.

Сидя в глубине своего купе, Сулук был убежден, что это — непрестанные приветствия из признательных глоток его верных подданных. Тронутый до слез, он временами со словами «ловите, добрые люди» кидал через окно монеты, которые ко-

чегар, машинист и первый министр, не говоря ни слова, делили между собою. И его величество возвращался в свою столицу, убежденный, что он более силен и обожаем, чем когда-либо.

Вот каким образом государи никогда не могут знать правду. Сулук, вероятно, приказал бы расстрелять своего премьера, если бы последний осмелился ее ему поведать. Наша страна совершила тем не менее великую несправедливость, с полным равнодушием взирая на похоронную процессию этого низложенного государя. Если кто заслуживал когда-нибудь признательности людей, — это, конечно, Сулук. Он принизил дворянство, награждая своих приближенных титулами, заимствованными из поваренной книги хорошего кондитера. Он обесценил плюмажи, придав головам своих сановников вид яростных жвачных животных. Он свел мундиры, которые во Франции господствуют надо всем, к подделке мундира швейцарского адмирала из «Парижской жизни».

Таков политический инвентарь бывшего императора Гаити. Укажите же мне писателя, философа или моралиста, больше его заслуживающего признательности людей, к несчастью все менее и менее многочисленных, которые думают, что ничто так не способствует прогрессу цивилизации, как высмеивание того, что действительно смехотворно».

Прозрачность этих намеков, которые в настоящее время никто не дал бы себе труда истолковать и которых, впрочем, никто не стал бы писать, тогда перекраивали все допустимые и дозволенные представления об уважении к особе монарха. Снова вызвали Вильмессана и потребовали объяснений по поводу этой новой статьи, в которой не только император, но и министры, дворянство, армия и все мундиры брошены были в жертву всеобщей насмешке. Префект полиции спросил его даже, когда я, наконец, остановлюсь, на что Вильмессан, по его словам, ответил:

— Думаю, что он остановится только тогда, когда вы его остановите, арестовав его.

На это последовала следующая реплика префекта:

— Мы об этом думаем.



ГЛАВА IV

Немного естественной истории. — Судья Дельво. — Прощание с «Фигаро». — Зарождение периодической брошюры. — Министр Пинар. — Бишофгейм. — «Фонарь»

К счастью, это происходило в 1867 году, в разгар Всемирной выставки, несколько месяцев спустя после пресловутого письма Наполеона III, известного под названием «письма от 19 января», в котором возвещались в близком будущем некоторые либеральные уступки, и он считал нужным скрыть от взоров монархов, приезжавших к нему с официальными визитами, зрелище слишком бросающегося в глаза порабощения целого народа.

Но я чувствовал, что молнии бороздили атмосферу над моей головой, и я постоянно ждал какого-нибудь злого укуса от императорской птицы. Помимо того, моя система полемики начала вызывать подражания. Так как для основания политической газеты необходимо было не только получить разрешение министерства, но и внести залог в тридцать тысяч франков, то республиканская молодежь, наиболее активными вожаками которой были Рауль Риго⁵², Ферре⁵³, Лонге⁵⁴, умудрилась бросать правительству в ноги петарды, против разрыва которых правительство, несмотря на все свое всемогущество, было совершенно беспомощно.

Риго, например, с самым невинным видом являлся в министерство регистрировать название журнала: «Природа», или

«Наука для всех», или «Географ», — все такие по существу благонадежные названия, которым политика, казалось, была совершенно чужда.

Появлялся первый номер — и в нем можно было прочесть следующее:

«Дорогие читатели, мы начнем, если угодно, очерками по естественной истории. Вот прежде всего

ОРЕЛ,

которого называют «царем птиц».

И затем безо всяких околичностей говорилось:

«Орел — хищное животное, он — грабитель, вор, подл и жесток. Он питается мясом других, более слабых, животных и даже забирается в их гнезда и пожирает их яйца. Он часто набрасывается на баранов, сдирает с них шерсть и устилает ею свои собственные гнезда. Он не гнушается никакой жестокости, лишь бы удовлетворить свой аппетит.

В конце концов, естественники, быть может, были правы, дав ему титул «царя», ибо большинство монархов, подобно орлу, обычно питается кровью своих подданных, как, впрочем, и достоянием, с таким трудом добытым ими».

Как только экземпляр журнала сдавался в министерство, агенты набрасывались на киоски, чтобы остановить продажу, но обычно бывало уже слишком поздно. Полиция поджидала тогда, — чтобы конфисковать его, — появления второго номера, который, конечно, не появлялся. Зато спустя несколько дней выходил другой, не менее научный журнал, первая статья которого представляла собой диссертацию о привычках, оперении и нравах журавля. В диссертации объяснялось, что эта болотная птица ходит, переваливаясь с ноги на ногу и приподнимая перья своих крыльев, что ей придает такой вид, точно на ней кринолин. Эта птица, лишенная малейшей крупинки разума, питается рыбами и часто оседает на крышах домов и даже дворцов. Нередко можно видеть журавлей даже на балконах тюльрийского дворца.

«Ученые насчитывают несколько видов журавлей и, между прочим,

ЖУРАВЛЯ КОРОНОВАННОГО,

который отличается тем, что у него на голове перо в форме диадемы. Кроме того, он выступает с большой сесью и имеет такой вид, точно говорит другим журавлям своего антуража: — Я коронован, а вы — нет».

Так как по закону каждое периодическое издание обязано было иметь ответственного жерана, Ферре и его товарищи отправлялись ночью на Центральный рынок, брали там одного из несчастных, проводивших ночи под прикрытием павильонов, нанимали ему комнату на два дня в каком-нибудь соседнем отеле и, уплатив ему двадцать франков, давали ему подписать заявление об ответственности за издание, которое относили, как того требовал закон, в министерство.

Если бы прокуратура сочла нужным возбудить судебное преследование за все эти преступные оскорбления естественной истории, она не имела бы никакой возможности захватить преступника, давно уже покинувшего свой отель и снова возобновившего кочевую жизнь.

Но если императорскую чету отделяли с такой дерзостью, то должностных лиц, их защищавших, еще гораздо меньше щадили. Судья Дельво⁵⁵, оставшийся памятным в судебных анналах по своей грубости, цинизму и невоспитанности, был специально взят под обстрел революционерами, которые заставляли его дорого расплачиваться за несправедность его приговоров.

Этот Дельво был раньше сыщиком, принимал участие во время государственного переворота в арестах некоторых депутатов и обратил на себя внимание начальства поспешностью своего перехода на сторону насильника против насилуемого закона. И таким путем он достиг того, что назначен был следователем при шестой палате суда исправительной полиции, где ему поручались все дела, соприкасавшиеся с политикой.

Этот пожиратель республиканцев был, вероятно, не более продажен, чем его коллеги, но он позволял себе на суде столь непристойные приемы, а иногда и столь грязные выражения, что стал типичным представителем декабрьских судей.

Он сделал Жюлю Фавру⁵⁶, выступавшему с защитой в его палате, замечание до такой степени неприличное, что знаменитый адвокат воскликнул:

— Поистине руки опускаются!

И Дельво ответил на это:

— Дайте им упасть, метр Жюль Фавр! Кто-нибудь поднимет их вам.

Рауль Риго, которого выслеживали агенты полиции и который, в свою очередь, следил за ними и знал имена, внешность и адреса всех служащих префектуры, одно время неотступно следовал по пятам Дельво, который был отъявленным пьяницей и почти всегда открывал судебные заседания между двумя выпивками.

Риго узнал, что он каждый вечер бывал в одном небольшом кафе, где играл в карты, иногда засиживаясь там до полуночи. Этот строгий, но несправедный человек пользовался к тому же в своем квартале репутацией неутомимого охотника

за девицами. Собрав эти сведения, Риго привел однажды в кафе, в котором пьянствовал Дельво, свою молодую подругу по Латинскому кварталу и как бы случайно усадил ее рядом с нашим судьей. Затем он ушел, оставив достаточно подготовленную к своей роли подругу.

Девушка стала стрелять глазами в старото сладострастника, и около одиннадцати часов вечера он предложил проводить ее домой. Она согласилась: ведь это входило в ее план. Но когда они вместе вышли из кафе, Риго набросился на молодую девушку, схватил ее за плечо и крикнул, потрясая ее:

— Как, ты, сестра моя, позволяешь этому старому борову ухаживать за собою! Подожди же, вот увидишь, как мы его разделаем!

И вместе с тремя своими товарищами он набросился с кулаками на Дельво, который подвергся такой жестокой потасовке, что на следующий день явился на заседание с расквашенным носом и глазами, напоминавшими ореховую скорлупу. Риго даже доставил себе удовольствие провести несколько часов на заседании, в уверенности, что, если бы председатель его и узнал, он не посмел бы возбудить дело, опасаясь разоблачений, которые сильно отразились бы на репутации его беспорочной тоги.

Год или пятнадцать месяцев спустя я имел возможность испытать на себе самом судейские приемы этого агента императорского режима. Двое нанятых шпииков выпустили против меня гнусную брошюрку, в которой я обвинялся в том, что называюсь чужим именем, выдаю себя за француза, между тем как в действительности я — американец, и несколько раз был осужден за мошенничество.

Я имел слабость, вместо того чтобы презрительно пожать плечами, закатить пару оплеух типографу, у которого был напечатан этот вздор. Это был самый глупый ответ правительству. Не зная, что предпринять, чтобы уничтожить «Фонарь», который я тогда издавал и о зарождении которого я расскажу дальше, оно было в восторге от такого удобного предложения уничтожить его автора. Побитый типограф ответил жалобой в суд исправительной полиции, и, конечно, Дельво было поручено ликвидировать эти две оплеухи.

В противовес тому, что мне известно было об этом председателе, он обращался со мною крайне любезно и даже благосклонно. Когда мой адвокат, Клеман Лорье, огласил гнусный пасквиль, — Дельво, казалось, разделял негодование аудитории тем более, что полиция, всегда хорошо осведомленная, позаботилась послать в конверте этот комок грязи в тот пансион, в котором воспитывалась моя дочь.

— Говорите без стеснения, — обратился ко мне председатель с трогательной вежливостью. — Трибунал понимает, какое ожесточение должно было вас охватить, когда вы увидели, что

эти гнуснейшие обвинения выставлены в витринах книжных магазинов... Я вас слушаю.

Так как я и тогда был и, несомненно, по сию пору остался простаком, я с полной искренностью рассказал, что, возвращаясь с дачи, я случайно увидел в витринах эту гадость, наскоро захватил с собою двух коллег и отправился с ними в типографию, которая напечатала пасквиль и где я рассчитывал встретить обоих негодяев. Но так как они благоразумно скрылись, я вынужден был удовольствоваться типографом, который к тому же заявил, что берет на себя полную ответственность за напечатание этой грязи, и который, как я узнал впоследствии, печатал ее за счет полицейской префектуры.

Дельво и двое немых субъектов, бывших его заседателями и соумышленниками, следили за моим показанием с обнадеживающим вниманием. Клеман Лорье произнес горячую и умную речь, и когда вся зала, включая и прибитого типографа, была уверена в оправдании, Дельво с той же благосклонностью огласил приговор, которым я присуждался к *четырем месяцам* тюрьмы за «злоумышленное» избиение.

Тогда только я понял, что это была комедия, предварительно условленная между Дельво и министерством. И именно сознание унижения, что я столь наивно дал себя провести, больше всего угнетало меня. Типограф, который обанкротился и которого я впоследствии, после своего бегства из Новой Каледонии, встретил в Женеве, уверял меня, что дважды хотел взять назад свою жалобу, но его заставили дать ей ход.

Я уже не жалел, что Рауль Риго задал потасовку этому чудовищному судье, который, конечно, сознавал, что совершил по отношению ко мне мерзость. И действительно, когда, 4 сентября 1870 года, по городу стал циркулировать список членов правительства национальной обороны, его охватило жестокое волнение, и он спросил своего лакея:

— Значится ли в списке г-н Рошфор?

— Да, — ответил ему слуга.

Дельво тотчас же прошел в свою туалетную комнату, вынул из ящика заряженный револьвер и — застрелился.

Но когда Рауль Риго подсылал к нему девушку и кровянил ему кулаками лицо, был еще только 1867 год. Париж был переполнен более или менее царственными иностранцами, сбегавшимися, под предлогом осмотра Всемирной выставки, повеселиться в отдельных кабинетах ресторанов и за кулисами Большой оперы.

Мы ощулю пробирались к заре свободы, на наступление которой мы мало надеялись. Но мы все же продвигались к ней, смутно рассчитывая на ту апельсиновую корку, о которую случается иногда поскользнуться и геркулесам.

Когда короли разъехались по своим странам, полицейская слежка, объектом которой я был, стала сжиматься вокруг меня

все более тесным кольцом. Моя статья, в которой я рассказывал, по поводу одной императорской охоты в Компьене, как выпускали на расстоянии восьми метров от императора дрессированного зайца, который притворялся раненным выстрелом императорского ружья и через пять минут снова появлялся, чтобы возобновить тот же маскарад, не только переполнила, но прямо взорвала чашу, разогревавшуюся для меня.

Пьетри⁵⁷ снова вытребовал к себе в префектуру Вильмессана и заявил ему, что меня больше терпеть не желают: либо я немедленно буду устранен из «Фигаро», либо газета будет закрыта. Все хитроумные объяснения моего главного редактора спотыкались о заранее принятое и непреодолимое решение. Единственное, чего Вильмессан мог добиться, — это, что мне разрешат остаться в «Фигаро», если я сам пойду к префекту и дам ему «честное слово», что отныне я замкнусь в рамках вопросов искусства и что, говоря о какой-нибудь картине, я ни в малейшей мере не буду врываться в область политики.

— Прекрасно! — ответил я. — Напишите Пьетри, что я согласен на все при одном условии: он меня назначит секретарем полицейского комиссариата моего округа.

Это положило конец всяким переговорам. Я распростился с читателями «Фигаро» в статье, которая начиналась так:

«Изгнанный из республики с запрещением носить имя Пьетро за то, что я не хотел носить имени Пьетри . . .»

Этот вынужденный уход вызвал больше шума, чем я мог предполагать. В вечер моего сенсационного увольнения я присутствовал на премьере в «Водевиле», и когда я поделился с Пьером Вероном⁵⁸ своим беспокойством по поводу моего материального положения, которое должно было стать критическим, ибо ни одна газета не проявит такого мужества, чтобы приютить изгнанника, мой старый товарищ по «Шаривари»⁵⁹ посоветовал мне следующий выход:

— Так как вам не разрешают жить у других, почему вам не обзавестись собственным домом? Создайте свою собственную газету, в которой вы будете единственным сотрудником. Вы будете тогда сражаться за свой риск и страх, не боясь никого повлечь за собою в своем крушении.

Припомнив успех «Речей Лабения», я остановился на плане брошюры, но не отдельной, а периодической, которая примерно, каждую субботу станет разрываться над головою правительства. Я тут же принял окончательное решение и стал думать только о том, какое мне подыскать название.

На следующий же день я сообщил о своем плане или, вернее, плане Пьера Верона Вильмессану, который со своим чутьем застарелого рецидивиста журнализма принял его с энтузиазмом. Он предложил мне даже внести деньги, необходимые

на первые расходы по печатанию, бумаге и организации издания, обещав в тот же вечер принести названий двадцать, из которых я выберу наиболее подходящее для того вида борьбы с правительством, которую я подготовлял.

В тот же вечер я, действительно, получил список названий и в нем мне сразу бросилось в глаза название «Фонарь» («Lanterne»), на котором я без всяких колебаний остановился. Некоторое беспокойство я испытывал лишь относительно денежного участия Вильмессана, на которого правительство всегда могло оказать давление, пригрозив ему закрытием «Фигаро», и который поэтому мог пытаться сдерживать мои нападения.

В виду этого я лишь весьма условно принял его предложение, решив совсем отказаться от него, если бы мне были сделаны другие предложения, более соответствующие моим планам. Как раз приятель мой Сироден, узнавший о переговорах из газет, в которых уже говорилось о грозном названии моего нового издания, вихрем ворвался ко мне, умоляя меня ни с кем не заключать договора, не повидавшись еще раз с ним. У него, дескать, имеется в виду банкир, который предоставит мне полную свободу действий, внесет за меня требуемый залог и нисколько не интересуется прибылью, какую может дать предприятие. Это было слишком соблазнительно — и нужно было выяснить, не скрывается ли за этим что-нибудь подозрительное.

Мы вышли на бульвар, продолжая беседовать. Сироден, скрывавший за кажущейся простотой много ума и хитрости, вдруг сказал:

— Я вас покидаю. У меня свидание у управляющего делами семьи Орлеанов, Эдуарда Боше, который хочет мне показать две великолепные картины, недавно купленные герцогом Омальским. Они пока находятся у него, но скоро должны быть отправлены в Англию. — Потом, как бы вспомнив, что я люблю старинные картины, прибавил: — Почему бы, впрочем, и вам не пойти со мною? Вам доставить удовольствие посмотреть эти два прекрасных полотна. Пойдем! Боше, вероятно, не будет дома, и нам их покажет слуга.

Я без недоверия последовал за ним, и мы вышли в улицу Виль-Левек, где, насколько мне помнится, жил управляющий именьями Орлеанов, которыми в то время нетрудно было управлять, так как Луи Бонапарт присвоил себе, по крайней мере, три четверти их.

Нужно напомнить, что орлеанисты вели в то время столь же открытую борьбу против империи, как и республиканцы. Принцы были изгнаны и, следовательно, внушали некоторое сочувствие. А относительно меня, сотрудника, в сущности, консервативного, хотя и достаточно эклектического «Фигаро», некоторые не знали, какое собственно правительство я желал бы видеть на месте правительства государственного переворота.

Мой приход к Эдуарду Боше, тоже осужденному бонапартовской юстицией, не представлял собою поэтому ничего несоместимого с моим республиканизмом, тем более, что повodom к моему визиту послужил вопрос искусства, и я пошел к нему с Сироденом, как пошел бы в Луврский музей.

Эдуард Боше, которого я за всю жизнь видел этот единственный раз, был дома и принял нас с большой любезностью; он давно был связан с Сироденом, служившим при Луи-Филиппе⁶⁰ в дворцовом ведомстве. Полюбовавшись действительно великолепными полотнами, я собирался уже уйти, но Боше любезно пригласил нас посидеть с ним у камина и побеседовать о гнусном правительстве, об изданном им против меня своего рода проскрипционном декрете, грубо вырывавшем перо из моих рук и хлеб из моего рта.

Конечно, коснулись и моего «Фонаря», название которого уже было заявлено в министерстве и который еще до своего появления уже сильно занимал общественное мнение. И Сироден, бросив всякую дипломатию, открыто признал, что «банкир», о котором он мне говорил, был не кто иной, как герцог Омальский⁶¹. С безответственностью водевилиста он подсчитывал суммы предстоящих расходов, считая в том числе и тридцать тысяч франков залога. Боше даже заметил при этом:

— О, залог — это потерянные деньги. Их никогда не возвращают.

Я кусал себе губы, боясь ответить каким-нибудь обидным словом на сердечный прием, оказанный мне верным другом низложенной династии. Но я встал, не дав никакого ответа, и едва мы очутились на лестнице, я заявил Сиродену, что ни в каком случае не пойду на эту сделку, о характере которой он обязан был меня, по крайней мере, предупредить. В тот же вечер я договорился с Вильмессаном и Дюмоном, одним из акционеров «Фигаро». Оба вносили по десяти тысяч франков.

Однако, несмотря на пресловутое письмо от 19 января, которым Наполеон III возвещал стране либеральную империю и свободу печати, царство произвола продолжало свирепствовать с прежней интенсивностью. Предварительное разрешение навязанное всем несчастным, обуреваемым зудом основывать периодические издания, оставалось обязательным. Предупреждения и всякие коммюнике сыпались дождем, как и на следующий день после декабрьских расстрелов.

Министром внутренних дел был тогда маленький человек, вытягивавшийся на своих высоких каблуках и, подобно всем карликам, крайне тщеславный. Он назывался Пинар и был раньше генеральным прокурором. Со своим ростом, который не был высок, он соединял ум, который был не выше. Только самолюбие было у него чрезмерным.

Неслыханное дело! Министерским портфелем он обязан был своему ханжеству. Испанка из Тюильрийского дворца даро-

вала своєю протекцюю этому иезуиту, который своим аффектированным походом к церковному алтарю являл пример фанатической набожности в городе Дуэ, где он был «стоячим судьей»⁶².

Хотя я почти был уверен в характере ответа, я послал этому кулачному министру, которого я потом так часто брал в кулак, официальную просьбу о разрешении, которая была надменно отвергнута. Но борьба, которую я один начинал против целого режима, начала интересовать и даже страстно возбуждать публику. Своими глупыми преследованиями и открыто обнаруживаемым им страхом пред моими нападками министерство лучше подготовляло успех «Фонаря», чем я мог бы этого добиться всеми известными приемами рекламы.

Хотя маленький Пинар и отказал мне в предварительном разрешении, он, конечно, понимал, что дело на этом не остановится, что после письма от 19 января император не мог, не оказавшись еще раз клятвопреступником, сохранить те препоны, которые он обещал снять, и я скоро возьму реванш. Новый и провинциальный министр внутренних дел так мало чувствовал себя спокойным, что совершил грубую ошибку, поручив передать мне предложение мира. Я учился в детстве вместе с сыном близкого друга моего отца, Фердинанда Лангле, автора многих водевилей, нескольких феерий и оперного либретто под названием «Жакерия». Элик Лангле, его старший сын, тоже пытался писать для театра, но без особого успеха. Несколько разочаровавшись в литературе, он обеспечил себе кусок хлеба, приняв в министерстве внутренних дел место просматривающего политические газеты, тенденции и проступки которых он отмечал для правительства.

И вот, ко мне направили этого товарища детства, проделавшего карьеру, совершенно противоположную моей. Он знал меня маленьким, бледным, золотушным и робким, и теперь не мог надивиться тем почти революционным положением, которое я занял благодаря своей непримиримости.

В одно утро он заявился ко мне и спросил меня от имени министра, куда я собственно иду. Я ответил ему, что иду туда, куда буду в состоянии дойти.

— Но уверяю тебя, — сказал он, подчеркивая слова, — что против тебя, в сущности, ничего не имеют в министерстве. Г-н Пинар еще вчера говорил мне, что ты очень умен.

— Ну, это еще не значит, что я действительно умен, — ответил я, — потому что твой Пинар, по-моему, не очень-то силен. Но если у меня действительно есть ум, я постараюсь его использовать.

— Но почему, — спросил Элик Лангле после некоторого раздумья, как бы даже с некоторым неопределенным беспокойством, — почему хочешь ты назвать свое новое издание «Фонарем»?

Я догадывался, что в этом Дамокловом издании все их беспокоит, все — вплоть до названия. Поэтому я, желая позабыться, ответил:

— Ты им скажешь, этим господам, что я назвал его так потому, что фонарь может одинаково служить и для того, чтобы светить честным людям, и для того, чтобы на нем можно было вешать преступников.

Когда, некоторое время спустя, нужно было составить обложку для моего журнальчика, я вспомнил тот ответ, который дал посланцу министра, и просил прибавить к главному рисунку крепкую веревку, в значении которой никто, конечно, не сомневался.

Элик Лангле ушел достаточно обескураженный. Но эта дуэль с правительством, в которой силы дуэлянтов были по внешности столь неравными, привлекла ко мне столько симпатий, что они, в конце концов, стали проявляться публично. Как-то мы вместе с Эрнестом Блюмом⁶³ пошли в «Одеон» на возобновление драмы Дюма⁶⁴ «Кин». Как раз в тот момент, когда мы входили в зал, Кин произносил свое проклятие журналистам с продажными перьями. А затем он сделал оговорку:

— Но есть и другие, которых ни соблазны, ни угрозы не могут заставить согнуть спину и которые предпочитают совсем перестать писать, чем перестать говорить правду.

Я забыл точный текст, но таков был смысл тирады. При этих словах вся молодежь Латинского квартала, рассеянная по залу, поднялась со своих мест и, махая платками, стала кричать:

— Таков Рошфор! Да здравствует Рошфор!

Я не совсем разобрался тогда в значении той фразы, которой заканчивал игравший Кина актер Бартон, пока мы отыскивали номера наших кресел, так что, хотя очень мало зрителей узнали меня, мне казалось, что не тирада артиста, а мое появление послужило причиной манифестации. Я не знал, куда мне деть себя. Пока не спустили занавес в конце последнего акта, эти приветствия, объектом которых я был в первый раз в моей жизни, кружили мне голову, и я возвратился домой полный разных дум.

Заметьте, что «Фонарь» тогда еще не появлялся, что я не знал даже, появится ли он вообще, и стал теряться, не зная, что предпринять. Но ненависть к империи до такой степени разрасталась, что одного намерения сокрушить ее, приписываемого человеку, достаточно было, чтобы создать ему популярность.

И все мне шло на пользу — и то, что я писал, и то, чего я не писал. Я был, как тот автор, о котором говорят: «Он, кажется, работает над шедевром». И живет этот автор ожиданием шедевра, о котором говорят годами, но которым он никогда не разрешается.

Почва была. таким образом, великолепно подготовлена для меня, когда окончательная отмена предварительного разрешения дала мне возможность пуститься в путь-дорогу. Договор, подписанный между Вильмессаном, Дюмоном и мною, устанавливал, что я — хозяин в редакции моего журнала, что моя свобода будет полной, абсолютной, не подлежащей никакому контролю.

Я, впрочем, лойяльно предупредил моих издателей, что собираюсь прямо сцепиться с чудовищем, что на нас, вероятно, посыплются удары, но пока у них еще есть время одуматься и взять свои деньги обратно из предприятия, которое в любой момент может потерпеть материальный крах. Но они держались крепко, и нам оставалось только установить форму издания и продажную цену еженедельника, номер которого должен был заключать в себе шестьдесят четыре страницы.

Что касается меня, то я хотел, чтобы «Фонарь» продавался по десяти сантимов. Вильмессан требовал, во избежание дефицита, повышения цены, по крайней мере, до двадцати сантимов. Случайное обстоятельство изменило эти предположения. Банкир Бишсфгейм как раз в эти дни дал по случаю отъезда одной артистки на гастроли в провинцию парадный обед, на который пригласил и меня с Вильмессаном. Там мы встретились с Жирарденом⁶⁵, Сарду⁶⁶ и некоторыми другими знаменитостями театра и журналистики. Зашла речь о предстоящем выходе «Фонаря», и мы спросили Жирардена, имевшего такой большой опыт в этом деле, по какой цене нужно, по его мнению, пустить наше издание. Он, не колеблясь, ответил:

— Назначьте за номер не десять и не двадцать, а пятьдесят сантимов — и вот почему. Рошфор создал себе, конечно, в «Фигаро» круг читателей, которые всюду последуют за ним. Допустим, что таких читателей четыре или пять тысяч. При пятидесяти сантимах его издание сможет существовать. При десяти или даже двадцати сантимах оно не будет покрывать расходы, и вы не только не сделаете выгодного дела, что для вас значения не имеет, но доставите правительству блестящее торжество, продемонстрировав бессилие одного из наиболее отъявленных его врагов.

События показали, что эти соображения были ошибочны, но тогда они имели решающее значение, и Вильмессан без возражений присоединился к Жирардену. Единственное, чего я с большим трудом мог добиться, — это, чтобы издание продавалось по сорока сантимов, если оно вообще будет продаваться. Но я считал эту цену до такой степени чрезмерной, что с отчаянием спрашивал себя, где найду я слой читателей, способных платить такую сумму за четверть часа чтения прозы, подписанной моим именем.

Я писал статьи для первого номера под давлением самых мрачных предсказаний. преследуемый неотвязной мыслью, что

читатель не будет достаточно вознагражден за свои сорок сантимов, и с сжатым сердцем отнес свою рукопись в типографию Дюбюиссона, где печатался и «Фигаро».

Когда мне подали гранки для правки, я совсем пал духом. Альбер Вольф⁶⁷ как раз был в типографии, когда я их правил. Я их передал ему, сказав:

— Посмотрите эти листки и не скрывайте от меня правды. Лично я нахожу это невразумительным, неостроумным, несвязным. Это одна из моих обычных статей, только подлиннее и хуже написанная. Кажется, это полный провал.

Вольф прочел и вернул мне пакет со словами:

— Я не нахожу, чтобы это было плохо. Но это, конечно, наименее удачное из того, что вы до сих пор писали.

Так как я и без того не уверен был в своих силах, то большего не нужно было, чтобы я решил совсем отказаться от этого номера. Я ворвался в кабинет Дюбюиссона, человека спокойного и мало склонного к порывам, и заявил ему:

— Я только что прочел этот первый номер. Это ниже всякой крички. И я так думаю, и такого же мнения Альбер Вольф. Вообще это не годится. Я попытаюсь потом что-нибудь получше сделать. Но вы понимаете — у меня нет никакой охоты стать всеобщим посмешищем. «Фонарь» не может завтра выйти.

— Но теперь уже поздно отступать, — ответил мне мой типограф. — Сейчас одиннадцать часов вечера. Все подготовлено для пуска в продажу завтра утром. Что действительно было бы посмешищем — это не появиться совсем.

— Сколько же вы печатаете? — спросил я его в испуге.

— Пятнадцать тысяч, — ответил этот невозмутимый человек.

— Как пятнадцать тысяч! — воскликнул я. — Но это же безумие! У вас останутся непроданными, по крайней мере, свыше десяти тысяч. Нужно печатать четыре тысячи! И то...

— Да нет, публика волнуется и ждет. Я уверен, что мы распродадим все пятнадцать тысяч.

Я ушел, подавленный стыдом, и вернулся домой —

Как солдат, который возвращается без ропота,
Кладет у изголовья ненужный остаток оружия
И засыпает — побежденным или победителем.



ГЛАВА V

*Неожиданный тираж. — Политическая программа. —
Уловки власти. — Процесс. — Конкуренция. —
Эдмонд Абу. — Полицейская критика*

После ночи, не раз прерываемой лихорадочными кошмарами, я встал около десяти часов и стал медленно одеваться, боясь выйти из дома, чтобы не увидеть собственными глазами тот мрачный провал, миновать который мне казалось невозможным. Однако около без четверти двенадцати нужно было все же спуститься, чтобы пойти позавтракать.

Когда я вышел на Биржевую площадь, я издали увидел опустившуюся на колени женщину с болтавшейся на ее спине плетушкой, из которой массами вываливались небольшие красные брошюры. Я подошел. Это был мой «Фонарь». Большая толпа расхватывала экземпляры, покрывавшие тротуар, уплачивала за них монетами в десять, двадцать и даже сорок су и уносила их бегом, не дожидаясь даже сдачи.

У меня сейчас же промелькнула мысль: номер конфискован, и публика стремится во что бы то ни стало раздобыть его. Тем лучше! По крайней мере, честь будет спасена.

Я все же вскочил в извозчичью карету и поехал в типографию разузнать, в чем дело. С трудом пробрался я по лестнице, битком набитой газетчиками, непрерывной вереницей спускавшимся из типографии, унося тюки брошюр. Я пробился, наконец, к Дюбюиссону, стоявшему без пиджака и спорившему с газетчиками.

— Нечего сказать, хороши вы со своими предсказаниями! Вы помешали мне заказать больше пятнадцати тысяч, а теперь я не знаю, что и делать. Все требуют брошюру, и хотя мы

с пяти часов утра не переставали печатать, я едва мог выпустить сорок тысяч.

— Как сорок тысяч? — с изумлением спросил я.

— И этого слишком мало! Знаете, сколько у нас требуют? Сто двадцать тысяч. К сожалению, у нас нехватает брошировщиц, чтобы сшивать листы. Берите скорее извозчика и поспешите объехать все брошировочные мастерские. Нам во что бы то ни стало необходимо иметь к вечеру сто двадцать тысяч.

Я не стал предаваться своему изумлению. На том же извозчике, с которым я приехал, я, имея в руках список адресов, взятых в справочнике Ботена, объехал мастерские и договорил всех свободных работниц. Чтобы ускорить работу их игл, я оставил в каждой мастерской по сто франков. Прямо диву даешься, сколько женщины могут наработать, когда их подбивает охота!

Второй номер вышел не в ста двадцати, а в ста двадцати пяти тысячах экземпляров. Нельзя было встретить прохожего, который не держал бы «Фонарь» либо в руке, либо в кармане, из которого выглядывала его красная обложка. Сразу вошло в моду открыто показывать, что читаешь «Фонарь».

Красная обложка, на которой, конечно, был нарисован фонарь и упомянутая раньше веревка, была недостаточна ярка и весь рисунок немного кривил. Вошло также в моду показывать красные пальцы от линявшей краски обложки. Когда приходит успех, все способствует ему, и даже то, — иногда главным образом то, — что должно было бы ему мешать.

Я преуменьшу, если скажу, что число получавшихся мною каждый день писем доходило до пятисот. Я вынужден был обзавестись целым штатом секретарей, вскрывавших эти письма. И, рискуя покраснеть до корня волос, я должен признаться, что из этих пятисот писем всегда насчитывалось от восьмидесяти до девяноста, подписанных женскими именами. Но преданные друзья, которые, не довольствуясь вскрыванием писем, читали их за меня, были убеждены, что эти записки — слишком нежные, чтобы быть искренними, — были ловушками с целью заманить меня и приколошить.

Мое политическое profession de foi было перепечатано в парижских и во многих провинциальных газетах. Я жаловался в нем, что на мой счет ошибались, ибо, по существу, я никогда не переставал быть бонапартистом. «Но да позволено мне будет, — присовокупляя я, — избрать своего героя в династии. Среди легитимистов одни предпочитают Людовика XVIII⁶⁸, другие — Людовика XVI, третьи, наконец, отдают все свои симпатии Карлу X⁶⁹. В качестве бонапартиста я отдаю предпочтение Наполеону II, — это мое право. Я даже прибавлю, что он является в моих глазах идеалом государя. Никто не станет отрицать, что он восседал на троне, потому что его преемник называется Наполеоном III. Что за царствование, друзья мои,

что за дарствование! Ни одной контрибуции; ни одной ненужной войны, с сопровождающими ее новыми налогами; никаких отдельных экспедиций, на которые затрачивается до шестисот миллионов, чтобы истребовать пятнадцать франков; никаких разорительных расходов на содержание монарха; никаких министров, занимающих по пяти, по шести ампула, по ста тысяч за штуку. Вот каким я представляю себе настоящего монарха!.. Кто же станет претендовать после этого, что я — не искренний бонапартист!»

Неисповедима тайна человеческой низости! Те же придворные лакеи, которых я пробирал в «Фонаре», сами присылали мне материал, на основании которого я мог бы разнести их противников. На Персиньи чаще всего указывали в этих донесениях, не всегда анонимных. Но однажды я был в достаточной степени заинтригован следующим коротеньким письмом: «Хотите вы вывести из себя императора? Найдите повод сказать, что музыка «Partant pour la Syrie» написана не королевой Гортензией⁷⁰, а Дальвимаром». Я воспользовался этим сообщением и в ближайшем номере «Фонаря» напечатал: «Все сердца забились сильнее, когда музыка заиграла «Partant pour la Syrie» (музыка Дальвимара)». Публика не видела в этом особенно злой насмешки. Но на следующий день я получил написанное тем же почерком подробное сообщение об эффекте, произведенном в Тюильри моей заметкой. Дальвимар, автор и исполнитель романсов, обучал игре на арфе Жозефину⁷¹ и давал также уроки музыки королеве Гортензии и был одним из многочисленных ее любовников. Он отблагодарил за эту милость, написав для нее зловещий и оглушительный марш, который стал марсельезой Второй империи и приписывался Гортензии.

«Наполеон III, — писал мне мой корреспондент, — который, конечно, думал, что он один знает эту альковную и музыкальную тайну, был поражен, увидев в «Фонаре» это забытое имя, которое вдруг воскресило».

Однако по субботам, когда Наполеон возвращался из Фонтенебло, где он в это время отдыхал, у него всегда из кармана выглядывала красная обложка «Фонаря» и пальцы она ему красила, как и другим. И вид у него был такой, точно он говорил: «Эти нападки меня столь мало трогают, что, вот, я их читаю, но не устаиваю их опровергать».

Я не упустил ни одного повода, чтобы не подкопаться под тот решпект, которым окружали этот манекен, называвшийся «особой государя». О, эта бедная «особа государя»! Я вертел и мял ее, точно старое белье! Я, например, писал: «Правительство заказало г-ну Бари⁷² конное изваяние Наполеона III. Г-н Бари является у нас, как известно, одним из наиболее знаменитых анималистов». Или: «Г-н Лашо, знаменитый адво-

кат при окружном суде, выставлен официальным кандидатом в депутаты вместо Желибера де-Сеген. Выбор превосходен. Всем, конечно, известно, что Лашо удивительно удачно защищает преступников».

Министр Пинар, которому тоже порядком доставалось, мог бы попытаться охладить мой пыл, если бы он не растерялся с первого же дня. Он должен был бы с самого же начала моих нападений считаться с тем, что эта решительная борьба должна рано или поздно кончиться судебным процессом и осуждением меня. Я ждал таких действий каждый день и почти удивлялся, что они не предпринимаются.

Так как такой исход был неизбежен, — ибо моя смелость разрасталась с каждым днем, — было бы бесконечно более разумно не дать расширяться моей популярности, а моему «Фонарю» распространяться по всей стране, вплоть до захудалых местечек. Нужно было либо с первого же дня придушить меня, либо делать вид, что меня совершенно не замечают. Последнее, я должен признать, не легко было сделать при таком шумном успехе моего журнала.

Вместо того чтобы поступить со мною так, как поступили с автором «Речей Лабениния», несравненно менее резких и откровенных, чем мой «Фонарь», министерство попробовало хитрить, почти остроумничать со мною. По поводу какой-нибудь незначительной фразы, — министерство нарочито выбирало незначительные, чтобы не усугублять остроты моих нападок, — оно посылало ко мне коммюнике, которые по своим размерам составляли девять десятых моего «Фонаря», так что вместо своей полемики с правительством я должен был преподносить своим читателям полемику правительства со мною. Однако у меня оставалось достаточно места, чтобы выяснить все лицемерие подобных приемов, и успех моего издания от этого ни сколько не страдал.

Тогда оцепенелый Пинар решил, что поступит, как настоящий государственный деятель, запретив продажу «Фонаря» на улицах. В силу — не знаю, и никто никогда этого не знал — какого закона правительство государственного переворота полагало, что если книжные магазины ему не принадлежат, то газетными киосками оно может распоряжаться произвольно.

Но хотя продажа отныне сосредоточивалась только в книжных магазинах, — тираж не понижался ни на один экземпляр. Журнал читался в мастерских не меньше, чем в салонах и замках. Рабочие складывались и по субботам передавали друг другу брошюру, или один из них читал ее им вслух.

Я нанял на лето в Ножан-на-Марне небольшую виллу, куда друзья мои съезжались по пятницам вечером, когда я заканчивал работу, которая должна была появиться в субботу и которую я предпочитал перед отсылкою в типографию. Рядом

с тем домом, в котором я жил, человек двадцать рабочих строили новый дом. И вот, в тот день, когда должен был поступить в продажу номер «Фонаря», один из этих славных каменщиков отправлялся с утра с корзинкой в руках и возвращался с целым пучком экземпляров моего издания, купленных им по поручению жителей городишка, жаждавших поскорее прочесть свежий номер.

Министерство, ослепленное своим бессилием задержать бурное проявление общественного мнения, скованного вот уже почти семнадцать лет, приняло постыдное решение нанять против меня писателей, собственно даже не писателей, а сыщиков последнего сорта, которым поручено было рыться в моем прошлом и откопать в нем все, что могло бы обесславить меня в глазах масс, начинавших смотреть на меня, как на своего идола. Но рыцари печального образа, принимающие на себя подобную миссию, носят в себе самих противоядие против своей гнусности. Другими словами, они даже неспособны выполнять свое грязное ремесло. Против меня мобилизовали четырех или пятерых писак, и они настолько переусердствовали, что на моей стороне оказались все насмешники и все негодующие, которые, впрочем, и раньше уже были за меня.

Сказки, героем которых меня выставляли, становились прямо фантастичными. Так, говорили, что у меня трое детей, что было верно, и что я их покинул на произвол судьбы, что уже было менее верно. И знаете, кто взял на себя заботу о них? Сама императрица! Презирая оскорбления, которыми ее осыпал их отец, она приютила их и воспитывала за свой счет. И писаки победоносно восклицали: «Так метит государыня!»

Эти глупости только забавляли меня, а по утрам, за завтраком, дети сами читали мне их, покатываясь со смеху.

Но тот, кто глуп в детстве, остается столь же глупым и даже еще больше глупеет, когда становится взрослым. Я упомянул уже раньше, как после опубликования грязного пасквиля, экземпляр которого был послан полицией моей дочери в тот пансион, где она училась, я, за неимением лучшего, избил типографа, напечатавшего эту неудобосказуемую вещь. Но, не имея возможности достать рукою или палкою писак, я был достаточно... не подыщу соответствующего слова... чтобы возбудить против них процесс не в суде исправительной полиции, где не допускаются доказательства, а в гражданском суде, куда они могли доставить все документы, собранные, по их словам, против меня. Оба агента явились. Оба называли себя псевдонимами: один подписывался «Шарль де-Бюсси» и был несколько раз осужден за злоупотребление доверием, другой величал себя Стамиром. На вопросы председателя они ответили:

— Мы никогда не говорили, что г-н Анри Рошфор был два раза осужден за мошенничество. Мы только спросили: «Знает ли г-н Рошфор журналиста, осужденного два раза за мошенни-

чество?» Раз он такого журналиста не знает, наш вопрос сам собою отпадает.

— Но вы обвиняли его в том, что он называет себя ложным именем? — настаивал председатель.

— Конечно, — ответил старый тюремный завсегдатай Шарль Маршалль, он же де-Бюсси, — он подписывается «Анри Рошфор», а его действительное имя — Виктор-Анри де-Рошфор-Люэ.

Хотя я формально требовал только один франк проторей и убытков, суд собственной властью повысил сумму и присудил мне *двадцать тысяч*. Я объяснил на следующий день в «Фонаре», что, так как мои два негодяя живут только на подачки полиции, мне стыдно было бы прикоснуться к этим деньгам, которые я не решался бы даже раздать бедным, из опасения, чтоб они им не принесли несчастья.

Этот провал не обескуражил однако полицию. Она продолжала распространять через своих агентов басни о моих ночных оргиях, на которых шампанское лилось рекой. А что касается азартных игр, то я жил только ими, хотя я за всю жизнь раза три был в клубах, куда случайно заходил пообедать по приглашению приятелей. Скучность оборонительных средств, выдвигавшихся против меня властями, только способствовала тому, что вокруг меня группировались все недовольные. Мой портрет продавался на всех перекрестках. Ювелиры не поспевали изготовлять брелоки в виде маленьких фонариков, в глубине которых красовались миниатюрные мои фотографии. Я не мог показаться на улице, чтобы меня тотчас же не окружила толпа. По субботам, вечером, я почти всегда ездил обедать к приятелям, жившим на даче в Мезон-Лафит. Утром в тот день появлялся свежий номер «Фонаря», и едва только пассажиры усаживались на свои места, как вынимали из карманов маленькую красную книжечку, в которую углублялись. Могу сказать, что я один только не смаковал ее.

Вильмессану, как и Дюмону, не пришлось выложить ни одного су из тех двадцати тысяч, которые они должны были внести, так как издание с первого же номера с лихвою покрыло все расходы по организации, печатанию и распространению. Но когда, по субботам утром, мой «Фонарь» выходил в свет, продажа всех других изданий значительно падала, и особенно «Фигаро», так как мои читатели следовали за мною. И вот Вильмессан, бывший, по существу, только купцом, не мог долго терпеть, чтобы его сотрудник имел тиражи в сто двадцать пять и даже сто тридцать тысяч, между тем как его газета, для успеха которой он сумел создать все необходимые элементы, не превышала тридцати или максимум сорока тысяч.

Пожиравшая его зависть и его незнание настроений страны, которые он к тому же вряд ли в состоянии был политически расценивать, внушили ему план, который он, конечно, осте-

рега мне сообщить. Он решил выдвинуть против «Фонаря», т. е. против меня и себя самого, конкурента, с помощью которого он надеялся уничтожить «Фонарь». Это было не только бесчестно, но и неразумно. При некотором здравом смысле ему легко было бы понять, что если легко писать более остроумные статьи, чем мои, то он откапает мало сотрудников, склонных каждую субботу рисковать тюрьмой, и уж по одному этому их оппозиция неизбежно будет бледна рядом с моею.

Но мой успех не давал ему покоя. Не говоря мне ни слова, — что подчеркивало его тайные намерения, — он создал еженедельник «Бесноватый» («Diable à quatre»), который, хотя в нем и участвовали очень известные литераторы, нисколько не вредил успеху «Фонаря». Только на третьем или четвертом номере я проведал об отношении Вильмессана к этому изданию. И когда я узнал, таким образом, что он клал себе в карман и огромные доходы от «Фонаря», и значительно более скромные доходы от «Бесноватого», я стал его попрекать этим двурушничеством. По его путанным, пропитанным ненавистью ответам я понял, что не простит он мне того места, которое я себе создал, и снижения тиража «Фигаро», мною вызванного. И мне ясно стало, что отныне я имею в его лице врага, тем более беспощадного, чем больше усилий он приложил к тому, чтобы меня свалить, и чем больше денег он благодаря мне зарабатывал.

Но кроме Вильмессана и журналистов, получавших подачки из секретных фондов, я восстановил против себя почти всех, тиражи изданий которых я понизил. Даже оппозиционные журналисты упрекали меня в том, что я до такой степени обострил полемику, что они не решаются следовать за мною, из опасения тут же потонуть вместе со мною. По досаде, из зависти, из опасения за судьбу своих, отодвинутых на задний план, газет все они более или менее склонны были играть на-руку правительству, обвиняя меня в том, что я перехожу всякие границы позволительной резкости. Их главный аргумент сводился к тому, что я до такой степени злоупотреблял недавно дарованной благоволением императора скудной свободой, что приведу к полной ее отмене. Я им отвечал, что действительно имеют только ту свободу, которую завоевывают, а та, что даруется, является лишь формой рабства. Но большинство этих полусобратий только ожидало с моей стороны, с той недобросовестностью, которую можно было бы назвать «профессиональной», такого чисто антидинастического и революционного заявления, чтобы перейти на сторону власти. Им показалось, что они нашли то, что им нужно было, в следующих нескольких строках, в которых, по их мнению, определенно говорилось о смерти деспота и в которых это действительно было.

Говорят, что преждевременные жары, угнетающие нас, следует приписать приближению кометы, еще недостаточно хорошо видимой.

Известно, что появление кометы во все времена возвещало наступление великих событий.

Я жду только одного события. Но мне так не везет. Вы увидите, что оно не произойдет в этом году».

Эдмонд Абу, которого я знавал, встречаясь с ним у моего приятеля, доктора Трипье, почти социалистом и убеждения которого до такой степени полиняли, что он стал принимать приглашения в Компьень, — за что расплатился оглушительным провалом в «Одеоне» своей комедии «Гаэтана», — Эдмонд Абу первый заговорил от имени либеральствующих. В статье, появившейся в «Голуа», он обратился ко мне с вопросом, что случилось бы со мною, если бы предсказания кометы вдруг осуществились и мой политический идеал занял место существующего строя. Ведь я очутился бы вне возможности проявлять свой темперамент в систематической оппозиции! Я ответил ему, что моя оппозиция действительно систематическая, так как она направлена против всей системы, и закончил свое *profession de foi* следующими строками: «Я не обольщаюсь никакими иллюзиями. Я знаю, что моя брошюра — не больше как брандер. Я также знаю, что судна этого рода взрываются раньше всех других, и именно потому, что я знаю, что потону, я не хотел взять с собою никакого экипажа».

Это заявление указывало с неоспоримой точностью, что я решил идти до конца — и даже дальше. Человека, который так прямо хватал за горло династию, низкие клеветнические измышления, которыми власти пытались очернить его, могли только поднять в глазах общественного мнения. Поэтому бедный Пинар совершенно терял голову, видя, как моя популярность растет прямо пропорционально гнусности тех средств, которыми он собирался ее подорвать.

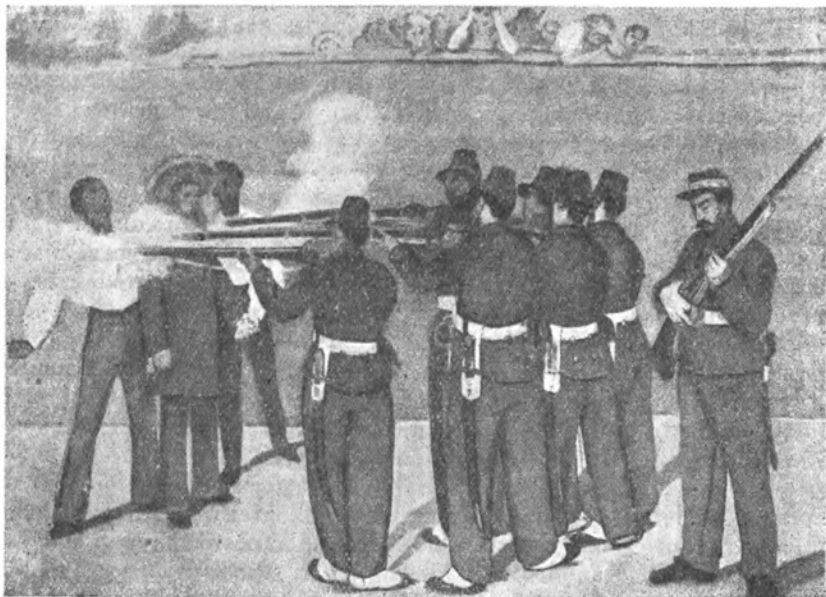
25 июня 1868 года в «*Indépendance belge*» («Бельгийская независимость») появилась следующая заметка:

«Сообщают, что не только в Париже, но и в провинции произведено было расследование о распространении и о поразительном успехе «Фонаря». Среди представленных по этому поводу докладов есть, говорят, доклад одного комиссара полиции, который подходит к вопросу с литературной точки зрения и который, хотя и констатирует громадное распространение издания г-на Рошфора, держится того мнения, что ему нужно дать продолжать его, так как он, несомненно, испишется и утратит славу остроумного человека».

В своей реплике на это сообщение я напомнил, что правительство обязано терпеть дальнейшее существование моего журнала, так как законодательный корпус принял закон, по которому я имею право выпускать. А по поводу доклада полицейского комиссара, которому поручено было дать литературную оценку моему изданию, я сказал: «Что касается выраженной этим человеком с перевязью приятной надежды, что я скоро испишусь, — боюсь, что его друзья и он сильно разочаруются. Он, очевидно, не понимает, что единственным сотрудником моего журнала являюсь не я, а само правительство. Оно совершает ошибки, а я довольствуюсь тем, что по мере их совершения отмечаю их. Пока оно, вопреки своим обещаниям, не утомится делать промахи, нет никакого повода думать, чтобы я утомился нападать на него».

Однако другие комиссары, тоже полицейские, не разделяли этот оптимизм. После 4 сентября 1870 года Рауль Риго, назначенный секретарем префекта Кератри⁷³, передал мне мое досье, оставленное по докладам императорских агентов. Я там нашел письмо одного полицейского комиссара, адресованное начальнику кабинета Наполеона III — Конти⁷⁴. В этом письме говорилось: «Успех «Фонаря» разрастается в ужасающих размерах. Становится необходимым купить автора. Но ему нужно предложить не полтора или двести тысяч, как многим другим, а по крайней мере полтора или два миллиона». И он подкреплял свой совет следующим соображением: «Впрочем, с тех пор как он отдался воинствующей политике, одно только наблюдение за ним обошлось уже дороже».

К вечному стыду своему, должен признать, что это полицейское мнение не имело никаких последствий, и никакого предложения ни от Конти, ни от кого-либо другого я не получал. Из экономии ли, из боязни ли попасть впросак Тюильрийский дворец не послал ко мне эмиссаров с презентами? Факт тот, что Артаксеркс⁷⁵ 2 декабря ничего мне не предлагал, и единственными подарками, которыми мы обменялись, были: с моей стороны — оскорбления, а с его стороны — годы тюрьмы.



ГЛАВА VI

Опять полиция. — Жеккер. — Коммюнике г-на Пивара. — Конфискация «Фонаря». — Отъезд в Брюссель

После того как перерыты были, по распоряжению правительства, счета книжных магазинов с целью выяснить, в каком количестве распространялся «Фонарь», оно постановило потребовать от генеральных прокуроров всех судебных палат произвести анкету о «состоянии умов».

С большей пользой оно могло бы их спросить о «состоянии» его собственного «ума», ибо голова у него действительно ходуном шла, и оно теряло всякую последовательность не только в мыслях, но и в отсутствии мыслей. Оно с треском и незаконно лишило меня права продажи в киосках. Но эта неразумная мера привела только к увеличению моего тиража. Тогда наиболее неуравновешенный из министров внутренних дел предложил мне, даже без всякой просьбы с моей стороны, вернуть мне киоски. Я ему ответил самым оскорбительным отказом. Он отнял у меня разрешительный штампель, надеясь, вместе с тем, лишить меня значительной части моих читателей. Но на его беду этот министр, в три фута и девять дюймов, пользовался таким авторитетом в глазах публики, что достаточно ему было начать преследовать какого-нибудь писателя, чтобы немедленно привлечь к последнему бесчисленные симпатии.

Так, в какую бы сторону ни поворачивалось министерство, все рушилось у него под ногами. Как на слишком надутом аэростате, который на солнце грозит взорваться, Наполеон III открыл угрожающей свободе предохранительный клапан, который снова закрывался и который его руки, ставшие немощными, не в силах были удержать. Продолжая делать вид, что нисколько меня не пугается, он всякими средствами пытался задушить меня. В этих попытках он терял всякое достоинство — и незаметно — всякую силу. Что касается меня, то я спокойно наблюдал, как он все более и более запутывался, и пользовался всяким его промахом, провоцируя его, когда он принимал против меня строгие меры, и высмеивая его, когда он как будто возвращал мне права, которых раньше лишал меня. Фактически выходило так, что он все терпел от меня, а я ничего ему не прощал.

Однако после выхода восьмого номера в совете министров был поднят вопрос о привлечении меня к суду по обвинению в подстрекательстве к убийству императора. Это грозило каторжными работами без срока или даже смертной казнью. Смертный приговор, впрочем, трудно было постановить по такому делу, а если каторжные работы можно было назначить «без срока», то сама империя, к счастью, имела свой «срок».

Инкриминировались мне следующие строки:

«Понедельник, 20 июля 1868 г.

Годовщина сражения при Фарсале, которое повлекло за собою крушение Римской республики и открыло царство того особого рода деспотизма, который останавливает мысль и заточает в тюрьму людей при кликах: «да здравствует свобода!»

Цезарь, жизнеописание которого недавно написано автором, более известным своими политическими переворотами, чем литературными трудами (полагаю, что комиссия розничной продажи печатных произведений предоставила ему разрешительный штемпель), — Цезарь, говорю я, который при виде Кассия ⁷⁶ воскликнул: «Этот молодой человек меня беспокоит: он слишком тощ для сенатора», действительно погиб, убитый в зале заседаний сенатором Кассием и некоторыми другими, которые вынесли под своими мантиями тело мертвого тирана.

В наши дни сенаторы стары, очень жирны, и если им случается выносить что-нибудь под своими пальто, то только дыни».

В сожалении, что нет более Кассия в сенате, усмотрели призыв к убийству его величества. Но так как этот акт, чтобы быть похожим на тот, который избавил Рим от Цезаря, должен был быть совершен сенаторами, то в конце концов признали, что такая статья, как моя, не могла подвинуть сенаторов на убийство того, кто выплачивал им по тридцати тысяч франков

в год. К тому же, если многие из них были скотами, то ни один из них не был Брутом*. Поэтому правительство боялось оканзаться в смешном положении, передав это дело на рассмотрение суда присяжных, и решило выждать другого повода.

В это время на меня чуть было не свалились две дуэли с лицами, которые оба очень плохо кончили: один из них впоследствии был расстрелян, а другой был приговорен к смерти. Это были банкир Жеккер и маршал Базен⁷⁷.

Жеккера я по поводу мексиканской экспедиции, фактическим инспиратором которой он был, разделал более чем жестоко. Известно, — а, может быть, теперь уже и не известно, — что этот финансист, занимавшийся, как и все финансисты, темными делами, дал займы из совершенно неслыханного процента никак не больше полутора миллионов франков правительству генерала Мирамона⁷⁸, которое выдало ему за них обязательства на семьдесят пять миллионов.

Когда президент Мексиканской республики Хуарец⁷⁹ взял власть в свои руки, он, конечно, отказался платить по столь мошенническим векселям. Жеккер пошел к Морни и обещал ему тридцать процентов комиссионных, если ему удастся уговорить императора потребовать от Хуареца уплатить по обязательствам Мирамона.

Когда мне в 1870 году поручено было разобрать бумаги, найденные в покинутом бежавшей вместе со своими слугами императрицей Тюильрийском дворце, я нашел материальное доказательство преступления Морни, который из-за обещанных ему двадцати двух миллионов из семидесяти пяти вверг нас в войну⁸⁰ против рвавшейся к свободе страны, — войну, обошедшуюся нам в миллиард франков и подготовившую Седан.

Жеккер, швейцарец родом, в двадцать четыре часа получил французское подданство, и от его имени представлено было отважному Хуарецу требование об уплате денег. Морни умер, не успев получить своих двадцати двух миллионов, и так как он был зачинщиком и душой этого разбойного предприятия, то его исчезновение нанесло последнему непоправимый удар. Жеккер и его требования были забыты, и взбешенный ростовщик посылал Наполеону III угрожающие письма, которые я нашел среди конфискованных во дворце бумаг и которые одинаково были позорны как для государственного деятеля и деятеля государственного переворота, так и для банкира.

Последний, вместо того чтобы последовать в изгнание вместе со своими бывшими покровителями, имел неблагоразумие остаться после 4 сентября 1870 года в Париже. Только после 18 марта 1871 года он понял, что ему грозит опасность, и ре-

* Непередаваемая игра слов, основанная на их созвучии: b r u t e s («скоты») и B r u t u s («Брут»). Нужно при этом приять во внимание, что французы читают латинские слова по французскому алфавиту. Мы приносим «Брутус», а французы — «Брюткс». — Прим. пер. в.

шился пойти попросить выдачи паспорта в prefectуру полиции, во главе которой тогда стоял Рауль Риго. Вероятно, не сознавая, до какой степени он ненавидим, он без колебания назвал принявшему его служащему свою фамилию и свое имя. Когда пожелали точнее установить его личность, он сказал, что он действительно тот самый Жеккер, который имел касательство к мексиканской экспедиции. Этого достаточно было, чтобы его немедленно арестовали и отправили в Мазас. Тут только поняв, что из тюрьмы он выйдет лишь для того, чтобы быть поставленным к стенке, он стал предлагать арестовавшим его до ста тысяч франков за свое освобождение. Но хотя они получали еле достаточное или совсем недостаточное жалованье в полтора франка в день, все они отказались освободить арестованного, и 26 мая, в разгар борьбы с версальцами, он был расстрелян, как изменник своему новому отечеству и соумышленник Германии, которой его преступления нас предали.

Хотя версальская армия отомстила за казнь каждого заложника расстрелом всех, кто принимал участие в казни или даже только подозревался в том, что присутствовал при ней, она никого не преследовала за казнь Жеккера, которого считали жертвой вполне законного линчевания со стороны народа.

Я познакомился на полуострове Дюкос с одним из участников его казни. Он сообщил мне, что Жеккер встретил смерть с полным равнодушием. Он, не побледнев, выпрямился перед взводом и ограничился только следующим, почти философическим, замечанием:

— Империя разорила меня, а республика меня расстреливает.

Еще до этих событий мы с графом Кератри с точными данными в руках разоблачили закулисную сторону еще неизвестной роли, которую этот товарищ Морни играл в мексиканском бедствии. Мы также поставили в известность общественное мнение о преступлении Базена, этого, повидимому, прирожденного изменника, выбрасывавшего в море порох и ядра, посылавшиеся для императора Максимилиана⁸¹, интересы и якобы законные права которого ему поручено было защищать.

Кератри, мой бывший школьный товарищ, сообщил мне, что Жеккер, считая себя оскорбленным нашими обвинениями, которые он объявлял клеветническими, дал ему знать, чтобы он ждал его секундантов, каковых он решил послать также и ко мне. Мы оба приготовились их принять. Но прошло двадцать четыре часа — и нам сообщили, что он раздумал и решил не давать хода делу. Моим другим противником, тоже в связи с мексиканскими делами, был Базен, который хотя и не был расстрелян, был мало чем лучше Жеккера. Еще задолго до того, как он сдал армию принцу Фридриху-Карлу, он предал Хуаресу императора Максимилиана, которого он просто стремился заместить на троне Инка.

Один офицер, мой приятель, — против своей воли воевавший там с народом, которому мы насильно хотели навязать экзотического императора, еще за несколько месяцев до того неизвестного ему даже по имени, — прислал мне пространное сообщение о предательских ударах, подготовлявшихся Базеном тому, гибель которого он явно замыслил. Я опубликовал все документы по этому делу, чтобы установить, что политические деятели, организовавшие мексиканскую кампанию, и генерал, занимавший пост главнокомандующего, морально стоили друг друга. И вот, вернувшись как-то вечером к себе домой, я нашел у себя визитную карточку Альбера Базена, поручика 2-го полка зуавов и племянника начальника экспедиции.

Я сперва подумал, что дело идет о требовании удовлетворения, которое никого бы не удовлетворило и главным образом не помешало бы Максимилиану, покинутому как своими противниками, так и своими защитниками, пасть спустя некоторое время после того под ударами пуль. Я даже собирался ответить молодому поручику, что я не имею привычки драться с делегатами тех, против кого я нападаю, и что если маршал придаст такое значение моим обвинениям, что находит себя оскорбленным ими, он должен меня считать достаточно дееспособным, чтобы нести за них ответ пред ним.

Племянник будущего версальского осужденного еще раз пришел ко мне, но ни о каком поединке не было и речи. Должно быть, маршал Базен, подобно Жеккеру, подумал о тех последствиях, какие огласка могла бы повлечь за собою для него. Наоборот, молодой поручик зуавов пытался объяснить поведение своего дяди, прибавив при этом, что последний усердно читал мои статьи и чувствовал ко мне большую симпатию. Я подумал, что эту симпатию он должен был бы перенести на Максимилиана, но не мне было жалеть о казни этого австрийца, вешавшего на всех деревьях на своем пути патриотов, которых он называл своими подданными. Окружить себя повешенными, чтобы в таком виде представиться своему народу, слишком сильно напоминало нашу систему колонизации, в силу которой мы сжигаем деревни, чтобы цивилизовать их жителей.

Волнение банкира Жеккера вызвано было следующей заметкой в «Фонаре»:

«Один факт меня глубоко поразил в гнусном жеккеревском деле, — факт, который один мог бы опозорить несколько правительств. Этот ростовщик дал займы около миллиона пятисот тысяч франков деньгами и взял взамен обязательства на семьдесят пять миллионов. В погашение этих обязательств он уже получил в виде задатка двенадцать миллионов — и все же он остается банкротом. Факт банкротства нельзя себе объяснить, если только этот друг Франции не сам получил означенные двенадцать миллионов. Но в таком случае я был бы счастлив узнать имена тех, кто их вместо него получил».

Если бы все те, что поделили между собою этот задаток, прислали мне секундантов, я сразу накликал бы на себя, по крайней мере, сорок пять дуэлей.

Можно себе представить тот страх и, следовательно, ту ненависть, какие я внушал этим продажным людям, которых впоследствии, к сожалению, заменили другие взяточники, чьи имена, как было известно, я всегда готов был совсем горяченькими напечатать на столбцах своего издания. Министр Пинар посоветовался с Руэром, и они приняли глупое и коварное решение, — этому трудно поверить, — отвечать на мои, как они выражались, «провокации» посредством обширных коммюнике, которые я по закону обязан был печатать и которые занимали бы все шестьдесят четыре страницы моей брошюры.

Пинар дебютировал на поприще этих коварных приемов присылкой длиннейшего послания, забыв однако отметить, каким шрифтом оно должно быть напечатано. Я воспользовался этой забывчивостью и велел набрать его послание самым мелким шрифтом, так что у меня еще осталось место для комментариев, которыми я его сопроводил. Маневр, таким образом, не удался.

Речь шла о заточении адвоката Сандона в дом умалишенных, хотя он считался психически совершенно здоровым. Причиной этого заточения послужила, как рассказывали, очень компрометирующая министра Бильо⁸², одного из столпов шатающейся династии, переписка. Сандона, пригрозившего министру опубликовать ее, можно было в крайнем случае привлечь за «угрозы под условием». Было скандально законопатить его как душевнобольного.

Я подчеркнул это юридическое и медицинское противоречие, благодаря которому несчастный адвокат одновременно выставлялся и шантажистом и умалишенным, между тем как, если он был шантажистом, он не был душевнобольным — и обратно. Пинар тщетно пытался примирить в своем бесконечном коммюнике эти две исключавшие друг друга точки зрения. И так как я получил этот документ слишком поздно, чтобы опубликовать его в уже печатавшемся номере «Фонаря», прокуратура привлекла меня к суду за отказ напечатать его.

Общественное мнение с возрастающим озлоблением следило за этой постыдной и коварной борьбой, которую вела против одного человека, вооруженного только своим пером для нападения и оставшегося только с ним для защиты, власть, опирающаяся на пятисоттысячную армию, на низкопоклонный суд, на полицию, способную на всякие пакости, на парламент, готовый голосовать за всякие репрессивные законы, какие требуют от его сервилитета. И государственные деятели, которые вели против меня эту борьбу, были не только бессовестны, неразборчивы в средствах, бесчестны, — они, кроме того, не обладали ни малейшим умом. Их якобы хитрые уловки были

шиты такими грубыми нитками, что их можно было видеть на самом далеком расстоянии.

Произвол, пораженный на своих главных позициях, стал прибегать для своего спасения к самым бесцеремонным средствам. Так, совершенно неопиcуемый процесс, в котором тринадцать граждан предстали пред судом исправительной полиции по обвинению в том, что они незаконно организовались в сообщество, насчитывающее *свыше двадцати членов*, вызвал прямо гомерический хохот. В продолжение всего процесса не переставали спрашивать, где же остальные семь и на основании какого нового правила арифметики пять плюс восемь, составляющие тринадцать, все же каким-то чудом дают в сумме двадцать. Я же ограничился тем, что привел по поводу приговора, осудившего этих граждан, следующую конфузную для автора «Искоренение пауперизма»⁸³ цитату:

«Не должны ли мы краснеть, мы, свободный народ или, по крайней мере, считающие себя свободным народом, ибо мы совершили несколько революций, чтобы стать им, — не должны ли мы краснеть, говорим мы, при мысли, что даже Ирландия, несчастная Ирландия, пользуется в некоторых отношениях большей свободой, нежели Франция? Так, у нас двадцать человек не могут собраться, не получив на это разрешения полиции, между тем как на родине О'Коннелля⁸⁴ тысячи людей собираются, обсуждают свои дела, колеблют *самые основы Британской империи*, и ни один министр не смеет нарушить закон, охраняющий в Англии свободу ассоциаций» (Луи-Наполеон Бонапарт. «Progrès du Pas-de-Calais» от 4 октября 1843 года).

И я требовал привлечения к суду Луи Бонапарта за возбуждение ненависти и презрения к правительству Наполеона III. Этот прямой удар привел в замешательство министерство, которое распорядилось ответить в своих листках, что время теперь не то. На это я возразил, что я тоже так думаю, потому что при конституционной монархии осуждали за организацию сообщества в двадцать человек, когда их действительно было двадцать, тогда как при империи тоже осуждают за сообщество в двадцать членов, когда оно насчитывает их только тринадцать.

Так, потребовав от Вильмессана моего изгнания из «Фигаро», правительство тупоголовых деспотов само выковало для меня оружие для нанесения ему ран, которым я никогда не давал закрываться.

Неудача всех их хитростей привела их, наконец, в бешенство. Они порешили покончить со мной способом, который Наполеон I называл «громовым ударом». Одиннадцатый номер «Фонаря», заключающий в себе отчет о процессе, возбужденном против меня типографом Рошетом, а также и выражение

чувств, которые внушали мне императорские суды, был конфискован, и я был предан суду по обвинению в

*оскорблении особы императора;
возбуждения ненависти и презрения к правительству.*

Я спал у себя сном человека, недавно приговоренного к четырем месяцам тюрьмы, когда агенты полиции, которым поручено было произвести конфискацию «Фонаря», явились в типографию Дюбюиссона, где сложены были отпечатанные экземпляры. Накануне вечером я прочел гранки последнего номера своим приятелям, приехавшим ко мне в Ножан-на-Марне обещать, и Адольф Шолер мне сказал:

— На этот раз — конец! Никак нельзя рассчитывать, чтоб они пропустили такие вещи.

В тот момент когда полиция, как всегда с опозданием, ворвалась в наш склад, значительная часть тиража уже была вывезена и распродана. Оставалось около двух тысяч экземпляров в одной комнате, и комиссар наложил на них руку; но еще около тридцати тысяч лежало в соседней комнате. Вильмессан с находчивостью опытного во всяких делах коммивояжера поспешил срезать титул с экземпляра «Eclipse» («Затмение»), иллюстрированного журналом, обязанного своим успехом республиканским рисункам Андре Жилля, и наскоро наклеил его на дверях комнаты, которую агенты полиции еще не осмотрели.

— Теперь, — сказал полицейский комиссар, распорядившись вынести конфискованные две тысячи экземпляров «Фонаря» в стоявшие у типографии повозки, — потрудитесь открыть двери этой комнаты.

— Простите, — ответил Вильмессан, — эта комната, как видите, принадлежит журналу «Eclipse». Разве вы имеете ордер на конфискацию этого журнала тоже?

— Совсем нет, — сказал с извинениями комиссар. — Я не заметил этот титул на дверях.

И он удалился со своей добычей, не подозревая, что оставил нам в пятнадцать раз больше, чем забрал. Оставшиеся экземпляры были тщательно спрятаны и затем постепенно спущены по чрезмерным ценам. Платили за них до ста франков. Должен однако прибавить, что я не воспользовался этой чудовишной прибылью, которая попала, без всякого сомнения, в карман посредников. Меня уверяли даже, что альгвазилы, как всегда весьма практичные, выкрали много экземпляров из числа конфискованных и тайно распродавали их, не считаясь с кишевшими в них оскорблениями величества, на службе которого они состояли.

Я весь день не выходил из дому и только в четыре часа, сядя в поезд, чтобы поехать в Мезон-Лафит, узнал о конфискации «Фонаря», который все пассажиры имели, впрочем, с собою. Я понял тогда, что борьба между правительством и мною

входила в новую фазу, становилась борьбой вооруженной, — что война, в которой оружием служили коммюнистиче будет заменена другой войною, с более серьезными снарядами.

Мой аппетит за обедом от этого, впрочем, не уменьшился, и я собирался уже вернуться в Париж, как Вильмессан, осведомленный о происходящем Эрнестом Блюмом, вошел в гостиную.

— Вас разыскивают, чтобы арестовать, — сказал он. — Полицейский комиссар моего участка мне только что сообщил, что он собственными глазами читал приказ о вашем аресте. Вот десять тысяч франков. Торопитесь. У вас в обрез остается время, чтобы попасть в поезд, идущий в Бельгию.

Я сперва наотрез отверг этот план. Я говорил, что, только что осужденный судом исправительной полиции, я обязан следовать избранному мною пути и вторично предстать пред этим судом, и состязательный процесс будет выгоднее для моего дела, чем заочное осуждение. Но Вильмессан умолял меня с такой настойчивостью, говоря, что необходимо дать пройти буре и вернуться, когда она немного уляжется, приятели, у которых я был в гостях, так горячо присоединили свои просьбы к его просьбам, что я дал себя если не убедить, то победить.

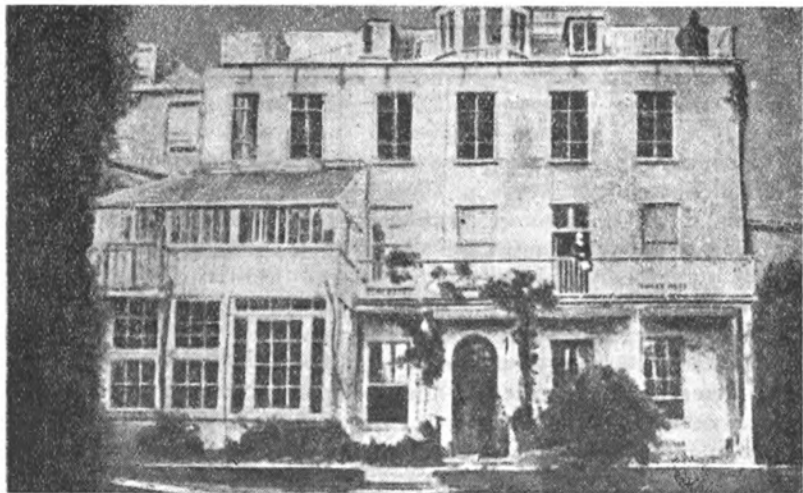
Должен также сознаться, — хотя в мои годы такие экскурсии в прошлое граничат со смешным, — что я в то время страстно любил одну молодую женщину, которая по меньшей мере делала вид, что разделяет мое чувство. Она сказала мне голосом, который мне показался удрученным скорбью, хотя в действительности он, может быть, и не был таким:

— А если вы будете приговорены к двум годам тюрьмы, мы все это время не будем видеться?

Это, действительно, было бы слишком долго. А затем я подумал, что с точки зрения политических результатов пример моего тюремного пленения не может, вероятно, итти в сравнение с борьбой, которую мне удастся, конечно, продолжать и из-за границы, еще более обострив ее. И я уехал, оставив в Париже своих детей, которые на следующий день должны были последовать за мной. Я прибыл ночью в Брюссель, где остановился во Фландрской гостинице.

Я часто думал после этого побега, что Вильмессан не очень был огорчен моим удалением, избавлявшим его от опасного «Фонаря», для которого он меньше был денежным участником, чем «Фигаро» — конкурентом.

С другой стороны, так как удары томагавком, которые я каждую неделю опускал на министерские головы, становились все более и более тяжеловесными и беспощадными, он, вероятно, начинал опасаться, как бы ему, рано или поздно, не пришлось нести за них ответ. Если он позволял себе от времени до времени преподносить более или менее безобидную шутку особам из Тюильри, он отнюдь не желал совсем с ними поссориться.



ГЛАВА VII

Осуждение. — У Виктора Гюго. — Виктор Гюго на островах Джерси и Гернеси. — Портреты Виктора Гюго. — Кресло предков. — Сыновья поэта. — Пари

Империя, торопившаяся задушить меня, не дала мне долго томиться. Как в Мексике с Максимилианом — как только взят, так и прикокошен. Кликнули Дельво, который только этого ждал, чтобы прибежать. И в мое отсутствие, ибо я на суд не явился, он составил следующий, почти веселый, приговор или, вернее, принес его в готовом виде на заседание:

«Трибунал, принимая во внимание, что Рошфор, ответственный редактор, опубликовал в Париже, 6 августа 1868 г., XI номер своего журнала «Фонарь»; что, переместив с очевидным преступным намерением на 11 странице этого журнала два сокращенных пассажа из обвинительной речи императорского адвоката против него, Рошфора, привлеченного к суду за нанесение побоев Рошетту, он пользуется этим сопоставлением, чтобы нанести оскорбление особе императора;

что на странице 24 он напоминает письмо от 19 января, исследует причины его появления, вмешивает городских в дело предварительного разрешения периодических изданий и в вопрос о свободе собраний, говорит о романсе «Это для ребенка», о «Стакане воды» Скриба, — и все это лишь для того, чтобы нанести оскорбление особе императора;

принимая во внимание, что эти оскорбления задевают и оскорбляют сознание и совесть всякого гражданина, любл-

щего свое отечество, каких бы политических воззрений он ни придерживался;

что, опубликовав их, Рошфор совершил правонарушение, предвиденное и наказуемое статьями 1 и 9 закона 17 мая 1819 г.;

принимая во внимание, что на страницах 1, 2, 4, 7, 15, 16, 36, 58 и 59 того же журнала Рошфор утверждает, что ему рассказали западню, что он лучше, чем кто-либо другой, знает, до какой степени правительство неразборчиво в средствах... что фабрика лжи, выпускаемой против него, поддерживается правительством;

что на странице 7 он присовокупляет:

«Почему постоянно говорят об эксцессах 93 года и об убийствах Трестайона⁸⁵ на юге? Ведь Франция никогда не переживала ничего подобного тому, что происходит теперь»;

что дальше он заявляет, что приговор, постановленный против него, ярко раскрывает правительственные батареи; что правительство будет вознаграждать своих друзей столь же нагло, как оно будет отставлять своих врагов; что оно знает лишь два вида французов: своих друзей и своих врагов.

И затем он говорит:

«Помилуйте, мои дорогие товарищи, нужно же столкнуться! Когда правительство предлагает либеральный законопроект, неужели вы думаете, что это серьезно?»

Дальше он призывает граждан всех классов, горько оплакивающих в присылаемых ему письмах моральное проституирование, которому родина подвергается изо дня в день, немного успокоиться и заканчивает так:

«Франция уже пала — я не скажу более низко, потому что никто мне не поверит, но столь же или почти столь же низко... Но мускулы у нашей страны не настолько ослабели, чтоб она не в состоянии была подняться на ноги».

Принимая во внимание, что эти утверждения, выдумки, кивки, собираются, сопоставляются, комбинируются с очевидной целью подвергать правительство высмеиванию и нападкам;

что такие действия ни в какой мере не соответствуют никакому виду критики или обсуждению актов правительства;

что в журнале Рошфора действительно не встречается никакого обсуждения политических или литературных вопросов или вопросов искусства; что Рошфор, следовательно, превысил права, принадлежащие публицисту;

что его преступные намерения очевидны; что их можно видеть на каждой странице его журнала;

что, опубликовав означенный номер «Фонаря», он совершил правонарушение, выразившееся в возбуждении ненависти и презрения к правительству, — правонарушении, предвиденном и наказуемом статьей 4 декрета 11 апреля 1848 г.;

принимая во внимание, что Дюбюиссон явился соучастником в правонарушении, совершонном Рошфором, причем его соучастие выразилось в том, что он со знанием дела помогал ему в деяниях, подготовивших, облегчивших и завершивших правонарушение, а именно напечатал номер журнала «Фонарь», заключающий в себе инкриминируемые места, — соучастие, предвиденное и наказуемое статьями 59 и 60 уголовного кодекса и указанными выше статьями закона 17 мая 1819 г., —

приговаривает Рошфора к тюремному заключению на один год и к уплате 10 000 франков штрафа, с заменю двумя годами тюремного заключения; Дюбюиссона — к двум месяцам тюремного заключения и к уплате 2 000 франков штрафа, с заменю восемью месяцами тюремного заключения.

Штраф и издержки по ведению дела взыскать с обоих за взаимною порукою».

В то самое время, как в мотивировке этого трагикомического приговора утверждалось, что мои оскорбления императору «задевают и оскорбляют сознание и совесть всякого гражданина, любящего свое отечество», таскали в суд исправительной полиции, как потащили меня, много молодых людей, оглашавших улицы мятежными отныне восклицаниями: «Да здравствует «Фонарь»!»

По существу, имели такое же право арестовывать людей за крики «да здравствует «Фонарь», как за крики «да здравствует «*Moniteur universel*» («Всеобщий вестник») ⁸⁶, ибо оба издания внесли указанный залог и уплатили штемпельный сбор. «Фонарь» не был закрыт и пользовался такими же правами, как и все остальные издания. Но свора была спущена. Объявление вне закона было открыто афишировано. По отношению ко мне восстанавливали проскрипционные декреты 1852 года.

Я достиг, таким образом, огромного результата, способного раскрыть даже наиболее упорно закрывавшиеся глаза, ибо мой процесс показал, что все императорские так называемые уступки — лишь приманка и обман, и что при малейшем сопротивлении заговорщик Булони, впоследствии разгромивший картечью Монмартрский бульвар, показывал себя во всей своей зверской жестокости.

Но разгул произвола на этом не остановился: 15 мая того же 1868 года городовые торжественно предали сожжению большое количество экземпляров «Фонаря», украшенных моим портретом. Эта средневековая операция внушила мне в номере тринадцатом следующие размышления:

«Заточить в тюрьму меня лично, оказывается, недостаточно. Теперь уже сжигают мое изображение. Какой чорт мог бы когда-нибудь подумать, что наступит день, когда я, как сожженный, являюсь конкурентом Яна Гусса ⁸⁷ и Этьена Доле ⁸⁸?

Эта публичная экзекуция, которая может внушить мысль, что я между завтраком и обедом занимаюсь колдовством, напоминает худшие дни Филиппа II Испанского⁸⁹, — совпадение тем более досадное, что герцог Альба⁹⁰ является, как известно, собственником правящего нами государя».

Я уже двое суток жил во Фландрской гостинице, куда прибыли и двое моих детей, когда получил от Шарля Гюго⁹¹, старшего сына поэта, записку, в которой он спрашивал, почему я еще не побывал на площади Баррикад, и сообщал, что меня в то же утро ждут там к завтраку.

К тому времени я видел Виктора Гюго только два раза в своей жизни — в первый раз в 1847 году на похоронах Фредерика Сулье⁹², на которые отец повел меня в моей гимназической форме. Великий писатель не носил тогда ни усов, ни бороды, и хотя ему было уже сорок пять лет, ему можно было дать на вид едва тридцать четыре или тридцать пять. Он шел за гробом, окруженный группой лиц, и вместе с Александром Дюма, еще не тучным в то время, привлекал к себе всеобщее внимание.

Чеканное лицо автора «Сумеречных песен», «Восточных мотивов», «Осенних листьев», тогда еще не написавшего «Кар» и «Легенды веков», поразило меня выражением воли, силы и умственной мощи. Хотя он был сравнительно невысокого роста, он, казалось, доминировал над почтительно сопровождавшей его группой. И хотя я был в то время шестнадцатилетним юношей и слабо был знаком с литературным движением, я смотрел только на него одного.

Второй раз мне довелось встретиться с Виктором Гюго в 1862 году, в Брюсселе, на банкете, устроенном издателями «Отверженных». Я работал тогда в «Шаривари» и благодаря своим открыто антибонапартистским взглядам был приглашен на этот банкет вместе с другими журналистами, не боявшимися переехать границу, чтобы приветствовать политического и почти личного врага Бонапарта. В эмиграции Виктор Гюго отрастил себе бороду и сбрил уже седевшие волосы на голове, так что он лишь приблизительно напоминал почти молодого человека, каким я его видел на похоронах Фредерика Сулье.

Луи Блан⁹³, специально для этого банкета приехавший из Лондона, произнес на нем очень яркую речь против империи. Виктор Гюго ответил на нее, и собравшиеся разошлись с возгласами:

— Да здравствует республика!

Некоторые участники банкета даже побаивались последствий этой экскурсии, которую тюильрийский деспот мог объявить мятежной и оскорбительной для его величества. Однако никаких неприятностей это ни на кого из нас не навлекло. Когда мы все расставались, Виктор Гюго, сделав для меня

самое лестное исключение, пригласил меня на следующий день к себе завтракать. Меня усадили между обоими сыновьями, Шарлем и Франсуа-Виктором⁹⁴, которые сразу проявили ко мне большую симпатию, на какую я, начинающий журналист, не мог рассчитывать.

Несколько лет спустя я снова встретился у Поля Мериса⁹⁵ с Шарлем Гюго, который тогда только что женился и, будучи политически менее ригористичным, чем его отец и брат, наезжал от времени до времени в Париж то из Брюсселя, то с острова Гернеси, где ему действительно не очень весело, должно быть, жилось, так как мало найдется менее обитаемых островов.

Остров Джерси, на котором Виктор Гюго поселился после государственного переворота и где он прожил три года, имел, по крайней мере, свое лицо, свои особенности, хотя бы по сохранившимся там, несмотря на столько революций, средневековым нравам. Кто поверит, что там до настоящего времени сохранились если не в законе, то в обычаях некоторые пережитки «права первой ночи» и что джерсейские девушки, выходя замуж, должны в виде откупа уплатить общине «два су»!

Все жители острова говорят по-французски, и многие из них даже не знают английского языка. Но язык их архаический и торжественный, напоминающий век Людовика XIV из произведений Расина⁹⁶. Когда я, во время своей последней эмиграции, как-то навестил генерала Буланже⁹⁷ в той гостинице, где он жил, я забавлялся тем, что заставлял рыбаков и крестьян говорить на их странном французском языке. А дух автономии у них развит очень сильно, так что они не желают быть ни французами, ни англичанами и называют себя просто джерсейцами. И когда я одному из них сказал, что Джерси все же несомненно принадлежит Англии, он мне с гордостью ответил:

— Мы Англии не знаем. У нас правосудие отправляется именем Виктории, нашей доброй нормандской герцогини.

В населении наблюдается гораздо больше духовного родства с Францией, чем с Великобританией, и французов принимают на острове значительно любезнее, чем англичан. Это упорное сохранение нашего языка тем более обращает на себя внимание, что остров был отнят у нас свыше тысячи ста лет тому назад, что он оборонялся от Дюгеклена⁹⁸, мечтавшего снова завладеть островом, и что если бы мы только сделали вид, что хотим его занять, он немедленно призвал бы на помощь все английские силы.

Понятно в виду этого, почему Виктор Гюго избрал сперва в качестве своего острова св. Елены эту райскую землю, где кактусы и камелии растут на полях под открытым небом, как на юге Франции, хотя Джерси находится на севере. Он должен был крепко взять себя в руки, чтобы провести потом столько

лет на сером и бесплодном Гернеси, где говорят на каком-то англоязычном французском простонаречьи, где природа дает очень скудные средства для борьбы за существование, где население, не поддающееся никакому влиянию французской культуры, занимается почти исключительно рыболовством.

Единственная достопримечательность на Гернеси, где я провел несколько дней, — это дом поэта, который в настоящее время принадлежит его внукам и в котором вся обстановка, вплоть до малейшей мебели и простейших эскизов, развешанных по стенам, напоминает что-нибудь из его жизни или жизни его близких. Портрет Виктора Гюго работы Луи Буланже⁹⁹, хотя и посредственно сделанный, привлекает к себе внимание главным образом вызываемыми им великими воспоминаниями. Поэт стоит немного склонив голову на левое плечо, и зачесанные назад длинные волосы темнокаштанового цвета обнажают его виски. Он такой, каким я его видел в первый раз — без усов и бороды, и выглядит совсем молодым на этом полотне, написанном, кажется, в 1835 году. Следующие поколения знали его совсем другим. Тогда он брил голову, а бороду отращивал.

Лично я, хотя и видел его мельком только один раз в ранней юности, всегда представлял его себе с его тонко обрисованным ртом и властным подбородком, впоследствии затерявшимся в бороде.

Эта густая и временами спутанная растительность стерла немного с его лица его природное изящество. Правда, с годами рисунок лица потерял бы свою прежнюю овальную форму и структура его изменилась бы. И все же Виктор Гюго, запечатлевшийся в моей памяти, — это Виктор Гюго безбородый!

Был там и другой, в натуральную величину, портрет г-жи Гюго, тоже кисти Луи Буланже, третьестепенного художника, воспетого и как бы воспринятого поэтом. Это был, по видимому, домашний художник семьи. С его воображением, которое, как я много раз убеждался, рисовало ему все в желательном ему виде, Виктор Гюго находил в его произведениях такие художественные красоты, каких в них и в помине не было.

Поэт «Собора Парижской богородицы» (говоря — «поэт», потому что книга эта — скорее поэма, чем роман) положительно обладал талантом архитектора. Почти вся мебель в доме на Гернеси была либо скомбинирована из старых деревянных кусков, которые рабочие слагивали по его чертежам и под его руководством, либо сработана его собственными руками, — ибо он владел инструментом, как настоящий столяр. Сундук, сработанный и отделанный собственными руками Виктора Гюго и с его резьбой, будет со временем служить для любителей редких вещей драгоценным образчиком многообразия

дарований этого необыкновенного человека, на все смотревшего глазами мечтателя.

Я знал другого художника, также любившего мастерить из отдельных кусков старого дерева разную мебель, которая не была новой и которую, вместе с тем, нельзя было считать старинной: это был недавно умерший знаменитый анималист Жак, оставивший своим наследникам не мало готических и романских буфетов и баулов, относительно происхождения которых все будет впоследствии ошибаться.

У автора «Легенды веков», несомненно, были декоративные запросы, выражавшиеся в том, что он превращал свои гостиные, свои столовые и свои передние в своего рода капеллы, каждая из которых имела свое назначение. В Гернеси эта мания проявляется особенно заметно. Так, в столовой, вдоль стен которой стоят старинные скамьи со спинками, украшенными уже несколько выцветшей живописью, Виктор Гюго под каждым рисунком начертал символические слова:

«Конец солдату, конец попу, конец господину».

Эти надписи свидетельствуют о том, как далеко поэт ушел от своих ранних взглядов на войну, которую он прославлял в былое время, на духовенство, направлявшее и прощитавшее его верования, и даже на бога, существование которого он напоследок стал отрицать, хотя и упоминал его имя в своих стихах.

По какому-то фетишизму, скорее индусскому, нежели европейскому, он поставил в той же столовой огромное кресло, которое постоянно должно было оставаться незанятым и в которое, как предполагалось, усаживались умершие предки. Виктор Гюго называл его «креслом предков». Последние якобы были там, присутствуя при всех разговорах, и нельзя было знать, кто именно из предков сидит в данный момент на этом своеобразном кресле.

Над гостиной расположены были две комнаты, из которых одна, обставленная дубовой мебелью, служила спальней. Но особенно хороша была застекленная терраса, залитая ярким солнечным светом. С высоты этого своего рода ателье фотографа поэт часами наблюдал море, которое он знал и воспевал в стихах и в прозе во всех его видах.

*Tu me montras ta grâçe immense,
Mêlée à ton immense horreur!**—

великолепно восклицает он, говоря о море. Весь океан дан в этих двух первоклассных стихах.

Получив письмо Шарля Гюго, я поехал на площадь Баррикад, где был принят с почти нежной сердечностью. Все но-

* «Ты показало мне твою Сезмерную прелесть вместе с твоим безмерным ужасом!»

мера «Фонаря» разбросаны были в разных местах квартиры, и Виктор Гюго, уже сидевший за столом, сказал мне, указывая место подле себя:

— Садитесь вот здесь, рядом со мною, — ведь вы мне тоже сын.

Не думая, что мне так скоро придется очутиться вместе с ним в изгнании, я как раз в последних номерах «Фонаря» не то чтоб выступил в его защиту по поводу запрещения «Рюи Блаза», — он сам достаточно хорошо защищал себя, — а приветствовал и ликующе его противопоставлял его жалкому преследователю. Мое появление у него было поэтому появлением друга, почти союзника, и Виктор Гюго сердечно и ясно дал мне понять, что в его доме я — у себя.

Дом номер 4 на площади Баррикад напоминал те английские «homes»*, в которых можно укрываться от всякого любопытства и всякого наблюдения. Обстановка почти вся была старинная — времен до Реставрации, эпохи Реставрации и после Реставрации, ибо автор «Собора Парижской богородицы» очень любил искать и откапывать старинную мебель, как я любил и люблю и по сию пору разыскивать старинные картины.

С первого же дня мы с Шарлем и Франсуа очень близко сошлись. Я только что приехал из Парижа, все закулисные тайны которого мне были известны, потому что я все время среди них вертелся. И они, только что вырвавшиеся из заключения в укрепленной местности, именуемой Гернеси, наслаждались бульварными анекдотами и сплетнями, которые я совсем еще свеженькими привез с собою. Наши завтраки и обеды проходили в непрерывном смехе, в котором Виктор Гюго принимал такое же, если не большее, участие, чем мы.

Ему было тогда шестьдесят шесть лет, но, несмотря на его долгую жизнь, наполненную борьбой и непрерывным трудом, начиная с шестнадцатилетнего возраста, в нем не заметно было никаких следов старости и усталости. Только борода немного больше поседела, но лицо у него было гладкое, а его прекрасный лоб, под которым сверкали, точно стрелы, необыкновенно пронизывающие глаза, сохранял еще свой мраморный вид.

Его старший сын Шарль был красивейшим молодым человеком, какого можно себе представить, хотя в это время он начал уже немного толстеть. От отца у него был строгий профиль, а от матери — великолепные глаза и высокий рост, привлекавшие все взоры. Власть, какую он пользовался в доме, показывала, что он был баловнем семьи. Отец, спускавший ему все, всегда, повидимому, ему все прощал. Он был к тому же добр, сердечен. с искрившимся весельем и умом и прямой, словно ива. Он один позволял себе по отношению к отцу за-

* Особняки.

мечания, с которыми поэт, после некоторого сопротивления, всегда в конце концов соглашался. Эта слабость к своим детям тотчас же сделала мне Виктора Гюго еще более дорогим, так как она соответствовала моей снисходительности к своим малышам.

Многие представляют себе великого поэта всегда выступающим в ореоле своей славы, как бы сверхчеловеком. Это совершенно ошибочное представление. Он, наоборот, любил вызывать и поддерживать споры, добросовестно уступая более правильной аргументации. В повседневно загоравшихся между нами философских или литературных спорах он держался и со своими сыновьями и со мною как равный с равными, никогда не кичась своим превосходством и авторитетом, которым его облекал его гений.

Франсуа-Виктор Гюго, более серьезный, чем его старший брат, быть может, более требовательный к самому себе, но, несомненно, менее остроумный, менее впечатлительный и, скажем прямо, больше «провинциал», в первый же день показал мне все безделушки, рассеянные по квартире, расспрашивая меня о степени подлинности и старины развешанных по стенам блюд из саксонского фарфора и дельфтского фаянса.

После завтрака Виктор Гюго пожелал мне лично показать свою спальню, служившую ему вместе с тем и рабочим кабинетом. Она расположена была в глубине здания и в нее поднимались по висячей лестнице. Это была маленькая мансардная комнатка, покрытая такой легкой крышей, что сквозь щели между черепицами пробивался свет, а иногда, как признался мне Виктор Гюго, не без некоторой гордости, и дождь. Походная кровать, настоящая военная постель, узкая и низенькая, разделяла надвое эту комнатку, которою вряд ли удовольствовался бы слуга и в которой величайший наш поэт творил свои шедевры. Он радовался, что не нуждается в столе для их писания, потому что его негде было бы поставить. И действительно, в стене по левую сторону комнаты ввинчена была небольшая доска и на ней лежала бумага, по которой бегало перо писателя, ибо он никогда не садился за работой и писал стоя, отрываясь для того, чтобы делать те четыре шага, которые он едва мог делать в своей тесной клетушке. Он спустил при мне шарнир своей доски и показал, каким образом он, окончив свою повседневную работу, опускал свой импровизированный столик, чтобы легче было двигаться по комнатке.

Я сказал ему:

— Мне кажется, что я читаю ваш «Взгляд, брошенный в мансарду».

И я воспользовался случаем, чтобы продекламировать ему несколько стихов из этой столь известной поэтической вещицы. Он слушал их с таким видом, точно бы он их совсем

не знал, и этот вид был такой искренний, что сомневаюсь, чтобы он их помнил.

Признаю безо всякой скромности: восхищение, какое с самой ранней юности внушал мне поэт, чудесные стихи которого я всегда готов был цитировать, играло, конечно, большую роль в симпатии, которую он почти сразу стал мне выражать как человек. Однажды я держал пари с его сыном Шарлем, что прочту наизусть с начала до конца, не пропустив ни одного полустихия, одну из наиболее прекрасных пьес из «Кар» — «Караван», который содержит около четырехсот стихов и который вообще мало кто читает. Шарль Гюго поддержал пари, раскрыл книгу, и я прочел, не споткнувшись, наизусть все четыреста стихов, которые я и сейчас мог бы прочесть, так как не забыл ни одного. И я продолжал читать следующие вещи из того же тома: «Осепано пох», «Искупление», «Усыпленный Вооз», «Королевская мантия», и Виктор Гюго был до такой степени удивлен этим усилием памяти, специально приложенным к его произведениям, что у него слезы выступили на глазах. Понятно после этого, что он считал меня почти членом семьи.

К тому же по знаменательной случайности он послал мне в Париж незадолго до процесса, понудившего меня покинуть Францию, один из своих рисунков пером, в которых он отдавался своим архитектурным фантазиям и которые впоследствии собраны были в отдельный альбом. На присланном мне рисунке изображено было посреди пустынной и голой равнины, под грозовым небом, одинокое и оголенное от листьев дерево. Под рисунком большими буквами было написано: «Exilium»*.

Это предсказание, осуществившееся через такой короткий срок, поражало его воображение, и он мне сказал:

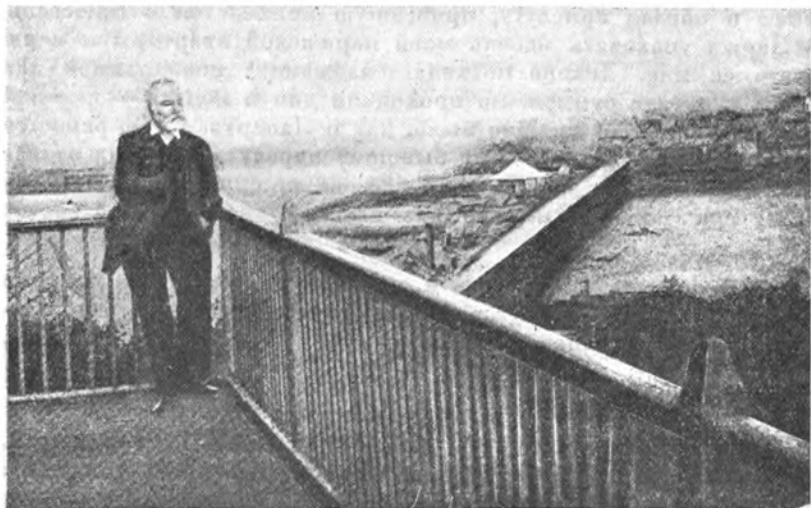
— Я же вам предсказал, что вы скоро приедете к нам!

Он не позволил мне ни одного дня больше оставаться в гостинице и оказал мне безмерную честь, предложив гостеприимство в своем доме.

— Не под крышей моей мансарды, — прибавил он: — там поливает дождь.

Хотя малейшего уголка было бы для меня более чем достаточно, Франсуа-Виктор уступил мне свою комнату, а сам уходил ночевать к другим. А со мною были двое моих детей, — третий остался в Париже со своей матерью.

* «Изгнание».



ГЛАВА VIII

Благочестивый Дельво. — Восприемник Жоржа Г'юго. — Барош. — Дуэль. — Отчаяние влюбленной

В уступленной мне Франсуа-Виктором комнате написал я тринадцатый номер «Фонаря», который был конфискован, как и одиннадцатый и все последующие номера. Я снова получил десять тысяч франков штрафа и уже не год, а тринадцать месяцев тюрьмы, что меня заставило дожидаться в Брюсселе дальнейших событий, наступление которых нам всем представлялось близким.

Чтобы усилить кару, Дельво прибавил к оскорблению особы императора оскорбление признанной государством религии. Это оскорбление было нанесено следующей заметкой:

«Парижский архиепископ получил от императора по случаю праздника главы государства, который вместе с тем является праздником успения, по предложению св. девы, высший офицерский крест Почетного легиона. Так как парижский архиепископ является представителем Иисуса Христа на земле, я невольно спросил себя, действительно ли наш божественный владыка был распят на кресте и не сказал ли просто Понтий Пилат евреям:

— О, вы желаете крест для этого праведника? Что ж, я ему даю высший офицерский крест!»

Пред лицом этого непрерывного разрастания моей справки о судимости я решил ликвидировать свою обстановку в Па-

риже и послал прислугу, привезшую моих детей в Брюссель. В Париж упаковать мебель моей парижской квартиры и переслать ее мне. Девушка поехала, снабженная необходимой для этого переезда суммой, но проходили дни и недели — и о ней так же ничего не слышно было, как о Лаперузе¹⁰⁰. Я решился тогда написать ей по моему бывшему адресу и получил от нее следующий ответ, заставивший нас сильно смеяться, — Виктора Гюго еще больше, нежели нас всех:

«Сударь.

Я не вернусь в Брюссель и оставляю у себя мебель за свои хлопоты. К тому же я уже достаточно несчастна тем, что в течение шести месяцев была на службе у такого осужденного, как вы.

Луиза».

Трудно представить себе более правильный образ жизни, чем тот, какой вел великий писатель. Каждый вечер, какая бы оживленная беседа ни велась, как бы многочисленны ни были гости, лишь только било десять часов, он уходил спать и ровно в шесть утра вставал. Это рабство долга он доводил до аскетизма. Лишь только встав, еще весь пропитанный теплом одеял, он бежал обливаться холодной водой. Затем закутывался в теплый халат и растирал все тело до красноты.

С шести часов до одиннадцати все его время занято было работой. После этого его рабочий день кончался. Он плотно завтракал и даже с некоторым хвастовством выставлял свой аппетит.

— Видите, — весело говорил он, — все еще в порядке!

В часы его работы никто ни под каким предлогом не позволил бы себе помешать ему. Но меня он несколько раз сам звал притти посмотреть, как он работает. Услышав, что я спускаюсь по лестнице, он кричал мне:

— Это вы, Рошфор? Зайдите на минутку.

Я открывал маленькую дверь его каморки и входил со всякими предосторожностями, боясь попасть ногами на невысохшие еще листки, которые он, не решаясь их класть один на другой, бросал на кровать, на камин, на пол, и я пробирался к нему, лавируя между ними, как если бы пол был усеян яйцами. О быстроте его работы свидетельствовало то, что чернила на синеватой бумаге среднего формата, на которой он обычно писал, не успевали просыхать, когда он начинал уже заполнять другой листок. Я видел это десятки раз. Правда, он употреблял только гусиные перья, кончики которых немало надламывались и местами давали жирные буквы, которые казались кляксами.

Строки у него были на таком расстоянии друг от друга, что на листе их укладывалось не больше десятка. Однажды я его довольно нескромно спросил:

— Когда вы заполняете одну из этих страниц, сколько вы зарабатываете?

— Около ста франков за страницу, — ответил он.

Он ужасался, видя, с какой легкостью деньги уплывали у меня из рук.

Когда Вильмессан приехал в Брюссель ликвидировать наше товарищество по изданию «Фонаря» и уплатил мне тридцать тысяч франков, Виктор Гюго непременно хотел меня заставить поместить их в хорошие ценные бумаги.

— Тридцать тысяч франков, — говорил он, — ведь это начало богатства!

Им скоро наступил конец, ибо в то, отдаленное уже, время я питал какой-то ужас к работе, пока в кармане у меня болталось несколько су.

После первого же номера, выпущенного мною в Брюсселе, где я решил продолжать издание «Фонаря», я навлек на себя дуэль, давшую мне возможность оценить все расположение ко мне моего знаменитого хозяина.

Министр юстиции, г-н Барош¹⁰¹, именем которого постановлены были против меня все обвинительные приговоры, принудившие меня эмигрировать, потому что я был республиканцем, как должен был эмигрировать мой дед, потому что он был роялистом, — министр юстиции имел сыном г-на Эрнеста Бароша, выставившего свою кандидатуру на законодательных выборах в Версальском округе. Но правительство имело более желательного кандидата, и так как Барош-сын подозревался — быть может, и неосновательно — в причастности к делам банка Миреса, Персиньи, бывший тогда министром внутренних дел, не задумался расклеить на стенах города крайне оскорбительную афишу против этого смельчака, которого обвинял в темных финансовых связях. Зная, на что способно правительство в области изобретательной диффамации, я, может быть, обязан был проверить выдвинутые в афише обвинения. Но эта борьба между одним министром, который преследовал меня своими полицейскими агентами, и другим министром, судьи которого осуждали меня по его распоряжению, давала мне возможность отомстить, и мне не простили бы, если бы я этой возможностью не воспользовался.

Я напечатал в «Фонаре» очень резкую статью, в которой пробрал и отца и сына, и в ответ г-н Эрнест Барош прислал мне секундантов. Моим долгом, даже моей обязанностью было бы ответить им, что осужденный ни в каком случае не может предлагать удовлетворение своему судье, и так как Барош-отец поставил меня вне закона и границы Франции, я пользуюсь своим оружием и ставлю Бароша-сына вне чести. Но, право же, руки у меня давно уже чесались, и я рад был найти динамометр, чтобы измерить силу своего кулака. Я посоветовался по этому поводу с Виктором Гюго, который, хотя и очень

взволнован был перспективой этой дуэли, предложил мне довести это дело до конца.

— Это будет бой между республикой и империей, между изгнанниками и изгнавшими их, — сказал он, целуя меня. — Соглашайтесь. Мои сыновья будут вашими секундантами.

Я немедленно телеграфировал г-ну Барошу, что его секундантам остается лишь приехать поездом в Брюссель, где Шарль и Франсуа-Виктор будут их в тот же вечер дожидаться в доме своего отца.

Секунданты, одним из которых был Адольф Бело — автор «Завещания Цезаря Жиродо» и «Мадемуазель Жиро, моя жена» и других романов сомнительных достоинств, в тот же вечер, к десяти часам, прибыли на площадь Баррикад — и в пятнадцать минут все было решено. Дуэль должна была состояться на следующий день, рано утром, на голландской границе, в местности, называемой «Sus de Gand», где по какому-то фатуму мне в 1893 году снова пришлось драться с г-ном Жоржем Тьебо.

Эрнест Барош и его секунданты поняли, что дуэль не будет простой схваткой, и достаточно строгие условия, предложенные моими секундантами, были приняты.

Самым трудным делом было встать в четыре часа утра. Когда я с зарею спустился в столовую, Виктор Гюго был уже там совсем одетый, поджидая меня, чтобы еще раз поддержать меня своими последними советами и сердечными пожеланиями. На следующий день он признался, что был момент, когда он ужаснулся, узнав, что Эрнест Барош считается очень сильным фехтовальщиком.

В довершение всех этих приготовлений брюссельские эмигранты делегировали в помощь мне в качестве врача доктора Лосседа, декабрьского изгнанника и брата полковника Лосседа, который после падения империи был в течение долгого времени членом палаты депутатов.

Я весьма неправильно владел шпагой, но у меня уже раньше было несколько дуэлей, в которых я успел приобрести некоторый опыт. И затем я сознавал, что являюсь чемпионом всех жертв декабрьской западни. Я не уступил бы своего места никому на свете.

Виктор Гюго не хотел меня отпускать раньше, чем я не подкреплюсь небольшим количеством пищи. Он сам мне заказал яичницу из двух яиц. Немного подкрепленные, мы с Шарлем и Франсуа поехали на голландскую границу, куда прибыли около семи часов. Г-н Барош уже был на месте. Дрались молча, с крайней горячностью. Так как непосредственные схватки были разрешены и поединок должен был окончиться только после тяжелого ранения одного из дуэлянтов, шадить противника не приходилось. При схватке я с бесшестством бросался на противника, которому я наносил ра-

нения, но он не отступал ни на шаг. При четвертой схватке, в тот момент, когда я довольно серьезно задел его за бедро, я получил ничтожную царапину в руку. Врачи и секунданты воспротивились после этого продолжению поединка. Признаюсь, пора было кончать. В продолжение этого длительного боя я с таким нервным напряжением держал шпагу, что рука у меня стала деревянеть.

Не будучи тяжело ранен, Эрнест Барош, задетый четыре раза, терял довольно много крови. Без всякого сговора между его и моими секундантами мы снова встретились в Ганде в гостинице, где мы все остановились, чтобы позавтракать. Слухи о поединке уже распространились в окрестностях. Был базарный день, и мы сильно удивлены были, видя на площади, на которой стояла гостиница, большую толпу, шедшую нам навстречу. Когда я был узан, — ибо моя фотография продавалась почти повсюду, — меня приветствовали сочувственными восклицаниями, тон которых совсем изменился с появлением Эрнеста Бароша. Борьба республиканской Франции против империи до такой степени интересовала иностранцев, что жители Ганда и окрестные крестьяне были в курсе малейших проявлений этой борьбы, становившейся все более и более убийственной.

При виде этих манифестаций, вызванных его появлением и направленных не против него, а против правительства, которое он в данном случае представлял, Эрнест Барош сказал с улыбкой:

— Поистине я не считал себя столь популярным!

И он прибавил, — ибо он был, как показал его конец, вполне порядочный человек, и его причастность к делам Миреса никогда не была ясно установлена:

— Что ни говорите, а все же досадно драться с людьми, которых уважаешь, за людей, к которым никакого уважения не питаешь.

Эти слова, повидимому, свидетельствовали о том, что он не совсем по своей воле послал мне своих секундантов и что люди, близкие к императору, рассчитывали при его помощи избавиться от меня.

Когда мы с Шарлем и Франсуа возвратились совершенно невредимыми на площадь Баррикад, Виктор Гюго расцеловал нас с нескрываемой радостью. Он сиял. Дуэль вызвала много шума и утвердила по всей Бельгии мою репутацию сильного фехтовальщика, которой я, впрочем, ничем не заслужил.

Дуэль эта усложнилась для меня самой невероятной авантюрой. Я уже упоминал, что беллетрист Адольф Бело был одним из секундантов сына министра. Вернувшись в Париж, Бело встретился за обедом в одном доме с той молодой дамой, сладость близости которой я обменял на горечь изгнания. Он рассказал за обедом безо всякой задней мысли, — так как ни

в малейшей мере не подозревал о нашей связи, — что я дрался, как человек, впавший в отчаяние, с такой беззаботностью относясь к смерти, что можно было подумать, будто я хотел быть убитым. И действительно, когда поединок окончился, он указал мне на то неблагоразумие, с которым я не переставал бросаться на своего противника. На это я ему тогда ответил, что так как важно было попасть в любое место, я мало считался с правилами, предписываемыми в фехтовальном зале, где падать нужно в место, точно определенное.

Но его рассказ произвел ужасающее впечатление на престелную влюбленную, которая почти потеряла сознание, убежденная, что если я столь беззаботно шел навстречу смерти, то это можно было объяснить только тем, что я не мог жить вдали от нее.

Из уважения к правде я должен сказать, что в эту дуэль я только внес несколько больше политической страсти, чем в другие дуэли, и если я отдал себя во власть своему темпераменту, то ни одну минуту не думал закласть себя жертвой на алтаре несчастной любви. Поэтому я был даже несколько раздосадован, получив от милого создания письмо, в котором она мне сообщала, что заболела и слегла, что она все узнала от ничего не подозревавшего Бело, что я хотел умереть, и она запрещает мне впредь покушаться на свою жизнь, принадлежащую ей, а не мне. К тому же она решилась пойти на все, чтобы приехать в Брюссель повидаться со мною, и в случае надобности она сознается во всем мужу, который, видя ее умирающей, не будет в состоянии отказать ей в разрешении от времени до времени ездить ненадолго в Брюссель.

Это бредовое письмо меня сильно беспокоило — прежде всего за нее, потому что ее муж, молодой, высокий и красивый человек, из себя неизмеримо лучше меня, мог ответить на ее признание револьверными выстрелами, а затем, скажу откровенно, и за себя, так как мне придется пойти на новую дуэль и мне нельзя будет защищаться против человека, которого я оскорбил и который имеет почти такое же право на мою жизнь, какое я позволил себе присвоить на его жену. К тому же он был человек весьма мужественный и доказал это, дав себя потом убить под Парижем, в числе первых, в отряде вольных стрелков.

За этим письмом, уже достаточно озабочивавшим меня, почти немедленно последовало другое, значительно более короткое, но насколько более знаменательное! Оно состояло только из двух строчек, но каких тяжеловесных:

«Муж знает все. Если бы не моя мать, я была бы уже мертва. Но он едет сегодня вечером убить тебя».

Я тотчас же показал эту убийственную записку Виктору Гюго, Шарлю и Франсуа, и мы все же не могли удержаться от смеха от той неуверенности, в которую она нас повергла.

Что ждет меня: дуэль или просто убийство? Записка не давала нам на эти вопросы никакого ответа.

В первом случае — должен ли я пригласить секундантов? Во втором — обязан ли я раскрыть пальто и с холодным достоинством сказать ему: «Вот моя грудь, — стреляйте, если посмеете!»

Наступила ночь, пора было ложиться спать, а мы еще не пришли ни к какому решению.

На следующее утро мы стали ждать, и Виктор Гюго сказал мне:

— Я думал — она возьмется за ум, а она взялась за безумие.

К часовому поезду — никого. К шестичасовому — опять никого. Мы уже стали думать, что муж сел на один из тех товарных поездов, которые по многу часов простаивают на каждой станции, когда почтальон принес мне третье письмо, все от моей милой, которое заключало в себе не вызов на дуэль, хотя и было крайне вызывающе. Вот что произошло. После ужасающей сцены, во время которой огромный и прекрасный фарфоровый бассейн был превращен в черепки, после тщетных поисков револьвера, который благоразумно спрятали в верное место, он пришел в ужас от столбняка, охватившего его жену вслед за разоблачениями, о которых он наполовину уже догадывался и которые она дополнила своим признанием.

Должен добавить, в целях справедливого распределения вины, что у него самого была метресса, уже не молодая и совсем не красивая, ради которой он, по непонятной аберрации чувства, пренебрегал своей молоденькой и прелестной женой, обладавшей всей грацией артистической среды, — ибо она была дочерью знаменитого человека.

Но о таких болезнях не спорят, — их можно только констатировать. Было ли то влияние той, другой, обрадовавшейся, что семья навсегда разъединена и успокоившей этого человека, так бесновавшегося утром, — факт тот, что вечером он вернулся домой совсем другим, настолько спокойным, что сказал жене, остававшейся в том же состоянии протрации:

— В конце концов, я вовсе не хочу, чтоб ты умерла!

И больше он ни одним словом не обмолвился о нашей аванюре. Его намерение поехать потребовать у меня удовлетворения на исключительно суровых условиях погасло, и не прошло и восьми дней после этой драмы, как он, видя, как она похудела и поблекла, предложил ей:

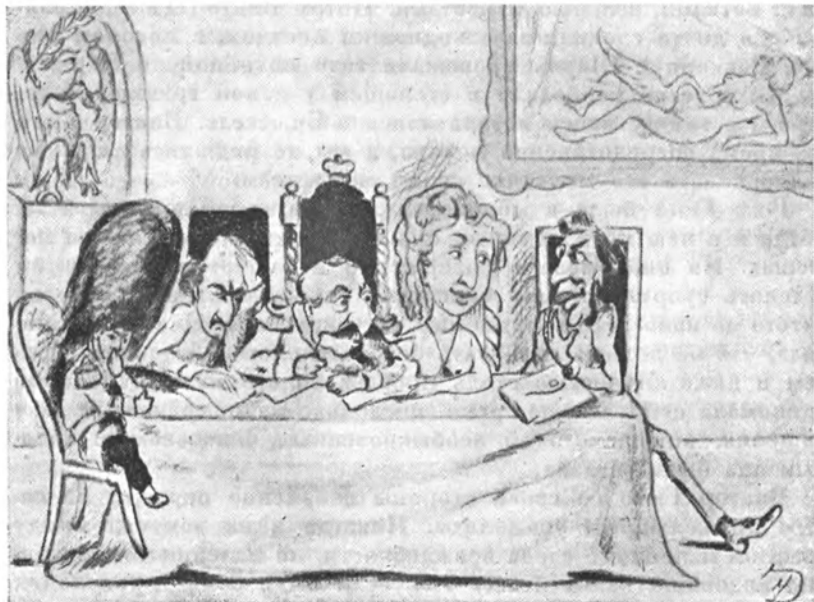
— Если ты его так сильно любишь — тем хуже. Поезжай поглядеться с ним.

Конечно, она обеими руками ухватилась за это предложение.

Нужно признать, что такую развязку нельзя было предвидеть. И, таким образом, я, вместо вооруженного визита мужа,

получил безоружный визит жены. В течение шести месяцев она каждые две недели уведомляла меня о своем приезде, проводила два дня в Брюсселе и возвращалась затем в Париж, где муж, оставаясь свободным, в свою очередь пользовался свободой.

Потом визиты стали реже, еще реже и наконец совсем прекратились. Пока была опасность видеться, мы не могли жить друг без друга. Когда все помехи пали на нашем пути и нам оставалось лишь реализовать свою мечту, мы разошлись мечтать по разным местам.



ГЛАВА IX

Г-жа Гюго. — «Скупость» поэта. — Гостеприимный стол. — Гюго и Огюст Барбье. — «Le Rouge et le Noir» («Красное и черное»). — «Зют». — Нищие. — Партия в баккара. — Покупка картины

Я раньше встречал г-жу Гюго только у Поля Мериса. Она была высока ростом, стройна, точно изваяние, с черными глазами и вьющимися волосами. Теперь я увидел ее, приехав в Брюссель, сильно похудевшей и изнуренной.

Болезнь сердца, уже в течение нескольких лет подтачивавшая ее организм, не давала ей ни минуты передышки. Она не могла лежать и была слишком слаба, чтобы держаться на ногах. Было видно, что ее подстерегает смерть, которую, впрочем, она, кажется, сама ждала. Последнее время ее жизни протекало на кушетке, на которой она не могла ни вытянуться, ни сидеть. Когда мы однажды утром зашли к ней в комнату, которая была для нее не столько спальней, сколько смертной комнатой, она попыталась приподняться — и упала недвижная. Совсем одетая испустила она последний вздох.

Ваккери¹⁰² и Мерис только что прибыли из Парижа в предвидении ее скорого конца. Они оба, Виктор Гюго, его сыновья, мои дети, жена Шарля, Камиль Беррю из «Indépendance Belge» и я поехали поездом до пограничной станции Кьервен. Гроб поставили в большой вагон, стенки которого убраны

были ветками, зеленью и цветами. Потом Виктор Гюго, Франсуа и я долго следили за отходившим поездом, в котором Мерис, Ваккери и Шарль провозжали тело покойной до Парижа.

Мы грустно пообедали в стоявшем у самой границы трактире и в тот же вечер возвратились в Брюссель. Виктор Гюго все время сосредоточенно молчал, а мы не решались слишком подчеркивать его молчание своим молчанием.

Г-жа Гюго была в молодости хороша собой и порывиста. Когда я с нею познакомился, она была уже вялая и почти погасшая. Но она умела с совершенно исключительным тактом отделять супругу и мать семейства от жены наиболее знаменитого и наиболее почитаемого из писателей. Она сразу поняла, что не должна требовать безраздельного обладания сердцем и даже личностью столь прославленного мужа и покорно принимала супружеские грехи, нисколько не помрачавшие восхищения, внушаемого ей необыкновенным человеком, с которым она была связана.

Виктор Гюго со своей стороны неизменно окружал ее самым дружелюбным уважением. Никогда я не замечал между ними ни малейшего следа враждебности, ни малейшего проявления недовольства. А между тем, если бы в семье происходил даже самый легкий спор, я бы, конечно, знал об этом, так как меня в доме совершенно не стеснялись.

С исчезновением г-жи Гюго заметно участились наши сношения с г-жей Жюльет Друэ, давнишней неразлучной приятельницей поэта, приобревшей над ним почти нераздельную власть, — по крайней мере, два раза в неделю мы всей семьей ходили обедать к ней в Почтовую гостиницу, где она жила. Связь с нею поэта началась так давно, что была почти освящена давностью. Шарль и Франсуа приняли этот факт, от которого никакие соображения не могли бы заставить Виктора Гюго отказаться.

Он постоянно держался со старой спутницей своей жизни, с совершенно белыми волосами и несколько воспаленными у век глазами, которая, повидимому, была в молодости поразительно красивой, тона почти подчеркнутой вежливости, называя ее «мадам» и спрашивая у нее, не соблаговолит ли она «оказать нам честь» спеть несколько песенок, ибо Виктор Гюго, питавший такой ужас к музыке и музыкантам, что жена Шарля сочла себя вынужденной запереть свое пианино, приходил, повидимому, в безумный восторг от старинных романсов, которые г-жа Друэ напевала нам дрожащим голосом.

Однажды она нам спела одну вещь из «Кар», переложенную на якобы неизвестную арию Бетховена, о которой Виктор Гюго думал, что он ее открыл. С первой же ноты я увидел, что знаю эту арию, которую слышал еще в детстве и запомнил с начала до конца, ибо для музыки, как и для поэзии, я обладаю исключительной памятью.

— Ну что, — воскликнул Виктор Гюго, в восторге от того, что дал нам насладиться упражнениями г-жи Друэ, — какая прелестная ария! И подумаешь, что без меня она бы осталась неизвестной!

Так как я хотел оставить моему великому хозяину иллюзию открытия и вместе с тем хотелось похвастать своими мнемоническими способностями, я стал напевать вполголоса всю арию Бетховена, которую я якобы в первый раз слышал всего минуту тому назад. Все были поражены этим чудесным проявлением памяти, и так как г-жа Друэ и Виктор Гюго были уверены, что они только одни знали ее, — у них ни на одну секунду не возникло подозрения, что я мог ее слышать и где-нибудь в другом месте кроме салона Почтовой гостиницы. Из угождения великому человеку я поддержал эту ложь и сознался в ней только Шарлю, который мне на это сказал:

— Вы хорошо сделали, что умолчали об этом. Папа страшно гордится, что воскресил эту вещицу, и был бы крайне огорчен, узнав, что и другие ее знали.

От времени до времени мы отправлялись все вместе завтракать в кафе «Риш», где я недавно снова увидел сидевшую за той же конторкой даму, которая тогда подводила наши счета. Она мне напомнила далекие дни изгнания, которое мне представляется счастливым потому, что тогда мне было на двадцать восемь лет меньше, и потому еще, что я оценил тогда во всей его глубине стих Корнеля¹⁰³.

*L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux **.

Иногда Виктор Гюго возил нас за город, в Буафор, к одному трактирщику, у которого готовили особенно вкусное фрикассе из курицы. Я жил на всем готовом в доме на площади Баррикад, и мне было поистине тягостно не пользоваться всяким поводом, чтобы хоть изредка угостить эту семью, ставшую почти моей семьей, хотя бы завтраком или обедом. Но каждый раз как я выскакивал навстречу лакею, чтобы уплатить по счету, я наткался на заранее отданный Виктором Гюго строгий приказ ничего не принимать от меня. Возникали споры, пускались в ход самые хитроумные маневры, чтобы первому рассчитаться с лакеем. Я вставал из-за стола якобы для того, чтобы взять оставленный в кармане пальто платок, а Виктор Гюго, предвидевший мою хитрость, тихо смеялся, видя тщетность моих попыток.

Вспоминаю, как однажды, когда он вынул свой кошелек, я сказал хозяйке трактира в Буафор:

— Вы, конечно, не приняли бы, мадам, этих денег, если бы знали, что они заработаны оскорблением всего, что есть наиболее священного во Франции: его величества императора, импе-

* «Дружба великого человека есть благодеяние богов».

ратрицы, Сент-Арно¹⁰⁴, Персины, Мопа¹⁰⁵, Морни, принцессы Матильды¹⁰⁶ — словом, всего, что составляет славу нашей страны, — да к тому же в отвратительнейших стихах. Берегитесь, сударыня, эти деньги накличат на вас беду!

На что Гюго весело ответил:

— Что я эти деньги не заработал оскорблением нашей славы, показывает уже то, что я израсходовал две тысячи франков на алмазное издание «Кар», которое было распродано в восьмидесяти тысячах экземпляров, а я не могу добиться от издателя ни одного су.

— Тем более! — бросил я ему в ответ. — Если каждое ваше произведение вам обходится в две тысячи франков, — значит, вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие уплатили за ваш обед.

Но сколько бы я ни клеветал, сколько бы ни угрожал, я ни разу не мог добиться того, чтоб расплатиться вместо него по счету. Я нарочно привел эти факты, незначительные сами по себе, — если, впрочем, может быть незначительно что бы то ни было из того, что касается такого выдающегося человека, — потому что часто при мне Виктора Гюго обзывали скучным.

В действительности, у него каждый день за столом бывало пять-шесть чужих, не считая моей дочери, моего сына и меня. Самый незначительный визитер, приехавший из Парижа повидаться со мною, приглашался остаться к обеду, и я бывал смущен тем, что привожу к нему таким образом множество незнакомцев, которых он принимал так гостеприимно, так предупредительно-любезно, как если бы он знал их годами.

То, что я пишу здесь, — абсолютная правда. Мое преклонение пред великим поэтом, написавшим самые прекрасные стихи, какими мог бы гордиться всякий язык, никогда не закрывало мне глаз на его недостатки, не слишком, впрочем, крупные и связанные почти исключительно с заботами о ложных суждениях общественного мнения, а также со старыми литературными столкновениями, доводившими его до несправедливости.

Так, я всегда относился с самым большим уважением к рыцарственно-благородному характеру Армана Карреля¹⁰⁷, которому я к тому же некоторым образом обязан был вступлением в редакцию «Шаривари» и всем, что за этим последовало, потому что если бы он не оставил своей доли издательского капитала другу своему Грегуару, последний не мог бы поставить мою ногу в стремя. И вот, когда я в первый — и единственный — раз произнес имя великого полемиста при Викторе Гюго, последний отозвался о нем чуть ли не как о шпионе и агенте-провокаторе.

— Человек, написавший обо мне статьи, которые изрыгнул против меня г-н Арман Каррель, не имеет права называться республиканцем, — сказал он мне.

О чем он умалчивал — это, что в то время, когда Каррель писал указанные статьи, Виктор Гюго был еще роялистом, связанным с младшей ветвью династии, против которой издатель «National»¹⁰⁸ строил заговоры, при которой он был приговорен к смертной казни. И именно потому, что он был пламенным республиканцем, он с такой жесткостью напал на Виктора Гюго, который им не был.

Он также питал к критику Гюставу Планшу¹⁰⁹ и его очевидной недобросовестности вполне обоснованную ненависть. Он говорил о нем:

— Планш? Сух и плоск. Француз, которому больше всего подходит его имя.

Этого литературного судью, чье перо беспокоило столько знаменитых людей, я часто в ранней молодости видел сидящим за столиком в кафе в квартале городской ратуши почти мертвецки пьяным и высматривающим людей, которые могли бы ему поднести еще стаканчик-другой. Если бы Виктор Гюго мог лицезреть его в этом состоянии, он почувствовал бы себя вполне отомщенным.

Когда личная вражда не помрачала его, он вносил в свои литературные суждения поразительную беспристрастность, ясность и точность оценки. Но больше всего он восхищался Лафонтеном¹¹⁰, стиль которого ему представлялся до такой степени несравненным, что он как будто даже завидовал ему. Он часто цитировал мне следующий звукоподражательный стих:

Six forts chevaux tiraient un coche*.

— Не правда ли, — твердил он, — видишь, как они тащат повозку. Видишь, как пот льет с них.

Он, конечно, вспоминал этот захватывающий стих, когда писал, развивая его с величием и оригинальностью гения, несравненную вещь из «Созерцаний», названную «Melancholia»:

Le pesant chariot porte une énorme pierre,
Le limonier suant du mors à la croupière
Tire, et le roulier fouette, et le pavé glissant
Monte, et le cheval triste a le poitrail en sang.
Il tire, traîne, geint, tire encore et s'arrête!**

Он также очарован был «Ямбами» Огюста Барбье¹¹¹.

— В этой книге есть изумительные стихи, каких он, конечно, уже не напишет, но каких никто другой не напишет уже никогда.

* «Шесть сильных лошадей везли дорожную повозку».

** «Тяжелая телега везет огромный камень. Коренник, покрытый потом от удил до паха, тянет, возница стегает кнутом, и скользящий камень поднимается, и у печального коня грудь в крови. Он тянет, тащит, стонет, еще тянет — и останавливается».

Из этого «никто другой» он и самого себя не исключал. Он добавлял:

— Там есть стихи, написанные как бы на самой баррикаде.

Что касается суждения Барбье о Наполеоне, он мне время от времени цитировал следующую строфу:

Ce triste et vieux forçat de la Sainte-Alliance
Qui mourut sur un noir rochet,
Traînant comme un boulet l'image de la France
Sous le bâton de l'étranger! *

Как хотел бы он подняться до такого революционного неистовства! Охотно отдал бы он самые лучшие свои стихи за то, чтобы написать эти два стиха:

O Corse à cheveux plats, que la France était belle
Au grand soleil de messidor! **

Его произведения были настолько выше произведений Барбье, скатившегося тотчас же после выхода «Ямбов» до такого ничтожества, что можно было усомниться, действительно ли они им были написаны, что автор «Искупления» мог легко избавиться себя от необходимости будить этого покойника. Но добросовестность была в нем настолько сильнее пресловутой гордыни, на которую ссылаются бессильные противники, что он не только не колебался, но с любовью преклонялся пред произведением, которое он без всякой мелочности и без оговорок признавал великим и прекрасным.

Зато в своих отрицательных приговорах он был непримирим. Я пробовал заставить его прочесть «Le Rouge et le Noir» ***. Он говорил, что никогда не читал этой вещи, что меня крайне удивило, так как он очень внимательно следил за всеми литературными новинками — хорошими и плохими. Однажды утром Шарль вошел ко мне в комнату и с грустью сказал:

— Вы вчера причинили сильную неприятность отцу. Он вас очень любит и очень был огорчен, что вы с таким энтузиазмом говорили о той бесформенной вещи, которая называется «Le Rouge et le Noir». Он был лучшего мнения о вас и теперь чувствует себя униженным за самого себя, что так грубо ошибался относительно вас.

Я знал, что означает это сообщение. Это было приглашение подготовиться к атаке, которая будет поведена против меня за завтраком. И действительно, Виктор Гюго приступил к атаке, точно психиатр, вызванный на консультацию по поводу состояния моих умственных способностей.

* «Этот печальный и старейший каторжник Священного союза, который умер на мрачной скале, влача за собою, точно привязанное к ногам ядро, образ Франции под палкой иностранцев».

** «О, корсиканец с гладкими волосами, как прекрасна была Франция под ярким солнцем мессидора!»

*** Роман Стендаля «Красное и черное». — Прим. перев.

— Я пробовал это читать, — обратился он ко мне. — Как могли вы прочесть дальше четвертой страницы! Что ж, вы, следовательно, знаете этот провинциальный жаргон?

— Да, я знаю, — возразил я, — это не написано. Но такой, каков он есть, как он говорит и ведет себя, Жюльен Сорель* все же представляет собою тип, в котором сосредоточены вся страсть, все дерзновения, все честолюбие, а также вся бессмыслица и вся грубость людей с темпераментом. Все молодые люди в известный момент — в большей или меньшей степени те же Жюльены Сорели. Без этого как же объясните вы успех книги, которой увлекаются вот уже два поколения?

— Меня, — упорствовал Виктор Гюго, — ошибки во французском языке не увлекают. Каждый раз, когда я пытаюсь дешифровать какую-нибудь фразу вашего любимого произведения, — это все равно, как если бы мне в это время вырвали зуб.

И он развил мне следующую теорию:

— Видите ли, лишь те произведения имеют шансы жить века, которые действительно написаны. Разве мы бы еще читали «Кандида» Вольтера¹¹², если бы он написан был стилем «Le Rouge et le Noir»? Монтескье¹¹³ остается, потому что он пишет. Г-н Стендаль¹¹⁴ не может остаться, потому что он ни малейшего понятия не имел о том, что значит писать.

И он добавил строгий отзыв, который я отдаю на суждение публики:

— Никто больше меня не восхищается почти провидящим гением Бальзака¹¹⁵. Это — первоклассный мозг. Но это только мозг, — это не перо. Стил — это искусство выражать словами все ощущения. Перечитайте Бальзака — и вы тотчас же увидите, что он не знает своего языка и что почти никогда он не говорит тех прекрасных вещей, которые он хотел бы сказать. Поэтому час забвения пробьет для него раньше, чем это думают.

Сознаюсь, я прежде всего подумал, что это какая-то при- страстная хула со стороны человека, который, сколь бы общепризнан он ни был, чувствует себя задетым славою другого. Но я скоро должен был признать свою ошибку. Я сделал большое усилие, чтобы перечитать Бальзака, и действительно, непереваримость фразы и солецизмы, которыми кишат его лучшие романы, постепенно заставили меня отказаться от дальнейшего чтения.

Что касается произведения Стендаля, до такой степени прославленного, цитируемого и комментируемого, что даже учреждены были «обеда ружистов», я очень сожалел, когда попытался вторично прочесть его, что не остался при первом чтении и при первом впечатлении. Ручаюсь, что ни один

* Герой романа Стендаля. — Прим. пер. е в.

писатель, мало-мальски признающий и чувствующий форму, не дочитает дальше третьей главы.

Что, вероятно, загло воображение прилежной и бедной молодежи — это самовлюбленное дерзновение этого маленького учителяшки, который ставит себе задачей соблазнить сперва мать двоих детей, которых он обучает, а затем — дочь дворянина, у которого занимает место секретаря. В общем, это реванш потертого фрака над новым фраком.

Но когда мы только вступали в жизнь, в том возрасте, когда пожирают всякие яблоки и поглощают всякие книги, мы проходили мимо всех позорящих этот тип несовершенств, и в Латинском квартале¹¹⁶ не было в мое время студента или юного преподавателя, который не вздыхал бы, прижимая книгу к своему сердцу: «Боже, как я хотел бы быть Жюльеном Сорелем!»

Виктор Гюго жил в среде, в которой ему трудно было понимать такое настроение. В «*Le Rouge et le Noir*» его поразили только варваризмы и забавные ошибки. К сожалению, нужно признать, что их в книге много. Что касается самого Виктора Гюго, то в нем можно было наблюдать самые поразительные контрасты. Как только страница у него была написана и стих отточен, этот поэт, с таким уважением относившийся к своему перу, этот романист, добросовестный и точный до такой степени, что иногда выпускал целые водопады эрудиции в одной главе, так мало заботился о них, как если бы им предстояло тлеть в ящиках его стола. Ни разу не слышал я, чтоб он цитировал какой-нибудь из своих александрийских стихов, и я не уверен в том, что он их когда-либо перечитывал.

Чтение гранок своих произведений он возлагал на Поля Мериса, а сам немедленно переходил к другим работам, не оставляя себе даже времени на то, чтобы немного насладиться своей славой. Он даже решительно ничего не делал для охраны своих стихов от плагиатов, подделок, а также и от типографских ошибок. Однажды у самого нашего дома раздались выкрики разносчика:

— Требуйте «Христос в Ватикане» Виктора Гюго!

— Что это такое? Разве вы когда-нибудь написали «Христос в Ватикане»? — спросил я его.

— Да нет же! — ответил он со смехом.

Я кликнул разносчика и купил брошюру. Это была какая-то вздорная пачкотня.

— Неужели вы не примете каких-нибудь мер, чтобы этот вздор не продавался под вашим именем?

— Ну скажите, пожалуйста, какой мне вред от этого? Те, что читают мои стихи, знают, что эти — не из-под моего пера вышли. А что касается тех, что меня не читают, хорош бы я был, если бы стал их разуверять!

А вот и еще пример такого философического равнодушия. Во всех изданиях его произведений я видел одну опечатку, которая меня всегда раздражала. В известной вещи из «Восточных песен», которую все знают наизусть и которая называется «Fantômes» («Hélas, que j'en ai vu mourir de jeunes filles!»)*, есть строфа, которая оканчивается следующими стихами:

... Des festons, des rubans à remplir des corbeilles,
Des fleurs à paver un palais**.

И вот все издатели, в том числе Гетцель и Альфонс Лемперр, печатают:

Des fleurs à payer un palais***.

Нельзя уплатить цветами за дворец, но можно устлать его цветами, и я понял, что это-то слово и употребил поэт. Я ему указал на эту ошибку, которая в столь известном стихотворении имела значение.

— Вы совершенно правы, — сказал он мне: — я написал «payer», а не «paver». Нужно будет попросить Мериса исправить эту опечатку в следующем издании.

Двадцать восемь лет прошло со времени этого разговора, а во всех изданиях, выпущенных с той поры, продолжало красоваться «payer» вместо «paver», и он не дал себе труда поговорить об этом с Полем Мерисом, хотя дело шло о замене даже не слова, а лишь одной буквы.

Он проводил вечера, перебирая свое славное прошлое в беседах со мною и некоторыми друзьями, в то время как другие играли в карты в смежной со столовою гостиной. Он рассказывал, что представления «Эрнани» были до того бурны, что от первого до последнего спектакля все стихи были освистаны. Один день освистывали одни стихи, на другой день — другие, а иногда банда бралась за свои свистки с первого же полустишия и клала их в карманы, когда опускали занавес.

Поэтому блестящий успех пьесы при возобновлении был одной из величайших радостей его жизни. Реванш, взятый над глупой публикой другой аудиторией, пришедшей в большинстве, чтобы присутствовать при новом провале этого великолепного произведения, был для него как бы освящением. Он расспрашивал меня о составе публики, о республиканской манифестации, поводом для которой послужил спектакль, об игре артистов, мимируя мне некоторые сцены, переданные г-жей Марс, которую он не любил ни как женщину, ни как артистку, совсем не считавшуюся при этом с его указаниями.

Однажды вечером, когда мы после семейного обеда, без гостей, были совсем одни, он отвел меня в сторону и сказал:

* «Увы.—сколько при мне девушек умерло!»

** «Фестоны, ленты, которыми можно было бы наполнить корзины, цветы, которыми можно было бы устлать дворец».

*** «Цветы, на которые можно было бы купить дворец».

— Я хотел бы вам прочесть один акт, который я закончил для театра «Gymnase». Это — комедия. Прислушайтесь к ней — и скажите мне по совести, какие шансы на успех имеет она по-вашему.

Это столь лестное предложение меня глубоко взволновало. Я не мог не высказать ему откровенно своего мнения, не имея права побудить его рисковать провалом. Я сел обеспокоенный, а он развернул свою рукопись, озаглавленную «Zut!».

Зют — это тип добродетельного гамена, который его преследовал в ряде его произведений и который он нам уже показал под именами Жеана Фролло и Гавроша. Я слушал и, признаюсь, не очень был очарован. Этот Зют, развязный, пересмешистик, был нагл со всеми и в конце концов всех спасал.

Фабула, по-моему, отдавала старинкой, а этот добродушный сорванец мало подходил к нашему времени. Комический элемент пьесы был надуман, и сколько я ни старался, я не мог выжать из себя ни малейшего взрыва смеха. Виктор Гюго ясно почувствовал, что его комедия произвела на меня расхолаживающее впечатление. Однако он сказал, складывая свою рукопись:

— Вообразите, что вы директор театра, а я — начинающий автор, вещь которого вы согласились выслушать. Как бы вы отнеслись к ней?

— Я бы обратил ваше внимание, — ответил я, — на то, что в репертуаре имеется уже пьеса Байара¹¹⁷ и Ван-дер-Берка «Парижский гамен», скроенная почти по тому же образцу и игранная сотни раз уже Буффе и Дезаже¹¹⁸, и что всегда опасно браться за столь исчерпанную тему. Скриб¹¹⁹, который был очень изобретателен, иногда переделывал провалившиеся произведения, но никогда он не делал этого с удавшимися вещами.

— Соображение совершенно верное, — прервал меня Виктор Гюго, — я совсем не подумал о «Парижском гамене».

Мы заговорили о другом. Он пошел спать, так как пробило десять, и никогда больше не было разговора о «Zut». Уничтожил ли он его? Нашли ли его после его смерти в одном из его ящичков? Не знаю, но думаю, что я был единственным человеком, слышавшим из уст его знаменитого автора это оставшееся неизданным произведение.

Наиболее жестокую пытку ежедневно причиняло ему попрошайничество. Я тоже испытывал эту пытку и продолжаю повседневно подвергаться ей по сю пору. Я не знаю более жестокой пытки. Когда авторы пятидесяти или шестидесяти просьб о помощи, которые вы получаете с каждой почтой, заслуживают внимания или вам, по крайней мере, кажется, что они его заслуживают, у вас сердце обливается кровью от невозможности помочь им выйти из затруднительного положения. Когда же вы замечаете в них явные признаки профес-

сионального попрошайничества, являющегося истинным бедствием для пользующихся известностью людей, вы бесплодно теряете массу времени на прочитывание посланий синдицированных попрошаек, чередующихся у ваших дверей.

Виктор Гюго однажды показал мне кучу таких просьб, и мы высчитали, что если дать только четверть того, что у него просили за год, это составило бы никак не меньше двух миллионов. В настоящее время мне нужно было бы раздавать приблизительно такую же сумму.

Он разыскал милое письмо одной женщины, начинавшееся поистине замечательной фразой: «Дорогой и знаменитый метр, меня уверяют, что ваш превосходный роман «Отверженные» принес вам полтора миллиона. Я не буду требовательна и попрошу у вас только десятую часть этой суммы».

Эти тысячи и десятки тысяч попрошаек, домогательства которых Виктор Гюго не был в состоянии удовлетворять, пытались создать легенду о скупости поэта. Шарль Гюго мне часто говорил по этому поводу:

— Отец вовсе не скуп, и я видел, как он давал просителям записки на получение в Обществе писателей авторских за одно представление «Эрнани», что составляет значительную сумму. Но когда он получает свой гонорар, он тотчас же приобретает ценные бумаги и потом с большой неохотой их разменивает. Однако пока деньги не получены, он очень легко их раздает.

В сущности, мало у кого можно было так легко выманивать деньги, как у него, и я должен в доказательство принести здесь покаяние, довольно позорное для меня: я плутовал с ним в карточной игре. Шарль Гюго был большой транжира и постоянно нуждался в деньгах. Однажды вечером он мне говорит:

— Друг мой, вы должны мне оказать большую услугу. Положительно не знаю, как мне этот месяц свести концы с концами. Я уже выпросил у отца кучу авансов в счет следующего месяца, и мне, право, совестно приставать к нему. И вот что я придумал: организовать сегодня вечером партию в баккара и его привлечь к игре.

— Но он ведь никогда не держал карты в руках, — прервал я его.

— Вот именно. Нужно, не подавая вида, вовлечь его в игру. Вы один пользуетесь достаточным влиянием на него, чтобы добиться этого. Мне нужно восемьсот франков. Вместо того, чтобы добыть их у него сценой, я устрою, что он их мне проиграет. И вы меня избавите от докучных препирательств.

Пришлось покориться. И в тот же вечер Шарль, пригласив нескольких друзей, организовал семейную игру, в которой приняли участие все, за исключением только Виктора Гюго, одиноко сидевшего в углу гостиной.

При третьей сдаче Шарль очистил место для отца рядом с собой, но Виктор Гюго настоял на том, чтобы ему дали играть стоя. Началась жестокая игра. Когда у Шарля было баккара, он смешивал карты и бросал их в корзину с возгласом: «девять!»

И Виктор Гюго уплачивал проигрыш. Он продолжал играть, и трудно было сказать, когда он остановится, если бы блудный сын, выманив таким образом у отца нужные ему восемьсот франков, не превратился снова в того честного человека, каким не переставал быть.

Хладнокровие, с которым Виктор Гюго выкладывал свои банковые билеты, было поистине трогательно. Ровно в десять часов он, как обыкновенно, поднялся к себе спать. Никогда он впоследствии не заговаривал об этой аванюре, но вместе с тем больше не принимал участия в игре. Полагаю, что, подумав, он сообразил, какую штуку с ним сыграл сын.

Шарль, постоянно нуждавшийся в карманных деньгах, ухитрился вовлечь меня еще в одну аванюру, которая принесла мне, конечно, столь же мало выгоды, как и первая, но раскрытие которой поставило бы меня в невыразимо трудное положение.

Как-то я повстречался на улицах Брюсселя с одним англичанином, крупным торговцем картинами, открывшим в Бельгии магазин-выставку. Этот негоциант, с которым я иногда встречался в Париже, пригласил меня посмотреть выставленную им коллекцию картин и умолял приложить все старания уговорить Виктора Гюго приехать вместе со мною. Вечером я сообщил поэту о просьбе моего англичанина, который почтет за великую честь принять его у себя, и на следующий день мы после завтрака отправились в магазин картин.

Виктор Гюго, — такой изумительный художник, захватывающие и великолепные образы которого могли бы быть перенесены на полотно, если бы у нас нашелся живописец достаточно мощный, чтобы предпринять такой труд, — Виктор Гюго не имел никакого понятия о живописи. Его художественное воспитание в этой области было ничтожно. Он воспринимал живопись инстинктом и видел на полотне только то, что хотел видеть. Часто случалось мне наблюдать, как он с энтузиазмом созерцал какую-нибудь пачкотню, которую он оценивал не глазом, а воображением своим, и как равнодушно он проходил мимо действительно прекрасных вещей. К музыке его отношение было такое же. Он где-то говорит, что хор охотников в «Euryanthe»¹²⁰ — «самая прекрасная вещь во французской музыке», между тем как не подлежит никакому сомнению, что во французской музыке есть вещи неизмеримо более прекрасные, чем хор охотников в «Euryanthe».

Торговец показал нам довольно интересные полотна, между прочим, большой портрет молодой женщины кисти Натье¹²¹

и красивые подделки школы Буше¹²². Но Виктора Гюго захватила целиком огромнейшая марина, на которой изображены были грозное небо, беснующееся море и танцующие на гребнях волн судна. Это была работа каких-нибудь неаполитанцев, размазывающих в три четверти часа полотно в два метра. Единственным талантливым среди них и пользующимся некоторой известностью является Маньяско, излюбленная тема которого — молящиеся среди скал монахи.

Но в глазах Виктора Гюго сюжет сейчас же взял верх над формой, и грозный вид изображенного произвел на него впечатление, что лишило его всякой проницательности.

— Ах, какой великолепный Сальватор Роза!¹²³ — воскликнул он.

Это в такой же мере принадлежало кисти Сальватора Роза, как и моей кисти. Но я считал бы преступлением расхолаживать овладевший им энтузиазм, как бы мало обоснован он ни был. Когда он достаточно налюбовался своим Сальватором Роза, особенно расхвалив плотность облаков и прозрачность волн, мы отправились обратно домой.

Но дня два спустя, — и с этого момента моя роль в этом деле становится как нельзя более предосудительной, — я встретился на улице с торговцем картинами, который мне сказал:

— Не знаю, г-н Рошфор, чем выразить свою признательность великому писателю за его внимание ко мне. Мне показалось, что ему особенно понравилась неаполитанская марина, которую я купил только для того, чтобы доставить удовольствие бедному малому, и которая, как вы сами заметили, не имеет никакой ценности. Если бы Виктор Гюго захотел доставить мне радость принять ее на память о своем посещении, я почел бы за счастье и честь преподнести ее ему.

Едва вернувшись домой, я поставил Шарля в известность о любезном предложении нашего англичанина и собирался подняться к поэту выполнить поручение, но мой друг попросил предоставить это ему. В его голове уже успел сложиться надежнейший план. Вечером, за обедом, он сказал отцу:

— Знаешь, Рошфор встретил сегодня торговца, у которого мы были третьего дня. Это, оказывается, прекраснейший человек. Вообрази, он ему сказал: «Виктору Гюго, повидимому, очень понравился мой Сальватор. Я приобрел его крайне выгодно и почел бы недопустимым взять за него лишнюю копейку. Он обошелся мне в пятьсот франков. Если ему угодно, пусть берет его». — И Шарль прибавил: — Было бы безумием упустить подобный случай. Если хочешь, мы с Рошфором завтра пойдем за ним.

Виктор Гюго с восторгом выложил пятьсот франков за воображаемого Сальватора Роза, не стоявшего и тридцати. Торговец с радостью избавился от него, а Шарль поспешил замести всякие следы своей проделки, истратив полученные

деньги. Я же все время своего пребывания на площади Баррикад не переставал дрожать при мысли, что поэт как-нибудь встретится с англичанином и, считая себя обязанным пред ним, начнет его благодарить, и таким образом проделка будет раскрыта.

Чуть ли не каждый день ходили мы узнавать, в Брюсселе ли еще торговец, и с облегчением вздохнули, когда он наконец уехал в Англию.

Если бы Виктор Гюго действительно был таким скрягой, каким его расписывали, он бы не так легко давал выманить у себя столь значительные суммы. В опровержение этой сложившейся легенды я могу привести свидетельство Адольфа д'Эннери¹²⁴, совсем недавно сказавшего мне:

— Он совсем не был скуп, и его щедрость даже лично мне обошлась очень дорого. После «Марии Тюдор» Виктора Гюго была поставлена моя большая драма. Обычай установил, что после первого представления их пьесы авторы выдают ордер машинистам на получение от Общества драматургов от двухсот до трехсот франков. И вот, когда я спросил режиссера театра, какую сумму выписать на ордере, он ответил, что Виктор Гюго дал тысячу франков, и я, боясь прослыть скрягой, должен был выписать ту же сумму.

Вероятно, те, что так охотно обвиняют великого поэта в скупости, сочли бы более чем достаточным для машинистов вознаграждение в триста франков.



ГЛАВА X

Уловки памфлетиста. — «Фонарь» госпожи Кавеньяк. — Барбес. — Визит к пленнику крепости Mont Saint-Michel. — Барбес и Виктор Гюго. — «Rappel». — Выборы. — С ножом к горлу кандидата

Хотя я и был осужден множество раз и скрылся по ту сторону границы, закон разрешал мне продолжать издание «Фонаря» во Франции. Однако министерство устраивалось так, что издание не могло состояться. Оно предупредило всех типографов, что если они будут печатать мои «гнусности», к ним пошлют стражников разбить их машины или их, по крайней мере, будут преследовать за каждый номер, который они будут иметь неблагоразумие выпустить.

Таким образом, судьи и уголовный кодекс лишний раз преклонились пред грубой силой и объединенными дубинками. Это был тот же государственный переворот, с тою лишь разницей, что полиция врывалась в кабинеты журналистов, вместо того чтоб врываться в палату депутатов.

Нужно было, следовательно, ухитриться и придумать способ отбить эти предательские удары. Мы с Виктором Гюго, Шарлем и Франсуа решили выпускать «Фонарь» в двух форматах: один — обычного размера для продажи в Бельгии и за границей, другой — совсем маленького размера, который легко было бы вкладывать в почтовые конверты и посылать по почте.

Бельгийское правительство, несколько обеспокоенное этой борьбой, начатой на его территории с соседом, которого оно боялось, попросило меня через третьих лиц не покинуть Брюссель, а датировать свой журнал каким-нибудь германским или

голландским городом, чтобы в известной мере выгородить ответственность Бельгии.

Я тотчас же нанял за мало разорительную сумму, в 25 франков в месяц, комнату в Аахене, где я ни разу в своей жизни не был, но которым датированы почти все номера «Фонаря», написанные в изгнании. В действительности он печатался в типографии Вандераувера в самом Брюсселе и никогда печатание его не переносилось в другие места.

Экземпляры малого формата посылались нашим абонентам в Париж, и, чтобы не разоряться на почтовые расходы, я посылал с кем-нибудь пакет экземпляров на первую французскую станцию, откуда они в первое время прибывали по назначению безо всякой помехи. Но вскоре почтовые служащие удивились, что в определенный день в определенном почтовом отделении получается такое большое количество писем на Париж. Комиссар полиции раскрыл одно из этих посланий, что побудило его конфисковать все остальные. Потеряв возможность пользоваться почтой, мы обратились к контрабанде. Эмиссары, нагруженные нашими небольшими брошюрками, отвозили их в Париж, где и разносили их лично абонентам. Однако этот опасный способ, на котором некоторые мои разносчики попались и были осуждены, вызвал такое строгое наблюдение полиции, что пришлось прибегнуть к приемам более сложным, но зато более верным.

Среди постоянных гостей семьи Виктора Гюго находился один крупный и богатый торговец сигарами, по имени Кенас, состояние которого сильно разрослось благодаря контрабандному ввозу его товара из Бельгии во Францию. Он нам в этом раньше не сознавался, но, видя нас в большом затруднении, решился раскрыть перед нами свою душу. Оказалось, что за соответствующее вознаграждение он заручился содействием служащего французского посольства, во главе которого находился тогда Артюр де-ла-Героньер, и через него посылал корзины, набитые сигарами, которые благодаря дипломатической неприкосновенности не подлежали никакому осмотру. По прибытии в Париж, товарищ Кенаса являлся в посольство, получал сигары и распределял их по магазинам, где они продавались с огромной прибылью, потому что никакой пошлиной не оплачивались.

Кенас предложил нам дать одну из своих корзин для перевозки «Фонаря», экземпляры которого будут затем верным человеком опущены на почту в Париже, где наблюдение было почти невозможно. У нас были адреса всех наших абонентов. Мы надписывали их на конвертах, и в Париже оставалось их только отнести на главную почту.

Этот способ действовал в течение нескольких месяцев, по затем — трах! — подкупленный служащий по недосмотру ошибся однажды и вместо корзины с дипломатическими доку-

ментами передател в министерство иностранных дел пакегы кон-трабандного табака. «Фонарь» не был конфискован, но так как хитрость была раскрыта, то конфискации можно было ожидать на ближайшей неделе. Нужно было снова ломать себе головы, чтобы обеспечить доставку журнала.

По совершенно невероятной случайности мы с Шарлем за-метили у одного итальянского литейщика бюст самого Напо-леона III. Не помню, у него ли или у меня зародилась идея разместить внутри бюста сколько можно будет вложить ма-леньких брошюрок в слоновый нос и одутловатые щеки импе-ратора. Боясь привлечь внимание многочисленных шпионов, которых императорская полиция мобилизовала против меня на бельгийской территории, мы поручили одному приятелю зака-зать итальянцу определенное количество копий, которые мы затем станем заполнять «Фонарем» и потом заделывать дно цементом. Требовалось, по крайней мере, пятнадцать бюстов этой усатой особы, чтобы скрыть в них наши посылки. Теперь уже нельзя было говорить, что у него ничего нет в голове. Эпо-леты содержали, кроме того, шесть экземпляров «Фонаря»; вы-пуклая под мундиром грудь скрывала шестьдесят экземпляров, а под лентой ордена Почетного легиона мы укладывали семь экземпляров. Таким образом императорский яд носил в себе самом свое противоядие.

Как только эта операция заканчивалась, два наших чело-века, держа по бюсту в каждой руке, победоносно проходили под взорами французских таможенных надсмотрщиков, кото-рые почтительно сгибали спину перед образом своего власте-лина. Им рассказали, что заказано большое количество этих бюстов для деревенских мэрий, так как старые статуэтки, изображавшие императора, начали крошиться. Так как во Франции насчитывается 36 тысяч общин, — у нас было доста-точно времени впереди. Но от неожиданного сотрясения вспыхнул вдруг странный свет. Один из бюстов, слабо укреп-ленный на своем цоколе, опрокинулся, причем из отбив-шейся головы потекла струя сгущенной крови в форме малень-ких красных брошюрок, происхождение которых надсмотр-щики сразу же установили. Мы были, как говорят на полицей-ском жаргоне, взяты «на куче».

Мы не знали, плакать ли нам или смеяться. Эта авантюра, вызвавшая скандал, была до того забавна, что возместила нам наш ущерб комизмом, каким был покрыт человек из Тюильрий-ского замка. Мы тут же стали обдумывать другую комбинацию, которая на этот раз вполне удалась и благополучно миновала до самого конца все полицейские розыски.

Во время одной артистической экскурсии я заметил у одного антиквара в Мехельне старую раму с широкими и плоскими краями, которая меня толкнула на размышления. Я заказал торговцу такую же раму, отличающуюся от оригинала только

тем, что края должны были быть не сплошными, а полыми, чтобы их можно было заполнить определенным количеством листов бумаги.

В фризе рамы, почерневшем и отсвечивавшем сталью, гочно безделушка эпохи Ренессанса, был скрыт цветок из дерева, который достаточно было отвинтить, чтобы передняя доска рамы открылась и обнаружила легко вмещавшиеся в раме полторы тысячи экземпляров «Фонаря». С точки зрения контрабанды это было высшее достижение. Как только рама была набита до отказа, я попросил мехельнского торговца отправить ее в Париж к такому же торговцу, жившему на бульваре Бомарше. На экспедиционном удостоверении я написал имя матери моих детей, которая и должна была взять раму и, опустошив ее, отправить обратно в Мехельн, откуда она на следующей неделе снова должна была отправиться на бульвар Бомарше.

Эта тактика, точно выполнявшаяся, имела огромный успех. Мы больше ни разу не терпели провала. Каждую неделю, несколько не подозревая того, что он доставлял врагу, мехельнский торговец отправлял в Париж таинственную раму, которая ездила туда и обратно в течение целого года. Мать моих детей опускала на почте конверты, адреса на которых не могли привлекать к себе внимания полиции, и разносила сама по домам «Фонарь» тем абонентам, у которых были слишком громкие имена. Госпожа Кавеньяк, мать нынешнего военного министра, крайне поражалась тому, что каждую субботу получала свой экземпляр, передававшийся уже не швейцару, а ее лакею. Однажды она пожелала переговорить с особой, которая, несмотря на все затруднения, аккуратно доставляла ей запрещенную брошюру, и была крайне поражена, когда ей объяснили механизм этой аккуратной доставки.

Я сохранял эту раму так долго, как только имел возможность что бы то ни было сохранять, ибо хотя я в своей жизни никому не был должен ни одного су, меня почти периодически обыскивали, обирали и продавали тем способом, который называется «властью правосудия».

Эти плутни, главною жертвою которых был Скапен из Тюильрийского дворца, радовали сердце Виктора Гюго, который, на ряду со своими взлетами к самой высокой поэзии, всегда проявлял темперамент полемиста и борца. Он обожал споры, и ему не доставляло никакого удовольствия, когда слишком легко соглашались с его мнением.

Религиозные вопросы составляли у нас неисчерпаемый источник для бесед и столкновений, тем более, что когда я его прижимал к стенке, он в конце концов всегда признавал, что нет ничего глупее не только шарлатанства католицизма, но и самих католических догматов. Он хватался за какой-то пантеистический деизм, в котором совершенно терялся, как только ему предлагали уточнить свою мысль. Принимая во внимание

яность его ума, — ибо если бы он не был самым мощным из наших поэтов, он, может быть, стал бы одним из наших великих математиков, — он не мог оставаться в своих туманностях, если не хотел, чтобы я заподозрил его искренность. Поэтому он выходил из себя, когда я отвечал на его доказательства:

— Да, я делаю все возможное, чтобы вас понять, но, к сожалению, я вас не понимаю.

В молодости он был верующим и роялистом. Теперь он не был уже ни верующим, ни роялистом, но не имел еще мужества совсем отказаться от прежних заблуждений, хотя от них на нем осталось только очень легкое одеяние. «Истины», которые он некогда воспевал, он постепенно признал ложью, но хотя бы только для того, чтобы не вредить своим произведениям, он должен был в известной мере с ними считаться. Этим и объяснялась та неопределенность и даже те противоречия, которыми отмечены были его последние книги, как и последние годы его жизни. Он пытался отделить священника от Христа, зная по существу, что ложь одного порождает ложь другого. Свой разрыв с церковью он окружил туманом. В действительности этот разрыв был полным. Он, вероятно, предложил бы гражданские похороны, если бы они не были установлены до него.

Между тем Арман Барбес¹²⁵, выпущенный против его воли на свободу после патриотического письма, написанного им из тюрьмы одному другу во время крымской кампании, добровольно эмигрировал в Брюссель. Но, как выразился Рожар, цитируя Тацита, императорская свобода могла быть лишь свободой декабрьской.

Наполеон III приказал освободить Барбеса без всяких условий, будучи уверен, что знаменитый пленник не принял бы никакого условия. Но условия, от которых он освободил пленника, он коварно навязывал правительствам, у которых последний стал бы искать убежища. Как только он вступил на территорию Бельгии, тюльрийская полиция потребовала у короля Леопольда I немедленной высылки невольного помилованного. Последнему говорили:

— Вы не имеете права оставаться в тюрьме, но в то же время вы не имеете права оставаться и в Бельгии.

К этому новому проявлению диктаторского иезуитизма великий революционер отнесся совершенно равнодушно и спокойно уложил свой чемодан, чтобы перебраться в Голландию. Шарль поехал в Гаагу повидать его. Я тоже решил поехать, чтобы выразить свое уважение этому рыцарю всех великих республиканских боев.

Ему было тогда шестьдесят лет. Я застал его одного в небольшой комнатке, напоминавшей келью. Он читал, сидя у окна. Я вошел в скромный дом, в котором он жил и где я был принят двумя старыми девами, которые хотя и выгля-

дели голландками с ног до головы, очень прилично говорили по-французски. Я им назвал свое имя, прося их доложить обо мне, но они меня не слушали, и одна из них мне сказала:

— Довольно того, что вы француз, чтобы господин Барбес был счастлив вас принять.

Признаюсь, что когда я поднимался по лестнице, мое сердце сильно билось при мысли, что я сейчас увижу этого великого и удивительного солдата революции. Ключ был в дверях. Я постучал, и он крикнул: «Войдите!»

Я потом узнал, что, подтачиваемый болезнью сердца, которая должна была свести его в могилу в следующем году, он с трудом мог подниматься со своего стула, и с доверчивостью человека без страха и упрёка спал в комнате, открытой для всех, как открыта была всегда для всех его душа.

Я вошел. Мы с ним раньше не встречались. Но когда я себя назвал, он кинулся мне на шею, и мы нежно расцеловались. На небольшом столике, на котором он только что завтракал, лежала целая коллекция «Фонаря».

— Ах как я рад видеть вас! — повторил он запыхающим голосом. — Мне приходится у вас просить прощенья. Представьте себе, что после выхода вашего третьего номера я принял вас за шпиона. Я говорил себе: Бонапарт пожелал сделать вид, что дарует печати некоторую свободу, после чего он стал искать и нашел писателя, которому заказали такие резкости, чтобы правительство имело право заявить: «Так как свобода вырождается в такую распущенность, я ее беру назад».

Барбес не читал «Фигаро» и не следил за той кампанией, которую я вел уже несколько лет с намерением подготовить общественное мнение к последней атаке. Мои полемические резкости, казавшиеся ему внезапными и неподготовленными, казались ему сперва подозрительными. Затем он стал размышлять и понял, что есть такие вещи, которых правительство само себе не говорит, и если ему даже нужно, чтобы его разносили, оно просит разносителя осторожнее подбирать свои выражения.

У Барбеса была великолепная осанка, при высоком росте и великолепной апостольской бороде, хотя на лице его и видны были следы истощения, оставленные различными этапами его жизни, полной жертв и тяжких испытаний. Мы вышли совершить небольшую прогулку к воротам Гааги, до знаменитого Шевенингского пляжа, который все крупные голландские пейзажисты воспроизводили на своих полотнах и который в действительности представляет собою только обширную песчаную равнину. Но обычно не знают, что чем ровнее пейзаж, тем легче он поддается художественному изображению. Художники, ищущие эффекта в горных видах и панорамах пересекающихся скал, достигают только того, что срезают горизонт, который их кисть не в состоянии изобразить, ибо их глаз не может его охватить.

Когда выходишь на Шевенингский пляж, спрашиваешь себя:

— Как, это все?

А когда видишь тот же пляж на полотне Рюисдаля или Ван-де-Вельде, говоришь себе:

— Какая красота!

Во время прогулки я, конечно, расспрашивал Барбеса об его тюрьмах, о пытках холодом, голодом и сыростью, которые он претерпевал в крепости, и особенно о смертном приговоре, который верховный суд пэрров, подобно всем другим верховным судам, поспешил ему вынести. Он сказал мне с трогательной простотой:

— Конечно, Виктору Гюго обязан я тем, что мне не отсеки голову. У меня в комнате висит его портрет, но живым я его ни разу не видел.

А затем он прибавил:

— Может быть, для моей партии было бы лучше, если бы мне отсеки голову. Это, вероятно, подвинуло бы наши дела вперед.

Я продолжал свои расспросы, желая узнать, какое чувство охватило его, когда он узнал в самое утро казни, что она не состоится.

— Я был доволен за свою сестру, — ответил он мне.

Безраздельно восхищался он революционером Алибо¹²⁶. Имя молодого и отважного цареубийцы несколько раз упоминалось во время нашей беседы. Он мне рассказал, что в период агитации, последовавший за первыми годами царствования Луи-Филиппа, он, Годфруа Кавеньяк¹²⁷, Этьен Араго¹²⁸ и члены общества «Прав человека» и общества «Четырех времен года»¹²⁹ старались вербовать участников почти повсюду. В кафе, которое они посещали от времени до времени, они видели молодого человека, бедно, но чисто одетого, который читал одну за другой газеты оппозиции, уплачивал за выпитое и уходил, никогда не пытаясь завязать разговор с кем бы то ни было.

Однажды Этьен Араго подошел к этому молчаливику и, якобы передавая ему «Националь», спросил его, не склонен ли он был бы вступить в тайное республиканское общество, в котором он встретит товарищей, готовых объединиться для честной борьбы.

— Нет, — ответил молодой человек, поднимаясь, — вы действуете слишком медленно.

Это был Алибо, который несколько времени спустя стрелял в Луи-Филиппа, промахнулся и взошел на эшафот, ни на минуту не прервав своего молчания и своей стойкости.

Потом мы заговорили об империи. Я подтвердил ему неопровержимый факт пробуждения общественного мнения, — факт, которому революционеры, слишком часто терпящие

разочарование, обычно с трудом верят. Но он покачал головой и бросил мне пророческое слово, которое я часто впоследствии вспоминал и которое часто напоминал другим:

— Это кончится либо военной революцией, либо вражеским нашествием. — И потом меланхолично прибавил: — Но если это должно кончиться нашествием, я предпочел бы еще двадцать лет империи.

Что было характерно для этого поколения республиканцев — это ненависть к иностранцам, которых республика 93-го года столь героически отбила и которых монархия снова привела с собой. В этом и заключалась политическая концепция Барбеса. И этим объясняется письмо, которое он написал из тюрьмы и в котором так страстно желал сокрушения русских, — письмо, которое, будучи прочитано в тюремной конторе, переслано было Наполеону III, воспользовавшемуся этим предложением, чтобы помиловать автора. Да и эта кажущаяся милость была со стороны сына Гортензии лишь своего рода отвлекающим средством. Весь Париж был иллюминирован накануне, после официального сообщения о взятии Севастополя, осаду которого, длившуюся целый год, страна стала находить ужасающе длительной. Это бодрящее сообщение привез с собою, как говорили, какой-то татарин, — и вдруг узнают, что этот татарин не больше, как сон, и что взятие Севастополя, осада которого длилась после этого еще восемь месяцев, было таким же сном. Престиж временного жильца Тюильри был этой мистификацией значительно подорван. О татарине стали сочинять песенки. В ресторанах требовали только угря, но с условием, что он будет приготовлен не по-татарски. В один из вечеров перс, в высокой мерлушковой шапке, сел рядом со мною на балконе театра «Водевиль». Вся зала стала кричать:

— Вот он — татарин, вот он — татарин!

И бедняга, думая, что это овалция, кланялся, прижимая руку к сердцу.

Не зная, как положить предел этим шуткам, Наполеон III схватился за письмо Барбеса, как утопающий — за соломинку.

Когда я ему напомнил обстоятельства, которым он обязан своей свободой, Барбес с грустью ответил:

— Это освобождение останется темным пятном в моей жизни, — так сильно я страдал при мысли, что хоть что-нибудь сделал для того, чтобы его получить. О, в этот день я действительно жалел, что тогда не был казнен!

Тон, которым он описывал свою обиду, был до такой степени искренен и полон горечи, этот человек так очевидно ставил честь выше всего, что я глубоко был тронут. К тому же он себя чувствовал серьезно больным, так как здоровье его было подорвано царившим в тюрьмах холодом. Кто поверит, что когда в крепости Mont Saint-Michel разбилось

стекло, через которое проникал свет в его конуру, он в течение шести месяцев терпел дождь и ветер, лишь бы не попросить прислать стекольщика!

Эта стойкость сократила его жизнь. От холода и ветра он схватил жестокий бронхит, не покидавший его. Креол из Гваделупы, он больше, чем кто бы то ни было из нас, нуждался в солнце и тепле, а он в течение долгих лет заключения жил в ледяных камерах. Лишь когда смерть уже слишком явно надвинулась, его перевели в центральную тюрьму в Ниме, где он сидел вместе с ворами, общество которых было для него ужасно тягостно, признался он мне, но которым он тем не менее отдавал все деньги, присылавшиеся ему родными.

Когда я с ним прощался, чтобы вернуться в Брюссель, он почти весело сказал мне, указывая на обеих своих старых хозяек.

— Вот две превосходные девицы, у которых, к сожалению, тот недостаток, что они верят во множество глупостей, в которые я и сам некогда верил. Если смерть подстережет меня в моей кровати неожиданно, как я того жду каждый день, вы, не правда ли, подтвердите, что я требую гражданских похорон. Нехватало бы еще, чтобы мне напоследок сыграли такую штуку и понесли меня в церковь!

Потом мы расцеловались, и он мне сказал, прежде чем подняться в свою комнату:

— Как подумаешь, что я ведь до сих пор не поблагодарил Виктора Гюго за то, что он спас мне жизнь! Попросите, пожалуйста, у него извинения за меня. Но он понимает, конечно, с каким стыдом я покорился, а не принял этот подарок.

Воспоминание о посещении Барбеса осталось для меня неизгладимым. Когда впоследствии я сам был присужден, подобно ему, к бессрочной ссылке и погребен в казематах, где плесень и сера конкурировали с паразитами, я говорил себе, что он страдал гораздо больше, чем я, и если он никогда не жаловался, не имею права жаловаться и я.

Виктору Гюго тоже очень хотелось бы поехать обнять его, но не было для этого ни времени, ни благоприятного случая. Не восхищения не хватало у него к тому, кому он отводил такое значительное место на фоне современных событий, что писал:

... Век Барбеса и Гарибальди¹³⁰.

Ибо — пример, вероятно, единственный в истории умственной Франции — Виктор Гюго не только писал, но и думал стихами. Он признавался мне, что когда он утром просыпается, первое слово выходит у него в форме александрийского стиха. Часто в пылу какого-нибудь спора он вдруг без всякой подготовки принимался скандировать и рифмовать свои аргументы.

Между тем пропаганда путем старой псевдо-рамы становилась для нас недостаточной. Мы искали способов засесть в самом центре столицы, не переходя для этого через границу. Поль Мерис и Ваккери только что приехали в Брюссель, и мы совещались, подыскивая практический способ бить по империи, без того чтобы империя слишком била нас, когда я увидел маленького, с красным лицом человека, которого мне представили, назвав его именем Барбье. Это был бывший декабрьский эмигрант, вернувшийся уже давно во Францию, хороший знакомый семьи Гюго на острове Джерси.

Барбье, хотя и мало образованный человек, приехал специально для того, чтобы предложить нам создать газету. У него не было ни плана газеты, ни даже ее названия, но он полагал, — а это уже было кое-что, — что Виктор Гюго, его два сына, Мерис, Ваккери и я могли бы составить интересную редакцию. Проект нас тем более соблазнил, что никакой закон не запрещал мне заменить запрещенный «Фонарь» статьями, которые появлялись бы в Париже, подписанные моим именем, как если бы я продолжал там жить. Виктор Гюго фактически не работал бы в газете, но в фельетонах перепечатывались бы его лучшие романы.

Мы в тот же вечер распределили между собою роли в газете, и нам оставалось только подыскать для нее название.

— Завтра утром я вам принесу название, — сказал Виктор Гюго, поднимаясь, чтобы идти спать.

Действительно, рано утром он меня спросил:

— А как вы находите такое название: «Le Rappel»?

Мы его нашли великолепным. Бил действительно час трубить сбор всех убежденных и всех энергичных людей. Мы чувствовали, что попутный ветер дует в наши паруса, и Барбье уехал вместе с Ваккери и Мерисом, чтобы без всякой проволочки договориться с типографией, нанять помещение, заключить договор с бумаготорговцем — словом, сделать все необходимое для издания ежедневной газеты. Виктор Гюго, приветствовавший приход «пяти редакторов — основателей «Rappel», так объяснял значение титула новой газеты:

— «Le Rappel!» Люблю это слово во всех его значениях: возрождение принципов — через совесть; восстановление истин — через философию; обращение к долгу — через право; воспоминание о мертвецах — через уважение; установление кары — через правосудие; восстановление прошлого — через историю; обращение к будущему — через логику; восстановление фактов — через мужество; обращение к идеалу в искусстве — через мысль; напоминание о прогрессе — через науку, опыт и расчет; обращение к богу — через религию, через вытеснение идолопоклонства; призыв закона к порядку — через отмену смертной казни; восстановление суверенитета народа — через просвещенное всеобщее избирательное право; восстановление

равенства — через бесплатное и обязательное обучение; восстановление свободы — через пробуждение Франции; восстановление света — через требование *fiat jus*.* Вы говорите: вот наша задача. Я говорю: вот ваша работа.

«Вытеснение идолопоклонства» — под этой метафорой он разумел борьбу со священниками.

Название и сама газета имели большой успех. Шарль Гюго печатал в ней превосходные статьи, которые заставляли меня глубоко сожалеть о том, что события толкнули его не совсем по тому пути, к которому он был призван. Он умер очень молодым, не дав того, что способен был дать, как бы растаяв в славе своего отца. Франсуа Гюго, более усидчивый и менее склонный к долгим скитаниям, был как изобразительный писатель гораздо ниже своего старшего брата. Они, впрочем, глубоко любили друг друга, и я никогда не замечал между ними, не говорю — спора, но даже легкой размолвки. Франсуа без малейшей горечи и упреков принимал свое положение менее балованного сына, а Шарль никогда не помышлял злоупотреблять своим старшинством и явным предпочтением, которым он пользовался в семье.

Кроме своих почти ежедневных статей, я печатал в «*Rappel*» наименее резкие выдержки из выходившего в Брюсселе «*Фонаря*», что поддерживало общественное мнение на том диапазоне, до которого мы его подняли. Конечно, розничная продажа новой газеты на улицах была после первого же номера запрещена. Во всю длину бульваров были поставлены киоски для продажи газет, но как раз те, которые публика предпочитала покупать, были изъяты из продажи, что являлось настоящим мошенничеством, так как они очень дорого уплачивали за свои места, а правительство, получив плату, запрещало им пользоваться приобретенным местом.

«*Rappel*» не мог появиться в более удобный для себя момент. Приближались законодательные выборы 1869 года, а оппозиция, казалось, была лучше вооружена, чем когда-либо со времени гнусной императорской плутни. Комитеты учреждались во всех парижских округах, и от них ждали сигнала к освобождению. Мне предложена была кандидатура, о которой я совсем не думал, в седьмом округе, где кандидатами были уже Жюль Фавр и социалист Кантагрель, а также какой-то официальный кандидат, имя которого я забыл и который, уверенный в провале, выставлялся только для того, чтобы во втором туре передать свои голоса тому из моих конкурентов, который будет в них больше нуждаться. Ибо прежде всего нужно было провалить меня.

Жюль Фавр, которого я тогда не знал и с которым близко познакомился только несколько месяцев спустя в законода-

* Да водарится право!

тельном корпусе, а потом в правительство национальной обороны, выставил одновременно свою кандидатуру в восьми избирательных округах, как в Париже, так и в провинции. В первом туре он не был избран ни в одном из этих округов.

Несмотря на резкость и радикализм моей программы, я собрал в седьмом округе, хотя и достаточно умеренном, десять тысяч пятьсот голосов, а Жюль Фавр — двенадцать тысяч. Но Кантагрель, занимавший третье место с семью тысячами голосов, отказался в мою пользу, и положение Фавра становилось поэтому более нежели критическим. Тогда официозные газеты, покинув официального кандидата, пришедшего в хвосте, собрав только четыре тысячи голосов, энергично советовали всем чиновникам и даже городским присоединиться к кандидатуре Фавра и обеспечить ему торжество надо мною. Жюль Фавр не отверг этой поддержки, а некоторые избиратели, опечаленные тем, что избирательный корпус лишится одного из своих наиболее видных ораторов, покинули меня и перешли на его сторону. Таким образом он был избран на перебаллотировке с большинством приблизительно в две тысячи голосов.

Эта борьба, в которой ему не мало досталось от непримиримой оппозиционной прессы за те союзы, на какие он согласился пойти, внушила ему несколько злобное отношение ко мне. Хотя я очень энергично и несколько слишком щедро защищал его после неместных для его чести разоблачений, он после Коммуны был одним из наиболее ярых и беспощадных сторонников моего ареста и ссылки. А между тем я ведь ничего не сделал против него, ибо моя кандидатура в седьмом округе была поставлена без меня и почти против меня. Я считал себя мало способным к парламентским дебатам, и если я, очертя голову, ринулся в парламентскую борьбу несколько недель спустя, то это произошло лишь потому, что и Виктор Гюго и другие республиканцы убеждали меня, что мое появление в законодательном корпусе перевернет вверх дном все обычаи этого дома мертвецов.

После моего поражения в седьмом округе я думал, что отделался от всякого нового приставания. Но я сильно ошибся. Гамбетта¹³¹, которого я знал уже несколько лет, незадолго до того выступил перед страной со своей сокрушительной речью на Боденовском процессе¹³². В этой речи он вывалял самого Наполеона III в пыли судилища и после нее был избран огромным большинством голосов в Париже и одновременно также в Марселе. Это двойное избрание в двух наиболее крупных городах Франции человека, который не только публично заклеил акт 2 декабря, но напал лично на самого деспота, совершившего этот переворот, вызвало во всей Франции и даже в Европе чрезвычайное волнение.

Не подлежит сомнению, что моя смелость в атаках на империю зажгла его смелость и что в то время он помышлял продолжать словом то дело, которое я начал пером.

К тому времени он приобрел уже некоторую полноту, которая вскоре приняла такие размеры, что из Цезаря он постепенно превратился в Вителлия¹³³. Но за несколько лет до того я видел его скорее худощавым, с длинными черными волосами, еврейским носом и одним глазом, до того выходящим из орбиты, что, казалось, вот-вот он совсем вывалится. Операция, которой он решился подвергнуться, совершенно изменила его вид, так что я не узнавал, где у него свой глаз, а где искусственный. Он страдал в это время каким-то недержанием слова, отчего беседа с ним немного утомляла. Тем не менее можно было предсказать, что он займет свое место в армии антибонапартистской оппозиции, не предвидя, конечно, что это место может стать до такой степени господствующим.

Пока парламент сам не ограничил всеобщее избирательное право, которым он был порожден, кандидат, избранный одновременно и в Париже и в одном из департаментов, обычно выбирал последний, дабы оставить свободное место своему единомышленнику, успех которого в столице был обеспечен. Так как Гамбетта избрал Марсель, — первый избирательный округ Парижа, в который входили Бельвиль, Лавилет, Лашапель и Монмартр вплоть до бульвара Клиши, оказался свободным. Мое почти победоносное поражение, когда избран был Жюль Фавр, естественно выдвигало мою кандидатуру на вакантное место.

Без моего ведома образовался комитет, который предложил мне кандидатуру, почти предписав мне принять ее под страхом быть обвиненным в дезертирстве республиканско-социалистической партией.

Я ответил на этот ультиматум, что готов на все для освобождения моей страны, но отнюдь не хотел бы постоянно стоять, подобно журавлю, на одной ноге у ворот парламента. Меня раз уже заставили принять кандидатуру в седьмом округе, уверяя, что мне обеспечена блестящая победа, и тем не менее я потерпел поражение; роль вечного кандидата совсем не подходит к моему темпераменту, тем более, что я совсем не оратор и что, вероятно, не буду в состоянии оказывать какие бы то ни было услуги своей партии в законодательных учреждениях.

Я думал, что отделался уже таким ответом, но в одно утро ко мне явились три анабаптиста, в том числе наш товарищ Дерер¹³⁴, который впоследствии был членом Коммуны и еще в настоящее время принимает участие в политической борьбе. Опять-таки, как в «Пророке»¹³⁵, они сообщили мне, что мои соображения никуда негодны, что мое избрание обеспечено и что они не покинут Брюссель, не получив моего согласия.

Свидание — Дерер должен это помнить — было весьма бурным. Я заметил трем делегатам, что по поводу голосования, в котором я потерпел поражение, они говорили то же самое, что когда избиратели хотят иметь кого-нибудь депутатом, — не ему, а им нужно позаботиться о том, чтобы он был избран. Тогда, переходя к более сильным средствам, они меня дружески предупредили, что если я буду настаивать на своем отказе, некоторые граждане, присутствовавшие на подготовительном собрании, поклялись лично приехать в Брюссель, чтобы укокошить меня кинжалом, как изменника и ренегата. Один из трех делегатов дал мне даже понять, что в крайнем случае он лично возьмет на себя эту искупительную миссию и даже охотно тут же выполнит ее, что избавит его от расходов на вторичную поездку.

Пред лицом столь усугубленных требований я понял, что мне остается только подчиниться. И я стал их пленником. Тогда они кинулись в мои объятия и сияющие возвратились в Париж с моим согласием, которое они спешили передать комитетам.

Мне нет надобности проводить сравнение между обстановкой, в которой производились в то тяжелое время выборы и в какой они производятся в настоящее время. Но я должен констатировать, что тогда в дело вносилась страсть и чувство, которое я тщетно искал в последующее время. Видно было, что все работали во имя свободы, а не для себя, что никто не считался со своим трудом, как и с тем, чтобы получить за него плату, что все стремились только добиться цели, добиться освобождения Франции.

Даже эти угрозы убийством были трогательны, ибо они свидетельствовали о республиканской страсти, какую охвачена была молодежь всех классов. Прежде чем расстаться со мной, делегаты спросили:

— Если бы избиратели потребовали вашего приезда в Париж, решились ли бы вы рискнуть тюрьмой, чтобы откликнуться на их зов?

— Да, я рискнул бы ею, — ответил я решительно, хотя сидеть мне предстояло шесть лет.

Но вино было налито — нужно было его выпить. Виктор Гюго одобрил мое решение, в уверенности, что я буду избран в округе, гораздо более населенном и более рабочем по составу, чем седьмой округ, ибо он насчитывал свыше сорока пяти тысяч избирателей.

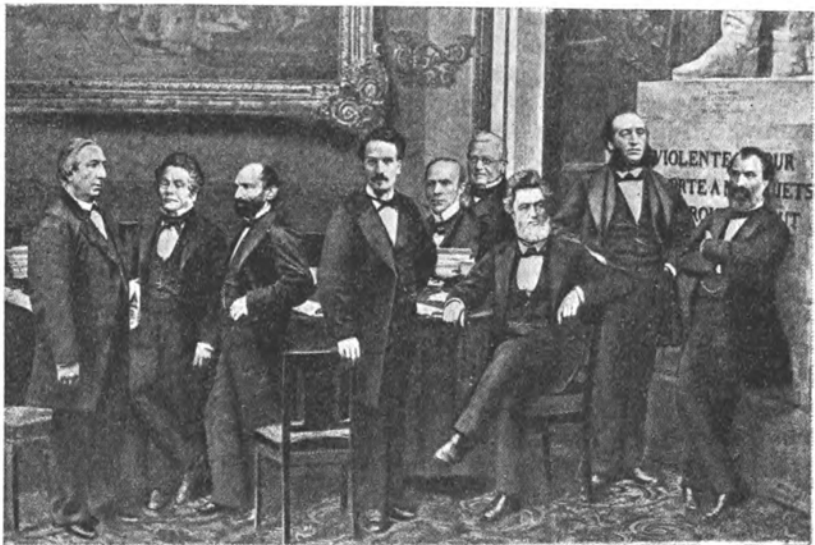
Ждать мне пришлось недолго: через день приехал делегат, которому «Демократический комитет первого округа» поручил привезти пленника. Вот как составлен был ордер о приводе:

«Нижеподписавшиеся, члены комитета, дают мандат гражданину Альбио пригласить от их имени гражданина Рошфора

представиться избирателям вечером в пятницу в зале «Большой салон» (в округе Шапель — Монмартр) и, если возможно, то и в зале Фоли-Бельвиль.

Гражданин Альбио присутствовал на заседании, на котором была комитетом принята эта резолюция, во вторник 2-го сего месяца, и может рассказать о ходе прений, приведших к этому решению».

Следовали многочисленные подписи и среди них, вероятно, находились подписи приятелей, которые в случае отказа замыслили против моей особы преступление. Молодой человек, которому поручено было сопровождать меня, назывался Альбио. Впоследствии он стоял во главе газет, больше бульварного, чем революционного характера.



ГЛАВА XI

Арест кандидата. — Ипполит Карно. — Письмо Клемана Лорье. — Публичные собрания. — Кольфаврю. — Императивный мандат. — Ложные сведения. — Предсказание Вильмессана. — Избран! — Письма императрицы

Перецеловав всю семью Гюго, я в пятницу в девять часов утра сел в парижский поезд. Я, конечно, не думал приехать в Париж прямо и без задержек, но я только отчасти предвидел те события, которые разыгрались.

До Фени, первой французской станции, путешествие прошло очень весело. На этой станции нужно было сойти для таможенного досмотра. У меня не было никакой охоты играть в прятки с жандармами, и я открыто прогуливался по вокзалу, понимая, что если у жандармов есть приказ арестовать меня, — они сумеют меня найти.

Приказ у них действительно был. Господин, одетый в черное точно могильщик, подошел ко мне и сказал мне почти приятным тоном:

— Вы господин Анри Рошфор?

— Конечно.

— Потрудитесь последовать за мной.

Это был пограничный комиссар. Он провел меня в кабинет и, чтобы засвидетельствовать мне свое почтение, бросил в камин три или четыре полена.

— Но зачем я здесь, — спросил я его, — разве я арестован?

— Не совсем, — ответил он. — Однако вы и не свободны. У меня есть ордер вас арестовать, но так как он подписан уже давно, я сейчас буду телеграфировать префекту в Лилль, чтобы узнать, должен ли я или не должен выполнить его теперь.

В ожидании ответа, который получился через полчаса, нам подали завтрак в буфете. Ответ был положительный и состоял из следующих слов: «Задержите господина Рошфора в состоянии ареста».

Комиссар Фени, показывая мне телеграмму, имел очень смущенный вид. Но я ему со смехом сказал:

— Вы не могли мне сообщить более отрадной новости. Теперь мое избрание обеспечено.

Мой товарищ по поездке хотел разделить мой плен, но так как никакого ордера об его аресте не было, ему, конечно, не позволили бы долго играть роль добровольного арестанта. И так как в четыре часа должен был пройти поезд на Париж, я предложил ему поехать с ним. Он прибывает на монмартрское собрание около девяти часов вечера и сообщит избирателям о моем аресте, что, конечно, произведет гораздо более сильное впечатление, чем мое самое резкое исповедание веры. Как только поезд остановился, Альбио вскочил в один из вагонов, а я продолжал протуливать по вокзалу и читать газеты под наблюдением двух агентов, хотя я несколько раз повторял комиссару:

— Вам нечего опасаться, что я скроюсь. Вы мне создали слишком благоприятное положение, чтобы я им не воспользовался.

Должен признать, что этот полицейский чиновник, повидимому, вполне разделял мое мнение о промахе, совершенном правительством. Когда поезд отходил от вокзала, я шепнул Альбио:

— Скажите моим избирателям, что мой арест ни в малейшей мере не обескуражил меня, что я их не покину, надеясь, что и они не оставят меня. Передайте им мой привет.

Пока я измерял шагами залы вокзала, в Париже убирали зал на Монмартре, где должно было состояться собрание. Около семи часов вечера толпа стала заполнять бульвар Клиши в ожидании открытия собрания. Помещение было огромное: в нем могло поместиться, по крайней мере, три тысячи человек. Известие о моем аресте на границе еще не проникло в публику, но, повидимому, полиция уже знала об этом, ибо число городских, стоявших у места собрания, было необычайно велико. Однако никто из собравшихся не сомневался, что я прибыву в назначенный час, и как только собрание было открыто, Мильер, убитый во время кровавой недели генералом Сиссеэ и капитаном Гарсеном, был мирно избран председателем.

Одним из моих конкурентов был Ипполит Карно, отец будущего президента республики, также, подобно Мильеру, убитого. Уже побитый Гамбеттой, сын великого Карно не сдавался и удержал свою кандидатуру против моей. Клеман Лорье, поддерживаемый Гамбеттой, который раньше был его секретарем, также был кандидатом и считал, что имеет все надежды на успех. Кантагрель, подобно мне, перешел из седьмого округа в первый. Валлес также выставил свою кандидатуру, полагая — без особых надежд. Наконец был еще один рабочий кандидат, по имени Стансон, с которым я встретился несколько месяцев спустя в Сент-Пелажи, куда и я попал, и какой-то невозможный официальный кандидат, некий Фредерик Перм, которого заранее принесли в жертву. Подобно правительственному кандидату седьмого округа, он был выставлен для того, чтобы поддержать того из кандидатов, который получит наибольшее количество голосов после меня и которому он передаст свои голоса во втором туре.

Это множество аспирантов на единственное вакантное место заставляло предвидеть перебаллотировку, в которой я, вероятно, одержал бы победу, хотя мой успех был не совсем обеспечен, ибо за Ипполита Карно были все умеренные люди из оппозиции, к которым присоединились бы с отчаяния все чиновники, рассеянные по округу. Но несоизмеримая глупость правительства, вероятно, устранила бы с моего пути почти все трудности и превратила бы в блестящую республиканскую манифестацию выборы, которые, без бесчисленного множества непроходимых промахов, были бы объектом большой борьбы.

Жалкий Пинар, который после объявления Парижа на осажденном положении, в предвидении большого стечения народа на могилу Бодена, куда никто не явился, был вынужден внезапно подать в отставку и был замещен в министерстве внутренних дел столь же жалким ничтожеством, по имени Форкад де-ла-Рокетт, весь ценз которого состоял в том, что он был единокровным братом участника декабрьского переворота Сент-Арно, — а это, конечно, не было благоприятной рекомендацией для парижского населения. Моим сенсационным арестом он желал показать свой кулак. Последующие события показали, насколько успешно было это проявление энергии.

Добрый Стансон, единственный из моих противников, явился на собрание защищать свою кандидатуру. Но его почти не слушали, так как при малейшем шуме, доходившем извне, думали, что я прибыл. Вдруг ропот пробегает по рядам задыхающейся от тесноты аудитории. Какой-то гражданин, оставшийся на бульваре, вдруг врывается в толпу с криком:

— Рошфор арестован!

И, воспользовавшись оцепенением, охватившим публику, он сообщает, что гражданин Альбио, делегат демократического комитета, находится у входа в зал и просит пустить его на три-

буну, чтобы подтвердить печальную новость. По адресу правительства поднялся страшный рев, который невозможно себе представить, не прочитав современных газет. Хозяин зала рассказывал мне впоследствии, что крики, топанье ногами по паркету, удары кулаками об стену были столь оглушительны, что ему казалось, будто рушится его дом. Негодование и гнев дошли до такой степени, что когда Альбио, которого все хотели выслушать, попытался заговорить, он в течение десяти минут не мог заставить себя слушать. В небольшом сообщении, прерывавшемся бешеными возгласами и приветствиями по моему адресу, он рассказал, как я был схвачен на границе в нарушение всех прав всеобщего голосования, на которое правительство облыжно якобы опиралось.

Когда собрание было таким образом поставлено в известность о произведенном аресте, мои конкуренты вошли в зал, чтобы протестовать против такого устранения кандидатуры путем устранения кандидата. И все они — редкое зрелище! — один за другим поднимались на трибуну, чтобы снять свою кандидатуру в мою пользу.

— Нам сообщают, — воскликнул Жюль Валлес, — что граждане Лорье и Кантагрель сейчас прибыли! Положение, в которое поставлен Рошфор, диктует им их долг. Мы ждем, чтобы они вззошли на трибуну и сняли свою кандидатуру!

И он первый снял свою, а за ним вскоре последовали Кантагрель и Стансон. Лорье, к которому также обратились, заявил, что ему нужно подумать и посоветоваться со своим комитетом, без которого он не имеет права принять решение. На это Валлес возразил:

— А мы разве совещались со своими комитетами?

Лишь около полуночи Лорье, поговорив с Гамбеттой, инициатором его кандидатуры, прислал в типографию «*Rappel*» следующее письмо:

«Господин главный редактор.

Сегодня в десять часов вечера, прибыв на собрание в «Большом салоне», в Лашапель, я узнал, что Рошфор был арестован полицией, когда возвращался во Францию, чтобы поддержать свою кандидатуру.

Считаю, что этот арест является преступлением против всеобщего избирательного права.

Пред лицом такого насилия я думал, и мои друзья, с которыми я посоветовался, также думали, что в нашей партии Рошфор не должен при таких условиях иметь конкурентов.

Я отказываюсь от своей кандидатуры в первом округе.

Преданный вам *Клеман Лорье*».

В то время как разыгравшиеся события превратили «Большой салон» в клуб якобинцев, я продолжал беседовать со слу-

жащими буфета в Фени. Комиссар полиции не без беспокойства видел, что время идет вперед, а ему было бы неприятно известить меня в тюрьму, и в то же время он не мог меня считать арестованным на честное слово. Наконец около половины десятого вечера министр внутренних дел, вероятно, осведомленный о переполохе, вызванном моим арестом, решил — слишком поздно, потому что эффект уже был достигнут, — отменить свое первое распоряжение и послал приказ немедленно меня освободить. По этому поводу много говорили и теперь еще иногда говорят о каком-то охранном листе, который правительство якобы предложило мне на время избирательного периода и который я якобы принял, намекая таким образом, что между министерством и мною состоялся какой-то стговор, почти что сердечное соглашение. Тюильрийские листки даже воспользовались этим якобы охранным листом, чтобы лишний раз восславить императорское великодушие. Я немедленно ответил на эти инсинуации следующим письмом, появившимся на следующий день в «*Rappel*»:

«Дорогие друзья!

Газеты антуража во что бы то ни стало хотят убедить меня, что император оказал мне милость, потому что, распорядившись арестовать меня на границе, он отдал приказ освободить меня спустя восемь часов. Я желал бы иметь судьбою общественное мнение, а не газеты «*Constitutionnel*».

Правда — в том, что в двенадцать часов комиссар полиции мне сказал: «Вы арестованы!», а в восемь часов вечера он прибавил: «Вы свободны!» Таков факт во всей его простоте.

Великодушие правительства сводится, следовательно, к тому, что, совершив глупость в двенадцать, оно поняло это в восемь часов, т. е., как все, что оно делает в течение восемнадцати лет, когда было уже слишком поздно.

Я, тем не менее, оставил бы журналистов из лакейской мирно вытирать пыль с их кресел, если бы они не примешали к своему прославлению монарха какую-то историю об охранным листе, которую они рассказывают тем более утвердительно, что она не содержит в себе ни одного слова правды.

Охранный лист — это мечта; мне ничего не говорили об охранным листе. Охранным листа я никогда не видел. Если бы правительство имело бестактность мне предложить охранный лист, я, вероятно, ответил бы, что не хочу, чтобы меня охраняли, не хочу иметь никакого листа, и, не менее вероятно, швырнул бы им его в лицо.

Это заявление было, полагаю, необходимо, чтобы объяснить мою неблагодарность, которая более глубока, чем когда-либо.

Аври Рошфор»

Хотя я выпущенный из рук полиции, я был вынужден продолжать отвырывать шаги на вокзале Фени, поджидая поезда в Париж, куда я прибыл только ночью. не зная еще, что правительство целым рядом невероятных глупостей собственными руками расчистило мне путь, устранив с него все препятствия. Я остановился случайно в гостинице «Франция и Шампань», на улице Монмартр, и, изнуренный долгой поездкой, проспал, как убитый, до утра.

Едва проснувшись, я послал своему комитету депешу о моем освобождении и приезде.

Час спустя свыше двухсот избирателей наполнило двор гостиницы, спрашивая меня, и ко мне в комнату вошла хозяйка дома почти в иступлении.

— О, сударь, — сказала она со слезами, — какое опять несчастье! Ведь у нас останавливался Орсини, и здесь он подготовил свое покушение. В течение свыше двух месяцев сюда ходили толпы полицейских агентов. И вот, теперь вы к нам приехали. Опять будут агенты, не говоря уже о визитах к вам. Ведь там внизу уже огромная толпа. Какое несчастье!

Я успокоил ее, насколько мог, сказав ей, что останусь у нее совсем недолго, что сейчас поищу квартиру поблизости к месту своей деятельности и в тот же вечер верну ей покой, которого она, повидимому, больше всего жаждала.

Большое собрание тут же решено было созвать на улице Дудовиль. Хотя оно только что было объявлено, оно привлекло свыше четырех тысяч избирателей, которые, передавая меня с рук на руки, бросили меня, точно пакет, на трибуну. Так как вследствие моего ареста я остался единственным кандидатом, не считая Карно, который не показывался на избирательных собраниях, я не имел перед собою ни одного оппонента, и мне не приходилось, к счастью для моих ораторских способностей, поддерживать даже малейшую дискуссию. Хотя я и люблю побеседовать и говорю очень легко и даже бываю болтливым, самый факт быть вынужденным подняться, чтобы изложить свои теории собранию людей, сжимает мне глотку такой невыразимой тоской, что она почти всегда мешает мне высказываться. Поэтому я разглагольствовал вкривь и вкось на собраниях, на которые меня приглашали и которые были многочисленны в виду обширности избирательного округа и желанья всех избирателей видеть и слышать меня. Задача моя была, впрочем, легка, — мне достаточно было раскрыть рот, чтобы вызвать всякие приветствия.

Одна министерская газета напечатала такой отчет в три строчки о митинге, на котором я присутствовал: «Он появляется: да здравствует Рошфор! Ему подают стакан воды: да здравствует Рошфор! Он его выпивает: да здравствует Рошфор! Он сморкается: да здравствует Рошфор! Он сходит с трибуны: да здравствует Рошфор!»

Члены моего комитета, скоро заметившие полное отсутствие у меня красноречия, доходили в своей преданности до плутовства. Они приходили ко мне до открытия собрания и предупреждали меня, что поставят мне почти враждебным тоном два или три вопроса, которые они мне сообщали заранее и на которые я подготавливал ответы, каковые они, конечно, обзывались провозгласить вполне удовлетворительными.

Эта простая тактика имела то преимущество, что ставила в невыгодное положение тех, кто имел малейшее намерение, не скажу — нападать на меня, но просто мне возражать. Как только один из моих соумышленников просил слова, чтобы допросить меня об одном из пунктов бельвильской программы¹³⁰, которую я подписал, зал начинал рычать, и маломальски двусмысленного намека достаточно было бы, чтобы допрашивающий слетел с трибуны. Мой якобы противник требовал от меня разъяснения по тому или другому пункту программы, по поводу которого мои объяснения показались ему не совсем ясными. Я отвечал. Собравшиеся покрывали мои слова аплодисментами, и интерpellатор заявлял, что счастлив, что вызвал с моей стороны ответ, не оставляющий места никаким ложным толкованиям.

Энтузиазм дошел до такой степени, что, когда Ипполит Карно, мой конкурент, нанял зал и организовал через своих сторонников специальное собрание, последние не были в состоянии произнести хотя бы одно слово. Получив указание, что мне следовало бы пойти на это собрание, чтобы ответить на возможные возражения, я вошел в зал в тот момент, когда на трибуне находился декабрьский изгнанник Кольфаврю, пытавшийся сделать приемлемым сына, напоминая республиканские подвиги отца. Лишь только я был замечен, как меня стали приветствовать оглушительными криками. В течение нескольких минут Кольфаврю не мог продолжать своей речи, и когда он, пытаясь ее возобновить, произнес хотя и очень вежливые слова: «Я не отрицаю больших услуг, оказанных господином Рошфором демократии, но...», кто-то крикнул ему: «Но что? Что вы хотите сказать? Мы не дадим оскорблять своего депутата — слышите?»

Ибо Бельвиль еще за восемь дней до голосования считал меня уже своим представителем. Бедный Кольфаврю тщетно пытался доказывать, что никакой агрессивной мысли по отношению ко мне у него не было. Снятый с трибуны, он был брошен в толпу, и если бы я не потребовал для него, как и для всех остальных, свободы слова, — не знаю, вышел ли бы он совсем невредимым из рук моих сторонников. Таким образом, начиная с этого, якобы дискуссионного собрания, избиратели отменили всякую дискуссию. Карно напрасно потратился на наем зала, и его попытка, впрочем единственная, имела единственным результатом увеличение поданных за меня голосов.

Вильмессан, как я имел возможность убедиться после 4 сентября из найденных в Тюильрийском дворце документов, всецело перешедший на сторону империи, изо всех сил нападал на мою кандидатуру, упрекая меня в излишних резкостях «Фонаря», на который он сам дал средства и который принес ему огромную прибыль, между тем как мне он принес не мало лет тюрьмы. Но и в этом случае министерство обнаружило свою полную неспособность. Вместо того чтобы купить популярную газету, продающуюся по дешевой цене, доступной рабочим, составляющим огромное большинство избирательного корпуса первого округа, оно обратилось к редактору буржуазно-аристократической газеты, лишь редко проникавшей в слои, призванные голосовать за или против меня. Таким образом все сокрушительные статьи, направленные против меня, совсем не достигали своей цели. Я даже пользовался ими, чтобы разнositь на собраниях бесцеремонность правительства. Я поднимался на трибуну с последним номером «Фигаро» в руках, и мне тем легче было опровергать его аргументы, что никто из той среды, к которой я обращался, еще их не знал. Не только не ослабляя моей позиции, предпринятая Вильмессаном яростная кампания, наоборот, помогала мне, доставляя мне материал для речей и полемики. Я даже достиг некоторой легкости соображения на трибуне, что мне развязало язык и делало из меня почти приемлемого кандидата.

Таким образом, если бы я имел против себя только Вильмессана и «Фигаро», мое положение было бы слишком легко. Но вся робкая и усыпляющая оппозиционная пресса, которая в течение восемнадцати лет сражалась с империей тупым оружием, разразилась против меня и моих революционных речей. Эмиль де-Жиранден, мечтавший о кресле сенатора, «Le Siècle» («Век») и другие газеты, торговавшие либерализмом на розовой водиче, объявили меня своим врагом.

Я согласился принять императивный мандат, считая, что политическое исповедание веры является как бы векселем, который нельзя дать опротестовать, не объявив себя самого банкротом. Левая часть законодательного корпуса воспользовалась этим предлогом, чтобы выпустить против меня резкий манифест, которым она вырывала непроходимую пропасть между моими взглядами и своими. Мне приходилось поэтому почти одному бороться против всех. Правда, я мог при этом сказать, подобно генералу Фуа¹³⁷ при Реставрации, что весь парижский народ был на моей стороне.

Распайль¹³⁸, изолированный и отодвинутый своими коллегами из тусклой демократии, которую пугало его прошлое, сказал обо мне:

— Если Рошфора изберут, социальная революция не будет больше представлена только одним старцем. Нас будет двое.

Мне предстояло таким образом вернуться в законодательный корпус, словно ядро через окно. Поэтому полиция не дожидалась последнего часа, чтобы пустить в ход свои обычные маневры. Однажды утром газета Дельклюза «Le Réveil» («Пробуждение») получила подписанное моим именем письмо, в котором я заявлял публике, что после манифеста левой мне остается только снять свою кандидатуру. К счастью, у меня еще было время опровергнуть эту ложь. Но накануне голосования, на последнем собрании, на котором я не присутствовал, какой-то человек в блузе, видом своим напоминавший доброго социалиста, вскочил на трибуну и с рыданием в голосе испустил отчаянный крик:

— Граждане, стало бесполезным голосовать за Рошфора! Нынче утром он был убит на дуэли.

И человек в блузе, — которая, вероятно, была белой, — вытер концами своих рукавов наполненные слезами глаза. Когда прошло первое оцепенение, заговорили о том, что нужно пойти проверить это сообщение. Но вновь прибывший гражданин, поставленный в известность о катастрофе, поспешил сообщить собранию:

— Только десять минут тому назад я встретил Рошфора совершенно здоровым, — вы видите, что он вовсе не был убит сегодня утром на дуэли.

Набросились на ложного информатора, слезы которого ментально высохли и который, почти придушенный, признался, что комиссар полиции его квартала дал ему три франка за то, чтобы обойти все собрания первого округа и сообщить всюду, что я не больше как труп.

В то время голосование продолжалось два дня, — прием чрезвычайно благоприятный для фальсификации и замены одних бюллетеней другими. Так как не сомневались в бесчестности правительства, было условлено, что члены моего комитета будут сменять друг друга при избирательных урнах, у которых они и их приятели проведут всю ночь.

Утром 25 ноября 1869 года, в первый день голосования. Вильмессан писал в передовой «Фигаро»: «Господин Рошфор лишился значительной доли своей популярности во время избирательной кампании. Он, конечно, получит меньше трех тысяч голосов».

Что касается меня, то благодаря энергии и удивительной организации моего комитета, я был почти уверен в исходе выборов. Мои сторонники обошли все мастерские, были почти во всех домах по округу и утверждали, что я буду избран в первом туре и получу от восемнадцати до восемнадцати тысяч пятисот голосов. И действительно, несмотря на коалицию либеральных и бонапартистских газет, несмотря на протесты левой против моего принятия императивного мандата, несмотря на все усилия старого хвастуна Эмиля де-Жирардена, обы-

вашего меня «кандидатом оскорбления», я прошел, получив восемнадцать тысяч пятьдесят один голос против тринадцати тысяч Ипполиту Карно и двух тысяч Фредерику Терму, кандидату империи. Я даже удивлялся, откуда Карно мог собрать тринадцать тысяч бюллетеней, принимая во внимание его полное молчание во время избирательной кампании и тот прием, который получали его сторонники каждый раз, как только они решались выступить перед избирателями. Этот пример мне показал, что физиономия публичных собраний вовсе не всегда предвещает исход голосования и что приветствуемый кандидат не всегда является избранным кандидатом.

Во время подсчета голосов мне приносили частичные цифры в маленький ресторан бульвара Клиши, где я находился вместе с Густавом Флурансом¹³⁹, которого я встречал уже у Виктора Гюго в Брюсселе и который с крайней энергией вел кампанию за меня. Флуранс, который был убит в своей постели в Рюэль жандармским капитаном после вылазки конфедератов в 71 году, представлял собою как бы одного из героев-мечтателей Эдгара По¹⁴⁰. Высокого роста, ширококостный, с впалыми щеками и несколько затуманенными голубыми глазами, над которыми поднимался огромный лоб, он напоминал мадьяра, собирающегося накинуть свой долман, чтобы сесть на лошадь. Он получил наследство, приносившее около ста тысяч франков ренты, но редко имел в кармане хотя бы двадцать су. Как бы совсем не имея потребности ни в пище, ни в отдыхе, ни в сне, он целые дни употреблял на то, чтобы перебрасываться с одного конца Парижа в другой, совсем не думая о том, что есть час для завтрака и другой час для обеда. Он жил только мыслью и страстью и, кажется, даже способен был бы выйти совсем нагишом на улицу, если бы его не заставили одеться. Следующий факт, в котором он был героем, а я — жертвой, даст читателю его моральный портрет с большей точностью, чем я мог бы этого достигнуть самыми подробными рассказами. Как только я прибыл в Париж, он пришел ко мне в гостиницу и поделился со мною следующим своим соображением:

— Знаете, нужно, чтобы вы обзавелись своей квартирой, — ведь закупили же вы в Брюсселе мебель. И я надеюсь, что вы не пожелаете меня оскорбить и нанять квартиру не в моем доме.

— Какой это дом?

— Да тот, который мы с братьями выстроили на улице Ришелье. Это — прекрасный дом; он нам обошелся около двух миллионов. Вы будете платить за квартиру сколько пожелаете и когда пожелаете. Пойдем выберем одну из квартир.

Мы взяли извозчика и отправились на указанную улицу. Но когда мы приехали, он не мог найти свой дом. Он забыл номер его и знал лишь, что он стоит где-то около Француз-

ского театра. Мы расспросили четырех или пятерых швейцаров, не состоят ли они на службе в доме Флуранса, но ни один из них не мог нам дать никаких указаний, и мы так и уехали, не разыскав его дом.

Флуранс в большом смущении повторял:

— А между тем я там был уже раз или два раза. Надо будет спросить моих братьев, а потом мы снова туда поедем.

Есть жестокие домохозяева. Есть и очень добрые. Но, вероятно, в первый раз в истории оказался собственник, только что построивший дом в два миллиона и в течение часа тщетно разыскивающий его. Недавно я рассказал об этом случае чудовищной рассеянности его брату, бывшему министру иностранных дел. Он ограничился тем, что окинул меня взглядом, как бы говорившим: «Это меня не удивляет. Мы видели от него и более чудовищные вещи».

Хотя одновременно имели в Париже место выборы еще в четырех округах, только мое избрание имело ясно республиканский и социалистический характер, так как другие кандидаты наотрез отвергли мои крайности и в особенности императивный мандат. Вечером я пошел прогуляться с Флурансом по бульварам, где киоски осаждались толпой, спрашивавшей: «Избран ли он?»

«Он» — это был я, и между тем как одни кусали себе губы, узнав о моей победе, другие приходили в восторг и даже импровизировали танцы тут же посреди улицы. Одна простоволосая женщина, совсем подле меня, хотя и не догадываясь, что стоит рядом со мной, выкрикнула слова, которые заставили меня глубоко уйти в себя и почувствовать всю тяжесть взятой на себя ответственности:

— Он выбран! Наконец-то народу станет немного лучше!

Обманутая предсказаниями «Фигаро» театральная и газетная публика была крайне изумлена полученным мною подавляющим большинством. В Тюильри, как уверяли меня, не могли притти в себя. Наполеон, полагаясь на доклады, которые я потом нашел в конфискованных в Тюильри документах и которые уверяли его, что революционная волна задержана, был совсем смущен бесполезностью понесенных расходов. Вот некоторые его соображения, которые я беру из составленных им планов самозащиты:

«Столь трудное всегда дело нажима на французскую прессу нуждается в санкции, т. е. в уверенности, что правительство расположено нести жертвы в пользу тех, кто ему служит...»

Если бы это положение нуждалось в подтверждении, его легко было бы найти в соглашениях, которое было заключено с «Фигаро». Это соглашение, этапы которого проходили под непосредственным надзором и руководством самого министра, обещает принести полезные результаты.

Договор, как я имел возможность убедиться из других документов, был подкреплен вручением двухсот пятидесяти тысяч франков Вильмессану, который, положив их в карман и не поделившись со своими акционерами хотя бы малейшей их частью, формально обязался провалить мою кандидатуру. Правительственное поражение задевало его таким образом лично, и хотя он, конечно, оставил у себя все двести пятьдесят тысяч франков, он почувствовал против меня еще большую злобу. Императрица была тогда в Египте по случаю открытия Суэцкого канала. Она присылала своему мужу о приеме, оказанном ей хедивом, письма, найденные мною в ящиках письменного стола Наполеона III. Она ему писала, например, в стиле и с орфографическими ошибками какой-нибудь вульгарной мешанки такие записки: «Измаил-паша мне говорит вещи, от которых у тебя волосы дыбом стали бы на голове». Впоследствии мне иногда попадались в руки письма г-жи Бонапарт, вполне корректные, с правильной орфографией и написанные совсем другим почерком, чем те, которые писались ею из Каира. Для меня стало очевидно, что большинство подписанных ею писем и продающихся на аукционах автографов она диктовала какой-нибудь своей придворной даме или какой-нибудь доверенной особе, которой давала право подписываться за себя.

Письма, которые мне пришлось разобрать в Тюильри и которые кишели орфографическими и синтаксическими ошибками, были, несомненно, написаны другим почерком. Жена Наполеона III напоминает в этом отношении Рашель, на распродаже вещей которой я купил небольшой стол, наполненный письмами к ее сестрам и от ее сестер. И написаны они были детским почерком, совсем непохожим на элегантную переписку великой артистки с директорами театров, драматическими критиками и министрами. Можно поэтому утверждать, что все продающиеся на аукционах письма Рашели или императрицы Евгении апокрифичны.

Ее благородный супруг держал ее в курсе политических событий посредством незначительных, хотя и дорого стоящих депеш, из которых привожу следующую:

«Я счастлив узнать, что ты довольна оказанным тебе приемом. Мы здесь ждем исхода выборов, которые могут быть только неблагоприятными».

Первые сообщения об исходе выборов императрица получила в Измаиле. Раскрыв телеграмму, она вскрикнула:

— Как, Рошфор избран! Ведь это парижский народ дает нам пощечину!

Мое вступление в законодательное учреждение произвело сенсацию. Казалось, что я влеку за собою революцию. Я сел

рядом с Распайлем, совсем изолированным и заброшенным оппозицией, которая уже была оппортунистической. Хотя слово это еще тогда не было пущено в ход. Первое слово, с которым Распайль обратился ко мне, было:

— Поклянись, что вы никогда, ни одним словом не почитите это маленькое чудовище, Тьера, который двенадцать лет продержал меня в своих тюремных ямах вместе с крысами и паразитами.

Я ему обещал, и действительно, в течение короткого времени, проведенного мною в законодательном корпусе, прежде чем поселиться в Сент-Пелажи, мы с будущим президентом республики не обменялись ни одним словом.

Дабы обеспечить себе большую свободу действий, я основал «Марсельезу»^{140*}, поистине башибузукскую газету, в которой мы изо дня в день основательно царапали империю и всех, кто с нею был связан. Я как-то подсчитал, — ни один из моих сотрудников не ушел после Коммуны от версальских репрессий, — все офицеры из военных судов, перед которыми нам пришлось предстать, были отъявленными бонапартистами, думавшими только о том, чтобы отомстить за своего императора, с которым так зло обошлись люди без веры и без чести, которых зовут республиканцами. Мильер¹⁴¹ был убит на ступенях Пантеона, Рауль Риго был расстрелян, Паскаль Груссе¹⁴² был приговорен к ссылке, Артур Арну¹⁴³ приговорен к ссылке, Густав Флуранс изрублен саблями, Брейс приговорен к ссылке, я также получил ссылку. Словом — все, вплоть до рабочих, набравших наши статьи.

Поглощенный своей газетой, забрасываемый приглашениями на собрания, занятый приемом депутатий и делегаций, парламентскими заседаниями, я был до того изможден, что еле держался на ногах. Мой обычно бледный цвет лица стал зеленым, и я пугал всех своих знакомых. Как-то в декабре, в палате, я прилег у камина в большом зале совещаний и, совершенно обессиленный, заснул глубоким сном. Когда я открыл глаза, я увидел, что меня окружает группа правого и центристского правительственного большинства, осматривавшая меня с видом комического сожаления. Эти лакеи Тюильри и Компьена, которые несколько недель спустя голосовали за предание меня суду и за мой арест вопреки моей парламентской неприкосновенности, теперь смотрели на меня с трогательным сочувствием. Один из них даже не без некоторой нежности сказал мне:

— Ах, какую жизнь, полную борьбы и переутомления, избрали вы себе, дорогой господин Рошфор, между тем как вам так легко было бы пользоваться отдыхом и покоем, в котором вы так нуждаетесь!

И так как я, еще не совсем проснувшись, не понимал, на что он намекает, он прибавил:

— Ведь от вас не потребовали бы ничего противного вашей программе. Вам достаточно было бы отказаться только от резкой оппозиции, которую вам навязывают социалистические комитеты.

— Простите, — ответил я ему со смехом, — ведь император в оппозиции ко мне. Он мне отказывает во всем, чего я от него требую.

— Но вы до настоящего времени еще ничего от него не требовали.

— Простите, — серьезно ответил я ему, — я от него требовал, чтобы он ушел, а он все же упорно остается.



ГЛАВА XII

Первые заседания. — Распайль. — Виктор Нуар. — Пьер Бонапарт. — Дуэль. — Убийство. — Эмиль Оливье. — Верховный суд. — Похороны Виктора Нуара. — Осуждение. — В тюрьме

Первым моим актом в качестве депутата было внесение вместе с Распайлем законопроекта об отмене конскрипции и заместительства и установлении обязательной трехгодичной военной службы для всех французов. Ныне действующий закон целиком воспроизводит наш тогдашний проект. Распайль, уже в преклонном возрасте, пробовал защищать наш проект, но правительственное большинство, членов которого очень забавляла мысль о том, что их сыновья станут с ружьями на плечах служить Франции, непрестанно прерывало старого оратора, иронически требуя, чтобы он говорил громче.

Распайль на это отвечал:

— Да, мне трудно говорить, но голос свой я потерял в сырых камерах, в которых вы меня держали в течение пятнадцати лет.

Ничтожный Форкад де-ла-Рокет, которого я однажды обозвал «г-на Форкад — не знаю из какой тюрьмы»*, специально поднялся на трибуну, чтобы обозвать наш проект «смехотворным и ребяческим». Эта атака привела его к потере своего портфеля.

* Рокет — тюрьма, в которой в прежние времена приводились в исполнение приговоры к смертной казни. — Прим. перев.

За несколько дней до того в Лувре происходила церемония торжественной присяги императору недавно избранных депутатов, которым прочитывалась формула присяги, после чего они, подняв руку, произносили: «Клянусь!»

Я уклонился от этой комедии, и церемониймейстер три раза вызывал меня. Убедившись, что меня нет, Наполеон III нашел уместным изобразить на своем лице улыбку, скорее смущенную, чем насмешливую. Все царедворцы поспешили присоединиться к нему, и императорская демонстрация вызвала продолжительный смех и аплодисменты.

Официозная пресса рассказала об этом эпизоде, сопроводив его соответствующими размышлениями. Обозвав наше предложение «смехотворным и ребяческим», бедный Форкад де-ла-Рокет невольно протянул мне шест, за который я поспешил ухватиться. Я попросил слова по личному вопросу и среди всеобщего молчания бросил большинству следующую реплику:

— Министр позволил себе применить к внесенному вчера гражданином Распайлем и мною предложению эпитеты «ребяческий» и «смехотворный». Правительство, конечно, будет пытаться высмеивать все наши слова и наши действия. Глава государства уже первый последовал этому, позволив себе несколько дней тому назад засмеяться, когда при нем названо было имя депутата первого округа Парижа. Со стороны императора это было грубое оскорбление всеобщему избирательному праву, на которое он, по его словам, опирается. Во всяком случае, если я смешон, то никогда не буду так смешон, как субъект, который прогуливался по пляжу в Булони с орлом на плече и куском свинины в своей шляпе¹⁴⁴.

Трудно передать то оцепенение, которое вызвано было этими словами. Я хотел продолжать, но Гамбетта, сидевший позади меня, заставил меня сесть, потащив меня за фалды моей жакетки.

— Ничего больше к этому прибавлять не нужно, — шепнул он мне.

Большинство, ничего подобного еще не слышавшее, молчало, как бы совсем подавленное, но с трибун раздались аплодисменты, совсем сведшие с ума председателя Шнейдера, человека сухого, с рыжими пятнами на лице, с воспаленными глазами, которого обозвали «белым зайцем». Он попытался протестовать, сказав:

— Глава государства не имеет никакого отношения к этой дискуссии.

Но я его пригвоздил к месту, крикнув ему:

— Именно потому, что он не имел к этому никакого отношения, я и указал неприличие его поведения!

Распайль, действительный автор учения о микробах, которого тогда высмеивали по поводу его «малюсеньких животных», был очень рад той помощи, которую я оказывал ему

в его одиночестве, ибо он плохо стал слышать, и я сообщал ему о том, что приносилось с трибуны. Он, повидимому, возымел ко мне полное доверие, тем более лестное, что он вообще с большим трудом сближался с людьми. Он даже был одержим манией шпионства и иезуитизма, подобно тому как другие одержимы манией преследования. Когда он передавал мне свои воспоминания о бывших заговорах, он мало кого не обвинял в сношениях с полицией. Он доходил до того, что утверждал, будто имеет доказательства, что Годфруа Кавеньяк и даже Барбес принадлежали к полиции. Я не скрывал от него того удивления, которое вызвало во мне это неожиданное разоблачение, указав ему, до какой степени эти люди хорошо играли свою роль, ибо оба они умерли от пыток, которые им пришлось перенести за время их продолжительного заключения в тюрьмах. Однако Распайль не сдавался. Впрочем, однажды, когда он мне подробно рассказывал о заговоре, имевшем целью вызвать восстание крупных городов, — заговоре, в котором он участвовал вместе с Собрисе¹⁴⁵, Барбесом, Бланки и Кавеньяком, я спросил его:

— Как могли вы участвовать в заговоре вместе с Кавеньяком и Барбесом, которые, по вашим словам, принадлежали к полиции?

Тогда он, все же смущенный, ответил мне как бы с уступкой:

— В то время они к ней еще не принадлежали.

Я снова выступил в законодательном корпусе по поводу высылки эмигрировавшего во Францию испанского социалистического депутата Хозе Поль и Ангуло. Я напомнил, что, в то время как правительство позволяло карлистам свободно фабриковать во Франции оружие для новой гражданской войны, оно беспощадно преследовало республиканцев.

— Эта терпимость, с одной стороны, жестокость — с другой, показывают, что вас устрашает только одно, — это республика. И вы имеете основание бояться ее, так как она близка, и она отомстит за всех как испанцев, так и французов.

Форкад, растерявшись, попытался ответить бравадой, заявив, что эти угрозы республикой его нисколько не пугают. Но его протест опоздал. Мой намек на булонскую авантюру сделал его невыносимым в Тюильрийском дворце, где его обвиняли в том, что он своей медлительностью позволил мне довести до конца свое оскорбление, и он был безжалостно уволен.

Мне пришлось при этом констатировать, что мое предсказание о близком наступлении республики не встретило никакого сочувствия среди моих левых коллег, за исключением Распайля. Мертвое молчание встретило мое пожелание, которое, как мне казалось, теплилось в сердцах всех депутатов, провозгласивших вслед за Гамбеттой своим девизом длинное и малозвучное слово: «непримиримые». Я часто имел воз-

мощность констатировать, что гора, на которой они разместились, была едва холмиком. Никола, ни в одной из своих речей даже сам Гамбетта не выразил, хотя бы в самой туманной и замысловатой фразе, пожелания видеть императорское правительство замененным республиканским строем.

Левая, от которой мы отдалялись тем больше, чем больше она с каждым днем приближалась к власти, не упускала ни одного повода выступить против нас, и, конечно, если бы возбуждение среди народа не разрасталось с каждым днем и если бы Наполеон не поколебался вызвать войну и послать на смерть двести тысяч человек в надежде сослать затем пятьсот тысяч, мы бы увидели Эрнеста Пикара министром, подготовляющим в ожидании дальнейших событий место для Гамбетты. Но если мы против их воли объявляли себя республиканцами, они, вопреки самим себе, также были вынуждены стать республиканцами, когда, шесть месяцев спустя, Бонапарт, взятый в плен и низложенный, уступил свой трон республике.

Отмечаю этот момент, потому что среди многих других обвинений умеренные и версальцы обвиняли меня также в том, что я нападал на Гамбетту¹⁴⁶. А между тем очень легко доказать, что он постоянно отвергал мою политику, мою тактику и мою конечную цель. Он относился ко мне настолько враждебно, насколько его депутатский мандат и общественное мнение ему это позволяли. Он тогда не хотел республики, и я стеснял его, требуя ее. Такова правда.

Но всем как дерзким, так и умеренным расчетам предстояло вскоре быть опровергнутыми. Над Парижем разразилась, — не смею сказать вдруг, ибо она, несомненно, была предумышлена, — одна из тех катастроф, которые приводят к изгнанию Тарквиниев¹⁴⁷ и к свержению Бонапартов.

Мне представляется не лишенным интереса остановиться на обстановке убийства, жертвою которого пал Виктор Нуар и которое больше, чем все речи, манифестации и статьи, подготовило крушение империи. Ужасный факт, который вызвал столько негодования и поднял всю Францию, по существу мало известен.

Принц Пьер-Наполеон, сын Люсьена и, несомненно, гораздо больше Бонапарт, чем император, его якобы двоюродный брат, обязан был своим грубым и почти диким манерам лесного корсиканца тем, что пред ним закрыты были двери Тюильрийского дворца. Это удаление из семьи длилось почти до конца империи и вызывало со стороны Пьера Бонапарта непрерывные жалобы, почти всегда встречавшие самое неблагоприятное отношение.

В политических кругах были хорошо осведомлены об этой семейной распри, и Пьер Бонапарт даже вызвал этим к себе некоторую симпатию. Поэтому я был крайне удивлен, получив в редакции моей газеты «Марсельеза» следующее письмо:

«Милостивый государь.

После того как вы покрыли оскорблениями одного за другим всех моих близких, не пощадив ни женщин, ни детей, вы оскорбляете и меня пером одного из ващих чернорабочих.

Это в порядке вещей — и мой черед должен был наступить. Однако я имею, быть может, одно преимущество перед большинством тех, что носят мое имя: я — просто частный человек, хотя и Бонапарт.

Спрашиваю вас поэтому, защищаете ли вы вашу чернильницу своей грудью, и признаюсь, я мало уверен в исходе моего демарша.

Из газет я узнаю, что ваши избиратели дали вам императивный мандат отказывать во всех требованиях удовлетворения и сохранить ваше драгоценное существование. Тем не менее решаюсь сделать попытку, в надежде, что слабый остаток французских чувств заставит вас отказаться в мою пользу от мер предосторожности, которыми вы прикрываетесь. Если вы случайно согласитесь отодвинуть предохранительные задвижки, делающие вашу почтенную персону дважды неприкосновенной, вы меня не найдете ни во дворце, ни в замке. Я живу попросту в номере 59 на улице Отейль и обещаю вам, что если вы приедете, вам не скажут, что меня нет дома.

В ожидании вашего ответа, милостивый государь, я еще имею честь вас приветствовать.

Пьер-Наполеон Бонапарт».

Это письмо, крайне оскорбительное, было в то же время некорректно с точки зрения того, что принято называть «вызовом». Статья, вызвавшая его, принадлежала не мне, а одному из наших сотрудников — Эрнесту Лавиню. Он отвечал почти в умеренной форме на один абзац подписанного Пьером Бонапартом документа, в котором была следующая гнусная фраза о республиканцах: «Сколько мужественных солдат, искусных стрелков, смелых моряков и трудолюбивых землеробов насчитывает Корсика, которые гнушаются богохульников и давно бы их уже искромсали, если бы их не удерживали!»

С другой стороны, когда требуют удовлетворения оружием, пишут своему оскорбителю: «Я считаю себя оскорбленным тем-то и тем-то местом вашей статьи, и я вам посылаю секундантов, прося вас сообразоваться свести их с вашими секундантами».

Пьер Бонапарт, который был в Риме приговорен к смерти за совершенное в Италии убийство, достаточно часто дрался на дуэли, чтобы знать, что дела чести решаются через посредство секундантов, а не лично самими противниками. Этот странный прием, чтобы завлечь меня к себе, слишком напоминал западную, в которую он своими оскорблениями, очевидно, рассчитывал меня завлечь.

Странно было и то, что Бонапарт, требовавший у меня удовлетворения во имя своей семьи, был как раз тот самый, который грубо попрекал Наполеона III его мезальянсом, т. е. браком с девицей Монтихо.

Чем же объяснялся этот внезапный поворот? Это нетрудно разгадать. Принц Бонапарт лишь на один момент стал в достойную позу преследуемого. Он долго жил в черной нужде и благоразумно решил, что наиболее верным средством примириться с двоюродным братом было — избавить его от меня.

Лишь впоследствии, перечитывая после убийства Нуара его письмо, я понял все коварство, которое за ним скрывалось. Но в первую минуту я в нем прочел только кучу оскорблений и попросил двух наших сотрудников, Мильера и Артура Арну поехать сговориться с ним об условиях немедленного поединка. Я понял бы еще, если бы автор статьи, Эрнест Лавинь, с которым я даже не был знаком, пожелал занять мое место, в чем бы я ему, впрочем, отказал. Но я часто спрашивал себя, под влиянием какого порыва, другой наш сотрудник, Паскаль Груссе, послал со своей стороны секундантов принцу Пьеру Бонапарту, который его в письме не назвал и не имел никакого основания к нему обращаться. Как потом оказалось, Паскаль Груссе, состоявший корреспондентом корсиканской газеты «La Revanche» («Реванш»), задетый кузенком императора, счел нужным сделать этот вызов, который не мог иметь никаких последствий, так как принц, взявши на себя роль мстителя за всю семью, очевидно, имел в виду именно меня, а не кого-либо другого.

Виктор Нуар, который был убит, не был таким образом, как обычно думали и часто говорили, моим секундантом, а секундантом Груссе, пославшего его в Отейль вместе с Ульриком Фонвьелем, даже не предупредив меня об этом.

Я узнал об этом лишь днем. Однако, так как я был уверен, что Пьер Бонапарт не обратит никакого внимания на этот новый вызов, я поджидал в законодательном корпусе возвращения своих секундантов, которые должны были все решить с секундантами принца. Я показал некоторым членам левой полученное мною провокационное письмо, и Эмманюэль Араго¹⁴⁸ сразу же заподозрил ловушку.

— Будьте крайне осторожны во время поединка, — сказал он мне, — и ни в каком случае не идите к нему. У него уже были такие скверные дела.

Дело, действительно, было бы скверно, ибо секунданты Паскаля Груссе застали его в гостиной, где он поджидал в халате, держа наготове револьвер в кармане, не их, а меня. Пригласив меня в столь оскорбительных выражениях к себе, он, очевидно, рассчитывал после данной мною оплеухи типографу Рошетту, что его оскорбления приведут меня в бешенство.

Он был один, без секундантов, хотя по правилам дуэли обязан был их пригласить еще до того, как написал мне свое

провокационное письмо. В каком положении он, действительно, очутился бы, если бы я послал к нему секундантов, чтобы сказать ему, как я и намеревался, что дуэль должна состояться немедленно. Он вынужден был бы ответить: «Подождите. Я сейчас поищу двух лиц, согласных быть моими свидетелями». После всех его бравад это было бы и позорно и смехотворно.

Как только разыгрались эти события, у меня без всякого колебания сложилось твердое убеждение, что он вовсе не думал драться со мною, а просто решил меня убить, чтобы заслужить добрую милость императора и особенно императрицы.

Около пяти часов вечера, когда я собирался покинуть Бурбонский дворец, чтобы размять руку в фехтовальном зале, я получил от Паскаля Груссе телеграмму:

«Принц Пьер Бонапарт стрелял из револьвера в Виктора Нуара, который умер от полученной раны».

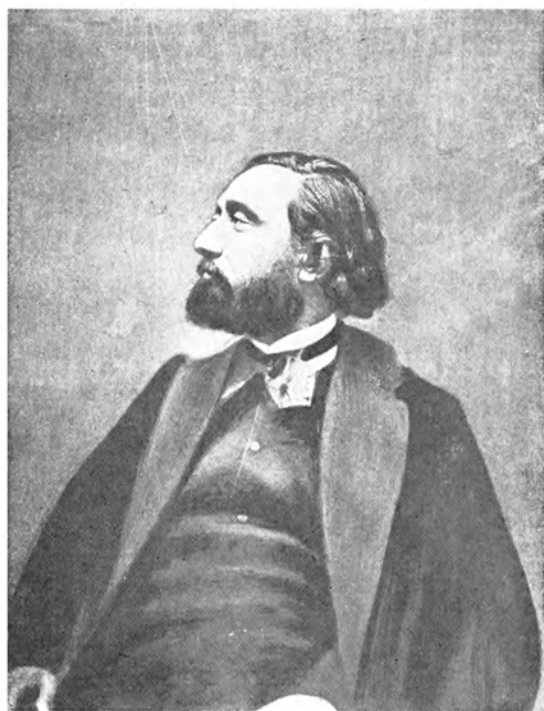
Я не знал, что его секунданты прибыли раньше моих в Отейль, так что сперва не понял, что означала эта телеграмма. Только в редакции «Марсельезы», куда я стремительно бросился, я узнал в подробностях все фазисы этого дела.

Виктор Нуар был высокий, сильный молодой человек, едва достигший 21 года, очень веселого характера, непосредственный и крайне экспансивный, часто приносивший нам для газеты разные заметки. В серьезных случаях он всегда готов был присоединиться к нам. Словом, это был настоящий друг нашей редакции. Его трагический конец, явившийся столь неожиданным, потряс нас и вверг в неудержимое бешенство. Мильер и Арну, прибывшие к дому, где совершено было преступление, на десять минут после Нуара и Фонвьеля, были удержаны толпою, уже собравшейся у дома Бонапарта.

— Не входите туда, — кричали им: — там убивают!

Они увидели бедного Виктора Нуара лежавшим на тротуаре с простреленной грудью и подняли выпавшую из его рук шляпу.

Увидя, вопреки ожиданию, чужих людей вместо того, на чей приход он рассчитывал, Пьер Бонапарт, после короткого разговора, выхватил из кармана халата десятизарядный револьвер и выстрелил в упор в Виктора Нуара. Выпустив также две пули в Ульрика Фонвьеля, к счастью, только продырявившие его пальто, он в объяснение своего нападения на Виктора Нуара сочинил сказку, приготовленную, повидимому, в ожидании моего прихода. Он утверждал, что его жертва дала ему пощечину, что он, вероятно, сочинил бы и в том случае, если бы я, следуя его приглашению, поехал к нему. Я был приговорен к четырем месяцам тюрьмы за нападение на типографа Рошетта. Было бы, следовательно, легко убедить специально



ЛЕОН ГАМБЕТТА

подобранных присяжных заседателей, что я, по своей обычной горячности, поступил таким же образом по отношению к принцу, очутившемуся в положении законной самообороны. Эта ложь, правда, не объяснила бы, почему принц, находившийся в своей гостиной, держал в кармане своего халата десятизарядный револьвер. Но я был враг, и генеральные советники, составлявшие верховный суд, которому поручено было судить убийцу, не преминули бы повергнуть к стопам императора его оправдание.

Когда принесли сообщение об убийстве, императрица даже испустила крик, прекрасно рисовавший ее настроение и настроение окружающих ее: «Вот настоящий родственник!»

И ни слова об убитом.

Потрясение, вызванное в Париже этим предательским убийством, было безмерно. Не знаю, примирило ли оно Пьера Бонапарта с Тюильрийским дворцом, но оно навсегда поссорило Тюильрийский дворец с Францией. Я был извещен о преступлении в пять часов вечера. В шесть часов я написал статью, которая скорее напоминала прокламацию:

«Я имел глупость думать, что Бонапарт может быть чем-нибудь другим, кроме как убийцей! Я смел воображать, что лойяльный поединок возможен в этой семье, в которой убийство и западня являются традицией и обычаем.

Наш сотрудник Паскаль Груссе разделял со мною это заблуждение — и сегодня мы оплакиваем нашего бедного и дорогого друга Виктора Нуара, убитого бандитом Пьером-Наполеоном Бонапартом.

Вот уже восемнадцать лет, как Франция находится в окровавленных руках этих разбойников, которые, не довольствуясь расстрелом республиканцев на улицах, увлекают их в гнусные ловушки, чтобы укокошивать их у себя на дому.

Французский народ, разве не находишь ты, что пора положить этому конец?»

Этот набатный призыв, который признан был призывом к оружию, был немедленно передан прокурору для возбуждения судебного преследования. Одновременно с тем как меня таким образом наказывали за мое нежелание быть пристреленным из револьвера, арестовали убийцу, чтобы дать хотя бы тень удовлетворения негодовавшему общественному мнению. Пьер Бонапарт был заключен в Консьержери¹⁴⁰, в квартире директора, у которого он и столовался.

Тотчас же вслед за выстрелом Пьер Бонапарт послал за врачом, который, конечно, поспешил констатировать на щеке убийцы следы пощечины.

Ульрик Фонвьель, в которого Пьер Бонапарт выпустил две пули, мог отрицать перед судом факт пощечины. Но предо

мню, его товарищем и главным редактором, ему незачем было скрывать. Однако он постоянно утверждал, что наш друг не только не дал принцу пощечины, но, держа свою шляпу в облаченной в перчатку руке, он оставался все время спокойным и ни разу не сделал ни малейшего жеста, который можно было бы принять за намерение произвести нападение.

Впрочем, никто не сомневался в этой лжи — ни генеральные советники, оправдавшие по приказу, ни генеральный прокурор Гранпере, бесстыдно лгавший, ни гнусный Эмиль Оливье^{149*}, который в этом деле, как потом по вопросу о франко-прусской войне, показал себя самым низким соучастником наполеоновской мести. Жалкий министр не нашел ни одного слова порицания по адресу убийцы, ни одного слова сожаления к молодой и лойальной жертве. Он довел до самых крайних пределов отвращения свой сервиллизм пред новым хозяином. Если бы этот болван, подавив свою спесь индейского петуха, после этого преступления решительно бросил свой портфель к ногам императора, он создал бы себе превосходное положение даже в глазах умеренных, которых он мечтал привлечь на свою сторону, и в то же время избег бы ответственности за последующее крушение. Его отставка в самый вечер убийства Виктора Нуара избавила бы его несколько месяцев спустя от позорного падения и ненависти целого народа.

Как только в городе распространилась потрясающая весть об убийстве, тотчас же организованы были многочисленные публичные собрания для выражения протеста. Амуру¹⁶⁰, впоследствии член Коммуны, приговоренный в каторжным работам версальским военным судом и умерший членом парижского муниципального совета, прибил к трибуне одного из собраний широкое черное полотно. Крики возмущения раздавались на улице. Образовались группы, чтобы пойти за телом, покоившимся в Нейи в одном частном доме, и перенести его в Париж, в редакцию нашей газеты «Марсельеза». Все горели жаждой мести. По существу, арест убийцы объяснялся лишь желанием вырвать его из рук толпы, которая, конечно, предала бы его линчеванию. Раздавались даже призывы штурмовать Консьержери и там покончить с якобы арестованным.

Неудача коварного замысла, как мне рассказывали после 4 сентября, привела тюльрийцев в состояние полной растерянности, — им нужна была моя смерть, а вовсе не смерть молодого Виктора Нуара. На следующий день, когда я, бледный и расстроенный, вошел в зал заседания законодательного корпуса, я был встречен молчанием, более опасным для империи, чем для меня. Я знал уже, что предан распоряжением Оливье суду его исправительных лакеев, и слышал, как он ответил в кулуарах одному депутату, указавшему ему на опасность, связанную с этим преследованием: «Необходимо с этим покончить. Нельзя управлять, пока Рошфор на свободе».

И действительно, к концу заседания председатель объявил, что только что получил от генерального прокурора Гранпере требование о разрешении возбудить против меня судебное преследование за «оскорбление императора, возбуждение к восстанию и призыв к гражданской войне». За пять минут до того Эмиль Оливье заявил, что пренебрегает моими нападка. Однако в этом требовании звучало не пренебрежение.

Похороны были назначены на следующий день, и день этот, по всей видимости, должен был быть чрезвычайно бурным. Уже с утра дом в Нейи, где гроб покоился на двух стульях, был наводнен огромной толпой, которая разрослась до такой степени, что уличное движение стало почти невозможным. Как подвезти дроги до дверей дома? Это казалось совершенно неразрешимой задачей.

Я приезжаю совершенно изнуренный, без пищи уже в течение трех дней, без сна в течение трех ночей, — до такой степени переживания последних дней меня придавили и расшатали. На руках меня передают до самых дверей дома, в который я вхожу и где нахожу Дельклюза и известного романиста, брата жертвы, Луи Нуара¹⁵¹. Вскоре приезжает Флуранс — и завязывается первая стычка между сторонниками похорон в Париже, на Пер-Лашез¹⁵², и погребением в Нейи. Сто тысяч человек пехоты и кавалерии мобилизованы были из гарнизонов окрестных городов, чтобы потопить в крови всякую попытку восстания. Однако толпа была безоружна. Захваченная врасплох предательским убийством в Отейль, она не имела времени ни организовать, ни столкнуться. Пылая одним и тем же чувством гнева, она без сговора сбегалась манифестировать против двух убийц: тюильрийского и другого*.

Мы с Дельклюзом сталкивались с товарищами, и огромное большинство собравшихся склонно было нас слушаться и следовать за нами, как вдруг посредине дороги, ведущей на отейльское кладбище, Флуранс и несколько окружавших его людей, порядочность которых он по своей благородной доверчивости не всегда, к сожалению, достаточно проверял, бросились на лошадей, которых пытались повернуть по направлению к Парижу. Когда же кучер погребального общества отказался изменить данный ему маршрут, они перерезали построжки, чтобы самим повести печальные дроги.

Я шел непосредственно за гробом и, сдавленный тесной толпой, давившей меня и следовавшей за мной, несколько раз падал на колеса, которые при малейшем движении назад прошли бы через мое тело. Меня подняли на самые дроги, где я уселся со свисающими ногами рядом с гробом. С высоты этой мрачной обсерватории я видел волнующееся море людей, видел, как люди падали, поднимались, как другие пробегали почти

* Т. е. Наполеона III и Пьера Бонапарта. — Прим. перев.

под самыми ногами лошадей или под дрогами, непрерывно рискуя быть раздавленными. Тщетно кричал я им в отчаянии, чтобы они остерегались, — голос мой среди шума движения не доходил до них. В довершение всего у меня на чистом воздухе закружилась от переутомления голова — и вдруг, без видимой причины, я свалился без сознания с дрог. Когда я открыл глаза, я находился с Жюлем Валлесом¹⁵³ и двумя сотрудниками «Марсельезы» в извозчичьей карете. Моими первыми словами было:

— Пожалуйста, пусть кто-нибудь скоренько сбегает купить мне чего-нибудь поесть. Я умираю от голода.

Валлес сам побежал в булочную и захватил с собою булку в два фунта, половину которой я с жадностью проглотил, и бутылку вина, из которой я выпил несколько глотков. Мы были уже в Париже, в конце Елисейских полей, неподалеку от арки Звезды. Я смутно припоминал, что меня ввели в какую-то колониальную лавку, где мне натерли виски уксусом и позвали извозчика, в карете которого я пришел в себя.

Вот при каких условиях произошел этот обморок, которым бонапартистская реакция меня долго попрекала и который в действительности был вызван крайним изнурением после семидесяти пяти часов переутомления, проведенных без пищи и сна. Силы человеческие имеют предел. Этот предел я перешел и больше не мог держаться на ногах и даже в сидячем положении.

Это объяснение, — единственно правильное, ибо я не подвергался никакому риску среди двухсот тысяч людей, среди которых не было ни одного, который не был бы мне всецело предан, — не помешало официозам обвинять меня в трусости. Повторяю, мне решительно нечего было опасаться: после нескольких минут борьбы здравый смысл взял верх, и погребение, согласно желанию Дельклюза и моему, состоялось на кладбище Нейи.

Наоборот, опасность была в самом Париже. После похорон многие из нас вернулись пешком через Триумфальную арку. У Елисейских полей выстроено было с обнаженными саблями несколько эскадронов кавалерии, которым дан был приказ рассеять толпу, хотя, по существу, они имели пред собою людей, возвращавшихся с похорон и вынужденных вернуться в город единственным путем, которым они могли возвратиться домой.

Но глупый Оливье хотел показать, что он представлял собою «силу», и вдруг к моей карете приближается полицейский комиссар, заявляющий, что после трех предупреждений он пошлет на нас выстроившиеся эскадроны.

Раздалась первая барабанная дробь. Подкрепленный принятой пищей, я соскакиваю с кареты, иду к комиссару и кричу ему:

— Сударь, окружающие меня граждане возвращаются с похороном той же дорогой, по которой они пришли на них! Что же, вы собираетесь им помешать?

Вторая барабанная дробь.

— Что бы вы ни говорили, все бесполезно. Уходите. Сейчас будет пущена в ход вооруженная сила. Вас изрубят саблями.

— Я депутат, — возразил я, показывая ему свою медаль. — Благоволите меня пропустить.

— Нет, вы первый будете изрублены.

Я оглядываюсь назад. Авеню Елисейских полей почти пуста: большинство манифестантов ушло боковыми улицами.

— Уходите, — сказал я оставшимся. — Нет нужды дать себя здесь укукошить. К тому же, что бы ни делала теперь империя, она получила последний удар.

Если процесс узника Консьержери очень медленно подвигался вперед, — мой процесс двигался с адской быстротой. Обсуждение требования о разрешении подвергнуть меня судебному преследованию имело место на следующий же день после внесения этого предложения.

Так как некоторые депутаты левой попытались подойти к вопросу с юридической точки зрения, — я положил конец прениям следующим заявлением:

— Очевидно, что если меня желают упрятать в тюрьму, то лишь потому, что не могли от меня избавиться другим путем. Но не будем на этом останавливаться: могли бы подумать, что я защищаю себя. Правительство совершило по отношению ко мне столько грубых промахов, оно подвергало меня уже давно таким низким и мелочным преследованиям, — я заявляю это в присутствии двух бывших министров, которые своими невообразимыми деяниями сами взяли меня, так сказать, за руку и привели сюда, на эти скамьи, — что я, конечно, не буду столь наивен, чтобы помешать ему совершать новые ошибки. Ибо от ошибок, совершаемых империей, выигрывает республика.

Это повое напоминание о республике, конечно, не могло привлечь ко мне симпатии бонапартистского большинства. Лучше и логичнее всех выступил за меня Жюль Симон¹⁶⁴. Обманщик Оливье торжественно обещал палате, что процессы по делам печати отныне будут предаваться суду присяжных, а на следующий день я получил повестку предстать пред судом исправительной полиции. Таким образом министр не только выманил ложью голосование палаты, но тот же закон о печати, который он объявлял негодным по отношению к частным лицам или журналистам, он находил достаточно хорошим для избранного всеобщим голосованием депутата.

Так как при этом сообщали, что заранее составленный приговор повлечет за собой лишение меня депутатского полномочия, я заявил в «Марсельезе» от 21 января 1870 года:

«Самым простым было бы обойтись со мною так же, как дядя выступил с Пишегрю¹⁵⁵, т. е. задушить меня в тюрьме собственными руками министра юстиции. В противном случае, чем дольше меня будут лишать права быть избранным, тем дольше я буду избираем. Десять раз вы аннулируете мое избрание — и столько же раз имя мое будет победоносно выходить из избирательных урн первого округа. Если шулера, находящиеся у власти, хотят попытаться поиграть в эту игру, мои избиратели и я охотно соглашаемся!»

Эта угроза отняла у правительства охоту лишить меня избирательных прав. Правда, так как империя пала, когда я еще находился в Сент-Пелажи, эта вторая кара не очень усугубила бы первую, ибо революция 4 сентября возвратила бы мне немедленно избирательное право, отнятое у меня императорской юстицией.

Я не дал себе труда явиться по повестке в шестую палату суда исправительной полиции и заявил министру юстиции, что его осуждение не только не может меня опорочить, но настолько лишено всякого значения, что не может мне принести никакой чести. Председатель трибунала огласил приговор, присланный ему из министерства и присуждавший меня, Паскаля Груссе и нашего ответственного редактора и сотрудника С. Дерера к шестимесячному тюремному заключению. Не имея возможности по закону уничтожить «Марсельезу», уничтожали постепенно всех ее сотрудников.

Об исходе процесса, с которым я совсем не считался, я узнал в кулуарах палаты от самого спесивого Оливье. Проходя мимо этого великого болвана, которому привычная нечистоплотность и зеленые очки придавали вид уличного ходатая или агента по темным делам, я слышал, как он бесстыдно заявил в группе депутатов:

— Шесть месяцев тюрьмы и три тысячи франков штрафа. Мы не хотели быть слишком жестокими.

Это было открытое признание сговора правительства с судьями, ибо это «мы не хотели» ясно указывало, что меня осудило не судебное учреждение, а министерство.

Я был приговорен заочно и на следующий день после истечения срока апелляции получил от прокуратуры «приглашение» сесть в тюрьму. Но, не признавая судей, я не мог считаться с их предложениями. Я ответил на их наглость тоже наглостью, чем окончательно вывел Оливье из себя:

«Полагать нужно, что я на-днях действительно был приговорен к шестимесячному тюремному заключению. Я как-то прочел в некоторых газетах, что два или три старца в черных юбках пробормотали меж себя несколько слов, меня касающихся. Но, поглощенный другими делами, я не имел времени

думать об этих глупостях. Сегодня же я получил от прокуратуры письмо, подписанное каким-то помощником прокурора, имя которого я не мог разобрать. Эти люди настолько стыдятся своего ремесла, что скрываются за неразборчивыми подписями. Через посредство этого-то приказчика господин Оливье приглашает меня сесть в тюрьму в понедельник 7 февраля, т. е. сегодня, во исполнение состоявшегося против меня 22 января приговора.

Господин Оливье начинает мне присылать приглашения! Это превосходит все пределы наглости. После этого он может меня даже пригласить на обед к себе или на свой ближайший бал. Не стесняйтесь, господин Оливье!

Нет, господин светский человек, я не явлюсь точно в одиннадцать часов на свидание, которое вы мне назначаете в вашем дворце Сент-Пелажи. Если б я принял это приглашение, могли бы подумать, что я стану принимать также приглашения, которые мне будут присылать из Компьяна или из Фонтенебло¹⁶⁶. А такого недоразумения ни в каком случае нельзя допускать. Пусть уж лучше двое из окружающих вас надзирателей за каторжниками потрудятся сами притти и взять меня за шиворот. Ведь это поучительное зрелище — перед торжественным оправданием принца Бонапарта публично арестовать одного из тех, кого он замышлял убить!

На одном из ваших парадных представлений вы воскликнули:

— Если вы нас заставите, мы станем силой!

— Будьте силой, — я вас заставляю».

Этот вызов, вынуждавший правительство прибегнуть к грубому полицейскому насилию, поставил его в очень затруднительное положение. Прошел день, потом другой, а оно все не решалось действовать, и каждый час отсрочки все более и более обострял возбуждение населения. Кроме того, так как я лично отказывался отдать себя в руки тюремщиков, становилось необходимым потребовать от законодательного корпуса разрешения арестовать меня, как раньше просили у него разрешения подвергнуть меня судебному преследованию. В палате разгорелись более оживленные, чем в первый раз, прения, хотя очевидно было, что они должны иметь тот же исход. Оливье отрицал, что для ареста необходимо новое голосование, и воспротивился потребованной Гамбеттой отсрочке хотя бы до конца сессии. Палата, конечно, согласилась на все, чего требовал от нее министр-ренегат — и я был отдан в руки скотов и полицейских агентов.

Я ожидал, что буду схвачен по окончании заседания у самых дверей Бурбонского дворца. Но, повидимому, трудно было немедленно принять все необходимые меры и сконцентрировать необходимые силы для подавления возможного народного

движения. Я свободно вышел на улицу. Вечером я пошел обедать к Бребану, где намеревался взять отдельный кабинет, чтобы укрыться от всюду преследовавшей меня любопытной толпы. На лестнице ресторана я столкнулся с артистом Шарлем Маршалем, ведшим под руку старушку Жорж Занд¹⁶⁷, которую я раньше никогда не видел. Она выразила желание пообедать вместе, на что я охотно согласился, и мы втроем провели половину вечера. Жорж Занд, которая в 1848 году выступала в качестве яркой республиканки и составляла, как уверяли, знаменитые циркуляры Ледрю-Ролена, докатилась к этому времени до эклектического и якобы либерального бонапартизма, смутной представительницей которого была принцесса Матильда.

Оливье, поставивший на ноги все свои полицейские силы, считал, что наступил психологический момент. Я назначил на восемь с половиной часов свидание своим избирателям в зале «Марсельезы», незадолго до того нанятой мною на улице Фландр, в Лавиллетт. Возбуждение толпы достигло крайних пределов. В то время сердца и головы, столь охладевшие с тех пор, горели и кипели. С первых же домов улицы Рамбюто, по которой продвигалась моя карета, уже толпилось много народа, хотя до зала собрания еще оставалось значительное расстояние. Когда мы стали приближаться к месту собрания, давка оказалась настолько ужасной, что я вынужден был выйти из кареты и пойти пешком до собрания, где Флуранс, уже сидевший на председательском месте, поджидал меня вместе с нашими ближайшими друзьями среди всеобщего крайнего возбуждения, потому что все чувствовали, что приближается развязка.

Я с большим трудом пробивался к входу посреди всяких приветствий, как вдруг два гражданина, к которым я не имел никакого основания относиться с недоверием, взяли меня с обеих сторон под руки и, пройдя оставленное полицейскими свободное место, проникли вместе со мною в какой-то небольшой переулок, закрытый с обеих сторон решетками, и та решетка, через которую мы только что прошли, немедленно за нами захлопнулась. Я увидел, что взят.

Агент, стоявший у заранее приготовленной кареты, спросил меня:

— Ведь вы — господин Рошфор?

И, не ожидая моего ответа, предложил мне сесть в карету.

В ужасающей давке, предшествовавшей моему аресту, я потерял свою шляпу, а мое пальто и пиджак оказались без большей части своих пуговиц. В таком жалком виде я совершил свое вступление в канцелярию Сент-Пелажи, где меня поджидал директор тюрьмы, очень любезно приветствовавший меня, величая меня «господин депутат». Для меня приготовлена была в первом этаже большая, с окнами на улицу, комната.



Эмиль Оливье
С карикатуры О. Домье

в которой стояла менее жесткая, чем для других, кровать, и так как я был совершенно изнурен, я рано лег и беспробудно проспал до утра^{167*}.

В то время как меня таким образом упрятали в тюрьму, по ту сторону реки, в зале улицы Фландр, а затем в Париже разыгрывались необыкновенные события. Так как я могу рассказывать только то, что видел, я воспроизведу по «Karré» физиономию города и события, последовавшие за моим арестом.

«Что происходило на собрании до, во время и после ареста Рошфора? Когда составлен был президиум, — он состоял из председателя Флуранса и двух ассистентов, Мильера и Дебомона, — гражданин Дебомон взял слово. Он сказал:

— Вольтер был заключен в Бастилию. Ни в каком случае мы не должны допускать замуровывать других — ни в Мазасе, ни в Сент-Пелажи.

Предупреждение полицейского комиссара. Собрание протестует.

Гражданин Дебомон продолжает, но почти тотчас же его останавливает второе предупреждение. Толпа отвечает оглушительными и единодушными приветствиями.

Комиссар распускает собрание. В тот же момент в зале распространяется сообщение об аресте Рошфора. Тогда один участник собрания, опустив руку на плечо комиссара полиции, громко объявляет его арестованным и заложником. Акт благоумия и в то же время великодушия. Арестовать комиссара — это одновременно значит и укрыть его от гнева грозной толпы и помешать ему призвать вооруженную силу, чтобы очистить зал.

Но читатель сейчас увидит, что последняя предохранительная мера была совершенно бесполезна. Собрание само расколотится с криками: «Освободим Рошфора!» Все рассеиваются по улицам, охраняемым, как мы уже сказали, целой армией городских. Гражданин, арестовавший комиссара, все еще крепко держит его. Конечно, городские кинутся его отбить и освободить? Нет, — неизвестно, по чьему приказу, — они раздвигают свои тесные ряды и выстраиваются вдоль обоих тротуаров, чтобы пропустить кортеж, уводящий своего пленника. Колонна, продолжая кричать, снова поднимается по улице Фландр и затем через ряд других улиц спускается по улице Предместья Тампль. Там она останавливается, опрокидывает два омнибуса и начинает строить баррикаду. Однако, едва только начав складывать баррикаду, толпа ее покидает, и несколько времени спустя городские могут увести оба омнибуса в соседний двор.

Десять часов. — Нам сообщают, что у редакции «Марсельезы» собралась огромная толпа. Мы пересекаем улицу Абукир. Почти никого. Только несколько групп стоят на тротуаре и обмениваются сообщениями об аресте Рошфора.

Мы выходим к воротам Сен-Дени. Масса народа. Кажется, будто эта толпа поджидает прохода какой-нибудь процессии. Впрочем, полное спокойствие.

Мы поднимаемся вдоль почти всей улицы предместья Сен-Дени. Она почти пустынна. Однако почти все окна освещены и в них на всех этажах видны головы любопытных, очевидно желающих посмотреть скачущие по улицам эскадроны парижской гвардии. Дойдя до верха предместья, мы видим пред собой отряд парижских гвардейцев. По мере того как мы продвигаемся по направлению к Лавиллетт, группы становятся компактнее.

Мы идем по бульвару Лавиллетт. Окна все освещены, повсюду головы любопытных. Тучи городских на тротуарах. Несколькo дальше — полная пустыня. Черная ночь. Доносится смутный шум. Вдруг толпа спешно бегущих людей знаками останавливает нашего извозчика.

— Сходите! — кричат нам. — Дальше нельзя ехать!

— Почему?

— Городовики обнажили сабли и нападают на толпу.

Извозчик останавливается. Мы сходим.

Одиннадцать часов. — На высоте улицы Шопинетт мы явственно слышим барабанную дробь. Шум приближается. Раздаются три предупреждения. Мы видим во мраке ночи только людей, разбегающихся в разные стороны.

Мы заворачиваем в улицу Кустарника св. Людовика и выходим в улицу Предместья Тампль, наводненную огромной, но совершенно спокойной толпой. Нам сообщают, что кареты, которые расположены были в виде баррикад в трех пунктах — внизу улицы Предместья Тампль, у бульвара Пуэбля и наверху Парижской улицы, — увезены в сараи пассажей, которыми изобилует квартал.

Говорят, что кто-то слышал три ружейных выстрела. Пущенных кем? Может быть, пущенных в воздух.

Двенадцать часов. — Вокруг казармы принца Евгения огромная толпа, жаждущая узнать, что происходит. Все предместье Тампль также занято толпой. Наверху улицы Сен-Мор нашу карету окружают со всех сторон белые блузы. Нам кричат:

— Остановитесь! Дальше ехать нельзя!

— Кто вы такой?

Мы отвечаем, что мы сотрудники «Rappel» и хотим разобраться в том, что происходит. Нас заставляют сойти. Некоторые из этих людей в белых блузах, если не новых, то, во всяком случае, очень чистых, слишком чистых, нам говорят:

— Командуйте нами, дайте нам оружие!

Но двое или трое рабочих, более подлинных рабочих, подходят к нам, оттесняют подозрительную группу, и мы вместе с ними подходим к Парижской улице, погруженной в полную

тью. Там высится баррикада: омнибус, несколько экипажей, кучи камней. Там опять, при нас же, те же белые блузы выбивают двери одного магазина, несмотря на крики рабочих:

— Вы — не избиратели! Вы — не республиканцы!

Но их меньше — и они ничему не могут помешать.

Вскоре затем показывается войско: пятьсот парижских конных гвардейцев и пятьсот человек пехоты. Они подходят к баррикаде — и никого за нею не находят.

Отряд кавалерии очищает большие бульвары. Туча городовиков бросается в свои обычные атаки с обнаженными саблями и поднятыми дубинками. Вокруг нас избивают и ранят множество лиц. Сделано четыре предупреждения.

Спускаясь опять вниз, мы видим через окна казармы принца Евгения готовых к походу солдат.

Повсюду те же толпы.

На бульваре, насупротив ресторана Бребана, два эскадрона конных парижских гвардейцев, один батальон пеших гвардейцев и такое же множество крайне чистых белых блуз.

П о л о в и н а п е р в о г о. — Мы спускаемся вниз по улице Предместья Тампль. Толпящиеся группы попрежнему спокойны. И попрежнему много людей в окнах. У канала масса городовиков. Казарма принца Евгения имеет вид исключительного оживления. Офицеры и унтер-офицеры в большом числе прогуливаются по тротуару вдоль казармы. Они в походной форме и, повидимому, поджидают приказа.

У ворот Сен-Дени и Сен-Мартен те же группы зевак, с любопытством рассматривающих проезжающие кареты.

Ч а с н о ч и. — Бульвар Монмартр. Осаждают последние открытые киоски, чтобы узнать новости из последних выпусков газет. Но в них говорится только о заседании палаты. Никаких сведений о вечерних событиях. Городовые двигаются бандами от десяти до двенадцати человек.

Д в а ч а с а. — Толпа упорно остается на главных пунктах предместья Тампль и Бельвиля. Каждые четверть часа приносят сообщения в полицейскую префектуру, где заседают, словно в своем главном штабе, господа Эмиль Оливье и Швандье де-Вальдром. Маршал Канробер¹⁵⁸ ждет, со своей стороны, готовый ко всяким событиям.

Носятся слухи, что оружейная фабрика Лефосе на улице Лафайет захвачена толпой. В ней якобы взято пятьсот револьверов.

Т р и ч а с а. — Министры заседают в Тюильрийском дворце.

Ш е с т ь ч а с о в. — Редакция «Марсельезы», на улице Абукир, охраняется большим числом агентов в штатском, никого оттуда не выпускающих.

Господа Паскаль Груссе и Габенек одни только остаются в редакции, как бы арестованные.

Господа Рауль Риго и Гастон Дакоста¹⁵⁹, желавшие пойти домой, были грубо схвачены и арестованы».

(«Kappel» от 9 февраля 1870 г.)

Как бы опасаясь оправдать полицейские мероприятия, «Kappel» смягчил картину общественного возбуждения. Он скрыл, например, что гражданин, схвативший за плечо полицейского комиссара, был не кто иной, как Густав Флуранс, который при вести о моем аресте воскликнул:

— Всеобщее избирательное право больше не существует! Провозглашаю революцию и начинаю с ареста полицейского комиссара!

Комиссар подумал, что наступил его последний час, и пробормотал умоляющим голосом:

— Сударь, у меня семья!

Эти субъекты бросают в полицейский участок и избивают до полусмерти гражданина, не так скоро уходящего по их распоряжению, — и тогда они не спрашивают, есть ли у него семья. Но зато они тотчас заявляют об этом, как только они подвергаются малейшему риску.

В ночь, последовавшую за моим арестом, арестована была и вся редакция «Марсельезы», включая жерана¹⁶⁰ и швейцара. Те, которым предстояло отсидеть за правонарушения по делам печати или по делам о публичных собраниях, присоединились ко мне в Сент-Пелажи. Другие, безо всякого объяснения и без предъявления каких-либо обвинений, направлены были в Мазас.

Чего хотел Оливье, это — во что бы то ни стало помешать появлению «Марсельезы», — и действительно, за отсутствием сотрудников и жерана, она не появилась. И этот жалкий и глупый Оливье был избран специально для того, чтобы открыть эру либеральной империи.



ГЛАВА XIII

Задержан по другим делам! — Император и война. — В Берлин! — Да здравствует республика! — В Сент-Пелажи. — «Кузина». — Процессы в Туре и в Блуа. Флуранс. — Письмо Виктора Гюго. — Преследования

Мне раньше не приходилось испытывать совсем особое ощущение ввода в тюрьму. Мне казалось, что я снова очутился в коллеже. Укладка спать в восемь часов вечера, невозможность открыть окно, когда вам хочется подышать свежим воздухом, толщина стен, давящая вас, — все это вызывает у вас подчас как бы желание кричать. Ощущение это было однако только моральное, потому что меня устроили столь же комфортабельно, как в номере гостиницы, и я имел бы основание считать себя больным, которому врач запретил выходить в течение шести месяцев.

Если бы я был менее озабочен судьбой своей газеты и меня бы менее беспокоили визиты изнутри и извне, я находился бы в наилучшем положении, чтобы предпринять большой труд.

Но мои товарищи по заключению и я до такой степени были убеждены, что империя смертельно ранена, что мы постоянно ожидали освобождения. И мы проводили дни в бесполезных совещаниях и — опять-таки как в коллеже — в приеме «новичков», которые прибывали к нам каждый день. Оливье, чтобы создать себе иллюзию силы, арестовывал правых и виновных, бросая их на съедение своим Дельво. Этот шулер, чтобы добиться от законодательного корпуса разрешения на возбуждение преследования против меня, заявил в кулуарах,

что внесет законопроект о передаче правонарушений по делам печати суду присяжных заседателей и вслед за тем будет опубликована общая амнистия.

Но как только я оказался под замком в одной из его тюрем, он спрятал законопроект под сукно, а вместо амнистии решил по окончании срока моего заключения продолжать держать меня в Сент-Пелажи, как во времена Первой империи, «административным порядком». Об этом уведомил меня получивший соответствующее распоряжение директор тюрьмы. И действительно, хотя я был приговорен к шести месяцам заключения, я однако продолжал оставаться в тюрьме и седьмой месяц, и если бы 4 сентября народ не выбил двери тюрьмы, — не знаю, сколько времени я бы там оставался.

Жизнь протекала в разговорах и совместных трапезах, — я получал столько жареных птиц, бутылок вина, цветов и клеток с более или менее редкими пернатыми, что не знал, куда их девать. Мы постоянно опасались какой-нибудь шакости, и один жалкий жеран, осужденный за подписание статьи, которую он и в глаза не видел, пробовал у нас пищу — не отравлена ли она. Разрезали, например, присланный утром омар, ему давали один клещ, и если он не падал, отравленный стрихнином или синильной кислотой, мы съедали присланное.

Нам разрешалось принимать определенное число посетителей: прежде всего семью, список которой сдавали в канцелярию, внося в него кого угодно; затем друзей и лиц, с которыми мы связаны были определенными интересами. Некоторые даже выдумывали себе родных, которым разрешалось ходить в наши камеры и проводить с нами весь день. Шарль Дакоста завел себе даже якобы дядю, который каждый день приходил к племяннику со своей якобы дочерью, каковой каждую неделю оказывалась другая. Однажды зритель спросил его:

— Сколько же у вас детей?

— У меня их много, — ответил дядя, не указывая точного числа.

Мне разрешено было принимать почти неограниченное число посетителей. Депутат департамента Дуб Ординер часто приходил ко мне со своими сыновьями и взял на себя оглашение в палате моего проекта по преданию суду министерства.

Мой сын Октав, которому пошел восьмой год, проводил почти каждый день послеобеденные часы в обходе всего отделения для заключенных по делам печати, переходя из одной камеры в другую и считая себя одним из наиболее опасных государственных арестантов. Через него я передавал тайно мои статьи, которые я подписывал псевдонимом Анри Данжервиль. Это имя принадлежало одному гасителю извести, который

за десять франков в день давал мне право им пользоваться, ибо в то время подпись под статьями была обязательна. «Марсельеза», уничтожение которой путем ареста и штрафов было решено в совете министров, почти каждую неделю уплачивала десять тысяч франков штрафа, ибо все статьи давали повод к судебному преследованию. Когда одна из моих статей послужила предлогом для судебного процесса, мой гаситель извести предстал пред судом, заявил себя ее автором и взял на себя ответственность за нее. Это было очень забавно, и с этого момента наблюдение за мною так усилилось, что мне не всегда удавалось передавать свои рукописи на волю. Наш Данжервиль, который, видя свою подпись в газете, счел себя действительно журналистом, стал приносить в редакцию самые смехотворные передовые статьи, настойчиво требуя их напечатания.

Не зная, какими соблазнами меня обойти, правительство, повидимому, решило превратить для меня горечь Сент-Пелажи в отраду Капуа¹⁰¹. Как-то вечером я получил написанное красивым женским почерком следующее письмо:

«Дорогой кузен, мы с мамой, наконец, добились от префектуры разрешения вас повидать. Если разрешите, мы завтра придем к вам около двенадцати часов завтракать и провести с вами некоторое время. До завтра. Ваша кузина Этель».

У меня не было никакой кузины с таким именем, и я стал напрягать свою память, чтобы догадаться, откуда свалилась на меня эта новая родственница. В назначенный час вошла ко мне в камеру высокая и очень красивая блондинка, совсем молоденькая, которую сопровождала по внешности довольно приличная мать, тщательно одетая.

— Простите, — сказала мне тотчас же эта странная мать, — у нас было такое желание познакомиться с вами, что мы решились попросить в качестве ваших родственниц позволения приветствовать вас в вашей тюрьме.

Я удовольствовался этим объяснением. Завтрак был готов, ибо кроме той еды, которую нам доставлял трактирщик с улицы Ласепет, я сам довольно недурно приготавливал баранину с бобами и жареную печенку. Я показал некоторым товарищам письмо этой импровизированной кузины и пригласил их на трапезу, в которой обе незнакомки приняли участие без малейшего смущения. После десерта мать увела, чтобы показать ей камеры на всех этажах, а меня оставили свободно беседовать с дочерью.

Они были у меня еще несколько раз, но проявили такое явное желание утвердиться в моей камере, что в конце концов стали меня нервировать, и я встречал их с довольно кислой миной. К сожалению, когда они приходили, мне было очень трудно велеть им сказать, что меня нет дома.

Кто позаботился о появлении красивой молодой девушки во мраке моей темницы? К какому кругу принадлежала она и чья рука привела ее в мою камеру? Я не мог установить этого в точности, но в душе моей всегда шевелились на этот счет сомнения и их достаточно было, чтобы охладить меня.

Я никак не мог научиться выметать свою камеру, и если я умел раскрывать свою постель, то снова постлать ее было сгеше моих сил. Поэтому мне дали «помощника», который за пятнадцать франков в месяц и остатки от наших трапез охотно взял на себя уборку моей комнаты. От этого слуги, осужденного за какое-то уголовное преступление, администрация тюрьмы, вероятно, требовала известного наблюдения за нами и докладов о наших разговорах, планах и обо всем, что у нас делалось. Это наблюдение тем менее беспокоило нас, что нам решительно нечего было скрывать.

Мне часто приходилось наблюдать, что тюремные служащие, находящиеся в непрерывных сношениях с полицией, почти всегда гораздо лучше информированы о политическом положении в стране, чем само правительство. Припоминаю, что когда я в 1873 году сидел в крепости на острове Ре, директор тюрьмы мне за два дня до выборов предсказал, что официальный кандидат Ремюза будет побит большинством около пятидесяти тысяч голосов своим противником Бародэ, между тем как по расчетам Тьера и его приближенных Ремюза должен был получить, по крайней мере, тридцать тысяч голосов большинства. Эта разница, очевидно, объясняется тем, что агенты, которым поручается зондировать общественное мнение, опасаются попасть на дурной счет в глазах начальства, сообщая ему неблагоприятные для господствующего строя сведения, между тем как в своем кругу у них нет никаких причин что-либо скрывать.

Директор Сент-Пелажи, подлинный тип послушного чиновника, готового кричать все что угодно, лишь бы сохранить свое место, отдавал себе ясный отчет во всеобщей ненависти, грозившей в скором времени вдребезги разбить империю. Он явно мирволил нам, с тем чтобы впоследствии, если тюльрийцы возьмут верх, заставить нас расплатиться за это.

В результате стольких волнений здоровье мое стало заметно сдавать. Я мало ел за отсутствием движения, и моя анемия заметно усиливалась. Смотритель также это заметил и предупредил директора, который явился в мою камеру умолять меня послать министру внутренних дел просьбу о переводе меня в лечебницу. Я предложил ему оставить меня в покое. Я не просил, чтобы меня посадили в Сент-Пелажи, и, конечно, не стану просить, чтобы меня из нее выпустили. Однако я пытался бороться с нездоровьем, чаще спускаясь во двор, где играл в мяч и в городки, пытаюсь таким образом поднять свои силы. Играл я довольно часто с Бенуа Маломом¹⁶², который

стал вождем одной социалистической шквалы и который тогда был бедным рабочим-корзинщиком, проведившим свое время в чтении Прудона¹⁶³, Бастиа¹⁶⁴ и других выдающихся экономистов. Там я познакомился с Дювалем¹⁶⁵, расстрелянным генералом Винуа при вылазке 4 апреля 1871 года. Дюваль был небольшого роста, блондин, с тонкими губами, стальными глазами и дышавшим мужеством лицом. Он был серьезен, вдумчив, внимателен и очень мне понравился.

Поднявшийся, наконец, занавес над комедией процесса в Туре внес некоторое разнообразие в нашу замкнутую монотонную жизнь. Мильер, Паскаль Груссе и я вызваны были свидетелями в верховный суд, составленный из генеральных советников, которым обещали все, что они просили, и которые собирались сделать вид, будто судят Пьера Бонапарта.

Я никогда его раньше не видел и не думаю, чтобы человеческое существо могло иметь более отталкивающий вид. На широких и согбенных плечах сидела голова дикого кабана с поднятыми вверх усами. Этот Бонапарт не был голландцем, но вместе с тем он не был и французом. Он говорил на каком-то итальянском, почти непонятном жаргоне. С низким лбом и рыжими глазами, он походил на хищное животное.

Прения носили тот характер, какой они должны были иметь при таком составе суда. Они то и дело прерывались опровержением подсудимого, оскорблявшего свидетелей с тем большим бесстыдством, что председатель, некий Гландаз, и императорский адвокат Гранпере поддерживали его в его провокаторском поведении. Когда я появился среди двух жандармов, в зале заседания, публика, хотя и составленная заранее почти целиком из полицейских чиновников, проявила заметную симпатию ко мне. Против обыкновения, Пьер Бонапарт молчаливо сидел, и когда я его спросил, почему он послал мне свой якобы вызов по почте, вместо того чтобы передать мне его, как испокон века установлено было обычаем, в собственные руки через двух секундантов, и почему он даже не пригласил секундантов, он мне ничего не ответил.

Гранпере, который должен был поддерживать обвинение, целиком погрузился в грязь сервиллизма. Подсудимым в его глазах был Виктор Нуар, и так как он в то же время был убитым, — можно себе представить как трудно ему было защищаться.

Я с радостью вернулся в свою тюрьму, которая показалась мне во всех отношениях лучше этого гнусного судилища. Я принес с собою оттуда ощущение глубокого отвращения, а также букет, который сидевшая на одной скамье со мною дама любезно мне поднесла.

Но оправдание этого кузена не укрепило положения другого кузена. Последний подготовлял плебисцит, — средство довольно опасное, ибо консультировать людей, будь это врачи

или избиратели, — значит уже признать себя больным. Вместе с тем это была новая комедия в духе только что разыгранной в Туре, потому что, если бы империя оказалась в меньшинстве, Наполеон III, конечно, все же остался бы на своем троне. Вот почему эта игра в «да» и «нет», опущенные в охраняемые императорскими жандармами избирательные урны, все время рассматривалась, как жалкое жульничество.

Как при всех режимах, стоящих по своей же вине перед падением или неизбежным переворотом, гнусный Оливье решил фабриковать заговоры. Он распорядился спрятать бомбы в подвале агента тайной полиции и, конечно, потом их там нашел. В результате арестовали около сорока республиканцев под видом «вожаков» и стали спасать общество, — конечно, общество Компьяня и Тюильри. Что касается другого общества, то на него не обращали никакого внимания. На этот раз комедия опять разыграна в тихом католическом городе Блуа. Наш милый Флуранс, который кидался в объятия первому встречному и который в каждом незнакомце, обращавшемся к нему, немедленно чуял мстителя, способного избавить нас от императора и империи, внял предложениям или, по крайней мере, речам, которые с достаточной убедительностью доказывают, что без организации заговор становится пустым словом. Шпионы, из которых один назывался Герен, а другой Сапия, были для видимости также привлечены к ответственности вместе с целым рядом лиц, которые даже не знали друг друга. В момент, когда его едва не настигли и арестовали, Флуранс пробрался в Швейцарию. Я был в тюрьме, так что трудно было бы утверждать, что я по ночам являлся на совещания.

Едва замаскированные тайные агенты, набранные с целью смастерить дело, были присоединены к подсудимым, получив обещание, что после осуждения им приоткроют дверь, через которую они смогут выйти на свободу. Они признавались во всем, и председатель, старый крокодил по имени Дзанджакоми, замуравывавший республиканцев при Луи-Филиппе, затем во время республики 1848 года и продолжавший их преследовать при империи, делал вид, что с негодованием выслушивает ответы его приятелей Герена и Сапия. Последний, выдававший себя за итальянца, открыто признавал свое участие в заговоре, подчеркивая многозначительно, что «французы не умеют конспирировать» и попадают в руки полиции, забывая при этом прибавить, что он и его товарищи их выдают.

Я был вызван свидетелем некоторыми подсудимыми и снова был взят из Сент-Пелажи для поездки в Блуа. Я заметил, что судьи уже не имеют того уверенного вида, с которым держали себя члены верховного суда в Туре. Чувствовалось по их примирительному поведению, что здание начинает оседать и близко к полному развалу.

Приговоры, вынесенные присяжными заседателями, одобренными в самых реакционных кругах, были случайны. Герен и Сапиа получили тем более жестокое наказание, что они в тот же вечер были свободны. Однако, так как они конспирировали сдельно, они настойчиво требовали своей платы, в которой им, кажется, отказывали, и после революции 4 сентября Герен, оставшийся без места с запасом бомб, вчинил даже иск к своим работодателям, требуя с них уплаты проторей и убытков. Хотя Ферре, будущий член Коммуны, оскорблял и высмеивал в своих репликах членов суда, — присяжные его оправдали. Зато Густав Флуранс был заочно приговорен к бессрочным каторжным работам, что было бы жестоко для него, если бы 4 сентября не превратило его драматическую авантюру в комедию. Он укрылся в Женеве. После трехнедельного отдыха его потянуло на родину, и он решил вернуться во Францию. Но война была уже объявлена и стало невозможно перейти границу без предъявления паспорта. В Жексе он был арестован и допрошен, и так как при нем не было никаких документов, он был задержан под именем Дюмона, которым он назвал себя. Его заточают в камеру, в которой, как он мне рассказывал после своего освобождения, стояла такая жара и духота, что он должен был ложиться у двери и ловить воздух через скважину. Судебный следователь спрашивает его, откуда он приехал. Он бросает ему наугад название какого-то отеля, отеля Монблан, кажется, и два дня спустя тот же следователь вызывает его в свой кабинет и заявляет ему:

— Мы проверили ваше показание. Некий Дюмон действительно на-днях остановился в отеле Монблан в Женеве и уехал, не уплатив и захватив простыни, часы и одеяло. Вы обвиняетесь поэтому в покраже без взлома в населенном доме.

Флуранс оцепенел, услышав, что его фантастические показания по странной случайности совпали с действительными фактами. Ему оставалось только признать себя вором. Однако судебный следователь, затребовав у хозяина отеля приметы скрывшегося, узнал, что он малого роста, брюнет и лыс. Между тем Флуранс был очень высокого роста, ярко светлый и с длинной рыжеватой бородой, что совсем не соответствовало описанию скрывшегося постояльца. Свыше месяца следователь пытался уличить его в противоречивых показаниях, давая ему понять, что не сомневается в том, что он — прусский шпион. Смотритель тюрьмы посадил даже к нему «наседку», чтобы попытать у него признание. Флуранс, якобы доверившись своему сокамернику, признался ему, что он — бельгийский контрабандист, разыскиваемый французской полицией за то, что он стрелял в преследовавшего его жандарма. Но так как ни один жандарм не был жертвой подобного нападения, — судебный следователь понял, что его арестант приписывает себе вымыш-

ленное преступление, чтобы утаить другие, более тяжкие преступления. Однако по истечении шести недель нужно было так или иначе разрешить вопрос об этом таинственном преступнике.

— По вашему собственному признанию, — сказал ему следователь, — вы не имеете определенного места жительства. В ожидании выяснения вашей личности прокурор республики вас предает суду исправительной полиции за бродяжничество.

— Как прокурор республики! — воскликнул в удивлении Флуранс. — Вы хотите сказать — императорский прокурор?

— Нет, — меланхолически ответил судебный следователь. — Республика провозглашена со вчерашнего дня. Теперь у нас временное правительство.

Флуранс вскочил со своего стула.

— А Рошфор не входит в его состав?

— Да, вот список.

Увидя в нем мое имя, Флуранс потребовал от своего крайне изумленного следователя перо и бумагу и тут же написал мне следующую телеграмму, которую я получил в городской ратуше во время заседания правительства:

«Нахожусь в тюрьме в Жексе. Просьба распорядиться о моем освобождении. Тысяча приветов. Да здравствует республика!

Густав Флуранс».

Императорский следователь совсем растерялся, но сомневался еще. Лишь когда он получил принесенную супрефектом Жекса телеграмму, ему все стало ясно: «Супрефекту Жекса. Приказ немедленно выпустить на свободу гражданина Флуранса. Член правительства национальной обороны *Аври Рошфор»*.

Тогда разыгралась поистине мольеровская сцена, и Флуранс провел, по его словам, между этими двумя чиновниками самые веселые минуты в своей жизни. Супрефект уверял его, что лишь скрепя сердце он служил декабрьскому захватчику, деспотизм которого его возмущал, и закончил приглашением заключенного отобедать у него, причем он будет счастлив представить его своей жене.

А судебный следователь отвел Флуранса в сторону и шепнул ему на ухо:

— Не идите к этому человеку. Это — ярый бонапартист. Пойдем лучше ко мне — и вы пообедаете с моей женой и моими детьми. Я никогда не занимался политикой. Пожалуйста, скажите об этом господину Рошфору.

Флуранс отклонил оба приглашения и с первым поездом укатил в Париж, где мы свиделись на следующий день и где он мне, еще весь полный перенесенным, рассказал о пережитой им аванюре.

Супрефект всегда был республиканцем, судебный следователь всегда был республиканцем, и если бы завтра вернулись Орлеаны, оказалось бы, точно чудом, что все судебные следователи и все супрефекты всегда были орлеанистами.

Но пока готовился плебисцит — и все еще были империалистами. Правительство даже стало шантажировать меня. Когда мои статьи не достигали пределов грубости и резкости, оно разрешало моей семье и моим друзьям приходить ко мне рассеивать мою скуку. Когда же я без оглядки накидывался на империю, меня сдерживали и ко мне никого не пускали. Виктор Гюго после моего ареста пожелал одним из первых приветствовать меня следующим письмом, появившимся в «*Revue*» и свидетельствующим о его живой симпатии ко мне:

«Я писал вам несколько раз. Сомневаюсь, чтобы мои письма до вас доходили. Ограничиваюсь на этот раз коротеньким письмом, дабы оно дошло до вас. Будучи столь же незначительным, как империя, оно, надеюсь, пройдет.

Вот вы в тюрьме. Поздравляю с этим Революцию. Ваша популярность огромна, как и ваш талант и ваше мужество. Все, что я вам предсказал, осуществляется. Вы стали силой будущего.

Я, как всегда, всей душой ваш друг и жму вам руку, дорогой преследуемый, дорогой победитель.

Виктор Гюго».

Через мои окна, выходящие на улицу, я мог отвечать на приветствия проходивших, что хотя бы несколько смягчало одиночество, в котором я временами пребывал. Но чтобы сделать его более стеснительным, полиция поставила вдоль тюремной стены городских, передвигавшихся взад и вперед и не дававших останавливаться прохожим.

Когда моим детям запрещалось приходить ко мне, они поднимались на второй этаж небольшого ресторана, расположенного по ту сторону улицы, и здоровались со мною через окно. Но однажды сын мой Октав слишком громко крикнул: «До завтра, папа!» Маневр был раскрыт, и лавочка виноторговца была немедленно закрыта, хотя бедный человек совсем не был посвящен в наши тайные телеграфические сношения.

Эти гнусные преследования еще больше увеличивали симпатию ко мне парижан. Садовники Зоологического сада, крыши которого видны были через окна, почти каждый день присылали мне самые редкие цветы. Моя камера превратилась в оранжерею. Эти постоянно возобновлявшиеся знаки симпатии ко мне были совсем недвусмысленными проявлениями антипатии к империи и императору. Он и не ошibalся на этот счет, несмотря на благоприятный для него исход плебисцита, и я всегда был убежден и даже имел доказательства тому,

что он отважился на войну лишь для того, чтобы усилить свои репрессии после первых же военных успехов, в которых он не сомневался. И действительно, после 4 сентября мне доставили из провинции документ, найденный в бумагах не помню уже какого префекта и гласивший: «Список лиц, подлежащих аресту после первой победы».

Главная цель похода была таким образом — расправа с нами. Мы настолько в этом были уверены, что в самом начале враждебных действий купили выпуск «Вокруг света», содержащий описание и историю Новой Каледонии, в которую, как мы предчувствовали, нас направят в один прекрасный день. И — странное совпадение! — именно Оливье Пен¹⁶⁶, также попавший в нашу тюрьму, Паскаль Груссе и я особенно усердно занимались изучением топографии, флоры и фауны этого острова, на который нас всех троих впоследствии сослал и с которого мы вместе бежали. Но сосланы мы были не империей, как мы тогда рассчитывали, а республикой, за которую мы в этот момент страдали и за которую нам предстояло еще гораздо больше пострадать в награду за то, что мы в широкой мере содействовали ее установлению.

Я рассказываю только о том, что я видел, а я, естественно, не присутствовал на заседании палаты, когда Эмиль Оливье говорил о том, с каким легким сердцем он идет на войну. Я также не слышал, как толстый Лебеф¹⁶⁷ утверждал, что у нас нет недостатка даже в пуговицах для гетр, что не значило, конечно, что у нас не было недостатка в башмаках и пушках.

Начиная с того дня, когда необходимо стало подогревать энтузиазм страны, марсельеза, которая была запрещена со времени установления империи, стала официальным гимном. Банды сомнительных блюзников проходили под окнами тюрьмы, прерывая свои воинственные песни криками: «Да здравствует император!» Войска, отправлявшиеся к границе, уже захваченной неприятелем, оставляли Париж под охраной почти одной только полиции, и регентша-испанка, после отъезда голландца в действующую армию, постоянно опасалась, чтобы толпы народа не проникли в Сент-Пелажи, предварительно разбив ворота. Поэтому вокруг тюрьмы поставлены были отряды, разраставшиеся по мере того, как ухудшались поступавшие сведения о первых сражениях с неприятелем.

Арестованный 9 февраля 1870 года, в след за приговорением меня к шестимесячному тюремному заключению, я отбыл свое наказание к 10 августа и рассчитывал покинуть Сент-Пелажи, как вдруг директор тюрьмы вызвал меня и вторично заявил, что меня не выпустят на свободу, так как правительство решило меня задержать по моим прежним делам. Я с предельной резкостью возразил, что законодательный корпус дал разрешение на мой арест только за определенный акт — за мою статью по поводу убийства Виктора Нуара; если бы при этом

имелись в виду прежние приговоры, он еще раньше разрешил бы меня арестовать. Я считаю поэтому, что правительство превысило свою власть и произвольно держит меня в заключении. Директор тюрьмы, по имени Терро, не знал, что ответить, но знал, что должен меня оставить в тюрьме. Таким образом гнусный Оливье не только держал меня до конца назначенного мне срока, несмотря на свое обещание амнистии немедленно после голосования нового закона о печати, но даже продлил мое заключение. В сущности, это злоупотребление властью объяснялось государственными соображениями. Мы были биты повсюду. Революция бушевала в Париже. Молодые шалонские рекруты, которых заставляли проделывать воинские упражнения палками, из боязни, чтобы они не отдали своих ружей на службу инсurreкции, прогнали своих начальников с криками: «Да здравствует республика!» Мое освобождение, конечно, сильно обострило бы возбуждение населения. Хотя я смертельно раненый, императорский режим, подобно всем умирающим, желал продлить свою агонию.

Еще памятна, вероятно, торжественно оглашенная в законодательном корпусе ложная депеша, сообщавшая, что полк белых кирасиров, полковником которого был Бисмарк, «только что уничтожен в Жемонских пещерах». Таких пещер не существует, и, следовательно, никакой полк белых или красных кирасиров там не мог быть уничтожен. Но идиотское большинство палаты доведено было до того, что должно было питаться обманами. Оно бешеными аплодисментами встретило это сообщение, — ложность которого так легко было установить, посмотрев карту генерального штаба, — и дворники правительственных зданий поспешили зажечь иллюминацию, которую спустя час пришлось погасить.

Наши непрерывные поражения обнаружили не только численное превосходство пруссаков, — они с особенной выпуклостью показали всем бездарность, невежество и — скажем прямо — полное разложение большинства наших генералов. За несколько минут до своего постыдного поражения при Верте Мак-Магон¹⁰⁸ с радостью воскликнул: «Господа пруссаки, наконец-то вы в моих руках!»

Чтобы дать хотя бы некоторое представление о той тактике, от которой одряхлевший Наполеон ждал своего спасения, считаю нужным опубликовать здесь следующую депешу, найденную в бумагах Тюильрийского дворца:

«Император — военному министру.

Курсель, 22 августа, 4 часа.

Получил вашу депешу. Завтра выступаем в Монмеди. Чтобы обмануть неприятеля, — напечатать в газете, что мы выступаем со ста пятьюдесятью тысячами людей в Сен-Дизье».

Можно ли себе представить такие оперативные приемы? И какая, подумаешь, военная хитрость — это помещение в парижской газете извещения, предназначенного для обмана неприятеля, наступавшего на нас в Лотарингии! Точно кронпринц Фридрих станет искать в «Официальной газете» информации о передвижениях нашей армии! И сверх всего прочего мадам Евгения, императрица и регентша, также сообщала по телеграфу свой план кампании. Так, она посылает своему мужу депешу, в которой заявляет, что так как генерал де-Файи оказался не на высоте возложенной на него задачи, его нужно заменить генералом Вимпфеном. И старый болван отвечает: «Согласен на Вимпфена вместо Файи».

Можете вы себе представить Жозефину, пишущую Наполеону I: «Нахожу, что при Аустерлице Бернадот был слаб. Его следовало бы заменить генералом Даву»?

А Наполеон ей бы ответил: «Так как это тебе доставляет удовольствие, я поставил Даву вместо Бернадота».

Эти корпусные командиры, разыскивающие свои войска в местах их стояния, точно иголки в кучах сена, эти обходные движения, в которых нас постоянно обходили, этот неописуемый беспорядок, столь характерный для монарха, непрестанно повторявшего: «За порядок отвечаю я», показали во всей ее наготе непрочность домика, построенного из карт, — из крапленых карт, — который в течение восемнадцати лет назывался империей.

Всех душило негодование, соединенное с отвращением. Луи Бонапарт, поехавший в действующую армию, счел более разумнее там остаться. Если бы у него хватило отваги возвратиться в Париж, он был бы публично разорван в клочья, как в Америке поступают с негром, изнасиловавшим белую женщину.

Министры, на заседаниях которых так забавно председательствовала императрица из фарса, еще пытались скрывать размеры понесенных нами бедствий. Еще продолжали — по приказу — распевать марсельезу в субсидированных театрах, а в опере старец Жирарден, имя которого я нашел в императорских бумагах в числе ближайших кандидатов в сенаторы, слушал стоя, положив руку на сердце, гимн Руже де-Ляля¹⁶⁹.

Банды низших полицейских агентов все еще обходили улицы, восклицая: «В Берлин!», но их ряды редели с каждым днем, и заработная плата их становилась все более скудной. К тому же на крики: «В Берлин!» часто отвечали восклицаниями: «Да здравствует республика!» Надзиратели Сент-Пелажи, и раньше бывшие вежливыми, теперь стали рабски-почтительными и пресмыкающимися. Директор не смел показываться. Одинокое заключение было отменено и всякие посещения — разрешены. Думаю, что если бы нам пришлось в голову

учредить в тульме временное правительство, никто бы этому не воспрепятствовал.

Бонапартистские писаки изображали войну чрезвычайно популярной и почти навязанной страной. Это с их стороны был предел недобросовестности. Война была порождена дворцовой интригой, главным вдохновителем которой был генерал Бурбаки¹⁷⁰, командовавший императорской гвардией. Узнав, что гогенцоллернский вопрос улажен, он громко воскликнул перед императрицей в гостиной Тюильрийского дворца:

— А жаль: я был бы очень рад ввести императора в Берлин во главе гвардии!

Услышав эти слова, императрица пошла разбудить своего мужа, который уже лег спать. Она заставила его подняться и вернуться в гостиную, чтобы возобновить совещание, и война, избегнутая в полночь, была решена в два часа утра.

Она сразу же стала непопулярной до такой степени, что оказалось нужным мобилизовать всех свободных полицейских, чтобы они покрывали своими победными криками и воинственными песнями раздававшийся со всех сторон ропот. Необходимо установить с доказательствами в руках, что империя не могла сослаться в своем безумном решении даже на национальное увлечение. Вопреки нам, вопреки всем сколько-нибудь здравомыслящим французам, приняла она и осуществила это решение.

В то время как сфабрикованные правительством бомбы были подложены в полицейских подвалах и префектура затеяла заговор в Блуа¹⁷¹, полиция и не заметила заговорщиков, тем более опасных, что они были искренни и готовы на все. Бланки и его молодые товарищи поняли, насколько необходимо было ускорить ход событий и опрокинуть империю, дабы создать в Париже революционную ситуацию еще до того, как город будет занят неприятелем. Ибо тогда возможно было бы закупить ружья, отлить пушки и запастись продовольствием в таких условиях, что мы были бы в состоянии выдерживать осаду почти бесконечное время, не подвергая население мукам голода и холода.

В воскресенье 14 августа, около четырех часов дня, небольшой отряд из семидесяти или восьмидесяти бланкистов ворвался в казарму пожарной команды на бульваре Лавиллет¹⁷², чтобы захватить имевшиеся там ружья. Инсургенты могли захватить только четыре ружья, после того как они ранили часового и долго отстреливались от сбежавшихся городских, один из которых был тяжело ранен револьверным выстрелом. Забили тревогу; национальные гвардейцы схватились за ружья и, будучи совершенно не в состоянии понять мотивы этого патриотического движения, помогли агентам арестовать некоторых из нападавших и «восстановить порядок». На место стычки прискакал эскадрон парижских гвардейцев — и попытка революционеров оказалась отбитой. Министерские и даже

якобы либеральные газеты тут же сочинили всякие басни о произошедшей стычке, преувеличив раз в пять число раненых и даже прибавив к ним несколько убитых. Вот, например, повествование газеты «Le Temps»:

«Они накинулись на часовых с кинжалами и револьверами. Один часовой получил удар кинжалом в грудь. Другой пожарный был тяжело ранен тремя выстрелами. Было захвачено четыре ружья. Тотчас сбежавшиеся городовые девятнадцатого округа также подверглись обстрелу. Один из них свалился мертвым, трое других были тяжело ранены. Двое из них в безнадёжном положении.

Пятилетняя девочка получила огнестрельную рану в живот и умерла».

Ложь, которую хотели восстановить население против революционеров, была очевидна. Только один пожарный и один городской были серьезно ранены, и никакая пятилетняя девочка не была ранена в живот.

Было произведено около пятидесяти арестов, и прокуратура занялась подготовкой процесса, крайне смущенная тем, что дала организовать под своим носом заговор, ни малейшего следа которого она не уловила. Подобно тому как было с покушением в улице Сен-Никез, которое Бонапарт приписал якобинцам, между тем как оно было делом роялистов, — бланкистов представили как подкупленных Пруссией изменников. «Фигаро» и «Голуа» тут же сообщили своим читателям, что «один из арестованных индивидуумов имел при себе английский паспорт, но говорил по-французски с очень характерным немецким акцентом. Другой — совсем молодой — предъявил документы «баденского происхождения».

В действительности все заговорщики были французы, парижане, ученики Бланки¹⁷³, который сам был воодушевлен горячим патриотизмом. Но всякое правительство прежде всего пытается опозорить своих противников. Впоследствии я опять встречался с теми же обвинениями в сношениях с пруссаками в обвинительных речах прокуроров версальских военных судов.

Так как Париж со времени объявления войны был объявлен на осадном положении, — заговорщики были преданы военному суду. И если офицеры, какого бы характера ни было совершенное преступление, никогда не осуждают друг друга, — они с радостью посылают на казнь всех гражданских подсудимых, дела которых им приходится разбирать, в особенности когда последние являются решительными сторонниками республики.



ГЛАВА XIV

Освобождение. — Да здравствует папа! — Трошю. — Барон Жером Давид. — Сценарий. — Императорская орфография. — Республика. — Префектура департамента Дордони. — Жюль Симон. — В Сен-Клу. — Мои протежируемые. — Шельшер

Зачинщиком внезапного и столь неожиданного нападения 14 августа был молодой ученик-фармацевт по имени Эмиль Эд¹⁷⁴, которого Бланки сделал своим помощником и начальником своего главного штаба. Смелый, как сабля, честный, работяга и человек, способный на все жертвы. Арестованный на следующий день после нападения, он предстал 22 августа пред военным судом, где его мужественное поведение привлекло к нему все симпатии, за исключением, само собой разумеется, симпатии членов военного трибунала, радовавшихся, что могут заставить француза, врага империи, расплачиваться за гонку, которую задавали их товарищам на полях сражения.

— Я видел, — сказал сапер Энрио, — как Эд кричал «да здравствует республика» и целился в моего товарища Кайо.

В глазах бонапартистских судей более тяжким преступлением было не то, что он целился в пожарного, а то, что он кричал «да здравствует республика». Поэтому, несмотря на показания некоторых свидетелей умеренных взглядов, как, например, бывший начальник департамента министерства иностранных дел, бывший депутат г. Бельферден, который пред-

ставил самые хвалебные отзывы о неизменной честности и благородстве подсудимого, — императорский комиссар третировал Эда, как простого преступника.

Судебный следователь заботливо представил Эда в качестве агента Пруссии. И знаете ли, на какой информации и на каких показаниях этот шутник основывал свое утверждение? В карманах подсудимого нашли среди других монет одну франковую монету с германским орлом! Эта франковая монета стала главным аргументом обвинительного акта. Болваны, составившие его, должны были бы, по крайней мере, признать, что эти двадцать су свидетельствовали о том, что Эмиль Эд предавал свою страну за невероятно низкую плату. Ирония становилась тем более горькой, что монета была даже не германская, а австрийская. Но в своем полном невежестве, за которое нам предстояло уплатить столь высокую цену, солдафоны смешали австрийского орла с прусским.

Это забавное *qui pro quo** нисколько не удивляло со стороны военщины, больше привыкшей перебирать игральные карты, чем изучать карты географические. Что было более возмутительно и от чего Гамбетта никогда не мог очиститься в моих глазах, это — что он поддался этой грубой фальсификации и с высоты трибуны законодательного корпуса произнес по адресу Эмиля Эда, которому грозил в тот момент смертный приговор, оскорбительные слова, требуя беспощадного приговора участникам заговора, в котором, сказал он, «явно проглядывала рука Пруссии».

Когда газеты принесли нам в Сент-Пелажи этот призыв к палачам, наше негодование дошло до такой степени, что я немедленно написал Гамбетте письмо, в котором оно вылилось целиком и в котором я возлагал на него ответственность за кровь подсудимых. Ответ, действительно, не заставил себя ждать: оба главных подсудимых, Эд и Бридо, были 29 августа приговорены к смертной казни. К счастью, по гениальной догадке, адвокат Гатино, защитник Эда, понял, что в данной обстановке важнее всего было выгадать возможно больше дней и даже часов. Он начал свою защитительную речь в десять часов утра и продолжал ее до тех пор, пока часы не показали десять минут первого, и тогда сказал судьям, что так как осужденные имеют полных три дня для подачи кассационной жалобы, то день 30 августа не считается, потому что для полноты нехватает уже десяти минут. Эд и Бридо могли таким образом подписать свою жалобу только 2 сентября в полночь. Так как необходимо было, по крайней мере, полдня для рассмотрения жалобы, а казнь могла иметь место только утром, то таким образом дотянули до 4 сентября, т. е.

* Недоразумение, при котором одна личность или одна вещь принимается за другую.

до того дня, когда единственным осужденным, который мог быть и действительно был казнен, была империя.

Эмиль Эд, которого я впоследствии очень близко знал, умер внезапно на трибуне публичного собрания от болезни сердца, которой он давно страдал, назначив меня опекуном своих четырех славных и очаровательных детей, которых я люблю, как если бы они были моими собственными детьми. С самой своей юности он отдался делу революции. Ничего другого для него не существовало.

Он поделился со мною своими переживаниями в течение трех дней ожидания казни. Утром 4 сентября он ожидал услышать те же слова, с которыми обратились к герцогу Энгиенскому¹⁷⁶: «Соберите все свое мужество!» Вдруг необычный шум, раздавшийся в тюрьме Шерш-Миди, в которой он содержался, заставил его насторожиться. К нему ли двигалось это множество солдат, поднявших в коридорах стук своими прикладами? Он ничего не знал, потому что от него скрывали разыгрывавшиеся вне тюрьмы события. Однако день прошел без инцидентов, — ведь трудно поверить, что временное правительство не подумало выпустить на свободу осужденных по делу Лавиллет. Я сам довольно поздно прибыл в городскую ратушу, освобожденный ворвавшимся в Сент-Пелажи народом, и не сомневался, что они уже свободны. Только 5 сентября утром меня известили, что осужденные ждут еще в своих камерах приказа об освобождении. Я немедленно распорядился открыть им двери тюрьмы. Я также послал распоряжение директору каторжной тюрьмы в Тулоне выпустить отправленного туда осужденного Межи. И я благоразумно поступил, сделав эти распоряжения, потому что потом я узнал, что мои коллеги по правительству национальной обороны уже обсуждали в моем отсутствии вопрос, не следует ли продолжать рассматривать участников нападения в Лавиллет как уголовных преступников.

С самого утра того дня, в который Бонапарт был взят в плен, а мы в виду этого должны были перестать быть пленниками, улица, в которую мы погружались взорами сквозь тюремные решетки, стала заполняться смешанным гулом и шумом. Отряд стоявших у тюрьмы стражников был удвоен, но во взорах, которые они обращали к нашим окнам, не было уже ничего угрожающего. Чувствовалось, что они готовы покинуть своего императора.

Лишь около полудня появилась довольно многочисленная группа женщин из народа, которые стали мне кричать:

— Гражданин Рошфор, вам уже недолго здесь оставаться! Наполеон сдался в Седане. Империя свалена!

— А республика объявлена? — спросил я.

— Нет еще. Заседание состоится в два часа.

— В таком случае приведите сюда ваших мужей, и пусть они нас освободят.

— Правильно, мы идем! — ответили они.

Потом они исчезли, но мужья их, надо полагать, были далеко, потому что только в половине третьего мы услышали гулкие удары дубинок, от которых дрожали ворота тюрьмы. Мы с Оливье Пенем и другими заключенными кинулись на лестницу, чтобы потребовать от директора выдать нам ключи. Но его нельзя было разыскать. Лишь один надзиратель, блондин небольшого роста, с решительным видом, стоял в коридоре, ведущем к выходу, со связкой ключей за поясом.

— Живее, открывайте двери! — сказал я ему. — Вы видите, что бесполезно было бы сопротивляться.

Но, несмотря на усиливавшиеся и учащавшиеся удары дубинок, он отказывался повиноваться. Тогда Оливье Пен, каким-то образом запасшийся палкой со скрытым кинжалом, выхватил последний и с поразительным хладнокровием обратился ко мне:

— Заставить его, что ли, сдать нам ключи?

Вид острого ножа произвел потрясающее впечатление на надзирателя, который так сильно стал дрожать, что с трудом мог отвязать висевшую на поясе связку. Пен отпер замок, дверь раскрылась — и сотня друзей ворвалась в коридор, подняла меня на руки и бросила в проезжавшую мимо открытую коляску, заставив кучера высадить находившуюся в ней даму. Она очень мило сошла, обратившись ко мне с единственной просьбой:

— Передайте мне, по крайней мере, мой зонтик, который я оставила в кузове.

Я передал ей зонтик, и мы пустились в путь, не зная еще, направиться ли нам в законодательный корпус или в городскую ратушу. Толпа с каждой минутой разрасталась вокруг нас. Вскоре наш эскорт превратился в целую армию. Я сидел в коляске с Пенем, Паскалем Груссе, вышедшим из тюрьмы за несколько недель раньше и теперь пришедшим за нами, с Артуром де-Фонвьелем и Шарлем Дакоста, так что экипаж, переполненный сверх всякой меры, подвигался очень медленно.

В одну минуту мы были покрыты цветами, и я сидел, разукрашенный красными лентами и шарфами, точно разувешанная призами мячга. Нам сообщили, что заседание законодательного корпуса только что было закрыто и что парижские депутаты собрались на совещание в городской ратуше. Мы направили туда нашу коляску, и, когда подъезжали к мосту, я увидел своего сына Октава, поднятого на руки нашей тюремной работницей, скрывшейся из тюрьмы вслед за нами. Мой малыш изо всех сил хлопал в ладоши и усугублял крики «да здравствует Рошфор!» восклицаниями «да здравствует папа!»

По дороге пристало столько народа, что нас было по меньшей мере пятьдесят тысяч человек, когда мы въехали на

площадь городской ратуши. Двери здания были закрыты, и когда мне, наконец, удалось, работая локтями, пробиться через человеческую преграду, я почувствовал, что наткнулся на решетку, к которой каждый новый натиск толпы прижимал меня все теснее и теснее.

Это положение, становившееся опасным, имело свой комический эпизод. Старый Этьен Араго, который любил бродить вокруг революций, который в 1830 году занимал не помню уже какое место, а в 1848 году назначил себя директором почт, и в этот решительный момент думал только о том, чтобы выдвинуть себя на какой-нибудь пост, и прогуливался, жестикулируя, по тротуару в надежде обратить на себя внимание. Он знал меня еще совсем ребенком. И теперь, видя меня окруженным несметною толпою, он кинулся в мои объятия с громким криком:

— Да здравствует республика! Дорогое дитя, тебя обнимает мэр города Парижа!

И, став рядом со мною, он не отходил уже от меня ни на один шаг. Решетка, расшатанная уже под нажимом толпы, была, наконец, открыта швейцаром ратуши, но дверь на лестницу, ведущую в здание, была также заперта, и когда часть толпы втиснулась вслед за мною в коридор, я думал, что мне из него уж не выбраться.

И я, вероятно, действительно не выбрался бы, если б не решился выдать стекло, остатки которого были вынуты, что дало мне возможность пролезть в дверь. Но я был почти в отрезьях, когда пристава ввели меня в зал заседания, где временное правительство уже совещалось.

Я не совсем отдавал себе отчет в том, что я собираюсь там делать, ибо уже на площади мне передали список членов правительства национальной обороны, в котором моего имени не было. Лишь через несколько минут после моего входа в зал я узнал, что парижские депутаты сами себя назначили членами правительства, как Этьен Араго сам себя назначил мэром Парижа, и сперва думали меня устранить; но как только они стали бросать через окна бумажки, заключавшие их имена, поднялся оглушительный крик:

— А Рошфор? Мы хотим Рошфора! Он также парижский депутат!

Если бы они сделали хотя бы малейшую попытку противостоять этому требованию, они были бы немедленно свергнуты, и возможно, что мне вручена была бы диктатура, что поставило бы меня в исключительно затруднительное положение, так как я никогда не имел диктаторских замашек.

Поняв, что их намерение потерпело крах, мои будущие коллеги решились дополнить свой список моим именем и Жюль Фавр утешился словами, которые потом часто повторялись:

— Лучше, чтоб он был внутри, чем вовне.

Я вступил в правительство с самыми примирительными патриотическими чувствами. Я с такой резкостью боролся с цезарем государственного переворота, что считал нужным после объявления республики не давать повода думать, что я по натуре и по темпераменту всегда рвусь в оппозицию. Я старался поэтому вносить в дискуссию по текущим вопросам умеренность и мягкость, которой от меня, вероятно, не ожидали. Тем не менее я тотчас же понял, что попал не столько в революционное правительство, готовое всем рисковать для освобождения занятой неприятелем страны, сколько на адвокатскую конференцию. В первый же вечер учреждения временного правительства Трошю¹⁷⁶, которому мы предложили председательство, как генералу, облеченному самой важной нашей задачей — отбить неприятеля, преподнес нам даже не речь, а проповедь, в которой он нам поведал, что, будучи бретонцем и католиком, он возлагал все свои надежды на господ бога. У меня чесался язык возразить ему, что немцы, не будучи ни католиками, ни бретонцами, задавали нам тем не менее здоровую гонку. Но мы находились почти под жерлами пушек неприятеля, продвигавшегося вперед форсированными маршами. Малейшего разногласия, вынесенного на улицы Парижа, быть может, было бы достаточно, чтобы вызвать гражданскую войну. Я смолчал и остался, вместо того чтобы ему сказать: «Вы идиот!» — и уйти. Поступил ли я неправильно? Не знаю. Во всяком случае, как бы я ни поступил, не могло бы быть худшего исхода, ибо все кончилось капитуляцией, расчленением страны и разорением.

Терпение, на которое я себя осудил, было на следующий же день подвергнуто новому и мучительному испытанию. Утром я получил депешу от Гарибальди, предложившего правительству национальной обороны свою помощь, свою саблю и своих двух сыновей. Это было для нас неожиданным счастьем. Великие военные способности борца за освобождение своей страны и его знаменитое имя были для нас не только значительной материальной помощью, но и моральной опорой, последствия которой были неисчислимы. Радостный пришел я на заседание с депешою в руках. Но едва я огласил ее, как Трошю с бешеным поднялся:

— Мы не нуждаемся в иностранцах для нашей обороны! — воскликнул он. — Появление Гарибальди может создать лишь раскол в командовании.

— Однако нужно принять во внимание то огромное доверие, которое он внушает войскам. Это — очень важный козырь в нашей игре.

— Что ж, — гневно ответил Трошю, — если доверие внушает он, а не я, мне остается только вручить вам мою отставку.



Луи-Жюль Трошю



Джузеппе Гарibaldi

Пред таким настойчивым решением командовать одному оставалось только преклониться. Но это ссрдитое выступление достаточно убедительно показало мне, что католик и бретонец Трошю предпочитает ожидавшее нас под его командованием поражение победе, возможной под командованием такого способного, мужественного и инициативного человека, как Гарибальди. Председатель национальной обороны фактически приносил ее в жертву жалкой профессиональной зависти. Я опускаю при этом ее то обстоятельство, что всем известная ненависть героя итальянской независимости к папскому престолу играла весьма важную роль в отказе Трошю работать совместно с этим свободомыслящим.

5 сентября правительство постановило поручить мне осмотреть документы, которых императрица не имела времени уничтожить перед своим бегством. При первом беглом осмотре Гамбетта был со мною. Мы нашли императорские апартаменты в полном беспорядке вследствие поспешности отъезда. Забытый и наполненный драгоценностями саквоаж госпожи Евгении стоял на столике, в одном из ящичков которого оказалась довольно крупная сумма денег в золоте, — кажется, сорок или пятьдесят тысяч франков. Префект полиции отослал все бывшей императрице. Я еще понял бы возвращение драгоценностей, но деньги в золотых монетах с тем большей очевидностью принадлежали нации, что прекрасная испанка не имела ни гроша, когда стала императрицей.

Рассеянные почти повсюду депеши свидетельствовали о той растерянности, в которой жильцы дворца проводили последние дни агонии режима. Вся обстановка, яркая и сверкающая, свидетельствовала о мещанском вкусе, как в отдельных кабинетах только что обставленного ресторана. Часы, канделябры и безделушки носили тот же отпечаток мещанства и безвкусицы. Ни в одной комнате я не нашел ни одной вещи действительно старинной и обладающей хотя бы некоторой художественной ценностью. Единственной любопытной вещью был большой портрет Жозефины, сидящей в саду в Мальмезоне. Он принадлежал кисти Прудона¹⁷⁷, но не лучших дней этого очаровательного мастера. Я прежде всего подошел к зеленой картонной коробке, которая стояла в шкафу над письменным столом императора и на которой была его собственноручная надпись: «сохранить». Мы были все крайне удивлены, увидев, что первым подлежавшим сохранению документом была записка Жозефины к секретарю Барраса¹⁷⁸, начинавшаяся следующими словами:

«Мой дорогой (я забыл имя адресата), скажите Баррасу, что я не смогу пойти с ним ужинать сегодня вечером. Бонапарт приезжает нынче ночью».

Подпись гласила «Ла-Пажери».

Таким образом, Жозефина не только подписывалась своим девичьим именем, игнорируя имя своего нового мужа, но и по-прежнему в свой адюльтер слуг председателя директории. Это была самая голая проституция. И мы недоумевали, для чего нужно было Луи Бонапарту столь заботливо сохранять неопровержимые доказательства бесчестия своей бабушки. Он даже не позаботился спрятать этот документ. Коробка не была заперта на замок, и дворцовые лакеи имели полную возможность насладиться его лицемерием. Среди этой компрометирующей переписки находились записи о подачках попрошайничавшим политическим деятелям. Я запомнил следующую запись:

«Тридцать тысяч франков на приобретение новой мебели для г-на Жерома Давида».

Этот Жером Давид был одним из самых преданных императорских мамелюков, товарищем председателя законодательного корпуса, где он иногда, в отсутствие Шнейдера, занимал председательское место. С депутатами он обращался грубо, и однажды я потребовал, чтобы он не позволял себе такого тона по отношению ко мне. Он делал вид, что готов для императора на все — и в особенности на покупку себе новой мебели. В обмен на эти, так часто повторявшиеся, подарки, обходившиеся в баснословные суммы, барон Жером Давид взял на себя позорную миссию следить за своими коллегами, о действиях и беседах которых он доносил г-ну Конти. Такая полицейская служба, впрочем, во все времена выполнялась в законодательных учреждениях бессовестными депутатами. Я знаю нескольких депутатов, в том числе одного ставшего впоследствии министром, получавших за такую службу: одни — по пятисот, другие — по тысяче франков в месяц.

Мы разыскали также собственноручно написанный императором план романа. Это было до того глупо, что можно было помереть со смеха. Вот он. Переписываю буквально:

«Г-н Бенуа, честный лавочник с улицы Луны, уехал в 1847 году в Америку. Объехав местности, расположенные между Гудсоном и Миссисипи, он возвращается во Францию в апреле 1868 года, проведя около девятнадцати лет вдали от своей родины. До него доходили лишь изредка отрывочные слухи о том, что происходило во Франции, начиная с 1848 года, и он не отдавал себе ясного отчета о произошедших изменениях.

Некоторые французские эмигранты говорили ему, что Франция стонет под игом деспотизма и что он увидит униженную и крайне обедневшую родину, которую покинул столь цветущей во времена Луи-Филиппа. И наш друг Бенуа приезжает в Брест на океанском пароходе. Он въезжает в рейд, полный предубеждений, сожалений и мрачных предчувствий.

— Что это за черные корабли, столь отвратительные по сравнению с прекрасными парусными судами, стоявшими здесь в мои времена? — спрашивает он первого встречного моряка.

— Да это крейсера, изобретенные императором. Обитые железом, они неприступны для снарядов, и это изобретение до некоторой степени уничтожило верховенство Англии на море.

— Возможно, но я все-таки с сожалением вспоминаю наши старые суда с их поэтическими мачтами и парусами.

Он видит, как толпа продвигается по направлению к мэрии на выборы. Удивлен всеобщим избирательным правом.

Изумляется при виде пересекающих Францию железных дорог; удивлен электрическим телеграфом.

Прибытие в Париж. Город лучше. Городская таможня перенесена к городским укреплениям.

Он желает купить некоторые вещи, которые оказываются дешевле благодаря торговым договорам. Железо наполовину дешевле и пр. и пр.

Он думает, что в тюрьмах много писателей. Заблуждение. Никаких восстаний. Никаких политических заключенных. Никаких изгнанников. Нет предварительного заключения. Ускорение процессов.

Уничтожен штемпельный сбор. Отменена гражданская смерть.

Касса вспомоществования престарелым. Приюты в Венсене.

Право коалиции; отмена регламентации; облегчение воинской повинности; увеличение жалования; учреждение военной медали; увеличение пенсии для отставных. Резервы, увеличивающие военную силу. Касса для больных священников. Взятие под арест за долги.

Маклера: торговец, пославший приказчика продать или купить товары, был арестован.

Генеральные советы».

На этом заканчивался образец императорского кретинизма. За измышление таких-то глупостей страна выплачивала двадцать пять миллионов в год. Можно ли себе представить нечто более потрясающее, чем этот болван, воображающий, что человек, возвратившийся на родину в 1868 году, не имеет представления ни о железных дорогах, ни о крейсерах — изобретении императора!

Это прямо невероятно. А эта отметка «никаких писателей в тюрьме» как раз тогда, когда я один получил пять или шесть лет тюремного заключения и свыше ста тысяч франков штрафа! Никаких возмущений, когда вся полиция занята была лишь их подавлением! И никакого предварительного заключения, когда некая Дуаз содержалась так долго, что в конце

концов признала себя виновной в убийстве своего ребенка, которого никогда не рожала.

Но к концу своего царствования этот жалкий идиот, по-видимому, сам себя гипнотизировал. Он проводил время в том, что любовался собою в своих созданиях, и, видя себя в зеркале, он почти готов был кричать: «Да здравствует император!..»

Этот план романа обнаруживал все признаки размягчения мозга, которым объясняется конец этого циркового и опереточного царствования — от объявления войны до Седана.

Но если Луи Бонапарт почти правильно писал по-французски, то его супруга, как видно из найденных писем, имела очень слабое представление о французской грамматике.

Покидая Тюильри, я увидел у решетки, идущей вдоль дворца со стороны площади Карусель, Викториена Сарду в форме национального гвардейца. Он крикнул:

— Наконец мы все-таки добились республики!

Я не мог не подумать, что очень остроумный драматург не слишком много приложил стараний к тому, чтобы завладеть ею, и не в салонах Компьеня имел он шансы когда-нибудь по-встречать ее.

Рауль Риго, сам себя назначивший начальником канцелярии занявшего пост префекта полиции Кератри, принес мне мое досье, т. е. все доклады, сфабрикованные полицейскими, которым поручено было следить за мной. Этот пакет ложных документов был так велик, что два человека едва могли его нести. В течение двух часов я забавлялся тем, что перелистывал его, и я заявляю, что не нашел в нем ни одного сведения, ни одной информации, ни одного рассказа, которые не были бы нелепой и грубой ложью.

Агенты розыскных бригад, которые, как мне кажется, разыскивают главным образом кабачки, где бы можно было пить пиво и играть в шашки, не давали себе даже труда расспрашивать моих дворников. Вернее всего, что, прогуляв весь день, они вечером садились у какого-нибудь столика кафе составлять обо мне столь же глупый и столь же невероятный роман, как тот, план которого Наполеон III забыл в Тюильри. И что более всего изумительно — это значение, какое их начальство, по-видимому, придавало такому вздору. На одной бумажонке, датированной из Брюсселя, я, например, прочел:

«Виктор Гюго, Рошфор и Дельклюдз идут на Париж во главе ста тысяч человек».

Или, например:

«Анри Рошфора и Шарля Гюго каждый вечер подбирают мертвецы пьяными на улицах Брюсселя».

Оказывается, я нанимал в Париже, а также и в окрестностях множество квартир, точные адреса которых, с названием улиц и номеров домов, приводились. В одних я строил свои фарсы. В других я занимался заговорами. Достаточно было какому-нибудь секретарю префекта полиции отправиться по указанным адресам и проверить правдивость донесений. Но, повидимому, никто в префектуре не дал себе труда это сделать, и неизвестная мне рука ограничивалась тем, что делала на этих грубых измышлениях надписи красным карандашом: «сообщить г-ну Марселю» или: «предупрежден ли г-н Марсель?»

Хотя я должен был бы посмеяться над этим сплетением грубой лжи, я однако вызвал к себе означенного Марселя.

— Как могли вы, — спросил я его, — уделить хотя бы минуту внимания таким нелепостям? Если бы Виктор Гюго, я и Дельклюз, никогда к тому же не приезжавший в Брюссель, пожелали идти на Париж во главе ста тысяч человек, мы испытывали бы, вероятно, некоторые затруднения укрыть их и продовольствовать их в пути. Ведь это же должно было раскрыть вам глаза.

— Знаете, г-н Рошфор, наши служащие не всегда очень разумны и образованы...

— Дело не в образовании и не в уме, — прервал я его, — но в профессиональной честности. Люди, получающие жалованье из денег налогоплательщиков за выдумывание таких нелепых историй, — просто преступники. А вы, делавшие вид, что придаете какое бы то ни было значение подобным донесениям, вы — их соучастник. Сегодня же вы будете сняты с работы.

Я его с работы не снял. Думаю даже, что он продолжал служить республиканскому правительству столь же ревностно и столь же плодотворно, как служил его предшественнику, и я не очень удивился бы, если бы прочел когда-нибудь в документах моего последующего досье, что для побега из Нумей я собрал новых сто тысяч человек, во главе которых снова пошел бы на Париж.

Едва только временное правительство было учреждено, как началась борьба из-за портфелей. Гамбетта хотел взять портфель министра внутренних дел и в частной беседе просил меня голосовать за него, когда будет поставлен вопрос об этом министерстве. В самый вечер 4 сентября мы с ним вместе назначили новых префектов, и так как он их знал, было правильно ему поручить распоряжаться ими.

Гамбетта стал министром внутренних дел, а Эрнест Пикар взял портфель министерства финансов, который он впоследствии передал Маньену, бывшему депутату департамента Кот-д'Ор при империи, а ныне управляющему Французским банком. Я не взял никакого портфеля. Было решено, что члены

правительства назначат себе жалованье, какое получали министры, т. е. пять тысяч франков в месяц. Я приложил старания к тому, чтобы снизить наше жалованье до двух тысяч, потом — трех тысяч, затем — четырех тысяч франков. Ни одно из моих предложений не было принято.

Мои коллеги не имели против меня никакой неприязни, но я их стеснял. По внешности они гораздо меньше известны населению, которое, когда мы вместе показывались на улице, узнавало меня всегда и обращало ко мне все свои овации. Делегации, появлявшиеся одна за другой в городской ратуше, спрашивали меня предпочтительно пред другими, а когда я посещал порты, солдаты покидали свои ряды, чтобы броситься мне навстречу. У меня нет намерения претендовать, что моя популярность вызвала зависть членов правительства. Все же неприятно видеть, как все руки тянутся к одному человеку, с которым считаешь себя равным, между тем как публика даже не пытается связать твое лицо с каким-нибудь именем. Хорошо ли это или нет, но заняться политикой — значит подняться на подмостки, а в театре актеру, которому аплодируют, в то же время и завидуют.

В наших правительственных заседаниях мы немного походили на садовника, который, вместо того чтобы поливать свой сад, поджидает дождя, так как по опыту знает, что дождь всегда, в конце концов, приходит. Мы поджидали пруссаков и ничего не делали, чтобы помешать их приходу. Трошю нас уверял, что Париж «почти» неприступен, и вот это-то «почти» меня и беспокоило. Зато как только неприятель подошел к городу, Трошю заявил нам, что пытаться его защищать будет «героическим безумием». Наши дни проходили поэтому в подписывании бесполезных, иногда ребяческих декретов.

Я вооружился терпением. Я готов был, клянусь, все принести в жертву, даже свою популярность, — действительно получившую не мало ударов, — чтобы избежать гражданской войны в Париже под жерлами прусских пушек. Но Трошю подчас подвергал мое терпение слишком жестоким испытаниям. Он давал нам говорить, едва осведомляя нас — иногда мимоходом — о продвижении неприятеля и имел во время наших заседаний такой вид, точно сосредоточенно думал всецело владевшую им думу.

Но думал он лишь о том, какую речь нам преподнести в ту минуту, когда, истощив повестку дня, а вместе с нею и самих себя, мы соберемся разойтись по домам. Тогда он выпрямлял свое короткое туловище, на котором сидела чрезмерно большая голова, придававшая ему такой вид, точно он танцует в балете «Семь замков дьявола», и начинал длиннейшую философско-политическую рацею, незаметно превращавшуюся в проповедь, и, вероятно, еще долго тянул бы ее, если бы мы, один за другим, не уходили на английский манер, как

в шпесе «Le Monde où l'on s'ennuie» («Скучающее общество») ¹⁷⁹.

Не было надобности долго скрести солдата, чтобы обнаружить монаха. Он злоупотреблял с поистине преступной жестокостью своим умением говорить — умением, дававшим ему возможность в течение целых часов убивать нас своим недержанием слова. В первые дни или, вернее, в первые вечера — ибо припадки красноречия обычно происходили с ним около двенадцати часов ночи — мы относились к этому с некоторой снисходительностью. Но потом, когда на каждом заседании эта болтовня стала без конца затягиваться, мы с трудом боролись со сном. Все другие — Жюль Симон (который, должен это признать, почти один относился ко мне с некоторой симпатией, а впоследствии много способствовал тому, чтобы спасти меня от расстрела), Жюль Фавр, Гамбетта, Араго — говорили только тогда, когда имели что сказать.

Жюль Фавр, председательствовавший в отсутствие Трошю, резюмировал прения в тщательно подобранных выражениях, всегда следя за собой, словно боясь, что подберет не совсем точные слова. Он не обнаруживал ни малейшего добродушия и в своих даже коротеньких замечаниях всегда подыскивал эффектные фразы. Это был тот именно человек, который несколько недель спустя бросил на свидании в Ферьер нашу мевший ультиматум: «Ни одного дюйма нашей территории, ни одного камня наших крепостей!» и который при подписании мира в Бордо сдал все крепости и всю территорию, потребованные Германией. Это фанфаронство Жюля Фавра можно было только поставить рядом с фанфаронством Дюкро ¹⁸⁰, который обещал вернуться «мертвым или победителем» и возвратился в Париж побежденным, но живым.

Утром 12 сентября префект полиции Кератри потребовал возвестить населению, что показался неприятель. Так как дворцы в Сен-Клу и в Медоне были под угрозой, необходимо было вывезти из них главные ценные вещи. Меня уполномочили организовать это дело, и я отправился в Сен-Клу. Бывший императорский замок доживал свои последние дни, ибо через несколько дней его уже не было. Меня встретил бывший комендант дворца, который часто видел Наполеона III и его супругу в интимной обстановке. Я должен признать, что он сохранил о нем весьма благоприятное воспоминание. По его словам, бывший император относился ко всем с большой любезностью, никогда не подавая вида, что отдает приказы, и вообще в общении был крайне вежлив. Зато императрица всегда была требовательна, властна и груба. Однажды, — рассказал он мне, — она, вернувшись с концерта вместе с императором, вошла в особого рода плетеную корзину, эмбрион подъемника, по которому они собирались подняться в свои апартаменты. С одной стороны корзины открывалась неболь-

шая дверь. И вот, закрывая ее, комендант нечаянно захватил кусок юбки императрицы, кринолин которой был столь широк, как прежние корзины. Хотя это был совсем незначительный пустяк, супруга императора накинулась на несчастного коменданта с невероятно грубыми оскорблениями, попрекая его, что из-за него она испортила платье, «которое она надела в первый раз», хотя новые платья она надевала каждый день. Грубость была до того неприлична, что император в смущении тихо останавливал ее:

— Замолчи же! Замолчи же!

Я не выдумываю, и если бывший комендант дворца прочтет когда-нибудь эти строки, он, конечно, подтвердит мои слова.

Я стал искать, что с точки зрения художественной заслуживало спасения от ядер неприятеля, и нашел только две статуи относительной ценности: «Сафо» работы Прадье¹⁸¹ и оригинал «Ночи» работы Полле¹⁸². Я заставил при себе выпести эти две статуи на ломовиков, которые их перевезли в Париж, где их поставили в Лувре или в Люксембурге.

В Медовском дворце, отведенном принцу Наполеону, я нашел только два больших пейзажа Гюбер-Робера и распорядился отправить их в Париж. Так как день клонился к концу, я вернулся в Париж и не знаю, что случилось с этими двумя полотнами Гюбер-Робера.

Диктаторская власть, которую мы себе присвоили, казалась некоторым из нас столь же обременительной, сколь и незаконной. Единственным средством хотя бы в некоторой мере узаконить ее было присоединить к нам свободно избранных населением представителей города Парижа. Несмотря на возражения, исходившие главным образом от Жюля Фавра, опасавшегося возрождения былой коммуны Паша¹⁸³ и Шометта¹⁸⁴, муниципальные выборы были окончательно назначены на 2 октября. Все рассчитывали на выполнение этого обещания. Но наступило 2 октября — и муниципальные выборы не были произведены под тем предлогом, что, так как началась борьба с неприятелем, всякая внутренняя агитация становилась опасной. Этим совершенно бесполезно возлагалась на нас вся ответственность за возможные события. Фактически противниками созыва избирателей были те, которые, подобно Трошю и Жюлю Фавру, желали сохранить всю полноту власти, не разделяя ее ни с кем.

Если бы обязательство произвести выборы было точно и лояльно выполнено, революция 18 марта не имела бы никакого смысла. Ужасы и бойня второй осады были бы избегнуты. Жизнь тридцати пяти тысяч парижских республиканцев была бы сохранена; около двадцати тысяч других не были бы замурованы в центральных тюрьмах Франции, на каторге и в ямах Новой Каледонии. и не была бы прорыта между раз-

личными классами общества пропаста крови и ненависти, из которой несколько лет спустя вышло столько покушений и возмущений. Не забудем, что первые анархисты сами себя называли *сыновьями расстрелянных* и что отец Эмиля Анри¹⁸⁵ был одним из осужденных версальскими военными судами.

Отсрочка выборов до снятия осады представляла собой таким образом все разрастающуюся опасность, приведшую в конце концов к восстанию 31 октября¹⁸⁶, прелюдии другого восстания. Я не переставал протестовать против этого и должен признать, что был поддержан Жюлем Ферри. Мы предложили даже произвести предварительное голосование, нечто в роде референдума посредством «да» и «нет», которым парижане высказали бы свое мнение о необходимости выборов. Все наши усилия рушились пред лицом того стремления к бесконтрольной самодержавной власти, которым одержано большинство политических деятелей. Они отдают свою жизнь на борьбу с абсолютизмом и думают только о таком же абсолютизме при первом же подходящем случае.

Сперва решили послать в провинцию старого Кремье¹⁸⁷, присоединив к нему несколько бывших депутатов законодательного корпуса, возвратившихся в свои департаменты. Но затем Гамбетта, предвидя, что городская ратуша станет «двором короля Пето»¹⁸⁸, предложил самому отправиться организовать оборону вне Парижа, оставив Трошю заботу договориться с национальной гвардией, которая стремилась выступить против неприятеля и которой главнокомандующий не доверял, утверждая, что назначение офицеров путем выборов «дезорганизует кадры». В момент, когда все было перевернуто вверх дном и когда мы целиком захвачены были революционной ситуацией, Трошю главным образом беспокоился о том, чтобы не дезорганизовать кадры. В этой борьбе против использования народных сил можно было легко разгадать инстинктивную антипатию военного к гражданскому населению. Думаю даже, что если бы той же национальной гвардии удалось освободить Париж, седанская армия никогда бы ей этого не простила.

По этому поводу мне в Новой Каледонии сообщил характерные сведения один незаметный человек, роль которого во время Коммуны сводилась к тому, что он несколько раз стоял на часах у Французского банка. На военном суде, к которому его притянули, против него не представлено было ни одного показания, и он уже рассчитывал на оправдание, как вдруг председатель заметил, что у него нехватает двух пальцев на левой руке.

— При каких обстоятельствах лишились вы двух пальцев? — спросил он его. — На баррикаде?

— Нет, — ответил подсудимый, — я был ранен на Авронском плато прусской пулей.

— Ах, вы принадлежали еще к тем, — зло рассмеялся полковник, — которые воображали, что парижане могут спасти Францию! Со смеху можно помереть.

И он тотчас же приговорил его к пожизненному заключению в укрепленной местности, где мы с ним и встретились.

Утром 7 октября я присутствовал при отлете Гамбетты на воздушном шаре. Он поднялся на него в очень теплой шубе, ибо стоявший в ту зиму жестокий и небывалый холод сильно давал себя чувствовать. К тому же Гамбетта не знал, на какую высоту придется подняться, чтобы уйти от неприятельских пуль и снарядов. Он взял с собою инструкции, которых почти не придерживался, — и с полным основанием, потому что борьба, которую ему предстояло организовать, зависела от многих обстоятельств, каких нельзя было предвидеть. Некоторые из моих коллег — быть может, для того чтобы избавиться от меня — спросили меня, не желаю ли я сопровождать Гамбетту. Но я им ответил, что я — только избранник Парижа и что в общих интересах, как и в интересах правительства, мне представляется необходимым не покидать Париж. Они присоединились к моему мнению — и поступили хорошо, ибо я не боюсь утверждать, что 31 октября, во время первого захвата городской ратуши требовавшими проведения муниципальных выборов группами, мое присутствие среди членов правительства национальной обороны, которое стали называть «национальным ядражением», оберегло их от насилий, которых им было бы трудно избежать.

И действительно, патриоты начинали содрогаться от нетерпения. Чтобы развлечь их, Трошю от времени до времени приказывал сделать вылазку, которая оканчивалась отступлением и смертью двух или трех тысяч несчастных, трупы которых вызывали общую печаль.

А затем опять продолжали заниматься пустяками. Трошю жаловался на превышение власти Флурансом, Жюль Фавр требовал возбудить против генерала Клюзере¹⁸⁹ преследование, которое я с большим трудом заставил отвергнуть, и ареста Везинье¹⁹⁰, который, вопреки моим протестам, был постановлен советом министров.

Везинье, революционер, с которым трудно было ужиться, предложил на одном публичном собрании захватить магазины Годийо, которого он обвинял в том, что в поставленных им для армии башмаках было в подметках больше картона, чем кожи. Этот протест был признан призывом к грабежу. Но хотя у меня самого были некоторые причины быть недовольным Везинье, я энергично воспротивился всякой грубой мере, которая могла лишь еще больше возбудить умы уже и без того возбужденного и недоверчиво настроенного населения. Мои возражения были отвергнуты, и Жюль Фавр написал генеральному прокурору Леблону приказ немедленно подвергнуть аресту опасного

агитатора и передал это письмо своему секретарю Камбону. Последнего не было в комнате, отведенной ему рядом с залом заседаний совета, и письмо было положено ему на стол. Я вышел на минуту, якобы для того, чтобы принять пришедшую делегацию, и, взяв письмо со стола, положил его в карман. Прошло восемь дней — и Везинье, продолжавший свободно выступать на митингах, не был арестован. Крайне удивленные невыполнением приказа, мои коллеги и я вызвали генерального прокурора, который заявил, что никакого письма об аресте Везинье не получил. Камбон, со своей стороны, утверждал, что никакого письма для отсылки прокурору ему не давали. В конце концов почти догадались, что я его скрыл. Но теперь уже нельзя было арестовать Везинье за правонарушение, имевшее место неделю тому назад, и он свободно продолжал свою политическую деятельность.

Мы включили в свой состав бывшего оппозиционного депутата и крупного сталелитейного заводчика, предложившего нам организовать литье пушек и изготовление ружей. Ему тотчас же вручили портфель министра общественных работ, и он отдал на службу обороны Парижа столь деятельную энергию и исключительную преданность, что в несколько дней завоевал всю популярность, которую Трошю начинал терять.

Меня же назначили председателем комиссии, названной «комиссией баррикад» и учрежденной с целью воздвигнуть блокгаузы, которыми можно было бы остановить продвижение пруссаков, если бы они попытались прорваться в Париж. Различные члены комиссии, в том числе бывший декабрьский изгнанник и друг Виктора Гюго, Шельшер¹⁹¹, избранный вице-председателем, распределили между собою участки, которые они должны были сделать оборонеспособными. Я взял себе квартал Point-du-jour (Начало утра), где расположил наполненные землею мешки и распорядился вырыть ямы, из которых выдвигались непроходимые для лошадей остроконечные столбики. Увы! — капитуляция, становившаяся все более и более неизбежной, делала все принимаемые нами меры совершенно бесполезными, ибо неприятель, овладев городом, свободно выберет ворота, через которые он вступит в Париж.

Эти неопределенные и смутные функции дали мне, по крайней мере, возможность избавить некоторых моих приятелей от бедствий осады, прикомандировав их к себе в качестве адъютантов, ибо сам я был в чине генерала, столь мало соответствовавшем моей инстинктивной ненависти к милитаризму. Я избавил таким образом от стояния на часах в морозные ночи Оливье Пена, Паскаля Груссе, Шарля Дакоста, а также Эрнеста Блюма, которого назначил одним из секретарей комиссии.



ГЛАВА XV

Арест Флуранса. — Орден Почетного легиона. — Забавная безответственность. — Захват городской ратуши. — В Бельвиле. — Клеман Тома. — Турский диктатор и парижские диктаторы. — Пруссаки в окрестностях Парижа. — Письмо Хама. — Грек Флуранс. — Осада

От времени до времени Трошю, чтобы поднять немного настроение населения, возвещал о победе, которая тут же превращалась в поражение. Так, мы якобы взяли обратно у пруссаков Бурже, и я получил приглашение поехать туда завтракать. Я доверчиво отправился туда на великолепной лошади, отданной мне ее хозяином на хранение, чтобы спасти от бойни. Но когда я прибыл в Бурже, я был встречен огнем, показавшим мне, что положение опять изменилось в ущерб нам. Неприятель в тот же вечер отбил у нас территорию, которую мы утром взяли у него.

Подобно прево Флесселю¹⁹², который в день взятия Бастилии хвастал, что будет забавлять парижан речами и обещаниями, генералу Трошю, пытавшемуся успокаивать их своими приказами, грозил худой конец. Его высмеивали на публичных собраниях, вышучивали его план, который он якобы вручил одному нотариусу, чье имя он сообщал, ничего не сообщая о своем плане, с которым, что касается меня, я никогда не имел возможности ознакомиться.

А поверх этого фанфаронства маячила пресловутая «ураганная вылазка», которую он постоянно возвещал на завтрашний день и которая никогда не наступала. И вот, как всякий диктатор, эпидерма которого очень чувствительна, а власть бесконтрольна, он не находил в себе силы выносить шутки, которые, по существу, были вполне обоснованы. И так как префект полиции Кератри предложил показать кулак, закрыв клубы и арестовав Флуранса, Бланки и Мильера, Трошю поддержал предложение о такой расправе, даже не подумав о том, выполнима ли она.

— Попробуйте-ка арестовать Флуранса и Бланки, — сказал я им, — увидите, что завтра произойдет в Париже!

Вопреки моему мнению, вопрос об аресте Флуранса был разрешен в положительном смысле единогласно, за исключением одного голоса — конечно, моего. Против ареста Бланки нас оказалось двое — Эмманюэль Араго и я. Но мое предсказание осуществилось буквально: никто не решался вызвать гражданскую войну, арестовав обоих обвиняемых, которые продолжали свои безудержные атаки против Трошю и правительства.

На следующий день Трошю стал жестоко попрекать Кератри в том, что он предложил арест революционеров, не имея материальных средств их захватить. Кератри ответил, что префект полиции не в состоянии лично хватать за шиворот обвиняемых и что все его агенты отказались подняться на высоты Бельвиля, где Флуранс, командовавший местными отрядами, растерзал бы их. Он думал захватить хитростью знаменитого агитатора, вызвав его под каким-нибудь предлогом через генерала Тамизье, в то время командовавшего национальной гвардией. Я сказал ему, что было бы изменой и предательством прибегать к таким мерам, на которые я никогда не дам своего согласия, равно как и на все другие насильственные меры, от которых вынуждены отказываться, принципиально постановив их пустить в ход, и которые демонстрируют лишь действительную слабость правительства.

Кератри, задетый попреками Трошю, тут же подал в отставку и покинул зал заседаний, напророчествовав нам самое печальное будущее, что, впрочем, нетрудно было предсказать.

Не помню уже, кто из нас предложил назначить ему заместителем Эдмонда Адама¹⁹³, которого я тогда еще не знал, как и госпожу Адам. Впоследствии я связался с ними самой тесной дружбой и питал к ним глубочайшую признательность за оказанные ими мне неисчислимые услуги.

В это время, т. е. около 12 октября, положение с продовольствием становилось уже весьма тревожным. Дошло до того, что каждый день убивали триста лошадей, и, чтобы показать пример, мы в городской ратуше питались почти исключительно кониной. Хотя, в виду моего отвращения к ней, мне по-

давали лучшие куски, главным образом филе, меня начинало тошнить при одном лишь виде такого жаркого, и я предпочитал довольствоваться простым куском хлеба, — пока хлеб еще был.

На одном из заседаний подвергли обсуждению проект об отмене ордена Почетного легиона. Мы все были того мнения, что этот кусок красной материи, который употребляют и для того, чтобы награждать за высокие подвиги, и для того, чтобы ловить лягушек, решительно несовместим с республиканскими учреждениями. Но мы сознавали также, что это красное пятно имело еще большое значение в глазах многих людей. Отмена этой награды была бы очень тягостна для солдат и офицеров. У мобильной гвардии, призванной на все время войны, была лишь одна перспектива — пасть жертвою взрыва ядра. Лишить их ордена — значило лишить их единственного воспоминания о слишком памятной осаде. Это было бы жестоко. Мы решили поэтому сохранить, по крайней мере временно, этот почетный значок, с той оговоркой, что мотивы, вызвавшие его назначение, будут опубликовываться в официальной газете.

Ссылаясь на то, что газеты дают ложные или, точнее, неблагоприятные сведения, Эрнест Пикар потребовал закрытия всех газет. Само собой разумеется, что это не было принято и что это было бы самым верным средством довести до крайнего предела всеобщую тревогу.

Так, колеблясь то в одну, то в другую сторону, мы постоянно переходили от излишней энергии к крайней слабости. Мы были осуждены на такое топтание на месте, от которого, конечно, мы были бы избавлены энергией и умной стратегией Гарибальди. Но Трошю из клерикальной ненависти и профессиональной зависти отверг его мощную помощь и вынужден был один нести всю ответственность за наше военное положение. И он довольствовался верой в провидение, что является единственным ресурсом бездарных и бездеятельных людей.

Убеждение, что так называемая организация обороны Парижа была лишь пустой инсценировкой, трагикомедией, финалом которой была капитуляция, тем более неизбежная, что ее даже не пытались избежать, сделало для меня совершенно нестерпимым мое пребывание в городской ратуше. Один факт — столь же глупый, как и смехотворный — довел до крайней степени мое мрачное настроение. Когда Жюль Фавр дня два как-то не являлся на наши заседания, я безо всякой задней мысли спросил, почему он не бывает.

— Ему нездоровится, — ответил мне Эрнест Пикар.

На следующий день он прибыл на заседание, и тогда я узнал, что он был в Ферьер, где имел с Бисмарком свидание, скрывавшееся только от меня одного. Мои коллеги предполагали, что я энергично выскажусь против этого свидания, и сочли допустимым и, главное, удобным совсем скрыть от меня это

обстоятельство. Таким образом я как член правительства не ответственность за акт, который мне был неизвестен. Я не хотел устраивать скандал, чтобы избавить тех, кто меня таким образом обманул, от народной расправы. Но с этого момента мысль о необходимости ухода из столь компрометирующей среды всецело овладела мною.

Я откровенно поговорил об этом с Виктором Гюго, который мне буквально сказал:

— Вы правы. Не оставайтесь больше с этими людьми, обманывающими всех, в том числе и вас.

Население доверяло только одному Дориану¹⁹⁴, лойальность и патриотизм которого его покорили. Что касается Трошю, то он обвинял нас в своем бессилии и с каждым днем все более раздражался, упрекая нас в том, что мы занимаемся «больше политикой, нежели обороной». На это мы ему отвечали, что оборона является его исключительной задачей, и если он не может похвастать успехами, ему остается только обвинять самого себя.

Уже в это время, т. е. около 26 октября, мы получили от Турской делегации тревожные сообщения о настроениях маршала Базена. Речь шла о плане бонапартистской реставрации, о которой уже велись переговоры между бежавшей в Лондон императрицей, командовавшим в Метце Базеном и осаждавшим Париж принцем Фридрихом. Долгое время не знали, а многие еще и поныне не знают, что Бурбаки, впоследствии симулировавший искупительное самоубийство, был главным агентом Базена и посредником между испанкой из Числехерст¹⁹⁵ и маршалом. При содействии прусского принца Бурбаки пробрался из Метца переодетый санитаром и получил таким образом возможность завязать заговор, имевший задачей вернуть Луи Бонапарта в Тюильри. Капитуляция Метца, иммобилизовавшая вспомогательную армию, задачей которой было обеспечить прикрытие Парижа, была таким образом актом исключительно политическим, который, впрочем, и не мог иметь другого значения, ибо у Базена не было бы никаких оснований сдать, если бы ему не нужно было обеспечить осуществление давно задуманного плана — немедленно свергнуть республику.

Эти профессионалы милитаризма, должно быть, совсем с ума сошли, если могли воображать, что Наполеон III, положение которого было уже столь сильно расшатано до войны, мог снова взойти на трон после такого поражения, вместе со своей супругой, которой приписывали все наши бедствия. Но эти казарменные Рамолло обычно воображают, что всегда можно поставить саблю на место общественного мнения и что последнее слово всегда принадлежит штыкам. Если бы военный совет, пред которым для проформы предстал Базен, имел хотя бы некоторое сознание о своем долге, он посадил бы ря-

дом с изменником его соучастника Бурбаки, измена которого была столь же позорной, как и измена маршала.

Эти смутные слухи о переговорах с неприятелем, которые мы не были в состоянии проверить, нарастали и тревожили нас, как вдруг разоблачение, сделанное мне Трошю около часа ночи, в исходе заседания совета министров, дало внезапный толчок дальнейшему ходу событий.

— Я сильно встревожен, — сказал он мне, — у меня есть основание думать, что адъютант Базена, генерал Буайе, покинул Метц, чтобы отправиться на совещание с командующим германской армией. Если это верно, то это могло быть вызвано только намерением сдаться.

Это сообщение повергло меня в ужас. Если армия Метца будет взята в плен, оборона Парижа станет невозможной. Однако возможно, что поездка генерала Буайе вызвана была другой причиной, а не намерением капитулировать. В сильном волнении спускался я с лестницы городской ратуши, как вдруг встретил искавшего меня Флуранса. Я сообщил ему об опасениях Трошю, и у него, столь легко увлекавшегося, сомнение готчас же превратилось в уверенность. Расставшись со мною, он направился в редакцию газеты «Le Combat» («Сражение») к Феликсу Пиа¹⁸⁶, и поставил его в известность о нашей беседе. Пиа без всяких разговоров пустил в своей газете аншлаг «Сдача Метца», прибавив, — что было совершенно неверно, — что правительство получило сообщение о капитуляции, но, как обычно, скрывает его от парижского населения. Фактически капитуляция была подписана Базеном и принцем Фридрихом лишь на следующий день после появления аншлага в «Combat». Опасения, высказанные мне Трошю, осуществились, но было преувеличением упрекать его в том, что он не сообщил об этом событии за день до того, как оно имело место.

29 октября, вечером, я написал у Виктора Гюго мое письмо о выходе в отставку из правительства национально; обороны, и Эрнест Блюм взялся передать это письмо моим бывшим коллегам. Я не объяснял причин своего ухода, ибо они сами могли догадаться о них. Я думал, что в «Официальной газете» на следующий же день мое письмо будет помещено, и собирался объяснить публике, почему я считал невозможным участвовать в заседаниях правительства, которое, формально обещав произвести муниципальные выборы 2 октября, бесконечно их откладывало. Но, вероятно, опасаясь, что мой уход вызовет некоторое волнение, его скрывали и не сообщали о нем в «Официальной газете», и именно для того, чтобы потребовать опубликования моей отставки, я 31 октября, около десяти часов утра, случайно находился в городской ратуше в тот момент, когда крайне возбужденная толпа стала врываться в здание, требуя одновременно и производства муниципальных выборов и откровенного сообщения о сдаче Метца. Я имел бы,

конечно, право распространяться с членами правительства, которые за несколько дней до того нагло обманули меня по поводу поездки Жюля Фавра в Ферьер. Но из великодушия я решился, видя их в такой тревоге, выйти навстречу врывающейся толпе. Трошю, наиболее расстроенный из всех, нервно ходил по залу из угла в угол, и если он обладал, как мне кажется, военной доблестью, то, повидимому, совсем не имел гражданского мужества.

Прежде чем выйти к врывающейся толпе и выдержать первый ее натиск, я потребовал, чтобы мне формально разрешили обещать от имени правительства, что муниципальные выборы будут иметь место не позже чем через восемь дней. Никаких возражений не последовало. Было очевидно, что я сейчас свяжу и себя и всех моих бывших коллег точным обязательством.

Шельшер был с нами. Хотя и очень сварливый, он был и очень мужествен, и как только предвидел опасность, всегда шел ей навстречу. Он предложил мне выйти вместе со мною, чтобы подтвердить мои слова и, в случае надобности, оказать мне помощь.

Выйдя в салон, прилегавший к залу заседаний, я тотчас же был окружен значительной толпой, вслед за которой ворвалась другая, не менее значительная толпа. Дабы быть услышанным возможно большим числом присутствующих, я поднялся на стол и посреди восклицаний, из которых некоторые были недестны и недружественны, выполнил возложенную на меня миссию. Но муниципальные выборы были лишь одной из причин движения, по существу менее политического, нежели патриотического. Не раз слова мои покрывались восклицаниями: «долой Базена!», а также: «долой «Трошю!»», которого народ, вообще не доверявший генералам, обвинял в капитуляции Метца, хотя он не имел к ней никакого касательства.

Вдруг один из ворвавшихся, встав на стул, с силой схватил меня за талию и снял меня со стола со словами:

— Гражданин Рошфор, сейчас мне сообщили, что в Бельвиле началась драка. Вы один можете предупредить печальные события. Вы должны тотчас же отправиться туда и войти в сношения с гражданином Флурансом.

И он насильно повлек меня за собою и вместе с десятком своих товарищей проводил до кареты, в которую я бросился в смертельной тревоге. Я объехал Бельвиль с одного конца до другого и узнал, что Флуранс оказался там во главе своих батальонов, — их у него было несколько, — но никаких следов баррикад и возмущения не нашел. Я даже предположил, — и думаю это и в настоящее время, — что неизвестные мне друзья придумали этот предлог, чтобы заставить меня покинуть городскую ратушу, занятие которой предполагалось произвести в течение дня. И действительно, когда я спустился

с Бельвильских высот, правительство было уже окружено, и я не имел возможности пробраться к нему.

Больше я не появлялся в его среде, так как уже два дня был в отставке и не имел ни малейшей охоты снова возложить на себя бремя власти, которое столько людей любят носить, хотя и говорят, что оно слишком тяжело. Что касается меня, то при виде правительственной никчемности и комедии обороны, я не находил это бремя ни легким, ни тяжелым, — я находил его бесполезным — и избавился от него.

Мои бывшие коллеги, все еще не публикуя сообщения о моей отставке, обещали моими устами произвести муниципальные выборы, а устами Трошю — отказаться от всякой мысли о преследовании Флуранса, Бланки и Мильера. Между тем выборы были снова отложены, и на следующий же день Эдмонд Адам получил приказ об аресте Флуранса, Бланки и Мильера, — приказ, который он категорически отказался выполнить.

— Вы дали формальное обещание и не имеете права его нарушить. Что касается меня, я ни в каком случае не соглашусь на нарушение взятого обязательства. Я слагаю с себя обязанности префекта полиции.

Но правительство настаивало на своем. Оно издало множество приказов об арестах, оставшихся невыполненными, потому что выполнить их не было возможности, а затем, в полном сознании своей непоправимой непопулярности, оно снова отложило муниципальные выборы, так как сознавало необходимость поставить свои кандидатуры и знало заранее, что они будут провалены. И все же, несмотря на общее недовольство им, оно упорно цеплялось за власть, которую узурпировало и которую могло бы сохранить лишь в том случае, если бы способно было связаться с населением.

Эдмонд Адам, как честный республиканец, сказал, вручая свою отставку:

— Так как торжествует реакция, я ухожу.

Генерал Тамизье^{196*} последовал за ним, и Жюль Симон также непременно хотел к ним присоединиться. Лишь уступая настойчивым просьбам своих коллег, испугавшихся своей полной изоляции, он согласился остаться.

Больше я никого из них не видел. Все еще оставаясь председателем комиссии баррикад, я поступил в армию простым артиллерийским солдатом, хотя и не имел никакого представления о том, как нужно обходиться с пушками. Два или три раза я выходил на учение в сквер у собора Парижской богородицы, где расположен был мой полк, полковником которого состоял Шельшер.

Преемником генерала Тамизье был Клеман Тома, которому пять месяцев спустя предстояло подвергнуться расстрелу. Он тотчас же стал обращаться с парижским населением агрес-

сивно и даже жестоко, чем в значительной степени и объясняется своего рода линчевание, жертвой которого он погиб. Мне только раз пришлось иметь с ним дело. Я привел к нему депутацию национальных гвардейцев, которым нехватало только ружей для того, чтобы принять участие в боях. Он был высокого роста, крепкого сложения, с рыжими, уже седеющими волосами. Очень мужественный и стойкий под огнем неприятеля, он при Луи-Филиппе во время апрельских стычек поднял люневильский гарнизон¹⁰⁷, что принесло ему, кажется, первое осуждение на смерть, не приведенное в исполнение. Менее удачным для него был второй смертный приговор. В общем внешность его была антипатична, и его роковую судьбу нужно, конечно, в значительной степени приписать тому огвращению, которое он внушал. Впоследствии я даже узнал от одного из присутствовавших при его казни коммунаров, что, если бы не его бравады и вызывающее поведение, его жизнь и жизнь генерала Леконта были бы спасены.

Реакция, как предсказал Эдмонд Адам, восторжествовала. Проповедник Трошю дошел до того, что в одной знаменитой прокламации поставил город Париж под покровительство св. Женевьевы, подобно тому как впоследствии клерикальные душители коммунаров поставили Францию под покровительство сердца Иисусова. Жалкий генерал уже послал было, скрыв это от других, свою афишу в национальную типографию, но черновик попал в руки Жюля Фавра, и последний немедленно послал своего швейцара остановить печатание, заявив Трошю, что если он опубликует эту нелепость, все правительство с треском выйдет в отставку. Мой товарищ по ссылке, Алавуан, работал тогда в национальной типографии. Ему удалось спасти от уничтожения один экземпляр прокламации Трошю, и он преподнес мне его в подарок. После амнистии 1880 года я передал эту прокламацию графу Эриссону, опубликовавшему ее в своем «Дневнике адъютанта». Но я уверен, что Трошю был в отчаянии, что страна лишилась этого произведения священного красноречия.

Один за другим возникали конфликты между провинциальной делегацией, во главе которой находился Гамбетта, и диктаторами из городской ратуши. Они не могли простить турецкому диктатору, что он сбросил с себя их опеку и даже присылал им с голубями почти угрожающие депеши. Особенно негодовал Трошю, возмущаясь тем, что какой-то штатский позволяет себе бесцеремонно критиковать его военные способности.

Гамбетта реорганизовал ведомство почт и телеграфа, реорганизовал Алжир или, точнее, дезорганизовал и навсегда разорил его чудовищным декретом Кремье, который, дав французское подданство местным евреям, передал в их руки все богатства страны. Гамбетта, еврей по происхождению, всегда свидетельствовал свою симпатию бывшим соплеменникам своей семьи

и сохранил весьма тесные сношения со старым Кремье, у которого в юности бывал. Известно также, что, когда он стал неофициальным главой республики, он окружил себя главным образом евреями — Рейнахами, Рейналями и всем штабом, образовавшим оппортунистическую партию, существовавшую, впрочем, во все времена и собиравшую вокруг себя только жадные вождедения.

Но в это время декрет Кремье прошел почти незамеченным, ибо парижское правительство не поняло его значения и его опасного характера. Ожесточение среди правительства вызвал произведенный в Лондоне Турской делегацией моргановский заем без всякого разрешения. Жюль Фавр хотел даже протестовать в расклеенной на стенах Парижа афише против захвата власти в области политических, военных и финансовых вопросов, который позволяла себе делегация, простая эманация центральной власти.

Без бахвальства, бездарности и немошности, составлявших характерные черты жалкого Трошю, в этот момент можно было еще спасти Лотарингию и два миллиарда франков, т. е. сократить наши потери наполовину. Но для этого нужно было иметь такого главнокомандующего, который честно обращался бы к здравому смыслу населения, вместо того чтобы обращаться к св. Женевьеве. Вот в каком положении мы находились к 4 ноября 1870 года.

Жюль Фавр, который уже побывал в Ферьер, где он проливал пред Бисмарком слезы тем более неблагоприятно, что его стоны адвоката раскрыли пред неприятелем тайну наших бедствий, свиделся теперь в Севре с Тьером¹⁹⁸, который только что объехал Европу и французские департаменты и мог составить себе точное представление как об отношении к нам иностранных держав, так и о военном положении нашей страны. В незадолго до того имевших место беседах бывшего министра Луи-Филиппа с Бисмарком последний представил ему точный счет. «В настоящий момент (т. е. в начале ноября) Пруссия требует: уступки Эльзаса и выплаты трех миллиардов контрибуции». И Бисмарк, уверенный в победе, даже не давал себе труда скрывать свои намерения и прибавил:

— Как только мы возьмем Париж, мы потребуем Эльзаса и Лотарингии и сверх того пять миллиардов контрибуции.

И вот, после этого сообщения, сделанного Тьером Жюлю Фавру в присутствии генерала Дюкро, Трошю, казалось бы, обязан был бросить всякое фанфаронство, — тем более, что он считал невозможным освободить Париж от осады, — и честно сказать осажденным, даже с риском вызвать у них скрежет зубный:

«Вот что нас ожидает: дать три миллиарда сейчас или пять миллиардов завтра, потеря одного только Эльзаса или, сверх

того, потеря еще и Лотарингии. Я всегда считал героическим безумием оборону столицы без продовольствия, без пушек и ядер. Безумие, даже героическое, не может длиться вечно. Если вы отказываетесь удовлетворить требования неприятеля, я отказываюсь от командования и возлагаю на вас ответственность за грядущую катастрофу».

Такая речь, быть может, была бы названа трусостью, но она была бы искрення. Трошю предпочитал повторять знаменитые слова Клебера¹⁹⁹: «На такую наглость отвечают лишь победами!» — с той существенной разницей, что он отвечал только поражениями. В ответ на сообщение Жюля Фавра он поднялся и произнес следующие мелодраматические слова:

— Представители великой нации не могут принять ее позора. Мы обязаны пред страной и пред республикой если не восторжествовать, то, по крайней мере, пасть со славой после мужественной борьбы.

Комедиантство таким образом еще раз восторжествовало.

А в довершение всего после капитуляции Метца население стало всюду видеть измены и шпионов. И вот, в один прекрасный день, когда я находился на заседании в комиссии баррикад в министерстве общественных работ, депутация граждан пришла мне сообщить об аресте одного немца, составлявшего план Парижа и осмелившегося, когда его привели в комиссариат полиции, сослаться на меня. И мне вручили письмо от него, предоставляя мне решить, как с этим мерзавцем расправиться. А письмо гласило:

«Дорогой друг, я арестован комиссаром полиции 8-го округа, который непременно желает немедленно расстрелять меня в своем кабинете как прусского шпиона, ссылаясь на то, что у меня якобы английский акцент. Будьте любезны сообщить этому чиновнику, что я никогда не склонен был быть на службе у прусского короля.

Ваш Сильвио Пеллико, Хам».

— Да вы с ума сошли! — сказал я своим посетителям. — Да тот, кого вы арестовали, — мой друг, известный рисовальщик из «Шаривари» и такой же добрый француз, как мы с вами.

— Но Хам — это ведь немецкое имя, — заметил один из них.

— Простите, это имя библейское. Хам — один из сыновей Ноя, а в его время Пруссия еще не существовала.

Моего бывшего товарища по редакции должны были освободить, но мне показалось, что депутация с большой неохотой согласилась на это, обвиняя меня если не в соучастии в вообра-

жаемых преступлениях Хама, то, по крайней мере, в преступной слабости.

Хотя я вышел из состава правительства, меня держали в курсе всего, что происходило в совете министров, тогдашний министр общественных работ Дориан и его секретари. Несмотря на резкий протест Эдмонда Адама, Жюля Симона и Эжена Пельтана²⁰⁰, все данные 31 октября обещания были бесчестно нарушены. Не только не произвели муниципальных выборов, но стали преследовать инициаторов этого движения, из которых некоторые были арестованы.

Против Флуранса, Мильера и Бланки были изданы декреты об аресте. Но разыскивали их без всякого старания, и я припоминаю, что даже был однажды у Дориана вместе с Мильером, который, чтобы изменить свою физиономию, надел только синие очки и которого Дориан якобы не узнал. Что касается Флуранса, то он напялил на себя, чтобы избежать преследований полиции, странный костюм. Он ходил по Парижу в паликарском²⁰¹ мундире, привезенном им с Крита, куда он ездил биться против турок. Он много рассказывал мне об этой почти комической кампании, в которой он, преследуемый вместе со своим небольшим отрядом в горах, питался просом, поедая его либо сырым, либо, в обильные дни, сваренным на воде без соли и без масла.

Однажды вечером, отправляясь на обед к Виктору Гюго, я встретился с одним греком, в расшитой золотом одежде, с восточным кинжалом на поясе и с почти обнаженными ногами, хотя холод стоял свирепый. Это был Флуранс, также шедший на обед к автору «Восточных песен». Он был убежден, что в этом костюме он совершенно неузнаваем. Все же он был 6 декабря арестован в Кретей, но несколько дней спустя товарищи освободили его, не вызвав этим актом никаких преследований со стороны правительства.

По ночам термометр спускался ниже 15 и даже 18 градусов. Хлеба с каждым днем становилось настолько меньше, что правительство решилось ввести паек. Это было началом жестокого голода. Крысы стали съестными, а собачья задняя нога — роскошным блюдом. Дети умирали от холода и лишений в объятиях своих матерей.

В пшеницу стали подмешивать овес. Мы уже поедали лошадей, — теперь стали поедать их овес. Но этого нового вида продовольствия хватило ненадолго. Некоторые чудаки предложили выпекать хлеб из костей покойников, и народ наивно верил, что правительство действительно будет запастись продовольствием в катакомбах.

К сожалению, в то время как становилось все меньше мяса, овощей и хлеба, водка и вообще алкоголь во всех видах имелись в огромных количествах, и бойцы заменяли ими свои завтраки и обеды.

От времени до времени Трошю оповещал о поступлении весьма благоприятных сведений о положении дел в провинции, хотя он не получал никаких сведений, ибо посланные Гамбеттою пятнадцать депеш затерялись. Но если все разраставшиеся и накопившиеся военные ошибки стали уже неправыми, дипломатические промахи следовали друг за другом с головокружительной быстротой. Жюль Фавр не упускал ни одного случая сделать новый промах. За отказом принять предложенное фельдмаршалом Мольтке перемирие последовал отказ от сделанного Францией предложения прислать делегата на Лондонскую конференцию. Прежде чем сесть на отправляющийся в Дувр пароход, этот удивительный министр иностранных дел поставил предварительным условием согласие иностранных держав на неприкосновенность французской территории и на перемирие с правом продовольствования. Министр должен защищать перед Европой неприкосновенность территории своей страны, но требовать заранее от великих держав гарантировать эту неприкосновенность пред лицом победителя, уже почти завладевшего столицей, было просто смехотворно — да еще в такой момент, когда мы вовсе не были склонны смеяться. К тому же, разве можно было допустить, что Пруссия, уже почти державшая в руках свою жертву, согласится на продовольствование, которое могло только бесконечно продлить осаду Парижа?

Но Жюль Фавр превратил в программу действий свою громкую фразу: «ни одного дюйма нашей территории, ни одного камня наших крепостей». — и его самолюбие связывало его по рукам и ногам. Гамбетта и Эрнест Пикар были за поездку в Лондон. Но Трошю, обескураживавший всех, когда хотели драться, толкал на бой, когда другие хотели отказываться от него, и когда Жюль Фавр, наконец убежденный, собирался выехать в Лондон, Трошю воспретил:

— Пруссаки могут держаться теперь не больше одного месяца. Будем продолжать борьбу!

И Жюль Фавр не поехал. Так все проваливалось под нашими ногами. К отсутствию продовольствия прибавилось и отсутствие угля. Улицы перестали освещаться за отсутствием газа. По ночам во внешних кварталах, где мне по обязанности приходилось бывать, царил полная тьма, перерезывавшаяся лишь разрывавшимися бомбами. В Булонском лесу вырубил часть прилегающих к Парижу деревьев, дабы лишить возможности неприятеля укрываться за ними. На несколько дней хватило таким образом топлива для населения. Вскоре стали вырубать деревья и на бульварах, чтобы заменить ими давно иссякший каменный уголь.

А затем — по поговорке: «когда нет больше сена за решеткой, лошади начинают драться между собой» — мои бывшие коллеги, пред лицом растущих бедствий и волнений, увидели,

наконец, то, что я задолго до них уже видел, — что Трошю их убаюкивает, если не убаюкивает самого себя. Жюль Фавр потребовал, чтобы перестали, наконец, замалчивать действительность и чтобы население было поставлено в известность о безнадёжном положении. Впереди, в ближайшем же будущем, надвигалась полная невозможность продолжать военные операции, а это грозило инсurreкцией, которой главным образом и боялись эти якобы защитники Парижа. И Жюль Фавр требовал назначения комиссии, которая контролировала бы операции или, вернее, отсутствие операций со стороны Троппо. И когда один из присутствовавших членов правительства воскликнул:

— Да вы предлагаете ведь просто смещение генерала Трошю! —

Жюль Фавр ответил:

— Совершенно верно.

Эрнест Пикар был прямо жесток по отношению к генералу. Он воздал должное таланту красноречия, которым обладал генерал, прибавив при этом, что нам нужен человек не слова, а действий и инициативы.

Трошю ответил бесконечной речью-завещанием, в которой он, в противоположность Дантону²⁰², желавшему оставить свои ноги Кутону²⁰³ и свою мужскую силу — Робеспьеру²⁰⁴, не завещал свою саблю никому.

Тогда Клеман Тома обратился к нему с упреком, на который он, несмотря на свою многоречивость, не ответил. Тома упрекал его в том, что он систематически сопротивлялся как вооружению, так и использованию национальной гвардии, которая рвалась в бой, которая теряла много своих бойцов во всех стычках с неприятелем, но которой из сектантских и воинских соображений не давали проявить всю свою боеспособность. Регулярная армия, часто отступавшая без выстрела, высмеивала этих штатских бойцов, требовавших, чтобы страна не допускала новых капитуляций.

Этот антагонизм между офицерами, вышедшими из сен-сирской школы, и солдатами, набранными в рабочих предместьях, поддерживался сарказмами самого главнокомандующего. Он предпочитал пасть с военными, чем видеть Париж освобожденным усилиями штатских.

Честолюбивые стремления Жюля Фавра были до такой степени чрезмерны, что он никогда не упускал случая выдвинуть себя вперед. Стать из товарища председателя председателем правительства национальной обороны — значило подготовить почву для того, чтобы пройти в президенты республики. Он, конечно, мечтал об этом, когда пытался свергнуть не только Трошю, который сам себя свергал, но и Тьера, поездки которого он порицал и которого попрекал в скрытности. Он чувствовал в бывшем министре Луи-Филиппа, почти перешедшем

на сторону республики, сильного и опасного конкурента, которого старался устранить.

Однако то, на что мы могли рассчитывать в дальнейшем, было еще хуже того, что мы уже претерпели. Хотя некоторое количество снарядов уже брошено было в отдельные предместья Парижа, — регулярная и систематическая бомбардировка в действительности еще не начиналась. Только 5 ноября 1870 года фельдмаршал Мольтке, уступая нетерпеливым требованиям своих войск, начал правильную бомбардировку Парижа. Предместье Бельвиль первое пострадало от этой ужасной канонады. Генералы, почти непрерывно заседавшие, должны были вести свои совещания под этим ураганным огнем, с которым они пытались бороться только речами и теоретическими рассуждениями о военном искусстве. Они твердо решили ничего не предпринимать. Но особенно твердо решили они энергично противиться тому, чтобы какие-нибудь их товарищи, которые немедленно стали бы их соперниками, попытались что-нибудь сделать.

Что касается меня, я попрежнему был убежден, что если бы у Гарибальди, совершившего столько подвигов с кучкой людей, было триста тысяч человек, наше положение было бы совсем иным. Единственным тяжким упреком, какой я себе часто делал, было то, что после ответа Трошю на присланную мне Гарибальди телеграмму, на следующий же день после революции 4 сентября, я не поставил своим коллегам по правительству категорический ультиматум: либо Гарибальди будет поставлен во главе народного войска, т. е. мобильной гвардии и национальной гвардии, либо я немедленно уйду, оставляя за собой право объяснить парижскому населению причины моего ухода.

Я ничего не преувеличиваю в этой картине наших затруднений, я не хвастаю. Оставшиеся еще в живых члены правительства национальной обороны знают это столь же хорошо, как и я: в тот момент я был хозяином положения, и мое присутствие в их среде было почти единственной гарантией их безопасности. При одном лишь оповещении о моей отставке, да еще мотивированной отклонением ценного предложения героя итальянской независимости, мои противники были бы смежены и замещены революционной юнтой, которая была бы, впрочем, не более и не менее узурпаторской, чем та, в которой я принимал участие и которая сама себя назначила.



ГЛАВА XVI

План Жюль Фавра. — Клеман Тома. — Хлеб во время осады. — Торговец дичью. — Фавр и Трошю. — «Последние усилия». — Отставка или смещение. — Осадное положение. — Жюль Фавр едет переговоры. — Протокол. — Бисмарк и Гарибальди

Отказываясь произвести выборы как муниципальные, так и законодательные, пока оно считало себя в состоянии преодолеть кризис, правительство поставило вопрос о полезности созыва избирательного корпуса, что дало бы ему возможность переложить на избранных ответственность за падение Парижа. Трошю воспротивился этим выборам, ссылаясь на подготавливаемые им крупные военные операции. Результатом этого сообщения была новая отсрочка выборов, которые, как сознался, наконец, Трошю, почти неизбежно приведут к установлению Коммуны, «а я республиканец лишь при том условии, чтобы быть свободным, — свободным даже ходить в церковь, и я убежден, что муниципальные выборы приведут к власти только бесноватых».

Свобода бывать в церкви и боязнь не иметь возможности слушать мессу — такова была единственная забота этого папского солдата. Он обязан был спасти целую армию, а думал лишь о своем собственном спасении.

Жюль Фавр почти систематически отклонял все предложения Трошю и в то же время сеял недоверие к Тьеру, которого

пока с недомолвками обвинял в стремлении восстановить на троне младшую династию²⁰⁵. Находясь в постоянных сношениях с мэрами Парижа, Жюль Фавр готовил свою диктатуру или, по крайней мере, свое избрание на пост президента, часто устраивая без ведома своих коллег совещания с ними. Так, например, он 5 января потребовал на заседании правительства от имени народа создания военного совета, в котором генералам отведено было бы только определенное число мест и в котором представлены были бы и штатские. Штатские — это был он. Он заявил, что это решение единогласно принято было в собрании мэров, в котором обсуждали средства смягчить ужасы бомбардировки.

Не думаю, чтобы командовавшие бомбардировкой намеренно направляли свои ядра на госпитали. Однако именно последние почти всегда были жертвами неприятельских ядер. В одну детскую больницу попало через крышу ядро, убившее пять бедных малышей. Девушки, выходявшие за покупками, женщины, стоявшие в очередях у булочных, падали на мостовую, скошенные бомбами. Что касается мужчин, то им не нужно было выходить к укреплениям, чтобы быть настигнутыми смертью. Она приходила к ним на дом, и они падали среди семьи или в мастерских за работой. Как в портах, из которых направляются в Исландию рыболовные судна, на улицах встречали почти одних только одетых в траур людей. К тому же одни по беззаботности и любопытству, другие по бравате выходили по вечерам, как на прогулку, в кварталы, куда чаще попадали снаряды, так же как они пошли бы полюбоваться фейерверком. От времени до времени взрывался снаряд среди редевшей вдруг группы, и на мостовой оставались окровавленные руки и ноги, принадлежность которых трудно было потом установить.

Своеобразные смеси, из которых, под руководством префекта департамента Сены Жюля Ферри²⁰⁶, изготовлялась мука для выпечки несъедобного камня, который стали называть «хлебом осады», создали ему сильную непопулярность, преследовавшую его и впоследствии в его карьере министра. Он никогда уже не мог от нее избавиться. На ряду со своими крайне непостоянными и неопределенными политическими взглядами, близкими к левому центру, Жюль Ферри был сухим и сварливым человеком, легко принимавшим всякие репрессивные меры. Вопреки мнению некоторых членов правительства, он не переставал настаивать на аресте и предании суду вождей движения 31 октября. Весь он проникнут был буржуазным тщеславием и жадностью, а его котлестообразные бакены придавали ему вид провинциального присяжного стряпчего. С молодых лет делал он мечту о выгодном браке, который дал бы ему возможность обрести капитал и сделать политическую карьеру. Но только к концу своей парламентской карьеры осуществил

он эту давнишнюю мечту. Однако, если он тщательно и методически организовал свою жизнь, то события опрокинули все его планы.

Жюль Фавр устроил свидание между мэрами и парижским губернатором, на котором последний обещал все, что от него требовали, и главным образом пресловутую «ураганную вылазку», составлявшую сущность всех его бесед. В своих выступлениях он всегда ссылался на будущие поколения, которые будут его попрекать тем-то, но будут его хвалить за то-то. На это Жюль Симон однажды заметил ему в сердцах:

— Сейчас нам нужно заботиться не о будущих поколениях, а о том, где раздобыть продовольствие.

Тогда Трошю открыл, наконец, свой план атаки. Речь шла о том, чтобы пойти на Версаль. Но чтобы добраться до спальни, в которой отдыхал престарелый Вильгельм I, нужна была действительно решительная инициатива, а не расхлябанность этого солдата-капуцина.

И действительно, ссылаясь на благоприятные вести, полученные из провинции и сообщавшие о победе, одержанной Федгербом при Бапоме, Трошю снова отложил возмеченную вылазку, неудача которой подорвала бы радостное настроение населения от только что одержанной победы.

Так остались мы при прежнем положении, даже не послав Жюля Фавра на Лондонскую конференцию, где его ждали. Впрочем, все заставляет думать, что Жюль Фавр имел свои причины желать остаться в Париже. Он видел себя действующим лицом в драме, исход которой он рассчитывал использовать в своих интересах, а он знал, что главным образом в политике отсутствующие терпят ущерб. Он компенсировал себя тем, что снова накинулся на Трошю, с горечью упрекая его в том, что уже на следующий день после 4 сентября он не имел ни малейшей веры в возможность обороны. Объяснения Трошю были жалки. Он признал свою ошибку, не оценив по достоинству силы сопротивления Парижа, которое по его представлению ни в каком случае не могло быть продолжительным. Свои надежды он отныне возлагал на «мужественного Бурбаки», передвижения которого свидетельствовали, по его мнению, о больших стратегических способностях этого генерала. Можно себе представить всю глубину прозорливости ничтожного Трошю, если вспомнить, что как раз в этот момент означенный Бурбаки отвел на швейцарскую территорию свою армию, до последней степени истощенную холодом и голодом.

Во время моего пребывания в Женеве, после бегства из Новой Каледонии, мне часто приходилось слышать, как возчики, подхлестывая своих кляч, понукали их словами: «Но, но, да ну же, Бурбаки!»

Бурбаки стал в кантоне синонимом изможденной лошади, неспособной держаться на ногах.

Госпожа Фази, золовка Джемса Фази²⁰⁷, который в течение четырнадцати лет был председателем женевского кантонального совета, рассказывала мне различные ужасающие эпизоды этого вступления французской армии в Швейцарию. Без башмаков, почти без платья, люди рассыпались по деревням, словно стаи голодных волков. Госпожа Фази сохранила потрясающие воспоминания об этом зрелище. Женевцы с большой охотой пришли на помощь нашим бедным солдатам и выносили им продовольствие, готовили горячую пищу, которая выдавалась им на улицах и площадях, ибо эти несчастные были не в силах дожидаться, пока их где-нибудь устроят. Госпожа Фази припоминала, что когда она однажды дала одному солдату миску борща, голодный офицер подошел к солдату и взял у него миску со словами:

— Это пусть будет для меня. Подожди — тебе дадут другую.

Солдат бросился на него, схватил его за горло и крикнул, не обращая никакого внимания на его офицерские эполеты:

— Отдай мне мою миску — или я тебя задушу! Мы не во Франции теперь. Ты не мой начальник, и я тебя слушаться не желаю.

Так как солдат был сильнее офицера, последний отдал ему миску и стал ждать своей очереди.

И вот на этого-то Бурбаки, непосредственного виновника войны, которую он настойчиво навязывал сперва Наполеону III, а затем императрице, Трошю возлагал теперь все свои надежды, громко критикуя в то же время действия гораздо более способных Федгерба и Шанци.

Генерал Клеман Тома, командовавший национальной гвардией, был запрошен о том, насколько возможно ее использовать. Его ответ, о котором узнали в городе, был и его смертным приговором. Национальная гвардия, которую он обязан был защищать, ибо он был ее начальником, и командование над которой он обязан был передать другому, если считал ее недостойной себя, не простила ему того, что он пытался публично ее опорочить, и когда она 18 марта взяла власть в Париже, ее бывший генерал пал ее первой жертвой.

Клеман Тома почти цинически изливался на заседании правительства в духе клевет Трошю. Он называл шарлатанством ложный пыл национальных гвардейцев, утверждая, что стоит их послать в мало-мальски серьезный бой — и они сейчас же разбегутся. Это была ложь и клевета, ибо по числу тех, что пали уже в имевших место стычках, можно было судить о храбрости и стойкости их отрядов. Но Клеман Тома вышел из рядов кавалерийских унтер-офицеров и разделял нелепые предрассудки большинства военных к штатским людям.

Так истощали мы себя в мелких непрерывных спорах, вместо того чтобы заниматься действительно важными интересами страны.

На ряду с полнейшей слабостью пред лицом неприятеля, правительство проявляло по отношению к населению авторитетность и бесцеремонность, подчас вызывающие глубокое негодование. Под видом расследования, не припрятана ли пшеница в городе, оно производило обыски у частных лиц, квартиры которых переворачивались вверх дном и против которых направлялась таким образом подозрительность всего квартала, где они жили. Известно, что во Франции ничто не может быть более опасным, чем быть принятым за скупщика хлеба.

Официальные подсчеты показывали, что к 15 января 1871 года в Париже оставалось продовольствия не больше чем на пятнадцать дней — и какого продовольствия! Цены на продукты становились все более и более фантастическими. Литр бобов и немного картофеля, поднесенные какой-нибудь даме, принимались как княжеский подарок. Один — или почти только один — торговец дичью, по имени Пьетреман, тайно получал из деревень через браконьеров зайцев и куропаток, которых он продавал на вес золота. Однажды я пригласил к себе на обед, — если это можно было назвать обедом, — Дориана и его семью, на трапезы которой меня часто приглашали. Я пошел к Пьетреману попросить чего-нибудь, чем бы можно было немного улучшить обед. Он как раз только что получил довольно приличного гуся. Он потребовал у меня за него сто двадцать франков — и я с большой охотой их ему дал.

Еще раз, не столько в надежде спасти Париж, который спасти нельзя было, сколько для того, чтобы хотя несколько поднять себя в глазах населения, правительство решилось на «последнее усилие», руководство которым поручено было Трошю. В предвидении смерти, о которой он постоянно говорил, ибо он уже произнес себе несколько надгробных речей, он провел на пост временного губернатора Парижа генерала Лефлю. Жюль Фавр отшлифовал по этому поводу для парижан прокламацию, в которой он слишком ясно давал понять намерение сдаться после комедии последнего боя. Жюль Симон провел другую, менее откровенную прокламацию.

Атака, начавшаяся в Монтрету, скоро закончилась стремительным отступлением наших войск. Трошю, укрывшись в Мон-Валерьян и чувствуя себя там в безопасности на случай народного возмущения, посылал своим коллегам одну депешу за другой, предлагая им опубликовать сообщение о печальном исходе сражения. Но его коллеги вовсе не хотели вызвать гнев населения на себя. Решено было только найти главнокомандующему заместителя.

Жюль Симон высказал при этом мнение, что все правительство должно уйти, передав свои полномочия в руки парижских мэров, влияние которых на население было еще довольно значительно. Дориан, которого здравый смысл не покидал ни на одну минуту в течение этого печального периода,

когда все теряли голову, обратил внимание на то, что смещение генерала Трошю будет не больше как платонической мерой, если заранее не подыскать военного, способного занять его место.

Но люди из городской ратуши находились главным образом под страхом народных движений, возникновения которых все одинаково ждали. Трошю стал ненавистен всему городу. Лучшей и даже единственной политикой было — пожертвовать им. Он часто предлагал уйти в отставку, и никто не сомневался, что он согласится на эту меру, которая теперь была более необходима, чем когда-либо. Поэтому велико было удивление правительства, когда Жюль Фавр, посланный для переговоров с ним, сообщил по возвращении, что генерал отказывается сложить с себя свои обязанности, полагая, что его три титула — парижского губернатора, председателя правительства национальной обороны и главнокомандующего — составляют, как в святой троице, одну единственную власть, от которой не может быть отнят ни один атрибут.

Пред лицом весьма грозных опасностей, осуществление одной из которых могло бы вызвать взрыв, совет министров просил генерала Трошю остаться на своем месте, а он из преданности общественному делу покорно подчинился — конечно, против своей воли — этому насилию. Чтобы найти козла отпущения, все повернулось против Гамбетты, депеши которого заключали в себе угрозы, граничившие с грубостью. Одни предлагали, чтоб Шанци, хотя и побитый в провинции, рискнул двинуться на Париж, вопреки запрещению Гамбетты. Но такой приказ ему можно было послать только с воздушным шаром, спуск которого мог замедлиться, а между тем бушевавшее недовольство, с одной стороны, и неприятель, не перестававший засыпать нас раскаленными ядрами — с другой, не допускали больше никаких отсрочек. Каждый час был дорог.

И действительно, пока теряли время на эти бесполезные обсуждения, население, терпение которого было истощено, решилось двинуться на городскую ратушу. Но по пути оно сперва остановилось у Мазасской тюрьмы, в которую ворвалось и освободило пленников 31 октября, арестованных вопреки торжественно данному обещанию. Флуранс, бывший в числе освобожденных, готовился немедленно возобновить борьбу. Винуа²⁰⁸, который 18 марта избег участи генералов Леконта и Клемана Тома, лишь скрывшись галопом на своей лошади, в этот момент говорил только о военных судах и массовых казнях. Он горел нетерпением продебютировать в искусстве расстреливать заключенных.

Это движение 22 января вызвано было слухами о близкой капитуляции. Оно стоило жизни двум десяткам манифестантов, сбежавшихся на площадь ратуши, а позже также Густаву Шоде²⁰⁹, отдавшему приказ открыть по ним огонь. Народ лишь

выражал ропот против капитулянтов. Никакого нападения он не совершал.

Я знаю об этом дне лишь то, что мне рассказывали очевидцы. Я поэтому не имсю права высказываться определенно о роли, которую играл Густав Шодэ, утверждавший, что не отдавал приказа открыть огонь. Я иногда встречал его вместе с Чернуски²¹⁰, и ничто не говорило, что он такой бешеный защитник порядка. Но Коммуна впоследствии обвиняла его в расстреле толпы лишь потому, что правительство, назначившее его помощником парижского мэра, выразило ему за это публичную благодарность. Никакого сомнения по этому поводу не может быть. После 18 марта парижские революционные газеты опубликовали найденный в городской ратуше ордер на тысячу франков, выданный Шодэ правительством национальной обороны за его поведение в день 22 января.

Это движение было последним протестом парижан против преступлений правительства. Жюль Фавр предложил закрыть все клубы, — это адвокат, больше походивший на генерального прокурора, всегда требовал закрытия чего-нибудь. Префект полиции Крессон, со своей стороны, требовал закрытия некоторых газет и, в дополнение к этому, ареста их сотрудников. Великолепный Винуа хотел предоставить себе право походя расстреливать людей на улице, не отдавая никакого отчета по поводу этих убийств, которые он называл казнями.

В это время кризис голода и поражения достиг крайнего напряжения, и деятели как гражданского правительства, так и военного командования думали только о том, как бы улизнуть. После того как они в течение пяти месяцев отклоняли всякий контроль над своими действиями и всякое участие в их диктаторской власти, члены правительства заговорили об избрании наследием особых делегатов, которым поручено было бы вести переговоры с неприятелем и за спиною которых эти жалкие люди могли бы урваться. Трошю поддерживал это предложение, но Маньен воспротивился ему, считая это нелояльной уверткой, более позорной, чем прямая капитуляция, предложенная неприятелю самим правительством. Под угрозю отставки Маньена, уже написанной им, совет министров решил, что его уполномоченный, Жюль Фавр, поедет в прусскую ставку и там уступит все дюймы территории и все камни наших крепостей, которых потребует от нас Бисмарк. Он уехал в тот же день, имея при себе инструкции, которым ему крайне трудно было бы буквально следовать, потому что никто не знал, какие условия будет навязывать нам победитель.

Жюль Фавр привез с собою ответ Бисмарка, соглашавшегося пока не вступать в Париж, под условием, что он займет форты, из которых фактически будет вернее господствовать над городом, чем если бы он его занял. При малейшем сопротивлении его требованиям ему достаточно было бы отдать при-

каз — и потрясающая бомбардировка тотчас же отдала бы нас в полное его распоряжение. Он нас держал таким образом как бы в тисках и, не имея уже надобности пугать нас, выказал себя весьма любезным по отношению к нашему уполномоченному. Самым трудным делом было сообщить населению правду, которой оно не знало, хотя и подозревало ее.

После того как он много раз требовал закрытия газет, Виуа, роль которого во время осады была столь же презренна, как и во время Коммуны, и Трошю, не перестававший проявлять свою ненависть к печати, с большой охотой согласились созвать собрание журналистов и мэров и просить их возможно лучше подготовить Париж к ожидавшей его бедственной участи. Что позволяло надеяться, что за обнаружением действительного положения не последует никакого народного движения, — это, что Бисмарк разрешил национальной гвардии сохранить свои ружья, в уверенности, что легко будет помешать ей пользоваться ими, если бы она такое желание проявила.

26 января, в полночь, огонь прекратился и объявлено было перемирие на три недели, с правом получать продовольствие, дабы дать возможность провести выборы в национальное собрание. Самым трудным испытанием, которое предстояло заставить принять парижское население, было оставление фортов занимавшими их моряками. Поднятая агитация, целью которой было ввести моряков в Париж, числом от пяти до шести тысяч, чтобы присоединить их к еще вооруженной национальной гвардии, оказала мало влияния. Больше всего беспокоило капитулянтов городской ратуши их неведение о намерениях Гамбетты, который в тот самый момент, когда Жюль Фавр вел переговоры в Версале, прислал телеграмму, в которой предлагал парижскому гарнизону сделать массовую вылазку. Достаточно было одного необдуманного шага с его стороны — и отпали бы все достигнутые соглашения. Жюль Симон получил поэтому поручение поехать к нему в Бордо, где должно было собраться национальное собрание, и передать ему приказ подчиниться или выйти в отставку. Чтобы придать больше веса этому требованию, делегат парижского правительства имел при себе не только декрет о смещении провинциального диктатора, но и формально скрепленный ордер на арест. Нет надобности подчеркивать, до какой степени трудно было бы привести в исполнение такой ордер. Есть даже все основания полагать, что население Бордо арестовало бы не Гамбетту, а Жюля Симона. Но издыхающее правительство, призраки которого еще блуждали в залах городской ратуши, рассчитывало, должно быть, внушить иллюзии и другим и самому себе о своей якобы силе и мощи.

Гамбетта хотел в виду предстоящих выборов издать постановление, лишаящее права быть избираемыми бывших чинов-

ников и официальных кандидатов империи, ибо он не без основания опасался, что деревни будут голосовать за отъявленных бонапартистов. Это, конечно, был чистый якобинизм и нарушение прав избирательного корпуса, который суверенно может выбирать всех, кого ему угодно. Но необходимо было поддержать молодую, еще шатающуюся республику против угрожавшего ей и впоследствии действительно погубившего ее натиска клерикализма. Парижское же правительство, якобы из верности своим принципам, предоставило всем, не считаясь с их прошлым, право быть избранными. Эта ссылка на декларацию прав человека дала нам самое реакционное и клерикальное национальное собрание, какое когда-либо существовало во Франции. Своей трусостью перед Пруссией оно вызвало провозглашение Коммуны, а своим открыто возвышенным решением заменить в близком будущем республику монархией оно разделило страну на два лагеря, которые даже по истечении двадцати пяти лет еще не примирились и, вероятно, не примирятся никогда.

Серьезное затруднение возникло между переговаривавшимися сторонами в момент, когда соглашение, казалось, уже принято было обеими сторонами: Бисмарк категорически высказался за исключение Гарибальди из договора о перемирии. Итальянский герой предложил Гамбетте свою ценную саблю, отвергнутую парижским правительством, и он фактически оказался самым страшным врагом пруссаков, которым ни в одном сражении не удалось нанести ему поражение. Бисмарк, хорошо разбиравшийся в людях, не мог простить Гарибальди того, что он часто задерживал продвижение прусских войск, и под тем предлогом, что он не входил ни в одну из регулярных армий, германский канцлер хотел расправиться с ним, как с партизаном. Это было столь же несправедливо, как и гнусно, ибо Гарибальди, назначенный Гамбеттою, тем самым входил в категорию всех корпусных командиров наших армий.

В конце концов и это затруднение было улажено, и генерал Мантейфель, на парад которого мы в 1866 году с такой иронией взирали на площади во Франкфурте, получил приказ войти в соглашение с Гарибальди.

Возникло и другое затруднение. В тюрьмах департамента Сены содержались политические заключенные, еще не подвергшиеся суду и, следовательно, имевшие право ставить свои кандидатуры на выборах. По этому поводу в заседании совета министров возникли ожесточенные прения. Генерал Сумен, гораздо более умный и проникательный, чем Винуа, — этот бешеный душитель, который 18 марта столь позорно покинул своих коллег, Леконта и Клемана Тома, попавших в руки народа — генерал Сумен, по собственному решению, выпустил на свободу Делькюза и некоторых других заключенных, не подлежащих, по его мнению, судебному преследованию. Хотя

Сумен, бывший генеральным прокурором при военном суде, один имел право решать вопросы о степени виновности заключенных, гнусный Винуа утверждал, что его полномочия командующего при осадном положении давали ему право распоряжаться по своей воле судьбой арестованных. И, как всегда когда речь шла о репрессивных мерах, он был поддержан Жюлем Фавром.

Но, склонялись ли они к либерализму или к самодержавию, руководители так называемой национальной обороны потеряли всякое доверие населения. Как только был поставлен вопрос о законодательных выборах, все слои парижского населения, передовые или реакционные, выразили одно и то же желание: запретить членам правительства городской ратуши ставить свои кандидатуры, ибо избранные депутаты должны были быть судьями, а члены правительства — обвиняемыми.



ГЛАВА XVII

Отставка. — Возвания. — Выборы. — Тирар. — Поражение Бланки. — Денъень и Маргарита Беланже. — Гарибальди и папа. — В Бордо. — «Король капитулянтов». — Бурное собрание. — Болезнь

Что касается меня, хотя я был в плену только у своей со-
вести, капитуляция вернула мне свободу. В течение свыше
трех месяцев, прошедших со времени моего выхода из состава
правительства, я добровольно воздерживался от всякой агита-
ции, держась в стороне, дабы отнять у моих бывших коллег
из городской ратуши всякий предлог обвинять меня в будущем
в том, что я затруднял пред лицом неприятеля и парижского
населения их и без того трудное положение. Дальше видно
будет, как отблагодарили они меня за мое добровольное воз-
держание, когда мне так легко было обратиться против них не
только жителей осажденного города, но и защищавшую его
армию.

Должен признать, что ошибочно было бы приписывать мое
воздержание товарищеским чувствам к моим бывшим коллегам
по диктатуре и, скажем прямо, по узурпации власти. Они по-
стоянно держали меня в стороне и скрывали от меня свои тай-
ные планы. Но борьба шла о столь важных интересах, что я не
решался вызывать новые затруднения, и когда я покинул среду,
мне по существу чуждую, я считал более великодушным не
оповещать об этом население, которое, узнав о моем уходе,
само, впрочем, тотчас же поняло, какими причинами он был
вызван. После Коммуны, когда я был, точно какой-нибудь па-
кет, брошен в камеру версальской тюрьмы и придавлен гре-

ваниями моей смерти и грязной клеветой, единственный человек, который меня защищал, — считаю необходимым сказать это, потому что это истая правда, — был Жюль Симон, который в качестве министра Тьера старался доказать ему, каким позором было бы для него расстрелять писателя за газетные статьи. При этом ему пришлось вести борьбу против некоторых наших бывших коллег: против Жюля Фавра, даже против Эмманюэля Араго, не говоря уже о военном министре Сисе, который не только убил депутата Мильера руками своего подчиненного Гарсена, но выражал нетерпение по поводу того, что я еще не подвергся той же участи. Быть может, он предвидел, что несколько лет спустя я разоблачу его любовные похождения и его интриги с интернациональной шпионкой, именовавшей себя баронессой Каула.

Оказавшись после своей отставки свободным, я думал только о возвращении к своей профессии журналиста и в виду приближавшихся выборов основал газету «Пароль» («Mot d'ordre»), название которой придумал для меня Луи Блан. Как только перемирие было подписано, началась реакция. Делькюз, выпущенный на свободу военными властями, едва вышел из Венсенского форта, как был взят гражданской властью, не имевшей на это никакого права, потому что мы еще находились в осадном положении. Наиболее важные места занимали даже не орлеанисты, враги империи, а сами бонапартисты. С трудом можно поверить, что пять месяцев спустя, после 4 сентября, бывший министр Бонапарта Рулан стоял еще во главе Французского банка, управляющим которого Маньен стал значительно позже, и что бывший имперский прокурор Руайе продолжал заведывать Счетной палатой.

Декрет Гамбетты, исключавший из избирательных списков членов семейств, дарствовавших во Франции, и бывших чиновников и официальных кандидатов империи, был аннулирован правительством городской ратуши. Гамбетта подтвердил свой декрет, и те, что накануне были еще его коллегами, а теперь стали его наиболее яростными врагами, окончательно провалили себя своим реакционным бешенством в глазах Парижа, а затем и всей Франции, бесстыдно вовлеки Бисмарка в свою игру.

3 февраля Гамбетта расклеил следующее воззвание:

«Граждане, сейчас получил следующую телеграмму:

«Г-ну Леону Гамбетте. Во имя свободы выборов, выговоренной договором о перемирии, протестую против исходящих от вас распоряжений о лишении права быть избранными в национальное собрание многих категорий французских граждан. Выборы, произведенные под режимом произвола, не могут дать тех прав, которые договор о перемирии признает за свободно избранными депутатами. Бисмарк».

Граждане, пятнадцать дней тому назад мы заявили, что Пруссия для удовлетворения своих честолюбивых стремлений рассчитывает на Национальное собрание, в которое, благодаря краткости предоставленных сроков и всевозможным материальным затруднениям, могли бы проникнуть сторонники и сочувствующие низложенной династии, союзники г-на Бисмарка. Изданный 31 января декрет об исключении из избирательных списков подрывает эти надежды. Наглая претензия прусского министра вмешаться в дело конституирования французского собрания является самым блистательным оправданием принятых правительством республики мер. Этот урок не будет потерян для тех, кто проникнут сознанием национального достоинства.

Министр внутренних и военных дел *Леон Гамбетта*».

Обращение за содействием к Бисмарку было со стороны тех, на кого народ возложил задачу до конца бороться с ним, актом, опорочившим их навсегда. Деша канцлера к Гамбетте и ответ Гамбетты канцлеру окончательно компрометировали все кандидатуры членов правительства. И действительно, за исключением Жюля Фавра, оказавшегося в конце списка избранных, ни один из членов правительства национальной обороны не был избран в Париже, если не считать меня, давно уже вышедшего из его состава и оказавшегося в списке сорока шести избранных депутатов шестым по порядку, тотчас же вслед за Гарибальди. Зато, неизвестно почему, провинция, почти совершенно не знавшая о положении дел в осажденном Париже, послала в национальное собрание почти всех тех, что так скверно охраняли страну. Трошю, который не собрал бы и пятисот голосов в столице, избран был в трех департаментах, скорее, впрочем, как католик, нежели как стратег. Избирательный корпус так слабо разбирался в положении в стране, в которой почти повсеместно царил осадное положение, что дал законодательные мандаты даже генералам, которые самым плачевным образом выполнили свои военные мандаты. Режим сабли продолжался. Чем больше командующий армией давал себя бить, тем больше он оказывался достойным стать депутатом. Можно было подумать, что избиратели были благодарны таким командующим за то, что они с такою легкостью сдавались неприятелю.

Список кандидатов, выставленный моим «Паролем», прошел почти целиком, и я провел таким образом кандидатов, не значившихся ни в каком другом списке, как, например, Тирара, мэра не помню какого уже округа, который стал депутатом благодаря мне, а впоследствии был председателем совета министров. Этот Тирар, бывший часовой фабрикант в Женеве, обнаружил на многих собраниях мэров во время осады горячее республиканское и патриотическое настроение. В момент составления списка, который моя газета должна была поддержи-

вать, я вспомнил о поведении этого непримиримого мэра и, уступая его просьбам, внес его в наш список.

Подсчет голосов в Париже длился больше восьми дней, так что еще неизвестны были результаты парижского голосования, когда в Бордо уже открылось Национальное собрание. В обоих лагерях, как реакционном, так и республиканском, подсчет голосов производился в довольно подозрительных условиях. Так, Жюлю Фавру почти наверняка подсыпали бюллетеней, которые за него не были поданы и благодаря которым он был объявлен избранным. Так как все члены правительства были провалены, в городской ратуше попытались хотя бы несколько спасти честь правительства, насильно проведя единственного его кандидата, получившего приблизительно требуемое большинство. Но положение бывшего вице-председателя бывшего правительства национальной обороны столь резко улучшалось с каждым днем, что у многих избирателей возникло подозрение, что в ход пущены были обман и мошенничество.

Тогда Рауль Риго, обычно не очень разбиравшийся в средствах, решил прибегнуть против недобросовестности правительственных подсчетчиков к их же собственным средствам борьбы. Собрав около пятидесяти приятелей, он захватил в Бельвиле залы, где производилось голосование и где он стал подводить подсчет, записывая в счет Бланки бюллетени, поданные за Жюля Фавра. Правда, вызывало некоторое удивление то, что в некоторых кварталах Жюль Фавр получил ничтожное количество голосов, между тем как за Бланки подано было исключительно большое число бюллетеней. Риго, эбертизм²¹¹ которого не отступал ни перед какими средствами, когда нужно было обеспечить торжество его взглядов, рассказывал нам каждый вечер в редакции об успехах своих маневров.

Жюль Фавр был избран ничтожным большинством голосов, и таким же ничтожным числом голосов был провален Бланки. Его поражение было истинным общественным бедствием. Если бы он был в палате, революционеры, близкие к нему, быть может, были бы более примирительно настроены. Но так как их вождь не получил возможности выступить со своими взглядами с трибуны, им оставался только путь восстания. Это и сделали они 18 марта.

Эдмонд Адам, покинувший префектуру полиции после 31 октября, чтобы не нарушить данного манифестантам слова, был избран по списку «Пароля», и если он мне обязан был своим избранием, я впоследствии обязан был ему гораздо большим.

Орлеанисты и легитимисты²¹² в большом числе попали в Национальное собрание, но бонапартистов было очень мало. Избирательные урны изрыгнули едва трех или четырех кандидатов, преданность которых, как показали найденные в Тюильри до-

кументы, щедро оплачивалась из частных средств императора. Я писал по этому поводу:

«Так как искренность является существенной республиканской добродетелью, мы вынуждены были бы прибегать к выражениям, которые придавали бы парламентским прениям страстный характер. Любопытно было бы начать свой ответ на речь маршала Базена такими словами: «Достопочтенный изменник, только что сошедший с этой трибуны...» Или прервать г-на Девьеня таким вопросом: «Требуется ли вы слова в качестве депутата или в качестве сводника?»

Девьень, которого я так характеризовал, играл, действительно, в любовной интриге, завязавшейся между императором и девицей с бульваров и скачек, весьма определенную роль сводника. Этот сановник, старший председатель императорского кассационного суда, взял на себя миссию столкнуться с Маргаритой Беланже, только что родившей ребенка, отцовство которого приписывали в театральном мире композитору Оливье Метра. Но так как установление отцовства воспрещается законом, ловкая куртизанка воспользовалась этим, чтобы пустить слух, что отцом ее сына является сам монарх, которого она рассчитывала таким образом удержать. Наполеон III, поставленный в известность полицией о болтовне означенной девицы и опасаясь сцен ревности со стороны своей законной супруги, прибег к посредничеству Девьеня, который, подобно всем председателям кассационных судов, готов был выполнять самые грязные поручения. Обещаниями и главным образом угрозами старец в «черной юбке»²¹³ добился от девицы в розовой юбке признания в письменной форме, что она обманывала своего императорского любовника. Я нашел при обыске в Тюильри два заявления. Они находились в тщательно заклеенном конверте, украшенном короною и шифром «N», на котором рукою императора была сделана надпись: «Письма, подлежащие сохранению». Первое заявление гласило:

«Г-ну Девьеню.

Милостивый государь, вы потребовали у меня отчета о моих отношениях с императором, и хотя мне это тяжело, я скажу вам всю правду. Тяжко признаться, что я его обманывала, хотя обязана ему всем. Он так много сделал для меня, что я вам все скажу: я родила не семимесячного, а девятимесячного ребенка. Скажите ему, что я прошу его простить меня.

Вы дали мне честное слово, что сохраните это письмо.

Примите, милостивый государь, уверение в моем особом уважении.

М. Беланже».

И вместе с этим «уважением», единственным, на которое он когда-либо имел право, разоблаченный Девьень получил для

передачи своему августейшему повелителю следующую записку:

«Дорогой государь! Я не писала вам со времени своего отъезда, опасаясь вас беспокоить, но после посещения г-на Девьеня считаю необходимым это сделать, чтобы просить вас не презирать меня, потому что не знаю, что станется со мною без вашего уважения, и чтобы попросить у вас прощения. Я была виновата, но уверяю вас, что сама не была уверена. Скажите мне, дорогой государь, могу ли я чем-нибудь искупить свою вину, и я ни перед чем не остановлюсь.

Если целая жизнь, наполненная преданностью, может мне вернуть ваше уважение, то моя жизнь принадлежит вам, и нет жертвы, которую я отказалась бы принести для вас. Если для вашего покоя нужно, чтобы я подвергла себя изгнанию, чтобы я уехала за границу, скажите одно слово — и я уеду. Мое сердце до такой степени переполнено признательностью за все добро, что вы для меня сделали, что страдать за вас было бы счастьем для меня.

В одном только вы не должны сомневаться — это в искренности и глубине моей любви к вам. Умоляю вас поэтому — напишите мне несколько строк, чтобы сказать мне, что вы меня прощаете.

В ожидании вашего ответа, дорогой государь, примите прощальный привет всецело вам преданной, но очень несчастной

Маргариты».

Вследствие этих раскопок в императорской и председательской грязи мы издали декрет, которым старший председатель Девьень предавался дисциплинарному суду кассационной палаты.

Реакция, чувствуя себя господином положения, не замедлила подкрепить свое положение. Она начала с того, что с поистине клерикальной грубостью покрыла оскорблениями Гарибальди, явившегося в Национальное собрание только для того, чтобы представить свою отставку в качестве депутата и генерала вогезской армии, и попросившего слова. Десятки раз он со своими двумя сыновьями подвергал свою жизнь опасности под стенами Дижона. Он побеждал и преследовал пруссаков, пред которыми отступали все Бурбаки и столько других генералов. Но ханжи с такими вещами не считаются. Единственный их враг — это свободомыслие. Гарибальди всеми своими силами подкапывался под папскую власть. Услуги, оказанные Франции, не играли никакой роли для этих столпов исповедальни, величайших Базена «героем».

Избрание в двадцати департаментах, принесенное Тьером в национальное собрание в своих маленьких ручках, есте-

ственно выдвинуло его на пост главы исполнительной власти. Вместе с ним уселись у власти все старые партии, так долго потом составлявшие «республику без республиканцев».

Гарибальди покинул Национальное собрание, и только на следующий день после его отъезда я прибыл, претерпев ряд постыдных оскорблений, которые позорят и вечно будут позорить оскорбителей. Я горько сожалел, что не мог обнять великого борца за свободу, которого я лично не знал и которого увидел в первый раз десять лет спустя в Милане, при открытии памятника в Ментане²¹⁴. С парализованными руками и ногами, он лежал в то время, вытянувшись в ручной коляске, и скончался несколько месяцев спустя.

Переезд из Парижа в Бордо с прусским паспортом, который офицеры в касках осматривали почти на всех станциях, был для меня крайне тягостным, тем более, что как только я предъявлял свой паспорт, все сбегались к дверям вагона, чтобы посмотреть на меня.

В национальном собрании я случайно сел между депутатами с острова Реюнион, рассказывавшими мне о моем отце и его пребывании в течение четырех лет на острове в качестве временного губернатора. Гамбетта, перенесший в Бордо местопребывание делегации, душой и главой которой он был, пользовался там престижем человека, пытавшегося — хорошо или дурно — отстоять те дюймы территории, которые Жюль Фавр, вопреки своим клятвам, отдал с таким легким сердцем. Мы в «Пароле» энергично поддерживали в Париже кандидатуру организатора обороны в провинции и противопоставляли его усилия спасти нас инерции Трошю, который, казалось, делал все, что можно было, чтобы нас погубить. Во всех номерах своей газеты я отдавал должное преданности Гамбетты, предавая таким образом забвению наши бывшие разногласия, его речь, в которой он третировал Эда, как прусского агента. и его холодное молчание, когда я в законодательном корпусе произносил слово «республика».

Считаю нужным подчеркнуть здесь мое поведение, потому что впоследствии меня упрекали за мои резкие нападки на него и даже за то, что я обнаружил по отношению к нему крайнюю неблагодарность. Я никогда ничем не был обязан Гамбетте, который ничего в своей жизни не сделал для меня и у которого я никогда ничего не просил. Он скорее был обязан мне, потому что если бы я не выступил в его защиту в «Пароле» против инсинуаций и формальных обвинений против него со стороны его коллег по городской ратуше, — он, конечно, не получил бы в Париже на выборах 1871 года то значительное количество голосов, которое поставило его на четвертое место в списке избранных, где я занимал только шестое место, между тем как я при желании легко мог бы занять его место. Моя газета была гораздо более распространена и гораздо более

влиятельна, нежелали все другие, и я мог по желанию привлечь к какому-нибудь имени или отвлечь от него народное расположение.

Я определенно и бесповоротно высказался против Гамбетты, когда я увидел, как он все глубже погрязает в высокомерном деспотизме, в котором его поддерживали разные евреи, интриганы, консерваторы и даже жулики, большинство которых потонуло в самой мрачной реакции, как, например, Вальдек-Руссо²¹⁵ или Спюллер²¹⁶ и другие, попавшие затем в руки судебных следователей или суда присяжных. Этот сын владельца маленькой колониальной лавочки не умел с достоинством удержаться на той высоте, на которую подняли его ораторский талант и его поведение во время войны. Он разыгрывал из себя какого-то персидского шаха и азиатского самодержца, а когда он решился занять пост председателя министерства, которое прозвано было «великим министерством», оно просуществовало едва два месяца. При малейшем проявлении оппозиции со стороны палаты он грозил обращаться с нею, как с «мятежным» собранием. Бонапарт 2 декабря 1851 года был не более резок на словах, хотя сделал он гораздо больше.

Я боролся с Гамбеттой не из удовольствия и не для полемики с всемогущим человеком, но потому, что совесть и сознание долга мне это властно диктовали. Да и как мог бы я, не покрыв себя неизгладимым позором, покинуть моих товарищей по ссылке и по несчастью и броситься в лагерь политика, разъезжавшего вместе с Галиффе в каретах?

Но в момент открытия Национального собрания в Бордо он был еще тем Гамбеттой, который беззаветно боролся за свою страну, и мы не скупилась на похвалы ему.

С самого моего вступления в законодательный дворец в Бордо я понял по избранию бюро палаты, — в котором, за исключением Гриви²¹⁷, все члены были орлеанистами, — что я не останусь в этом доме дольше, чем оставался в законодательном корпусе в Париже. Выборами в монархическом духе, действительно, руководил победивший неприятель. Трудно поверить этому, но прусские солдаты сами раздавали в оккупированных департаментах списки кандидатов, сплошь состоявшие из реакционеров.

Республиканцы из Аржантейля обратились в редакцию «Пароля» со следующим протестом:

«8 февраля жители Аржантейля собрались на площади мэрии, чтобы произвести выборы в Национальное собрание. Реакционные списки раздавались прусскими солдатами. Категорически запрещалось раздавать избирателям списки центрального республиканского комитета.

Появляется один гражданин с двумя «запрещенными» списками и начинает их раздавать избирателям. Тотчас же десяток

немцев набрасываются на него, связывают его и бросают в тюрьму.

Эти возмутительные факты показывают, в каком духе г-н фон-Бисмарк понимает свободу всеобщего голосования».

Подобные сообщения мы получали сотнями. Но каждому понятно, что такие бюллетени для голосования не выросли сами, как листья на дереве, в руках неприятельских солдат. Было совершенно ясно, что они были им вручены по соглашению с Пруссией монархическими кандидатами, пришедшими в палату, как в 1815 году²¹⁸, под высокой защитой иностранных штыков.

Во время подавления Коммуны мы точно так же видели, как клерикалы версальского правительства вступали в соглашение с пруссаками оккупационной армии для преследования и захвата парижан, убежавших от бойни. Ведь эти господа забывают о существовании границ главным образом тогда, когда им нужно душить социалистов или даже только побеждать их на выборах. Мы погрязли почти целиком не только в орлеанизме, но и в сетях самих Орлеанов, прибывших в Бордо лично наблюдать за своими армиями.

Среди депутатов стал циркулировать прусский ультиматум: пять миллиардов и две провинции. Сперва никто не верил этому, но при виде реакционеров с горестными лицами и позами отчаяния я скоро понял, что они решились принять без всяких прений все навязываемые условия. Избрание Тьера на пост главы исполнительной власти в достаточной мере показывало к тому же, что национальное собрание решилось покорно подчиниться. Под заглавием «Король капитулянтов» я оповестил парижан о бордоских новостях в следующих выражениях:

«Жил-был маленький человек, обычно носивший серое пальто. Он был когда-то министром монархии, которую порыв ветра выбросил на английское побережье²¹⁹. Этот человек некогда построил вокруг Парижа форты, но на улице Транснонен²²⁰ он расстреливал слабых. Бонапартистский агент в 1849 году, ставший снова орлеанистом в 1851 году, он был подвергнут аресту 2 декабря с целью внушить ему мысль, что он человек опасный, и брошен в Мазас, им же построенный.

Со времени этого мрачного момента он долго шатался между забвением и непопулярностью. Каждые шесть лет он ставил свою кандидатуру на выборах против торговца шоколадом по имени Девинк. Вообще шоколадник одерживал над ним верх большинством нескольких рядов шоколадных таблеток, но впоследствии было наоборот — человек в сером пальто заставил умолкнуть нагревавшуюся политическим паром машину торговца какао.

Наступает 4 сентября, — нужно сказать, что пруссаки стали наступать раньше, — и этот человек, с трудом прошедший

в депутаты от буржуазных округов, вдруг становится Вениамином правительством национальной обороны. Его посылают беседовать с английской королевой, с русским императором, австрийским императором и, быть может, с императором Наполеоном. Чем больше терпит он поражений в различных поручаемых ему миссиях, тем больше умоляют его принять на себя новые миссии.

— Что ж, — говорят ему правители, проживающие в городской ратуше, — царь вас прогнал — это можно было предвидеть. Английская королева посмеялась вам в лицо, но все знают, что женщины любят смеяться. Что касается австрийского императора, он мог вас вышвырнуть через окно, но не сделал этого, — это уже кое-что.

Ему поручают поехать предложить Бисмарку перемирие, которое не только отвергается после того, как мы из-за этого потеряли восемь дней для организации обороны, но вызывает возмущение 31 октября.

После целого ряда провалов г-н Тьер не мог придумать ничего более патриотического, чем подкрепить реакцию в Туре, ополчившуюся на Гамбетту, энергия и усилия которого беспокоили капитулянтов. Ускорив таким образом в меру своего карликового роста капитуляцию Парижа, он способствовал своими интригами ускорению капитуляции провинций и всеми своими силами содействовал полному покорению и разоружению нашей несчастной страны.

Если я говорю неправду — пусть меня расстреляют. Но скажите, разве не такова история г-на Тьера, тщетно разъезжающего по иностранным дворам, подрывающего шансы борьбы, расстраивающего дело обороны, дезорганизирующего республику?

И вот именно этого-то человека избрали двадцать департаментов своим представителем, и его-то Национальное собрание, в котором — увы! — мы вынуждены участвовать, подобрало в оркестре бордоского театра, чтобы сделать его вершителем наших судеб!»

Протесты против расчленения Франции прибывали во множестве, но расчленение все же было решено. Национальное собрание избрало реакционную и капитулянтскую комиссию для ведения так называемых «переговоров», т. е., говоря просто, для того, чтобы подписать наш позор. И национальное представительство прервало свои «работы», что было для него тем легче, что пруссаки работали за нас. Когда стали известны их жестокие предложения, страшный гнев, прелюдия надвигающейся революции охватил все сердца. В то время как в Бордо разгоралась безудержная реакция, в Париже организовалась тоже безудержная республиканская оппозиция и на горизонте уже ясно вырисовывался день 18 марта.

Чтобы довести ирранию до самых крайних ее пределов, именно Жюль Фавра назначили руководителем переговоров и ему поручили повезти Бисмарку ключи от Страсбурга и Метца. Трошю еще раньше обещал, что как только мир будет подписан, он откажется от политической деятельности. И действительно, как только мы согласились покрыть себя позором, он подал в отставку. Фавр, который тоже клялся, подобно старой гвардии, не сдать ни в каком случае, сдался и не умер от этого, ибо он, не моргнув глазом, взял на себя задачу вести переговоры о сдаче. Это было почти бесстыдство.

Национальное собрание возложило на руководителя переговоров легкую миссию: «Если от вас потребуют Эльзас и Лотарингию, вы их отдадите. Если потребуют Бретань и Жеводан, вы их также отдадите. Словом, вы отдадите все, что от вас потребуют». Каждый из тридцати восьми миллионов жителей, из которых состоит население Франции, одинаково способен был бы справиться с такой элементарной задачей. Один только человек в нашей стране не имел права вести какие бы то ни было переговоры с Пруссией на основе какого бы то ни было расчленения. Этим человеком, очевидно, был тот, который, не будучи вызван на это, напечатал в «Официальной газете Французской республики» слова: «Мы не уступим ни одного дюйма нашей территории, ни одного камня наших крепостей».

Жюль Фавр, который был адвокатом при окружном суде и который мог выставлять перед присяжными заседателями в качестве примерного супруга подсудимого, убившего свою жену, повидимому, полагал, что находится пред трибуналом и что никто не станет принимать на веру его гордое заявление. Но народы мало посвящены в гиперболы, употребляемые в суде, и нация в течение пяти месяцев повторяла на все лады: «Жюль Фавр торжественно заявил, что Эльзас и Лотарингию не отдадут, — следовательно, они не будут отданы».

Тьер, изощренный в крючкотворстве старых политиканов, сообщил Национальному собранию предварительные условия мира лишь за несколько часов до истечения срока перемирия. Этим он приставил нож Бисмарка к горлу собрания. Если бы оно проявило хотя бы малейшее колебание, переговорам наступил бы конец. Возобновилась бы бомбардировка, и так как пруссаки занимали форты, Париж немедленно был бы разрушен. Какое бы то ни было обсуждение интересов Франции было, следовательно, невозможно, и представители радикальной демократии, еще одушевленные сознанием нашего национального достоинства, вынуждены были хранить молчание. Ловкая тактика короля капитулянтов была таким образом паглой гнусностью.

Бисмарк почти обещал не допустить вступления германских войск в Париж. Но он не простил бы себе, если бы не доставил солдатам, принимавшим участие в осаде, это высшее тор-

жество, и подпавшее с прavitельством Тьера соглашение точно устанавливало церемониал унижения, которому мы должны были подвергнуться.

Я напечатал в своей газете в виде аншлага следующую заметку, нашедшую свой отклик во всей парижской прессе:

«Пока германские войска будут грязнить почву Парижа своим присутствием, «Пароль» не будет выходить».

Все политические газеты, даже «Journal des Débats»²²¹, даже «Фигаро», последовали нашему примеру. Таким образом неприятель вошел в мертвый город, в котором все двери, все лавки и все окна были закрыты.

Пруссаки, несколько обеспокоенные отношением к ним Парижа, вступили в город со всякими предосторожностями. Они поставили у Триумфальной арки — которую мы могли бы называть аркой Поражения — несколько батарей у входа каждой улицы, ведущей в центр города. Однако все было спокойно. Один только инцидент произошел, когда арестованы были парижанами и подвергнуты порке три девки, вышедшие навстречу неприятелю на Елисейские поля и целовавшиеся с неприятельскими солдатами. Толпа набросилась на них, почти совсем сорвала с них одежды и после зверской порки оплевала их и покрыла их оскорблениями и побоями. Были ли это жившие у нас немки, вышедшие приветствовать своих соотечественников? Я не мог узнать этого, потому что они скрылись и нашли прибежище в соседних домах, откуда вышли только ночью.

Пруссаки оставались в квартале Елисейских полей только до четырех часов утра следующего дня. Вечером они тщетно пытались получить что-нибудь в соседних кафе, двери которых закрывались пред ними, как только они пытались проникнуть в них. Лишь в двух заведениях подали некоторым неприятельским солдатам разные напитки. Толпа ворвалась в них, разнесла и разбила все, вплоть до столов.

Последнее заседание Национального собрания, на котором я присутствовал, одно лишь отличалось некоторым воодушевлением. Во время обсуждения прелиминарных условий мира депутат Эльзаса г-н Бамберже высказался против принятия мирного договора, который — сказал он — мог быть подписан только Наполеоном III, чье имя навсегда останется выгравированным на позорном столбе истории. Конти, депутат Корсики и бывший личный секретарь седанского пленника, имел смелость попытаться выступить с протестом. Начался всеобщий галдеж. Ему кричали:

— Долой с трибуны, убийца! В тюрьму! Сбросьте его в море!

Спокойствие восстановилось лишь тогда, когда г-н Тарже попросил слова, чтобы внести предложение о формальном низ-

ложении Наполеона III, которое в действительности не было еще официально объявлено и не подвергалось еще голосованию. Текст предложения был таков:

«Национальное собрание, в тяжких условиях, переживаемых отечеством, пред лицом неожиданных протестов и оговорок, подтверждает низложение Наполеона III и его династии, уже постановленное всеобщим голосованием, и объявляет его ответственным за разорение, нашествие неприятеля и расчленение Франции».

Реакционное большинство Национального собрания, облегчив таким образом свою совесть и возложив на бывшего императора всю ответственность за наши бедствия, уже без всякого колебания решило подписать прелиминарные условия. Это было принято пятьюстами пятьюдесятью голосами против ста семи.

Главный аргумент, выдвинутый большинством, сводился к отсутствию денег для продолжения войны. Не осмеливаясь признаться, что им надоели ядра и конское мясо, они ссылались на отсутствие средств. И в то же время они обязались выплатить неприятелю пять миллиардов. Если они обязались их уплатить — значит мы их имели или знали, где их раздобыть. Не было, следовательно, никакой невозможности употребить их против неприятеля, вместо того чтобы их ему преподнести.

Что касается меня, получившего совсем другой мандат, мне оставалось только отказаться от участия в собрании, отказавшемся от соблюдения национального достоинства. По соглашению с Ранком, Малонем и Тридоном, мы обратились к председателю собрания, старому Гриви, с письмом, оглашение которого привело в бешенство реакционеров, уже мечтавших о захвате учредительной власти:

«Гражданин председатель!

Избиратели уполномочили нас представлять французскую республику. Между тем национальное собрание своим голосованием от 1 марта признало расчленение Франции и разорение отечества. Этим оно сделало все свои постановления ничтожными и не имеющими никакой силы.

Голосование четырех генералов и воздержание трех других генералов формально опровергают утверждения г-на Тьера. Ни одного дня мы не можем больше оставаться в этом собрании.

Настоящим мы извещаем вас, гражданин председатель, что нам остается только удалиться.

*Анри Рошфор, Малон (из Интернационала),
Ранк, Тридон (из департамента Кот-д'Ор).*



АДОЛЬФ ТЬЕР

Один реакционный капитулянт крикнул нам:
— Счастливого пути!

Этот болван был прав, ибо мы все четверо несколько месяцев спустя были приговорены к путешествию в дальние края, от которого троем моим товарищам удалось избавиться и которое мне одному пришлось совершить.

Феликс Пиа в особом письме также заявил, что отряхает прах со своих ног на пороге этого проклятого собрания, и я уже готовился покинуть Бордо, как вдруг печальным стечением обстоятельств вынужден был невольно остаться. Лишения, сознание тяжкой ответственности, волнения и ужасы осады «свернули», говоря языком просторечья, мне «кровь». Вечером того дня, когда я подал в отставку, я захворал. Температура вдруг поднялась, и временами я терял сознание. Почти всю ночь я провел в том, что машинально переворачивал свой матрац. Горло мое вдруг распухло, так что мне чрезвычайно трудно было дышать и приходилось употреблять большие усилия, чтобы проглатывать слюну. На следующий день обнаружилась ужасающая рожа, захватившая все лицо и часть шеи. Врач, которого пригласили, покрыл мне все лицо мушками, превратив меня в мумию. Подкожное воспаление грозило стать смертельным, и я уже стал думать, что наступил мой конец. Знаменитый антрополог Брока²²², находившийся проездом в Бордо, был приведен ко мне Эдмондом Адамом и, видимо, не очень был уверен, что я выкарабкаюсь. Когда моя болезнь достигла своего кульминационного пункта, меня посетил беллетрист Алексис Бувье²²³, бывший сотрудник моей газеты «Марсельеза», который, побеседовав с ухаживающими за мной, пришел к заключению, что я умираю. Он уехал в тот же вечер и сообщил всем моим друзьям по парижским бульварам, что, если я еще не совсем труп, то близок к этому. От этого к возвещению моей смерти был один только шаг, который и перешли репортеры, обычно предупреждающие события, опасаясь запоздать.

На следующий день после приезда Алексиса Бувье в Париж на улицах выкрикивали:

— Смерть Рошфора! Его последние слова!

Впоследствии я имел в своих руках один из таких листков, в котором мне приписывались предсмертные фразы, пропитанные чистейшим чувством патриотизма. В моей смерти не сомневался никто, и эта поспешная уверенность не имела бы никакого значения, если бы она, к несчастью, не нашла своего отклика в агентстве Гавас. С самого начала войны мои обе сестры уехали на остров Джерси, взяв с собою двоих моих детей. Там-то дошла до них весть о моей смерти, и подробности были столь точны, что необходимо было признать свершившийся факт. Однако мои сестры решили, прежде чем сообщить детям о постигшем их горе, подождать подтвержде-

ния. Оно не заставило себя ждать. В виду разразившегося шторма на море газеты пришли с опозданием, и до моей семьи дошла только каблограмма все того же агентства Гавас:

«Правительство, опасаясь какого-нибудь народного движения, противится перевозке тела Рошфора из Бордо в Париж».

Сообщение было категорично, и мои сестры, обливаясь слезами, решили сообщить моим малышам, что у них нет больше отца. Им заказали траурное платье. Многие газеты были даже столь любезны, что посвятили мне некрологи; некоторые из них заканчивались предложением открыть публичную подписку в пользу моих детей, так как я не оставил им никакого состояния. Последнее было единственным правдивым сообщением в посвященных мне хвалебных статьях.

Узнав о распространившихся слухах о моих предстоящих похоронах, я попросил дать мне телеграфный бланк и послал своим сестрам следующую телеграмму: «Я довольно серьезно болен, но не умер. Пришлите ко мне детей». А затем, так как мне предписан был для укрепления морской воздух, меня перенесли на носилках на аркашонский поезд.

Расположенный у соснового леса, Аркашон является прекрасным зимним курортом. Он как бы нарочно создан был, чтобы восстановить мои силы. По счастливой случайности я встретился там с доктором Фурнье, который в несколько дней меня совсем поставил на ноги.

Можно себе представить мою радость, когда я получил депешу, сообщавшую мне о приезде моих детей! Я пошел их встретить на аркашонском вокзале и сперва никак не мог их признать, моих детей и сестру, в трех особах, одетых во все черное и бросившихся в мои объятия.

— По ком носите вы траур? — спросил я свою дочь.

— По тебе, — ответила она мне.

И в течение трех недель она гуляла со мною по улицам Аркашона в своем сиротском костюме.



ГЛАВА XVIII

18 марта. — Преступление Винуа. — Смерть Клемана Тома и генерала Леконта — Рауль Риго и игорные дома. — Версаль и Берлин. — Те, что начали войну. — Дом г-на Тьера. — Флуранс и Дюваль. — Ответственность. — Деятели Коммуны

Во время моей болезни и моего выздоровления разразилась революция 18 марта, в которой я, следовательно, не принимал участия и о перипетиях которой мне рассказывали впоследствии в тюрьмах, где я корпел вместе с теми, которые участвовали в ней.

Из этих многочисленных рассказов для меня с очевидностью выяснилось, что необходимость «бойни» была согласована между Тьером и Эрнестом Пикаром, обменявшимися по этому поводу телеграммами, найденными впоследствии, во время Коммуны, моим товарищем Оливье Пенем в министерстве иностранных дел. Эта переписка была спрятана моим товарищем по побегу, и она могла бы выяснить всю закулисную историю возникновения движения, приведшего к объявлению Коммуны.

К несчастью, после ареста ее мужа, когда нахождения мало-мальски подозрительной бумажки достаточно было, чтобы поставить человека к стенке, госпожа Пен поспешила бросить в огонь эти доказательства жестокого коварства наших правителей, и мы были таким образом лишены возможности разоблачить цели министерского заговора для захвата пушек, принадлежавших национальной гвардии и поставленных последней на Монмартрских высотах.

Но прежде чем решиться на такой шаг, необходимо было закрыть рот республиканцам, которые могли бы ему помешать.

Генерал Винуа одним росчерком пера закрыл шесть газет, протесты которых могли бы расстроить его планы. «Пароль» был, конечно, одной из жертв этого солдатского бешенства. Я был тогда в таком положении, что не отдавал себе никакого отчета в том, что происходило вне моей комнаты.

После закрытия газет Винуа считал, что теперь все можно предпринять, и однажды утром он выслал против артиллерии национальной гвардии несколько эскадронов кавалерии, вернувшихся с пустыми руками.

Каторжанин, который в Новой Каледонии рассказывал мне всю сцену присуждения к смерти импровизированным военным судом генералов Леконта²²⁴ и Клемана Тома²²⁵, не упустил ни одной детали этой драмы, восстановленной им с большой искренностью. Клеман Тома тогда уже ничем не командовал и, конечно, не был бы арестован, если бы не был захвачен в момент, когда он вносил в свою записную книжку заметки, не имевшие, быть может, никакого стратегического значения. Допрошенный защитниками Монмартрских холмов, он сразу проявил такую наглость и стал отвечать в столь резких выражениях, что его присоединили к генералу Леконту, к суду над которым собирались приступить. Леконт, натолкнувшись на сопротивление монмартрцев, не желавших сдать свои пушки, совершил роковую ошибку, прибегнув к бывшей брани военщины по отношению к народу и крикнув, подобно солдатчине июня 1848²²⁶ и декабря 1851²²⁷ года: «Изрубите-ка эту сволочь!» Приказ был тем более глуп и гнусен, что эта «сволочь» только что выдержала пятимесячную осаду, во время которой она принесла столько жертв для защиты Парижа, на какие Леконт, конечно, был бы неспособен.

Что касается диктатора, генерала Винуа, командовавшего экспедицией, то он потерял всякий стыд. Как только он увидел, что его эскадроны, спокойно разоруженные женщинами, братаются с населением и услышал несколько враждебных криков по своему адресу, он поспешил повернуть свою лошадь и ускакать прочь бешеным галопом.

Его преследовали только гиканьем, но его трусость стоила жизни его помощнику, генералу Леконту. Этот Винуа, которому Тьер, хотя и делавший вид, что ненавидит бонапартистов, не поколебался отдать в полную власть парижских республиканцев, был одним из самых кровавых слуг декабрьского государственного переворота.

В книге Тено «Провинция в 1851 году» читаем (гл. VII, стр. 180):

«Полковник Винуа прибыл из Авиньона в Форкалькье 12-го. Оттуда этот офицер поспешно выступил на преследование Айю, чтобы уничтожить последний вооруженный отряд. 14-го утром полковник Винуа прибыл во главе тысячи человек всех родов

оружия. Айо успел уже к этому времени укрыться со своими последними товарищами в Люских горах.

Три республиканца, из которых двое — не уроженцы Люса, а третий — выходец из Сент-Этьена, были схвачены и расстреляны на месте. Последнего звали Гобер (он же Беген).

Двое других были столь же хладнокровно убиты между Фонтенем и Сент-Этьеном.

Легкая колонна послана была на поиски в горах. Там пристрелили еще трех республиканцев» и т. д., и т. д.

Но как у всех солдафонов, с удовольствием расстреливающих других, у Винуа душа уходила в пятки, когда он находился под ружейными выстрелами и, прискакав в министерство иностранных дел, он стремглав умчался в Версаль.

Национальная гвардия хотела расправиться именно с Винуа, и все заставляет предполагать, что если бы не вызывающие выкрики, с которыми Клеман Тома как бы нарочно обращался к членам военного суда, оба генерала были бы спасены. Им была бы, по крайней мере, сохранена жизнь, и они были бы задержаны в качестве заложников для обмена впоследствии на пленников национальной гвардии.

Правительство притворялось, что считает, будто поставленные на холмах Монмартра и на возвышенностях Шомона пушки являются угрозой Парижу. Между тем в действительности они только охраняли Париж и служили гарантией от безмерно разнуздавшейся реакции, о чем свидетельствовало уже то, что военная диктатура была отдана в руки бывшему второ-декабрьскому разбойнику.

Чего Тьер никак не хотел признать — это, что генерал Леконт, крайне жестоко обращавшийся со своими людьми, пал жертвой главным образом ненависти своих солдат, которые, как только получили опору в лице народных масс, первые потребовали его смерти. В лечебнице Боярского форта мне пришлось встретиться с одним приговоренным к ссылке солдатом, который сделал мне следующее полупризнание:

— Можете мне поверить — я вволю расплатился с ним за проведенные на гауптвахте ночи!

И он рассказал мне всю сцену суда и казни.

После крайне поверхностного судебного разбирательства в центральном комитете, — который если не сумел их защитить, то сам их к смерти не присуждал, — Клемана Тома и Леконта втолкнули в сад, где их повели к задней стене — не связанными, как утверждали версальцы, чтобы еще больше драматизировать событие, а свободными в своих движениях. По словам моего собеседника, Клеман Тома вел себя великолепно, не прося пощады, а, наоборот, не переставая до последней минуты покрывать бранью совершавший казнь отряд солдат. Он не упал после первого залпа и кричал им:

— Вы можете меня убить, но вы не помешаете мне называть вас мерзавцами и убийцами!

Генерал Леконт вел себя совсем иначе. Он стал бегать вокруг сада, стараясь взобраться на стену, и, пытаясь разжалобить своих экзекуторов, не переставал стонать:

— Не убивайте меня! У меня пятеро детей! Что станется с ними?

Эта понятная, но мало достойная военного борьба только продлила его агонию, так как несчастный был убит, так сказать, частями, пронизываемый одной пулей за другой. И мой собеседник закончил свой рассказ таким философически-жестоким замечанием:

— Да, можете мне поверить, что в эту минуту у него не было охоты кричать: «Изрубите-ка эту сволочь!»

Клеман Тома расплатился за самого себя, за свое наглое обращение с национальными гвардейцами, которых он грубо и систематически прогонял, а генерал Леконт расплатился за Винуа, который один только был виновен, но бежал, как только почувствовал, что положение может стать опасным, и бросил своего заместителя в жертву народному ожесточению.

В этот момент версальское и парижское правительства еще могли столкнуться. Достаточно было назначить муниципальные выборы, чтобы конфликт был улажен. Но именно этого Тьер не хотел, и, не раздумывая долго, он обратился со своим известным циркуляром, уничтожившим всякую возможность примирения, ко всем ведомствам и чиновникам, в том числе к архиепископам и епископам, — циркуляром, в котором предписывалось, под страхом привлечения к ответственности за измену, исполнять распоряжения только заседавшего в Версале правительства.

Привлечь пред лицом демократической и свободомыслящей революции епископов и архиепископов к правительственной работе — значило открыто афишировать клерикальную реакцию. Многие его члены мне неоднократно говорили, что центральный комитет, руководивший революцией 18 марта, охотно вступил бы в переговоры, но монархические выпады версальского правительства сделали с самого же начала невозможным какое бы то ни было соглашение. Тьер во что бы то ни стало хотел «кровопускания». И я должен сказать, что он добился более обильного, более полного кровопускания, чем даже, вероятно, сам мечтал.

Так как Винуа сбежал при первой же тревоге, то его постановления о закрытии газет растаяли вместе с ним. «Пароль» возобновил таким образом свой выход, как только я почувствовал себя настолько здоровым, что мог снова взять на себя руководство газетой. Когда я выехал из Аркашена, направляясь в Париж, я был еще крайне слаб и даже вынужден был по дороге остановиться на один день в Орлеане.

Версальскому правительству было сообщено о моем возвращении, и оно решило арестовать меня в пути, — надо полагать, в виде предохранительной меры, так как невозможно же было формулировать какое-нибудь обвинение против человека, который слез за месяц до разыгравшихся событий и только по слухам знал о делах, в которых у него потребовали бы отчета.

Но мне по предписанию врачей обрили голову, и, лишившись своего хохла, — ныне белого, а тогда еще совсем черного, — я стал почти неузнаваем и прошел незамеченным на глазах у глупых шпииков, которым поручено было загородить мне дорогу. Но до какой степени изменилась бы моя жизнь, если бы я поставлен был в невозможность пробраться в Париж! О Коммуне я знал бы только то, что рассказывали о ней выходявшие в Версале тьеровские листки. Я избег бы военного суда, а следовательно — и ссылки и эмиграции, длившейся до 1880 года. Но, взвешивая все, я доволен, что совершил это кругосветное путешествие, первая половина которого — та, которую Мак-Магон называл «полусветом», — была так мрачна, но зато вторая его половина — после бегства — переполнена была такой большой радостью.

Дабы дать возможность общественному мнению слышать голос обеих сторон, я печатал в «Пароле» отчеты о заседаниях как национального собрания в Версале, так и Коммуны. Последняя ответила на циркуляр Тьера чиновникам и епископам следующим заявлением:

«Коммуна, единственная в настоящее время власть, декретирует:

Ст. 1. Служащие разных ведомств должны отныне считать недействительными и не имеющими никакой силы распоряжения и сообщения, исходящие от версальского правительства или его сторонников.

Ст. 2. Чиновники и служащие, преступившие настоящий декрет, будут немедленно уволены.

За Коммуну и по ее поручению
председатель заседания *Лефрансе* ²²⁸,
члены президиума *Ранк* ²²⁹, *Эд. Вайян*» ²³⁰. •

С лихорадочной быстротой последовали один за другим декреты о мораториуме для должников, о приостановке выселения квартиронанимателей, о приостановке распродажи заложенных в ломбарде вещей. Рауль Риго, гражданский делегат при бывшей префектуре полиции, — должность довольно странная, потому что нельзя же быть прикомандированным к переставшему уже существовать учреждению, — запретил даже, по собственной инициативе, азартные игры в общественных местах и подкрепил свое постановление такими соображениями:

«Принимая во внимание, что безнравственно и противно всякой справедливости, что люди могут бросанием костей и безо всякого труда уничтожать благосостояние, приносимое семье получаемым заработком; что азартные игры порождают всевозможные пороки и даже преступления, —

постановляет: азартные игры безусловно воспрещаются».

Этот ряд демократических мер, последовавших за угрозами версальцев и суровыми распоряжениями жестокого Винуа против парижского населения, на первых порах привязал последнее к Коммуне. Беснование клерикалов высмеивали. Люди спокойно и в полной безопасности прогуливались по бульварам безо всякой регламентации и без полиции. В течение нескольких дней царило почти всеобщее довольство. В то же время престиж Тьера все больше падал в глазах парижан в виду его неопровержимо установленной и постыдной договоренности с пруссаками для подавления социалистического движения, отдавшего Париж в руки революционеров. Если бы версальской армии не удалось после двухмесячной осады прорваться в Париж, — не подлежит сомнению, что версальское Национальное собрание попросило бы Бисмарка ввести в него прусскую армию. И эта армия, вероятно, вела бы себя менее жестоко, нежели версальская. Тьер уже подготовлял свое большинство к этому священному союзу, гарантировавшему трусам собрания сохранность их находившегося в опасности существования, а Пруссии — выплату ее миллиардов. Я в «Пароле» в таких выражениях отмечал это сердечное соглашение между Версалем и Берлином:

«Мы знаем газеты столь реакционные, что они хотели бы одновременно восстановить на троне и Наполеона III, и графа Парижского²³¹, и графа Шамборского²³². И вот эти газеты, которые предпочли бы республике три головы под одной и той же короной, публикуют с достойной внимания одновременностью следующее сообщение: «Г-н фон-Бисмарк заявил г-ну Тьеру, что предоставит ему полную свободу как относительно сроков уплаты военной контрибуции, так и относительно подавления разразившегося в Париже мятежа».

Это сообщение в сопоставлении с сосредоточением войск, направляемых в Версаль из самых отдаленных углов страны, внушает чутким людям мысль, что правительство из департамента Сены-и-Уазы²³³ питает злой умысел бросить против столицы войска и национальную гвардию со всей Франции.

Предоставляемая г-ном фон-Бисмарком «полная свобода» свидетельствует также о том, что прусская армия не только охотно раздвинет свои ряды, чтобы пропустить версальцев, но в случае надобности поддержит это движение несколькими батареями Круппа и несколькими полками королевской гвардии».



Провозглашение Коммуны

Версальцы решили покончить с злыми повстанцами. Дюкро, выходец с Марны, Винуа, летун с Монмартра, и де-Файи, — да, сам де-Файи, фаворит Наполеона III, — устроили военный совет и решили атаковать восставший город. 3 апреля в Курбевау, занятый национальными гвардейцами, внезапно ворвались войска Шаретта, — переодетые городовые, муниципальные стражники и бретонские моряки. Линейные войска не решились двинуть, ибо мало уверены были в их повиновении.

Примечательная деталь, отрицать которую нет возможности: солдаты Шаретта шли под сенью белых знамен и все носили на груди значки сердца Иисусова из белого сукна, на котором написаны были кабалистические слова: «Остановись! Вот сердце Иисусово!»

На национальных гвардейцев направили сокрушительные залпы, на которые они, не отступая, отвечали. «Неприятель», как уже стали называть правительственную армию, почти успел завершить обходное движение, но национальные гвардейцы контрмаршем открыли себе выход через боковые ворота казармы. Эта первая стычка послужила сигналом для ряда сражений, длившихся непрерывно в течение шести недель и завершившихся гекатомбой.

Борьба длилась целый час без заметных успехов ни с той, ни с другой стороны. Но вдруг в бой вмешался форт Мон-Валерьян и забросал ядрами окрестности Нейи, где разрушены были два дома. Так осуществилось предсказание республиканцев, заявлявших при Луи-Филиппе, что форты, которых требовал и построил министр Тьер, предназначались больше для бомбардировки столицы, нежели для ее защиты.

После этого-то дождя снарядов и была решена вылазка 4 апреля. Ей предшествовала расклейка депеши, оставшейся памятной своей первой фразой:

«Исполнительной комиссии.»

Сам Бержере находится в Нейи. Согласно донесениям, огонь неприятеля прекратился. Настроение войск превосходно. Все прибывающие линейные солдаты заявляют, что, за исключением офицеров, никто не хочет драться. Командовавший атакой жандармский полковник убит.

Полковник генерального штаба *Анри*.

Это нападение, возмутительное по своей жестокости, произведенное тогда, когда накануне еще, казалось, хотели вступить в переговоры, вызвало негодование всего оставшегося в Париже населения. Правительственная демонстрация была к тому же крайне неблагоприятна, ибо, не помешая стратегическая неопытность Флуранса и в особенности невероятная небрежность бывшего морского офицера Люлье²³⁴, который, получив

приказание захватить Мон-Валерьян, удовольствовался обещанием командовавшего им батальонного командира эвакуировать форт, версальское национальное собрание было бы захвачено в плен — и тогда оно вынуждено было бы вступить в соглашение с теми, кого оно называло «*communeux*». Ибо — неизвестно почему — слово «*communards*» считалось почетным званием, которым сами федераты величали себя, а «*communeux*» было презрительной кличкой, употреблявшейся только реакцией*.

Дабы неоспоримо установить пред лицом истории, — которая, впрочем, несколько с этим не посчиталась, — с чьей стороны пушены были первые выстрелы, Коммуна расклеила в Париже следующую внушительную прокламацию:

«К национальной гвардии Парижа.»

Роялистские заговорщики атаковали нас, несмотря на то, что мы вели себя сдержанно. Они нас атаковали. Не имея возможности полагаться на французскую армию, они атаковали, выслав против нас папских зуавов и императорскую полицию.

Не довольствуясь тем, что они прервали наши сношения с провинцией и пытаются — тщетно — взять нас голодом, эти бесноватые пожелали до конца следовать примеру пруссаков и бомбардировали столицу. Сегодня утром шуаны²³⁵ Шаретта, вандейцы Кателино, бретонцы Трошю, поддержанные жандармами Валантена, забросали картечью и снарядами беззащитную деревню Нейи и начали гражданскую войну с нашими национальными гвардейцами. Были убитые и раненые.

На нас, избранниках парижского населения, лежит долг защищать великий город против преступных зачинщиков. С вашей помощью мы его отстоим.

Исполнительная комиссия:

*Бержере, Эд, Дюваль, Лефрансе, Феликс Пиа,
Ж. Тридон, Э. Вайян».*

Наличие роялистского заговора было неоспоримо, ибо он разразился в 1873 году и был бы доведен до победного конца, не отступи тогда граф Шамборский, отказавшийся принять трехцветное знамя. Коммуна представляла таким образом республику, а версальское национальное собрание — монархию. Покинуть республику было бы для меня позором и отречением от всего моего прошлого, ибо я поставлен был бы этим в необходимость перейти на сторону монархии.

История тогдашних событий была впоследствии сфабрикована разбойниками «кровавой недели», уснастившими ее ложью и клеветой, точно так же, как после 1815 года эмигранты пыта-

* «*Communards*» и «*communeux*» — синонимы и одинаково значат «коммунары». — П р и м. п е р е в.

лись опорочить Великую революцию. Правда в том, — и в этом легко убедиться, сопоставив твердость и спокойствие правительства Коммуны и жестокость версальского правительства, — что перед Францией в то время стоял выбор между торжественным освящением республиканских учреждений и реставрацией монархии. Право и патриотизм столь неоспоримо были на стороне коммунаров, что Тулуза, Лион и Марсель, подобно нам ужаснувшиеся натиску реакции, со своей стороны восстали против Версаля, и если б перепуганный Тьер не взял на себя публичного обязательства сохранить республику, все крупные города один за другим отделились бы от него.

Парижские депутаты обязаны были при первом же пушечном ядре, пущенном в избравший их народ, лично выступить в его защиту против гнусной деревенщины*, пытавшейся разрушить город. А они замкнулись в воздержании и молчании, вызывавших только негодование их избирателей и вливавших бодрость в сердца революционеров.

Вся правительственная тактика Тьера сформулирована в его книге «Французская революция». «Партии нельзя покорить, — говорит он, — одной только силой разума. В ожидании влияния времени только сильный деспотизм в состоянии взнуздать возбуждение партий». Этот сильный деспотизм мог установиться только на трупах истерзанного населения. Вот почему с самого же начала революции 18 марта и даже до того, как она вспыхнула, этот убийца с улицы Транснонен, ставший главой исполнительной власти, решил устроить бойню в Париже, подобно бойне в Брешиа, где

Гайнау²³⁶ детскими головками пушки заряжал.

Не будь бессмысленного марша Флуранса, который, узнав, что, вопреки лживому обещанию, данному командовавшим фортом Люлье, Мон-Валерьян не был эвакуирован, наивно двинулся под пушками, Версаль, без всякого сомнения, попал бы в руки федератов. Один депутат, оставшийся в Версале, подобно большинству депутатов, рассказывал мне об охватившем собрание деревенщины безумном страхе при первой вести о вылазке 4 апреля. Все входившие в его состав монархисты уже уложили свои пожитки, и под парами стояли поезда, чтобы перебросить их в еще официально не объявленную, но во всяком случае отдаленную местность.

Что касается солдат-пехотинцев и даже жандармов, они поджидали парижскую армию не для того, чтобы драться с нею, а для того, чтобы с нею побрататься. Никогда победа не казалась более верной и никогда поражение не было вызвано более полным военным невежеством и более грубыми ошибками.

* «Деревенщиной» (l'es tigeaux) называли реакционное большинство национального собрания, избранное главным образом деревенскими избирательными округами. — П р и м. п е р е в.

Доверить судьбу решительного сражения человеку преданному и мужественному, — это признаю, — но столь нескладному и нерешительному, как Люлье, — значило ринуться в неизвестность. Вручить командование многочисленными батальонами Флурансу — значило отдать их в руки человека безответственного. Главными виновниками бойни, в которой пали храбрый Дюваль и Флуранс, были, следовательно, организаторы вылазки, поставившие на два главных поста Люлье и Флуранса, т. е. двух людей, наименее способных выполнить возложенную на них задачу. А между тем состав парижских батальонов достигал по меньшей мере ста двадцати тысяч человек, поддержанных почти двумястами пушек и митральез.

Словом, мы были побиты, и вернувшиеся из этой столь плохо задуманной и столь возмутительно выполненной экспедиции национальные гвардейцы рассказывали мне, что обычным маневром версальских жандармов было подходить к федератам, держа ружья прикладами вверх, с возгласами «Да здравствует республика!», а когда национальные гвардейцы направлялись к ним навстречу с протянутыми руками, — расстреливать их в упор. Коммуна расклеила по этому поводу следующее сообщение:

«Граждане!

Заседающие в Версале монархисты воюют с нами не как цивилизованные люди, а как дикари. Вандейцы Шаретта и агенты Пьетри расстреливают пленников, добивают раненых, забрасывают ядрами походные госпитали.

Десятки раз негодяи, позорящие мундир линейного солдата, поднимали приклады вверх и затем предательски стреляли в наших мужественных и доверчивых товарищей.

Эти предательства и жестокости не принесут победы постоянным врагам наших прав. Порукой этому — энергия, мужество и преданность национальной гвардии...»

Ни 18 марта, ни 3 апреля нельзя было приписать инициативу нападения Парижу. Он ограничивался тем, что протестовал против убийства женщин и детей, даже не возвещая репрессий против убийц. Ответом на клерикальные снаряды было простое — увы, совершенно платоническое — привлечение к ответственности правительства, эмигрировавшего в Версаль, подобно тому как некогда эмигрировали в Кобленц дворяне и духовенство.

«Парижская коммуна,

Принимая во внимание, что деятели версальского правительства приказали и начали гражданскую войну, атаковали Париж, убили и ранили национальных гвардейцев, линейных солдат, женщин и детей;



Бомбардировка Парижа

принимая во внимание, что это преступление совершенно было ими с заранее обдуманном намерением и с обманом, противно всякому праву, и не будучи на это ничем вызванными, — декретирует:

Ст. 1. Гг. Тьер, Фавр, Пикар, Дюфор, Симон и Потюо привлекаются к ответственности.

Ст. 2. Их имущество отбирается и сдается в секвестр до того времени, пока они не предстанут пред судом народа.

Приведение в исполнение настоящего декрета возлагается на делегатов юстиции и всеобщей безопасности».

Я считал нужным воспроизвести этот декрет о конфискации, ибо, не дерзая сознаться, что меня потащили на военный суд за статьи, опубликовать которые мне разрешала свобода печати, меня привлекли к суду не как журналиста, а как инициатора разрушения принадлежавшего Тьеру дома. Призыв к разрушению усмотрен был в заметке, где я вскрывал цинизм, с которым человек, бомбардировавший Париж, заявлял с трибуны национального собрания, что ни одного снаряда не было выпущено на Париж. И это в то время, как ядра сыпались на столицу сотнями, и даже на Елисейских полях, в пятидесяти метрах от Триумфальной арки, неподалеку от меня взорвался один снаряд. Я только написал в «Пароле»:

«ЗАЩИТНИКИ СОБСТВЕННОСТИ

Жирно питаюсь, прекрасно обставленные, обильно отапливаемые в красивом Версальском дворце, в котором некогда жил великий король, руководивший драконами²³⁷, люди правительства Сены-и-Уазы продолжают осыпать ядрами прохожих всякого пола и разрушать дома, им не принадлежащие.

Убивать женщин и детей — это, быть может, в порядке вещей. Но разрушать дома — дело грозное для реакционеров, единственная забота которых — охранять собственность.

Г-н Тьер владеет на площади Сен-Жорж чудесным особняком, наполненным всевозможными произведениями искусства. Г-н Пикар имеет на территории Парижа, из которого он дезертировал, три дома, приносящие огромный доход, а г-н Жюль Фавр занимает на Амстердамской улице принадлежащее ему роскошное помещение. Что сказали бы эти собственники и в то же время государственные деятели, если бы на производимые ими разрушения парижский народ отвечал ударами лома, если бы в ответ на каждый продырявленный снарядом дом в Курбвуа сваливали части стен дворца на площади Сен-Жорж или особняка на Амстердамской улице?

Я знаю этих великих политиков, которые торжественно изливают свое бескорыстие на зеленое сукно трибуны. Земные блага привлекают их неизмеримо больше, чем можно предполагать, глядя на их витающие в облаках головы. Не знаю, как

устраиваются эти мечтатели, но после двух месяцев министерской карьеры все они владеют рентой в сто тысяч ливров. Поэтому я убежден, что при первой же вести о том, что только искривлен молоток на его двери, г-н Тьер распорядится прекратить огонь.

Пусть нас назовут Тамерланом, но мы признаемся, что нас не очень отталкивали бы такие репрессалии, если бы они не связаны были с одним весьма существенным неудобством. Узнав, что народное правосудие сравнило с землей особняк г-на Тьера, стоивший два миллиона, заседающее в Версале собрание тотчас же преподнесет ему другой особняк, который обойдется в три миллиона. И так как по счету придется расплачиваться налогоплательщикам, мы видим себя вынужденными отсоветовать такой метод возмездия».

Постановление, сдававшее в секвестр дома г-на Тьера и нескольких министров, служило достаточным указанием, что они осуждены на снесение. Моя статья, следовательно, только ставила вопрос, на который она давала отрицательный ответ, ибо я буквально говорил: «Мы видим себя вынужденными отсоветовать такой метод возмездия». И тем не менее я, после ареста, предан был военному суду по обвинению «в командовании вооруженными бандами в видах ограбления и разрушения частной недвижимой собственности». Уподобить передовую статью командованию бандой было достойно католической и бретонской добросовестности. Но для разбойников все является мотивом для разбоя.

После провала 4 апреля Париж три дня оставался без вестей о Флурансе, который был убит в кровати в Рюейль, куда он скрылся. Убийцей был жандармский капитан, который, застав его совершенно беззащитным, с поистине воинской храбростью рассек ему голову сабельным ударом.

Дюваль, взятый в плен генералом Винуа, был тут же расстрелян, ибо если Коммуна оставляла жизнь взятым у неприятеля солдатам, — правительство г-на Тьера, верное принципам умеренности, не давало пощады складывавшим оружие побежденным. Винуа, удравший во все лопатки в утро 18 марта, захлебывался в крови... других, подобно всем людишкам, не очень любящим проливать свою собственную кровь.

— Кто командует этим войском? — спросил он.

— Я, — сказал Дюваль.

— Прекрасно. Расстрелять его!

— Пожалуйста!

И Дюваль сам пошел и стал перед выстроившимся отрядом.

Когда смерть этих двух смельчаков стала известна в Париже, она вызвала даже больше возмущения, нежели уныния. Проклинали версальских бандитов, но вместе с тем горько обвиняли инициаторов вылазки, столь плохо проведенной и столь

дорогой ценой оплаченной. Я в «Пароле» не останавливался перед попреками и даже перед насмешками над Коммуной по поводу фатальной экспедиции 4 апреля, после которой Винуа и Галиффе захлебывались в крови пленников.

Став на сторону Коммуны, я, разумеется, понимал, что она совершит не мало, по крайней мере, стратегических ошибок. Но, откровенно говоря, разве мог я по совести присоединиться к версальцам, к разбойникам, к убивающим тут же, на месте, без допросов, всех попадавших к ним в руки парижан, против которых они измыслили поразительное обвинение в том, что они преступно оставались в Париже?

Пусть читатель поразмыслит над простым происшествием, которое тогда же отмечено было в «*Rappel*» и точность которого легко проверить, так как трупы убитых покоятся на кладбище в Шату:

«Третьего дня три гражданина из 173-го батальона национальной гвардии, — капитан, сержант и рядовой гвардеец, — не найдя никакой пищи в своей стоянке в Рюейль, переправились через Сену у острова Шиар и зашли к одному ресторатору в Шату.

Едва успели они сесть за стол, как в ресторан ворвался значительный отряд драгун и африканских стрелков, которые схватили их, обезоружили и вывели на улицу, пролегающую вдоль церкви.

Подошел генерал, — известный бонапартистский генерал, имя которого нам называли, — и приказал этим трем гражданам стать на колени, и так как капитан отказался исполнить приказание, его силой заставили преклонить колена.

После этого все три гвардейца были расстреляны.

Лицо, сообщившее нам об этом ужасном факте, прибавило, что генерал распорядился забить в барабан, чтобы созвать жителей, которым он объявил, указывая на трупы, что таким же образом поступит со всеми, кто возьмется за оружие на стороне Коммуны.

Повторяем — мы этому не верим. Но если бы оказалось правдой, что версальцы расстреляли пленников, и притом захваченных не в бою, не комбатантами, нам оставалось бы спросить г-на Тьера, что мог бы он сказать убийцам Клемана Тома».

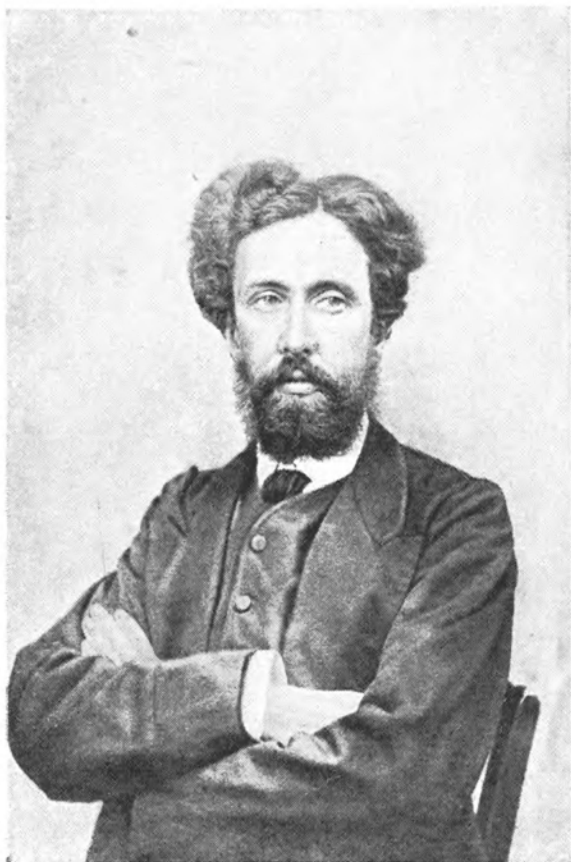
«*Rappel*» отказывался верить в это тройное убийство, а между тем это — несомненный факт, и жертвы его по сю пору вопиют о мести генералу Галиффе. Могло ли парижское правительство пред лицом подобных ужасов сохранить хладнокровие?

Вылазка 4 апреля была глубоко прискорбна. Но разве можно забывать, что вожди национальной гвардии были большей частью простые рабочие, лишь недавно покинувшие свои

мастерские и гораздо больше привыкшие повиноваться, чем командовать?

Они дрались, как могли, и не их вина, что дрались они неумело, хотя и мужественно. Ведь повстанческий генерал Дюваль обнаружил пред лицом смерти такое же мужество, какую слабость проявил пред ее лицом генерал регулярной армии Леконт.

Во всяком случае, их искренность и их честность, которые так часто пытались опорочить те, что впоследствии крали часы с трупов расстрелянных, остались неуязвимыми, и можно сказать, что никогда не было еще власти, которая осуществлялась бы с таким соблюдением экономии. Члены Коммуны назначили себе по 15 франков жалованья, включая и расходы на представительство. То, что версальская реакция именovala их «оргиями», сводилось к обедам, почти никогда не обходившимся дороже двух франков пятидесяти сантимов, а жена Журда, — этот факт часто приводился, — жена делегата по финансовому ведомству, державшего в своих руках миллионы Французского банка, продолжала во время всемогущества своего мужа ходить на реку стирать белье.



ФРАНСУА ЖУРД



ГЛАВА XIX

Деятели Коммуны. — Арест Гарибальди. — Г-н Тьер и республика. — Массовая манифестация. — Голодный Париж. — Россель. — В монастыре. — Статья «Таймс». — Публичные молитвы

Революция 18 марта, к нечаятью, не имела никакого выхода, ибо пруссаки, окружавшие нас, выступили бы в случае поражения Национального собрания против победителей, взявших за оружие только для того, чтобы протестовать против Бордоского мира. Даже их подлинная умеренность не избавила бы их от подготавливавшегося с помощью пруссаков кровопролития, и свирепый, но логичный Рауль Риго не переставал им твердить:

— Вы сдадите версальцев. Но в тот день, когда мы потерпим поражение, вы увидите, как они будут нас сдавать!

Видя, что их предложения о примирении встречались ружейными выстрелами, члены Коммуны етали, в конце концов, на сторону Рауля Риго и ответили на производившееся под командованием Винуа и Галиффе казни арестом архиепископа Дарбуа и настоятеля собора Магдалины — Дегери. Крик ужаса раздался в рядах версальцев при известии об этом кошунетве. И таким же криком ужаса деревенское Национальное собрание ветретило так называемый «декрет о заложниках», в котором Коммуна заявляла, что казнь каждого солдата революции будет отомщена умерщвлением трех солдат армии порядка.

Такие репрессии, в еущности, были вполне закономерны, ибо версальцам стоило только перестать расстреливать наших пленников, чтобы спасти жизнь тех пленников, которых мы

брали у них. Тем не менее эта предупредительная мера представлялась как самое чудовищное нарушение справедливости и человеколюбия.

Однако необходимо было так или иначе положить конец гекатомбам, которые тьеристские генералы так охотно укладывали. Вот, между прочим, что «Etoile belge» («Бельгийская звезда»), умеренная и в это время почти орлеанистская газета, сообщила 8 апреля:

«На полянке по левую сторону круглой площадки, подле форта Мон-Валериана, я вижу пять крестов, грубо сколоченных из ветвей. На одном из них военная кепка, рядом с другим лежит меховая шапка. На этом месте жандармы в воскресенье утром расстреляли взятых в плен пятерых национальных гвардейцев. Молодой человек, находившийся в нескольких метрах от этого мрачногo места в закрытом шалаше, присутствовал при этой ужасной драме.

Жандармы, которых было около двадцати человек, захватили этих пятерых федератов (из которых четверо были национальными гвардейцами, а один — линейным солдатом) неподалеку от круглой площадки Курбеуа. Ударами прикладов и сабель они довели пленных до места казни. Жандармы были в неопишемом гневе. Они хотели отвести пленников в Мон-Валериан, но силы этих несчастных были истощены. Только один из них, линейный солдат, совсем молодой юноша, еще держался и сопротивлялся. Руки у него были связаны назад.

Видя невозможность тащить своих пленников дальше, жандармы решили расправиться с ними тут же. Они поставили их в кучу друг против друга, зарядили свои карабины и отошли шагов на десять назад. «Пли!» — крикнул один из них. Раздался залп — и все пять жертв свалились друг на друга. Затем жандармы удалились, даже не убедившись в том, что их жертвы перестали жить.

— После ухода жандармов я прождал полчаса, — сказал молодой человек, — потом я подошел к этой ужасающей куче. Предо мной были бездыханные трупы. Только в понедельник утром их подобрали. На всех были следы сабельных ударов и прикладов, которыми их избили до расстрела. Четверо национальных гвардейцев были женаты; трое из них имели детей. Четвертый, женившийся только год тому назад, отвел накануне свою жену в родильный дом. Это был, как мне рассказали, прекраснейший молодой человек, добрый, тихий, скромный. Он работал всю ночь с субботы на воскресенье; в пять часов утра затрубили сбор, и он отправился. В полдень он был расстрелян!»

Версальские реакционные газеты тщательно умалчивали об этих ужасах, и все Винуа и Галиффе, поддерживаемые этим молчанием, продолжали походя расстреливать. И вдруг декрет

о заложниках заставил внезапно прекратить это зверское кровопролитие. Когда в реакционном лагере узнали, во что обойдется убийцам смерть каждой их жертвы, расстреливавшие генералы получили приказ не пускать больше в ход свои ружья. Один из моих товарищей по путешествию в Новую Каледонию рассказал мне, каким образом он, благодаря этому знаменитому декрету, вышел живым из могилы, в которой уже находился одной ногой.

Уже успели убить около пятнадцати пленников, и когда пришел его черед, он был поставлен к стенке с завязанными глазами, ибо эти палачи иногда соблюдали некоторую формальность. Он ожидал залпа и удивлялся, что палачи слишком медлят, как вдруг к нему подошел сержант и развязал закрывавший его глаза платок, крикнув в то же время стоявшему отряду:

— Налево кругом!

— В чем дело? — спросил ожидавший смерти.

— Дело в том, — ответил с сожалением лейтенант, командовавший расправой, — что Коммуна постановила, что она также будет расстреливать своих пленников, если мы будем продолжать расстреливать наших, и правительство запретило нам производить массовые расстрелы.

Таким-то путем тридцать других федератов были вместе с моим собеседником возвращены к жизни, но не отпущены: их отправили в казематы, откуда мой товарищ был одновременно со мною сослан в Новую Каледонию.

Постоянные неудачи разделили на два лагеря правительство Коммуны, половина которого хотела, подобно Версалю, действовать террором, а другая — продолжала настаивать на умеренной тактике, оставляя таким образом приоткрытую дверь для примирения. Но с каждым днем становилось все яснее, что победит крайняя политика. Рауль Риго, став постепенно действительным хозяином положения, высказывался в качестве эбертиста за сокрушение всяких помех и в случае надобности и людей. Он начал с того, что задушил все враждебные революции 18 марта газеты и стал постепенно притеснять даже те, которые его поддерживали. Ему отчасти помогал в этой чистке редактор газеты «Мститель» («Le Vengeur»), Феликс Пиа, честнейший и бескорыстнейший человек, страдавший однако тем недостатком, что только свои статьи считал серьезными и разумными. Пиа, ожесточенный длившимся свыше двадцати лет изгнанием, жаловался на то, что не занимал в республике такого места, на какое имел право, и в конце концов замкнулся в ворчливой и мизантропической оппозиции, не дававшей ему присоединяться к чьему бы то ни было мнению.

На чьей бы стороне ни оказалась победа, разразившаяся между Версалем и Парижем, борьба была неопровержимым об-

взвинченным приговором правительству национальной обороны. У нас не было оружия, — утверждало оно, — чтобы продолжать войну. А между тем, сдав неприятелю пушки, митральезы и снаряды, все же находили сотни новых пушек и снарядов для кровавых расправ.

Так, во время первой осады я не раз видел солдат, убежавших от неприятеля, не подвергаясь никаким взысканиям со стороны своих начальников. Но когда теперь солдат отказывался стрелять в своих соотечественников, он немедленно подвергался расстрелу. Во время первой осады героические подвиги против пруссаков едва отмечались. При второй осаде убицы французов приветствовались восторженными аплодисментами всего Национального собрания, и версальцы обнаруживали гораздо больше радости, когда они посылали федерата на смерть, чем когда они захватывали в плен целый германский батальон.

Главным лозунгом было там: «Все, но только не республика!»

Гамбетта своим итальянским чутьем понял, что если ему трудно было открыто присоединиться к партии коммунаров, — для него было бы позором подкрепить своим авторитетом версальские банды. Отказавшись от своего депутатского полномочия от Эльзаса, он поехал в Испанию, в Сен-Себастьян, отдохнуть от своей почти пятимесячной трудной кампании. Но его сотрудник по турецкому правительству, Артур Ранк, согласился принять место в городской ратуше. Однако, когда разразился острый кризис, Артур Ранк воспользовался предложением издания декрета о заложниках, чтобы послать свою отставку своим товарищам. Хотя в его обращении не было никакого указания на декрет о заложниках, все поняли, что именно эта мера была главной причиной принятого бывшим сотрудником Гамбетты решения. Но предсказание Рауля Риго осуществилось буквально. Хотя Артур Ранк и выявил таким образом свои умеренные взгляды, отказавшись присоединиться к слишком радикальным, по его мнению, мерам, тем не менее Национальное собрание предало его военному суду, вознаградившему его за его протест смертным приговором.

Смерть царя повсюду, и однажды офицеры и солдаты прислали нам следующее заявление, которое было расклеено по всему Парижу и произвело огромную сенсацию:

«Военный суд, заседающий в Версале, приговорил к смертной казни офицеров и унтер-офицеров армии, отказавшихся стрелять в народ.

Пусть судит нас парижский народ. Если мы виновны, мы готовы отвечать. Мы не падем трусами.

По уполномочию,

капитан *А. Пьер*, капитан *Бонавантюр*, сержант *Филиппо*».

Коммуна не награждала орденами, но их заменяли нашивки галуном, и на улицах можно было часто встретить федерированных офицеров, выходявших из фотографий. Эти театральные замашки приняли такие размеры, что генерал Ключере, делегат военного ведомства, счел необходимым положить им конец, издав следующую прокламацию:

«К национальной гвардии»

Граждане!

С грустью замечаю я, что, забывая свое скромное происхождение, мы начинаем увлекаться смехотворной манией галунов, нашивок и аксельбантов.

Рабочие, впервые совершили вы революцию труда во имя труда. Не будем отрекаться от нашего происхождения, а главное — не будем краснеть за него. Рабочими мы были, рабочие мы теперь, рабочими мы останемся. Не забудем, что мы восторжествовали во имя добродетели против порока, во имя долга против злоупотребления, во имя честности против продажности. Останемся людьми добродетельными, людьми долга прежде всего. Тогда мы учредим честную республику, единственную, которая может существовать и имеет право существовать.

Прежде чем прибегнуть к мерам взыскания, я призываю моих сограждан опомниться: не нужно больше ни аксельбантов, ни галунов, которыми так легко красоваться и которые ложатся такой тяжестью на нашу ответственность.

Впредь те офицеры, которые не смогут доказать своего права на ношение знаков своего чина и которые будут прицеплять к своей форме национальной гвардии аксельбанты и другие суетные знаки отличия, будут подвергаться дисциплинарным взысканиям.

Пользуюсь этим случаем призвать вссх к иерархическому повиновению во время службы. Повинуясь своим избранникам, вы повинуетесь самим себе.

Делегат военного ведомства Е. Ключере».

Однако с галунами или без них национальные гвардейцы стояли перед следующей альтернативой: либо овладеть Версалем, либо дать консерваторам-монархистам захватить Париж. Но захват Версаля отдалялся с каждым днем, а захват столицы с каждым днем приближался. Диктаторские декреты городской ратуши следовали один за другим, но никакого заметного результата они не давали.

Что касается меня, я посвятил себя исключительно своей газете, и хотя обвинительный акт, которым я предавался после «кровавой недели» третьему военному суду, называл меня «тайным вождем» Коммуны, я ни разу не был в городской ратуше и не встречался с теми, кто в ней заседал. Это до такой степени верно, что даже Ферре и Росселя²³⁸ я впервые увидел

во дворе версальской тюрьмы, возвращаясь со своей обычной прогулки. Однако люди, вероятно, думали, что я пользовался некоторым влиянием на избранников Парижа, ибо некоторые заключенные в силу декрета о заложниках обращались ко мне из Сент-Пелажи и Мазаса с наполненными мольбой и ужасами письмами, в которых просили о заступничестве пред виновниками их ареста. Один из этих корреспондентов, для которых я ничего не мог или очень мало мог сделать, был священник Кроз, который в течение многих лет при империи был тюремным священником и сопровождал на казнь множество приговоренных. Я не видел никакой надобности заставить этого старика расплачиваться за расстрелы, производившиеся по приказанию Тьера, и отправился в полицейскую префектуру, чтобы попытаться добиться освобождения заключенного. Я был очень сухо принят двумя служащими, ничего от них не добился, и мы расстались, обменявшись дозольно кислыми репликами.

Другой священник, архиепископ Дарбуа, был арестован с исключительно политической целью. Бланки, хотя и не был в Париже 18 марта, был арестован в провинции как осужденный по делу мятежа 31 октября, и бланкисты, которых много было в Коммуне, хотели предложить ханжам Национального собрания обменять парижского архиепископа и настоятеля собора Магдалины на революционера, бывшего их учителем и вождем. Коммуна строила себе на этот счет иллюзии. Католики версальского собрания весьма мало дорожили жизнью своего архиепископа и, вместо того, чтобы принести пользу ему, думали только о том, как бы использовать его. Его арест был для них предлогом к наступлению против атеизма, и его казнь вполне соответствовала их планам безудержной реакции. Они хотели удержать у себя Бланки и хотели, чтобы коммунары удержали Дарбуа.

Несчастный архиепископ, вовсе не желавший быть жертвой этого иезуитского плана, выбивался из сил, направляя каждый день Тьеру отчаянные просьбы, в которых настаивал на обмене Бланки за себя. Я видел одно из этих посланий, оригинал которого был в руках Флотта, некогда игравшего заметную роль в революции 1848 года. Послание было весьма ловко написано и, конечно, расчувствовало бы ультрамонтанов, если бы они не решили твердо дать пролиться крови этого прелата, дабы потом эксплуатировать его смерть. Он говорил в этом послании, что был очень тронут глубокой привязанностью «этих господ» к своему старому учителю Бланки, и просил своего обмена на знаменитого заговорщика, чтобы доставить им радость снова свидеться с ним. Нетрудно догадаться, как он относился к «этим господам», которые бросили его в Мазас и один из которых, Рауль Риго, подвергал его допросам в роде следующего:

- Ваша профессия?
- Служитель бога.
- Секретарь, пишите: «Дарбуа, состоящий на службе у некоего бога».
- Где проживает ваш хозяин?
- Он повсюду.
- Секретарь, запишите, что, по собственному признанию обвиняемого, его хозяин находится в состоянии непрерывного бродяжничества.

Рауля Риго сильно попрекали этими мрачными и даже похоронными шутками, но версальское правительство легко могло им положить конец. К Риго, которого мы называли начальником «экзекуторской власти», командировали одного викария по имени Лагард, которого выпустили из тюрьмы и которому архиепископ вручил собственноручное письмо для передачи Тьеру, на которого оно не произвело никакого впечатления. Лагард, который клялся Иисусом Христом вернуться в Париж и дать отчет о своем поручении архиепископу, остался в Версале, не давая о себе никаких вестей. Не в рядах духовенства, конечно, можно встретить Регула. Этот клятвопреступник, которому обещана была свобода за исполнение порученной ему миссии, не имел однако никаких причин опасаться за свою судьбу. Члены Коммуны были честные люди, которые сочли бы своею обязанностью сдержать свое слово. Недобросовестность и трусость аббата Лагарда сильно содействовали восстановлению коммунаров против духовенства, и многие священники впоследствии расплатились своею смертью за это нарушение обещания, которому трагические обстоятельства придавали священный характер.

Так как аббат улизнул, дальнейшее ведение переговоров было возложено на Флотта, который отправился в Версаль с новым письмом архиепископа. Тьер отказался даже его прочесть, и Флотт вернулся обратно ни с чем.

Между тем голод усиливался в столице, где приостановилось всякое производство и где на тридцать су в день, составлявшие жалование национальных гвардейцев, должны были иногда жить целые семьи в шесть и больше человек.

Лига «Прав Парижа», состоявшая из склонных к примирению умеренных людей, делегировала трех своих членов в Версаль, чтобы попытаться добиться соглашения, после которого обе стороны сложили бы оружие. Тьер ответил им таким же категорическим отказом, как и архиепископу парижскому и настоятелю собора Магдалины. Его ответы были безумны, а его требования походили на требования какого-нибудь Тамерлана или Али-паши. Он требовал, чтобы армия федератов сложила оружие и разошлась по домам. Но при этом он, со своей стороны, отказывался дать какие бы то ни было обещания

в ответ на уступку, которая, по существу, была простой капи-туляцией.

Предумышленное упорство Тьера, неизменно отвергавшего всякие переговоры даже в обмен на архиепископа, указывало на весь размах его плана. Ему нужна была казнь Дарбуа и настоятеля собора Магдалины. Если бы Коммуна в порыве великодушия отослала ему без всяких условий обоих священников, она поставила бы его в самое затруднительное положение.

По чувству добросовестности, которую многие считали излишней, делегация Коммуны ведомства финансов слишком скрупулезно охраняла деньги Французского банка, которые находились в ее распоряжении и которые она могла легко конфисковать. Но так как национальные гвардейцы требовали уплаты жалования, выдвинута была мысль вычеканить монету из серебра, принадлежавшего короне и министерству иностранных дел. От этой мысли отказались, считая, что игра не стоит свеч. Но как только слух об этом плане дошел до Версаля, там его объявили уже совершившимся фактом. Жюль Фавр и его коллеги по министерству стали с негодованием кричать о «воровстве», и я счел себя вынужденным спросить их, забыли ли они, что 8 сентября 1870 г. министр финансов правительства национальной обороны, Эрнест Пикар, внес точно такое же предложение. Он буквально требовал посылки в монетный двор всего столового серебра, в изобилии имевшегося в Тюильрийском дворце. Это предложение было принято без всяких прений и без колебания было бы приведено в исполнение, если бы оказался малейший недостаток в разменной монете.

Так как Эрнест Пикар предложил совершить эту операцию, — следовательно, он считал себя вправе это сделать. Но почему же люди, сами себя назначившие и усевшиеся по своей собственной инициативе в городской ратуше в качестве членов правительства, имели право распоряжаться серебром, принадлежавшим им гораздо менее, чем Коммуне, избранной ста пятьюдесятью тысячами избирателей?

Пикар даже говорил нам о своем намерении распродать бриллианты короны, если найдется выгодный покупатель. А между тем ни одному из членов правительства не приходило тогда в голову, что они не имеют права продавать символы и орнаменты монархии для облегчения бедствий нации и республики. Так как правительство, членами которого они были, заменено было другим правительством, — последнее, пользуясь теми же правами, обязано было поступить точно таким же образом, когда необходимость этого требовала.

Эд командовал фортом Исси, где снаряды дождем падали по целым дням и ночам. Его жена, столь же мужественная, как и он, выпускала снаряды с высоты укреплений форта с такой

точностью прицела, что даже корреспондент «Таймс» отмечал это в своих статьях. У нее было четверо детей, состоящих в настоящее время под моей опекой, и умерла она совсем еще молодой от легочной болезни.

Хотя Версаль находится на расстоянии получаса езды от Парижа, — казалось, что монархисты, эмигрировавшие туда, создали себе как бы новый Кобленц, до такой степени атмосфера, в какой они жили, мало походила на нашу атмосферу. Они видели все в другом свете. Слова у них имели совсем другой смысл. В их глазах человек виновен был в восстании только потому, что после 18 марта продолжал жить в той же квартире, в которой жил раньше, вместо того чтобы переехать в главный город департамента Сены-и-Уазы.

Так, Эдуард Локруа, вздумавший совершить прогулку в Нейи, был там арестован, и немногого недоставало, чтобы его расстреляли за то, что он упорно оставался в Париже. Этот арест, переходивший все пределы произвола, вызвал с моей стороны следующий протест:

«Пусть беглецы, вздрагивающие от ужаса при вести об арестах, которые Коммуна, — мы это признаем, — производит часто без основания, объяснят нам, по какому праву и под каким предлогом их жандармерия захватила гражданина, на арест которого у нее не было никакого ордера.

Потому ли был схвачен гражданин Локруа, что он вышел в отставку в качестве члена версальского собрания, и не заставят ли его силою вернуться в зал заседаний, в надежде, что речи никому неизвестных реакционеров обратят его в их веру? Потому ли, что он печатал в «Rappel» статьи, в которых беглец Винуа и прекрасно чувствующий себя Дюкро не возносились на Троянские колонны?

Мы не сомневаемся в том, что первосвященник, отправляющий службы в Версале, подготавливает к маю месяцу для печати один из тех сентябрьских законов²³⁰, которые он такой мастер составлять. Но в ожидании того времени, когда они будут связаны по рукам и по ногам, журналисты свободны, и даже самому палачески настроенному реакционеру нет возможности найти декрет, который после 4 сентября запрещал бы писателю называть Винуа убийцею, а Дюкро — комедиантом.

Наш товарищ не был взят с оружием в руках, ибо «Versailles-Journal» сообщает, что он был в гражданской одежде и прогуливался. Его единственное преступление состояло, следовательно, в том, что он живет в Париже».

Что особенно бросалось в глаза и в связи с примирительными переговорами и в связи с вооруженными столкновениями — это из ряда вон выходящее лицемерие Тьера. Когда

некоторые искренно верующие депутаты правдой, для которых религия не была только средством управлением, спросили его после казни архиепископа и аббата Дегери, по какой причине он не ответил на мольбы последних, требовавших своего обмена на Бланки, он имел бесстыдство им ответить:

— У меня не было никаких доказательств в подлинности их писем.

А между тем их ему вручил викарий Лагард от обоих заключенных, почерк которых было к тому же очень легко установить.

А вот еще другой пример его жульничества. Он составил и расклеил по всей стране циркуляр ко всем префектам, заключавший между другими измышлениями такой изумительный пассаж: «Повстанцы опустошают главные дома в Париже, чтобы распродать в пользу Коммуны их обстановку, что является возмутительнейшим грабежом».

Мы потребовали у него после такого точно сформулированного обвинения, чтобы он указал хотя бы один дом, обстановка которого была бы пущена в продажу в пользу Коммуны, которая к тому же вовсе не нуждалась в распродаже мебели, ибо она имела в своем распоряжении кассы Французского банка. Но Тьеру нужно было ослеплять глаза населения призраком грабежа, и он не обинуясь ослеплял их. Эта клевета была тем более бесчестна, что в это время версальские ядра разрушали дома на Елисейских полях, и нужно было особое бесстыдство, чтобы ссылаться при этом на уважение к частной собственности. К тому же гораздо менее преступно было продавать дома, чем их разрушать.

Возводя бесстыдство в степень правительственного института, он в следующих выражениях отрицал самый факт, что версальское правительство бомбардирует Париж. «Если и слышны бывают пушечные выстрелы, — говорилось в его циркуляре, — то это происходит не по вине правительства, а по вине повстанцев, желающих сделать вид, что они сражаются, между тем как в действительности они не дерзают показываться».

На это кривляние базарного клоуна мы отвечали в «Пароле» такими аргументами, на которые не могло быть никаких возражений:

«... Так, на барельефах Триумфальной арки можно насчитать восемьдесят следов ядер. Улица Галилея стала совершенно необитаемой; крыши на домах рушатся под снарядами, — и это не версальские войска бомбардируют Париж! Кто же это делает? Быть может, войска Коммуны сами разрушают здания, чтобы заставить думать, что г-н Тьер способен бомбардировать столицу, которая его избрала с ничтожным, впрочем, большинством?»

Что касается повстанцев, «которые желают делать вид, будто они сражаются, между тем как в действительности они не держат показываться», то даже гомеровская «Илиада» не содержит ничего подобного. Ведь ваши же газеты, официальная и официозные, каждый день публикуют списки ваших жертв. Если «повстанцы» делают вид, будто сражаются, то версальцы, привозимые в ваши госпитали, делают, следовательно, вид, будто они ранены, а может быть и притворяются, будто они убиты?»

Особенно беспокоила старого Тьера боязнь, как бы коммунистское движение ²⁴⁰ не распространилось на провинцию. Некоторые крупные города угрожали Версалию, что объявят у себя Коммуну, если он не установит соглашения с Парижем. Пять делегатов из Лиона приехали к Флоке ^{240*}, который их повел к Тьеру. Видя настроение некоторых департаментов, бомбардировщик почти обещал завязать переговоры. Говорю «почти», ибо он не дал ни положительного, ни отрицательного ответа, что избавило его от необходимости лишней раз солгать.

Другие делегаты, а именно делегаты города Сент-Омер, приехали с таким же предложением к главе исполнительной власти, и им он дал такой же ответ. Но при этом об его беспокойстве достаточно свидетельствовало то обстоятельство, что он выдал всем делегатам, как лионским, так и сент-омерским, пропуска для поездки в Париж и для свидания с членами Коммуны, чтобы попытаться добиться соглашения.

Тем временем канонада продолжалась. Тьер, видимо, окончательно решил дать расстрелять архиепископа и создать таким образом в рядах роялистов такое настроение, чтобы сделать всякий стовор с Парижем невозможным.

Как-то я около десяти часов утра пошел на авеню Терн посмотреть разрушения от канонады. Я увидел одного человека, державшего за руку девочку приблизительно девяти лет, чисто одетую и горько плакавшую. Бедное дитя рассказывало, что они вышли с матерью купить молока, и мать, раненная в руку осколком снаряда, отвезена была в госпиталь Божон. Девочка с плачем повторяла:

— Хочу видеть маму! Где он, этот госпиталь Божон?

Ведший ее человек с улыбкой повел ее по направлению к госпиталю. Вдруг он застонал: он тоже был ранен осколком снаряда в правую ногу. К нему бросились на помощь, его положили на носилки и понесли в тот самый госпиталь Божон, куда он вел девочку. Последняя пошла за кортежем и могла таким образом свидеться с матерью, рана которой, к счастью, оказалась не очень тяжелой.

Отрицать при таких условиях факт бомбардировки было со стороны Тьера простым издевательством над людской доверчивостью. Его примеру следовали, впрочем, очень многие. Теа-

тральный критик Франциск Сарсе, случайно ставший политическим деятелем, в виду закрытия театра, рассказывал в издававшемся в Версале «Голуа» со всеми подробностями о «грабеже» особняка Тьера, приписывая мне командование этим грабежом. О характере его повествования можно судить по следующему абзацу:

«Особенно много было женщин. Большинство из них держало в руках рошфоровский «Пароль» и производило грабеж при криках: «Да здравствует Рошфор!», «Да здравствует Рошфор!»

Бедный Рошфор! Докатиться до того, что его имя стало знаменем для грабителей, до того, что хотя бы на один день его можно было счесть вождем воров! Какое падение и какое наказание!»

И в это же время весь Париж знал и весь Версаль мог знать, что в тот день, т. е. 18 апреля, еще ни одна иглолка не была вынесена из особняка на площади Сен-Жорж, который был опечатан согласно декрету Коммуны, взявшей в секвестр имущество бомбардировщика.

Легенда о женщинах, якобы очищающих особняк Тьера при восклицаниях «да здравствует Рошфор!», была бы поэтому смехотворна, если бы она не создана была нарочито для того, чтобы подготовить общественное мнение к ужасающей майской бойне. Нас называли грабителями, а между тем мы-то и были гнусно ограблены во время разрушения Парижа.

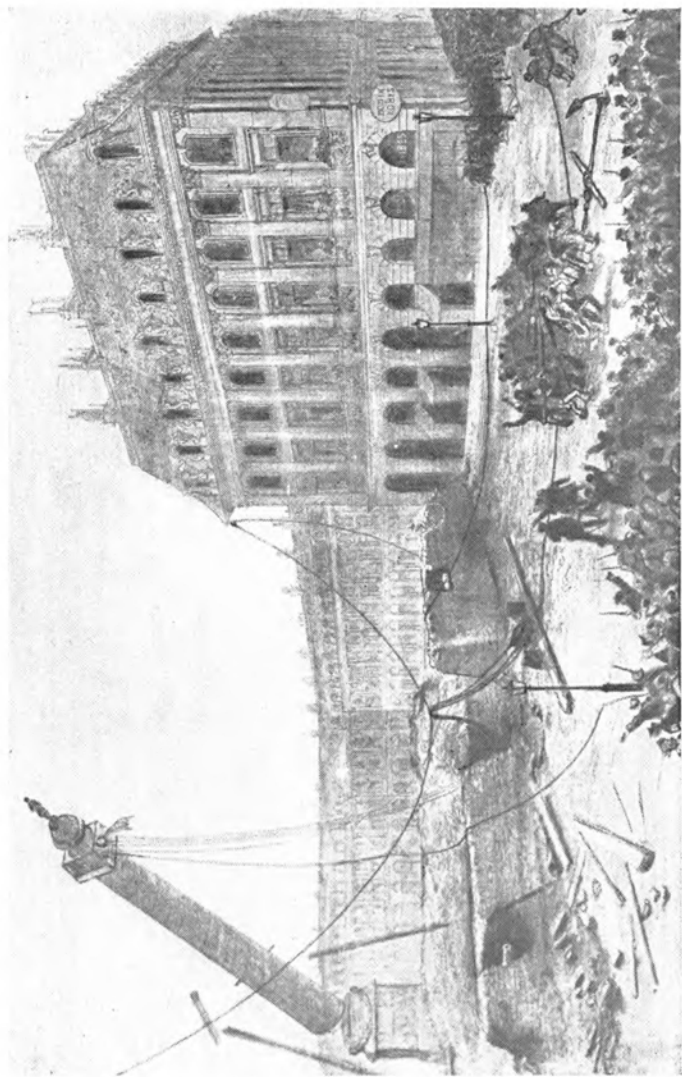
Дабы проявить свою ненависть к обоим Бонапартам, навлекшим на нас три нашествия, Коммуна постановила сбросить Вандомскую колонну ²⁴¹.

Эту бронзу, на которую никогда не смотрят матери,
Бронзу, возвращенную их слезами.

В небольшой заметке я обратил внимание на то, что еще с большим основанием необходимо разрушить искупительную часовню, символизирующую непрерывное оскорбление Национальному конвенту, единогласно приговорившему Людовика XVI к смерти за призыв иностранцев во Францию. Этот протест против республики нельзя было дольше терпеть.

Вандомская колонна была свалена, но искупительная часовня осталась и стоит еще доныне. Однако следователи при военных судах коснели в таком невежестве относительно актов Коммуны, что, полагаясь на заметку в «Пароле», выдвинули против меня обвинение в разрушении часовни, которую никто не разрушал.

Арест Локруа, виновного в прогулке за пределами городских укреплений, был, вопреки нашим протестам, превращен



СВЕРЖЕНИЕ ВАНДОМСКОЙ КОЛОННЫ

в окончательное заключение. Но Тьер, коварный как всегда, лично пошел к заключенному и сделал ему поистине версальское предложение. В канцелярии Национального собрания заметили, дескать, что отставка Локруа не была формально передана председателю. Поэтому, если ему угодно, он может продолжать считать себя неприкосновенным и снова занять свое место в версальском театральном зале. Но это ему не угодно было. Он заявил, что его отставка была подана достаточно серьезно, и он не испытывает ни малейшего желания взять ее назад. И так как он был арестован с нарушением самых элементарных прав, у него не было никаких мотивов вытаскивать правительство из того беззакония, на которое оно решилось.

Тьер в смущении удалился, а Локруа оставался под арестом до конца Коммуны. Но если бы он согласился принять бесчестное предложение старого Тьера, последний поспешил бы, конечно, оповестить всех, что Локруа, возмущенный казнями, грабежами и другими деяниями, совершавшимися в Париже, прибыл в Версаль взять обратно свою отставку и снова занять свое место в Национальном собрании.

То, что впоследствии стали называть «душевным настроением», было до такой степени различно в департаментах Сены, с одной стороны, и Сены-и-Уазы — с другой, что когда депутат Жан Брюне высказал в собрании несколько соображений о прекращении кровопролития, вся правая в один голос закричала: — С разбойниками не ведут переговоров!

Это восклицание я следующим образом комментировал в своей газете:

«В первых коммунальных выборах участвовали сто сорок тысяч избирателей. Об этих-то разбойниках, очевидно, говорили версальские депутаты. Если к ним прибавить восемьдесят других разбойников, избранных означенными ста сорока тысячами, мы получим почти невероятное множество разбойников. К сожалению, как среди избирателей, так и среди избранных насчитывается некоторое число разбойников, которым народ поручил задолго до 18 марта представлять его интересы в Бордо. Так, разбойник Малон получил сто тридцать тысяч голосов, разбойник Делькюз собрал сто пятьдесят три тысячи, разбойник Курне — сто десять тысяч и разбойник Феликс Пиа — сто сорок одну тысячу.

Нет ни мужчин, ни женщин, — все разбойники! Такого мнения держится на наш счет Версаль. Журналисты, которые, подобно нам, поддерживают Коммуну, — разбойники. Политические деятели, входящие в ее состав, — тоже разбойники. Правда, пациенты парламентского дома отдыха измыслили доселе неведомое средство борьбы с разбоем — посылать для борьбы с ним честных людей, называющихся Винуа, Галиффе и даже Канробер, ныне официально заседающий в Версале».

Коммуна, к сожалению, лила воду на мельницу Версаля, объявляя избранными кандидатов, которые за отсутствием избирателей получали такое ничтожное число голосов, что казалось, будто они сами себя избрали. Голосование производилось семейным порядком, так что какой-нибудь гражданин оказывался членом Коммуны, выйдя из комнаты, в которой он оставался в течение нескольких минут с десятком товарищей. Это делало столь смехотворными избирательные процедуры, что Рожар написал членам Коммуны письмо, в котором протестовал против объявления себя избранным, хотя не получил достаточного числа голосов, необходимого, чтобы быть представителем целого округа.

Мы в «Пароле» энергично протестовали против таких избирательных приемов, и, несмотря на его явно враждебное ко мне отношение, Феликс Пиа высказался в нашем духе, остроумно заметив, «что избираемые не имеют права заменять избирателей». «Рожденная от голосования, — прибавил он, — Коммуна убивает себя, пополняясь без него». И он предупредил своих товарищей, что скорее подаст в отставку, нежели присоединится к этой узурпации избирательного права.

Эти трения, грозившие привести к полному расколу, усиливали уверенность осаждавших, продвигавшихся с каждым днем все дальше, непрестанно получая от пруссаков новые отряды пленников. Почти ежедневно происходили под председательством Мак-Магона военные советы, на которых взвешивались два вопроса: вторгнуться в Париж или взять его голодом. Но чтобы добиться того или другого исхода, нужно было прежде всего замкнуть круг вокруг столицы.

Тьер, которого мы называли «очковой змеей», ликовал, получая сообщения о раздирающих Париж разногласиях. Он уже считал себя господином Парижа, и только с очень большим трудом у него можно было вырвать согласие на временное прекращение военных действий, чтобы дать жителям Нейи возможность эвакуировать город, в котором невозможно было оставаться. Версальская исполнительная власть так упорно отказывалась от согласия на эту гуманитарную меру, что прекращение военных действий пришлось отложить на целый день, — и это послужило причиной ряда драм. Многие жители Нейи уже сложили свою обстановку на повозки, как вдруг канонада, которая должна была прекратиться, возобновилась с еще большей силою, чем раньше, так что несчастные эмигранты должны были поспешно снова укрыться в подвалы, где они скрывались уже несколько дней.

Исход из Нейи был отложен на следующий день, и вытянувшиеся вдоль Триумфальной арки и Елисейских полей ручные тележки, которые, за отсутствием лошадей, тащили сами жители, напоминали одну из тех гравюр Калло, серию которых

он назвал «Ужасы войны». И в довершение бедствия это были ужасы гражданской войны.

Огромное большинство парижан продолжало требовать примирения, которое кровавый Том-Пус, царствовавший в Версале, продолжал отвергать, считая это унижением для своего суверенного достоинства. А между тем все прилагали усилия, чтобы добиться соглашения: Лига «Прав Парижа», делегаты Лиона и масонские ложи, представители которых Тьер принял почти грубо. Обстановка, при которой он их выпроводил, лишней раз свидетельствовала что именно Пикар и Тьер вызвали и организовали страшную борьбу, подготовив этим окончательную бойню. Систематически в течение двух месяцев они уклонялись от всяких предложений, способных остановить кровопролитие. Это необходимо постоянно отмечать, дабы история, которая должна еще сказать свое слово об этом жестоком времени, окончательно записала в актив версальского правительства те кучи трупов, которые навалены были в Париже во время «кровавой недели».

То было царство ненависти ко всему, что не принадлежало к мрачной clerикальной реакции. Даже Гарибальди, который только что дрался за нас, как лев, дав стольким нашим бездарным генералам уроки тактики и мужества, считался Тьером и его близкими простым повстанцем Коммуны. Прочтите, например, следующую конфиденциальную депешу, посланную из Версаля и переданную префектом Варского департамента тулонскому морскому префекту. Она гнусна, но особенно поучительна:

«Версаль, 28 марта».

Гарибальди и его сыновьям не должен быть разрешен въезд во Францию. Если они уже прискали, благоволите сделать распоряжение об их аресте. Войдите по этому поводу в соглашение с судебными властями для приведения в исполнение этого приказа.

Подписано: генерал *Лапортери*».

Так, решив окончательно перерезать ту нить, которая еще связывала его с демократией, и дать реакционерам Национального собрания новые доказательства своей покорности, Тьер подписал приказ об аресте самого удивительного и самого знаменитого борца за угнетенные народы, великого освободителя Италии, героя Марсальи, руки которого еще были черны от французского пороха и запечатлены прусской кровью.

Да и вообще планы монархической реставрации открыто обсуждались в парламентских и правительственных кругах. Единственный спорный вопрос сводился к тому, какая из двух ветвей — старшая или младшая — воссядет на трон. В ожидании решения, которое все считали неизбежным, версальские

газеты официально возвещали, что герцог Омальский и принц Жуанвиль прибыли в департамент Орн, неподалеку от Алансона, где они жили в замке г-на Одифре-Папье, депутата Национального собрания. А между тем особым декретом вся семья Орлеанов изгнана была из Франции, — и тем не менее двое сыновей Луи-Филиппа в нарушение закона заведомо для всех находились у члена Национального собрания.

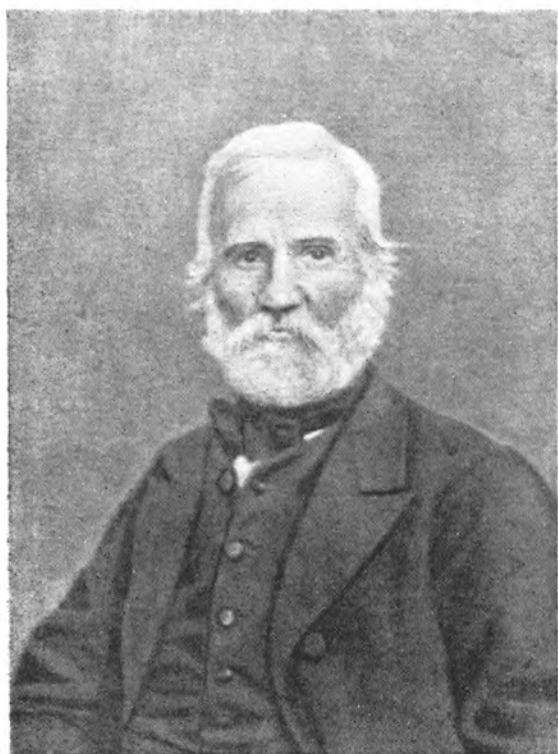
Таким образом нельзя было отрицать нарушение данного слова Тьером, терпевшим и поддерживавшим нарушение еще находившегося в силе декрета. Уже не только орлеанисты, но сами Орлеаны приехали плести заговоры.

К Бланки, арестованному в провинции после его осуждения за восстание 31 октября, относились менее благожелательно. Вместо того, чтобы отдать его членам Коммуны, которые в обмен дали бы архиепископу и настоятелю собора Магдалины свободу и паспорта на выезд, Тьер решил задержать его заложником, подражая в этом Коммуне, против которой он так неистовствовал. При этом его не только не считали обычным арестантом, но превратили его как бы в человека с железной маской, окружив его тайной и мраком могилы. Его сестра просила если не свидания, то по крайней мере сообщения о том, где он находится. Но было строго запрещено кому бы то ни было давать сведения об этом. И это заставило меня с негодованием писать:

«Бланки, приговоренный заочно к смерти, найден и арестован. Пусть так. Правительству, арестовавшему его, остается только предать его суду присяжных. Но любители законности, заседающие в версальских казармах, нашли более удобным, отказав своему пленнику даже в военном суде, на каковой он имеет право, законопатить его в неведомой конуре и содержать его в такой изоляции, что никто не знает, в какой тюрьме он заключен и умер ли он там или только умирает.

Это превосходит все пределы безумия. Закон, разрешающий чудовищную и бесполезную меру, которая называется «содержать в изоляции», никогда, ни в какое время, ни под каким режимом, как бы жесток он ни был, не разрешал уничтожения, т. е. полного сокрытия обвиняемого. Последний, говорит кодекс, «должен, по первому требованию семьи, немедленно быть ей представлен», дабы она могла убедиться, что он не был убит в тюрьме теми, кто заинтересован в его смерти.

А между тем в ответ на столь трогательное письмо сестры Бланки, просившей если не свидания, то по крайней мере сообщения о том, в какой могиле и под каким могильным камнем версальские тюремщики погребли его живым, юрист Тьер вместе с юристом Дюфором отказались допустить какие бы то ни было сношения с их заключенным и дать какие бы то ни было сведения о нем до восстановления порядка».



Огюст Бланки

Масонские ложы не только протестовали манифестами, но организовали большую демонстрацию для выражения, под дождем снарядов и с развернутыми знаменами, своего желания добиться примирения враждующих сторон.

Трудно было после этой огромной и импозантной манифестации продолжать называть защитников Коммуны «кучкой мятежников». Бесспорно величественное зрелище представляли собою эти безоружные толпы, со всех сторон подходившие к укрепленным холмам засвидетельствовать пред лицом грубой силы кипевшее в них негодование. С девяти часов утра компактные массы заполнили улицу Риволи, площадь Согласия и окрестности городской ратуши. Депутация от членов Коммуны, во главе с оркестром музыки, направилась к Лувру, на встречу франк-масонской манифестации. В кортеже участвовало свыше десяти тысяч франк-масонов, с синими, красными и черными знаменами. Представлены были все три французских ордена: Гранд-Ориан, Шотландский орден и орден Мисраим. Разноцветные знамена придавали манифестации импозантный и торжественный вид. На улицах всюду за манифестацией шла масса народа. Кортеж двигался с площади Бастилии, где все знамена преклонялись пред Июльской колонной. Оттуда кортеж следовал по линии больших бульваров до собора Магдалины и к двум часам прибыл на круглую площадь Триумфальной арки с восклицаниями: «Да здравствует Коммуна!», «Да здравствует республика!», на которые отвечал гул версальских бомб.

Делегаты лож, за которыми следовали знаменосцы, стали собираться на углу бульвара Ваграм. В этот момент упали и взорвались перед колонной снаряды, повидимому, направленные против франк-масонов. Тогда франк-масоны собрались под Триумфальной аркой, а делегация парламентариев, вслед за которой двигались шестьдесят знамен, пошла спокойно и торжественно по авеню Великой армии среди огня разрывавшихся ядер.

В это время во множестве и густо падавшие бомбы стали взрываться на круглой площади Звезды, до авеню Фридланд и бывшего Госманского бульвара. Один франк-масон Шотландского ордена, задетый осколком снаряда, отнесен был в госпиталь Божон.

Группа старших офицеров галопом понеслась по направлению к Триумфальной арке. После короткого совещания с некоторыми франк-масонскими вождями они умчались назад, приветствуемые восклицаниями толпы.

Бомбы густо и часто падали во всем квартале. Народное негодование дошло до крайнего напряжения.

Делегаты добрались до укрепленных валов, не потеряв, несмотря на обилие взрывавшихся снарядов, ни одного человека.

Несколько часов спустя депутация вернулась, и франк-масоны торжественно вступили в почетный двор городской

ратуши, заранее убранный для их приема. «Мстители республики» и 71-й батальон национальной гвардии составляли почетный караул.

Все члены Коммуны в полном составе вышли на балкон почетной лестницы перед статуей Республики, опоясанной красным шарфом и окруженной трофеями знамен Коммуны. Масонские знаменосцы выстроились на ступенях лестницы.

Как только двор наполнился, со всех сторон раздались крики: «Да здравствует Коммуна!», «Да здравствует франкмасонство!», «Да здравствует всемирная республика!»

Эта попытка всеобщего единения встречена была пушечными выстрелами. Но Тьер, желая вырыть между борцами еще более глубокую пропасть, принял совсем прусское решение отдать Париж в жертву голоду. Раньше он отрицал факт бомбардировки, — теперь он стал отрицать голодный заговор. Но следующий приказ, который швырнули ему в лицо, не оставлял никакого сомнения в его убийственных планах:

Начальник станции Крейль г-ну Сессэ, главному инспектору в Руане

«В силу приказа делегированного в Крейль полицейского комиссара, все продовольственные продукты, направляемые в Париж, задерживаются здесь для отсылки обратно на исходную станцию. Благоволите принять необходимые меры для приостановки дальнейшего отправления указанного рода товаров по этому назначению.

Начальник станции Крейль».

А между тем Тьер постоянно повторял, что он ведет войну не с парижским населением, к которому он продолжает питать самую горячую симпатию, а с членами Коммуны, которых он обвинял в том, что они держат население под игмом при помощи небывалой в истории системы террора.

Он должен был, следовательно, понимать, что голод, на который он обрекал Париж, будет менее губителен для правящих, чем для управляемых. Стало быть, обречь Париж на голод — значило идти против той цели, которую правительство публично выставляло, ибо действительно голодающими оказались бы не деятели Коммуны, а именно жители Парижа, которых он объявлял совершенно неповинными во всем, что происходило, и которых он продолжал считать жертвами.

Но Тьер прекрасно знал, что ему не нужно логики, чтобы убедить свою деревенщину, тем более, что в действительности Париж был одинаково ненавистен и ему и деревенщине.

Вдруг, вследствие какого-то неопределенного обвинения, делегат военного ведомства, генерал Кюзере, был смещен и арестован. Нужно полагать, что инкриминировалось ему что-то весьма туманное, потому что он почти тотчас же был выпу-

щен на свободу. Но во время его заключения он был заменен совсем молодым капитаном инженерных войск, Росселем. Последний после заговора против Базена, изменнические планы которого стали ясны для него, пробрался через прусскую линию и, вместо того чтобы выбрать путь на Версаль, направился в Париж отдать себя в распоряжение Коммуны.

У Росселя от природы была какая-то американская инициатива, которая делала его врагом той дисциплины, без которой, как утверждают, нельзя побеждать. Он стал активно вести работу по организации обороны и на несколько дней снова вернул доверие федератам, в рядах которых разрасталось безнадежное настроение. На требования Тьера, каждый день говорившего парижанам «сдавайтесь!» и отказывавшегося ставить при этом какие бы то ни было условия, Россель отвечал хладнокровно-резкими прокламациями человека, повидимому, уверенного в себе.

К несчастью, военная диктатура, так своеобразно осуществлявшаяся генералом Трошю, внушила отвращение федератам к режиму сабли, который уничтожает свободу, не обеспечивая победы. У Росселя были поэтому связаны руки, а он с презрением бывшего капитана регулярной армии к советам и требованиям штатских людей из городской ратуши требовал от всех повиновения, себя в то же время не считая обязанным никому повиноваться. Между ним и Коммуной не замедлили вследствие этого возникнуть трения, и вскоре на его горизонте показался призрак ареста. Между тем у этого вождя инсurreкции не было недостатка в энергии, а именно энергия больше всего нужна была в этот критический момент.

Когда полковник Леперш, осадивший форт Исси, потребовал от имени версальской армии сдачи форта «без других условий, кроме сохранения жизни гарнизону и предоставления свободы без права оставаться в Париже», Россель ответил: «Если вы еще раз позволите себе обратиться к нам с таким наглым требованием, как то, которое заключается в вашем вчерашнем собственноручном письме, я, согласно обычаям войны, прикажу расстрелять вашего парламентаря».

Необходимо при этом отметить, что гражданин Россель и полковник Леперш были при капитуляции Метца главными вождями движения, ставившего себе целью вооруженной силой бороться против происков Базена. Но это революционное поведение только наполовину восстановило доверие подозрительных деятелей городской ратуши, которые, хотя и сознавали почти полную безнадежность своего положения, боялись быть обязанными солдату своим спасением.

В мирное время подобные заподозриванья имеют лишь относительное значение, но когда они в моменты военного кризиса проявляются по отношению к генералу, они быстро становятся общественным бедствием.

Необходимо было действовать быстро и энергично. Версаль стоял у наших ворот, и в то время как носители коммунальной власти проводили свои дни в том, что наблюдали друг за другом, — враг, в свою очередь, наблюдал за ними. Нам слишком нужно было остерегаться Тьера, чтобы еще остерегаться генерала Клюзере, генерала Бержере, полковника Росселя и бесчисленного множества других граждан.

Необходимо было, следовательно, поскорее решиться на что-нибудь, и единственное практическое решение состояло в том, чтобы поставить во главе войск Коммуны временного диктатора, который имел бы право смещать не только тех, кому он не доверял, но и тех, — и даже главным образом тех, — кто не доверял ему.

А пока каждую неделю смещали военного командира, и если менялись генералы, то положение оставалось неизменно тяжким.

И действительно, 11 мая, днем, Россель был арестован по постановлению Комитета общественного спасения, т. е. Рауля Риго, и заключен в бюро квесторов городской ратуши. Но Шарль Жерарден, член Коммуны, приставленный к нему в качестве стражника, открыл ему двери его небольшого помещения и ушел вместе с ним. Были изданы приказы об аресте обоих беглецов, но их не нашли, и парижская армия осталась почти без командования. То было даже не начало, а продолжение конца.

Правда, Дельклюз, самый чистый из чистых, поставлен был во главе военного ведомства со званием «гражданский делегат». Но Дельклюз, старый уже и утомленный жизнью, был всегда только журналистом и, конечно, не мог в один день научиться вести за собою наполовину дезорганизованные массы. Коммуна убивала себя, и он убил себя вместе с нею.

Одним из больших преступлений, которые мне приписывала реакция, было мое посещение монастыря Пикпюс, который взят был под надзор Коммуны и где поставлен был гарнизон, состоявший из батальона федератов. Мне сообщили, что там сделаны были странные находки: секвестрированные сестры, устроенные в саду монастыря клетки, в которых несчастные жили, спали и ели, без огня, не имея возможности двигаться в узкой клетке и вынужденные, за отсутствием ковра, на который можно было бы опускать ноги, оставаться постоянно в постели. К этому присоединилось сообщение о находке странных железных орудий, которые монахини выдавали за ортопедические инструменты, но которые походили больше на орудия пытки. Словом, мне нарисовали почти такую же картину, какая описана в «*La Religieuse*» Дидро²⁴².

Хотя я всегда считал конгрегационистский католицизм способным решительно на все, мне трудно было поверить в подлинность сделанных мне разоблачений о монастыре Пикпюс.

Самым простым средством проверить эти сообщения было — самому отправиться туда. И я отправился.

Меня встретил капитан батальона, который заявил мне, что не притеснял монахинь, не требовал от них ничего для своих федератов и не обращался с ними как с арестованными.

Я стремился только расширить предоставленную им свободу, и если бы какая-нибудь из монахинь предъявила малейшую жалобу, я бы, конечно, приложил все усилия, чтобы ей дано было удовлетворение. Но для этих живших взаперти монахинь мое имя было пугалом, и известие о моем посещении вызвало среди них ужас.

Они выслали показать мне свое заведение какую-то привратницу, как бы поставленную на сваи и такой ширины в плечах, что она могла бы заставить отступить даже самых мужественных людей. Должен признать, что ее смелость соответствовала ее физическому развитию. Кортёж, которым я был окружен, когда она вышла ко мне, ни в малейшей мере ее не смутил. Она даже начала с того, что бросила мне высокомерным тоном, который мне понравился своей моральной энергией, вопрос:

— Желаете ли вы, сударь, поставить мне какие-нибудь вопросы?

— Мадемуазель, — сказал я ей вежливо, хотя назвать монахиню «мадемуазель» является жесточайшим оскорблением, — о режиме вашего монастыря носят довольно странные слухи. Я хотел бы лично убедиться в том, что они совершенно не соответствуют действительности. Сдоблаговолили бы вы, например, показать мне те своего рода клетки, где, как утверждают, заключены две сестры, которых вы подвергаете таким образом настоящей противозаконной секвестрации?

Она ничего не ответила и молча направилась в угол сада, куда я последовал за нею. Одна из двух заключенных гуляла по аллее в сопровождении надзиравшей за нею монахини; другая что-то вязала, сидя на кровати, занимавшей всю клетку, забранную решеткой, сквозь щели которой ветер и дождь должны были беспрепятственно хлестать заключенную.

— Как можете вы допустить, — спросил я привратницу, между тем как из окон главного здания следили за нами высывавшиеся из них испуганные лица, — чтобы послушницы вашего монастыря могли содержаться в хлебах, в которых разве только кроликов можно держать?

— Простите, — сказала вопрошаемая, — они не секвестрованы: ведь они имеют возможность гулять.

— Позвольте, — прервал капитан, — когда мы к вам пришли, их на прогулку не выпускали. Это мы вас заставили выпускать их из этих ящиков.

Монахиня злобно кинула нам следующий ошеломивший меня ответ:

— И поделом им. Почему не хотят они подчиняться правилам монастыря?

К этому — даю честное слово — свелась все ее оправдания. Несколькими днями спустя мне сообщили, что обе секвестрованные были освобождены федератами и переданы их родным. Должен отметить, что одна из них мне показалась если не совсем сумасшедшей, то немного идиоткой или близкой к этому.

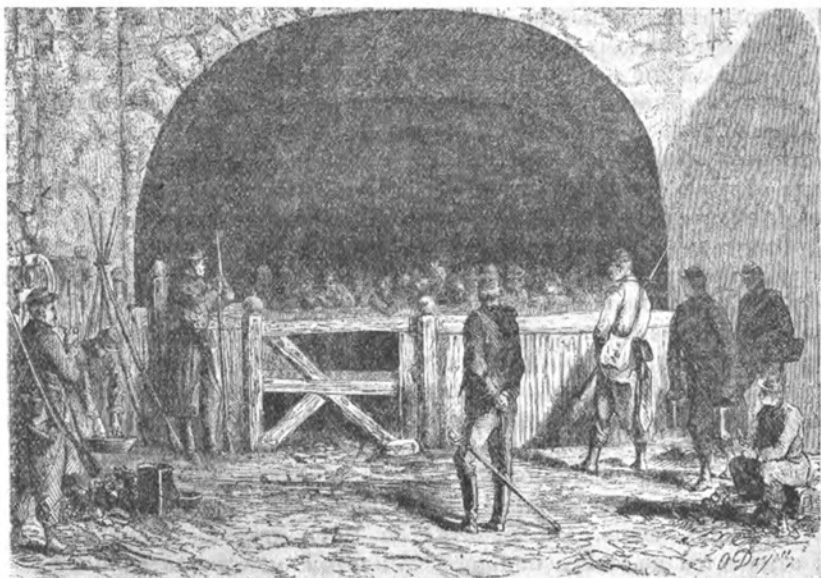
Показанные мне железные орудия производили странное впечатление, и во всяком случае было грубой ложью пытаться выдавать их за ортопедические инструменты. Пользовались ли ими в то время? Пользовались ли ими в прежние времена? Мне не приходилось тогда, не приходится и теперь высказываться по этому поводу, но ни в коем случае эти орудия нельзя было принять за ортопедические инструменты.

Статья в «Пароле», в которой я рассказал только то, что я видел и слышал, вызвала всеобщее возмущение среди версальской эмиграции. На всякий случай, ничего лично не посмотрев, ничего не проверив, все Лоржерили и Белькастели²⁴³ обрушились на меня, обзывая меня убийцей и богохульником. К счастью, я мог сослаться на корреспонденцию, посланную из Парижа в «Таймс» одним из его сотрудников, сообщения которого целиком подтверждали мою статью. А «Таймс», самая крупная, самая солидная и одна из самых умеренных английских газет, не поместил бы, конечно, без контроля, без гарантии верности сообщения, способного вызвать большой шум и даже скандал.

Если я был тем пожирателем монахинь, каким меня выставляли, то корреспондента большого органа Сити ни в каком случае нельзя было в этом обвинить. А чтобы еще больше подчеркнуть ужас, который ему внушал наш атеизм, версальское собрание постановило в качестве обязательной меры организовать большое представление под названием «всенародное молебствие».

Это было до того невероятно забавно — в тот самый момент как Тьер отказывался принять освобождение парижского архиепископа в обмен на Бланки, — что я не мог отказаться от того, чтобы не посмеяться в «Пароле»:

«Мольер²⁴⁴, где ты? Зачем было умирать таким молодым, мой добрый Поклен? Версальское собрание, взрывающее наши дома, расстреливающее наших захваченных в плен национальных гвардейцев, требующее каждое утро сорок тысяч парижских голов, только что почти единогласно приняло меру, которая должна окончательно уничтожить все бедствия, обрушившиеся на нашу страну. В ближайшем будущем проведут по всей французской территории — что? Всеобщую мобилизацию? Принудительный налог, чтобы, уплатив немедленно все пять миллиардов, отделаться от прусских паразитов? О нет! Версальское собрание голосовало за устройство всенародного молебствия . . .»



ГЛАВА XX

*Вандомская колонна. — Взрыв на авеню Рапп. —
Меня арестуют в Мо. — В Версале. — В тюрьме. —
Ложные вести*

Санкционируя голосование бордоского Национального собрания, возложившего на династию Бонапартов ответственность за разорение и расчленение Франции, Коммуна постановила свергнуть Вандомскую колонну. В свержении колонны, почему-то приписывавшемся Густаву Курбе, в действительности принимали участие все. Казалось слишком несовместимым, чтобы имя Наполеона проклиналось и предавалось анафеме с одного конца страны до другого и чтобы в то же время на вопрос какого-нибудь иностранца, кому воздвигнут этот напоминающий фабричную трубу цилиндрический памятник, приходилось отвечать: «Да в честь Наполеона II!», тем более, что эту бронзовую трубу он сам себе воздвиг. Быть может, если бы мы не так гордились быть французами, когда взирали на эту колонну, мы бы с меньшим пылом испускали крик «в Берлин!», вслед за которым Берлин пришел к нам.

Извлечение этого гигантского зуба было произведено с большой торжественностью. Я случайно проходил по Вандомской площади. Меня узнали, и комендант генерального штаба, которому поручено было руководить операцией, подослал ко мне одного из своих адъютантов пригласить меня присутствовать при низвержении колосса. С балкона, на котором меня усадили,

я видел, как он зашатался на своем фундаменте и затем, после неоднократных напоров, свалился с глухим треском на заранее посланную солому с навозом.

Когда я по окончании экзекуции возвращался домой, я наткнулся ногой на осколок бронзы — кажется, от того шара, который Бонапарт держал в руке. Я подобрал на память этот бесформенный кусок, который, к счастью, не был взят у меня при обыске после Коммуны, — не то бы меня обвинили и осудили за разрушение общественных памятников, грабеж и похищение на особу великого Наполеона.

Деревенщина Национального собрания скоро, впрочем, отомстила за Наполеона. Оборона Парижа замирала. Несмотря на опубликование манифеста, в котором меньшинство Коммуны протестовало против крайних планов людей, которыми руководил Рауль Риго, можно было предвидеть, что час свирепых мер и беспощадных репрессий не замедлит пробить.

Рауль Риго, гаврош по натуре, но из того теста, из которого делаются подлинные революционеры, готов был все принести в жертву своему делу — и личные привязанности и самую жизнь свою. Он работал в моей газете «Марсельеза» и относился ко мне с большой теплотой и признательностью. Но «Пароль» ему мешал, и он решил его уничтожить. Этот человек способен был мне сказать: «Я вас люблю всей душой, но положение требует, чтоб я вас расстрелял. И я вас расстреляю». Особенно восстановило его то, что я напечатал в своей газете манифест меньшинства Коммуны, направленный против его диктатуры.

«Мы требуем, — говорили диссиденты, — права самим отвечать пред нашими избирателями за свои действия, не укрываясь за диктатурой, которую наш мандат не позволяет нам ни принять, ни признавать.

Преданные нашему великому коммунальному делу, за которое столько граждан умирает каждый день, мы уходим в наши округа, которыми, быть может, слишком мало занимались до сих пор. Убежденные к тому же, что дело войны отодвигает в настоящее время на задний план все другие вопросы, мы все свое свободное от муниципальных обязанностей время будем проводить среди своих братьев национальной гвардии и будем принимать свою долю участия в решительной борьбе, ведущейся во имя прав народа.

Там мы будем продолжать с пользою служить делу своих убеждений и избежем в то же время опасности создать в недрах Коммуны расколы, которые мы все порицаем, в уверенности, что, принадлежим ли мы к большинству или к меньшинству, все мы, несмотря на политические разногласия, преследуем одну и ту же цель: политическую свободу, освобождение рабочих».

Мое присоединение к этой программе, которая равносильна была формальному выходу в отставку подписавших ее, подвергало меня больше, чем кого бы то ни было, гневу Феликса Пиа и беспощадной расправе со стороны Рауля Риго. К несчастью, ужасный взрыв порохового завода на авеню Рапп, где погибло свыше ста рабочих, оправдывал тактику партии, требовавшей приведения, наконец, в исполнение декрета о заложниках, который, в сущности, еще не применялся.

Рука агентов правительства деревенщины была повсюду видна в этом ужасном злодеянии. По этому поводу на стенах Парижа расклеено было следующее сообщение:

«Версальское правительство покрыло себя грязью нового преступления, самого ужасного и самого подлого из всех совершенных им до сих пор преступлений. Его агенты подожгли пороховой завод на авеню Рапп и вызвали ужасающий взрыв.

Насчитывают около ста жертв. Женщины и один грудной ребенок разорваны были в клочья.

Четверо преступников находятся в руках управления всеобщей безопасности.

Париж, 27 флореаля 246 79 года».

Вслед за этим преступлением Коммуна, — и не подлежит сомнению, что именно к этому стремилась роялистская реакция, — предложила своему прокурору привести в исполнение закон 7 апреля относительно заложников. Однако при голосовании эта крайняя мера не встретила единодушия: Артур Арну и Верморель ²⁴⁶ отказались присоединиться к ней.

Что касается меня, то я сжег свои корабли, опубликовав статью, в которой я выступил против метания жребия, которое Рауль Риго решил провести для ответа на поджоги наших пороховых заводов казнями заключенных.

«Допустив даже, — писал я, — совершенно недопустимую предпосылку, что нет другого наказания, кроме смертной казни, нужно, по крайней мере, чтобы жизнь человека, даже самого тяжкого преступника, зависела от какой-нибудь власти, а не от простого метания жребия. В самом деле, все заключенные, зачисленные в список заложников, должны будут считаться приговоренными к смертной казни, потому что они могут подвергнуться ей в любой день. По какому же праву будете вы подвергать казни одного, а не другого?»

Таково положение с точки зрения принципиальной. С конкретной же точки зрения положение еще более серьезно... На казнь каждого из наших в Версале Париж ответит, согласно декрету, казнью трех заложников. Но всем известно, что версальцы, не отличающиеся ни разборчивостью в средствах, ни уважением к жизни человеческой, держат в своих руках опре-

деленное количество славных национальных гвардейцев, о судьбе которых мы имеем все основания беспокоиться. Если на казнь трех своих соумышленников Тьер ответит расстрелом шести наших товарищей, как мы поступим? Мы ответим, придерживаясь смысла декрета, умерщвлением двадцати четырех других заложников, на что нам ответят убийством сорока восьми наших пленников, потом — девяноста шести, потом — ста девяноста двух и так далее, до полного уничтожения заключенных на островах Ре и Олерон, куда Версаль отправляет наших бойцов, в ожидании дальнейшей расправы над ними.

Нужно согласиться, что такие кровавые ответы пастуха пастушке не могут долго продолжаться. Лучше уж совсем не давать хода системе, от которой придется отказаться по необходимости.

Когда наложат руку на негодяев, убивших хожатку, предварительно ее изнасиловав, и на жандармов, переодевающихся в национальных гвардейцев и поджигающих наши пороховые заводы, — пусть к ним применяют самые свирепые наказания. Но применять свои репрессии мы должны лишь к подлинным и признанным преступникам».

На следующий день после появления этой статьи ко мне пришел, когда я еще лежал в кровати, молодой человек предупредить меня, что я, вероятно, в тот же день буду арестован. Рауль Риго, уже в течение целой недели говоривший, что меня следует арестовать, решил, наконец, перейти от слов к делу. Повидимому, он сильно сожалел, что вынужден пойти на эту крайность, но «нужды обороны» требовали удушения и меня и моей газеты.

Поступил ли бы Риго по отношению ко мне столь же решительно, как он поступал с другими? Не знаю, — всемогущая власть ведь всегда легко кружит голову. Однако я сомневался. Но мне некогда было предаваться размышлениям. Арестованный Коммуной, я неизбежно попал бы после падения Парижа в руки версальцев, которые извлекли бы меня из тюрьмы лишь для того, чтобы бросить меня гнить в общей могиле. Никогда в моей жизни Харибда и Сцилла не были для меня так близки друг от друга.

Мне нечего было больше делать в Париже, и я ничего не мог там делать, так как «Пароль», конечно, должен был разделить мою судьбу. Я решил поэтому прекратить его издание и укрыться от объятий отрядов Рауля Риго. Было очень трудно, даже невозможно выбраться за пределы Парижа без надлежащего паспорта или удостоверения личности с отметкой о гражданской благонадежности. Но я не был первый встречный, и к тому же меня легко было узнать, хотя я и был совсем бритый после перенесенной мною рожи. И действительно, мне достаточно было только назвать себя охранявшим восточные

ворота федератам — и они без малейших затруднений меня пропустили.

У меня не было времени предупредить кого-нибудь из моих сотрудников по «Паролю», за исключением секретаря редакции, поехавшего вместе со мною и впоследствии вместе со мною осужденного. Мы остановились в первой деревушке, название которой я забыл и которая занята была пруссаками. Это было 20 мая. Жара стояла невыносимая, и мы зашли в трактир, где выпили чего-то прохладительного посреди германских солдат. Мне показалось, что некоторые из них разгадали мое инкогнито и стали перешептываться меж собой, поглядывая на меня, пока не прибыл поезд, в котором мы заняли места и который должен был доставить нас на границу. Впоследствии мне рассказывали, что один версальский агент сел в соседнее с нашим купе и дал знать по пути о том, что я еду с этим поездом.

Когда мы прибыли на станцию Мо, всех пассажиров заставили выйти для осмотра паспортов, ибо в то время нельзя было путешествовать, не имея при себе всевозможных документов. У меня не было никакого документа на мое имя, но тем не менее полицейский комиссар сказал, обращаясь к моему товарищу и ко мне:

— Благоволите последовать за мною.

Как только мы очутились в его кабинете, он мне заявил, что я — Анри Рошфор, в чем я не имел никакого основания сомневаться, и что он имеет приказ арестовать меня. При этом он был крайне вежлив. Коммуна к тому времени еще не сказала своего последнего слова, и он, подобно всем чиновникам, в особенности чиновникам полицейского ведомства, считал нужным обеспечить себе некоторое снисхождение на случай поражения «дела порядка», от которого получил свое место. Он переправил нас в городскую тюрьму, смотритель которой отвел нам помещение, представлявшее собою не камеру, а довольно комфортабельную комнату с окнами в сад, в котором нам разрешалось сколько угодно гулять.

Между тем слух о моем аресте быстро распространился по городу, и товарищ прокурора республики пришел навестить меня — больше из любопытства, чем по обязанности. Это был молодой человек, и мне показалось, что он достаточно смущен моим задержанием.

— Нужно было поскорее улизнуть, как только вы заметили, что к вам направляется полицейский комиссар, — сказал он мне.

Смотритель арестного дома телеграфировал в Версаль, откуда получился следующий грозный для нас ответ: «Распорядитесь не спускать глаз с обоих арестованных».

«Не спускать глаз» — это значит посадить в ту комнату, в которой вы едите, в которой вы спите, одного или двух часовых, которые не оставляют вас ни днем, ни ночью, обедают

и ужинаят за вашим столом, сопровождают вас даже в самые уединенные места, и взоры их непрестанно устремлены на вас. Мало есть пыток, которые можно сравнить с этой. Однако, несмотря на полученный им и показанный мне формальный приказ, наш тюремщик не считал нужным подвергать нас столь неослабному наблюдению, и до следующего утра мы пользовались относительной свободой.

Комиссар полиции, который играл главную роль в моем аресте и рассчитывал использовать этот геройский подвиг для своего повышения по службе, едва было в одну минуту не лишился плодов своего рвения. Район Мо находился под военным управлением немцев, сосредоточивавших в своих руках вместе с тем и полицейскую власть, и командовавший районом генерал был крайне разгневан, что я был задержан без его разрешения или, по крайней мере, без его ведома. Он в сопровождении полицейского комиссара прибыл в тюрьму и потребовал, чтобы ему открыли дверь моей комнаты.

Я был крайне удивлен при виде офицера в парадной форме, который, повернувшись к дрожавшему комиссару, сказал ему раздраженным тоном на не совсем правильном французском языке:

— Это и есть оба арестованные?

— Да, генерал.

Внезапное появление генерала и раздраженные взоры его жестких глаз сперва внушили мне несколько вздорную мысль, что он собирается отомстить мне за воинственную политику, которую я отстаивал во время осады, и за то, что я сложил с себя депутатские полномочия в момент подписания бордоского мира. «Он, может быть, собирается меня расстрелять», подумал я. Однако это была с моей стороны крайне грубая ошибка. Вдруг, переменяя тон, он с любезным видом направился ко мне и спросил:

— Вы г-н Апри Рошфор, знаменитый автор «Фонаря»?

После моего утвердительного жеста он продолжал:

— Вас арестовали, не предупредив меня. Но я один распоряжаюсь здесь. Я — генерал такой-то (я забыл его имя, но его легко разузнать). Мой отец знал вашего деда во время эмиграции. Благоволите опереться о мою руку. Вы сейчас выйдете из этой тюрьмы вместе со мною.

Нельзя отрицать, что это предложение было весьма соблазнительно, ибо положение мое было безнадежно. Если бы правительство деревенщины было разбито Коммуной, оно, несомненно, расправилось бы со мною в отместку за свое поражение. Если бы оно победило, я бы, конечно, пал его первой жертвой.

Арестовавший меня комиссар стал с беспокойством озираться кругом, задаваясь, должно быть, вопросом, не придется ли ему расплачиваться за всех. Я задумался на минуту, но хотя я ничего решительно не сделал для того, чтобы получить пред-

ложенную прусским генералом помощь, хотя я мог впоследствии сослаться на то, что вынужден был подчиниться силе, однако перспектива быть освобожденным по распоряжению одного из тех, кто только что расчленил мою родину, представлялась мне неприемлемой, и я ответил предложившему стать моим спасителем генералу:

— Благодарю вас, милостивый государь. К сожалению, для меня недопустимо воспользоваться предложенной вами помощью. Вы, конечно, сами понимаете почему.

И я поклонился ему и пошел в сад продолжать свою прогулку.

Когда прусский генерал успел уже отойти на далекое расстояние, я в грубых оскорблениях излил весь свой гнев на полицейского комиссара, которого горько упрекал в том, что из-за него мне пришлось вынести такую сцену с смертельным врагом нашей страны, и сказал ему:

— Что случилось бы с вами, плут вы этакий, если бы я показал себя таким же негодяем, как вы, и принял бы протянутую мне прусским генералом руку? Ведь завтра же, вместо награды, на которую вы рассчитываете, вы были бы безвозвратно прогнаны с места.

Еще не пришедший в себя версальский агент ничего не ответил. Впрочем, разговор наш был прерван прибытием его коллеги, которому Тьер поручил доставить в Версаль моего товарища по заключению и меня. Этот новый комиссар, по имени Гютцвилер или Гюльвилер, повидимому, получил строжайшие распоряжения. Он весьма спокойно предупредил нас, что вместе со своими агентами будет сопровождать нас до Версаля и что при малейшей попытке к сопротивлению или к бегству он нас пристрелит. Я только ответил, что если бы у меня было намерение улизнуть, я мог бы это сделать очень легко, ибо ему известно, что я отказался принять предложенную мне прусским генералом свободу.

Но этот акт великодушия нисколько не тронул шпика, считавшегося только с данным ему приказом и, повидимому, проникнутого сильным желанием его выполнить. У ворот тюрьмы нас окружило шесть агентов, проводивших нас на железную дорогу, предварительно скрутив нам руки крепкими ручными цепями. Поездка предстояла тяжелая, а цель ее вырисовывалась в крайне мрачных красках. При виде чрезмерно строгих подготовлений к нашей охране я стал думать, что правительство деревенщины считает нужным придать нашему задержанию исключительно важное значение, и в душу вкрадывалось предчувствие, что нас в назидание другим расстреляют.

Приблизительно через полчаса поезд остановился на какой-то станции, название которой я не поинтересовался узнать, и нас вывели и тут же втолкнули в два омнибуса, по одному на каждого, в которые втиснулись кучи агентов. Составился

кортеж поистине как на казнь. Кроме того, я был крайне удивлен, видя, что наши оба омнибуса внезапно окружил эскорт из целого эскадрона улан, скакавших с обеих сторон и устраивавших нам сенсационные въезды в лежавшие на нашем пути деревни. Через сорок или сорок пять минут такой скачки мы прибыли в Сен-Жермен. Омнибусы остановились, мы снова вышли, и я увидел, как прусский офицер, командовавший эскортом, подошел к французу в генеральском мундире. В нем я узнал полковника Галиффе, который, как известно, сам себя произвел в генералы на поле сражения, — что, в сущности, является, быть может, наиболее удобным методом повышения в чинах. Его окружала значительная толпа военных, казавшихся тем более гордыми, чем более их били. Галиффе принял нас из рук уланского командира, и в этом проявилось неопровержимое согласие, установившееся между Тьером и Бисмарком относительно подавления коммуналистского движения.

Пруссаки после весьма сердечных приветствий поехали назад, а мы остались в руках французской солдатчины и полиции. Не понимая, почему нас заставили сойти с омнибусов, я не сомневался, что наступил мой последний час. И действительно, разодетые в шитые галунами мундиры подошли к нам с такими вызывающими жестами и такими ругательствами, что показались мне хищными зверьми, уже впивающимися своими клыками в тела, которые, как они знали, скоро должны были стать трупами.

Среди наиболее яростных из них я заметил также нескольких штатских, в особенности одного молодого блондина, выпрямленные вверх концы усов которого придавали ему исключительно отвратительный вид. Я принял его за офицера в штатском, и так как его дышавшее бешенством лицо врезалось мне в память, я как-то, уже после амнистии 1880 года, узнал его на бульварах. Я спросил у одного знакомого, не может ли он мне сказать, кто этот господин, и он мне ответил, что это недавно осужденный по суду грязный биржевик, только что покинувший Мазас. С того времени как он изрыгал на меня свою брань на одном из перекрестков сен-жерменского леса, этот версалец проделал славный путь!

Толпа любопытных, собравшихся вокруг нас, становилась все более грозной. Я вспомнил вдруг, что года два тому назад я в Спа дал взаймы одной очень близкой родственнице Галиффе тысячу франков, которая мне их так и не вернула. Я считал свой конец очень близким и не полагал нужным никого больше щадить. Я громким голосом рассказал своему товарищу об этом займе и еще громче прибавил:

— Он сейчас распорядится нас расстрелять. Это очень ловкий прием платить семейные долги.

Галиффе расслышал мои слова, густо покраснел и тотчас же приказал своему штабу отстраниться. В этот момент я за-

метил, что к нам подвезли другой экипаж. Полицейский комиссар Гютцвилер сделал нам знак занять в нем места, и мы снова двинулись в путь, окруженные на этот раз эскортом уже из французских кавалеристов — кажется, гусаров, а может быть, стрелков, потому что я совсем не разбираюсь в военных мундирах. Молодой сержант, указывая на нас крестьянам, стоявшим вдоль дороги и глазевшим на проезжавший кортеж, провел рукой по шее, показывая этим, что нам отрубят головы. Эта любезность, которую молодой болван повторил по всему пути от Сен-Жермена до Версаля, показывала, какие чувства католики питали к нам. Но с особенной силой прорвались эти чувства при нашем въезде в город великого короля. Толпа, охваченная каким-то безумным бешенством, ринулась на наш медленно продвигавшийся вперед омнибус. Женщины, с угрозами протягивая к нам свои кулаки, кричали:

— Убить! Убить! Их нужно тут же прикончить!

Мы были скованы, и нам оставалось только молча взирать на эту бурю, да и бесполезно было бы, впрочем, прерывать наше молчание. По какой-то палаческой утонченности версальцы не отвезли нас прямо в тюрьму, где нам уже отведены были камеры, а в течение целого часа возили нас по городу, чтобы дать населению насладиться таким зрелищем.

Во время этого жестокого и противозаконного показа мое внимание привлек к себе человек в коричневом костюме, который, потрясая яркочерным зонтом, кричал до хрипоты:

— Это Рошфор! Нужно с него живьем кожу содрать!

Его походка и подпрыгивания, чтобы достать нас своим зонтом, носили такой демонический характер, что я не мог удержаться от смеха. Это был подлинный тип свирепого буржуа, каким его нам представил Домье²⁴⁷.

Наше шествие, которое можно было бы назвать похоронным, остановилось у ворот арестного дома, в который мы вошли, обливаясь потом — так как стояла сильная жара — и изнуренные этим мало сентиментальным путешествием.

Вот в каких выражениях описывал издававшийся в Версале «Голуа» эту прогулку посреди гиканья и угрожающих зонтов:

«Прибытие в Версаль имело место приблизительно в час с четвертью через Шенейские ворота. Все разраставшуюся толпу эскорт с трудом отгеснял от экипажа. Толпа неописуемо бушевала. Она хотела заставить арестованных сойти с экипажа и пешком, как обыкновенные арестанты, пройти по улицам Версаля. Крики: «Пешком! Пешком! Смерть им!» раздавались со всех сторон. С угрожающими жестами толпа устремлялась к г-ну Рошфору, которого ясно видно было чрез опущенные окна экипажа. Лицо арестованного было совершенно спокойно. . .

Сегодня утром мы отметили, что вчера мы не получили очередного номера «Пароля», и одно прибывшее из Парижа лицо сообщило нам, что газета не вышла. Одна парижская газета подтверждает это сообщение, опубликовав следующее письмо:

«Господин редактор.

Я был бы вам премного обязан, если бы вы сооблаговолили сообщить своим читателям, что в виду положения, в которое поставлена печать, «Пароль», желая солистности свое достоинство, перестает выходить.

С братским приветом, *Анри Рошфор*».

Таким образом, как признавала сама версальская газета, я именно в виду моих столкновений с Раулем Риго приостановил издание «Пароля» и покинул Париж под угрозой ареста. Но такое решение вопроса было не в интересах деревенщины, которая, видя в моем лице подходящую жертву, хотела во что бы то ни стало вцепиться в меня зубами.

Впервые почувствовал я некоторое облегчение, очутившись, наконец, в одиночестве в тюремной камере. Смотритель этого пенитенциарного учреждения был человек небольшого роста, сухой, с головы до ног администратор. Он немедленно отнял у нас все, что мы имели с собою, в том числе и деньги. Я запасся семью или восемью тысячами франков золотыми монетами, и когда он увидел, как я выкладывал на столик камеры пачки золота, он поднял глаза к небу, точно призывая его в свидетели грабительских деяний, с помощью которых я мог собрать эту сравнительно значительную сумму.

На походную кровать положили второй матрац, и если в самой камере не поместили надзирателя для неослабного наблюдения за мною, то с той стороны двери, у продырявленного «глазка», поставлен был стражник, почти не спускавший с меня глаз. Однако полное одиночество до того нестерпимо, что это наблюдение, протягивавшее какую-то нить между мною и внешним миром, было мне неприятно лишь отчасти.

Дабы сильнее восстановить против меня общественное мнение, Тьер распорядился расклеить на стенах всех крупных городов воззвание, оканчивавшееся следующими словами: «Вожди Коммуны разбегаются. Г-н Анри Рошфор арестован в Мо». Однако я ни в то время, ни раньше, не был вождем Коммуны, к которой я не имел ни малейшего касательства. Я ограничивался тем, что пользовался своими правами журналиста, и притом с такой независимостью, что Рауль Риго решил не только запретить мою газету, но даже арестовать меня самого. Тьер это знал, и его подлость становилась поэтому еще более очевидной. Но он в то же время знал, что народные и буржуазные массы обычно сваливают все на людей известных,

и моя казнь заменит при таких обстоятельствах казнь многих других арестованных.

По той предупредительности, с какой ко мне относились тюремные служителя, я понимал, что моя участь решена. Со мной заранее обращались как с осужденным на смерть, которому ни в чем не отказывают, так как часы его сочтены. И действительно, в течение восьми дней, как я узнал впоследствии, стоял вопрос о том, чтобы предать меня военному суду, который, почти не слушая меня, послал бы меня на казнь. На этом особенно настаивал старый Бартеlemi Сент-Илэр, приятель г-жи Тьер, жаждавшей, оказывается, моей крови.

Когда одна из моих сестер пошла в Национальное собрание вызвать Эдмонда Адама и в ожидании его прихода присела в одной из лож, сидевшая с нею рядом дама, которая ее, конечно, не знала, любезно сказала ей:

— Знаете ли вы, мадам, что Рошфора расстреляли нынче утром? Говорят, он умер как трус.

Не знаю, как бы я встретил смерть, но в то время я вспоминал, что генерал Лагори²⁴⁸, восприемник Виктора Гюго, был вместе с генералом Мале²⁴⁹ расстрелян на Гренельской равнине и что, повернувшись к командовавшему казнию офицеру, плюнул ему в лицо со словами: «Вот тебе и твоему императору!»

Такое поведение мне показалось достойным, и я решил на нем остановиться. Я плюнул бы в лицо командующему офицеру и крикнул бы ему: «Вот тебе, подлый капитулянт!»

Стыдно признаться: я репетировал эту сцену, дабы не проявить, идя на казнь, оцепенения, которое, быть может, принято было бы за трусость. И, мысленно рисуя себе эту печальную процедуру, я думал, что Лагори, восприемник Виктора Гюго, был расстрелян, и я, восприемник Жоржа Гюго, умру той же смертью. Думал я также о стэндалевском Жюльене Сореле и машинально сравнивал свою судьбу с судьбою этого молодого человека, психология которого меня так глубоко интересовала.

Жизнь в одиночной камере, в которой я был заперт, злоуще усугубляла еще ужас положения. За отсутствием людей, к которым я мог бы обращаться с вопросами, я должен был сам себе отвечать на них. Моя камера была слишком мала, чтобы я мог прогуливаться по ней, и я не мог развлекаться даже передвижением. И я проводил свои дни на вделанной в пол табуретке, либо лежал, вытянувшись на кровати.

Оставаясь в неизвестности о том, что происходило во внешнем мире, где мне рисовалось столько драм, я до такой степени скучал, что желал, чтобы все возможно скорее кончилось, ибо это преждевременное возложение в гроб походило на лишение жизни без выгод смерти.

Время от времени, главным образом ночью, раздавались крики, и слышно было, как надзиратели устремлялись в ту

сторону, откуда они раздавались. То какой-нибудь заключенный, не вынося гнетущего одиночного режима, внезапно сходил с ума.

Питание было слишком скудное или, точнее, его почти не было, и истощение вызывало ужасные галлюцинации у изголодавшихся людей, у которых не было в канцелярии денег, чтобы пополнить тюремную «норму» или, точнее, отсутствие всякой нормы. Я получал пищу из ресторана, а свой тюремный паек, включая и хлеб, отдавал кому-нибудь из неимущих по указанию своего надзирателя, которого я не замедлил расположить в свою пользу. Хотя ему запрещено было разговаривать со мною, он тем не менее все же вступал со мною в беседу, и я его вознаграждал за его сообщения, отдавая ему три блюда из четырех, которые я получал к завтраку и к обеду. Он был женат, имел четырех детей, и то, что я ему отдавал, значительно улучшало питание его семьи.

От этого надзирателя я узнал, что в Версале распространился слух об аресте моих детей. Согласно этому слуху, они были взяты на вокзале в Бордо при их возвращении из Аркашона в Париж. Я действительно писал им, чтоб они приехали ко мне. Слух об их аресте походил поэтому на правду.

Этот удар был до того ужасен, что я готов был себе голову разможжить о стены. Был момент, когда я потерял всякое самообладание. Я рисовал себе в тюрьме своих детей, которые никогда ни в чем не терпели недостатка, а теперь терпят недостаток во всем. В течение двух часов я плакал как болван. Потом я вспомнил о письме, полученном мною от брата Жюль Фавра во время дела Лалюйе, в котором мой бывший коллега по правительству национальной обороны, формально обвиненный в подделке метрических документов и присвоении наследства, почти сознался. Я постарался выступить в его защиту более успешно, чем он сам себя защищал, и его брат в порыве признательности написал мне трогательное благодарственное письмо, в котором уверял меня, что ни он, ни его семья не забудут той ценной услуги, которую я им оказал при столь тяжелых обстоятельствах.

Я написал поэтому Жюлю Фавру, бывшему в то время министром иностранных дел, записку в две строки, в которой просил его соблаговолить выслушать меня по поводу полученного мною о моих детях сообщения. Я, само собой разумеется, не напомнил ему ни о моем великодушии по отношению к нему, ни об излияниях благодарности, которыми забросал меня его брат; но ни на одну секунду нельзя было допустить, чтоб он не знал об оказанной мной ему услуге в момент, когда его честь была сильно задета и скомпрометирована.

Он мне не ответил и бешено продолжал настаивать на моей казни. К счастью, сообщение об аресте моих детей оказалось ложным, хотя немногого недоставало, чтобы оно стало

верным. Предположив, должно быть, что я при отъезде из Аркашона в Париж оставил у них какие-нибудь важные документы, Тьер распорядился захватить их и их багаж при их прибытии в Бордо. Но благодаря заведующей вокзальным книжным киоском их удалось укрыть на весь день, пока полиция поджидала их приезда, а вечером их усадили в поезд, и на следующее утро они благополучно приехали в Париж. Там они еще меньше были бы в безопасности, чем в Бордо, но ожидавший их Эдмонд Адам немедленно отправил их в Англию. Мне предстояло погибнуть, но они были спасены.

Хотя я и содержался в самой строгой изоляции, я то случайно, то через анонимных доброжелателей все же был в курсе разных эпизодов «кровавой недели». Я выписывал из магазинов, — собственно, для своего надзирателя, потому что сам я едва прикасался к еде, — банки с вареньем, почти всегда возвращенные в газетную бумагу, частично осведомлявшую меня о событиях и, во всяком случае, подтверждавшую поражение Коммуны. На одном из газетных лоскутков я прочел, что генерал Кюзере после упорного сопротивления убит ружейным выстрелом.

Он в настоящее время состоит депутатом палаты, и, значит, несчастный, о казни которого сообщалось, был не Кюзере, которого приняли или притворились, что приняли за настоящего Кюзере, ибо в той охоте за людьми, которая продолжалась целых восемь дней, все казались годными для расстрела. После того как убивали одного лже-Валлеса или лже-Биллиоре, потом убивали еще трех или четырех, в надежде, что среди них окажется настоящий.

Прибытие новых арестантов в тюрьму немного отвлекло внимание от моей особы. От своего надзирателя я узнал, что привезли Паскаля Груссе, Росселя, Люлье, Курбе, которых разместили в соседних со мной камерах, в нижнем этаже тюрьмы. Дабы сосредоточить надзор, смотритель этого малого Мазаса собрал в одно место всех наиболее важных арестантов. Таким образом он держал вблизи от себя всех, кого, по его предположению, ожидал смертный приговор, — Росселя, Ферре, Гастона Дакоста, Люлье. Один я избег рокового приговора, который, впрочем, был заменен другим, не менее роковым.

Ежедневно мы в течение часа совершали прогулку в части круглого внутреннего двора, разделенного на треугольники, подобно ломтям сыра бри. Посреди этого непокрытого коридора находился небольшой бугорок, усеянный цветами и напоминавший кладбищенский уголок, так что мы словно ходили вокруг своих собственных могил. Мы не были обязаны, подобно монахам картезианского ордена, сами их рыть, но понимали, что другие их роют для нас. Эта факультативная прогулка до такой степени отдавала кладбищем, что я через несколько дней отказался от нее. Иногда я через «глазок» видел тех из моих

товарищей, которые отправлялись на внутренний двор, чтобы немного размять свои члены. Так, я увидел Росселя и Ферре, которого я даже не знал в лицо, — что было бы довольно странно, если бы я был одним из «вождей» Коммуны.

Хотя закон предписывал, что каждый обвиняемый должен быть подвергнут допросу в течение двадцати четырех часов со времени ареста, тем не менее прошло уже пятнадцать дней, а мне еще никто не предложил ни малейшего вопроса. Об ожидающей меня судьбе я мог судить только по огромным, сделанным углем надписям, бросавшимся мне в глаза, когда я выходил на прогулку, и состоявшим из ободряющих слов: «Смерть Рошфору!»

Несмотря на полную изоляцию, в которой содержались заключенные, они все же находили возможность сноситься друг с другом. Мне помог в этом отношении надзиратель, которого мои подачки сделали как бы моим адъютантом. Я просил его оказать мне любезность и передать от меня письмо Росселю, которого я просил сообщить мне подробности о своем аресте и о разыгравшихся в Париже событиях.

Россель мне ответил, и в продолжение всего времени нашего совместного пленения, для него кончившегося смертью, мы без перерыва обменивались письмами. Некоторые его письма у меня сохранились, и я припоминаю, что дал одно из них г-же Эдмонд Адам для благотворительного базара, на котором оно продано было за довольно крупную сумму.

Как и ко всем другим заключенным тюрьмы, ко мне зашел тюремный священник, аббат Фолэ, весельчак, любивший больше поговорить обо всяких других вещах, чем о небесном блаженстве. К тому же он был довольно добрый малый, и так как я с первого же слова заявил ему, что религия для меня не существует, то у нас с ним о ней больше не было и речи. Он мне признался, что избрал духовную карьеру вследствие безнадежной любви. Посвятил его в священнический сан безансонский епископ, кардинал де-Роган. Он предложил мне свои услуги, даже по передаче моих писем на волю, но я предпочитал пользоваться услугами моего надзирателя.

Должен воздать ту справедливость аббату Фолэ, что он действительно заинтересовался спасением моей жизни и всеми средствами старался этому содействовать. Он заходил ко мне почти каждый день, — ибо заключенные изолированы от родственников, но не от священников, — и в точности держал меня в курсе всего, что затевалось за и против меня. Эти точные информации сослужили мне большую службу тем, что давали возможность не терять самообладания от неожиданных ударов со стороны моих недругов. Главное, — постоянно твердил он, — это выждать время. Невозможно было допустить, чтобы разлившийся поток общественной ярости не вошел, в конце концов, в свое русло.

Главная опасность для меня состояла в том, что Тьер решил поставить мой процесс раньше всех других, что сделало бы меня козлом отпущения и сосредоточило бы все проклятья на моей голове, в то время гладко выбритой.

Знаменитый адвокат Лашо взял на себя защиту Курбе, который во время Коммуны занимался вместе со скульптором Далу²⁵⁰ только вопросами искусства. По выходе из камеры своего клиента Лашо зашел ко мне. В былые времена, когда участники дуэлей предавались еще суду, Лашо защищал меня, и мы привязались друг к другу, причем он совсем тогда не думал стать когда-нибудь бонапартистом. Но, как и все остальное, политические взгляды зависят от случайностей жизни. Лашо однажды пошел к Наполеону III просить о помиловании одного приговоренного к смертной казни, и император принял его с такой любезностью, — неоднократно рассказывал он мне, — что он вышел из Тюильрийского замка совершенно примирившимся с империей. Империя же, со своей стороны, сделала его официальным кандидатом, против которого, несмотря на мои личные симпатии к нему, моя газета, конечно, боролась. Короче говоря, Лашо оторвал меня от моих грез на табуретке таким ретроспективным упреком:

— Если бы не вы, я бы был министром юстиции. Но я все же очень вас люблю, и я пришел к вам, чтобы подумать сообща, что предпринять, чтобы спасти прежде всего вашу голову. Потом мы займемся спасением остального.

И когда он говорил о спасении моей головы, это выражение было материально точно, потому что правительство деревенщины, одержав, наконец, победу и нагромоздив тридцать пять тысяч трупов, подняло вопрос о том, станут ли убивать тех, которые впредь будут приговариваться к смерти и которых военные суды будут приносить в жертву минотавру порядка, пулями или топором. Некоторые члены совета министров, особенно Жюль Фавр, стояли за гильотину. Тьер высказывался за, расстрел и одержал победу, указав, что после трех или четырех отрубленных голов общественное мнение может возмутиться, и тогда станет почти невозможным довести «чистку» до конца.

— Вы — жертва предназначенная и ожидаемая, — сказал мне Лашо, — и наиболее яростные враги ваши — это ваши бывшие коллеги по правительству национальной обороны, которые не могут вам простить, что вы с ними мало считались. В качестве бонапартиста я не могу вас защищать, но когда вы пригласите себе адвоката, я приду к вам вместе с ним, и мы втроем составим его защитительную речь. Но вы должны быть готовы ко всему, потому что версальские газеты каждый день требуют вашей смерти.

Каждый день приводили все новых арестантов, многие из которых оказались бывшими членами Коммуны, и когда их на-

бросило достаточное количество, роялистская юстиция решила бросить общий процесс. Но так как при всем желании невозможно было утверждать, что я в каком бы то ни было звании принимал участие в правительстве городской ратуши, меня оставили для другой группы обвиняемых, к которой приклеят какой-нибудь особый ярлык.

Если бы меня судили первым, я неминуемо был бы приговорен к смерти. Данная же мне отсрочка открывала уже некоторую надежду на спасение. Ею я обязан был неоднократным требованиям некоторых друзей, преданность которых была неизменна. Эдмонд Адам без устали метался по кулуарам Национального собрания. Жан Дестрем, — внук Дестрема из Совета пятисот, который с кулаками встретил Бонапарта в день 18 брюмера, — ныне секретарь редакции газеты «Kappel», опубликовал брошюру, в которой точно фиксировал мою роль во время коммуналистского периода, — роль, которой ни один из версальских эмигрантов не знал даже приблизительно.

Наконец интерес, вызванный к себе такими подсудимыми, как Асси, бывший организатор стачки в Крезе, как Курбе, которого обвиняли в преступном развинчивании*, как Ферре, помощник Рауля Риго, как Люлье, бывший морской офицер, — отнесил меня на время если не совсем из области внимания суда, то, по крайней мере, в тень. Я видел через свой «глазок», как они возвращались в свои камеры: одни — подавленные предстоящим продолжительным путешествием на полуостров Дюкос или на Сосновый остров, другие — радуясь тому, что избежали смертного приговора.

Ферре и Люлье, приговоренные к смерти, беззаботно возвращались в свои камеры. Курбе, почему-то надеявшийся на оправдание, очень был, видимо, огорчен доставшимися на его долю ничтожными шестью месяцами тюрьмы. Бывший делегат финансов Журд отделался простой ссылкой — карой по существу политической, которая со стороны военных судей являлась попросту признанием правительства Коммуны. В самом деле, Журд, которому нужно было выплачивать национальным гвардейцам их жалованье в тридцать су** в день, взял за два месяца во Французском банке сорок три миллиона. Прокурор при 3-м военном суде, батальонный командир Гаво, — изумительный в своем претенциозном невежестве, вскоре после того умерший в сумасшедшем доме, — констатировав, что подсудимый Журд взял из банка за шестьдесят дней только сорок три миллиона, между тем как правительство национальной обороны за пять месяцев обескровило его на полтора миллиарда, — Гаво с торжеством воскликнул:

— Вы израсходовали так мало, что, очевидно, вы получали деньги от пруссаков?

* Намек на свержение Вандомской колонны. — Прим. перев.

** 1 франк 50 сантимов.

— Нет, — ответил Журд, — но, вместо того чтобы назначить сете по пяти тысяч в месяц, мы в Коммуне получали по пятнадцать франков в день.

Эти пятнадцать франков в день, сопоставленные с полутора миллиардами, произвели огромное впечатление, которым в значительной мере и объясняется вынесенный ему мягкий приговор — простая ссылка вместо каторжных работ, которых он мог опасаться.

Узнав, что Ферре приговорен к смерти, брат его, также арестованный, хотя и не принимал никакого участия в инсurreкции, внезапно потеряли рассудок, и это длилось целых два дня. Я слышал, как он по ночам испускал ужасающие крики, и ничто не могло его успокоить, пока к нему не впустили брата, который, столь мужественный, когда дело касалось его самого, не выдержал при виде несчастного безумца и залился слезами, сжимая его в своих объятиях.

Я мельком видел Ферре только один раз, возвращаясь с прогулки как раз в то время, когда его выводили гулять. Он был невысокого роста, с изогнутым носом, орлиными глазами и черной бородой. Мы приветствовали друг друга наклонением головы. Больше я его не видел, ибо постановленный приговор был приведен в исполнение, и несколько месяцев спустя он был расстрелян в Сатори, причем он умер как герой, с сигарою в зубах. Если бы он хотел, приговор можно было легко кассировать, потому что один из военных судей, принимавший участие в суде в качестве заседателя, высказал во время судебного разбирательства свое отношение к делу. На какой-то заданный председательствующим вопрос Ферре ответил:

— Честь запрещает мне осведомить вас об этом.

На это указанный заседатель громко воскликнул:

— Честь убийцы!

Этот возглас был услышан и напечатан в газетах. Ферре советовали просить на основании этого кассировать приговор. Он отказался, как заявил своим советникам, от новой судебной комедии и предоставил все обычному ходу.

Я ждал, что предстану пред судом после процесса членов Коммуны. Но мое дело снова было отложено, и это еще больше ослабило шансы смертного приговора для меня.

Мое место занял бедный Россель. Хотя гнусный Сиссэ, ставший военным министром, каждое утро заявлял на министерских заседаниях, что армия требует моей казни, я думаю, что она еще больше настаивала на казни Росселя, отдавшего свою саблю артиллерийского капитана на службу революции, ибо люди в кожаных брюках всегда ненавидят санюлотов.

В своей тупой жажде крови военные судьи ошиблись бутылкой. Статьи 91 и 92 уголовного кодекса действительно предвидят смертную казнь, но лишь по политическим делам, а в 1848 году эшафот по этим делам был заменен ссылкой

в укрепленную местность. Эта замена одного наказания другим была слишком сложна для разумения этих казарменных юристов, и они, сославшись на статьи 91 и 92, спокойно вынесли Росселя смертный приговор, который к нему нельзя было применить.

Он, конечно, подал заявление о пересмотре дела — и совершил этим роковую ошибку, потому что постановленный в отношении него приговор нельзя было привести в исполнение и наказание нельзя было бы не смягчить. Наоборот, когда их ткнули носом в их грубую ошибку, кожаные штаны умудрились найти другую статью, по которой полагалась высшая мера наказания. Прокуратура военных судов остановилась тогда на такой слярепо-коварной мере — привлечь Росселя по статье, карающей смертью всякого солдата, изобличенного в переходе во время войны на сторону неприятеля. Чтобы добиться такого результата, нужно было уподобить наступавшим пруссакам парижан, оставшихся в Париже для защиты республики. Версаль и пред этим не остановился. А между тем постановления кодекса по этому поводу неопровержимо ясны и точны. В прежние времена указанная статья гласила: «Всякий военный, переходящий на сторону неприятеля или мятежников, наказывается смертью».

Одновременно с отменой смертной казни за политические преступления Национальное собрание 1848 года исключило из указанной статьи слово «мятежников», оставив только слово «неприятеля». А между тем не могло быть никакого спора по поводу того, что Россель перешел на сторону не неприятеля, а мятежников, и исключение последнего слова делало невозможным применить к нему эту статью. Заявление было принято, приговор суда — кассирован, но при вторичном разбирательстве дела ему преподнесли это новое обвинение, и, противно закону и справедливости, приговор остался тот же, хотя элементы инкриминируемого преступления изменились. Это в полном смысле слова было убийство!

Когда он проходил по коридору, возвращаясь в свою камеру, он встретил Лашо-сына, тоже адвоката, защищавшего нескольких обвиняемых. Я слышал, как Лашо спросил Росселя, как он себя чувствует, и последний ответил:

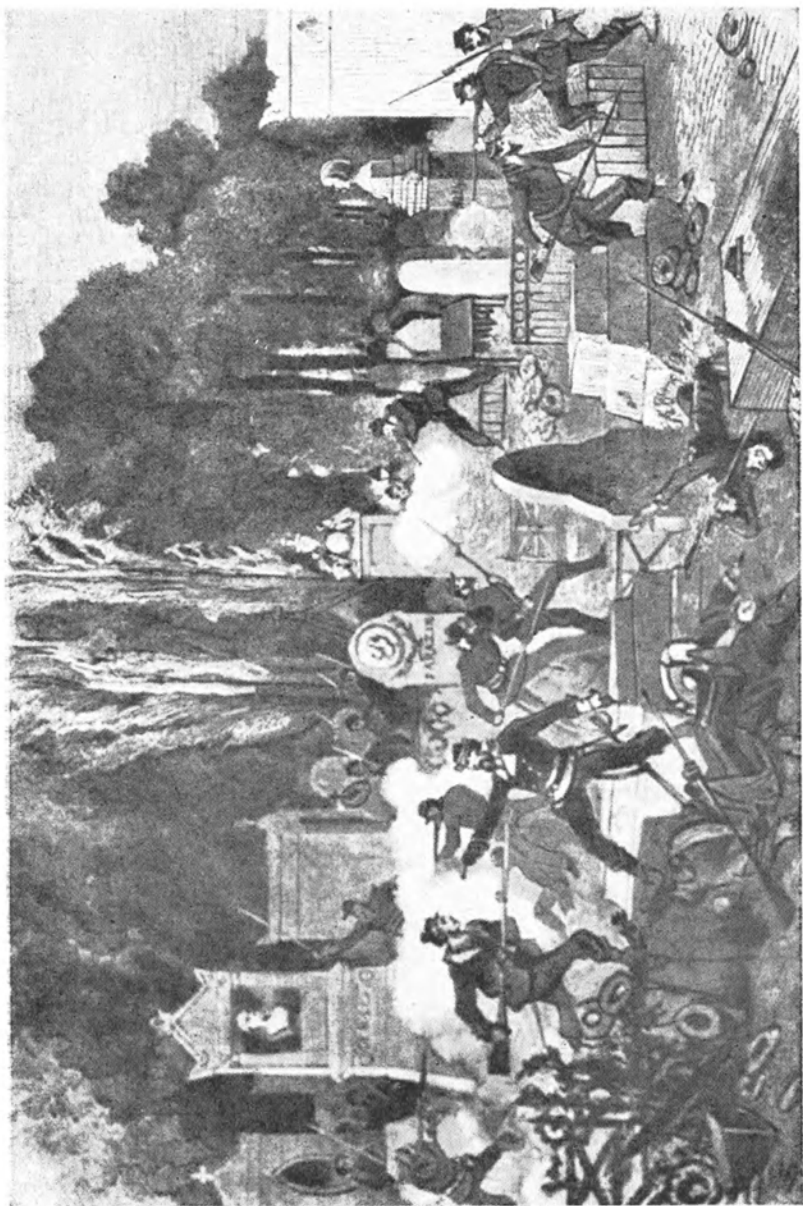
— Как человек, только что вторично приговоренный к смерти.

Вечером надзиратель передал мне записку, в которой несчастный писал:

«Дорогой сосед.

На этот раз снова смерть. Я начинаю к этому привыкать. Впрочем, от приговора до приведения его в исполнение еще далеко, и я подвергаюсь не большему риску, чем в сражении.

Весь ваш Россель».



Последняя схватка на кладбище Пер-Лашез

Если он подвергался не большему риску, чем в сражении, то риск во всяком случае был такой же, и, не пав под пулями в Метце, он пал от них в Сатори. Однако агония его длилась долго, и меня уже успели перевести в форт Бояр, когда я прочел в газетах об его казни.

Наступал мой черед, и нужно было подготовиться предстать пред судом. Мой друг Дестрем стал подыскивать защитника. Но одному адвокату моя защита послужила бы помехой в его избирательных планах, другому — в академических. Тогда пришлось остановиться на молодом адвокате, по имени Альбер Жоли, рекомендованном мне аббатом Фолэ. Впоследствии я убедился, насколько опасно отдаваться в руки людей, стремящихся сделать карьеру.

Лашо, как всегда очень добрый и услужливый, тотчас же назначил ему свидание в моей камере, чтобы продиктовать ему защитительную речь. Затем занялись вопросом о свидетелях. Я не хотел вызывать никого, думая — не без основания, — что члены военного суда придут с уже разжеванным приговором и осудят меня соответственно полученному приказу.

Тогда Альбер Жоли, жаждавший войти в личные сношения с Гамбеттой, предложил мне свое посредничество между мною и им, так как он мог меня спасти. Речь шла о том, чтобы написать моему бывшему коллеге по правительству национальной обороны письмо, которое Жоли передаст ему и в котором я опишу свое горестное положение.

Я сказал своему молодому адвокату, что мне нечего сказать Гамбетте и он решительно ничего не может сделать для меня у Тьсра, который еще несколько дней тому назад назвал его «опасно-бешеным». Но Жоли, придававший большое значение своему плану, горячо настаивал, упрекая меня в том, что я хочу действовать только по-своему. Он вынул из своего портфеля большой лист бумаги, положил его на столик и сказал: — Пишите под мою диктовку.

Он еще дома приготовил черновик прошения, который мне медленно продиктовал. Однако, переписав его черновик, не отметив ни даты, ни адреса, я категорически заявил, что ни в каком случае не хочу передавать что-либо подобное Гамбетте, и Жоли при виде моего столь твердого решения вынужден был отказаться от этого средства войти в сношения с бывшим турецким диктатором.

Впоследствии эта не имеющая никакого значения бумажка, которую я считал уничтоженной, либо найдена была в архиве Жоли после его смерти, либо еще при жизни передана была им кому-нибудь из близких Гамбетты и опубликована в газете «*Voltaire*» Жозефом Рейнаком. Мне было бы чрезвычайно легко доказать, что если бы я послал какое-нибудь письмо Гамбетте, оно могло бы выйти за пределы тюрьмы только через канцелярию и через руки смотрителя, который должен был бы

наложить на нее печать и зарегистрировать ее в исходящей книге. Клевета Рейнака не выдерживала таким образом никакой критики. Но в 1871 году, когда разнузданная реакция вынуждена была признать, что я не способствовал казням заложников, она пыталась отыграться на моей честности. Так, в брошюре, написанной самим Альбером Вольфом, мне инкриминировалось элостное присвоение некоторых картин из Лувра и похищение бронзовых вещей из особняка Тьера. Кроме того, один полицейский агент показал у следователя, что видел, как я руководил «увозом священных сосудов из церкви «Petits-Pères»». Я не знал тогда, не знаю и теперь, где находится эта церковь. Я никогда в жизни не был в особняке Тьера. Что касается картин из Лувра, то мне очень трудно было бы их разместить в моей небольшой квартире. Те, кто меня знает, сочтут, разумеется, нелепым, что мне приходилось защищаться против таких обвинений. Но в то время клерикальная реакция проявилась именно в таких гнусных инсинуациях. Все такие истории фабрикуются в семинариях.

Во время Коммуны я потерял своего отца, умершего, в возрасте 81 года, в начале апреля. С того времени я был, следовательно, в глубоком трауре. И тем не менее вызванный против меня свидетелем полицейский агент показывал, что во время ограбления церкви «Petits-Pères» я был в «брюках жемчужно-матового цвета». Этот жемчужно-матовый цвет моих брюк вызвал продолжительный диалог между мною и пехотным капитаном, которому поручено было вести следствие по моему делу.

От времени до времени меня извлекали из версальской тюрьмы и уводили под охраной восьми вооруженных до зубов солдат в кабинет этого следователя. Не думаю, чтобы за всю мою жизнь мне хотя бы раз пришлось унизиться до разговора с таким тупицей. Он назывался, а может быть и теперь еще называется д'Амеленкур. Низкого роста, худой, с редкими светлыми усами, он страдал очень сильным косоглазием. И если его глаза были искривлены, то, к сожалению, еще более искривлены были его умственные способности.

Я цитировал раньше свою статью «Заложники», в которой протестовал против предстоявших казней, хотя версальские жестокости их вполне оправдывали. И даже именно вследствие этого протеста Рауль Риго решил уничтожить мою газету, а также и меня самого. И вот расшитый галунами пехотный капитан, которого мне дали в следователи, построил почти весь свой обвинительный акт на этой статье, притворяясь, что думает, или, может быть, в самом деле думая, что, напечатав слово «заложники», я имел в виду толкать на казнь тех, кого Коммуна задержала у себя.

— Но вам достаточно прочесть мою статью о заложниках, — говорил я ему, — чтобы вы убедились, что я написал ее как раз с целью воспрепятствовать их умерщвлению.

— Возможно, сударь, — возразил он тоном победителя, — но в таком случае почему же название статьи напечатано такими крупными буквами?

— Потому что наборщики, — сказал я ему, оцепенев, — обычно набирают заглавия другим шрифтом, нежели текст.

— Нет, нет, — настаивал капитан, — если бы у вас не было задней мысли, вы бы распорядились напечатать заглавие менее крупным шрифтом.

Вот какие вопросы умудрялся он мне ставить. Но были все же и более забавные вопросы.

— При обыске, произведенном в вашей квартире на улице Шатоден, нашли доказательства вашей принадлежности к шайке космополитических революционеров.

— Я не понимаю, что вы под этим разумеете, — сказал я ему.

— Вот в одном из ящиков вашего письменного стола нашли две фотографии: одну — Гарибальди, а другую — Мадзини ²⁶¹, обе с собственноручными надписями.

— Да, эти два великих патриота прислали мне свои портреты.

— Но это не все, — продолжал мой дегенерат, — взяли также много фотографий Анри Рошфора.

Я подумал, что это мало остроумная, но все же в общем любезная шутка, и, отвечая ему в тон, сказал с улыбкой:

— Я думал, что Анри Рошфор — это я сам.

— Я этого не отрицаю, — сказал он с убежденным видом. — *Тем не менее странно, что вы храните у себя столько портретов этого социалиста.*

Сомневаюсь, чтобы в судебных анналах можно было найти свидетельства столь чудовищной тупости. Мне стыдно было пред самим собою, что меня подвергают таким допросам и таким смехотворным расследованиям. Никогда я так ясно не понимал, как во время этих встреч с солдатчиной, до какой степени военный режим понижает и суживает разум. И я обычно стал отвечать этому любителю ставить вопросы: «Не понимаю, о чем вы меня спрашиваете».

От времени до времени монотонная жизнь в одиночной камере прерывалась свиданиями с детьми, которым разрешалось приходить поздороваться со мною через две решетки, между которыми стоял надзиратель, ловивший каждое наше слово, чтобы не дать проникнуть за пределы тюрьмы ничему, что могло бы приоткрыть завесу над тайной следствия. Некоторые друзья, в том числе доктор Третье, могли побывать в этой клетке с четырьмя решетками и убедиться, что я не лишился ни здоровья, ни самообладания.

Но в самые опасные моменты моей жизни почти всегда врывалось какое-нибудь невероятное и неожиданное событие, вытаскивавшее меня из глубин, в которых меня считали — да

и сам я себя считал — похороненным. Национальное собрание деревенщины, так страстно жаждавшее моей крови, бессознательно провело голосование, которому суждено было свалить уже поставленный для меня в Сатори роковой столб. Оно единогласно назначило Тьеру один миллион пятьдесят тысяч франков на восстановление его особняка на площади Сен-Жорж, оставив ему сверх того и очень ценный участок земли, на котором он стоял. Это было для него крайне выгодным делом. Но так как меня, — безо всякого основания, как я это доказал в своей статье в «Пароле», — выставляли моральным зачинщиком разрушения тьеровского дома, то мое преступление было покрыто компенсацией, назначенной моей «жертве».

Я не хочу делать никаких двусмысленных намеков по поводу — мало, впрочем, прославляемого — бескорыстия бывшего министра Луи-Филиппа, но должен сказать, что начиная с этого момента его поведение по отношению ко мне радикально изменилось. Он пригласил к себе на обед моего преданного опекуна Эдмонда Адама и рассказал ему, какая ужасная сцена разыгралась в то утро на заседании совета министров. Сиссэ требовал, почти вымогал самого сурового приговора, без всякого снисхождения, и встретил в этом полную поддержку со стороны Жюля Фавра. Другие министры заняли нерешительную позицию, за исключением Жюля Симона, энергично отклонявшего всякое кровавое решение вопроса. Тогда поднялся Тьер и стал горько жаловаться, что точно сговорились омрачить память о нем, возложив на него ответственность за все расправы. Он прибавил, что теперь не 1793 год и нельзя расстреливать журналиста за газетные статьи, хотя бы они и были до последней степени свирепы. А когда Фавр и Сиссэ стали противопоставлять ему государственные соображения и общественное мнение армии, он, в конце концов, расплакался, твердя сквозь всхлипыванья, что его желают обесчестить. Пред лицом такого взрыва чувствительности оппозиция вдруг сложила оружие, и было постановлено не подвергать меня расстрелу. Таков факт, сообщенный мне Эдмондом Адамом. Среди множества сюрпризов, бороздивших мою жизнь, то, что из-за меня плакал Тьер, останется, быть может, наиболее потрясающим.

Помимо полицейского агента, показавшего, что видел, как я в «жемчужно-матовых панталонах» руководил ограблением церкви, я не имел против себя никаких других свидетелей, кроме моих статей. Прежде всего нужно было, следовательно, смягчить впечатление от клевет журналистов и писак партии порядка, нагромождавших против меня обвинения во всевозможных ограблениях разных помещений. Ибо реакционеры всегда выдвигали против республиканцев обвинения в воровстве. Так поступили с Орсини, с Гарибальди, с Дельклюзом. Так поступали и со мною. Это целиком соответствовало монархическим традициям.

Альбер Жоли посоветовал мне поэтому вызвать, как вы-
ражаются на судебном наречии, «свидетелей о нравственности»,
которые засвидетельствовали бы мою личную честность, ибо
я в жизни своей никому не должен был ни одного су и ни-
когда не имел никакого касательства даже к малейшим денеж-
ным операциям. Мы с адвокатом решили вызвать для этого
свидетелем генерала Трошю, который присутствовал при моих
бесплодных, но энергичных усилиях снизить наполовину, а по-
том, по крайней мере, на одну треть наше жалованье в качестве
членов правительства. В течение последних семи месяцев им-
перии, проведенных мною в Сент-Пелажи, я не получал своего
депутатского жалованья, которое Эрнест Пикар предложил мне
после 4 сентября отсчитать наличными, но и от этого катего-
рически отказался. :

Это прошлое во всяком случае не было прошлым человека,
обычно занимающегося кражей бронзовых изделий, картин и
драгоценных вещей. Я должен был необычайно измениться,
стало быть, за два месяца Коммуны.

Итак, я обратился к генералу Трошю с просьбой согла-
ситься дать пред военным судом показание о фактах, указан-
ных мною в весьма вежливом, конечно, письме, в котором
я касался лишь нападков на мою личную честь, оставив в сто-
роне всякие материальные заботы.

Письмо начиналось так:

«Я бы вас, конечно, не побеспокоил, если бы моя бедная
честь, которую громят, и все мое прошлое, которое поносят,
не испытывали большой нужды в вашем почтенном свиде-
тельстве...»

Я напоминал ему, что ушел из состава правительства, имея
сорок франков в кармане. А между тем, когда тотчас же после
моей отставки ко мне пришел один издатель газет и предло-
жил мне пятьдесят тысяч франков на создание нового органа,
я отклонил это предложение, чтобы не мешать делу обороны
и чтобы не ускорить хотя бы на один день капитуляции Па-
рижа. И я закончил словами, свидетельствующими о том, что
меня тогда заботило:

«Не знаю, генерал, согласитесь ли вы оказать мне свою
поддержку и засвидетельствовать, по крайней мере, мое бес-
корыстие и то, что я не одержим чрезмерным честолюбием.
Если я буду осужден — а это вероятно, — я все же хотел бы
выйти чистым из этого испытания».

Если бы Трошю просили дать показание по поводу явных
фактов, он мог бы отказаться выступить в качестве свидетеля.
Но на что он ни в каком случае не имел никакого права, это --

предать *ему одному писанное письмо широчайшей огласке, разнся его по редакциям газет, а затем, чтобы продемонстрировать, до какой степени он близок к бесстыдно-реакционной деревенщине, сообщать монархической прессе и свой ответ, каковой дошел до меня в мою камеру уже после того, как побывал повсюду.

Это был поступок не только злого, но и невоспитанного человека — почти подлеца. Или, точнее, это был поступок клерикала, завсегдатая ризниц, — определение, которое одно включает в себя всю гамму гнусностей и подлостей. На мою просьбу, просьбу политического деятеля, желающего, чтобы его перестали величать вором, он написал гнусный ответ, который все реакционные листки с радостью преподнесли своим читателям. Его иезуитское письмо было лживо с начала до конца. Я не говорил, что не хочу получать никакого жалованья прежде всего потому, что всякий труд должен оплачиваться и нет ничего более антидемократического, как безвозмездность функций. Затем, так как я вышел из Сент-Пелажи, не имея в кармане ни единого су, я не мог отказываться от жалованья, не обрекая себя и своих детей на голодную смерть. Я лишь протестовал против назначенных нами себе пяти тысяч франков в месяц, которые я хотел сократить до двух тысяч. Недополученное жалованье я потребовал только после своей отставки, потому что, решив ничего не писать до конца осады, дабы не мешать делу обороны, я должен был чем-нибудь кормить себя и своих детей.

Размышления Трошю по поводу моей отставки являются самой бесстыдной клеветой. Я подал заявление об отставке не после, а за два дня до 31 октября. В этом заявлении не могло, следовательно, быть речи о событиях, еще тогда не имевших места. Я ушел только потому, что мои коллеги продолжали отказывать парижскому населению в проведении муниципальных выборов, которые ими формально были обещаны.

Что касается утверждения Трошю, что я 31 октября не был в городской ратуше, то эта явная ложь возмутила всех, кто меня в тот день лично видел там, — я пришел туда справиться, почему мое заявление об отставке еще не появилось в «Официальной газете». Я — и я один — встретил первый натиск ворвавшихся, к которым я вышел навстречу, между тем как Трошю, бледный и растерявшийся, одиноко топтался вдоль задней стены зала заседаний.

К счастью, я вспомнил, что Шельшер сопровождал меня, когда я вышел к наступающим. Я поручил спросить его, пожелает ли он выступить на суде с показанием о том, что ему известно о дне 31 октября.

Вот письмо, которое он мне прислал в ответ (ибо если Шельшер был обидчив и отличался странностями, он по существу был вполне честный человек):

«Дорогой коллега.

Вы сообщаете мне, что генерал Трошю в присланном вам письме обвиняет вас в том, что вы не были 31 октября в городской ратуше, и просите меня показать все, что я знаю по этому поводу.

Утверждаю самым положительным образом, что генерал Трошю ошибается. Утверждаю, что видел вас, когда вы вышли из зала заседаний правительства (это было часа в два или в два с половиной), направляясь успокоить толпу ворвавшихся, уже занявших тронный зал. Вы попросили меня пойти с вами. Мы вышли к наступавшим вместе. Вы поднялись на стол, чтобы обратиться к ним с речью, но едва вы успели произнести несколько успокоительных слов, как вас прервал рев толпы.

Относительно сказанного не может быть ни малейшего сомнения. Мои воспоминания совершенно точны, ибо я вспоминаю также, что защищал вас от нападков одной личности (впоследствии — члена Коммуны), которая, стоя у самого стола, грубо попрекала вас, что вы покидаете дело народа и становитесь изменником.

После ряда тщетных попыток как с вашей, так и с моей стороны заставить себя выслушать мы вместе вышли во внутреннюю комнату, и я вас покинул у входа в зал заседаний, куда вы и вошли.

Буду считать своим долгом доложить об этих фактах на судебном заседании, если вы считаете это полезным для своей защиты. Но я скоро уезжаю в Лондон, и полагаю, что настоящее письмо вполне заменит собою устное показание. Разрешаю вам поэтому воспользоваться настоящим письмом так, как вы сочтете нужным для себя.

В. Шельшер».

Мой друг Дестрем поспешил сообщить антиверсальским газетам это унижительное опровержение. Трошю принял его, не моргнув глазом. Письмо его, которое, как он, вероятно, рассчитывал, должно было повлечь за собою для меня высшую меру наказания, в действительности возмутило даже председателя 3-го военного суда. Когда последнему пришлось в ходе моего процесса два или три раза упомянуть имя генерала Трошю, он произносил его с замеченным всеми презрительным жестом.

Председательствовал полковник, по имени Мерлен, неизлечимый клерикал и бонапартист, но по сравнению с офицерами, над которыми он председательствовал, человек довольно умный. Я предстал пред ним вместе с сотрудником «Пароля» Анри Маре и нашим секретарем редакции. Должен признать, что в тоне его допросов не было ничего агрессивного. Это были скорее беседы, выдержанные в довольно вежливых тонах. Впоследствии я узнал, что его просили не слишком резко напа-

нат на меня, дабы не побудить своих коллег по военному трибуналу высказаться за беспощадный приговор.

Воспроизвожу здесь по журналу «Право» отчет о судебных прениях, который ярче всяких комментариев выявляет неизлечимо реакционный дух наших врагов.

Председатель. — В настоящий момент нас интересуют только ваши статьи. Так, 2 апреля, говоря о г-не Тьере и об его усилиях сокрушить инсurreкцию, вы в оскорбительных выражениях предупреждаете его, что против него пустят в ход все смертоносные орудия, какие удастся изобрести. Это был открытый призыв к гражданской войне.

Рошфор. — Нет, это было предсказание.

Председатель. — Можно придавать вашим статьям такой смысл, какой вы пожелаете, и все же остается фактом, что они должны были оказывать на читателей «Пароля» самое вредное влияние. 3 апреля вы горячо расхваливаете Центральный комитет, который вы считаете способным на очень хорошие дела, и называете марионетками членов правительства.

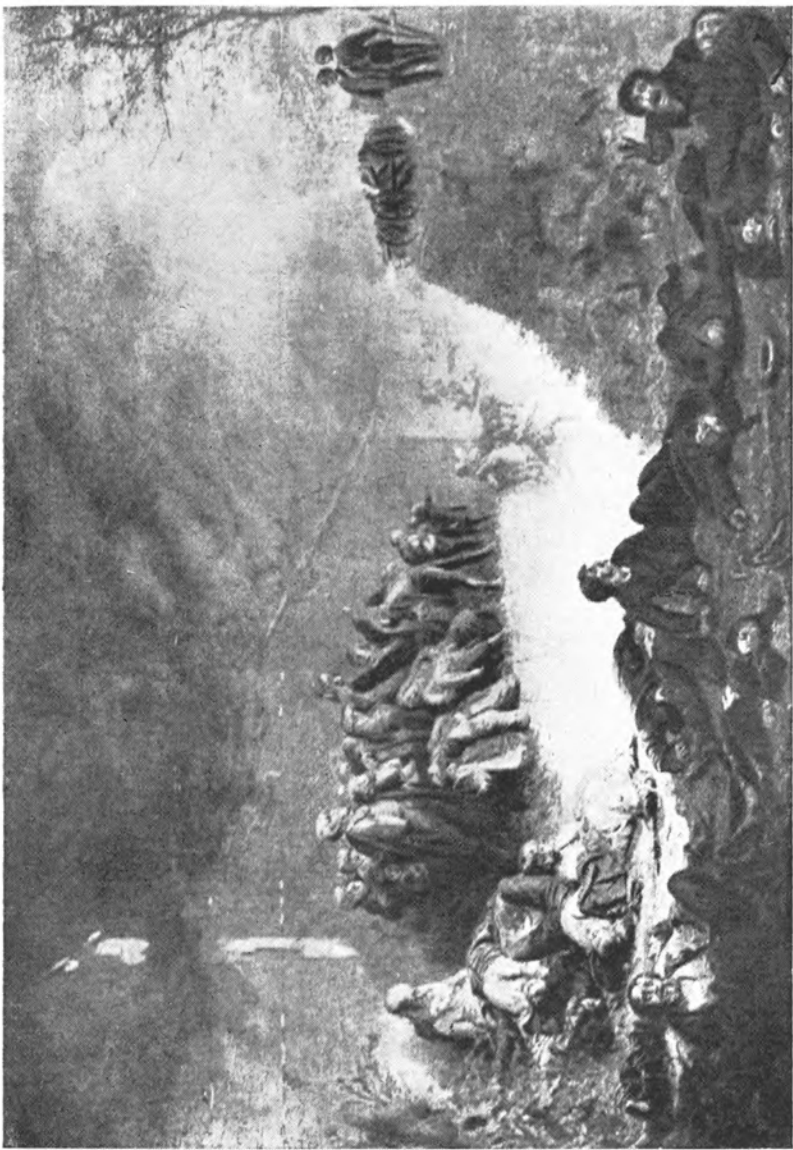
Рошфор. — Я намекаю в этой статье на предстоящие выборы членов Коммуны, гораздо более важные, нежели выборы Центрального комитета, и я хотел позолотить последнему пилюлю.

Председатель. — В той же статье вы говорите, что хорошо, что избираются первые встречные, прохожие. Что же, вы думаете, что Францией должны управлять первые встречные? Ведь все будут считать себя вправе принадлежать к их числу. 5 апреля вы жалуетсяесь на бомбардировку и обвиняете в ней версальскую армию, но Коммуне стоило только сложить оружие, чтобы остановить ее. Вы говорите: «Это не воровство — давать пачки тысячефранковых билетов Винуа для разрушения Триумфальной арки, но взять в финансовом ведомстве тридцать су для национальных гвардейцев — вот это воровство!»

12 апреля вы призываете всех принять участие в голосовании, «потому что воздержание, — говорите вы, — свидетельствовало бы о том, что начинается утомление, и этим поспешили бы воспользоваться наши палачи, версальские пираты. Те, что пойдут на малейшие уступки этим разбойникам, будут горько раскаиваться и станут рвать на себе волосы». Думаете ли вы, что это не есть возбуждение к борьбе?

Рошфор. — В глубине души я не переставал стремиться к примирению.

Председатель. — И для этого-то вы предлагаете выбирать в Коммуну только ярко выраженных республиканцев, — известно, какой смысл имело это слово! И для того, чтобы достигнуть желаемого соглашения, вы восклицаете: «Правда, мы рассчитываем на поставленные у ворот Майо батареи, чтобы



СТЕНА ФЕДЕРАТОВ
С картины Эрнеста Пизцио

оставить версальцев, но главную нашу надежду мы возлагаем на крупные города». И дальше вы говорите: «Мы поддерживаем Коммуну безо всякой задней мысли».

Р о ш ф о р. — Не скажу, чтобы эти статьи не были резки, иногда грубы. Но нужно смотреть не на форму, — в них нужно видеть другое, ибо в основе их всегда лежала мысль о примирении.

П р е д с е д а т е л ь. — Нужно быть очень умным и очень тонким, чтобы понимать ваши статьи в предлагаемом вами смысле, а те, что читали «Пароль», толковали их совсем в ином духе. Но есть и другие статьи, которые могут иметь для всех только один смысл. Так, 1 мая в отделе «Сельская хроника» помещена в «Пароле» статья, начинающаяся следующими словами: «Париж поднимается против всех видов тирании». Что же, тирания Коммуны не была разве наиболее кровавой из всех? Затем вы обращаетесь к солдатам и говорите им: «Какое безумие толкает вас, обманутые солдаты, сражаться против ваших братьев? Какая вам выгода служить ничтожествам, которые являются вашими офицерами?»

Р о ш ф о р. — Это не мои статьи. Посмотрите подпись.

П р е д с е д а т е л ь. — Они не подписаны, но так как вы были ответственным редактором, вы обязаны были задержать их печатание. А дальше «Пароль» обвиняет версальскую армию в том, что она выпускает на Париж зажигательные бомбы, и вы призываете к репрессиям.

Р о ш ф о р. — Если бы эти статьи прошли через мои руки, я бы, вероятно, не дал их напечатать.

П р е д с е д а т е л ь. — 5 мая вы очень горячо выступаете в защиту Бланки, арест которого вы порицаете.

Р о ш ф о р. — Если бы правительство согласилось отдать Бланки, ему бы вернули в обмен всех заложников, — вот что мне хотелось выяснить. Прибавлю еще, что Бланки, заслуженный заговорщик, — в то же время человек положительный, и если бы он принимал участие в Коммуне, он был бы одним из самых умеренных ее членов. Благодаря своему авторитету и своему возрасту он предупредил бы много бедствий. Я уверен, что сторонниками Бланки были как раз реакционеры, составлявшие меньшинство Коммуны. Поэтому, если бы Бланки принимал участие в Коммуне, — ни поджоги, ни убийства, конечно, не имели бы места.

П р е д с е д а т е л ь. — Однако не подлежит сомнению, что Бланки является отъявленным сторонником насильственных мер.

Р о ш ф о р. — Это он не допустил расстрела генерала Трошю 31 октября, а не Флуранс, которому это приписывали.

П р е д с е д а т е л ь. — 12 апреля, больше чем за месяц до декрета Коммуны о сношении особняка г-на Тьера, вы наметили его особняк на площади Сен-Жорж, а также три дома г-на Пижара. — дома, как вы выразились, с огромным доходом. В той

же статье вы говорите и о квартире г-на Жюля Фавра на Амстердамской улице, и вы пишете: «Что сказали бы эти собственники, если бы на каждый снаряд, выпускаемый ими на наши дома, ответили ударом лома в стены их домов?»

Р о ш ф о р. — Я был крайне возмущен бомбардировкой. Но я утверждаю, что не только не призывал к разрушению особняка г-на Тьера, но, наоборот, я отсоветовал это делать... Я журналист с давних лет и знаю, сколько нужно настаивать, чтобы заставить принять какую-нибудь мысль и затем осуществить ее. А между тем к тому времени, когда особняк на площади Сен-Жорж был разрушен, прошло тридцать девять дней после появления моей статьи, и я ни разу больше не заикался об этом в своей газете. Но я не только хранил молчание в течение тридцати девяти дней, — я еще ответил на статью моего личного врага, г-на Сарсэ, в «Голуа», — статью, в которой сказано было, что мебель г-на Тьера распродана была на тротуаре площади Сен-Жорж при восклицаниях «да здравствует Рошфор!» В своей статье я ответил, что весь Париж знал, что ни одна булавка не была вынесена из особняка, чего Версаль также не мог не знать, но сказка так хорошо придумана, что кажется правдоподобной.

П р е д с е д а т е л ь. — Вы не только не выступили против декрета о разрушении, но, наоборот, 15 мая вы писали: «Этот декрет явился необходимым удовлетворением общественному мнению».

Р о ш ф о р. — Прежде всего — не мною написана эта статья. Но если бы даже я ее написал, я все же не нес бы никакой ответственности за разрушение, потому что я за тридцать девять дней ни одного слова не сказал об этом особняке.

К о м и с с а р п р а в и т е л ь с т в а. — Подсудимому все же принадлежит инициатива в деле этого разрушения.

П р е д с е д а т е л ь. — Вы обвиняетесь в соучастии в разрушении общественных памятников, во-первых, за вашу статью, в которой вы требовали, чтобы статую маршалу Нею перелили в бронзовую разменную монету...

Р о ш ф о р. — Никогда я этого не писал.

П р е д с е д а т е л ь. — Вы обязаны были, просмотрев эту статью, не допустить ее печатания или поместить разъяснение.

Р о ш ф о р. — Признаюсь, что не придавал этому такого большого значения.

П р е д с е д а т е л ь. — 13 апреля вы писали: «Герсальцы ведут себя с нашими пленниками как негодяи, и негодование парижского населения, требующего репрессий, вполне понятно. Дом принца Бонапарта немного потрепали, но судьба жилища этого принца-убийцы мало кого интересует». Итак, вы называете убийцей человека, который защищался, когда на него напали в его доме?»

Меня, стало быть, судили за то, что я заодно со всей Францией считал убийством то нападение, жертвой которого пал Виктор Нуар. Это неосторожное слово бонапартистского полковника Мерлена являлось для меня самым ясным и самым убедительным оправданием. Мерлен продолжал свое клерикальное словоизвержение:

«Я перехожу теперь к вашему соучастию в ограблении церкви. В ряде своих статей вы проводите сравнение между тем, как поступали по отношению к церковным имуществам в Италии и в Германии. Вы могли бы прибавить и Францию эпохи первой революции. Но в настоящее время положение церкви во Франции не то уже. Нет больше имущества духовенства. То, чем обладают церкви в виде предметов искусства и драгоценных вещей, — это дары частных лиц, и принадлежит это им в такой же мере, как вам принадлежат ваши часы».

Этот человек в штаб-офицерских эполетах рубил таким образом с плеча, сидя за своей конторкой, сложный и большой вопрос о церковных имуществам. За мой счет он решал, что то, что духовенство собрало ложью, выманиванием наследств и обещанием помешанным старухам рая, который ему не принадлежит и существование которого оно не может гарантировать, составляет его законно приобретенную собственность.

Мой процесс становился таким образом процессом свободной мысли.

Майор Гаво, произнесший обвинительную речь против меня, был высокий сухопарый человек с вдавленным лбом, потухшими глазами и столь глухим голосом, что он, как говорят в театрах, «не переходил через рампу». Свое обвинение он построил на моем «Фонаре», в котором я оскорблял все, что было наиболее священного во Франции. Это был парафраз обвинения, выдвинутого против меня д'Амеленкуром, который со своей бонапартистской наивностью писал:

«Покрыв оскорблениями в своей брошюре императора, императрицу и императорского принца, он был 4 сентября назначен членом правительства».

Такая оценка была очень оскорбительна для моих бывших коллег, из которых некоторые были еще министрами, но «Фонарь» такой тяжестью лежал на душе этих чинов империи, что они теряли всякое чувство меры.

Гаво, конечно, величал меня «тайным вождем» Коммуны, что давало ему возможность приписывать мне все аресты, все казни и все пожары. Хотя он по писанному прочел свою речь, якобы навеянную ему ходом и разоблачениями процесса, бедный майор часто запутывался до того, что приводил в смущение

шие председателя, который невольно обращал ко мне умоляющие взоры, как бы испрашивая моего снисхождения.

Такая масса труда, забот и усилий вскоре взорвали черепную коробку этого представителя государственного обвинения — и три месяца спустя он умер в доме умалишенных.

По тому обороту, который приняло дело, и в виду отсутствия действительно обвинительного материала я думал, что мне дадут только простую ссылку. Во время якобы совещания членов суда, приговор которого был, разумеется, составлен заранее, нас всех троих вывели в достаточно обширный зал, где мы прогуливались под надзором множества жандармов и не малого числа полицейских.

Одно слишком громко произнесенное слово чуть было не обтягло страшно наше положение. Я сказал своим сопроцессникам:

— Если бы я был осужден хоть мало-мальски умными судьями, — еще туда-сюда, но такими идиотами — это уже слишком унижительно!

Один бригадир услышал это замечание и, став предо мною в угрожающую позу, сказал:

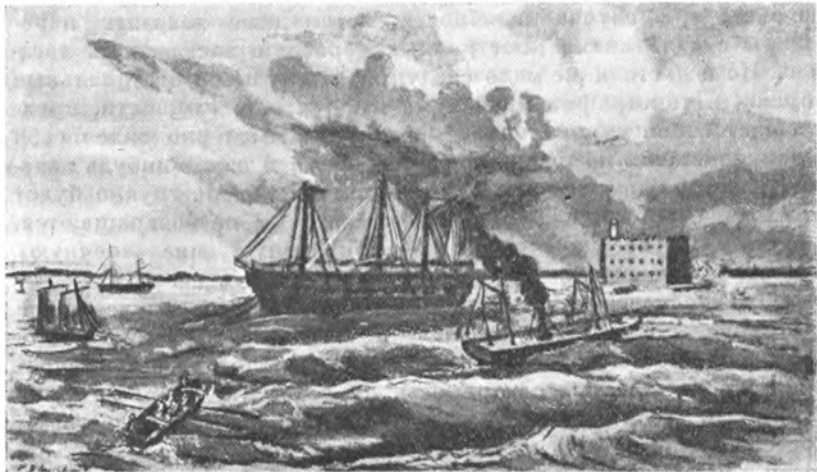
— Ага, вы называете идиотами членов военного суда? Прекрасно! Я сейчас им сообщу ваш отзыв о них. Он вам дорого обойдется, можете мне поверить.

По неожиданной удаче судьбы уже заперлись в зале совещаний, и, не зная, что хотел им сообщить бригадир, они не пожелали его впустить. Если бы не это, не знаю, что стряслось бы с нами.

По приговору мы получили: я — вечную ссылку²⁶² в укрепленную местность, секретарь редакции «Пароля» — простую ссылку, а Анри Маре — пять лет тюремного заключения.

Главным образом в области политики можно задаться вопросом: сколько времени длится вечность?

Я считал чрезмерно жестокой ссылку в укрепленную местность. И однако я ошибался. События показали, что там гораздо лучше обращались, предоставляли гораздо больше свободы и пища была гораздо лучше, чем в местах простой ссылки.



ГЛАВА XXI

В форте Бояр. — Планы побегов. — Адмирал Рибур. — Нападки печати. — «Даная». — Медвежья яма. — В Олероне

В самые мрачные и тяжелые дни моей жизни мне всегда приходил на выручку случай, а иногда и глупость или невежество моих противников. Губернатор Новой Каледонии предложил правительству Сосновый остров, находящийся приблизительно в сорока километрах от Нумей, как место для простой ссылки, а остров Дюкос, расположенный в восьмидесяти километрах от столицы Новой Каледонии, как пункт для ссылки в укрепленную местность.

Пребывание на этом пустынном островке, населенном только москитами, где мы были бы лишены всего и где нас поедали бы насекомые, было бы для нас медленным, а может быть и быстрым умиранием. Но правительственные географы, посмотрев новые морские карты, не могли отыскать острова Дюкос и смешали его с полуостровом Дюкос, близ Нумей, соседство которой оказалось потом для нас столь ценным. Что же касается Соснового острова, находящегося на далеком расстоянии от главного острова и окруженного коралловыми рифами, он представлял бы для меня то огромное неудобство, что заранее осуждал на полную неудачу всякую попытку к побегу.

Невежество служащих морского министерства имело таким образом своим результатом то, что к менее виновным, т. е. к осужденным на более легкое наказание, применялся значительно более строгий режим, чем к осужденным на более мягкое наказание, ибо первые лишены были всякого сообщения с внешним миром, между тем как вторые могли получать

сведения и, в случае надобности, могли даже завязать переговоры с капитанами иностранных кораблей, заезжавших в гавань. Но и я, столь же мало сведущий, как и наши официальные моряки, в топографии края и не зная, что, в сущности, представляет собой «укрепленная местность», мысленно видел себя законопаченным на неопределенное время в каком-нибудь каземате, построенном на скале, с которой мне очень трудно будет спуститься. Но так как лишь одни мертвецы не возвращаются, я довольно весело принимал назначенную мне «вечную» ссылку, в надежде возможно больше сократить ее.

Служители версальской тюрьмы, в которую я вернулся после приговора, повидимому, придавали такое же значение моему приговору, потому что смотритель тюрьмы, дотоле очень суровый, довел свою благосклонность до того, что разрешил мне принимать детей в своем кабинете. Там я встречался с сестрами Росселя, бросавшими на меня взгляды, полные грустной зависти, в которой так ясно сквозила горькая мысль: «Кабы и нашему бедному брату удалось взамен смертного приговора получить ссылку, хотя бы действительно пожизненную!»

Виктор Гюго получил особое и необычное разрешение на свидание со мною в моей камере. Я принял его с грустным почетом, и он провел со мною полтора часа. Письмо Трошю его до того возмущало, что он заклеил его в превосходных стихах в своей книге «Жестокий год».

Он сообщил мне, что я, вероятно, буду переведен в Турскую тюрьму, которая мне знакома была, потому что я находился в ней во время процесса Пьера Бонапарта. Я обратил его внимание на то, как скверно отразится на моей репутации различное отношение ко мне и к другим осужденным, из которых многие уже отправлены в форт Келерн и в форт Бояр. И я решил потребовать полного применения ко мне наказания, которое я должен был и хотел понести наравне с другими моими товарищами по борьбе и пленению. На следующий день после посещения Виктора Гюго я написал министру внутренних дел, что, будучи приговорен к тому же наказанию, как и многие члены Коммуны, и не желая пользоваться никакими привилегиями, я прошу отправить меня туда же, где содержатся все остальные «мятежники». Мое требование, которое я вынужден был повторить, было, наконец, удовлетворено, и в один прекрасный вечер предо мною раскрылись ворота версальского арестного дома и меня втолкнули в разделенный на клетки вагон, где я встретился с дюжиной жертв военных судов и, между прочим, с бывшим секретарем турецкого правительства, Жоржем Кавалье, которого Валлес, можно сказать, обессмертил под именем «Деревянная трубка». Два бесконечных дня тащились мы до Ла-Рошель. Однако ни «Деревянная трубка», ни я не были подвергнуты пытке езды в ящике-клетке, — мы совершили переезд в коридоре, где нам на ночь постлали матрацы.

Тюремные вагоны являются для осужденных за уголовные преступления ужасающим пережитком средневековых пыток. Сквозь потолок каждой клетки проведены толстые цепи, оканчивающиеся железными кругами, в которые вдеваются ноги невольного путешественника; ноги таким образом иммобилизованы до прибытия на место назначения. Это вызывает почти полную остановку кровообращения и очень сильное похолодание конечностей. Эти арестантские поезда обычно приравниваются к товарным поездам и почти на каждой станции простаивают по часу, по два, по три. И когда несчастных извлекают из их передвигающихся гробов, часто оказывается, что у них обморожена та или иная часть тела или какие-нибудь суставы стали неподвижными.

Когда мы высадились у таможни, чтобы перейти в канонерку, которая стояла под парами, готовясь перевезти нас в форт Бояр, мне пришлось совсем близко пройти мимо одного из жандармов, выстроившихся вдоль нашего прохода. Он совсем тихо спросил меня тоном искреннего волнения:

— Какой у вас приговор?

— Ссылка.

— На сколько времени?

— Навсегда!

— Ах!

И вздох, сопровождавший это восклицание, был столь неоспоримо искренен, что раскрыл предо мною двери надежды. Я подумал, что если жандарм, которому поручено сторожить меня, выражает мне такое сочувствие с первых же шагов моего восхождения на Голгофу, — значит, есть основание предполагать, что я встречу других соотечественников, склонных пожалеть меня, а может быть и помощь оказать. Отношение ларошельцев, смотревших, как мы ранним утром поднимались на судно, которое должно было нас доставить в форт, было тоже почти дружеским. После тех помоев, которые целыми ведрами выливали нам на голову, было большим утешением для нас убедиться, что провинция сохранила к нам добрые чувства.

Но сердца наши все же сжались, когда построенный на скале Бояр каменный мастодонт предстал пред нами на розовом фоне занимающегося утра. Черный и просверленный пушечными портами, из которых выглядывали бешеные глаза пушек, следивших, казалось, своими взорами за нами, этот апокалипсический зверь имел такой вид, точно поджидает нас, чтобы нас пожрать. Перспектива быть проглоченными этим чудищем и не знать, когда можно будет выбраться из его ужасного чрева, глубоко подавляла нас, — тем более, что, заливаемое волнами всегда бушующего там моря, это чудовище не открывало взору ничего, кроме бесформенного нагромождения беспрестанно вращающихся вокруг нас волн, бирюзовых и ни-

чего не отражающих, потому что судам приказано было держаться на определенном расстоянии от нас.

Наше прибытие вызвало некоторое волнение среди двухсот пятидесяти или трехсот Ион, копошившихся внутри этого колоссального кита. Я вновь свиделся там или впервые познакомился со многими ссыльными, в обществе которых мне предстояло прожить неопределенное число лет. Там я познакомился с Анри Боером, который, прибыв раньше меня в Бояр, должен был раньше меня отправиться в Новую Каледонию. Он был отправлен с первым судном, — с первым погребальным шествием, должен был бы я сказать, ибо эти межокеанские переезды сильно походили на похороны.

Там я сблизился и с Асси, бывшим организатором забастовки в Крезе. Хотя это был очень мужественный человек, он мне показался умственно мало солидным и развитым. Полковничьи галунные нашивки, которые он носил во время Коммуны, занимали его, конечно, больше, нежели исход борьбы между Версалем и Парижем.

Начальник форта был человек, отнюдь не любивший кулачных расправ, — наоборот, он желал жить в мире с вверенными ему арестантами. К сожалению, его добрые намерения встречали постоянную помеху в лице капитана морской пехоты, военного начальника крепостной тюрьмы, который всегда находился между двумя выпивками и проводил свои дни в том, что придирался к нам. Его грубость по отношению к родным ссыльным, получавшим от адмиралтейства разрешение на свидание с ними, чуть было не вызвала возмущения. И он довел свою непопулярность до крайней степени, не пропустив на свидание со мною мою сестру и моих двух детей, совершивших трехчасовую поездку по морю, чтобы поцеловать меня.

Мои товарищи, вне себя от негодования, покрыли этого пьяницу бранью, к которой я прибавил и от себя, и мятеж принял такие размеры, что начальник форта прибежал и стал упрашивать меня использовать все мое влияние, чтобы успокоить расходившиеся страсти, обещая мне при этом, что моей семье, согласится на это капитан или нет, будет дано разрешение свободно со мною видаться.

И пора была начальнику форта вмешаться, потому что один ссыльный уже крикнул мне:

— Гражданин Рошфор, хотите вы, чтобы мы вышвырнули в воду эту свинью?

Мятеж, если бы он вспыхнул, тем труднее было бы подавить, что те несколько морских пехотинцев, которые должны были нас сторожить, постоянно братались с нами, выполняли наши поручения за стенами тюрьмы и, между прочим, закупали для нас табак, на который я отдавал все свои деньги, ибо лишение этой плесени в рубленном или скатанном виде было для многих моих товарищей почти непереносимо. И я, за всю свою

жизнь ни разу не взявший в губы ни одной папиросы, израсходовал за шесть месяцев, проведенных в форте Бояр, немного больше четырех тысяч франков на табак.

В версальской тюрьме я почти собственными глазами наблюдал ужасный случай с одним несчастным, которому запрещение курить причинило прямо поразительные повреждения. Он со сложенными в мольбе руками просил дать ему табак, который по регламенту арестного дома нельзя было давать заключенным. После жестоких страданий, выразившихся в подлильных рычаниях, он впал в почти коматозное состояние, слег и умер. За неделю до его кончины тюремный врач прописал ему, наконец, табак, который он требовал на все лады. Но было уже поздно, и, как мне сказал мой надзиратель, и не подозревавший, насколько зловеща была его игра слов, «он разбил свою трубку как раз в тот момент, когда ему разрешили раскурить ее».

Форт Бояр в общем был вовсе не так страшен, как представлялся на первый взгляд. Мы пользовались правом собираться вместе и прогуливаться по нашему желанию на вершущке цитадели, где мы могли дышать прекрасным соленым воздухом. Я с самого моего приезда был помещен в лечебницу, т. е. в каземат, в котором мы находились вместе с Паскалем Груссе, доктором Растулем и Биллиорэ²⁵³, которого реакционные газеты неизвестно почему считали рылейщиком.

Эта ошибка относительно профессии послужила солдатам партии порядком предлогом для казни, т. е. убийства четырех или пяти рылейщиков, которым они говорили: «Ага, это ты, я тебя знаю, — ты Биллиорэ!» И они их пристреливали, не давая им даже времени ответить.

Наш Биллиорэ, единственный подлинный Биллиорэ, умер от чахотки во Франции, потому что по состоянию его здоровья его нельзя было отправить в Новую Каледонию. Растуль, врач с юга, немного гасконствующий, находился в непрерывном ожидании амнистии, с каждым днем все более отсрочивавшейся, и проводил свое время в писании писем властям, ходатайствуя о смягчении наказания. Однако смягчения не последовало! Несколько лет спустя, преследуемый мыслью об удаче моего побега, он рискнул тоже устроить побег, крайне неумело организованный. Из случайно нарезанного в лесах Соснового острова дерева он и некоторые его товарищи по ссылке сколотили беспалубную барку, в которой едва могло поместиться восемь человек. А их набилось человек двадцать, и пустились они почти без припасов в Австралию, — путешествие, которое должно было длиться, по крайней мере, добрый месяц. Увы! — им не пришлось познать муки голода, ибо море при первом же подъеме поглотило их. Единственным оставшимся от их безумной экспедиции следом были несколько найденных досок от их барки. Они, вероятно, нашли себе жилище в животах

«мейства акул, — ни один из их групп не был выброшен на берег.

Попытка несчастного и не очень серьезного Растуля тем меньше поддавалась оправданию, что во время нашего совместного заключения он категорически отказался принять участие в задуманном мною в первый раз побеге, который не удался только по несчастной случайности, хотя у нас были большие шансы на удачу.

План этого побега был задуман мною. В глубине моего каземата, разделенного на две половины огромным восьмидюймовым орудием, жерло которого высовывалось из пушечного порта, я написал близкой подруге моих сестер, г-же Сен-Ш., подробное письмо с описанием плана форта и с приложением соответствующего чертежа.

При низкой воде волнорез, выдававшийся вперед, точно нос корабля, целиком был под водою. В темную ночь к нему довольно легко могла подойти лодка, так как с нашей стороны почти никакого надзора не было. Если бы капитан какого-нибудь судна, французского или иностранного, согласился за определенную сумму поджидать нас в своем вельботе у волнореза, нам нужно было бы употребить только небольшое усилие и спуститься из пушечного порта по плотно скатанным простыням, привязанным к пушечному станку. Я просил г-жу Сен-Ш. передать мое письмо моим сестрам, имена которых на конверте привлекли бы внимание почтовых чиновников. Сестры должны были сообщить о дне и часе, когда наш побег мог бы состояться, но в скрытой форме, как, например: «8-го сего месяца мы собираемся переехать в деревню. Выдем мы ночью с двенадцатичасовым поездом, — если не 8-го, то 9-го или 10-го». Для меня бы это значило: «Судно будет вас поджидать у волнореза 8-го, 9-го или 10-го месяца». Я указал, кроме того, в своем письме, что мы спустим до валганга веревочку, в конце которой с нашей стороны будет привязана жестяная кружка, каковая будет прикреплена к пушке. Достаточно будет потянуть веревочку, чтобы дать нам знать о присутствии наших спасителей.

Паскаль Груссе и Бальер, с которыми я два с половиною года спустя бежал из Новой Каледонии, Биллиорэ, Растуль и я должны были воспользоваться возможностью побега, на организацию которого я дал десять тысяч франков и Груссе — восемь тысяч, каковые я счел нужным ему возратить, когда план провалился по моей вине.

Через неделю после отправки моего письма я получил от одной из своих сестер ответ, которым она сообщила мне в условленных выражениях, что соответствующий капитан и судно найдены и что через две недели, между двенадцатью и двумя часами ночи, нам нужно ждать появления спасительной лодки. Мы стали готовить свой спуск и каждый вечер спускали

веревочку до валганга для дачи сигнала. Для большей верности мы бодрствовали до двух часов ночи, после чего мы из предосторожности, которая нас и погубила, поднимали веревку, так как она могла привлечь к себе внимание обхода.

Прогуливаясь в один из тех дней по террасе форта и напряженно всматриваясь в горизонт, не увидим ли мы ожидаемых спасителей, мы заметили норвежское судно, державшееся на узаконенном расстоянии, но его можно было ясно разглядеть в хороший бинокль. Мы догадались, что это наше судно, но не знали, назначен ли побег на тот день или на один из двух следующих дней. Пока важно было быть наготове.

В десять часов вечера, когда все были заперты до следующего дня, мы спустили сигнальную веревку, недостаточно обратив внимание на то, что море порядочно волновалось. Пробыло одиннадцать, затем двенадцать, час, два часа, — наша сигнальная жестяная кружка не двигается, не издает никакого звука. Тогда мы, чтобы избежать провала предприятия, подняли веревку, говоря друг другу:

— Очевидно, дело назначено на завтра!

Увы! — оно назначено было именно на ту ночь. Но по ужасному невезению обоим матросам, правившим лодкой, пришлось в течение трех часов бороться с волнами, которые, отскакивая от форта, постоянно отбрасывали лодку в море. Они добрались до валганга только около четверти третьего, через пятнадцать минут после того, как мы подняли сигнальную веревку. Они долго искали ее и, испугавшись все разраставшегося шторма, сели в лодку, чтобы вернуться на норвежское судно.

В довершение несчастья один из этих храбрых матросов, войдя в море, чтобы взобраться в лодку, захвачен был налетевшей волной, унесен течением и потонул, несмотря на все усилия его товарища притти ему на помощь. Тело бедного малого найдено было на следующий день на берегу острова Олерон, и вышитая на его форменной одежде норвежская надпись в связи с пребыванием судна в водах Боярской скалы пробудила подозрение рошфорского морского префекта, распорядившегося немедленно произвести расследование.

На следующий день адмирал Рибур в сопровождении нескольких морских офицеров торжественно вошел в каземат больницы. Было восемь часов утра, и я лежал еще в постели. При входе этого важного барина я повернулся лицом к стене, делая вид, что нисколько не интересуюсь его расследованием. Он не решился подвергнуть нас допросу, на который я бы, впрочем, отказался отвечать, и, очень тщательно осмотрев расположение нашей комнаты и отверстия наших пушечных портов, приказал построить вдоль наших окон будки, в которых постоянно караулили бы солдаты морской пехоты. Кроме того, на верхушке форта поставлены были часовые со специальной миссией внимательно всматриваться в горизонт. Все эти меры

имели такой же смысл, как после ужина горчица, потому что после провала нашей попытки нам почти невозможно было организовать — по крайней мере, в той же обстановке — другой побег. Я расплатился за эту попытку восемнадцатью тысячами франков и незабываемой печальной потерей бедного малого, как бы нарочно приехавшего из Норвегии, чтобы пожертвовать за нас своею жизнью. И из-за каких-то пятнадцати минут не удалось нам вырваться на свободу!

Тому же адмиралу Рибуру, которого мне пришлось постоянно встречать на своем пути, также поручено было прояснить другое расследование по поводу — на этот раз удачного — побега, который мы с тем же Паскалем Груссе и Бальером совершили из Новой Каледонии. Но Рибур мог в бешенстве сместить всех чиновников колонии, которых он безо всякого основания обвинял в соучастии в подготовке нашего побега, — ему удалось только констатировать, после того как он перевернул наше гнездо вверх дном, что птицы действительно улетели.

Мы покорились судьбе и решили ждать лучших дней и более благоприятных для новой попытки обстоятельств. Но в течение долгого времени мы не могли отделаться от шемящей грусти при мысли о милой свободе, которую мы уже почти держали в руках и которая так жестоко отнята была у нас несчастным случаем. А между тем мне было бы очень приятно улизнуть от верскальских журналистов, которые, зная или предполагая, что я навсегда погребен в казематах реакции, переходили всякие границы в нападках на меня. Никогда, вероятно, человеческая подлость не устремлялась с большей гнусностью и утонченностью на скованного, замуравленного и лишенного возможности обороняться человека. Все те, гаденькую зависть которых ожесточил шум, происходивший вокруг моего имени в течение трех или четырех лет, все бонапартистские борзописцы, которые временно осуждены были обстоятельствами на молчание, старались перещеголять друг друга в оскорбительных эпитетах и чудовищной клевете на меня.

Эдуард Порталис, с которым я не был знаком и который дебютировал как подозрительный политик, докатился до вульгарного шантажа, издавал тогда газету «Правда» («La Vérité»), довольно мужественно боролся с осадным положением, высшим представителем которого был генерал Ладмиро, столь же малограмотный, как и другие.

Эдуард Порталис предложил мне после моего осуждения через третье лицо написать для его газеты историю Второй империи, которую он хотел печатать фельетонами и за которую предлагал мне умопомрачительные условия. Но так как все тюремные зрители были чиновниками при Наполеоне III, то они не могли бы без гнева читать мою рукопись и считали бы своим долгом перехватывать мои документы. Я поэтому

стветил редактору «Правды», что благодарю его от всей души, но что я, подобно слонам, неспособен воспроизводиться в плену. Тем не менее распространился слух, что я готовлю работу, в которой описываются главные эпизоды царствования Наполеона III, и баденгистская²⁵⁴ печать подняла шум по этому поводу. Вильмессан требовал, чтобы у меня отняли чернила, бумагу, перья и все, что может мне способствовать совершить это новое преступление. «Constitutionnel» дошел в своем негодовании до того, что утверждал, что я не имею права писать историю империи, ибо я осужден «не как политический деятель, а как злодей». На это Эрнест Блюм остроумно ответил в «Kappel»:

«Если Рошфор — злодей, он больше, чем кто-нибудь другой, способен рассказать жизнь Луи Бонапарта, который тоже злодей. О человеке лучше всего может судить его собрат».

Я бы охотно попытался впрячься в какую-нибудь литературную работу, но в тюрьме отсутствие событий вызывает пустоту в мозгу. Мы постоянно были в напряженном состоянии, жили в ожидании близкого отплытия, и нельзя было сосредоточиться и приняться за роман, работа над которым могла в любой момент быть прервана длительным путешествием в шесть с половиной тысяч миль. Мы играли в карты и в домино. Мы старались убивать время в постановках водевилей, и заключенные прилагали все усилия для лучшей организации этих постановок. Со мной, как бывшим драматургом, особенно часто совещались о сценическом оформлении пьес и о распределении ролей, и я был поражен тем значением, какое придавали этим развлечениям люди, которые отрезаны от мира и которых предстоящее путешествие на край света отрежет еще гораздо больше.

Внезапный приход в воды острова Экс военного фрегата «Даная» сразу изменил репертуар и распределение ролей. Люди все же рассчитывали на амнистию, и прибытие этого первого транспортного судна показало нам, в каком заблуждении мы бродили. Около ста ссыльных предстало пред медицинской комиссией, которая всех, за исключением Биллиорэ, сочла годными к дальнейшему плаванию.

До этого последнего осмотра — не добровольного — смотритель отделения мятежников позвал нас одного за другим в свой кабинет и каждого из нас спросил, не желает ли он подписать прошение, которое будет представлено в комиссию помилований, — в комиссию, которая стольких людей послала на расстрел, что один депутат впоследствии назвал ее «комиссией убийц». Я был вызван, кажется, первым, и так как я заявил, что никакой комиссии не желаю посылать никакого прошения, смотритель предложил мне дать ему мой ответ, за моею под-

писью, в письменной форме. Я отказался. Все мои товарищи поступили точно так же, и все листки, заранее приготовленные примирительным зрителем, остались незаполненными.

«Даная» отплыла по направлению к Нумее, увезя, между прочим, Анри Боера, который в настоящее время является одним из главных сотрудников «Echo de Paris» («Парижское эхо»), и Амилькара Чиприани²⁵⁵, итальянского революционера, который, после ужасов пленения в нашей стране, претерпел в своей стране все придуманные людьми пытки, просидев четыре года прикованным, словно новый шильонский узник, короткой цепью к стене. Чтобы снять с него оковы, избиратели Форли и Римини должны были девять раз голосовать за него, упорно посылая его своим представителем в итальянскую палату депутатов. Его путешествие из Франции в Океанию было первым этапом его полной испытаний трудной жизни.

Командиром корабля был капитан 2-го ранга Керприжан, который обязан был своим назначением своей зверской жестокости. Это чудовище, — ибо он был подлинным чудовищем, — без тени какой-либо причины, даже не дав Чиприани времени усесться в той клетке, в которой ему отведено было место, заставил его спуститься в трюм фрегата, где поместил его под машиной, так что, когда фрегат шел под парами, у него от жары загорались брови и он задыхался, а ритмичный, непрерывный грохот не давал ему спать. Там, в этой преисподней, он оставался все время переезда, который длился пять месяцев, и никто не потрудился даже сообщить ему, по какой причине его там законопатили. Нужна была несокрушимая энергия Чиприани, нужен был весь его стоицизм, чтобы не лишиться рассудка. Другие сошли бы от этого с ума, и он рассказывал, что несколько раз чувствовал, что рассудок его покидает.

После амнистии 1880 года первым его делом по возвращении во Францию было отправиться в Брест, где жил его палач-капитан, которого он бы вызвал на дуэль или, в случае его отказа драться, убил как гнусного негодяя. К сожалению, Керприжан успел умереть и таким образом избег заслуженного наказания. Чиприани признавался, что одним из самых тяжелых переживаний в его жизни было узнать, что нет уже разбойника и он не может расправиться с ним за все перенесенные неопишуемые муки.

Вслед за «Данай» пришел другой паровой и парусный фрегат, вырвавший из наших рядов новую партию ссыльных. Паскаль Груссе, Оливье Пен, Журд, Бальер и Грандтиль, вместе с которыми я впоследствии бежал, вошли в состав этой партии. Но эти повторные отправки в ссылку мало колебали неискоренимую веру моих товарищей по заключению в близкую амнистию. Некоторые доводили свою слепую веру до того, что утверждали, будто возвращаемая отправка в Океанию

является лишь ложной тревогой и что в действительности новый фрегат высадит забранную партию на английский побережье. И все аргументы разбивались об их несговорчивое упорство. Я вспоминаю одного ссыльного, которого я всегда знал с длинной бородой, спускавшейся у него едва не до талии. Однажды он подошел ко мне совсем бритый, и так как я удивился этой перемене во внешности, он доверительно мне сообщил:

— Скажу вам откровенно, гражданин Рошфор: из письма одного приятеля я узнал, что моя жена покинула наш дом и ушла жить с соседом. И вот, так как амнистия, несомненно, будет проведена на этих днях, я и снял бороду, чтобы вернее захватить их врасплох, когда вернусь в Париж. О, клянусь всем — я их обоих убью!

Вскоре после этого его отправили на Сосновый остров, где он провел восемь лет. Его борода могла снова вырасти до прежних размеров.

После ухода обоих фрегатов в форте Бояр осталось так мало заключенных, что был поднят вопрос об его эвакуации. Что касается меня, я страшно устал от роли часового на верху мачты и от однообразного зрелища постоянно бушующего моря, никогда не открывающего моему взору ни малейшей полоски песку, ни кусочка побережья. И действительно, однажды утром смотритель объявил мне, что несколько моих товарищей и меня перевезут в Олсронскую крепость, куда уже переброшено много ссыльных в ожидании их дальнейшей отправки. Мы совершили этот переезд в вельботах, по четыре или пять человек в каждом, с несколькими гребцами под надзором боцмана, который, повидимому, совсем не сознавал важности возложенной на него миссии.

В крепости, к которой мы пристали меньше чем через час, или, точнее, в ее подвалах, ибо она в значительной мере была подземной, до нас содержались некоторые из тех германских пленных, которых нам удалось захватить. Клетки, в которых они помещались и в которых после подписания мира места пруссаков заняли коммунары, находились на глубине восьми метров под землей, вследствие чего они представляли собой не столько помещения для людей, сколько медвежьей ямы.

Когда выполнены были формальности тюремного приема, надзиратели этой помойной ямы повели меня по прогнившей деревянной лестнице в один из подвалов, в который просачивалось море, пропитывая его постоянной сыростью. В нем едва могло бы разместиться от десяти до двенадцати человек. В него набили свыше пятидесяти ссыльных. Смотритель, с глубоким сознанием равенства пред осудившим нас законом, приказал постлать для меня на голой земле отвратительный матрац, который отныне должен был составлять для меня всю обстановку. Стены этого гетто были черны, потны и как бы вылакированы годами отластавшейся на них грязью. Я разобрал

несколько немедких имен, вырезанных ножом в камнях пленными баварскими солдатами. Стоявшая в этом гнезде микробов вонь от теснившихся пятидесяти человеческих созданий и от параша была для меня совершенно нестерпима. Но это бы еще ничего, хотя и этого было слишком достаточно. В продолжение всей первой ночи, проведенной мною в этом подвале, огромные водяные крысы, величиною с кошек, разгуливали по моему телу и по моему лицу, и я чувствовал, как их холодные лапы скользили по моим щекам.

На следующее утро мои товарищи по медвежьей яме торжественно принесли мне шесть таких ужасных крыс, извлеченных, как, впрочем, и каждое утро, из лохани, в которой застаивалась единственная вода, какой мы могли утолять свою жажду. Лихорадочное состояние вызывало у меня жажду, однако отвращение отнимало всякую охоту утолять ее из этой отвратительной посуды. Но к этим различным пыткам прибавилась еще новая, ужаса которой нельзя себе представить, не испытав ее лично, — я говорю о нашествии блох, размножавшихся с быстротой, становившейся настоящим бедствием. Они не одиночками прыгали по нашему белью, и даже не семьями посещали они нас, там и сям более или менее осторожно покусывая нас, — они налетали на нас целыми эскадронами, не оставляя незадетым «ни одного дюйма нашей территории». Наши простыни становились каждый вечер муравейниками. Я видел, как повели в тюремную больницу одного ссыльного, у которого по молодости кожа была более чувствительной, чем у других, и который мог бы позировать в ателье художника в качестве человека с ободранной кожей. Его плечи представляли собой сплошную рану.

Я присутствовал при мало аппетитном зрелище, — прошу извинить меня, что упоминаю о нем, — я видел, как целые отряды блох пожирают клопов! Ибо у нас были и клопы. В несколько минут от клопов оставался скелет, который можно было передать в кабинет натуралиста.

Через несколько дней этого блошиного и крысиного режима я захворал, и меня тоже пришлось перевести в тюремный госпиталь, где было меньше зверей как в простынях, так и в питье.

И в то самое время как я вел это червивое существование в двадцати футах под землей, газеты, требовавшие моего полного погребения, протестовали во имя равного для всех правосудия против предоставлявшихся мне «скандальных привилегий». В действительности я находился в таких ужасающих условиях, что отказывался от свиданий со своими детьми. Видеть своего отца в таком состоянии было бы слишком мучительно для них.

В письме к Эдмонду Адаму я слегка описал наши общие бедствия. Он получил от Тьера разрешение повидать меня с глазу на глаз, без свидетелей, и даже произвести обследо-

ние установленного в нашей зачумленной тюрьме режима. И в самом деле, подвергать такому предварительному истощению ссыльных, которым предстоит совершить длительные, в три, четыре и пять месяцев, переезды в междупалубном пространстве военного корабля, с солониной и морскими сухарями в качестве единственной пищи, — значило идти навстречу цынготной эпидемии. Эдмонд Адам оцепенел, увидя, как мы прогуливаемся в нашей общей яме. Ибо я успел уже выйти из госпиталя и вернуться к покинутым на короткое время блохам и крысам. Он предупредил смотрителя тюрьмы, что в виду опасности, какую представляет для здоровья заключенных такое помещение, он, в качестве депутата, потребует радикального изменения недопустимого тюремного режима.

И действительно, через несколько дней после его посещения смотритель, — настоящий зверь, бывший мелкий полицейский агент, — получил приказание переводить нас на ночь в большое казарменное помещение, где временно размещена была дисциплинарная рота, которую теперь перевели и которая — увы! — оставила нам столько же насекомых и грызунов, сколько мы оставили в подвале. Каждый вечер, между восемью и девятью часами, мы поднимались по лестницам, ведущим к тому месту, где стояла казарма и где мы располагались на своих соломенных тюфяках, лежавших уже не на голой земле, а на пропитанном жирными отбросами полу, на котором спали тысячи штрафованных. Мы были не так тесно набиты, как в нашем первом *in pace*, но зато мы были столько же, если не больше, поедаемы.

Так как в округе распространилась весть, что нас можно видеть, когда мы переходим в наш гнусный дортуар, многие жители Олерона толпились при нашем проходе, одни из сочувствия к нам, другие из любопытства, а третьи — чтобы насладиться зрелищем скованных и обессиленных «диких зверей». Конечно, на меня смотрели больше, чем на всех других, и меня бы мало занимал особый интерес, какой вызывала к себе моя особа, если бы я не заметил среди любопытных одного пехотного капитана, который ни разу не упускал случая полюбоваться этим зрелищем, при чем кидал главным образом на меня торжествующие и вместе с тем горевшие бешенством взоры. Однажды он позволил себе привести с собою молодую женщину, которой указывал на меня пальцем с раздражавшей меня улыбкой. На следующий день этот храбрец снова стоял на нашем проходе, но уже не с одной, а с двумя женщинами, и позволил себе по отношению ко мне почти вызывающие шутки. Тогда я решил покончить с этим. На следующий день, утром, я поднялся в кабинет смотрителя и заявил ему:

— Вот уже пять или шесть дней один пехотный капитан приходит с какими-то двумя бабами и вызывающе смотрит на нас всех, особенно на меня, когда мы проходим из наших

казематов в дортуар. Прошу вас сказать ему от моего имени, что он подлец, и если я сегодня снова увижу его в толпе, я выйду из рядов и отпущу ему две звонких пощечины.

— Сударь, — сказал, вскочив, испуганный смотритель, — этот капитан имеет такое же право, как и все другие, стоять при вашем проходе. Да помимо того, откуда вы взяли, что он смотрит именно на вас?

— Это уж мое дело, — ответил я, — вас же я прошу только соблаговолить передать ему то, что я вам сказал. — И я спустился в свою яму.

Мое поручение, повидимому, было выполнено, потому что больше я не видел ни этого негодяя, ни его обеих негодниц.

В Олероне сошелся я с арабскими вождями, об амнистии которым я так долго и тщетно хлопотал. Уже в то время я пропикся глубокой жалостью к ним, видя, как они с каждым днем все больше чахнут вдаль от родной Африки, о которой они мне говорили со скорбной покорностью, напоминавшей мне прекрасный стих *Виргилия*:

Et dulcis moriens reminiscitur Argos *.

Они все признались мне, что декрет Кремье, давший алжирским евреям французское гражданство, был причиной южно-оранского восстания. Каид Ахмет-бен-Ресги, уже преклонных лет, некогда принадлежавший к главному штабу герцога Омальского, рассказал мне, как полковник, своими советами толкавший его на восстание, председательствовал в трибунале, приговорившем его к ссылке в укрепленную местность.

Эти бедные арабы, немое горе которых угнетало меня, поставили меня однажды, сами того не сознавая, в очень затруднительное положение. Эдмонд Адам, не щадивший своих сил, когда нужно было облегчить чье-нибудь горе, еще раз приехал в Олерон, чтобы на месте увидеть, действительно ли улучшено наше положение. В его первый приезд я ему обрисовал горестное положение арабов и советовался с ним о возможности добиться помилования, о котором они непрестанно ходатайствуют. Эдмонд Адам, официально приглашенный вместе с другими депутатами на обед к Тьеру, сообщил ему о жалости, какую я питаю к вождям южно-оранского восстания, попавшимся в ловушки, расставленные им евреями и бывшими военными начальниками арабских комитетов.

Тогда Тьер, бывший прежде всего политиканом, сделал Адамсу следующее предложение:

— Я понимаю, что г-н Рошфор отказывается просить о чем бы то ни было для себя. Но ничто не мешает ему обратиться ко мне, главе исполнительной власти, с письмом, в котором он будет ходатайствовать о смягчении участи арестован-

* И умирающий предается сладостным воспоминаниям об Аргосе.
Прим. перев.

ных арабов. Вы можете уже сейчас дать ему знать, что я, по его рекомендации, обязуюсь избавиться их от ссылки.

Адам, вторично прибыв в Олеронскую крепость, передал мне это как нельзя более соблазнительное предложение. На моих глазах эти иностранцы чахли от тюремной сырости, как чахнут южные деревца, пересаженные на холодный север. Началась борьба между моим достоинством и их муками. Десятки раз брал я перо в руки, чтобы совершить низость, и неуверенной рукой чертил кабалистические слова: «Господин президент». Потом я вспомнил о вежливых формах обращения и даже об уважении, о котором я обязан буду сказать, если не хочу показать себя камом, в конце своей петиции; и когда я при этом припоминал то, что я говорил о Тьере, и то, что я о нем думал, я видел, что извлечение этого резца для меня слишком тягостно. И я отказался от вытод правительственных авансов.

Иные станут, может быть, обвинять меня в эгоизме и неуместной гордыне, ибо спасение восьмидесяти человеческих созданий, ни в чем неповинных, хотя и осужденных, должно перевесить всякие соображения самолюбия. В свое оправдание я могу сказать, что не предполагал, чтобы приговор против этих невольников мог быть полностью приведен в исполнение, и я убежден, что он и не был бы приведен в исполнение, не произойди парламентский государственный переворот, поставивший у власти впавшего в маразм старца и еще более жестоко ставший применять постановления военных судов.

Повлияло на меня еще и то обстоятельство, что в то время как я самым стоическим образом разделял горестную участь своих товарищей, отдавая себя на съедение блох и протестуя против этого только тем, что чесался с утра до вечера, мое доброе имя и моя честь обливались нелепой, но с восторгом подхватываемой клеветой, какую изо дня в день сочиняли наиболее подлые газетчики от полиции.

Некий Жюль де-Преси, скрывавший под этим псевдонимом свое настоящее имя, значащееся в книгах тюремной канцелярии в Пуаси, где он отбыл наказание за воровство, преподносил читателям «Голуа» и «Фигаро» самые нелепые выдумки, в роде того, например, что моя дочь писала маркизе Галиффе, прося ее ходатайствовать пред президентом республики, чтобы меня не отправляли в Новую Каледонию, и маркиза, благородно забыв мои нападки на ее мужа и на нее, исполнила просьбу моей дочери.

А между тем, моя дочь, жившая тогда вместе с моей сестрой в Олероне, и не думала писать г-же Галиффе. Но негодий, распространявший эту ложь, знал, что я не имею возможности ее опровергнуть, и продолжал вволю тешиться этой ложью. Я не думал разыгрывать из себя льва — и тем не менее все ослы, казалось, соединились, чтобы надавать мне эти пинки ногой.

К тому же стал распространяться слух, что Тьер решительно противится отправке меня в Новую Каледонию, боясь взять на себя ответственность за катастрофу, жертвой которой я мог стать в пути. Едва только это решение проникло в мир ханжей, как разразилась буря протестов против нарушения принципа равенства всех французов пред законом.

«Фигаро» приписывал данную мне, повидимому, отсрочку моим прошениям в комиссию помилований, которой я, конечно, ни разу не писал и не просил писать ни одного слова. Из предосторожности я даже послал коротенькую записку сестрам, в которой предупреждал, что малейший шаг с их стороны в этом направлении немедленно положит конец всяким моим отношениям с ними и никогда в жизни мы больше не свидимся.

Газета Вильмессана объясняла отсрочку в приведении в исполнение состоявшегося в отношении меня приговора о ссылке также и тем, что я занимаю «высокий сан» в франк-масонстве. За всю свою жизнь я никогда никакого сана не занимал ни в одной франк-масонской ложе, но таким обвинением еще больше восстанавливали против меня всемогущие тогда клерикальные организации.

Среди бонапартистских газет особым остервенением против меня отличалась «Le Pays» («Страна»). После того, как она упорно, но тщетно требовала моей головы, она теперь отыгрывалась тем, что каждое утро требовала моей ссылки туда, откуда, как она надеялась, я уже не вернусь.

Будущий романист Жорж Онэ, в то время писавший под псевдонимом «Жорж Эно», не мог достаточно насытить свое чувство мести и, подобно Тезею из «Федры», возлагал на Нептуна обязанность дать удовлетворение бонапартистской злобе. Это было до смешного наивно. Он говорил о моих преступлениях Ласенера²⁵⁶, а в галлерее монстров он ставил меня приблизительно рядом с Папавуаном²⁵⁷ и Кастэном²⁵⁸.

А когда некоторые республиканские газеты заметили, что удивительно, как это я мог внезапно, без всяких видимых причин, стать убийцей и вором, Жорж Онэ противопоставил им следующий решительный аргумент:

«Очевидно, что прежде чем стать преступным, всякий преступник был более или менее честным человеком. Из того, что жизнь Рошфора не была непрерывной цепью преступлений, вовсе не следует, что честный период его жизни может служить смягчающим обстоятельством для гнусностей следующего периода».

Между тем я не оставил дома ни одного су, и мне тяжело было сознавать, что мои трое детей состоят на иждивении г-жи Адам и ее превосходного мужа. Я старался поэтому снова

приняться в более или менее дозволенной форме за свое ремесло писателя. Так как писать политические статьи, для составления которых у меня не было ни информации, ни справочников, мне нельзя было, я решил писать роман.

У меня в голове сложился план романа, и я впрягся в него, не имея ни заметок, ни книг, не имея возможности проверить описание улицы, дома или квартиры. И писал я в непрерывной толкотне, посреди двухсот товарищей по заключению, которые поверх моего плеча читали то, что я писал, не переставая разговаривать между собою, не давая мне ни на одну минуту сосредоточиться.

Работа над романом была тяжка, но выгодна. «Rappel», не перестававший меня защищать, принял мое произведение, которое я озаглавил «Поврежденные» («Dépravés»). Правительство запретило мне печатать его под своим именем, что даже при тогдашнем положении печати являлось нарушением закона, так как лишенным гражданских прав воспрещалось только печатать в газетах за своею подписью политические статьи. Между тем мой роман давал картины частной жизни и совсем не касался социального вопроса. Он лишился таким образом главного элемента успеха — моего имени под заглавием. Сам Жорж Онэ мог, следовательно, констатировать, что если преступали закон, то не всегда в мою пользу.

Хотя я не только не перешел за пределы принадлежавшего мне, как и всякому гражданину, права, но даже не полностью использовал его, реакция с бешенством протестовала против этой новой «милости». Анри де-Пен, умерший банкротом и не расплатившись с долгами, неистовствовал, требуя запрещения моего романа. Как! Я еще, стало быть, не умер? Я имею еще наглую дерзость что-то делать в своей могиле? Цепи, которые сковывают или должны сковывать мне руки, не лишают меня, значит, скандальной возможности чертить чернилами буквы на белой бумаге?

Все это негодование ризниц только содействовало росту читателей моего романа, гонорар за который целиком выплачен был Эдмонду Адаму и пошел на содержание моих детей.

Влача тюремную жизнь уже свыше года, я не мог следить за изменениями моды, и так как мне понадобилось дать в моих «Поврежденных» некоторые описания туалетов и домашней обстановки, я попросил моего превосходного и неутомимого друга Дестрема прислать мне модные журналы. И я получил целую кипу разноцветных гравюр. Арабы крайне изумились при виде этой массы раскрашенных женщин. Мой товарищ Брагим-бен-Шериф скромно отвел меня в сторону и таинственно спросил меня, «мукеры» ли это мои. Он думал, что на этих гравюрах изображены женщины сераля, который я, конечно, содержу в Париже. Я ему сказал, что это действительно мои жены и что мне прислали их портреты, и он не переставал смотреть на них

со слезами на глазах, воспоминая, должно быть, своих жен, которых он оставил там, по ту сторону «синего моря».

Внимание, которое я уделял несчастным арабам, обворованным, преследуемым и осужденным теми же людьми, что их заклали, привлекло ко мне их самые горячие симпатии. Когда моя дочь приходила ко мне на свидание, она забирала с собою и опускала прямо на почте их письма, в которых они могли таким образом откровенно сообщать обо всем, что с ними происходило, не подвергаясь цензуре администрации. Они в них расхваливали мое расположение к ним, и так как это все были влиятельные вожди, первые в своих округах, поднятых ими, они мне создали популярность не только в своих дуарах *, но почти во всем исламе — от Алжира до Томбукту.

В этих местностях, где новости передаются из уст в уста, а не как у нас — через печать, сообщения получают совершенно исключительную силу проникновения и распространяются с поразительной быстротой на расстояние сотен миль.

Когда мой сын умер в Алжире, арабы послали на его похороны громадный венок с трогательной надписью: «Сыну праведного человека». Для арабов я — праведный человек. Жалею, что не был им чаще для французов.

Неудовлетворительность условий, в которых мы находились в подвалах Олеронской крепости, была, наконец, официально признана, и некоторые из нас были переведены в крепость Сен-Мартен-де-Ре, в которой в течение некоторого времени был заключен Мирабо, — я даже прочел его имя, им самим вырезанное острием ножа в углу одной из стен. Этот перевод существенно изменил мое тюремное существование. Смотритель нашей тюрьмы для мятежников был боярский смотритель, и первым его делом было — отвести мне отдельный каземат. Это была унтер-офицерская комната, с решетками на окнах, но просторная, и, за исключением вечеров, я имел право держать свою дверь запертой или открытой. Я мог таким образом отдаться работе, и этот относительный комфорт был тем более важен для меня, что я провел там целый год. Я воспользовался им, чтобы написать другой роман, под названием «Потерпевшие кораблекрушение» («Les naufragés»), который также появился в «Rappel» и первые части которого дошли до меня уже в Новой Каледонии.

Мои дети, сами переезжавшие за мной в те места, где мне приходилось оседать, каждый день приходили провести со мною час или два и приносили мне из соседней гостиницы несколько более разнообразную пищу, чем та, какую мне давали в тюрьме. Морской воздух действовал на детей очень хорошо, а пляж с очень мягким песком давал им приятное купанье.

* Арабское слово, обозначающее группу в определенном порядке расположенных шатров. — П р и м. п е р е в.

Я чувствовал бы себя почти счастливым, если бы вообще мог быть счастлив вдали от интеллектуальной и художественной среды. Я невольно вел животную жизнь стоящего в своем стойле барана, день которого отмечается лишь моментами, когда ему задают корм.

Одно обстоятельство особенно утолщает для заключенного стены, отделяющие его от внешнего мира: это — отсутствие женских лиц. Существование, протекающее только в мужском обществе, без мелькания юбки или корсажа, кажется безнадежно пустым. Оставляя в стороне физические потребности, ничто так не нервирует, как невозможность покоить свои взоры на женских волосах. Полная изоляция от этой половины рода человеческого придает мысли совсем особое направление и радикально меняет моральную и интеллектуальную жизнь мужчины.

В тюрьме на острове Ре ко мне относились, я должен сказать, с большим вниманием, и старший надзиратель, старый моряк, местный уроженец, воспитанный не в тюрьмах, не знал, как мне выразить свою симпатию. Однажды, в день, который был одним из самых прекрасных дней моей тюремной жизни, ко мне явилась на свидание молодая прелестная дама, которую я мельком видел в Париже едва два или три раза и которая, не знаю каким образом, добилась разрешения посетить тюрьму вообще и меня в частности. Вместо того, чтобы ввести нас в общую комнату для свиданий, добрый старший надзиратель предоставил в наше распоряжение небольшой домик, который он занимал с той стороны крепости, которая обращена к морю. Там мы в течение трех дней проводили послеобеденные часы, как если бы были у себя дома.

Брагим-бен-Шериф, который вместе с некоторыми другими арабами также был переведен на остров Ре, с вождением смотрел на посетительницу, когда она проходила по двору, возвращаясь в свою гостиницу, и простодушно сказал мне:

— Она очень красива — твоя мукер!

Эти три дня, украсившие лучезарными воспоминаниями мою отшельническую жизнь, имели еще другой и совершенно неожиданный результат. Стоя в комнате старшего надзирателя у окна, я увидел, что море находится в двух шагах от нас и что если бы в более или менее темную ночь подошла какая-нибудь барка и остановилась метрах в десяти от пляжа, пловцу ничего не стоило бы добраться до нее. По невероятному совпадению, я как-то читал в одной истории осады Ла-Рошель, что кальвинисты, которым поручено было защищать крепость, получавшую продовольствие от Букингема²⁵⁹, производили против королевских войск частые вылазки, в исходе которых они возвращались в форт через дверь, прорытую из широкого коридора, пролегающего вдоль всего переднего фасада здания. Я подумал, что следует проверить, существует ли эта галле-

рея, — она могла быть засыпана, а может быть, осталась неза-
сыпанной. В затерявшемся углублении, над которым пролегало
одно крыло дома старшего надзирателя, я заметил первую
дверь, запертую огромным засовом, не открывавшимся, оче-
видно, уже около двух веков. Через эту-то дверь кальвинисты
спускались в коридор, а через другую дверь, выходящую в поле,
они производили свои вылазки. Хотя засов был величиною
с детскую руку и как бы сросся с державшей его ячеей, его
удалось бы выдвинуть, вероятно, без особых трудностей.
К несчастью, самому мне взяться за это дело нельзя было.
Прежде всего у меня не было для этого необходимых инстру-
ментов. А затем мне нельзя было уйти со двора, где я совершал
свои прогулки. Надзиратели тотчас же стали бы беспокоиться,
куда я мог деться. Приходилось, следовательно, посвятить
одного или двух заключенных в открытый мною — по индук-
ции — секрет, которым я решил воспользоваться.

Одним из моих товарищей по ссылке был бывший сотруд-
ник «Марсельезы», заведывавший отделом рабочей хроники,
наш товарищ, Колло, столяр по профессии, устроивший в своей
клетке маленькую мастерскую с полным набором инструментов.
Я сообщил ему о своем открытии и старался заинтересовать
его своим планом. Так как за ним не особенно тщательно сле-
дили, он мог легко сорвать или отвинтить засов, проникнуть
в галерею, идущую вдоль форта, и попытаться открыть внеш-
нюю дверь.

Хотя успех был почти совсем обеспечен, Колло не соблаз-
нился моим предложением. Быть может, он также надеялся на
амнистию. Он был тоже отправлен на полуостров Дюкос и там
оставался восемь лет. Вот что значит не уметь пользоваться
случаем и не хвататься за те некоторые возможности, которые
он нам предоставляет!

Так как Колло отказался присоединиться ко мне, я **вы-**
нужден был обратиться к одному подозрительному арестанту, ко-
торый, пристав к Коммуне, чтобы получать тридцать су в день,
интересовался только тем, как бы от времени до времени за-
работать где-нибудь еще тридцать су. Он признался мне, — ибо
почти для всех своих товарищей по заключению я был испо-
ведником, — что жизнь его отмечена была многократными осу-
ждениями за дела, совершенно чуждые политике.

К этому-то субъекту я, за неимением лучшего, вынужден
был обратиться с предложением организовать дело моего осво-
бодения, которым и он бы, разумеется, воспользовался.

Он начал с того, что позвал к себе на помощь одного това-
рища, так что в мой план посвящены были уже двое, и они при-
нялись за работу. Отвинченный за час работы засов был заме-
нен вываленной в пыли хлебной колбасой, вид которой обма-
нул бы всякого. Когда мои два соучастника проникли в галле-
рею, они обратили в бегство сотни крыс и погрязли до **шико-**

лток в вековую грязь, поддерживавшуюся просачивавшейся водой и никогда вполне не высохавшую. При вторичной попытке они добрались до массивной, обитой железом двери, которую они тщетно пытались открыть. К тому же они убедились, пробуравив ее в одном месте, что она снаружи заделана каменной стеной, которая преградила бы путь беглецам, даже если бы дверь удалось сорвать с ее петель.

Проще всего было пробить в самой стене отверстие, через которое мог бы продвинуться человек средних размеров. Это я и посоветовал сделать своим пионерам, да и сами они приступили бы к этому делу, если бы у них были мотыки. Мои дети, приходившие ко мне каждый день, купили в городе нужные инструменты, и мои помощники стали пробивать стену. Мои указания были вполне точны: я распорядился извлечь лишь столько камня, чтобы можно было продвинуться, и затем положить обратно вынутый камень, дабы пробитая дыра не обратила на себя внимания частых ночных обходов, совершаемых вокруг тюрьмы.

Когда все было готово и оставалось только ждать возможности бежать, я послал своему другу Дестрему письмо, в котором просил его найти капитана торгового судна, который в определенный час был бы на виду у крепости. В три дня такой капитан был найден: один крупный виноторговец, часто совершавший рейсы между английским побережьем и Бордо, сделает для меня остановку в водах острова Ре и возьмет с собою моих спасителей и меня.

Трудно себе представить более удачный план побега. Он был лучше задуман и легче выполнен, чем даже побег из Новой Каледонии, впоследствии столь блестяще удавшийся. Но все взломщики одинаковы: они проявляют огромную энергию и изумительную находчивость в подготовке своего предприятия, а потом дают себя поймать, расплачиваясь в каком-нибудь мелком трактире тысячефранковым билетом. Вместо узкого окошечка, более чем достаточного для того, чтобы мы могли через него продвинуться, мои глупые работяги пробили огромную дыру, через которую могла бы проехать запряженная телега, и даже не позаботились закрыть ее в ожидании нашего побега. И на следующее утро солдаты при обходе увидели зияющую дыру и дали знать о своем открытии. И во второй раз план провалился.

В довершение своей неосторожности мои молодцы рассказали обо всем деле в своем каземате и предложили присоединиться к нам двадцати или двадцати пяти своим товарищам, которые в момент нашего побега предъявили бы свое право принять в нем участие. Смотрителя тюрьмы, конечно, осведомили обо всех подробностях этой драмы, и он потребовал у меня объяснений, которые я отказался ему представить, притворившись непонимающим, о чем меня спрашивают.

Смотритель не решился слишком углублять свое расследование в виду моего особого положения и ограничился лишь тем, что установил за мной более бдительный надзор.

Но если я тщетно подготовлял все для отъезда в Англию, я все еще не уезжал в Новую Каледонию, и лай выпущенной на меня своры собак становился все более оглушительным. Последняя угроза правительству сосредоточилась на требовании интерpellации, которую один из реакционеров должен был предъявить министру внутренних дел по поводу того, что я все еще продолжаю оставаться во Франции. «Liberté», «Patrie», «Figaro» и все другие клерикальные и бонапартистские газеты развернули бешеную кампанию, требуя моей немедленной отправки в ссылку. Правительство испугалось, и «Constitutionnel» сообщил, что «совет министров постановил, что г-н Анри Рошфор, в настоящее время содержащийся в Сен-Мартен-де-Ре, будет отправлен в Новую Каледонию». «Наконец-то, — радостно приветствовала это постановление «Страна», — бывший редактор «Марсельезы» и «Пароля», газет, в которых требовали восстания, грабежа, убийств и в которых агитировали за расправу со всем, что было здорового и достойного уважения, будет отправлен в Новую Каледонию. Давно пора было!»

Сбесившиеся газетчики, жаждавшие моей крови, и не созревали, до какой степени их статьи шли навстречу самым затаенным моим желанием. В самом деле, находясь под самым бдительным надзором, после двух неудачных попыток побега, я мог рассчитывать на удачу только в новой обстановке, либо во время плавания, либо уже после прибытия в Новую Каледонию. Поэтому я сам хотел скорейшей отправки, уверенный, что мой отъезд будет вместе с тем и моим спасением. Я строил в голове самые разнообразные планы. Между прочим, я просил дочь доставить мне большую пробковую доску, объяснив смотрителю, что хочу обложить дно и стенки тюремной ванны, так как прикосновение к ней крайне раздражает мне кожу. Эта выдумка принята была на веру, и когда доска мне была доставлена, я ее разрезал на восемь частей, на которых человек мог бы держаться на воде в продолжение долгих часов. Читатель увидит, что впоследствии эти пробковые доски сослужили при побеге большую службу мне и моим товарищам.

Совсем неожиданно я из письма священника версальского арестного дома, аббата Фолэ, узнал, что мать моих детей опасно больна и находится в почти безнадежном состоянии. Бедная женщина, увидя, как меня вели по улицам Версаля со скованными руками, словно гальского пленника, как версальские эмигранты бешено требовали моей смерти, упала без чувств и, будучи доставлена к себе домой, — она жила в Версале, — больше уже не вставала.

Я не знал, что она так тяжело больна, и как только мне об этом сообщили, я стал думать лишь о том, чтобы наскоро об-

венчаться и узаконить детей. Я написал поэтому министру внутренних дел, прося его перевести меня в Версаль, дабы я мог выполнить долг, который мне диктовала моя привязанность к детям. Ответ получен был без замедления. Два агента полиции приехали за мной и повели меня на пароход, доставивший меня в Ла-Рошель, а потом на парижский поезд. Их надзор был до того слаб, что, думается, они дали бы мне уйти, если бы обстоятельства не делали для меня в этот момент недопустимой всякую мысль о побеге. К тому же я считал себя морально связанным словом и ни за что на свете не злоупотребил бы предоставлявшейся мне свободой. Мои стражники, которым поручено было кормить меня в пути, разложили предо мной не совсем обычные съестные припасы: холодную молодую куропатку, паштет с трюфелями и всевозможные фрукты. А один из них сообщил мне, что получил инструкции относительно этой поездки от самого министра, пост которого занимал тогда Виктор Лефранк. Последний при нем и при ряде других лиц произнес следующие многозначительные слова:

— Мы должны были бы краснеть при мысли, что мы находимся у власти, а Рошфор сидит в тюрьме.

Это признание, сделанное порядочным человеком, показывало, в какой степени тогдашнее правительство было невольным пленником монархистов.

Но я забыл, что аббат Фолэ — прежде всего священник. Он сообщил мне в письме, что моя жена перевезена в частную лечебницу, где за ней установлен внимательный уход, а когда меня ввели в эту лечебницу, я увидел, что очутился попросту в религиозном заведении, обитаемом и обслуживаемом монахинями. Аббат воспользовался слабостью больной и перевез ее в эту молельню, что в глазах людей в рясах считается ценной победой.

Мать моих детей всю жизнь была очень твердой, очень мужественной и столь же свободомыслящей, как и я. Я застал ее крайне ослабленной и физически и духовно. Было очевидно, что она одурачена монашеским ханжеством. Конечно, это венчание *in extremis* * хотели превратить в некоторое отречение с моей стороны. Пока я находился в версальской тюрьме, где меня посадили в мою прежнюю камеру в ожидании обряда венчания, священник так называемой частной лечебницы имел наглость принести мне для подписи бумагу, в которой я отрекался от всего, что писал против нашей священной религии, и обязывался впредь признавать ее в самых нелепых ее таинствах и догматах.

Этот постриженный шантажист рассчитывал на трудное положение мое по отношению к жене, бессознательно ставшей заложницей в монашеских руках, и спешил использовать эту

* В последний момент, перед смертью. — Прим. перев.

удачную находку для своей церкви и, вероятно, также для своего иерархического повышения. Я попросил его оставить меня в покое, не допуская и мысли, что у меня может быть другое венчание, кроме строго гражданского. Поэтому, когда мэр города Версаль, безнадежно лево-центристский депутат, г-н Рамо, совершил все обычные формальности, я был крайне изумлен при появлении во всех своих эпитахиях священника, принявшегося благословлять наш союз. Если бы дело касалось меня одного, как в моей камере, куда священник имел наглость притти просить у меня отречения, можно себе представить, какой прием я оказал бы этому священнодействующему. Но моя несчастная подруга лежала неподвижно на своей кровати, с параличом обеих ног, почти в агонии, в таком состоянии, что ее нельзя было перевезти в другое место и, следовательно, осужденная оставаться в руках монахинь, которые, вероятно, отказались бы ухаживать за больной, обвенчанной лишь в мэрии гражданским браком. К тому же, так как для заключения союза нужны двое, то гримасы благословляющего священника относились лишь к той из двух сторон, которая соглашалась их принимать. Я дал ему поэтому излить свою благословляющую силу, которая касалась только одной стороны.

Все церковное плутовство сказалося в этом эпизоде моей жизни. Мало бывает столь тяжелых и даже трогательных положений, как наше: умирающая женщина, мужчина, осужденный на пожизненную ссылку, и эти два близких отхода — одного в гробу, а другого в межпалубном пространстве военного корабля — должны оставить сиротами трех детей, осужденных либо на голодную смерть, либо на жизнь на иждивении друзей их отца. И вот в этой столь мрачной драме духовенство видело только повод к шантажу и к тому, чтобы обманом выманить подпись! У меня осталось после этого по отношению к подлой и, по существу, глупой поповщине чувство отвращения, которое другие примеры, столь же характерные, только усугубили.

Хотя моя поездка в Версаль вызвана была только желанием выполнить властный долг, богомольные и второ-декабристские газеты еще больше усилили свои нападки. Это был с моей стороны, — кричали они, — ловкий предлог, чтобы совершить прогулку за счет казны. Чтобы положить конец всяким кривотолкам, я через администрацию формально попросил министра внутренних дел немедленно отправить меня обратно на остров Ре, где я оставил своих детей, которым хотел скорее сообщить о состоянии их матери. Она умерла через два месяца после печального обряда.

Всячески оскорбляемый гнусными негодаями, в роде банкрота Анри де-Пена из «Paris-Journal», обвинявшего меня в том, что я «важничаю в форте Бояр», с таким же основанием, как если бы он писал, что Бланки «важничает в Мон-Сен-Мишель», я был также защищаем многими республиканцами и даже республи-

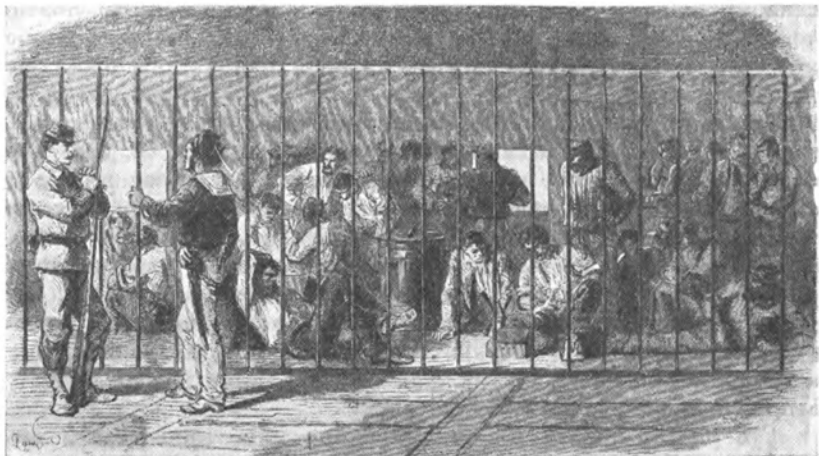
канками, которых волновала моя доля. Мне посвящали поэтические произведения, а одна молодая россиянка написала обо мне целую поэму, выдержки из которой напечатаны были во многих газетах.

Тем не менее час моего отъезда с каждым днем, повидимому, все более отдалялся. Эдмонд Адам сообщил мне даже, что Тьер принял окончательное решение применить ко мне закон только в его буквальном смысле, т. е. сослать меня на остров, «расположенный вне французской территории», что придавало толкованию приговора военного суда значительную эластичность. Всякий остров на океане или в Средиземном море может, наравне с Новой Каледонией, считаться находящимся вне французской территории. Правительство решило назначить мне остров св. Маргариты, куда, как предупредили Адама, я буду отправлен в последних числах мая.

Губернатор форта получил распоряжение приготовить его для новой Железной Маски — только в более удобной камере. Мне должно было предоставляться право выходить на прогулки по острову, под честным словом, что я не буду пытаться бежать, — если только, как Тьер сказал Эдмонду Адаму, не произойдет бонапартистской реставрации. Цезарианцы, ставшие снова крайне активными и получившие обратно все свои места и все свои привилегии, стали внушать страх даже консерваторам, и Тьер так выразился по поводу моего положения:

— Первым делом этих людей, если бы они вернулись к власти, было бы расстрелять Рошфора. Так как он не был приговорен к смерти, мы обязаны принять меры, чтобы не допустить этого убийства.

Этот Тьер был своеобразным представителем буржуазии, которою он управлял без жалости и без совести, но вместе с тем и без ненависти и без злобы. С того момента как я, лишенный свободы и своего пера, перестал мешать его политике, он, повидимому, перестал помнить о моих беспощадных нападках на версальских разбойников. Я стал для него только яростным врагом империи, и так как со стороны империи снова грозила опасность, он считал выгодным для себя почти открыто обходиться бережно со мною.



ГЛАВА XXII

*Избрание Бародэ. — На борту «Виргинии». — Рос-
сказни. — Ужасный переезд. — В Teneriffe. — Луиза
Мишель и г-жа Лемель. — В Нумее*

Избрание Бародэ, которое смотритель тюрьмы точно предсказал мне, несмотря на веру правительства в успех г-на де-Ремюза, подняло на ноги всех моих товарищей по заключению. Все считали, что амнистия будет дана не позже чем через неделю, что освобождение неминуемо, и бедный минотавр, желавший поймать на месте преступления любовника и жену, снова гладко сбрил свою бороду.

Было едва шесть часов утра, и я еще спал свойственным арестантам легким сном, когда услышал, как большим ключом открывается не менее большой замок.

— Это я, — сказал мне, входя, смотритель. — Пришел вам сообщить, что, как я предвидел, Бародэ избран. Не пройдет и двух недель, как вы будете свободны, а через два месяца вы будете у власти.

Смотритель слишком упреждал события. Избрание Бародэ²⁶⁰ оказалось главной причиной падения Тьера, которого коалиция монархистов и умеренных свергла, чтобы проучить его за то, что он дает выбирать республиканцев. Избрание это имело в то же время последствием приход к власти Мак-Магона, поспешившего предложить своим покровителям бонапартистам мою отправку в Новую Каледонию в качестве залога своей покорности.

Едва прошло несколько дней после избирательной победы, одержанной Парижем несмотря на бойню, сильно разредившую его ряды, как тот же директор снова столь же радостно вошел

в мою камеру и сообщил мне о парламентской революции 24 мая.

— Мак-Магон избран президентом республики! — крикнул он мне еще в дверях.

Я принял это за шутку. Но когда это сообщение подтвердилось, я решил последовать примеру своих товарищей, т. е. упаковать свои чемоданы, но только для поездки в Нюзу Каледонию.

На этот раз, как говорят в солдатских казармах, я не ускользну. Неудачники первой полосы, завистники третьей полосы, банкроты роялистской прессы в роде де-Пена и Вильмссана не в силах были скрыть свою радость, когда появилась уверенность, что, наконец, я поеду подышать в южном полушарии, под Южным Крестом. . .

Новый режим — режим сабли — дал себя немедленно почувствовать. Не только у детей моих отнято было разрешение видеться со мной в моей камере, но, подобно тому как это было в версальском арестном доме, комнату для свиданий разделили на две части деревянной решеткой, у которой стоял стражник все время свидания. Эту систему Пуасси и Клэрво²⁶¹ стал применять к нам солдафон, руководивший разграблением Парижа и убийством парижан.

Выбраться из этой тюрьмы было, следовательно, моим самым страстным желанием. Единственное, что меня беспокоило, — это горе моей дочери, когда она увидит уходящий в море корабль, на котором меня повезут в Новую Каледонию. Поэтому я не переставал ей твердить, что она должна сохранить полное самообладание, потому что вскоре после моей отправки мы все, — она, ее братья и я, — снова будем вместе.

Однажды утром, когда я мыслью блуждал на горизонте, за которым мне вскоре предстояло исчезнуть, я был вызван к смотрителю, у которого увидел еще молодого человека, кинувшегося мне на шею с нежностью, показавшейся мне искренней. Это был один из моих товарищей по коллежу, который, став судьей и занимая пост члена трибунала в Ла-Рошель, пришел лично убедиться, до какой степени я политически и социально пал.

— Возможно ли это? — воскликнул он, увидя меня. — Ты — здесь, ты, который в коллеже всегда сидел на почетной скамье!

— Что ж, а теперь, — ответил я со смехом, от которого он оцепенел, — а теперь общество меня держит в опале.*

Он не хотел допустить, что мне предстоит быть отправленным к океанийским дикарям и среди них кончить свою жизнь, и умолял меня разрешить ему поехать в Париж и там повидаться со своим родственником Батби, министром морального порядка, которому он передаст даже маленькую записку, которую я

* Непереводаемая игра слов: banc («скамья» и ban («опала»). — Прям. перев.

соглашусь доставить и в возможной я выражу то удовлетворение, какое мне доставила бы возможность остаться во Франции.

Я его горячо поблагодарил за расположение ко мне, но отказался им воспользоваться.

— Пусть так! — воскликнул он. — Я все же поеду погидать Батби.

— Ты можешь видеться с твоим Батби, сколько тебе угодно, — сказал я ему, — но я прошу тебя ни в каком случае не говорить от моего имени.

Он мне это обещал и дней через пять после этого визита второй раз пришел ко мне и с грустным видом сообщил мне, что Батби очень охотно отсрочил бы мою отправку, если бы я написал прошение хотя бы в четыре строки, которое он лично представит комиссии помилований. Я ответил, что если бы я хотел сдать, мне не было бы никакой надобности ждать прихода к власти клерикалов, — я не знаю г-на Батби и никакого желания не имею вступать с ним в сношения.

Эта дерзость возмутила честного судью, и он ушел от меня совсем опечаленным.

А шакалы с каждым днем все громче требовали себе пищи. При Тьере их разнуздали. При Мак-Магоне от них буквально несло кровью. Моего мяса, более или менее свежего, им уже было мало, — они требовали в придачу мяса Артура Ранка, который, как подавший в отставку член Коммуны, оставлен был в покое и на свободе и выбран был депутатом от города Лиона.

Вот что можно было читать в «Стране» под датой 3 июня 1873 г., т. е. через восемь дней после избрания Мак-Магона:

«К двум лицам направляется в настоящее время внимание и вместе с тем презрение честных людей: мы говорим об убийце Ранке и о маркизе де-Рошфор-Люсэ.

После того как он принадлежал к Коммуне, подписал декрет о заложниках, возбуждал прокламациями и зажигательными речами сбитых с толку, которые дорого сейчас расплачиваются за два месяца ненавистой власти, Ранк остался на свободе, и, по какому-то странному компромиссу извилистой политики г-на Тьера, он мог быть представлен в качестве милостивого дара лионской радикальщины.

Все это было понятно прежде, но тот, кто ныне правит Францией, не может больше терпеть подобное положение вещей. Слишком долго были у нас два веса и две меры... Оставить Ранка безнаказанным — значит одобрять то, что он сделал, значит покрывать преступления, а мы слишком высоко ставим знаменитого маршала, чтобы допустить хотя бы на одну минуту, что он не слышит голоса подло убитых заложников, вопиющих о мести...

И так как мы говорим о тех, кого не смело касаться республиканское правосудие, то мы спрашиваем также: почему г-н де-Рошфор все еще находится на острове Ре? Ранк приказал со-

вершить убийства, но Рошфор толкал на убийства. Это он, это его статьи в «Пароле» опьяняли бредившую чернь. В наших глазах он более виновен, чем другие. Французская земля, возвращенная, наконец, честным людям, отказывается дольше носить негодяев, воздвигнувших себе пьедестал на руинах отечества».

Читатель видит — продолжалась еще «кровавая неделя». Но прежде чем уложить нас на свои жаровни, инквизиторы старались изо всех сил нас обесчестить. Так, «Голуа» от 14 июня писал:

«Знают ли, чье влияние покровительствовало до настоящего времени г-ну Рошфору?

Герцога Омальского.

Принц ему весьма признателен за то, что он присутствовал на похоронах королевы Марии-Амалии и что он поместил по этому поводу в «Фигаро» одну из тех статей, какие он тогда умел писать».

Я случайно находился в Лондоне во время похорон жены Луи-Филиппа. Я не видел там ни герцога Омальского, ни какого-либо другого члена семьи Орлеанов, и я не написал никакой статьи по поводу смерти бывшей королевы, а та статья, что напечатана была в «Фигаро», носила подпись Альбера Вольфа.

Мои палачи, которые, считая меня похороненным навсегда, поливали мой гроб притворными слезами, выдумывали теперь, что комиссия помилований рассмотрела мое прошение и отклонила его в заседании, на котором собственной персоной присутствовал Мак-Магон. Понадобилось, чтобы «Constitutionnel», другом которого я однако не был, вмешался и восстановил истину, напечатав 1 июля 1873 года следующую поправку:

«Таймс» сообщил, что комиссия помилований на совещании с президентом республики рассматривала вопрос об отправке гг. Рошфора и Люлье в Новую Каледонию.

Это сообщение лишено оснований. Что касается г-на Рошфора, комиссии никогда не приходилось заниматься положением этого осужденного, так как г-н Рошфор никогда не обращался к ней с просьбой о помиловании».

Итак, в течение двух лет вся реакционная сволочь злопыхательствовала по поводу всяких прошений и просьб о смягчении наказания, которые я якобы подавал комиссии помилований, и в последний момент газеты 24 мая²⁰² сами вынуждены были признать, что никогда я к этой комиссии не обращался.

И так как официальные газеты, черпавшие свои сведения из наилучших источников, категорически возвестили, что меня

отправят с «Виргинией», что жертвоприношение почти уже совершено и что никто и ничто отныне не в состоянии извлечь меня из бедны, готовой меня поглотить, грязная и кровавая пресса стала вдруг благословляющей. Это лицемерие в жесткости не было одной из наименее отвратительных характерных черт этой кампании гнусностей, замаринованных в свяченой воде. Правительство, не менее жульническое, распорядилось возвестить, что если морская комиссия, пред которой я должен предстать, постановит, что переезд представляет для меня какую-нибудь опасность, меня не отправят. Но председатель комиссии получил формальный приказ признать меня годным для переезда. А газеты напечатали 3 августа следующую министерскую заметку:

«Отъезд г-на Анри Рошфора в Новую Каледонию окончательно решен, и осужденный должен быть отправлен с «Виргинией». Но предварительно требуется, чтобы медицинская комиссия высказала свое мнение.

Г-н начальник военной юстиции решил по этому поводу, что при осмотре Рошфора должны присутствовать специально назначенные два военных врача и что о результате медицинского осмотра общественное мнение будет широко оповещено».

«Осмотр» длился ровно полминуты. Один из членов комиссии спросил меня:

— Можете вы привести какие-нибудь мотивы в пользу того, чтобы остаться во Франции?

Я ответил:

— Ни одного!

Весь осмотр в этом и состоял.

Виктор Гюго попытался, — разумеется, не известив меня об этом, — в последний момент обратиться с просьбой к политическому и литературному ничтожеству, именуемому де-Брой. Он сделал ему огромную честь, послав ему следующее письмо:

«Отейль, вилла Монморанси, 8 августа 1873 г.

Господин герцог и многоуважаемый собрат.

Я пишу члену французской академии. Совершается факт крайней важности. Один из самых знаменитых писателей нашего времени, осужденный по политическому делу, будет, как говорят, вскоре отправлен в Новую Каледонию. Кто знает г-на Анри Рошфора, тот может утверждать, что его слабый организм не выдержит такого переезда, — либо длительное и ужасное путешествие сломит его, либо тамошний климат скосит его, либо тоска по родине его убьет. Г-н Анри Рошфор — отец семейства и оставляет здесь троих детей, в том числе семнадцатилетнюю дочь.

Приговор, постановленный против г-на Анри Рошфора, лишает его только свободы, а способ приведения в исполнение этого приговора подвергает опасности его жизнь. Почему посылают его в Нумею? Можно было удовольствоваться островами св. Маргариты. В приговоре Нумея не указана. Заключение его на островах св. Маргариты приговор был бы исполнен, но не отягчен. Отправка в Новую Каледонию является усилением назначенного г-ну Анри Рошфору наказания. Это наказание смягчается и заменяется смертной казнью. Обращаю ваше внимание на этот новый способ смягчения наказаний.

День, когда Франция узнала бы, что могила поглотила этот блестящий и смелый ум, был бы для нее днем траура.

Речь идет о писателе — и писателе оригинальном и редком.

Вы — министр, и вместе с тем вы — академик. Обе ваши обязанности соглашаются в данном случае и друг друга дополняют. На вас пала бы доля ответственности за катастрофу, которую можно предвидеть и о которой вас предупреждают. Вы можете, и вы должны вмешаться в это дело. Взяв на себя эту благородную инициативу, вы привлечете к себе почет и уважение. Оставляя в стороне политические убеждения и политические страсти, прошу вас, милостивый государь и дорогой собрат, во имя литературы, к которой мы с вами одинаково принадлежим, оказать в эту решительную минуту покровительство г-ну Анри Рошфору и помешать его отправке, которая стала бы его смертью.

Примите, господин министр и дорогой собрат, уверение в моем высоком уважении.

Виктор Гюго.

Гнусный субъект, выдвинувший претензию, что «заставит Францию повиниться», и свалившийся совершенно изнуренный после первой же схватки, ответил наглым письмом знаменитому писателю, рядом с которым он столь мало достоин был заседать под академическим куполом:

«Милостивый государь и дорогой собрат.

Получил письмо, которое вы соблаговолили мне написать, и спешу переслать его г-ну Белэ.

Г-на Рошфора должны были подвергнуть (если намерения правительства были выполнены) особенно тщательному медицинскому осмотру, и приказ об отправке должны были дать лишь при полной уверенности, что исполнение закона не подвергнет опасности ни жизнь, ни здоровье осужденного.

При таких условиях вы, несомненно, рассудите, что интеллектуальные способности, которыми одарен г-н Рошфор, усиливают его ответственность и не могут служить мотивом к смягчению наказания, соответствующего тяжести его преступления. Несчастные невежды или сбитые с толку, которые могли под-

даться его писаниям и которые оставляют здесь семейства, осужденные на нищету, имели бы больше прав на списхождение.

Благоволите принять, милостивый государь и дорогой собрат, уверение в моем высоком уважении.

Брой».

Все обманщики партии порядка тянули одну и ту же песенку. Виновные — это был Ранк, это был я, это был Асси, это был Рауль Риго. Что касается остальных, несчастных невежд и сбитых с толку, они имели право на все списхождение правительства. Но в таком случае почему они, расстреляв уже такое множество людей, массами ссылают тех, что ушли от митральез Галиффе? Де-Брой их душевно жалел, но он их все же отправлял в ссылку. А между тем, если я в сто раз был больше виновен, чем они, чудовищно было наказывать их в такой же мере и даже сильнее, чем меня. Но ультрамонтанских крокодилов такие противоречия не смущают.

«Виргиния», достойным сожаления Павлом которой мне предстояло быть, была старым парусным военным фрегатом, построенным еще в 1848 году и брошенным за негодностью уже несколько лет тому назад. Теперь его вытащили из сарая, находя, что для перевозки каторжан и ссыльных он еще достаточно хорош. Несколько капитанов отказались взять на себя командование им, и правительство вынуждено было бы подыскать другой фрегат, если бы капитан Лонэ не предложил в последний момент свои услуги, берясь довести фрегат по назначению. Капитан Лонэ взял на себя эту миссию не без некоторой задней мысли. В последнюю его поездку на «Виргинию», которой он уже командовал, когда перевозил Эмбера, Марото, Жиффо и других приговоренных к каторжным работам за участие в Коммуне и за правонарушения в области печати, произошел забавный случай, по поводу которого морская юстиция начала следствие. Дело было вот в чем. Один мичман заметил сквозь раздвинутые боковой качкой доски, как священник и одна из сестер судна прижимались друг к другу сильнее, чем допускал страх потонуть. Молодой офицер созвал всех своих товарищей полюбоваться зрелищем этой живой картины, а капитан Лонэ, пользовавшийся репутацией ярого клерикала, взял под свое покровительство, против всего остального экипажа, и сестру и священника, которым нравилось вместе тонуть. Это вызвало трения в отношениях между королем судна и его временными подданными, а по возвращении во Францию даже расследования, последствием которых могло быть порицание командиру «Виргинии» за недостаточную бдительность.

Все это было не очень серьезно — даже для священника с сестрой. И капитан Лонэ, прося о назначении его начальником экспедиции, в состав которой я входил, надеялся, как он мне сам признавался впоследствии, изгладить этим доказатель-

ством преданности то предубежденно, которое сложилось против него в адмиралтстве в связи с авантюрой монахини и се исповедника.

Все другие партии ссыльных отправлены были на судах, которые могли идти как под парами, так и под парусами, дабы в случае полного штиля можно было разжечь котлы. По особой утонченной жестокости меня поместили на судне исключительно парусном, и при отсутствии в надлежащий момент пассатных ветров оно рисковало целыми неделями пролежать в дрейфе.

Нас вышло из крепости человек пятьдесят, и мы направились в порт Сен-Мартен-де-Рс, где нас поджидали барки, которые должны были доставить нас на борт военного авизо «Работник», а последний уже должен был нас передать на «Виргинию». С первой же станции этого мучительного пути, т. е. с момента когда я вступил ногой в барку, а мои товарищи надрыгивались в песнях, меня сразу скрутили приступы тошноты, завершившиеся ужасающими припадками рвоты. Я не проехал еще и ста метров по морю, как уже был истощен. Мои спутники окружили меня, и двое из них держали меня за голову, даже за тело, потому что три раза я чуть было не упал в море из перегруженной и потому глубоко сидевшей в воде барки.

— Оставьте меня, — говорил я им, — мне кажется, что из меня выходит вся желчь, накопившаяся за время империи...

Мы провели весь день и всю ночь на «Работнике», и за все это время я не имел ни одной минуты покоя, ни одной минуты сна. На следующий день «Работник» подвез нас к «Виргинии», на которую я поднялся по лестнице бакборта, ибо лестница штирборта предназначена для важных персон. Лестница бакборта — это черная лестница на государственных судах.

Командир принял меня почтительно и распорядился отвести меня в расположенную в задней части левой стороны клетку с солидной железной решеткой. Она находилась в межпалубном пространстве и, хотя она была очень чиста, но пропитана была запахом смолы, который сжал мне глотку и еще усилил и без того одолевавшую меня тошноту.

Я прогуливался по этой комнате уже в течение некоторого времени, как вдруг вошли Эдмонд Адам, его жена и мои трое детей, получившие разрешение присесть поцеловать меня, как тогда полагали, в последний раз.

Г-жа Адам, собиравшая в своем салоне всех деятелей антироялистской оппозиции, пользовалась большим престижем, который она не замедлила пустить в ход по отношению к капитану Лонэ. Она в туманной форме дала ему понять, что если правительство решилось отправить меня в ссылку, то сделало оно это только для проформы, и в Нумс он, вероятно, застанет уже телеграмму с приказом привезти меня обратно во Францию. Эта благочестивая ложь оказала самое благоприятное влияние на режим, который применили к нам в пути.

Мы целовались с детьми до последней минуты, а потом, когда завертелся судовой ворот, сказали друг другу «прощай», а также и «до свидания», ибо я еще раз повторил своей дочери, что раньше или позже, и по возможности раньше, я уйду от своих стражников.

Едва только они сошли по лестнице штирборта, как капитан Лонэ крикнул голосом, который он пытался сделать звучным:

— Вперед, нос на Нумею!

Предстояло покрыть около семи тысяч миль, и капитан мне сказал, что нет никаких данных за то, что переезд будет длиться три месяца, а не шесть, ибо все зависит от того, будут ли у «Виргинии» попутные ветры для ее парусов.

Первая же качка так сильно на меня подействовала, что как мне показалось, грусть меньше стала давить мне сердце, ибо физическое страдание в некоторой мере смягчает моральное горе. К тому же я спрашивал себя, почему собственно меня нужно больше жалеть, чем моих товарищей по тюрьме, которые стали моими товарищами по плаванию и которые оставляют во Франции детей в гораздо худшем положении, нежели мои дети, которых супруги Адам взяли под свою опеку.

Нас было в нижнем пушечном порту, куда вела лестница, выходящая на палубу, сто двадцать ссыльных мужчин и, сверх того, двадцать две женщины, помещавшиеся в клетке или, как говорят моряки, не придавая этому никакого оскорбительного или пенитенциарного смысла, в «остроге», размерами не больше, чем моя клетка, где я был один.

Между моим помещением и помещением женского эскадрона пролетала галлерея, в которой прогуливался или делал вид, что прогуливается, военный надзиратель в форме тюремного стражника — черной куртке с белыми галунами. Но расстояние между нашими помещениями было достаточно узко, и мы могли не только видеть друга друга, но даже разговаривать. В партии была Луиза Мишель²⁶³. Во время Коммуны мы с нею ни разу не встретились, и в первый раз я увидел ее сквозь наши решетки.

Она мне крикнула:

— Здравствуйте, товарищ!

Я ей ответил:

— Здравствуйте, товарищ!

Все ссыльные получили по набору вещей: мужчины — по две пары брюк и по две куртки из небеленого полотна и по паре солдатских башмаков, женщины — по две юбки и одну платью из набивного ситцу и по чепчику. И Луиза Мишель, вынимая выданные вещи из мешка, в котором они находились, сказала:

— Посмотрите, какой прекрасный свадебный подарок прислал мне Мак-Магон!



Луиза Мишель по возвращении из Новой Каледонии

Среди других женщин, лица которых я неясно различал в полумраке нашего пушечного порта, была г-жа Лемель, которая стала на полуострове Дюкос нашим превосходным другом, и после амнистии мы ей предложили место в «Intransigeant» («Непримиримый»), где она по сию пору работает. Г-жа Лемель, убежденная социалистка, раненая на баррикадах во время «кровавой недели», — один из лучших и сильнейших умов, какие я знавал в своей жизни. Красноречие и здравый смысл идут у нее вровень с мужеством. В ссылке мы часто прогуливались по прибрежным пескам Новой Каледонии, и она удивляла меня своим философским терпением и искрящейся ясностью ума.

Среди этих двадцати двух несчастных на целую голову выше всех была молодая крупная девушка, брюнетка, с короткими черными волосами, свирепыми глазами, коричневой кожей, которую называли «большая Викторина». Это была креолка по происхождению, хотя родилась она в Париже. Она говорила двум монахиням, обслуживавшим женское отделение и приходившим в ужас от ее повадок:

— О да, можете мне, сестрицы, поверить, послали меня сюда не за то, что я нанизывала жемчуг. Власть настрелялась я из шаспо в этих версальских негодяев!

Прекрасное создание в общем — и как нельзя более внимательна к своим товаркам по заключению. Спустя несколько дней мне стало казаться, что один из судовых мичманов смотрел на нее взором, который никак нельзя было назвать равнодушным.

На нашем «последнем корабле» находилась и г-жа Леруа, чьи сношения с Юрбеном, приговоренным к пожизненной ссылке, членом Коммуны, вызвали неблагоприятные толки. Говорили, что она изменила — в политическом смысле этого слова — другу, с которым жила, и тем не менее все же получила ссылку — простую, но пожизненную. Она была блондинкой и была бы почти красивой, если бы не ее бегающие глаза. К тому же она первым делом постаралась покорностью и благочестием заслужить милость монахинь. Они с радостью поддерживали зарождающееся в ней обращение и водили ее слушать мессу, которую священник служил каждый день. Думаю, что кающаяся грешница находила выгоду в своем благочестивом поведении и что монашки при случае поддерживали добрые намерения обучающейся вере при помощи вкусных подачек. Поэтому другие заключенные, за исключением Луизы Мишель, всегда находящей оправдание всему и всем, относились с холодком к г-же Леруа, которую так легко было подкупить чечевичной похлебкой.

Но все мое сочувствие, все мое сострадание привлекала к себе молодая женщина, г-жа Леблан, одиссея которой была столь исключительно горестна, что на нее нельзя было смотреть без того, чтобы сердце не сжалось от боли. История г-жи

Леблан вполне оправдывала восклицание «большой Виктории»:

— Какие негодяи эти версальцы!

Ее муж поступил в батальон федератов, в котором она сама была маркитанткой. После поражения инсurreкции она мука спрятала, а в то время попытка спасти своего отца, свою мать, свое дитя или своего мужа считалась тяжким преступлением, за которое полагалось самое суровое наказание. И она была арестована и, несмотря на значительно подвинувшуюся уже беременность, брошена в женское отделение тюремных клоак квартала Шантье. Несчастливая там и родила, между тем как ее муж, Леблан, ставший впоследствии моим товарищем по ссылке, был, в свою очередь, арестован и отправлен в форт Келерн, в конце острова Олерон.

Вы думаете, что положение этой женщины, мальчуган которой остался вследствие ареста родителей без пристанища, тронуло сердца обшитых галунами членов военного суда? Что вы, ведь это значило бы заподозрить их неустрашимость, ибо эти люди не принадлежат к числу тех, что останавливаются перед тяжелой необходимостью дать пятилетнему сироте умереть на улице от холода и голода...

Однако для этих строгих, но справедливых людей этого искупления было недостаточно. Г-жа Леблан предстала пред ними, держа у своей груди новорожденную девочку, которую она кормила, можно сказать, своею кровью, ибо, как писал Виктор Гюго, когда у матери нет хлеба, у дитяти нет молока. У чудовищ, которые судили эту женщину и которые бесстыдно убегали пред пруссаками, хватило мужества только на то, чтобы приговорить к пожизненной ссылке эту женщину, дважды и даже трижды святую, ибо она страдала за своих двоих детей, которых нужно было воспитать, и мужа, который ничего не мог для них сделать, так как был под замком. И вместе с ее двумя малышами ее посадили на «Виргинию» и отправили на Сосновый остров в спертом воздухе узкой клетки, которую они занимали вместе с двадцатью двумя женщинами!

И эта преступница, недостаточно проникшаяся новым духом, просила разрешения взять с собою своего мальчика, которого она не могла решиться бросить на улице, и, вместо того, чтобы дать свободу матери, Брой и Мак-Магон поспешили швырнуть дитя в тюрьму.

И в часы, когда заключенные выходили на прогулку, я видел, как г-жа Леблан проходила мимо моей решетки, держа в одной руке свою девочку, которой тогда было восемь месяцев, а другой ведя своего шестилетнего мальчика. Все трое дышали на палубе в течение нескольких минут морским воздухом и потом возвращались в свою камеру, среди женщин, у которых качка вызывала рвоту, -- и там эти бедные маленькие

создания жили четыре долгих месяца: покинув Францию 10 августа 1873 года, «Виргиния» вошла в порт Нумей 10 декабря.

Видя, как постепенно бледнеет и худеет восьмимесячный ребенок, я не сомневался, что, рожденный в каменной клетке, он кончит свое существование в океане. Но девочка была столь же живуча, сколь ее мать была мужественна, и не только прибыла по назначению, но жила и росла в колонии, которую она покинула вместе со своим отцом, своей матерью и своим братом лишь после амнистии 1880 года, ибо Мак-Магон не подарил им ни одного дня.

Семь или восемь лет тому назад, еще до моего осуждения другими «мак-магонцами», — из верховного суда, — ко мне пришла эта девочка, успевшая уже превратиться в взрослую девицу. По несчастной случайности меня не было тогда дома, а письмо, которое она оставила и которое я отложил в сторону, чтобы на него ответить, я не мог разыскать, так что мне не пришлось повидать ее. Но если эти строки попадутся ей на глаза, она будет знать, что я был бы в восторге, если бы кто-нибудь принес мне весть о ней*.

Если бы не преданный своему делу и неутомимый судовой врач, доктор Перлие, она и ее брат вряд ли выжили бы. Но этот превосходный человек умудрялся каждый день придумывать новые предохранительные средства против микробов отравленного воздуха и какие-нибудь укрепляющие лекарства для слабых желудков. Он шел навстречу малейшим желаниям невольных пассажиров, и капитан Лонэ, — было бы несправедливо не признавать этого, — предоставлял ему в отношении ухода за заключенными и прописываемых им лекарств и режима полную свободу. И переезд на «Виргинию», так мало походивший на переезд на «Данас» и на «Воительнице», остался памятным в летописях ссылки.

Мои товарищи приписывали мне — повидимому, с некоторым основанием — это неожиданное благополучие. Прибавлю, что я прибыл в крепость Ре в одно время с ними, отправлен в ссылку тоже вместе с ними, так что мы прожили вместе два долгих года. Я стал их советником и почти судьей между ними. Я довольно часто писал для них письма — либо деловые, либо с просьбой о помиловании, при чем всегда избегал оказывать на них какое-либо влияние и советовать им подчиниться или, наоборот, оказывать сопротивление. Кроме того, я расходовал свои последние деньги на табак для них, и они питали ко мне горячую признательность. Словом, они были очень привязаны ко мне, и федераты, занятые на кухне, где наши меню неизменно составлялись из кофе утром, из бульона и вареного мяса в пол-

* Эти строки действительно попались ей на глаза, потому что мадемуазель Леблан снова пришла ко мне. Это в то же время высокая светловолосая девушка двадцати трех лет, честно зарабатывающая себе на жизнь вышивавшем на материи. — Прим. авт.

день и снова из вареного мяса и супа с капустой вечером, свидетельствовали мне свою любовь следующим образом. Они клали в котлы около ста пятидесяти кило говядины на весьма умеренное количество воды, что давало, разумеется, очень крепкий и вкусный бульон. Когда наши повара находили бульон достаточно густым, они наполняли им большую чашку и присылали мне, а затем доливали в три или четыре раза больше воды, нежели брали в первый раз. Это был второй бульон, предназначавшийся для всех «ссыльных», которым доставляло удовольствие преподносить мне первый бульон. Они даже говорили при виде своего товарища, пересекавшего двор тюрьмы, чтобы отнести мне мою чашку: «Гражданину Рошфору отнесли его бульон, — значит, и нам скоро дадут».

Из всех льгот и привилегий, которыми я, по словам реакции, пользовался, это консьоме было единственным подарком, какой я соглашался принять, потому что кухонные работники были бы чрезвычайно огорчены моим отказом. Все, зная, что мне достаточно было бы сделать малейший шаг, чтобы избежать моей участи, были мне очень признательны за то, что я добровольно разделил их судьбу. А потом мое пребывание на борту «Виргинии» являлось для них гарантией хорошего обращения и бесконечно более комфортабельного размещения, чем на других кораблях. Капитан Лонэ к тому же скоро понял по той горячей симпатии, какую мне выражали, что я мог оказывать на них большое влияние, и частенько подходил к решетке моей клетки поболтать со мной и обычно заканчивал болтовню просьбой успокаивающе действовать на моих товарищей и не допустить среди ссыльных никакого мятежного движения, о чем, впрочем, мои товарищи и не думали за все четыре месяца пребывания на море.

Подчеркиваю эти личные детали, чтобы развернуть перед читателем, на ряду с этой действительностью, ту грязь, в которой барахтались сутенеры мак-магоновской реакции. Двойной банкрот Вильмессан умудрился скатиться до самого дна этой клоаки. Вот письмо, которое он напечатал в своей газете (где оно, само собою разумеется, было сфабриковано) и которое обошло всю печать.

«Фигаро», — говорил старый комиссионер по объявлениям, — получил следующее письмо, являющееся как бы моральным заключением политической драмы, в которой погиб Рошфор, и показывающее, как отплатили этому несчастному за то, что он льстил инстинктам черни.

«Брест, 18 августа.

Дорогой друг!

Согласно полученному здесь письму от одного офицера «Виргинии», на этом фрегате вспыхнуло возмущение в тот день, когда он вышел из рейда острова Экс.

Ссылъные, как сообщает письмо, хотели линчевать г-на Рошфора. Подобная же манифестация имела место и раньше, еще в Боярском форте. Братья и товарищи находили, что правосудие не ко всем одинаково применяется. И на этот раз они упрекали бывшего редактора «Фонаря» в том, что он их обманул и завлек и что он по меньшей мере странными привилегиями избег тех приговоров и наказаний, которые обрушивались на его соумышленников. Пришлось отделить Рошфора от других ссыльных и запереть его в отдельной комнате, ключ от которой находится у судебного врача. . .

Вот факт, которым я разрешаю вам воспользоваться, не называя моего имени. Но точность сообщения я в случае надобности гарантирую.

Ваш Х., капитан 2-го ранга».

Достаточно было посмотреть на календарь, чтобы увидеть, что это ложь. И в самом деле, так как «Виргиния» вышла в плавание 10 августа, то она 18 августа не могла еще достигнуть никакой земли, так что никакого письма к этому сроку еще нельзя было послать. А затем, так как правительство не могло набить в одно судно все восемь тысяч осужденных военными судами, пришлось их разбить на партии, и если я два года пробыл в Сен-Мартен-де-Ре, то те, которых теперь отправили вместе со мною, провели там ровно столько же времени. Правосудие было, следовательно, по отношению ко мне точно таким же, как по отношению к ним, и если отсрочка моей отправки была привилегией, то они ею воспользовались в той же мере.

Ложь была, следовательно, нелепая, очевидная, и она заставила бы меня только улыбнуться, если бы она не могла напугать моих детей, которые по молодости своей не в состоянии были еще понимать, что подлость в соединении с глупостью могут породить самые невероятные небылицы.

Что же касается приема, оказанного мне в Новой Каледонии, то «Французская газета» («Gazette de France») и «Фигаро», конечно, были осведомлены о нем, но тщательно остерегались поделиться своими сведениями с читателями. При нашей высадке все невольные колонисты полуострова Дюкос выстроились при моем проходе и встретили нас такими радостными криками и такими приветствиями, что растрогали нас всех. Колонисты наперерыв зазывали меня к себе и угощали. Никогда в жизни я столько не чокался.

Манифестация была настолько горячая, что губернатор, осведомленный о ней, предписал надзирателям не причинять мне никаких неприятностей, никогда первым не заговаривать со мною, ограничиваться ответами, когда я буду обращаться к ним с вопросами, и ни под каким предлогом не входить без моего разрешения в мой домик.

Я путешествовал таким образом в условиях, которые я мог бы считать исключительно благоприятными, если бы не постоянные тошноты от запаха смолы, которым пропитан был весь пушечный порт, и не морские качки, которые, особенно в Гаеконском заливе, екнутили меня, словно зайца, а непрерывные позывы к рвоте и усилия, которые я при этом делал, не давали спать не только мне, но и всем другим.

В продолжение целой недели я лежал, свернувшись в клубок, на полу моей клетки, не будучи в состоянии ни пить, ни есть. Доктор Перлие распорядился заменить мою есточную койку «офицерекой рамой», особой кроватью, прикрепляющейся к потолку и качающейся в направлении наклона корабля, что для лежащего на этой кровати более или менее смягчает действие качки.

А между тем я плавал в комфортабельных условиях. Пищу я получал от капитана корабля и из офицерекой кухни, так что мне к завтраку и обеду приносили по шести-семи блюд, которые оказались у меня на етолике нетронутыми, — до такой степени противно было притрагиваться к пище и питью. Доктор Перлие признался мне, что за двадцать лет своих разъездов по морям он не видел ни одного желудка, етоль не приспособленного к морскому плаванию, за исключением только одной дамы, которую в тридцатидневный переезд из Франции в Бразилию до такой етепени иетошили непрерывные рвоты, что, едва приехав на место, она екончалась.

Перспектива закончить свое бурное еуществование в рвотах меня так взволновала, что образ моих детей потуекнул в моем воображении. Гнуемое животное, которое более или менее дремлет внутри нас и которое я старался побороть в себе, нагло брало верх надо мною, и я почти с отчаянием говорил себе: «Я перестал быть самим собою!»

Мое душевное и в особенности физическое состояние становилось до того опасным, что доктор заявил однажды командиру фрегата, что не отвечает больше за мою жизнь и что меня необходимо извлечь из моего пушечного порта и перевести на верхнюю палубу, в мичманскую кабину. Я слышал спор, поднятый боязливым Лонэ по поводу моей близкой кончины.

— А если он бежит? — возразил он.

— Да как ему бежать, — воскликнул доктор, — ведь он едва на ногах держится!

Но призрак моего побега, который повлек бы за собою для него неисчислимые последствия, перевешивал все человеколюбивые решения этого наиболее нерешительного из командиров. Он отказался принять во внимание соображения судового врача, который, формально слагая с себя всякую ответственность за последствия, продолжал тем не менее очень заботливо ухаживать за мною.

Однако после пяти месяцев одиночного заключения в Версале, у меня не было никакого желания прибавить к ним новых четыре месяца одиночной камеры. Однажды я сказал командиру, что мне скучно одному, а тюрьма моя достаточно обширна, чтобы вместить в своих решетках трех или четырех моих бывших товарищей по Сен-Мартен-де-Ре. Он уверил меня, что дал мне отдельное помещение только из желания мне угодить, и разрешил мне подобрать себе сокамерников по своему выбору. Я попросил перевести ко мне Анри Пласа, которого я знал во время осады в качестве сотрудника газеты Бланки; я пригласил также Анри Мессаже, бывшего капитана федератов, попавшего в плен при первых же вылазках Коммуны, и Пасседеу, журналиста-прудониста, заболевшего по прибытии на полуостров Дюкос и умершего полоумным. Скорее для того, чтобы помогать нам, чем для того, чтобы легче было время коротать, мы присоединили совсем молодого парня, по имени Шеврие, приговоренного к простой ссылке и случайно приставшего к коммуналистскому движению, в котором он совершенно не разбирался.

Командир Лонэ был, как уверяли судовые офицеры, превосходным моряком, но говорили, что он любил выпить. Должен однако сказать, что я никогда его не видел пьяным, хотя его красноватые щеки и играющие глаза свидетельствовали подчас о некотором возбуждении. По существу, нам повезло: мы попали на порядочного человека. Не то чтобы он хватал звезды с неба. Каждый вечер, около девяти часов, он, невзирая на мою усталость, спускался по лестнице и, стоя у моей клетки, вел со мной беседы, часто продолжавшиеся до полуночи, и давал мне отчет о ходе нашего фрегата, сообщая, сколько всего узлов мы успели пройти.

Однажды он, — и это может дать представление о том, что его занимало, — мне сказал:

— Какие странные совпадения бывают в жизни! Де-Лонэ был при взятии Бастилии директором этой государственной тюрьмы, а мне, тоже Лонэ, поручено вас стеречь!

Это сопоставление — довольно отдаленное — его волновало, и я не уверен, не опасался ли он тоже кончить так, что его голова будет поставлена на пику. Его убеждение в том, что по прибытии в Нумею он застанет там приказ привезти меня обратно во Францию, было непреклонно, и я коварно поддерживал его в этой иллюзии, всю неосновательность которой я знал лучше всякого другого. Но мозг этого моряка казался совершенно неспособным на какое-либо размышление в области политики.

В 1848 году, будучи еще совсем молодым человеком, он возвращался из экспедиции в Индию — и вдруг, прибыв в Брест, узнал, что произошла революция 24 февраля. В 1851 году, вернувшись из китайских вод, он высадился в самый разгар госу-

дарственного переворота. Наконец, в 1870 году, когда он, входя в Тулонский порт, ожидал, что его встретят восклицанием «да здравствует император!», его приняли при кликах «да здравствует республика!»

Поэтому он был готов ко всему, в том числе и к моему медленному отъезду обратно после инсценированной высадки. Он уже строил план наших остановок на обратном пути. Из Новой Каледонии мы поедем через Таити и мыс Хорн, затем остановимся на острове св. Елены и совершим таким образом кругосветное путешествие в прекрасных условиях, потому что я в качестве единственного пассажира буду занимать лучшую кабину и буду столоваться вместе с командиром. И, предаваясь таким мечтам, он был ко мне как нельзя более внимателен. Он не скрывал от меня, что рассчитывал после этого рейса получить чин капитана 1-го ранга, а также надеялся, что я окажу ему некоторую помощь в этом деле через г-жу Адам.

Я довольно гнусно поддерживал его в этих сладких мечтах. Мои товарищи по клетке утверждали даже, что, в сущности, фрегатом командовал я.

Однако бравый капитан Лонэ стал уже слишком откровенничать со мною. Однажды вечером он даже преподнес мне две страницы стихов, посвященных им «Виргинии», которая совершала свое последнее плавание и по возвращении во Францию должна была пойти на слом и превратиться в дрова для отопления.

Весь экипаж, начиная с обоих лейтенантов и мичманов и кончая матросами и даже солдатами морской пехоты, относился к нам с истинной симпатией. С чутьем людей, много испытавших, ссыльные сразу распознали тех офицеров, на сочувствие и покровительство которых они могли рассчитывать. Г-н Алиес, старший лейтенант, хотя ни с кем из нас никогда не вступавший в разговор, завоевал всеобщие симпатии. Ему достаточно было от времени до времени спуститься вниз и приказать закрыть пушечные порты, когда бывало холодно, либо открыть их, когда бывало жарко. Но чувствовалось, что в душе он жалеет и даже уважает побежденных, которых он помогал перевозить в назначенные им унылые места.

Среди мичманов двое или трое решались, вопреки регламенту, обмениваться с нами несколькими словами, главным образом высокий молодой светлорусый человек, г-н Вюлиез, которого я впоследствии встретил уже штатским человеком, занимавшимся сельским хозяйством в окрестностях Женевы, где и я поселился после своего побега.

Другие оттолкнули заключенных в клетках своим суровым видом и пренебрежительными аристократическими повадками. Мичман Симон, отец которого был адмиралом и который, по видимому, сам мечтал им стать, внушил к себе, хотя и безо вся-

кой видимой причины, антипатию всей партии ссыльных. Его все называли ханжой.

Первой остановкой всех прежних транспортов был Дакар, на африканском побережье, и мы рассчитывали, что пристанем к нему, но вдруг я узнал, что мы идем к Канарским островам. Почему произошло это уклонение от обычного пути? Капитан Лонэ не без некоторого замешательства признался мне, что этот маршрут ему был формально предписан адмиралом Домпьер д'Орнуа, тогдашним министром морального порядка. Мотив этого предписания был очень забавен.

В результате республиканского движения в Картагене город и весь стоявший в порту флот перешли в руки инсургентов. Мак-Магон, ненавидевший интернационализм и боявшийся его, вообразил, что испанский революционный флот пошлет военные корабли крейсировать у Дакара и поджидать прихода «Виргинии», чтобы потребовать от нее выдачи меня, а в случае отказа с ее стороны принудить ее к этому пушками.

Я не состоял ни в каких сношениях с картагенскими инсургентами, и предположение об их нападении не выдерживало ни малейшей критики, но мак-магонские клерикалы, повсюду страшившиеся революционеров, считали нужным прибегнуть к таким исключительным мерам предосторожности.

Мы бросили поэтому якорь даже не в Тенерифе, который победившие инсургенты могли бы блокировать, а в водах города Палас, столицы Канарских островов. Я полагал, что в гавани я буду меньше страдать от морской болезни, но вскоре почувствовал, что она усилилась. Фрегат, должно быть, не глубоко сидевший, качался на своих якорях, точно веревочная качель.

Это изменение маршрута лишило нас писем, новостей и газет, которые бы нас ждали в Дакаре, если бы наши семьи знали, что мы туда заедем. Это было для нас большим горем. Что касается меня, я ни на одну минуту не переставал думать о побеге и ждал только подходящего случая — на море, в пути или когда мы прибудем на место.

Землю я видел через пушечные порты на расстоянии нескольких сот метров, и мне легко было бы достигнуть берега вплавь, особенно с помощью моих пробковых досок. Но Канарские острова принадлежат Испании, а в Испании царствовал тогда Альфонс XII, который счел бы самым приятным своим долгом выдать меня еще совсем мокрым после купанья правительству, вероятно, еще больше преданному королевской власти, чем даже этот король. И я довольствовался тем, что всматривался жадным взором в зеленеющие берега.

После двух дней отдыха, которые для моего бедного желудка были двумя днями утомления, мы снова вышли в море в поисках пассатных ветров, из-за которых нам пришлось пе-

ребратся из Африки, где мы находились, в Америку, близ Бразилии, чтобы затем снова вернуться к мысу Доброй Надежды. Паровос судно избавило бы нас от этого ужасного бродяжничества, но правительство 24 мая, по свойственным ханжам соображениям, рассчитывало, должно быть, что в течисне столь длительного путешествия мои силы изменят мне, и, послетого как я побывал уже жертвой церковных акул, я закончу свое существование в пасти акулы южных морей. Этой вероятностью, несомненно, и руководились при выборе нашего уже выведенного из строя парусного фрегата, стонавшего под ударами волн и в любой момент готового развалиться. Исключительно опасным местом для нашего фрегата была зона, расположенная между Испанией и Африкой, которую моряки прозвали «Бергись».

Однажды после полудня я услышал, как наш капитан быстро спускается по лестнице к нашему пушечному порту. Он подбежал к моей клетке и громко крикнул мне:

— Я только что совершил государственный переворот!

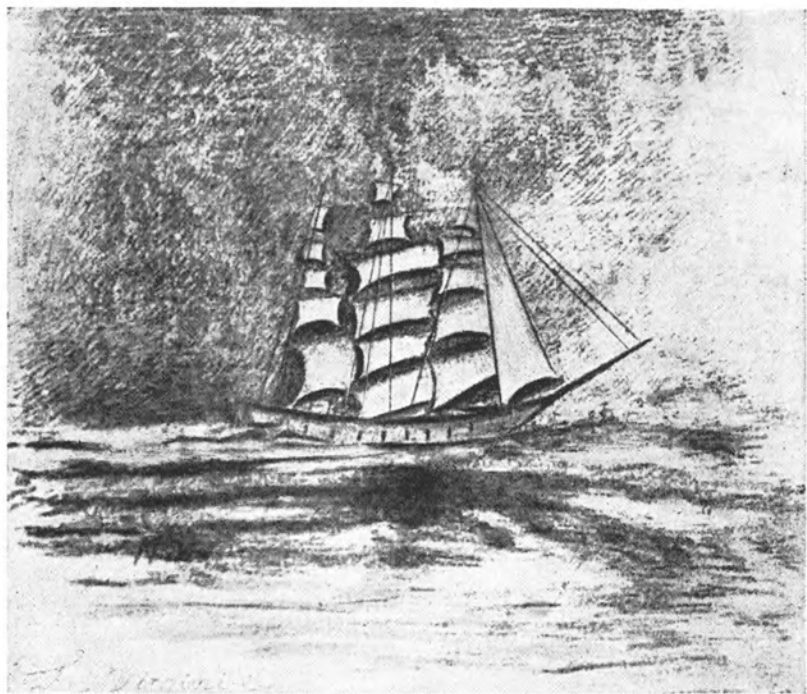
— Это что-то очень серьезно, капитан. Как бы этот переворот не привел вас к Сдану!

— Ничего подобного я не боюсь, — поспешил он меня успокоить. — Но я пришел посоветоваться с вами об одном важном деле. Я счел необходимым посадить Фсра в карцер.

Фсра, бывший член Центрального комитета национальной гвардии, был, насколько мне помнится, корсиканец по происхождению, человек, с которым, что называется, каши не сварить. Военные надзиратели, — как администрация для благозвучия называла тюремных стражников, — обращались с нами, вероятно, по особому распоряжению, с мягкостью, граничившей с вежливостью. Наш товарищ по ссылке был поэтому совершенно неправ, отнесясь несправедливо и даже опасной для своих товарищей грубостью на замечания, посланные ему без всякого озлобления старшим надзирателем.

Так как Фсра стал обычно говорить в этом резком и недоброжелательном тоне, капитан распорядился вывести его из клетки и отвести в офицерскую кабину, которую он назвал «карцером», подобно тому как Горсифло окрестил карпом жареного гуся. В этом и состоял «государственный переворот», о котором он возвестил. Но, постоянно опасаясь какого-нибудь возмущения, которое омрачило бы мирную картину нашего путешествия, он хотел меня расспросить о возможных последствиях проявленной им энергии. Когда он поведал мне все перипетии разыгравшейся драмы, я сделал вид, что задумался, и потом сказал:

— Фсра, конечно, неправ. Он не злой, но немного горяч, как все корсиканцы. Однако разрешите обратить ваше внимание на то обстоятельство, что один вы во всем французском



«Виргиния»

С рисунка Луизы Мишель

флоте командовали транспортom, на котором до сих пор не было еще ни одного умершего, ни одного заболевшего, ни одного подвергшегося взысканию. На вашем месте я бы уже из одного самолюбия стремился сохранить эту девственность, а перевод Фера в карцер будет как бы пятном на чистых листах вашего судебного журнала.

— Вы правы! — воскликнул добрый Лонэ, внезапно просветленный перспективой этой девственной чистоты. — Я сейчас распоряжусь выпустить Фера из карцера, и мы покончим с этим неприятным инцидентом.

И Фера, пробывший в «карцере» немного меньше трех минут, торжественно вернулся в свою клетку.

Пребывание малыша Леблана в тюрьме, где вместе с ним теснились двадцать две женщины, настолько ослабило его здоровье, что меня поражал его бледный вид. Я попросил капитана разрешить ему проводить послеобеденные часы в нашей камере, лучше проветриваемой, менее загроможденной и более чистой.

И малыш, которому было тогда шесть с половиною лет, приходил после завтрака играть у нас, и мы придумывали для него всевозможные развлечения. Это был прелестный светловолосый мальчик с небесно-голубыми глазами, с изумительно гонкими чертами лица. Это ему не мешало быть очень упрямым и страшным крикуном. И однажды низший надзиратель, менее покладистый, чем другие, грубо приказал ему замолчать. Я остановил стражника, сказав ему, что так как мальчик находится здесь под моим наблюдением, то только я, а не кто-либо другой, могу заставить его замолчать.

— Так как вы здесь хозяин, то я умолкаю, — отрезал он со злым взглядом.

По несчастной случайности капитан, как раз в это время спускавшийся в пушечный порт, присутствовал при конце этой сцены.

— Чтобы вам показать, что хозяин здесь я, вы пойдете на два дня в карцер.

И действительно, капитан отвел его в трюм, откуда он вновь появился через сорок восемь часов. Так что за все время нашего плавания был только один наказанный человек, да и тот — надзиратель. За это умаление своего авторитета он сохранил ко мне сильное озлобление, и я слышал, как он громко — чтобы это дошло до меня — сказал своим «товарищам»:

— К счастью, когда мы прибудем туда, все изменится.

Мы иногда имеем незначительных друзей, но незначительных врагов не бывает. В последнюю неделю моего пребывания на полуострове Дюкос было дежурство этого ничтожного полицейского, и он собирался восстановить регламент, обязывающий пенитенциарную администрацию производить перекличку

ссылных не два раза в неделю, а каждый день. Если бы этот возврат к прежней системе был установлен, всякая попытка к бегу стала бы невозможной, ибо о побеге узнали бы по нашему отсутствию на переключке еще до того, как мы успели бы выбраться по морю за установленную зону.

Пассатные ветры с большой любезностью подождали нас у Бразилии, где мы причалили в лесной гавани острова св. Екатерины, вошедшего в состав приданого, принесенного принцу Жуанвильскому сестрою императора дон-Педро.

Командир «Виргинии» бросил якорь довольно далеко от берега, должно быть, из опасения побегов, и торговцы фруктами подъехали к нам на лодках со своим товаром. Я купил и роздал по клеткам заключенным пятьсот апельсинов, величиною с небольшие дыни, неведомой в Европе сочности, за которые я заплатил по пятидесяти сантимов сотня, так что мой подарок товарищам обошелся мне в два франка пятьдесят сантимов.

Один надзиратель поехал с разными нашими поручениями в Дестеро, который является главным городом острова св. Екатерины, и привез мне оттуда фетровую шляпу жанра кабалеро, которую французский консул, — шляпочник, имевший свой магазин на острове, — прислал мне, желая засвидетельствовать свою симпатию.

Каждый вечер, несмотря на сильную жару, командир приказывал закрывать тяжелые пушечные порты, через которые мало-мальски смелому пловцу легко было бы уйти. Однажды закинули большие сети и, сверх ста килограммов разных рыб — дорад, бонитов, гольцов, вытащили большую акулу ужасного рода так называемых акул-молотов. Голова акул-молотов имеет форму буквы Т, верхняя часть которой заканчивается двумя глазами, которыми она рыщет по океану сразу с обеих сторон. Молотом своим она убивает свою жертву, которую затем тащит в глубь океана. Хотя пойманная акула была не очень больших размеров, она навеяла на нас ужас своим строением. Ее два больших глаза, сидящие на каждом конце этой своеобразной геометрической фигуры, внушают ощущение, что они принадлежат зверю, от которого нет спасения.

Два матроса, которым она была передана, принесли ее ко мне, так как капитан, очевидно, хотел, чтобы я воочию убедился, какому риску подвергаешься, доверяясь морю, в котором живут такие чудовищные хищники.

Он даже сказал, делая вид, что не придает этому особенного значения:

— Смельчак, который попытался бы выкупаться в этих местах, немедленно попал бы в пасть такого зверя.

Выловленные сто килограммов рыбы были превращены судовыми поварами в селянку, которую поделили между всеми сыльными, а акула отдана была матросам, которые сварили ее

по-своему, но она оказалась не съедобной, и они выбросили ее в море.

Наша остановка в Бразилии должна была длиться не больше двух дней. чтобы успеть прочесть полученные письма и ответить на них. Но так как почта не прибыла в Дестеро, капитан Лонэ продлил остановку, и только через неделю почта привезена была нам догнавшей нас «Гаронной», перевозившей не ссыльных, а «осужденных», т. е. каторжан.

И в самом деле, ни матросы, ни жена заведующего хозяйством не считали нас осужденными правосудием нашей страны.

— Мой муж едет с осужденными, — говорила мне жена заведующего хозяйством. — А что касается вас, вы — не осужденный.

— Что вы! Вы находите, что пожизненная ссылка в укрепленную местность — это не осуждение?

— Нет, — твердила она, — осужденные — это высылаемые, а вы — изгнанник, ссыльный. Это совсем не одно и то же.

Другими словами, мы в ее глазах были не преступники, а побежденные, нечто в роде военнопленных.

Она была прелестна, эта спутница: благовоспитанная, с умением держать себя с достоинством. Она была бы заметна даже в салонах, посещаемых избранной публикой. А между тем она была дочерью простого рыбака-бретонца. Воспитанная в порту, она говорила языком моряков. Так, она обращалась к своему малышу, приходившему иногда в нашу клетку:

— *Переверни вверх дном твою руку: я застегну тебе рукав.*

Или:

— *Пойди поздороваться с г-ном Рошфором, — он надеется на тебя у решетки.*

Она иногда приходила посидеть у нашей клетки и признавалась мне, что жестоко страдает от того, что вынуждена жить вместе с женами некоторых надзирателей, женившихся на них при совершенно фантастических условиях.

Когда тюремные надзиратели, прикомандированные к управлению ссылкой, прибыли в Рошфор, где снаряжали корабли, предназначенные для перевозки ссыльных на Сосновый остров или на полуостров Дюкос, их предупредили, что холостые должны будут там довольствоваться квартирой и жалованьем, а женатые стражники станут собственниками концессий, которые они станут обрабатывать в свою пользу. Слово «собственники» оказывает такое магическое влияние на настроение людей, что все надзиратели решили заполучить приданое, обзаведясь женами. Но так как времени не было разыскивать невест, которые согласились бы перебраться за море об руку с мелкими полицейскими служащими, последние пошли взять себе жен в окрестные дома с девицами. В результате у нас оказались на борту четыре или пять проституток, которые, хотя и были законно повенчаны, обнаруживали тем не менее до-

гольно странные повадки, в особенности одна из них, довольно смазливая креолка с острова Реюнион, щеголявшая в экстравагантных юбках, вывезенных ею из учреждения, в котором она долго «работала». Ее манеры и ее язык вполне соответствовали ее костюмам, и мы едва успели дойти до Гасконского залива, как она уже умудрилась вlepить добрую полдюжину пощечин своему импровизированному мужу, крайне удивившемуся такому пониманию супружеских отношений.

Чтоб призвать ее к спокойствию, если не к приличному поведению, понадобилось, чтобы капитан припугнул ее, словно умалишенного, карцером на цепи. Было бы весьма тягостно видеть скованной эту уличную Андромеду, но совместная жизнь с нею была от этого не менее стеснительна для матери семейства, приходившей делиться с нами своими печальми.

Несмотря на все мои усилия побороть морскую болезнь, мне это отнюдь не удавалось, и общее мнение среди ссыльных, видевших мою слабость и мое изнурение, сводилось к тому, что я не доберусь живым до нашего последнего этапа. Почти все они писали в этом смысле своим родным, и в один прекрасный день в Париже разнесся слух, что я умер или близок к этому. К счастью, в письмах, которые я, со своей стороны, посылал своим детям, я старался их возможно больше успокаивать, советуя им терпеливо ожидать неожиданностей будущего.

Наконец прибыла наша почта. Капитан проявил столько чуткости, что прислал мне мои письма совсем нераспечатанными, хотя, по праву губернатора нашей плавающей бастилии, он мог их все открыть. Дабы я мог на них немедленно ответить, он прислал мне судовой фонарь, освещавший мою клетку почти до полуночи, — милость совершенно исключительная, потому что тушение света в установленные часы требовалось регламентом.

К тому же и сам Лонэ купался в радости. Он получил от г-жи Адам довольно длинное послание, которое он поспешил мне прочесть, подчеркивая при этом каждое слово. Я не считаю себя в праве проникать в душу этого достойного и в общем очень симпатичного командира, но я не удивился бы, если бы он вообразил, что произвел определенное впечатление на мою покровительницу и покровительницу моих детей. Он, повидимому, хотел мне дать понять, что румянец его доброго крупного лица моряка имел некоторое отношение к размерам письма г-жи Адам и к множеству заключающихся в нем на мой счет указаний.

Начиная с того дня со мною обращались уже не как с выкопоставленным пассажиром, а как с путешествующим монархом. Судовые офицеры, отправившиеся поохотиться на острове, принесли около десятка восхитительных бразильских птиц, которыми любуются в зоологическом саду, но которых трудно представить себе свободно летающими под открытым

аебом. Богатство их оперения не помешало повару ощипать их, как простых жаворонков, и все мне были предложены к обеду. Мои товарищи по клетке, и в том числе Шеврие, разделяли со мною, разумеется, эти приношения. Прибавлю даже, что им доставалась львиная доля, потому что я почти не ел или, говоря точнее, совсем не ел.

Когда офицеры «Гаронны» поднялись на борт «Виргинии», доктор Перлие попросил разрешения представить мне одного мичмана, который счастлив был бы меня приветствовать. Я его охотно принял. Но свидание не долго длилось, потому что, увидя меня таким бледным и опустившимся в клетке, где я мучился, словно смертельно раненый зверь, он залился слезами, прикрыл лицо своим платком и быстро поднялся на палубу.

На следующий день мы возобновили свое плавание. Чтобы помочь мне немного отвлечься от своей болезни, командир предоставил в мое распоряжение судовую библиотеку, из которой я взял морской словарь, разъяснивший мне смысл вошедших в народный обиход слов, происхождение которых для многих из нас осталось неразгаданным. Но командир Лонэ допустил большую неосторожность, прислав мне морскую карту, длиною, по крайней мере, в три метра на два метра ширины, с изображенной на ней Новой Каледонией, с ее островами и островками, и с нанесенными на ней малейшими рифами.

Этот командир, который пуше всего боялся побега своих арестантов, сам указал мне таким образом возможность совершить свой побег. Я заметил небольшую скалу насупротив полуострова Дюкос, к которой, должно быть, трудно причалить. И я тотчас же сказал себе, что если бы какая-нибудь барка подошла к скале и там подождала одного из нас, она легко могла бы доставить его на стоящий на якоре в гавани корабль.

С этого момента мой план был почти выработан. Я себе сказал: «Вот там Тулон»²⁶⁴.

И я был прав: Тулон был там.

Нам оставалось еще два месяца прожить в этой атмосфере смолы, к которой я никак не мог привыкнуть. И никаких оснований до конца плавания больше не предвиделось. Чем больше мы приближались к мысу Доброй Надежды, тем больше я приходил в отчаяние, потому что море с каждым днем становилось все более бурным. Поистине не знаю, о чем думал Васко да Гама²⁶⁵, когда его осенила мысль проложить нам этот ужасный путь. Особенно ночью волны разбивались о наши пушечные порты с таким треском, точно по ним ударяли толстые доски, и старое дерево нашего фрегата стонало, словно выбиваемые двери. Но жажда свободы была так велика, что я даже стал желать кораблекрушения, которое, если бы мы не погибли сразу, заставило бы нас выброситься на первый попавшийся берег, все равно какой, лишь бы это был не французский берег.

Корабль летал по волнам и падал с ними в пропасти, и я каждый раз думал, что он больше уже не поднимется. Волны часто перекатывались через наши головы, покрывая нас как бы верхней частью полога, который совершенно скрывал от нас тот — другой — потолок.

Мы плыли, а бури сменялись бурями, и конец носа казался как бы выдвинутой аркой моста, вокруг которой течения приобретают небывалую силу. Часто фрегат поднимался вверх, и вся его передняя часть погружалась в воду, так что ее касалась и фок-мачта. Мы шли со свернутыми парусами, чтобы не попасть совсем во власть ветра, свистевшего нам в уши и трепавшего нам волосы.

В течение нескольких дней нельзя было показаться на палубе, а чтобы я не свалился от бурной качки и не расшиб себе голову, меня должны были привязать к одной из решеток нашей клетки. Я припомнил один рисунок в музее Гревена, изображавший содержателя купальни, непрестанно чихающего на учащуюся плавать, которую он держит в своих руках, и в смущении изрекающего: «Когда у тебя захвачен мозг, положительно не знаешь, откуда берется сопля, выделяемая при чихании!»

Я, в свою очередь, говорил себе: «Когда находишься на сорок восьмом градусе широты, под мысом Доброй Надежды, положительно не знаешь, откуда берется все то, что вырываешь».

Я пытался отстранить от себя эту чашу, обдумывая планы романов, непрестанно прерывавшиеся припадками тошноты. Я сочинил стихи о нашем бедственном положении и послал их Луизе Мишель. Я запомнил из них несколько строф:

Недалеко от полюса, где мы проходим,
Мы натакиваемся на льдины,
Плывущие с обычной скоростью.
И я вспоминаю тогда наших победителей,
Когда мы натыкались на сердца,
В сто раз более жесткие, чем ледяные массы.

Тюлень, показавшийся утром,
Издали напомнил мне
Лысого Руэра с жирными руками,
А акулы, которых изловил,
Казались разрозненными членами
Комиссии помплований.

В тот день, день великой жары,
Когда развернули цветные паруса
От бизани до фока,
Я подумал — нужно ли извиняться? —
Что-то расцветивается Версаль
В честь оправдания Базена.

Мы увидели на других берегах,
Как сильные пожирают слабых —
Совсем как проповедует наш кодекс.
Лозунг—«горе побежденным!»
Разве не знали мы этого
До отправки к антиподам?

Станут ли сравнивать
Скромного цветного, приготовляющего себе блюда
Из трупа, найденного в гавани,
С друзьями покойного цезаря,
Которые для малейшей трапезы
Укладывают тридцать тысяч трупов?

Так как государственный корабль
Бросается от одного преступления к другому
В океане гнусностей,
Так как в этом состоит строй морального порядка, —
Поклонимся южному океану
И останемся на «Виргинии».

Остальную часть этих проклятий я позабыл, но и сохранившаяся часть показывает во всяком случае, что если на нас обрушились жестокие испытания, то мы ни в малейшей мере не раскаивались в содеянном.

После раскаленной атмосферы, от которой мы страдали в Бразилии, наши термометры спустились значительно ниже нуля, ибо льды антарктического полюса, который почему-то еще не пытались исследовать, начинаются гораздо раньше, чем на севере. Ледяной ветер дул с юга, — тепло мы получали тогда с севера.

А между тем Луиза Мишель, первым делом которой было раздать содержимое «свадебного подарка Мак-Магона», вынуждена была на пятиградусном морозе, когда льдинки висели сталактитами на крюйс-брамселе и на брам-стеннге, выходить на палубу в полотняных туфлях на босу ногу. Командир Лонэ, не зная, к чему прибегнуть, чтобы заставить ее принять пару страсбургских туфель, которые предохранили бы ее от воспаления легких, пришел попросить моей помощи в этом проявлении солидарности.

— Если я ей предложу эти туфли, она категорически отвергнет это предложение, — сказал он мне. — Нужно, чтобы вы их послали от себя.

Я согласился и послал ей туфли с запиской, в которой я объяснил, что мне их принесла пред отходом фрегата моя дочь, но они слишком малы для меня, и я прошу ее принять их от меня и носить на память обо мне. Два дня я, действительно, имел удовольствие видеть их на ее ногах. Но на третий день они были уже на ногах другой, ибо неимение ничего на свете не всегда освобождает от эксплуатации.

Наконец мы вышли из области айсбергов и вошли в Коралловое море, где нестерпимая гладь и покой сменили штормы мыса Доброй Надежды. Были дни, когда мы подвигались со скоростью одного узла в час, что составляет четверть мили. Я подсчитал, что при такой скорости нам понадобится восемьдесят месяцев, чтобы добраться до Новой Каледонии.

Пока скорость продвижения корабля не превышает четырех узлов в час, можно ловить рыбу, и матросы забавлялись, забрасывая позади корабля лески, для которых они употребляли проволоку, к коей приделаны были не рыболовные крючки, а огромные крюки, которыми пользуются мясники для подвешивания туш. Так поймали несчастного бонита, который гнался за нами, преследуемый громадной акулой. В тот момент, когда он схватил приманку, акула вцепилась ему в среднюю часть спины и отхватила огромный кусок. Бонита втащили на палубу истекающего кровью из большой зияющей раны. Матросы с наслаждением поедали остаток этой рыбы, которая в свернутом виде достигает размеров небольшого тюленя. Мне предложили отведать ее, но воспоминание об отхваченном акулой огромном куске спины отняло у меня всякую охоту прикасаться к этой рыбе.

Мы проходили по этим местам Индийского моря как раз в период метания, который моряки называют «цветением коралла», словно бы эти микроскопические животные были растениями. Во время этого любовного периода море, кишашщее ими, пропитывается бальзамическим запахом, несколько напоминающим запах амбры. Этот запах преследует вас всюду и до такой степени пропитывает ноздри, что совсем одурманивает. В этот период мясо некоторых рыб временно становится ядовитым, и первые прибывшие на полуостров Дюкос тяжело заболели, поев этого мяса. Кажется, один из них даже скончался. Это вызвало у них предположение, что вся эта часть Тихого океана отравлена, и они решили, что их послали туда только для того, чтобы поскорее покончить с ними.

Ровно после четырех месяцев пребывания в межпалубном пространстве, — мы выехали из Франции 10 августа (республиканская дата ²⁰⁶) и прибыли 10 декабря (дата бонапартистская ²⁶⁷), — часовой возвестил, что показались горы Новой Каледонии. Издали земля, которая по всем вероятностям и в силу вынесенного мне приговора должна была стать моей могилой, показалась мне серой и пустынной. Но это был только оптический обман, и чем больше мы приближались, тем виднее становилась нам межтропическая зелень. Море было совершенно спокойно, и уверенность, что я скоро буду стоять на твердой почве, почти сразу вернула мне силы, здоровье и хорошее настроение.

Однако высадка произошла не без инцидентов, из которых некоторые едва было не приняли драматического оборота.

Среди женщин, приговоренных к ссылке в укрепленную местность, находилась г-жа Лемель и Луиза Мишель, и местом ссылки им назначен был полуостров Дюкос, на который нас, приговоренных к тому же наказанию, должны были направить.

Луиза и г-жа Лемель были поэтому крайне удивлены, когда губернатор Готье де-ла-Ришери, лично прибывший на «Виргинию», чтоб присутствовать при нашей высадке, заявил им, что он приготовил для них внутри страны, в Бурай, квартиры, где они будут пользоваться комфортом, какого у них не может быть на полуострове Дюкос.

Губернатор рассчитывал на выражение признательности. Но в ответ на его предложение г-жа Лемель заявила ему:

— Мы не просим и не принимаем никаких привилегий, и мы поедем жить вместе с нашими товарищами по ссылке в укрепленной местности, назначенной нам по закону.

— Но раз я назначил вам другое место, — ответил губернатор, — вы должны повиноваться.

— Повиноваться мы не станем, — отрезала г-жа Лемель, — и если нас сегодня же не пошлют к нашим товарищам на полуостров, мы с Луизой нынче же вечером, ровно в восемь часов, бросимся в море.

Несчастный губернатор совсем не ожидал протеста в столь угрожающей форме. Он понял, что решение обеих ссыльных непререкаемо, и ответил:

— Хорошо, сударыня, вы поедете на полуостров Дюкос.

И они поехали.

«Что произойдет с ним в Новой Каледонии?» — спрашивала, говоря обо мне, «Французская газета». Если бы ее сотрудники были из того теста, из которого делаются осужденные по политическим делам, они увидели бы следующее.

Все восемьсот ссыльных, находившихся тогда на полуострове, выстроились шпалерами при нашем проходе, и едва я показался, как они кинулись мне навстречу и стали меня, так сказать, передавать с рук на руки со всевозможными приветствиями и рукопожатиями. Наперерыв водили они меня по своим хижинам и в харчевню, чтобы выпить со мною. Я обошел под их эскортом почти всю отведенную нам территорию, которая оказалась укрепленной только морем. Манifestация была столь внушительна, что вся пенитенциарная администрация, собравшаяся в порту, где мы высадились, казалось, следила за ней с тревогой, словно она грозила перейти в восстание.

Полуостров Дюкос, границы которого отмечены были столбами, за которые воспрещалось выходить, представлял собою не лишнюю красоты картину. Цепь холмов с заостренными гребнями, на склонах которых росли кялу, корнепуски и розовые деревья, разделяла полуостров на две части — долину Нумбо и долину Тинду, где сосредоточены были федераты.

Хотя Дюфор и утверждал с трибуны Учредительного собрания, что ссылка будет для нас «изгнанием в какую-нибудь колонию», фактически она явилась для нас тюремным заключением под открытым небом. Самая циничная ложь легла в основание этой организации, потому что изгнание предполагает право передвигаться, трудиться, зарабатывать на существование, между тем как никто из нас не имел разрешения ездить в Нумею или в другое место продавать продукты своего производства, орудий труда не было ни у кого из нас и у нас отнимались деньги, необходимые на закупку сырых материалов. К тому же изгнание предполагает свободу сношений, а нам сношения строго воспрещались, и разрешения посещать нас лишь в исключительных случаях давались посторонним людям. В общем это была в смягченной форме тюрьма, но мы в ней осуждены были не на каторжные работы, а на каторжное ничегонеделание.

Я был так горячо, даже так грубо захвачен товарищами, что даже не заметил, что остальные высадившиеся не последовали за мною, а остались на дебаркадере для переключки, о необходимости какой-либо я не имел никакого представления.

Капитан морской пехоты, военный начальник полуострова, пришедший в негодование от оказанного мне моими предшественниками в кустарниках пенитенциарного учреждения приема, решил показать свою власть. Когда я отдыхал от потрясений путешествия в землянке, в которой Паскаль Груссе и Оливье Пен оказали мне гостеприимство, вдруг зашел за мною надзиратель и приказал мне последовать за ним в тюрьму полуострова.

Я был очень далек от того, чтобы догадаться о причине этого возмутительного заключения меня в тюрьму. Надзиратель сообщил, что я обязан был этим капитану, которого звали Ланоз и который хотел показать ссыльным, что решил обращаться со мною так же, как и со всеми остальными. Я не был на переключке — таков был предлог.

Тюрьма представляла собой хижину с низким потолком, кишевшую москитами; кроватью, которая вместе с тем была и сиденьем, служила доска без матраца, без одеяла и столярно наклонно прикрепленная, что на ней нельзя было прилечь, не соскользнув тотчас же на землю.

Капитан Ланоз, этот офицер тюремных стражников, был форменный негодяй, ненавидимый ссыльными, которых он постоянно провоцировал. Припоминаю, как он однажды при мне почти галопом пронесся по полуострову, умышленно направляя свою лошадь на плантации, на обработку которых затрачены были целые месяцы упорного труда. И когда одна собака, напуганная ворвавшимся всадником, стала лаять на него, он посадил ее хозяина на восемь дней в тюрьму по обвинению в том, что он натравил на него свою собаку.

Болван вообразил, что двадцатичетырехчасовое заключение, которым он меня наградил, будет способствовать его повышению по службе. И он был совсем разочарован, когда губернатор Новой Каледонии вызвал его к себе и задал ему здоровую головоломку, приказав ему впредь не иметь со мною дела, запретить стражникам заговаривать со мною и предоставить мне в пределах так называемой укрепленной местности полную свободу, совместимую с действительно необходимым наблюдением.

Г-н Готье де-ла-Рюшери, — он переделал это имя в де-ла-Ришери *, — заслужил свои чины главным образом на службе у деятелей государственного переворота. Назначенный губернатором Кайенны, — ибо он, повидимому, предназначен был править пенитенциарными колониями, — он почти прославился в качестве палача жертв 2 декабря и своей жестокостью так выслужился пред империей, что не нашли ничего лучшего, как послать его в Новую Каледонию заведывать каторжной тюрьмой.

Конечно, правительство республики без республиканцев решило оставить этого бывшего императорского палача на занимаемом им посту. Однако некоторые газеты неоднократно напоминали об его злодействах и требовали его смещения. Он поэтому держал себя очень скромно, выдавал себя почти за республиканца и не желал ни в малейшей мере восстанавливать против себя журналиста моего склада, сохранившего, вероятно, во Франции не мало друзей, готовых снова напомнить об его палаческом прошлом.

Вот почему выходка капитана Ланоз обеспокоила его до такой степени, что он прислал мне свое извинение через морского провизора, который явился ко мне и передал мне его от его имени.

* R u c h e — значит «пчельник»; r i c h e — «богач». Прим. перев.



ГЛАВА XXIII

В Новой Каледонии. — Наша рыбная ловля и наша охота. — Акулы. — Мой роб. — Наши планы. — Купанье и солнечные удары. — Общество Нумей. — Чиновники. — Заговор. — Капитан Лоу. — Побег. — На борту «П.-Ц.-Е.»

Командир «Виргинии», крайне удивленный, что не застал в Нумее депеши, предлагающей ему отвезти меня обратно в Европу, не пожелал уехать, не простившись со мною. Он явился со всеми судовыми офицерами позвать мне в последний раз руку. Это оказался действительно последний раз, потому что больше я его не видел, и он не только не был мне обязан чином капитана 1-го ранга, но был из-за меня оставлен за штатом, как Готье де-ла-Ришери получил из-за меня отставку.

Хижина Груссе и Пена построена была из глины, смешанной с соломенной сечкой, и подпиралась суками, нарезанными в лесу, куда ходили отдыхать в тени. Она состояла из трех комнат, открытых для всех бурь, так как была без дверей, а окна были без стекол, и вся эта примитивная постройка больше походила на сарай, чем на человеческое жилище.

Правое крыло было и осталось бы незаконченным, если бы полученные на полуострове газеты не сообщили о моем скором прибытии. Ссылные, строившие хижину, снова взялись за работу, чтобы закончить ее, и когда я приехал, я застал их в разгаре стройки. В несколько дней стены моей части дома были высушены, а крыша была настолько уплотнена, что дождь мог просачиваться через нее лишь в исключительных случаях. Товарищ Колло, — столяр, который, когда мы были вместе в крепости Ре, предпочел лучше ждать проблематической амнистии, чем организовать вместе со мной побег, успех которого был

эбеспечен, — уже несколько месяцев находился на полуострове и жил в нескольких шагах от нашей хижины, у подношья холма, на котором она стояла. Он мне соорудил складную кровать, не очень удобную, потому что ее поперечники врезались мне в тело, но во всяком случае приемлемую.

Для мелких услуг по хозяйству и для стирки на кухне мы пригласили одного ссыльного, которого звали Бретонцем, но настоящее имя которого было — Лороскуэ. Он оказал нам огромную услугу, давая Оливье Пену уроки плавания, которыми последний несколько времени спустя имел великолепную возможность воспользоваться.

Первые три недели прошли для меня в обследованиях местности, которые мне, впрочем, трудно было вести достаточно широко, потому что неумолимые столбы загораживали дорогу на расстоянии трех четвертей часа ходьбы. То, что Дюфор бесстыдно называл «изгнанием в одну из колоний», ограничивалось едва двумя милями в окружности, две трети которых состояли из песков усеянного раковинами побережья, на котором даже самый лучший огородник тщетно пытался бы вырастить хотя бы один листик шавеля.

Новая Каледония, вулканический остров, вероятно, сравнительно недавнего происхождения, затерянный в Тихом океане, в стороне от перелета птиц, никогда не удобрявшийся никаким гуано, почти столь же неплодороден, как если бы он лежал по соседству с северным полюсом. Одного года достаточно, чтобы истощить его очень тонкий и совсем поверхностный слой чернозема. Первый посев дает вам хорошую редиску, при втором она уже вдвое меньше, третий приносит несъедобное волокно. Поэтому весь скот и все овощи привозятся туда из Австралии.

Однажды я был дежурным по кухне и старался изготовить матлот из рыбы, выуженной накануне Оливье Пенем. Я попросил, чтобы мне дали лук для приготовления соуса. Мне ответили, что так как отравленное из Сиднея в Нумею судно с луком потонуло в прошлом месяце, то на всем острове нет ни одной штуки этого кулинарного растения. Даже кур там трудно разводить. Мы купили пять или шесть кур, и все они вместе дарили нам в неделю не больше двух яиц такой величины, как если бы эти куры были голубями.

Если Италия имеет форму сапога, то Новая Каледония имеет форму голенища, которое растянулось на семьдесят пять миль в длину и десять миль в самом широком месте. Она может служить лишь тюрьмой для осужденных, которых она не в состоянии кормить. Что бы там ни предпринимали, она является и останется только огромной центральной тюрьмой.

Англичане, столь же искусные в деле колонизации, сколь мы в нем бездарны, занимали в течение нескольких месяцев Новую Каледонию, открытую капитаном Куком; затем, срубив

все стволы сандального дерева, единственного ценного дерева страны, они ее нам оставили, зная, что если они ничего не могли извлечь из нее, то мы не больше из нее извлечем.

Даже рыбная ловля, которую можно было бы предполагать там обильной, сводилась лишь к рыбам, которых называют «скалистыми», т. е. оседлыми, живущими в дырах, из которых они выползают только для того, чтобы раздобыть себе пищу по соседству. Как только они выловлены, углубления, где они прячутся, остаются пустыми, и целые месяцы приходится ждать, пока в них поселятся новые жильцы.

Так, в первое время Оливье Пен, считавшийся лучшим рыболовом полуострова, никогда не разворачивал своей лески, толщиной в полпальца и длиной около тридцати метров, без того, чтобы не вытащить дорад, миног и восхитительных лососевых рыб, которых ссыльные называли «гольцами». Но спустя некоторое время морские пещеры опустели, и Пену лишь случайно удавалось пополнять наше обычное меню каким-нибудь заблудившимся угрем.

Я почти всегда отправлялся с ним в его ночные экспедиции, но возвращался обычно с пустыми руками. Но море, светившееся фосфорическим блеском, в бледные ночи, когда луна светила так ярко, что мы могли читать при ее свете, разворачивало пред нашими взорами изумительно поэтическую картину. Очень часто, когда вечерняя атмосфера пропитана была хотя бы малейшей влажностью, я видел лунные радуги, цветами своими точно походившие на солнечные радуги. Я вытягивался во всю длину на одном из широких базальтовых уступов, отшлифованных и как бы отлакированных волнами, и созерцал не Большую Медведицу нашего полушария, а Южный Крест, бесформенную группу звезд, в которой христиане непременно хотят видеть крест.

В ясные ночи звезды, казалось, вот-вот упадут нам на головы, — до того близкими представлялись они нам. Небесный свод в тех широтах бесконечно ниже, чем в наших.

Иногда, вглядываясь, словно халдейский петух, в низко висящий небесный свод, я вдруг слышал шелест раздвигаемой травы. Я приподнимался, и мне бросался в глаза один из тех ужасающих размеров крабов, называемых «турто», экземпляры которых я видел только в естественно-историческом музее. Эти гнусные зверьки производят действительно ужасающее впечатление. Единственный способ захватить их без риска получить колотую рану в палец до самой кости — это впрыгнуть на них обеими прижатыми друг к другу ногами и иммобилизовать их силой своей тяжести. Затем их перевязывают веревками и живыми бросают в кипяток. Они бывают таких размеров, что одним крабом могут насытиться пять человек. Однажды вечером мне выпала крайне редкая в моей практике удача: я поймал на свою леску великолепную дораду, которой я прямо

гордился. Тщательно уложив ее рядом с собою, я хотел продолжать свою ловлю — и вдруг заметил, что она исчезла. Сперва я подумал, что Пен спустил ее в свою корзину, присоединив к своей добыче, но вдруг я заметил, как она скользнула меж клещами изумительных размеров краба. Я попытался побежать за ним, надеясь, что он ее выпустит. Но все мои усилия оказались тщетными. Краб пробрался со своей добычей — моей добычей — в щель между двумя скалами и, вероятно, с удовольствием поужинал каштаном, который я специально для него вытащил из воды.

Закаты солнца обычно напоминали закат на несравненной картине Тернера «Улисс, покидающий Полифему», принадлежащей Национальной галлее в Лондоне. То было жидкое золото и расплавленный аметист. Я видел там закаты такой ослепительной красоты, что хотелось кричать от восторга. Потом, вслед за этой последней вспышкой сверкающего огня, вечер спускался, словно занавес, падающий после апофеоза какой-нибудь феерии. В восемь часов без десяти минут все небо пылало. В восемь часов оно было черно. Сумерки там почти неизвестны, и прелестное выражение «entre chien et loup»* там не было бы понято. Правда, там не знают ни собак, ни волков.

Если ново-каледонская флора исключительно скудна, то фауны там нет никакой. Кроме крыс, привозимых кораблями, и особого вида голубей, тоже европейских, но акклиматизировавшихся и видоизменившихся, там тщетно стали бы искать каких-нибудь животных: зайцев, кроликов, косулей, куропадок, фазанов. И богиней острова является ужасный вид летучей мыши, которую канаки считают почти священным животным и рыжеватая растительность которой, заплетенная точно выставленные в окна парикмахерских волосьяные изделия, украшает шеи и спины местных аристократок.

Моим лучшим другом была в течение некоторого времени морская анемона, которая по вечерам вползала в трубку из раковин формы большой ручки, инкрустированную в скале, и которая по утрам расцветала, согретая солнцем, после того как она обмыта была морем. Она раскрывалась в виде великолепной разноцветной гвоздики, но ее лепестки были столь же плотны, как лепестки камелии. Среди всех видов анемонов, которые я наблюдал в аквариумах, я не видел ни одного, который отличался бы таким богатством красок.

Как Пелиссону²⁶⁸ удалось приручить пауков, так и я надеялся общаться с этой анемоной. Но я имел глупость показать ее другим, и в одно утро я нашел ее раздавленной ее раковиной.

Я мог вознаградить себя за ее потерю только двумя летучими мышами. Угнездившись в балках потолка того сарая, где

* Буквально: «между собакой и волком». Так французы называют сумерки. — Ш р и м. п е р е в.

я спал, они всю ночь ласкали меня своими хрящеватыми крыльями, заканчивающимися когтями, которыми они цеплялись за бревна.

Эти отвратительные рыжеватые создания конкурировали в искусстве мешать мне спать с москитами, каждую ночь возобновлявшими ту пытку, которой подвергали меня блохи в олеронской медвежьей яме.

Москит — создание макиавеллическое, уловки которого превосходят всякое вероятие. Тщетно пытаетесь вы герметически прикрыть со всех сторон вашу кровать тщательнейшим образом зашитой сеткой. Когда москит видит, что не может пробраться к вам сверху, он прокрадывается снизу. Он не считается с наилучше облегающими вас кальсонами и кусает вас сквозь самую плотную материю. Достаточно одного ново-каледонского москита, чтобы вас свести с ума. Когда же вам приходится бороться с двумя сотнями, вы приходите в бешенство.

Иногда мы отправлялись играть в карты в хижину Апри Боера, который раньше нас прибыл на полуостров Дюкос. И вот на свет слетались такие стаи москитов, что скоро стало невозможно видеть друг друга с одного конца стола до другого.

Когда Оливье Пен, Паскаль Груссе и я находили, что мы уже достаточно искусаны, мы отправлялись заканчивать ночь на вершине горы, где ветер, более сильный, чем внизу, выметал всевозможных насекомых, ибо иногда сваливались на нас и огромные кузнечики, которые хлестали нас по щекам с таким шумом, точно вlepляли нам пощечины.

Там, на вершине, мы пытались спать, прикрываясь простынями поверх головы, чтобы нас утром не будило солнце, рано начинавшее прижигать. Тогда мы снова нагружали свои складные кровати на плечи и спускались в свою землянку.

Почти всегда я, просыпаясь, слышал громкий шум крыльев. То летел чудовищных размеров филин из вида, называемого «великий князь», уносивший в свое гнездо ночную добычу, обычно состоящую из большой крысы, которую он любовно держал в когтях.

Этот «великий князь» был прекрасного темнокоричневого цвета с золотистым отливом и сверкал на солнце, словно метеоролит. На него было и страшно и приятно смотреть.

В девять часов утра, с точностью хронометра, банды акул направлялись к расположенным в порту бойням, где убивали истощенный скот, предназначенный для питания ссыльных и каторжан. Изнуренные восьмидневным путешествием, потому что все они привозились из Австралии, худые коровы становились в пути такими жесткими, что их очень трудно было разжевать. Помимо того, жара бывала иногда такой сильной, что мясо скисало немедленно, как молоко на огне, и через четверть часа после раздачи в нем появлялись черви. Мы тогда

использовали его в качестве приманки, и оно косвенно все же шло нам в пищу, потому что мы на него ловили рыб.

Акула — удивительно аккуратное создание. Каждый день она отправляется по своим делам, как служащий в свое учреждение. Когда было девять часов, мясники администрации были уверены, что сейчас прибудет полк акул, для своего первого завтрака проглатывавших внутренности и головы быков, которые бросали в море и которые они поглощали заодно с рогами. Когда живодер опаздывал на работу, акулы терпеливо ожидали своей пищи и, поев, удалялись, чтобы на следующий день сбраться в тот же час. Часто там же выбрасывали в море коробки с испорченными мясными и другими консервами, и коробки вместе с содержимым проглатывались, словно яйца всмятку, так что, когда однажды акула была выброшена на берег, в ее пищевод нашли при вскрытии две большие жестяные коробки с консервированным мясом, которое было бы переварено заодно с металлом, в котором оно было закупорено.

Прикрепленные к своей территории, мы не имели никаких сношений ни с колонистами-французами, ни с канаками. Что касается меня, то в течение трех месяцев, что я провел на полуострове Дюкос, я не видел ни одного канака, если не считать слугу или, точнее говоря, раба содержателя закуской, приехавшего к нам из Нумеи завтракать в сопровождении этого раба. Ибо, несмотря на все освободительные декларации и декреты, торговля рабами продолжается в Океании, как в те времена, когда плантатор расценивался по количеству негров, прикрепленных к его плантации. Формула покупки несколько иная, но результат совершенно тот же. Современное лицемерие просто заменило слово «рабство» словом «наем». Туземец соседних островов — Лоялти, Новые Гебриды, Фиджи — хитростью или силою берется в плен пиратом, который привозит его на рынок Нумеи, где отдает в наем какому-нибудь колонисту на один, два или три года за определенную плату, из которой нанятый не получает, разумеется, ни полушки.

Когда договоренный срок кончается, работорогвец либо берет обратно свой товар, который он, не желая кормить раба, немедленно передает другому, либо уступает его первому попавшемуся покупателю, и несчастный пленник остается без защиты, не имея возможности жаловаться на него куда-нибудь.

Я как-то послал Эдмонду Адаму вырезку из «Нумейской официальной газеты», в которой губернатор печатал свои сообщения и в которой опубликовано было такое «предупреждение»:

«Капитан Х. предупреждает публику, что он только что прибыл в порт с восемьюдесятью туземцами, находящимися в настоящее время без места».

Это было приглашение публике присутствовать при распаковке и сделать свой выбор из партии шведских перчаток или шелковых отрезков, объявленных луврскими универсальными магазинами. Один немец, торговавший на самом острове и продававший решительно все, от колониальных товаров до негров, предложил мне одного негра, которым — уверял он меня — я буду очень доволен. Это был парень восемнадцати лет, хороший работник, которого он мне уступал за смехотворно ничтожную сумму в сто пятьдесят франков, — кусок хлеба или, точнее, человеческого мяса.

Так как он делал это предложение мне и так как этот тевтонец краснел бы от стыда при мысли, что он может эксплуатировать человека, так много пострадавшего за свободу других, он мне уступал этого жителя Новогейбридских островов на все время моей ссылки.

— Но ведь я арестант на полуострове, между тем как мой слуга будет свободен. Когда я ему уплачу, кто помешает этому «нанявшемуся» просто уйти? У меня ведь не будет никакой возможности вернуть его.

— Простите, — ответил мне торговец эбеновым деревом, которое, принимая во внимание цвет тамошних туземцев, можно было бы скорее принять за палисандровое дерево, — если нанявшийся бежит, вы можете обратиться с жалобой к губернатору, который принудит его вернуться к вам.

— Но если он откажется повиноваться мне, я не могу расторгнуть договор, предупредив его за восемь дней, ни удержать его заработок, какого он не имеет. Имею ли я, по крайней мере, право прибить его?

— Сколько вам угодно будет. Когда они на концессиях слишком вялы на работе, их привязывают на час или на два к какому-нибудь дереву на солнце, где их кусают москиты.

Это все, что мне нужно было знать. Теперь можно было считать установленным, что администрация Новой Каледонии сама пользовалась и давала другим пользоваться рабством, как в самые тяжкие дни «Хижины дяди Тома». Я поблагодарил этого немецкого универсального торговца* за его исключительно выгодное предложение, но заявил ему, что не знаю еще, воспользуюсь ли я им.

На ряду с рыбной ловлей, которая нам уже почти ничего не давала, мы могли себе доставлять еще одно развлечение — упражнения в плавании, длившиеся часто от восьми утра до двенадцати, после чего мы выходили из воды голодные, не находя обычно дома ничего поесть, кроме какой-нибудь попорченной дряни. Если бы я не мог, благодаря имевшемуся у меня небольшому количеству денег, получать некоторые припасы из Нумей, я бы, вероятно, умер от сужения желудка.

* В тексте: «riz-pain-sel», что буквально значит: «рис-хлеб-соль». Во Франции так называют чиновников интендантства. — Прим. перев.

Термометр, поднимавшийся до сорока и больше градусов выше нуля, побуждал нас прибегать к постоянным купаньям, но это, к сожалению, раздражало нас, в конце концов, кожу, вместо того чтобы ее освежать. Я охотно отдал бы все эти продолжительные купанья в соленой воде за одно купанье в пресной воде.

Однако продолжительное плавание не очень нас утомляло в виду плотности воды в Тихом океане, поддерживающей пловца, даже когда он не делает почти никакого усилия, чтобы держаться на поверхности. После пятнадцати дней обучения Оливье Пен, раньше не решавшийся делать ни одного взмаха, плавал достаточно хорошо, так что мог без особого усилия пробираться от одной бухты до другой, держась далеко от берега.

Однажды однако он чуть было не потонул, и если бы я ему не бросил моих пробковых досок, которые я ошупью толкал вперед, он бы, вероятно, остался в море. Я вдруг услышал его крик и видел, что он исчез. Его учитель плавания, Лороскуэ, и я нырнули по направлению к нему, и когда он показался, я схватил его за шнур плавательного пояса. Придя в себя, он нам объяснил, что его сильно укусила в ногу какая-то рыба, и так как ему показалось, что это акула, он так испугался, что хлебнул морской воды. Большой палец на ноге у него действительно был в крови и изорван.

Такой опасности мы постоянно подвергались при наших купаньях. Однажды ночью, когда я далеко забросил свою длинную и толстую леску и, сидя на базальтовой скале, держал ее в руке, ожидая, чтобы клюнуло, я почувствовал сильное сотрясение, от которого у меня онемела рука, и я свалился в море; и хотя моя леска была очень крепкая, она сразу оборвалась, и я должен был пойти домой взять другую.

Но итти навстречу опасности — один из способов разгонять тоску. Несмотря на постоянные злодейства акул, которые за неделю до прихода «Виргинии» загубили тюремного надзирателя с острова Ну, мы уплывали так далеко в море, что уже не видны были с берега. Мы отправлялись таким образом повидаться со своими товарищами, устроившимися в других бухтах, где они обособлялись от массы ссыльных, но откуда им каждый день приходилось покрывать значительное расстояние, чтобы получать свой продовольственный паек.

На ряду с акулами нам приходилось остерегаться и коралловых рифов. Когда волны начинали нас немного качать, мы царапали себе кожу об острия, которые, скатившись в кучу, превращались в настоящие терки. Мне однажды так болезненно натерло правую сторону спины, что началось нагноение, как от огнестрельной раны. Я пошел посоветоваться с врачом в госпиталь, здание которого высилось посредине полуострова и которое можно было видеть со всех сторон. — и это, каза-

лось, предвещало нам, что все мы, в конце концов, туда попадем.

Мне прикладывали примочки из камфарного спирта, который лишь растравил рану, и я мучился ею свыше месяца, так как малейшее поранение немедленно обостряется в тамошней раскаленной атмосфере. Вылечило меня канакское средство — компрессы из листьев розового дерева. В три дня неприятная рана совсем подсохла. Но след от нее остался у меня навсегда.

Все более и более беспокоясь о судьбе своих детей, я бы очень охотно попытался писать что-нибудь, хотя бы впечатления ссыльного. Но трудно представить себе состояние безволия и лени, в которое повергает температура в сорок градусов выше нуля. Перо тает меж пальцев, и мозг тает в голове. Это все равно, как если бы потребовали от трех юношей в раскаленной печи *, чтобы они писали роман, варясь в кипящей воде.

Нам нужно было заставлять себя даже отвечать на письма, которые мы получали из Франции приблизительно раз в месяц с шедшими в Австралию почтово-пассажирскими пароходами. Пытаться читать что-нибудь было такой же пыткой. Мы невольно впадали в дикое состояние, думая только о том, как бы всякими мелкими сделками пополнить свой скудный продовольственный паек. Приглашение на завтрак считалось солидным подарком, и большая часть нашего времени уходила на поиски прибрежных — маленьких черноватых раковин, из которых мы извлекали их жителей с помощью булавок. Это проглатывалось, как устрица, без всяких приправ, и это все же несколько наполняло желудок. Тем не менее подобное существование жвачных животных я все же предпочитал прозябанию в тюремном дворе, в котором прогуливаются гуськом. От времени до времени корабли высаживали к нам жен ссыльных, приезжавших к своим мужьям, или детей, получивших разрешение переехать к своим отцам. Это было, конечно, не очень завидное положение, но все же это не было, как в Сен-Мартен-де-Ре или в Орлеоне, полное отсутствие всяких сношений с внешним миром.

Чувство подавленности, которое порождало в нас отделявшее нас от родных огромное расстояние, было от этого не менее мучительно. Мы чувствовали себя как бы в могиле, надгробный камень которой был не над нами, а перед нами, и он имел в ширину шесть с половиной тысяч миль. К сожалению, не было таких мощных электрических лучей, которые могли бы пересечь это непроницаемое тело.

Какое удовольствие могло доставить писать своим детям письма, которые должны были доходить через два или три месяца и ответ на которые мы могли получать еще через три месяца, что составляло уже шесть, по истечении которых то, о чем мы писали, теряло уже, может быть, всякий интерес?

* Библейское сказание.

Один из наших товарищей по ссылке, перешлетчик по имени Пиффо, мужественно решил принять всерьез заявление старого Дюфора в Национальном собрании об «изгнании в колонию» и выписал из Франции свою жену, сына и девочку около десяти лет, жизненные силы которой были совершенно подорваны лишениями, климатом и непривычными условиями жизни. Прелестное дитя угасало на наших глазах, и мы не знали, чем остановить все усиливавшееся угасание ее. Она была белокурой, с слишком большими, большими как общая могила, голубыми глазами. Хотя семья Пиффо построила свой шалаш в долине Тинду, отделенной от нашей долины горой, подъем на которую был очень утомителен, Оливье Пен, Груссе и я приносили ей те немногие яйца, которые клали наши пять кур. Бедная малышка наслаждалась этим блюдом, роскошным для Нумей, где дюжина яиц стоила от шести до восьми франков.

Образ этой осужденной на смерть постоянно преследовал меня. Увы! — милое дитя освободилось одновременно с нами и покинуло жизнь в тот же час, как мы покинули полуостров.

Другие отношения, менее трогательные, завязались у нас с другой семьей, глава которой был приговорен к ссылке в укрепленную местность и жил со своей женой тоже по ту сторону горы, а его молодая дочь нашла себе место в Нумее в модном магазине, в котором модные новинки появлялись, понятно, с некоторым опозданием.

От времени до времени эта девушка, очень миленькая и думавшая, кажется, только о том, чтобы повеселиться, приезжала на крейсировавшем между Нумеей и полуостровом пароходе к своим родителям в субботу вечером и уезжала в понедельник утром. Мы их всех приглашали завтракать или обедать и затем отправлялись осматривать пещеры, вырытые постоянным напором моря и напоминавшие обширные альковы. Мы там откапывали земноводных ужей с синими и черными или черными и желтыми полосками, которых можно было приручать, потому что они совершенно безвредны, или делать из них соус майонез.

Молодая модистка делала вид, что ужасно их боится, и своим притворным ужасом, казалось, требовала моей защиты от этого невинного зверька. А за завтраком ее скамеечка — ибо стульев у нас не было — постоянно оказывалась рядом с моей, и если бы кто-нибудь из наших гостей уронил свою вилку, он мог бы увидеть, поднимая ее, что ее ботинок трется о мою туфлю. Нетрудно понять, что мне было не до подобного флирта, и эта ребяческая интрижка порождена была только моим полным бездельем. К тому же не я ее начал. Во всяком случае, в один прекрасный день, когда на солнце можно было бы быка зажарить, она мне назначила на тот же вечер свидание в чаще, где мы могли бы, под снисходительным взо-

ром Южного Креста, обменяться всевозможными обещаниями и даже кое-чем другим.

На следующий день она должна была уехать. Пришел вечер, но я не пришел, хотя она меня ждала, рассчитывая на мое слово. При том воздержании, в котором мы жили, это была довольно большая жертва. Но в последнюю минуту я подумал, что, в виду моего несколько особого положения, мои товарищи по ссылке, не считаясь с человеческим увлечением, обвинили бы меня в том, что я воспользовался своей известностью, чтобы соблазнить неопытную молодую особу, хотя она, быть может, была столь же опытна, как и я. Но эта любовь, оставшаяся в зародышевом состоянии, чуть было не вызвала при нашем побеге катастрофы, предупредить которую нам стоило некоторого труда и о которой я расскажу дальше.

Иногда мы после наших скудных завтраков уходили шататься по направлению к кладбищу. Однажды мы с Пенем наткнулись на стадо быков, которых пас глубокий старик в белой куртке и соломенной шляпе. Это не был товарищ по ссылке, потому что мы их всех знали, по крайней мере, в лицо. На наш вопрос он ответил, что он старый каторжанин, калека, неспособный к другому труду, кроме присмотра за скотом. У него действительно нехватало трех пальцев на правой руке, и когда я его спросил, как он себя искалечил, он просто и без всякой горечи ответил:

— По случаю одной попытки к побегу нескольких каторжан подвергли допросу. Я ничего не знал о плане побега, но начальство утверждало, что я был замешан в деле, и, чтобы вынудить у меня признание, мне взяли пальцы в тиски и так сильно их сжали, что раздробили кости трех пальцев, а на следующий день их ампутировали. С тех пор я гожусь только на то, чтобы пасти скот.

Нам, впрочем, не нужно было видеть, чтобы знать об истязаниях в каторжной тюрьме. Достаточно было слышать. Каждую среду, около десяти или одиннадцати часов, мы слышали рев с острова Ну, который волны, прекрасный проводник звука, доносили на нашу сторону, на расстоянии нескольких километров. Это пороли каторжан. Их привязывали к скамье, и палач, гигантского роста мулат, истязал их плетью из бычьих жил. Энергия, с которой он выполнял свою «работу», зависела от величины монеты, какую истязуемый всовывал ему в руку до порки. Так как деньги там крайне дороги, палач за сорок су обязывался по возможности только скользить своей плетью по телу истязуемого, вместо того чтобы бить ею изо всей силы. Наоборот, истязуемый, не имевший денег, подвергался наказанию в полной мере, а когда мулат по какой-нибудь причине питал злобу к своей жертве, он направлял свои удары так, что отбивал ему легкие. И с следующего же дня несчастный начинал кашлять, а через три месяца умирал

в тюремном госпитале, как констатировали врачи, от «скоротечной чахотки».

И после этого еще говорят о равенстве перед законом! Равенства нет даже перед поркой.

Однако некоторые клиенты острова Ну ведут там относительно счастливое существование, — это те, которых называют «страшилицами». Категория «страшилиц» состоит из разбойников, которые, не боясь ничего и не останавливаясь ни перед чем, по существу держат в своих руках весь персонал каторжной тюрьмы, в том числе и надзирателей. Последние, обычно крайне трусливые, все свои злоупотребления властью приберегают для робких арестантов, которые склоняются под их палками или дрожат пред их револьверами. Но они уже успели присмотреться к своим арестантам и знают, что при первом же действии, которое они сочтут неправильным или же слишком строгим, каторжане не замедлят пустить в ход нож, хотя бы потом пришлось лечь под нож гильотины. И надзиратели вступают в некоторое соглашение с неукротимыми, в силу которого они друг друга щадят. И устрашаемые расплачиваются за «страшилиц».

Так как в каторжной тюрьме острова Ну представлены все профессии, начиная с нотариусов, которых там довольно много, и кончая артистами, которых там гораздо меньше, губернатор Готье де-ла-Ришери без зазрения совести пользовался для своих приемов и балов музыкантами, которых находили в тюрьме и из которых он составлял себе оркестр. А для того чтобы избавить своих приглашенных обоего пола от вида этих жалких людей, он их прятал за занавесью, где они в духоте играли всю ночь на своих инструментах, не получая даже по стакану воды для утоления жажды. За ними всю ночь следил надзиратель, и тех из них, кто недостаточно старательно избегал фальшивых нот, вносили в список подлежащих порке в ближайшую среду.

Правда, чиновники ново-каледонской администрации вообще не отличались особо высокой нравственностью. Метрополия выбрасывала туда всю накипь своих канцелярий, тех, что присвоили общественные деньги или слишком часто открывали червонного короля в игре. Это был склад для всех племянников, кузенов и незаконнорожденных детей, от которых влиятельные депутаты имели серьезные причины отделаться. И это до такой степени верно, что когда я для покрытия первых расходов по побегу написал вексель на Эдмонда Адама на тысячу пятьсот франков и предложил Нумейскому банку учесть его, директор этого учреждения тотчас же прислал мне эту сумму, прибавив следующие характерные слова:

— О, кабы мы имели только такие подписи, как эта!

Если бы мы немного плотнее питались и не были почти непрестанно влажны от испарины, эта дикая жизнь не совсем

была бы лишена прелести. По ночам мы ходили с Бюэром и Оливье Пенем освежать кожу от укусов москитов и купались при свете луны, довольно часто окруженной световым кольцом, которое в Европе, где оно крайне редко бывает, называется «ало».

Уплывая не очень далеко, так как у акул чрезвычайно легкий сон, мы барахтались подле группы корнепусков, обнаженные корни которых изящно поддерживают ствол и упорно продвигаются в море. На холме вырисовывались, словно монахини в «Роберт-Дьяволе», совсем белые силуэты ниаули, смолистых деревьев вида эвкалиптов, хотя и значительно ниже их. Их кора сворачивается, как белье, и держится на воде, как пробка. Стволы ниаули как бы сливались в один огромный белый занавес посредине горы, со стороны бухты Н'ги, где мы купались по ночам. Пейзаж захватывал изумительной, какой-то нездешней красотой. Нагретая в течение дня пылающим солнцем вода казалась тем более приятной, что воздух свежел с наступлением вечера. И я невольно говорил себе: «Я рад, что видел это. Но, кажется, пора побывать в других местах и посмотреть другие пейзажи».

Я дал себе месяц на обработку сада, составлявшего нашу «концессию», вокруг которой мы посадили клецevinу, стебли которой достигают там высоты двух этажей и стручки которой заключают в себе зерна красно-белого цвета, формы и объема небольшой фасоли. Это сильный яд, и если его неосторожно, не по формуле, принять, он может убить человека, вместо того чтобы его ослабить, подтверждая таким образом определение Беклара²⁶⁹: «Всякое слабительное — яд».

Первые четыре недели своего пребывания на Дюкесе я посвятил также ознакомлению с отведенными нам двумя милями на полуострове, которые я мог бы обойти с закрытыми глазами.

Но так как ссылки, подобно шуткам, тем лучше, чем они короче, то в одно утро я, проснувшись, сказал своим обоим сожителям:

— А теперь я хотел бы узнать, через какую дверь можно отсюда выбраться.

Они тогда рассказали мне о многочисленных планах побегов, которые строились за год с лишним и которые все, без исключения, позорно проваливались. И это было неизбежно, потому что ни в одном из этих планов не было ни капли здравого смысла. Трудно поверить, что один ссыльный, бывший экипажный мастер, потратил целые месяцы на то, чтобы сколотить из нарубленных в лесу деревьев лодку семи или восьми метров длиною, для которой он потом изготовил мачты, а Паскаль Груссе дал паруса, сделанные из простынь?

Когда все было готово, около пятнадцати желавших бежать ссыльных собрались на берегу, а некоторые из них притащили свои чемоданы, ибо они хотели повезти с собою всякие семей-

ные сувениры. Когда в лодке разместили все эти многочисленные чемоданы и пакеты, едва осталось достаточно места для путешественников, которым даже при наиболее благоприятных условиях предстояло оставаться в пути, по крайней мере, три недели.

К общему счастью, едва только лодку протолкнули в море, она раскололась на две части, потопив вместе с собою плоды шестимесячного труда. Если бы лодка продержалась только на расстоянии полукилометра, все беглецы остались бы на дне океана, как впоследствии остались там Растуль и его двадцать товарищей.

В другой раз предложил свои услуги молодой морской врач, но его частые прогулки из Нумей на полуостров скоро обеспокоили начальство, и все его планы провалились.

Жизнь взаперти ведет к мечтательности, а мечтательность — к полоумию. Несчастные ссыльные, без инструментов для работы, без необходимых материалов и главным образом без малейших знаний в области физики, с непоколебимым мужеством принимались за разрешение еще не разрешенных наукою проблем воздушного плавания и летающего человека. Асси не расставался с мыслью о воздушном шаре из кирпичей. Он, можно сказать, не выходил из своего шара. Правда, он в него и не входил.

А между тем была только одна возможность с шансами на успех, и нужно было быть полоумным, чтобы не постигнуть этого и не попытаться это осуществить с первого же дня: войти в соглашение с капитаном одного из иностранных кораблей, американских или австралийских, которые время от времени бросали якорь в Нумейском порту. И тем не менее за все восемнадцать месяцев, в течение которых вырабатывались различные планы побегов, ни один ссыльный не остановился на этом плане, хотя он так просто и в общем сравнительно легко осуществим.

Главное затруднение состояло в том, какую плату требует от беглецов командир судна за то, что предоставит в их распоряжение свое судно. Но хотя сами беглецы могли между собою собрать мало денег, однако они ведь оставили во Франции родных, которые, соединившись шестером или восьмером, могли бы собрать необходимую сумму.

Вместо того чтобы истощать свои силы на постройку лодок, тонущих при первом соприкосновении с волнами, несравненно более логично было бы обеспечить себе уже построенное судно. Посредников для этого было достаточно, потому что свыше пятидесяти наших товарищей, приговоренных к простой ссылке, получили, согласно закону, разрешение подыскать себе работу в самой Нумее.

Но людям главным образом не хватает не ума, не остроумия, не инициативы, — им почти всегда не хватает здравого

смысла. Не раз мне оставалось только пожимать плечами от тех нелепых планов, которые мне предлагали.

Я поэтому главным образом обдумывал единственный план, имевший шансы на успех. Небольшая скала, которую я отметил на данной мне командиром «Виргинии» морской карте, непрестанно привлекала к себе мои взоры. Мы иногда направлялись к ней вплавь, чтобы посмотреть ее выступы и места, где можно на нее подняться, и я возвращался, с каждым разом все более убежденный, что на этой гранитной скале, вдали от обходов надзирателей и скрытые в базальтовых извилинах, мы должны будем поджидать спасительную лодку, которая нас перевезет на корабль, собирающийся выйти из гавани.

Один ссыльный, который, хотя и был приговорен к ссылке в укрепленную местность, получил, — не знаю, за какие заслуги, — разрешение ездить в Нумею закупать продовольственные продукты, которые он нам затем перепродавал, был первым человеком, к которому я обратился, — собственно, только нацупал его, не ставя вопрос практически.

Он сказал, что «посмотрит», что «займется этим делом», но без увлечения, без убеждения, вероятно, с целью водить меня за нос. Он зарабатывал у нас больше, чем в Париже до ссылки, и вовсе не стремился изменить положение, какое он в другом месте, вероятно, с трудом мог бы себе создать.

Я понял, что напрасно обратился к нему, и даже несколько забеспокоился при мысли о возможном доносе, потому что позже я узнал, что этот протеже пенитенциарной администрации был на подозрении у своих товарищей. Поэтому я воспользовался тем, что он принес кусок козьего мяса, которое там заменяет баранину, и заявил ему, что решил отказаться от мысли о побеге, так как побег — действительно дело опасное и неверное.

Я был совсем смущен этой первой неудачей и собирался уже поискать другого человека, как ко мне в мою хижину явился с визитом морской провизор, который жил в Рошфоре и знал мою семью, когда я сидел в форте Бояр. Он мне любезно приносил арбузы, бананы, которых я никогда не выносил и которые, по мне, пахнут одновременно помадой и мылом, и зеленые кокосовые орехи, сок которых имеет вкус сыворопки, а их неотвердевшая мякоть напоминает водянистый желатин. Он был так внимателен ко мне и показался мне столь склонным облегчить мои тяготы, что я рискнул довериться ему. Но я забыл о профессиональной дисциплине и о профессиональной чести. Он отказался от всякого участия в предприятии, которое он считал безумным, способным поставить меня под расстрел.

Я притворился, что убедился его доводами, и простился с ним, горячо поблагодарив его за арбузы и бананы. Но все

эти отказы начали колебать мою энергию, и я решил совершенно изменить мою тактику. И в самом деле, если идти на серьезный риск, не было невозможности скрыться и через остров, перейдя назначенную нам границу, и, прячась, словно зайцы, в течение дня, делая свои переходы, словно кролики, по ночам, добраться до северного выступа Новой Каледонии, от которого нас отделяли, если идти берегом, чтобы не заблудиться, около шестидесяти миль.

Опасность состояла в том, что мы могли напороться на посты колониальной жандармерии, расставленные по дороге. Но если составить группу из трех или четырех решительных пловцов, можно эти места переплывать морем, а затем снова выйти на сушу и таким образом добраться до последнего этапа. Очутившись вдали от всякого наблюдения, можно было бы дожидаться, пока не причалит какая-нибудь канакская пирога, которой можно завладеть и на ней добраться до Ново-гебридских островов, до которых оттуда меньше двадцати пяти миль.

Важным вопросом был вопрос о дорожном пропитании. И вот что мы с Оливье Пенем придумали: мы купим сотню крючков, десять или двенадцать лесок и по ночам станем ловить рыбу на следующий день; каждый из нас захватит с собой, кроме того, штук двадцать судовых сухарей, которые помогут переваривать рыбу, как рыба поможет разжевывать сухари. Но нужно было также запастись револьверами на случай нападения туземцев. Приученные задерживать бегущих каторжан, они, конечно, захватили бы нас, в надежде получить установленную премию.

Этот план связан был с множеством неожиданностей и опасностей уже потому, что весть о нашем уходе перевернет вверх дном всю колонию и мобилизует против нас все гражданские и воинские силы. Наилучшим шансом для нас было бы, если бы остановились на том предположении, что мы сели на какой-нибудь австралийский корабль, — нас бы перестали разыскивать.

Оставалась опасность нашей высадки у ново-гебридцев, народа яростных людоедов, который еще за год до того умертвил и затем пожрал экипаж французской канонерки вместе с командовавшим ею мичманом.

Но мною овладело безумное желание повидать своих детей, и я говорил себе, что, вмешайся даже чорт в это дело, я не глупее тех скотов, которым поручено меня сторожить, и что при твердом желании уйти от них я от них уйду. И я, вероятно, остановился бы на этом почти безнадежном плане, но я как-то заказал одному нумейскому торговцу, по имени Дюссеру, некоторые продовольственные припасы — и вдруг увидел направляющегося к нашей хижине человека, который издала еще, как только заметил меня, воскликнул:

— Здравствуйте, гражданин Рошфор! Ах, как я счастлив снова повидать вас!

У него была длинная темная борода, и я не узнал его. Это был мой сосед по соломенному матрацу, вместе со мною терзавшийся от блох в олеронской медвежьей яме. Приговоренный к простой ссылке, он добился своего перевода с Соснового острова в Нумею, где он служил у торговца съестными припасами, одним из покупателей которого я состоял. Его звали Бастиан Грандтиль.

Что бы там ни говорили и твердили и рассказывали, именно этому славному парню мы обязаны были успехом нашего дерзкого побега. Без его преданности и точного исполнения инструкций, которые он получил от нас, дело провалилось бы, как провалились все планы, к которым прибегали мои товарищи в продолжение восемнадцати месяцев. Этот друг мне прежде всего сделал следующее заявление:

— Гражданин Рошфор, я предан вам душой и телом. Если я могу вам быть полезен чем-нибудь, — располагайте мною. Я в точности буду следовать вашим указаниям.

Я понял, что, наконец, нашел спасителя. Я уверил его, что его предложение услуг пришлось как нельзя более кстати, и дал ему следующие инструкции:

— Когда вы увидите, что в порту бросил якорь американский или, что лучше еще, английский корабль, постарайтесь повидаться с его капитаном, и если вы увидите, что с ним можно заговорить, предложите ему взять на свой борт нескольких ссыльных, скажем — пять или шесть человек, за плату, — ну, на первый раз предложите ему десять тысяч. Если он потребует двадцать тысяч, — соглашайтесь, сорок тысяч — дайте. Словом, можете идти до ста тысяч. Лишь только я буду свободен, я найду способ их заработать.

Грандтиль довел свое бескорыстие до крайних пределов, умоляя меня не беспокоиться о нем и оставить его в Новой Каледонии, если его участие в побеге может хотя бы в малейшей степени стеснить Оливье Пена, Груссе или меня. Я ему ответил, что через час после нашего отъезда весь полуостров будет знать, кто его подготовил, что все стражники, командир Ланоз и губернатор придут в бешенство и возложат на него ответственность за все и он наверное получит каторжные работы, если не что-нибудь похуже. Поэтому, если он хотя бы одну минуту колеблется сесть вместе с нами на корабль, мы отказываемся от всего плана, и я прошу его просто забыть о нашем разговоре.

Он подчинился и обязался бежать вместе с нами. Прошло несколько дней без всяких вестей от него. Мы с Пенем каждый день вскарабкивались на гору, с которой мы услаждали свои взоры зрелищем стоявших на якоре в Нумейской гавани судов. Какое из них понесет нас по направлению к Европе?

Наконец, появился Грандтиль, неся для вида в руках пучки разных овощей, а в действительности с запасом новостей для нас. Австралийское судно, пришедшее из Ньюкестля, доставило в Новую Каледонию уголь, которого также не было в колонии, потому что в ней ничего не было. Тотчас же наш друг направился к капитану на самый корабль и по счастливой случайности застал его в его кабинете за чтением иллюстрированного журнала «Bowbels», раскрытого как раз на странице, на которой помещена была моя биография, а во главе ее красовался мой портрет. Грандтилю нетрудно было ему объяснить, что именно этого человека нужно укрыть в трюме его трехмачтового судна, на котором вместо названия начертано было: «П.-Ц.-Е». Затем он от моего имени предложил десять тысяч франков за меня и пять тысяч от имени моих товарищей.

Капитан Лоу принял предложение без всякого торга, но ему предстояло еще провести в Нумее восемь дней, чтобы сдать свой груз угля и получить по счету. Он советовал ничего не говорить об этом деле людям экипажа, которых надежда на вознаграждение от администрации толкнула бы, может быть, на донос, тем более, что за него очень дорого заплатили бы. И план побега в основных своих чертах был установлен.

Было еще одно затруднение. У меня не было, конечно, той суммы, которую нужно было уплатить капитану. Но он сказал:

— Г-н Анри Рошфор слишком джентльмен, чтобы не сдержать своего слова.

И о деньгах больше не было речи.

Журд и Бальер, безуспешно пытавшиеся за несколько времени до того бежать из Нумей, где они были на службе, возобновили переговоры с капитаном, чтобы установить день и час отъезда, а также и способ доставки на судно троих участников побега, живших на полуострове Дюкос, т. е. на расстоянии нескольких километров от «П.-Ц.-Е». Капитан уведомил нас, что не может послать за нами лодку. Он хотел в случае провала, за которым последует расследование и процесс, иметь право заявить, что мы забрались на судно без его ведома, и устранить, таким образом, всякое доказательство, что мы действовали по соглашению с ним.

И на этот раз добрый Грандтиль взялся вывести нас из затруднения. Он почти каждое утро привозил на полуостров съестные припасы в лодке своего хозяина. И в утро назначенного дня он оставит у себя в кармане ключ от замка, которым лодка прикреплялась к набережной, и приедет за нами в назначенное место.

Место это было заранее предназначено: небольшая скала, которую я наметил на морской карте и к которой сравнительно легко было пристать даже и не очень опытным пловцам. Вместо того, чтобы направиться к скале прямо, как мы с Оливье

Пеном обычно поступали, можно было, идя по поясу в воде, пробраться вдоль берега, где довольно часто проходили надзиратели, но где ночью трудно было различить человеческую фигуру на расстоянии двадцати пяти метров от берега.

Наш островок имел то ценное преимущество, что лежал вне обычного пути обходов и в нем были углубления, в которых никому на свете не пришла бы мысль нас искать. Нельзя было даже мечтать о лучшем месте.

Нужно было распорядиться еще оставляемым нами имуществом, хотя оно состояло почти только из некоторого количества книг, присланных Паскалю Груссе его родными, и из трех пар куриц, из которых одна, черная, особенно привязалась ко мне и взлетала мне на голову или на плечи, как только я приходил.

Прежде чем расстаться с пятью другими курами и с уткой, видимо, страдавшей от отсутствия воды, мы решили угостить себя жарким, и Пен выполнил функции палача. Но все согласились, что черную курицу нужно пощадить, потому что все знаменитые гадалщицы во все времена утверждали, что птицы этого цвета приносят счастье тому дому, в котором находятся. Внезапная нежность ко мне черной курицы показалась нам всем, — люди так глупы, когда они становятся взрослыми! — счастливым предзнаменованием удачи задуманного побега.

Зажирили двух кур и затем, пресытившись белым мясом, решили оставить остальных воспитанниц нашего курятника и самый курятник — большую плетеную клетку — бедному Лороскуэ, от которого мы скрыли весь свой план. Но так как раздача нашего наследства могла показаться странной и привлечь к себе внимание, мы решили, что Паскаль Груссе подарит Лороскуэ наших кур в мое отсутствие. Лороскуэ отнесет их в свою хижину, а когда я вернусь с прогулки домой, я притворюсь, что сильно рассердился за бесцеремонность, с которой он присвоил себе наш курятник, даже не спросив моего разрешения. Я даже отправился в его землянку, расположенную в центре той местности, где поселилось большинство ссыльных, и там при всех преувеличенно стал попрекать его в присвоении кур.

— Гражданин Рошфор, — смущенно ответил он, — ведь гражданин Груссе сказал мне их взять.

— Возможно, — продолжал я, — но они принадлежат нам всем троим, и никто из нас не имел права распоряжаться без согласия двух остальных.

— Хорошо, — стойчески сказал Лороскуэ, — нынче вечером я их вам отнесу.

— Раз они у вас, оставьте их у себя, — возразил я. — Но в следующий раз, пожалуйста, предупредите меня, когда вы вздумаете забрать наш птичник.

Эффект, который мог произвести наш поистине королевский подарок, был, таким образом, предупрежден, и мы продолжили свои приготовления к переезду. Словарь Буйе оставлен был Боеру, который должен был найти его с бланком на свое имя после нашего отъезда, о котором он столь же мало подозревал, как и Лороскуэ.

Раз десять я готов был раскрыть пред ним наш секрет, который мне, что называется, жег уста, и каждый раз я насильно заставлял себя молчать, повторяя себе, что секрет этот не мне принадлежит. Мы весьма охотно присоединили бы Боера к нашему побегу, но он неосторожно поселился в самом центре скопления ссыльных, которые тотчас же обратили бы внимание на его несколько затянувшееся отсутствие.

Необходимо было разработать план до мельчайших подробностей, не оставляя никаких лазеек для случайностей, и предвидеть все, даже то, что может неожиданно случиться.

Нам оставалось заставить себя терпеть еще четыре дня, как ко мне явился один молодой южанин, который отрекомендовался мне в качестве прикомандированного к кабинету «директора ссылки» и стал меня уверять, не будучи на то ничем вызван, в своей тлубочайшей симпатии.

Этот гасконец, с пробивавшейся бородкой и длинными, ниспадающими до плеч волосами, перешел, после незначительных прелиминариев, к занимавшему его вопросу.

— Вы не для того созданы, чтобы жить и умереть здесь, — сказал он мне вдруг. — У меня есть возможность вас вызволить отсюда. Мое амплуа в пенитенциарной администрации позволяет мне быть в курсе всяких возможностей. Доверьтесь мне — и через короткое время вы будете свободны.

Возникли ли в правительственных сферах какие-нибудь неопределенные подозрения по поводу наших планов? Просто ли зондировалась при этом почва относительно моих планов на будущее? Действительно ли этот субъект, столь преувеличенно выражавший свои чувства, был искренен и расположен мне помочь в моих смелых стремлениях? Не знаю. Но хотя он несколько раз повторял мне: «Доверьтесь мне!» — я ему не доверился и дал ему следующий ответ, после которого он перестал настаивать:

— От всей души благодарю вас, но я хочу вернуться во Францию только через широкую дверь амнистии, которая, по моему мнению, ближе, нежели предполагают.

Близка была наша посадка. Мой правительственный южанин ушел от меня, без сомнения, успокоенный, и если он сообщил о моем поведении своему иерархическому начальству, последнее имело через три дня исключительную возможность оценить его проицательность.

Хотя мы не имели никакого касательства к какой-либо государственной тайне и вся наша переписка носила исключи-

тельно семейный характер, нам не хотелось, чтобы полициейщина своими грязными лапами рылась в ней. Мы сложили поэтому наши письма в толстый пакет, который я опустил в загнивавшую по соседству с нашей «концессией» лужу с соленоватой водой, где вряд ли кто-нибудь стал бы его искать.

Я привез с собой из Европы портрет, который Арнольд Шефер, племянник Ари Шефера, написал с моей дочери, когда ей было семь лет. Я не хотел с ним расставаться и вырезал полотно, которое свернул так, чтобы краска не облупилась, надеясь, что смогу его удержать подмышкой, когда мы будем пробираться по воде от берега до скалы.

Дни перед побегом были такие долгие, что, казалось, мы не дождемся момента отъезда. Трое суток, которые нам еще предстояло переждать, разрастались до такой степени, что казались мне длиннее двух лет крепости. Накануне решительного дня мы с Пенем доплыли до скалы, которую я вблизи еще ни разу не осматривал. Но, ступив босой ногой на скалу, я почувствовал жестокую боль. То игла огромного морского ежа почти насквозь проколола мне ступню. Я прохромал от полученной ранки весь день и уже стал бояться осложнений, которые помешали бы решительному купанью следующего дня. Но в течение дня рана закрылась, и я быстро забыл про свою боль. После обеда Паскаль Груссе получил из Нумеи, от Журда, записку следующего содержания:

— Завтра, в четверг, пошлю тебе, согласно обещанию, восьмой том «Истории консульства и империи».

На языке собирающихся бежать это означало: «Завтра, в восемь часов вечера, погружайтесь в воду и ступайте поджидать нас на скале».

Большим затруднением было то, что Лороскуэ, придя, как обычно, на следующий день утром убрать комнаты и заняться нашей кухней, найдет хижину покинутой. Он тотчас же побежит нас разыскивать и невольно вызовет таким образом общую тревогу. Мне пришла в голову гнусная, но тем не менее гениальная мысль. Лороскуэ был бретонец, не католик и не солдат, ибо он был моряк, но порядочный пьяница. Однажды я неожиданно наткнулся на него, вытянувшегося во всю длину в чаше и отсыпавшегося после поглощения разных водок, о составе которых химикам трудно было бы высказаться.

Когда я его стал расталкивать, чтобы разбудить его, он, не двигаясь с места, простонал жалобным тоном:

— Оставьте меня, гражданин Рошфор, — я не стою того, чтобы вы со мной разговаривали.

Этим-то влечением к спиртным напиткам я и оббирался воспользоваться. Нам надлежало влить в него такое количество всевозможных видов спирта, чтобы он свалился мертвецки пьяным. К тому же он не очень был разборчив относительно качества напитков. Однажды он даже нарочно порезался о ко-

ралловые рифы, чтобы получить в госпитале флакон камфарного спирта для перевязок. И он выпил спирт, смешанный с камфарой. Это был такой пройдоха, которому нельзя было бы доверить даже бутылку с серной кислотой.

Мы почти не смыкали глаз в предыдущие ночи и не рассчитывали много проспать и в нашу последнюю ночь. И мы решили в последний раз побывать у Анри Боера. Мы заигрались с ним в карты до трех часов утра. Нетрудно догадаться, что я не особенно внимательно играл в ту ночь, и я, помню, проиграл четырнадцать бутылок пива, которые мне полагалось поставить не позже, чем через двадцать четыре часа. С тех пор прошло без малого двадцать четыре года, а я свой долг еще не уплатил. Но меня простят, вспомнив, что на следующий день нам предстояло сыграть партию, ставка в которой была много серьезнее, нежели бутылка пива.

Солнце поднялось на облачном небе, которое постепенно просветлело. Мы рассчитывали, что нам придется уже без всяких инцидентов дожидаться вечера нашего освобождения, но тот день, который был для нас исключительно историческим днем, был вместе с тем и самым трудным из всех проведенных мною на полуострове дней.

Было еще только едва десять часов утра, как Оливье Пен, уже успевший прогуляться по направлению к харчевне, вернулся совсем расстроенный.

— Мы пропали, — сказал он мне: — я сейчас встретил вашу милую. Она только что приехала из Нумей и собирается пробыть здесь два дня. Она заявила мне, что ее отец, мать и она придут к нам к семи часам обедать.

А в восемь часов мы должны были уже погрузиться в воду! Мужчины, значит, осуждены на то, чтобы постоянно погибать от женщин. Отказаться угостить их обедом — еще не значило избавиться от их визита, который помешал бы нам приготовиться к отъезду. А между тем «П.-Ц.-Е.» отходил утром следующего дня. Необходимо было тотчас же отвести от нас этот грозный удар.

Посоветовавшись между собою, мы остановились на следующем решении.

Пен снова отправился в долину Тинду и, отведя молодую модистку в сторону, со смущением сообщил ей:

— Я только что встретился с Рошфором, которому я сообщил о вашем приезде. Я думал, что он бросится мне на шею от радости, и был прямо ошеломлен, видя, что он пришел в бешенство. Он даже раскричался на меня: «Как! Так дерзко насмеялась надо мною, а теперь еще хочет снова к нам притти! Пожалуйста, скажите ей, что между нами все кончено и что никогда в своей жизни я с ней больше не увижусь».

И это была правда. Нам не предстояло видеться с ней больше, потому что я уезжал в тот же день.

Но она придала этим словам совсем другой смысл, застыдвшись, ответила:

— О, пожалуйста, скажите г-ну Рошфору, что он ошибается! Этот молодой человек не имеет для меня никакого значения.

Мы понятия не имели ни о каком молодом человеке. Но Пен поспешил ухватиться за это разоблачение и ответил на него дружеским советом:

— Да, конечно, но вы же знаете, какой этот Рошфор сумасшедший! Он способен вам устроить сцену при вашем отце. Подождите, дайте ему успокоиться— и в следующий ваш приезд все устроится. Но сегодня вечером ни в каком случае не приходите.

За этой внезапной угрозой последовала другая. Торговец съестными припасами, Дюссер, хозяин нашего товарища по побегу, Бастиана Грандтиля, неожиданно прибыл на своей лодке, нагруженной продуктами, которые он нам предложил к завтраку, пригласив и самого себя принять в нем участие. Завтрак сервирован был без скатерти, и так как к десерту того дня полагались всякие ликеры, я мог их экспериментировать на Лороскуэ, который после каждого принесенного блюда проглатывал несколько рюмок.

Вспоминаю, что за завтраком был также большой паштет, к которому мы мало прикасались, так как и желудком и душой были в других местах. Наша пирушка затянулась, и я стал ощущать в ногах зуд отъезда— сперва нашего гостя, а затем и нашего. Но ужасный Дюссер развалился перед своей тарелкой, не собираясь, повидимому, возвращаться на свою лодку, на которой наши товарищи по побегу должны были выйти из Нумей около восьми часов вечера. А было уже четыре.

Признаюсь, был момент, когда меня охватило отчаяние. Гроза, которую ждали с утра, стала быстро надвигаться. Если бы она вдруг разразилась с теми атмосферическими сотрясениями, какие в тех краях часто можно наблюдать и при которых, куда ни взглянешь, видишь только водяные потоки и нельзя даже отличить, где полоса дождя сливается с океаном,— наш торговец съестными припасами должен был бы остаться на ночь на полуострове, отложив свой переезд до утра следующего дня.

Он даже заговорил об этом, но я обратил его внимание на то, что дождь не идет еще и что он успеет спокойно вернуться к себе домой, между тем как если гроза разразится, она продлится, может быть, дня два, и он вынужден будет их провести в нашей укрепленной местности, где будет лишен самого необходимого комфорта. И, не давая ему времени подумать, мы потащили его по направлению к лодке, прикрепленной внизу скалы, и бесконечно обрадовались, когда он, наконец, сел в лодку и ухватился за весла. И чтобы на случай но-

вого визита посетитель нашел наш домик пустым и подумал, что мы ушли гулять, мы решили спрятаться в чаще и там дожидаться наступления столь желанной ночи.

Мы поджидали ее почти два часа. Накануне мы через доброго Грандтиля отправили в Нумею узел с одеждой, который лодка должна была доставить нам на нашу скалу, ибо мы решили пуститься в путь в купальных костюмах.

Мы разделись на траве под вспышками молний, которые стали перекрещиваться над нами, и осторожно спрятали под деревцом снятую нами одежду, которую опасно было бы оставить в нашей хижине, ибо это могло бы вызвать всякие разговоры.

Дабы утром наш дом имел такой вид, словно мы, позавтракав, отправились куда-нибудь на экскурсию, мы оставили остатки дюссеровского паштета на столе. Эта предосторожность нас едва не погубила. На следующий же день в нашем паштете появилось от жары множество червей, и о нашем побеге догадались именно по остаткам пицци, настолько попорченной, что она, очевидно, пролежала в нашей посуде уже много часов.

Как только Дюссер уехал, мы прикончили Лороскуэ, которого, впрочем, не нужно было пасировать и которого мы отослали совсем качающегося в его хижину, предупредив его, что на следующий день мы отправимся в бухту Жантеле, — ему, следовательно, не нужно к нам являться, и он может остаться дома.

Из всего этого видно, что план предстоявшей драмы был разработан вполне и что «входы» и «выходы» были установлены со всеми деталями. Еще было светло, а мы уже были в купальных костюмах. Потом, за несколько минут до восьми, вечерний занавес сразу упал, и наступившая темнота позволила нам выйти из нашей рытвины. Небо, к счастью, было черно, как чернила, ибо луна накануне потеряла свою последнюю четверть. Мы пошли гуськом по узкой тропинке, спускавшейся к морю, где мы не боялись быть замеченными, так как по внешнему виду собирались скорее купаться, чем бежать.

— Прощай, наш домик! — сказал Груссе, когда мы проходили вдоль нашей хижины.

То был последний привет на земле мучительной тоски, постоянного недоедания и горя, хотя пятнадцать лет спустя я чуть было снова не увидел ее по милости верховного суда, который я избавил от труда вторично послать меня в Новую Каледонию, скрывшись в бывшую Каледонию, которая, как известно, в настоящее время называется Шотландией.

Утром, до тревожного появления торговца съестными припасами, Дюссера, я пошел в сопровождении Боера повидать нашего товарища Арнольда, к которому приехала его жена. Чтобы еще больше отвлечь внимание от наших приготовлений и просто прогуляться, потому что я не мог усидеть на месте,

я принес жене Арнольда пробковую каску с просьбой пришить к ней вуаль от солнца.

Когда мы возвращались с этой прогулки и поднялись несколько в гору, я увидел между нашим полуостровом и островом Ну громадную акулу, которая барахталась, удовлетворенная сытным завтраком, проглоченным, должно быть, у бойни. Я обратил внимание Боеера на эту акулу, а про себя подумал: «Может быть, эта самая пожрет нас сегодня вечером».

Но в тот момент, когда мы нырнули в воду, сгустились тучи, хотя дождя еще не было, и акулы, которых раскаты грома приводят в ужас, обычно укрываются от них в глубине океана. Возможно, что грохот грозы лишает их аппетита.

Так как скала, к которой мы направлялись, отстояла довольно далеко от нас, а море было в этот момент в приливе и бурно, мы почти рисковали заблудиться. Я на всякий случай захватил с собою свои пробковые доски, которые, кажется, остались в воде. Я также сжал подмышкой полотно, на котором Арнольд Шефер нарисовал портрет моей дочери, что несколько стесняло мои движения.

Хотя мы уже несколько раз совершали эту экскурсию, она на этот раз показалась мне необычайно длинной. Прилив, обычно мало заметный, почти целиком покрыл в этот вечер небольшой островок, который я не мог различить сквозь опускавшийся на нас свинцовый нарамник. Я стал всматриваться в окружающее, чтобы понять, где нахожусь, ибо я плыл немного впереди моих обоих товарищей, но вдруг задел коленом один из выступов скалы и, поднявшись на ноги, увидел, что мы уже на скале. Более проворные, чем я, Оливье Пен и Паскаль Груссе взобрались на верхушку, которая разделялась на две части, так что я, поднявшись за ними, свалился бы в расщелину, если бы не ухватился за ствол росшего там дерева.

Там мы укрылись, не подвергаясь, впрочем, никакой опасности быть замеченными. Но мне казалось, что мы так долго плыли, пока добрались до скалы, что я с трудом мог допустить, что лодка уже не побывала там и, за отсутствием пассажиров, не ушла дальше.

Мы дрогли там в углублениях минут двадцать и уже заговаривали о том, чтобы вернуться домой, полагая, что Грандтиль не мог захватить лодку своего хозяина. Пять газовых рожков, растянувшихся по берегу острова Ну, перед каторжной тюрьмой, одни только светились в окружавшем нас ночном мраке, как вдруг один рожок погас, потом опять засветился, между тем как погас, казалось, следующий рожок. Очевидно, какое-то непрозрачное тело продвигалось между ними и нами.

Вскоре мы слышали слабый шорох весел, и эти предосторожности свидетельствовали о том, что приближаются наши товарищи.

— Вы там? — спросил нас кто-то.

— Да!

— Бросайтесь вплавь! Лодка не может причалить. Мы можем еще напороться на выступ скалы.

Мы скользнули в воду и, после нескольких взмахов, зацепились за лодку, в которую нас подняли одного за другим. Если бы мы попытались подняться в нее все трое сразу, мы бы ее опрокинули.

Журд, Бальер и Бастиан развернули перед нами нашу одежду, и мы наскоро, не успев даже высохнуть, оделись. Бальер сел у руля, мы повернулись другим бортом, и лодка направилась обратно в Нумейский порт, где у «П.-Ц.-Е.» спущена была лестница, чтобы мы могли по ней подняться.

Капли величиною с пятифранковые монеты, которых у нас не было, стали густо падать на нас, — самый благодетельный ливень, который мог только обескуражить экскурсантов и, следовательно, удалить с нашего пути любопытных.

И все же нас охватила дрожь, когда мы заметили, что на нас направилась шлюпка, в которой мы различили четырех или пятерых мужчин, — то могли быть либо матросы обхода, либо надзиратели на дежурстве.

То были надзиратели, — мы узнали их по их кепкам, — но они, очевидно, кутили. Они нас, в свою очередь, приняли за нескромных, которых лучше избегать, и, вместо того чтобы подойти к нам, при одной мысли о чем мы дрожали всем телом, они повернули в другую сторону и вскоре были уже далеко от нас.

Это был первый инцидент в нашем плавании. Вторым инцидент едва не привел к нашей гибели. Днем Бальер поехал точно ознакомиться с местом стоянки нашего трехмачтового судна, потому что в порту их было несколько и между ними два военных вестовых судна, имевших специальной задачей следить за возможностью побега ссыльных и каторжан.

Но утром был отлив, а когда наступил прилив, «П.-Ц.-Е.» повернулся на своем якорю на другой бок, так что наш товарищ заявил, что не в состоянии разобраться. Однако, осматривая рейд, мы заметили лестницу, как бы приглашающую нас подняться, и мы были уверены, что достигли своей цели. Один из нас, — не помню, кто именно, — уже даже успел подняться на первые две перекладыны, как вдруг мы услышали, как на палубе обмениваются впечатлениями на крайне опасном для нас в этот момент отменно чистом французском языке.

Мы просто стали подыматься на одно из вестовых судов правительства.

Можно себе представить, как стремительно мы снова уселись в нашей лодке. Трехмачтовое судно капитана Лоу стояло как раз рядом с французским кораблем. На этот раз уже не могло быть никакой ошибки, и мы поднялись без всякой опа-

ски. Когда я ступил ногой на борт судна, я слышал, как часы нумейской церкви били двенадцать.

На борту нас ждало небольшое разочарование. Капитан Лоу, до такой степени не полагавшийся на себя, что никогда не брал с собой в дорогу вина на судно, вознаграждал себя в портах и не выходил из окрестных кафе. Он и теперь там забылся и вместе с тем забыл и о нас. И мы были очень удивлены, что нас принял судовой повар, единственный человек, который еще не лег спать и который не меньше нашего удивился, неожиданно увидев перед собой шесть на вид ничего доброго не предвещающих молодых людей. Никто из нас не владел достаточно английским языком, чтобы вступить в объяснение с этим корабельным поваром, которому хозяин трехмачтового судна ничего о нас не сказал, и мы не знали даже, под какими псевдонимами представиться. Но в это время показался капитан Лоу.

Он был, несомненно, навеселе, но вполне владел собою. Первым делом он отослал повара в его расположенную в конце судна кабину и, попрощавшись с нами, как будто мы должны были расстаться с ним после этого ночного визита, проводил нас по другой лестнице, по которой нам пришлось спуститься в трюм его судна. Там мы вместо кровати нашли свернутые веревки, которые, хотя и врезывались нам в тело, показались нам самыми восхитительными матрацами, — до такой степени все разукрашивается перспективой свободы.

Оставалось сделать еще одно важное дело: потопить лодку, привезшую нас на «П.-Ц.-Е.». Если бы ее утром увидели несущейся без хозяина в порту, это могло бы вызвать опасное расследование.

Трехмачтовое судно выгрузило уголь в Нумее и возвращалось пустым. Капитан Лоу выбрал в своем баласте несколько самых крупных камней и наполнил ими дюссеровскую лодку, которая и пошла ко дну. Я решил, что если лодка от всех этих операций станет негодной, я уплачу за нее впоследствии Дюссеру ее стоимость, что я и сделал. Но если бы мы тогда были арестованы, с каким торжеством нас приговорили бы к позорящим наказаниям за порчу лодки!..

Хотя опасность еще не была устранена, а, наоборот, еще только начиналась, моя усталость восторжествовала над всеми неудобствами, и я заснул, как сурок, пока меня не разбудило сотрясение судна, из чего я заключил, что поднимают якорь.

Каждую минуту мы ждали, что появится какой-нибудь морской комиссар, прикажет нам сдаться и ответит нас со связанными руками обратно в нашу покинутую землянку. Однако прошел час, прошел другой час — и никакой представитель юстиции к нам не являлся, но в то же время не было никаких признаков движения нашего судна.

Почему этот плеск на месте, и почему мы не мчимся вдаль, когда мы так торопимся умчаться?

Записка карандашом на бумаге из-под свечей, упавшая к нам через трап, через который мы спустились в трюм, дала нам печальное объяснение. Она была от капитана Лоу и гласила:

«Нет ни малейшего дуновения воздуха, и лоцман уверяет, что сегодня нельзя будет отчалить».

Хотя погода попрежнему предвещала грозу, на море царил тишь. А каждая лишняя минута стояния в порту приближала нас к открытию нашего побега! В одиннадцать часов утра мы еще не сдвинулись с места. Мы все поставили на карту и, за отсутствием хотя бы маленького ветерка, терпели неудачу в деле, так превосходно начатом. Вместо вновь обретенной свободы, вместо воссоединения с нашими семьями, вместо возможности отомстить негодьям, оскорблявшим нас, как хотели и сколько хотели, перед нами вставала перспектива грубого, во всяком случае, унижительного ареста, нашего отвода со скованными руками в тюрьму полуострова, а может быть, даже и казни без суда в том самом трюме, в котором мы укрылись.

Мы проводили там ужасные минуты. Наконец, новая записка полетела к нам сверху — с неба, могли бы мы сказать:

«Я настаиваю на отходе, но лоцман советует оставить всякую попытку идти обычным путем, так как у нас будет противный ветер».

Стало быть, ветер был, ибо он был противный. Это сведение скоро было дополнено другим:

«Так как ветер несколько усилился, я попытаюсь выйти за линию рифов через Булари. Мы пройдем вдоль полуострова Дюкос при заднем ветре».

Я решился подойти к боковому световому окошку и увидел, как стоявшие на берегу некоторые наши товарищи провожали взорами проходившее на расстоянии нескольких метров от них трехмачтовое судно, далекие от мысли, что мы находимся на нем. Часто я, подобно им, устремлял свои взоры на вздувшиеся паруса проходивших у берега кораблей, и так хотелось мне тогда броситься в море и вплавь их догнать и взобраться на них! Потом я провожал их взором, пока они не исчезали за горизонтом, и я как бы переживал известные стихи Гюго:

*Des rochers nus, des bois affreux: l'ennui, l'espace;
Des voiles s'enfuyant comme l'espoir qui passe*.*

* «Голые скалы, ужасные леса — тоска, пространство; паруса, убегающие, словно улетающая надежда». — Прим. перев.

На этот раз надежда не улетучивалась. Она была в наших сердцах, хотя они не могли ее вместить, потому что трудно было поверить, что такие большие результаты достигнуты такими простыми средствами.

Пока мы еще не прошли через те бреши, которые море пробило в коралловом поясе, окружающем Новую Каледонию на расстоянии приблизительно десяти миль, мы еще были во французских водах, и английское судно еще подвергалось там праву осмотра. Самая ничтожная дежурная лодка имела право потребовать от нашего корабля, чтобы он остановился и подвергся столь тщательному обыску, какой командир лодки пожелает произвести. Наоборот, выйдя за пределы коралловых рифов, «П.-Ц.-Е.» плывал уже в свободном море, снова приобретал свою национальность, и всякий абордаж являлся уже нападением на английский флаг.

Поэтому никогда еще даже самая нежная записка не встречала более радостного приема, чем тот, какой оказан был с вихрем слетевшему к нам посланию:

«Мы вышли за полосу рифов. Всякая опасность миновала. Можете подняться на палубу».

Было около четырех часов вечера, а с семи часов утра мы корчились в конвульсиях беспокойства.

Увидя неожиданно наши головы, высунувшиеся в отверстие трапа, матросы корабля крайне удивились, а капитан Лоу притворился еще более удивленным. Он обратился к нам с упреками по поводу нашей бесцеремонности на английском языке, которых мы не поняли, а мы ему представили свои объяснения на французском языке, которых он также не понял. А затем, после этих формальных объяснений, он отвел каждому из нас отдельную кабину и распорядился дать нам позавтракать. Когда приготовлено на пять человек, может покушать и шестой. Но в этот раз, в виде исключения, хотя приготовлено было на шесть человек, завтракали только пять. Едва только я оторвался от веревок, которые мне всю ночь врезались в спину, как меня схватила жесточайшая морская болезнь, какую я когда-либо испытывал. Ветер, обнаруживавший такое спокойствие, когда мы нуждались в нем, стал свирепствовать как раз в тот час, когда мы молили его о спокойствии. Капитан Лоу почуял циклон, захвативший нас своим хвостом, продырявив какие-то паруса и поломав одну из наших мачт. Наш спаситель, которого я накануне вечером едва успел рассмотреть, был небольшого роста, с несколько багровым лицом, как у выставленного в лондонской Национальной галерее великолепного портрета адмирала, шедевра Рейнольдса. Но на этой красноватой толстой морде сверкали очень умные глаза и пролегалa линия сжатых губ человека, ответ-

ственного за свои поступки и все видящего. Одною взгляда ему достаточно было, чтобы решить, будет ли внезапно заревевший ветер или даже буря длиться полчаса, час или полтора часа.

Буря длилась свыше двух часов, и так как камни, взятые из трюма для потопления лодки Дюссера, облегчили наш балласт, наше судно так сильно качалось на волнах, что сердце у меня ходуном ходило. А в довершение всего отведенная мне кабина пропитана была запахом смазочного масла и смолы.

— Как бы мы не потонули, — сказал мне Пен. — Вот что действительно значило бы — потерпеть крушение у самого порта!

— Мне все равно, — простонал я, — не говорите со мной: я слишком болен.

И когда спазмы схватывали меня и я весь содрогался в конвульсиях, я почти раскаивался, что покинул наш милый полуостров Дюкос, где мы страдали от голода, от жажды и от заточения, но, по крайней мере, не от морской болезни.

Хотелось хоть перестать вдыхать смазочное масло, и я вышел на палубу и растянулся на подложенном одеяле или, вернее, жил на нем, потому что не покидал его все семь дней, что длился наш переезд, чувствуя себя неспособным держаться на ногах. Не более осуществимой мечтой была для меня и еда. Мои товарищи от времени до времени подходили ко мне и предлагали немного вареного картофеля, который я отвергал вялой рукой не потому, что он был приготовлен по-английски, а потому, что моя спазматически сжатая глотка не пропустила бы даже просяного зернышка.

Я пытался спать, вытянувшись на спине, и, взглядываясь в светящееся небо, звезды которого постепенно начинали утомлять мое зрение, я забывался, чтобы через несколько минут пробудиться в мучительном припадке.

Я даже не сознавал своего счастья, как не сознавал, каким неожиданным ударом свалится на негодяев из помойной прессы известие о моем воскресении. Думаю, что если бы переезд из Нумей в Австралию длился не семь, а пятнадцать дней, я бы вряд ли доехал туда живым.

Наконец я сквозь вздымающиеся волны океана и взбрасываемое ими трехмачтовое судно увидел холм, на склоне которого выстроились светлые, залитые солнцем дома. Это был Ньюкестль, порт, к которому приписан был наш «П.-Ц.-Е.», и родной город капитана Лоу.

Теперь мы были уже действительно свободны, но была минута, когда мы думали, что свободы мы еще не обрели. Мы увидели на большом расстоянии дым двух пароходов, которые, внезапно отчалив из рейда, направились на нас, как будто стремясь нас сжать и с бакборта и с штирборта. Их белые флаги, к которым мы не имели никакого желания присоеди-

ниться, указывали, повидимому, на то, что это два французских военных корабля, которые, выйдя из Нумеи в погоню за нами и потеряв надежду застигнуть нас в море, бросили якорь в Ньюкестльском порту, чтобы захватить нас, когда мы покажемся.

Капитан Лоу признался нам, что все его средства обороны сводятся к семи старым заржавленным ружьям, которые при первой попытке пустить их в ход взорвутся в наших руках. Мы пережили момент гнетущего беспокойства. У меня даже мелькнула мысль выброститься через один из пушечных портов и попытаться затем, ныряя, добраться до города. Но я был избавлен от нового купанья. Эти вражеские корабли оказались двумя буксирными судами, которые старались перегнать друг друга, чтобы провести нас в гавань и получить причитающееся за это вознаграждение. Командир «П.-Ц.-Е.», старый дипломированный лодман, с давних пор близко знакомый с местностью, отказался от их услуг, в которых не имел никакой надобности. Мы успокоились и величественно вошли в порт.

Я буквально ничего не ел уже семь дней, ибо тщетно пытался разжевать картофелину, которую тут же выплевывал. Но нет такого укрепляющего средства, которое могло бы идти в сравнение с вновь обретенной после трех лет свободой, навсегда, казалось, утерянной. Нам оставалось только подвергнуться таможенному досмотру. И действительно, к нам подошла лодка, которой командовал молодой человек в сюртуке, а не в форме, как во Франции, и безо всяких официальных замашек. На его вопрос капитану Лоу, имеет ли он что-нибудь предъявить, последний ответил, что шесть неизвестных ему пассажиров спрятались без его ведома в трюме, из которого они вышли лишь тогда, когда отъехали слишком далеко, чтобы их можно было обратно высадить.

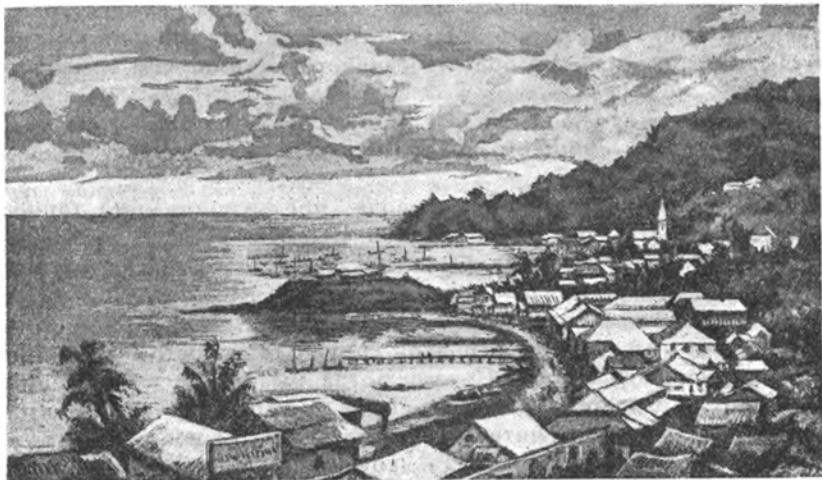
Если бы это произошло в нашей прекрасной стране, мы были бы арестованы, обысканы, заключены в ближайшую тюрьму, словно пираты или работорговцы. Трем судебным следователям поручено было бы допросить нас о нашем происхождении и произвести анкету относительно нашей судимости. А там молодой таможенный чиновник просто спросил после показания нашего капитана:

— И эти господа вам ничего не должны?

— Решительно ничего. Они мне уплатили за свой проезд.

— В таком случае нам до них нет никакого дела.

И хотя он, конечно, понимал значение неожиданного появления шести неизвестных французов на борту идущего из Новой Каледонии английского трехмачтового корабля, он даже не посмотрел на нас, спустился в свою лодку и, не оглянувшись, уехал.



ГЛАВА XXIV

В Австралии. — Ньюкестль. — Сапожник и золотоискатель. — Курвуазье. — Сидней. — В парламенте. — Доктор Эванс. — Во Франции узнали о нашем побеге. — Нелепая месь. — Наши двадцать пять тысяч франков. — Парижская печать. — На островах Фиджи

По случайности, которую австралийские газеты потом называли «провиденциальной», стоявшие в порту многочисленные корабли разукрасились флагами как бы для того, чтобы отпраздновать наше освобождение. В действительности это убранство судов относилось к губернатору Нового Южного Уэльса, сэру Геркюлу Робинзону, — в настоящее время представителю Англии в Трансваале, — который должен был приехать председательствовать на празднестве гонки судов.

На корпусе одного большого торгового двухмачтового судна мы прочли родную надпись: «Город Нант». Экипаж его, конечно, состоял из наших соотечественников, и, проходя на нашем судне по узкому фарватеру, мы заговорили с матросом, курившим свою трубку, сидя на защитных заслонах.

— А что, Мак-Магон все еще президент республики? — крикнул я ему.

— Да, конечно, — сказал он.

— Так вот, когда вы вернетесь во Францию, вы можете сообщить ему, что встретили шестерых французов, которые плевать хотели на него и на его военные суды.

— Хорошо, — флегматично ответил матрос, не отдавая себе отчета в значении сделанного ему сообщения.

Я счел себя свободным лишь тогда, когда почувствовал твердую почву под ногами. Мы одеты были как странствующие музыканты, хотя были больше странствующими, чем музыкантами.

Капитан Лоу одолжил мне против солнца шляпу из вываренной кожи, слишком для меня узкую, и я должен был ее сдвинуть назад.

Общий вид Ньюкестля, города преимущественно горно-промышленного, был очень живой и очень веселый. Правда, в то утро все население было по случаю торжества на набережных.

Едва мы высадились, как о нашем побеге стали распространяться смутные слухи. Вероятно, прислуга нашего «П.-Ц.-Е.» успела уже разболтать об этом. Когда мы вместе с капитаном Лоу проходили мимо расположенной в порту мастерской кузнеца, последний стремительно выскочил из своей кузницы и сказал мне с чисто парижским акцентом:

— Сударь, говорят, что Рошфор находился на борту только что прибывшего корабля. Он, значит, бежал? Знаете ли вы что-нибудь по этому поводу?

— Решительно ничего, — ответил я ему, не желая привлекать к себе внимание толпы.

Но он настаивал:

— Однако вы-то ведь приехали с этим трехмачтовым судном, прибывшим из Новой Каледонии? Увидя вас из своей кузницы, я тотчас же признал в вас француза.

— Да, конечно, — имел я нахальство ответить. — Но я был болен все время переезда. Я лежал все эти дни в своей кабине и ни с кем не говорил.

И мой соотечественник вернулся в свою кузницу, не подозревая, что говорил как раз с тем человеком, о котором справлялся.

Я умирал от голода, который столько дней не мог удовлетворять на «П.-Ц.-Е.». Славный Лоу направил нас в гостиницу, при чем выбрал очень хорошую, хотя мы совсем не в состоянии были уплатить по счету. У нас у всех шестерых было около трехсот франков, и притом бонами нумейского банка. Когда мы предъявили эти бумажки меняле, к которому нас повел неутомимый Лоу, нас приняли или, вернее, выпроводили как простых фальшивомонетчиков. В соседнем доме нам оказали совсем другой прием, — писал я в книге, выпущенной некогда по поводу нашего возвращения в Европу. Как только мы предъявили наши «ценные бумаги», начались перешептыванья. Разболтал ли о нас экипаж «П.-Ц.-Е.», рассеявшись по городу? Оказался ли таможенный чиновник более экспансивным с другими, чем с нами? Факт тот, что лишь только увидели надпись «Каледонский банк», в конторе начались расспросы:

— Вы бежавшие французские ссыльные? Вы только что прибыли на «П.-Ц.-Е.»? Сообщите нам ваши имена. Расскажите про ваш *escare**.

Стали знакомиться. Нас окружили. Пришлось все рассказать. Чуждая, как и большинство тамошних финансовых учреждений, тайнам биржевых и финансовых операций, эта меняльная контора была вместе с тем и комиссионной фирмой. Нас угостили присланной в качестве образца мадерой, что стало внушать нашему капитану Лоу более высокое представление об его пассажирах. Он рассказал, каким образом, прочтя мою биографию в одном иллюстрированном журнале, где был и мой портрет, он меня тотчас же узнал. Во внимании к нашей известности, к нашей энергии и к пережитым нами бедствиям, наши менялы взяли с нас только двадцать два процента за учет наших бон. Никогда боны нумейского банка не оплачивались так дорого.

Но так как дело прежде всего, то, пока мы там доверчиво все рассказывали, главный участник фирмы в соседней комнате все записывал и тут же составил депешу, пришедшую в Париж раньше той, которую мы послали с ньюкестльской телеграфной станции в агентство Рейтер. Но в телеграмме, посланной участником фирмы, имена бежавших были так исковерканы, что их семьи могли разобраться в них лишь после ряда телеграмм.

Вскоре наш приезд стал тем, что на английском языке называется «львом дня». О корабле, который пристал, о крыше, которую снес ветер, о локомотиве, который взорвался, говорят: «это лев дня». Говорят также «быть львом», чтобы заинтересовать общественное внимание. И мы «были львами» без конца, ибо каждый наш шаг стал отмечаться новым приглашением.

Лишенные самого необходимого для жизни, не имея денег, мы, конечно, могли поселиться только в самой лучшей гостинице города — в Большой северной гостинице. Командир «П.-Ц.-Е.» со всех сторон получал поздравления, от которых он с каждой минутой все более расцветал. Он так далек был от предположения, что столь удачно завершившееся дело нашего освобождения произведет такое сильное впечатление. Гордясь нами и радуясь великодушному и мужественному акту, значения которого он раньше не понимал, он не только не хотел нас оставлять, но решительно противился тому, чтобы мы его оставили. Он взял меня под руку и повел по разным улицам, представляя меня всем своим знакомым. И так как все население высыпало на улицы по случаю приезда губернатора провинции, то знакомых этих оказалось великое множество. Собирающиеся группы постепенно превращаются в целые муравейники. И снова и снова приходится рассказывать все сна-

* *Escare* по-английски значит «побег». — Прим. перев.

чала! Прошло едва два часа со времени нашего приезда, а мы выпускали уже тридцать второй бюллетень о своем побеге.

Однако мы не могли больше компрометировать своими гуа-летами Париж, наш родной город и вместе с тем столицу высшего изящества. Хотя все невероятно дорого в этих новых странах, где товаров меньше, чем золота, на которое их можно купить, и хотя фунт стерлингов, стоящий двадцать пять франков, почти повсюду является там денежной единицей, необходимо было, даже с риском обанкротиться, уделить определенную сумму на приобретение для Оливье Пена пары ботинок.

Под арками, где расположены различные магазины — книжные, бельевые, меховые, он намечает себе магазин обуви, по-видимому, достаточно снабженный и поджидающий покупателей. Он входит. В магазине нет никого; за конторкой — также никого. Он садится, начинает терять терпенье и, наконец, стучит по паркету своими знаменитыми солдатскими башмаками, издающими какой-то пещерный звук. После длившейся четверть часа стукотни на внутренней лестнице, соединяющей магазин с квартирой, раздается шорох накрахмаленной юбки. Молодая девушка, с черными глазами, которая не могла не показаться прелестной мужчинам, проводившим три года на положении отнятых от груди детей в укрепленной местности, показывается на последней ступеньке.

— Барышня, — говорит Оливье Пен, стараясь призвать на помощь все, что, как ему кажется, он знает по-английски, — я желал бы примерить пару ботинок.

— Это очень легко, сударь, но нужно подождать прихода моего хозяина.

— А скоро он придет?

— Не могу вам сказать, сударь. Он уехал третьего дня на золотые прииски по направлению к Голубым горам. Говорят, что там нашли прекрасную жилу.

Оливье не испытывал никакого желания пробираться по индиго этих гор и ушел в своих грубых сапогах. Но тут австралиец сказался целиком: золотоискатель прежде всего, он искал, ищет и будет искать золото. Все его профессии, вне этой, временны и являются лишь ширмой для устранения подозрений. Не общественного положения ищет он в Австралии, а богатой жилы.

Выйдя из магазина этого фантастического сапожника, мы вернулись в Большую северную гостиницу, где наши товарищи беседовали с местными журналистами. Мы пожали руку г-ну Бонпару, редактору-издателю «Австралийского обозрения», которое он, не будучи знаком с нами, любезно присылал нам время от времени на нашу ново-каледонскую скалу, в такой же мере лишенную новостей, как и зелени. Эта растущая популярность тотчас же привлекла к нам в гостиницу всех нью-кестльских нотаблей, которые выпили за наше здоровье и за

счастливым исход нашего начинания бесконечное число стаканов французских вин. Когда наступил вечер, хозяин гостиницы представил мне счет. Он составлял сумму в семьсот пятьдесят франков, а у нас у всех оставалось не больше ста пятидесяти. А уехать, не уплатив, было недопустимо. Не для того мы вырвались из рук версальцев, чтобы быть арестованными австралийцами. Пришлось волей-неволей снова прибегнуть к декрету о заложниках. Трое из нас останутся в Ньюкестле в качестве гарантии нашей добросовестности, а я с двумя остальными, Груссе и Бальером, отправлюсь на поиски снисходительных работодателей.

Пароход, крейсировавший между Ньюкестлем и Сиднеем, столицей Нового Южного Уэльса, уходил около двенадцати часов ночи. Мы с этим пароходом поехали, и я до такой степени был изнурен этим утомительным днем, что проспал в своей кабине до звонка, возвещавшего о прибытии на место.

Один из наших посетителей указал мне славного француза, который содержал большую гостиницу в Сиднее и брат которого по неожиданной случайности встретился с Эдмондом Адамом в Ла-Рошели, когда мой друг приехал вызволять меня из моей олеронской ямы. Его звали Курвуазье. Он написал своему брату в Австралию, прося его съездить на полуостров Дюк-ос и передать мне привет от семьи Адамов и моей семьи. И вот визит, который он должен был нанести мне, я нанесу ему.

Как только мы высадились, я разузнал, где находится гостиница Курвуазье, и мы отправились туда звонить в четыре с половиной часа утра, веселые и почти игривые, несмотря на временную нужду. Весь дом был погружен в сон. После повторных звонков Курвуазье собственной персоной спустился к входной двери и крикнул нам:

— Кто там?

— Это я, — ответил я ему, — Анри Рошфор. Явился к вам с двумя друзьями просить у вас ночлега.

— Как Анри Рошфор? Разве вы не в Новой Каледонии?

— Я был там, но с прошлой недели меня уже там нет.

— А ведь я должен был на будущей неделе поехать туда передать вам привет! — сказал он, открывая дверь.

— Я это знал, — ответил я. — Поэтому-то я и выехал вам навстречу, чтобы оказать вам почет.

Он не мог притти в себя от неожиданности и разбудил всю гостиницу, которая через несколько минут была на ногах. Нам устроили лучшие комнаты, а мне дали широкую великолепную кровать, на которой я мог, наконец, вытянуться в безмятежном блаженстве. Уже почти целый год прошел, как я утерять привычку пользоваться матрацом, и я закончил на этой постели ночь и даже захватил часть дня, ибо было больше десяти часов утра, когда я раскрыл глаза. Никогда не забуду восхитительного ощущения этого пробуждения между занавесками белой

муслиновой сетки от москитов, в хороших широких простынях, в которых я нежился некоторое время; не забуду и прелестного Курвуазье, который счел нужным лично принести мне чашку прекрасного кофе с молоком.

Этот хороший человек был скоро подвергнут испытанию. Я рассказал ему, как, потерпев крушение в большей мере, нежели Эдмонд Дантес²⁷⁰, потерпевший крушение лишь в воображении Александра Дюма, мы не получили ни от какого аббата Фариа никакого указания о каком-либо кладе. Словом, я ему объяснил, что у нас не было ни су, что трое наших товарищей по побегу находятся в закладе в Ньюкестле, и если их не извлечь из этого ломбарда, они рискуют быть в скором времени проданы с молотка.

— Сколько вам нужно? — спросил Курвуазье.

— Не знаю. Приблизительно полторы тысячи франков.

— Я вам дам три с половиной тысячи, — сказал он мне. —

Это вам даст возможность подождать, пока деньги придут из Франции.

Я поспешил послать тысячу франков Оливье Пену, чтобы выкупить его и остальных наших друзей, и в тот же вечер мы все собрались за столом доброго Курвуазье, у которого можно было пользоваться самой здоровой французской кухней.

Если наш приезд вызвал в Ньюкестле шум, то в Сиднее он вызвал революцию. Немедленно фотография, снятая с меня фотографом Диздери в 1868 году, в период издания «Фонаря», появилась на видном месте в витринах всех бумажных и граверных магазинов. Салон в доме Курвуазье никогда не оставался пустым: делегации следовали за делегациями без передышки. Группа золотоискателей принесла мне четыре или пять бутылок, наполненных: одна — самородками золота, другие — золотым поршком и золотоносным кварцем. Если бы я был человеком, склонным к финансовым предприятиям, у меня было тогда даже больше, чем нужно, элементов, необходимых для учреждения горнопромышленного общества с солидным капиталом. Много компаний золотых приисков, которые, впрочем, обанкротились, недавно выпустили акции, база которых была еще более гадательна.

Но эти манифестации неизбежно должны были иметь и свою оборотную сторону. В глазах ирландских священников, которых очень много в Австралии, мы не переставали быть убийцами архиепископа, и так как свобода уличных манифестаций ничем там не ограничена, они стали публично проповедывать против нас. Так, когда мы шли по направлению к зоологическому саду, быть может, наиболее прекрасному в мире, нам пришлось в предшествующем ему парке проходить мимо групп, посредине которых человек в священническом одеянии о чем-то горячо говорил. Хотя я в то время был столь же невежествен в английском языке, как и в настоящее время — после шести

лет, проведенных в Англии, я все же расслышал среди шума мое имя рядом с квалификацией: «murder of archbishop»*.

К счастью, аудитория нас не узнала, потому что в противном случае нашим бурным существованием был бы, может быть, положен конец общим линчеванием. Это возбуждение к ненависти граждан друг к другу имело неожиданный результат. Молодая служанка-ирландка, прислуживавшая нам в гостинице, решительно заявила г-же Курвуазье, что не останется на ночь вместе с нами под одной крышей. Не то чтобы она испугалась за свою честь, но ее духовник уверил ее, что, как было с Кореєм, Дафаном и Авироном²⁷¹, пол здания развернется и поглотит вместе с нами весь персонал гостиницы. Г-жа Курвуазье, очень умная джерсейка, на которой лежало управление всем домом, тщетно пыталась урезонить загнипнотизированную девушку, — предстоящее полное крушение здания было для нее вне всякого сомнения. Она провела ночь в другом доме, и мы помирали со смеху, видя, как удивлялась она, когда утром следующего дня, вместо руин гостиницы, нашла ее в целости и огонь небесный не причинил ей ни малейшего ущерба. И молодая ирландка стала сомневаться в истинности утверждений своего исповедника. Она решила возвратиться в свою комнату и возобновить свою обычную жизнь. Она довела свое неверие до того, что стала чистить мне платье, и так как моя тактика в отношении к ней сводилась к тому, что я ей щедро платил за ее услуги, она не только привыкла к нам, но, в конце концов, даже стала дарить нам свое уважение, — тем более, что если я ей давал деньги по всякому поводу, то ее исповедник, вероятно, требовал от нее денег.

Сидней, — насчитывавший в то время, когда мы там были, около ста пятидесяти тысяч жителей, а в настоящее время насчитывающий свыше двухсот тысяч, — был в 1874 году большим, еще не установившегося типа городом, пересеченным четырьмя параллельными улицами, окаймленными сероватыми домами, построенными, казалось, не из камней, а из глины. Дома эти, согласно английскому архитектурному стилю, низки и редко бывают выше двух этажей, что позволяет жителям иметь каждому свой home и жить отдельно, без всяких соседей.

Но несколько землянистый вид зданий с лихвою окупается несравненным зрелищем, которое представляет собою вход в гавань. Я не знаю Неаполитанского залива, и мне не хочется его знать с тех пор, как я видел Сиднейский залив.

Море, светлосинего цвета звездного сапфира, окаймленное на обоих берегах белыми скалами, в которых оно мало-по-малу вырезывает широкие спальни, наполовину прикрытые огромными каменными занавесами, постоянно восхищает взор чарую-

* «Убийца архиепископа». — П р и м. п е р е в.

щими картинами. Поставьте кровать в один из этих гротов, возникших без всякого участия человеческого труда, — и никакой ротшильдовский дворец не сможет сравниться с этим жилищем.

За делегациями последовали всякие приглашения. Председатель австралийского парламента — если Алжир, покоренный французами, не имеет палаты депутатов, то Австралия, покоренная англичанами, таковую имеет — пригласил нас на заседание парламента, где нам отведены были места. Там почти все время говорили о нас, о нашем «*escapе*», а на следующий день газеты колонии отметили, что, «согласно господствующим у нашей нации понятиям о приличии», мы, прежде чем сесть, обнажили головы.

К нам пришел с визитом также и доктор Эванс, богатый помещик, устроивший в нашу честь охоту на кенгуру в своем обширном и великолепном лесу, расположенном в нескольких километрах от Сиднея, на берегу реки Параматы. Это был восхитительный день — не для несчастных кенгуру, из которых три было убито, а в четвертого не попали, или, вернее, я не попал бы, если бы я стрелял.

Но если я не покрыл себя кровью этого красивого животного, то покрыл себя комизмом, крикнув своим товарищам, расставленным в лесу:

— О, вот еще один! И какой огромный!

Взрыв хохота, раздавшийся в ответ на мое восклицание, вспугнул животное, и, когда оно уже было далеко, мне со всех сторон стали кричать:

— Но почему вы тотчас же не выпустили в него свой заряд? А между тем вам ведь отвели наилучшее место.

На это я ответил:

— Я не мог себя заставить. Когда я его увидел стоящим и положившим руку в карман, я принял его за кондуктора омнибуса.

Меня высмеивали, но зато я не испытывал угрызения совести за это убийство, — тем более, что мы взяли трех других кенгуру, которых потащили загонщики, и мы могли вдоволь насладиться их вкусным мясом, которое было приготовлено в гостинице поваром.

Нас встретили с такой симпатией в колонии, что даже секретарь французского консульства тайно пришел к нам сообщить о сокрушительном эффекте, произведенном нашим побегом в правительственных сферах.

К депеше агентства Рейтер прибавилась моя депеша Эдмонду Адаму, которую я из экономии составил самым лаконическим языком и из осторожности подписал только своим именем: «Анри». Подписи «Рошфор» было бы слишком достаточно, чтобы моя телеграмма была перехвачена глупыми клерикалами, вождем которых был герцог Брой и которые вообразили бы;

что лучшим способом разрешить вопрос о нашем побеге будет — скрыть самый факт побега.

Как всегда, партия морального порядка попыталась выйти из положения ложью. Через своих служащих журналистов она стала распространять слух, что выдающие себя за беглецов — обыкновенные проходимцы, которые, прикрываясь нашими именами, пытались выманить у щедрого Эдмонда Адама двадцать пять тысяч франков.

Но телеграмма, в которой я у него просил прислать эту сумму, обошлась мне в триста пятьдесят франков, и мало можно найти жуликов, которые рискнули бы затратить такую большую сумму в туманной надежде выудить более крупную сумму, получение которой было чрезвычайно проблематично.

Впрочем, с момента нашей высадки в Ньюкестле, Брой чуть ли не каждый час получал сообщения о наших делах и обо всех наших передвижениях от французского консула, некоего Симона, которого произведенный нашим побегом эффект вывел из себя. Этот чиновник обратился в главную сиднейскую газету с растерянным письмом, в котором выражал удивление по поводу оказанного нам горячего приема и устраиваемых в нашу честь сочувственных манифестаций. Он объяснял манифестантам, что они ошибаются на наш счет, что мы не политические деятели, а уголовные преступники, осужденные за воровство, убийства, поджоги и другие преступления, и население должно держаться в стороне от нас хотя бы для того, чтобы избавить нас от искушения стянуть хронометры у тех, кто неосторожно сблизился с нами.

Мы в той же газете ответили, что если бы мы были осуждены за уголовные деяния, консул Симон легко мог бы это установить, потребовав от Англии нашей выдачи, и если бы это требование было удовлетворено, это доказало бы, что мы действительно не политические деятели. Но он не требовал выдачи, потому что хорошо знал правду. Во-вторых, я обратил внимание этого сбесившегося дипломата на то обстоятельство, что если бы я действительно был приговорен к такому, по существу, политическому наказанию, как ссылка, за убийство и воровство со взломом, он был бы соучастником в моем преступлении, потому что я в качестве члена правительства национальной обороны возложил на него ту функцию, которую он в то время занимал. А на ряду с этим мы предупредили его, что, если он впредь позволит себе печатать на наш счет столь недостойные суждения, мы сочтем себя, к величайшему нашему сожалению, вынужденными потребовать отчета если не у него, то у его ушей.

Наши личности были таким образом вполне установлены в глазах этого субъекта, и сказка о шести рыцарях наживы, пытавшихся произвести биржевую аферу, вымышлена была с начала до конца растерявшимся герцогом Брой, как нам го-

ворил, показывая соответствующие депеши, секретарь консульства.

Среди показанных им нам телеграмм была одна, в которой предписывалось консулу Симону подтвердить слух, что в нашем лице выступают лже-беглые и лже-ссылные. Но Симон, хотя и очень был раздражен, ответил, что такой маневр ни к чему не может привести, потому что никакой ошибки в данном случае не могло быть, так как он сам узнал меня, встретив на одной из улиц Сиднея.

Но задетый, как спесивый индейский петух, каким он и был, де-Брой не хотел сдаваться. Он не переставал повторять известные слова Дюбарри ²⁷² перед казнью: «Еще одну минутку, господин палач!» Когда Эдмонд Адам сообщил ему о нашем побеге, этот председатель совета министров ответил со своим обычным самодовольством:

— При правительстве г-на Тьера подобное событие было бы возможно. При нашем оно невозможно.

К тому же, за несколько дней до нашего побега, который он далек был предвидеть, наш друг, Жорж Перен, позже совершивший поездку в Англию, чтобы перевести нам по телеграфу двадцать пять тысяч франков, предложил разрешить всем ссылным поселиться на самом острове.

— А если они убегут? — возразил морской министр.

— О, на этот счет можете не бояться! — воскликнул адмирал Сессэ. — По суше — они были бы съедены канаками, а морем — они не миновали бы акул.

Хотя Эдмонд Адам в душе был почти уверен в подлинности моей телеграммы, он все же не решался еще сказать о ней моей дочери, жившей тогда в пансионе в Нейи. По субботам она отправлялась к Виктору Гюго, где оставалась до понедельника в обществе жены Шарля Гюго.

Там устроили вечер для молодых девиц, и в гостиной шли танцы, когда вошел слуга и сообщил г-же Гюго, что какой-то молодой человек просит принять его на одну минуту по весьма срочному делу.

— Мадам, — сказал ей залыхавшийся посетитель, — я — чиновник особых поручений при министре внутренних дел и пришел вам сообщить о побеге Рошфора. Знаю, что правительство будет это отрицать, пока это возможно будет, но это несомненный факт. Я считал нужным вам об этом сообщить и прошу вас только никому не говорить о моем посещении.

И вестник радости и надежды ушел. Дочь моя как раз сидела в гостиной, предаваясь грустным думам обо мне.

— Перестань плакать, — сказала ей, вернувшись, г-жа Гюго. — Твой отец спасен. Через месяц, через полтора ты его увидишь.

Впоследствии дочь моя признавалась мне, что если возвращение моего близкого возвращения привело ее в восторг, то

оно ее нисколько не удивило. Я так часто повторял ей, что ссылка будет для меня спасением, что она всегда находилась в ожидании телеграммы о моем освобождении.

Пока она заранее радовалась перспективе узнать подробности этого чудесного побега, мы не без нетерпения видели, как пароходы один за другим уходили в море без нас только потому, что у нас не было денег, чтобы уплатить за свои места. Ибо переговоры Жоржа Перена с лондонскими банками встречали большие затруднения, и ни один банк, против обыкновения, не соглашался принять у него деньги для перевода, опасаясь дипломатических осложнений.

В скуку невольного ожидания внесен был луч веселья очень забавной историей. В гостинице Курвуазье мы познакомились с одной француженкой, даже парижанкой, прелестной блондинкой с прекрасными черными глазами, — сочетание цветов, которое встречается почти только у женщин Дяза.

Так как мы — французы, а она — француженка, то в два дня мы очень близко сошлись. Думаю даже, не смея это утверждать, что Паскаль Груссе тотчас же вошел к ней в большую милость. Мы, конечно, относились к ней с большим вниманием, тем более, что она, по ее словам, поджидала парохода в Нумею, где в течение уже свыше двух месяцев «надеялся на нее» ее муж. Это был некий г-н Д., морской офицер в отставке, который впоследствии занимал пост префекта и не совсем законной женой которого она была. Он занимал крупное положение в никкелевом производстве, которое было организовано английским евреем Хиджинсоном и впоследствии лопнуло.

Она непрестанно рассказывала нам о своем «муже» и, по видимому, опасалась, что наш сенсационный побег вызовет в колонии большие потрясения, которые он, впрочем, действительно вызвал, потому что адмирал Рибур, посланный туда для той горчицы после ужина, которая называется расследованием, сместил почти всех чиновников, начиная с губернатора. Поэтому молодая красавица, именовавшая себя г-жей Д., решилась использовать для спасения своего возлюбленного то влияние, какое она, по ее предположению, имела на нас. Одним утром, за столом, — она почти всегда завтракала вместе с нами, — она с трогательным хладнокровием сделала нам следующее предложение:

— Послушайте, я хочу обратиться к вам с просьбой и попросить у вас большой услуги, в которой вы, как люди галантные, мне не откажете. Вот в чем дело. Ваш побег сильно поколебал положение моего мужа, который после ожидаемой отставки г-на Готье де-ла-Ришери имел бы солидные шансы заменить его на посту губернатора Новой Каледонии. Вы в Сиднее уже свыше восьми дней. Вы видели уже здесь все, что можно было видеть. За неимением денег вы не можете сейчас вернуться в Европу. Сделайте для меня одно — верни-

тесь вместе со мной с почтовым пароходом в Нумею. Это мне доставит большое удовольствие.

— Но вы ведь знаете, — дружески сказал я ей, — что закон в этом отношении категоричен. Всякий беглый ссыльный, захваченный на французской территории или на территории колонии, *ipso facto**, без суда, по простому удостоверению его личности, приговаривается к каторжным работам.

— Не посмеют! — возразила она. — Во-первых, когда человек сам сдается, это совсем другое дело. А затем мой муж заступится за вас.

И она, повидимому, была крайне удивлена, что мы безо всякого энтузиазма отнеслись к ее предложению.

Завязавшиеся между нами и этой восхитительной особой отношения сразу заметно охладели. Отказаться из угождения такой красивой женщине итти навстречу приговору к каторжным работам без срока, — нет, мы были люди совсем бессердечные или, по крайней мере, неблаговоспитанные!

Мы получили письмо с полуострова Дюкос от нашего товарища по ссылке, Арнольда, которому я нанес свой последний визит на земле моего рабства. Он описывал нам животрепещущие подробности относительно потрясающего оцепенения, в которое наш неожиданный побег поверг весь персонал пенитенциарной администрации. О побеге узнали лишь в субботу, в три часа дня, а мы улизнули в четверг, в восемь часов вечера. Как только горестный факт нашего ухода был установлен, все тюремные надзиратели ринулись на те некоторые вещи, которые мы оставили в нашей землянке, и излили все свое бешенство на наши занавеси, которые изорвали на множество кусков. Некоторые начальники боялись, что их привлекут к ответственности за недостаточно строгое наблюдение, а, может быть, даже и попустительство, хотя мы никого решительно не посвящали в нашу тайну. Начали с того, что арестовали несчастного Дюссера, и так как он приехал к нам завтракать в день катастрофы, то его обвинили в соучастии в нашем преступлении. Лодка, поднятая приливом, выбросила большинство камней, которыми мы ее нагрузили, и найдена была в порту без весел, без руля и, главное, без пассажиров. Бедный Дюссер содержался в тюрьме в строгом одиночном заключении, продолжавшемся пятнадцать дней. Впоследствии он даже возбудил против меня процесс, который, конечно, проиграл, ибо в своих бедствиях он мог винить тех, кто его арестовал, а отнюдь не меня. В крайнем случае, он мог еще считать ответственным за них Бастиана, отвязавшего лодку, за порчу которой мы его к тому же вознаградили более чем достаточно.

Затем, как сообщал Арнольд, созвали военный совет для обсуждения вопроса об организации погони за нами. Но, не

* Тем самым.—Прим. перев.

говоря уже о нарушении норм международного права, связанном с такой погоней, так как мы находились на судне, плававшем под английским флагом, — по счастливой случайности вышло так, что из двух судов, поставленных для нашей охраны, одно в это время ушло на Сосновый остров, куда оно повезло для приговоренных к простой ссылке сухари и консервы, а на другом Готье де-ла-Ришери объезжал различные места колонии. Бессильный что-либо предпринять, военный совет вынужден был просто разойтись, ничего не сделав. Но когда губернатор, радостный от полученных во время объезда овец, вернулся в свой деревянный дворец, имевший такой вид, точно он построен был из ящиков из-под сигар, его встретили тревожным сообщением:

— Рошфор бежал!

Губернатор прикусил губы и ограничился таким ответом:

— Меня, конечно, сместят.

В этой оценке положения сказался верный глаз моряка.

Тотчас же после того как выяснилось наше исчезновение, произведена была — ставшая бесполезной — перекличка всех ссыльных. И сцена, как рассказывали потом, разыгралась крайне веселая. Когда названо было имя Грандтиля, один ссыльный ответил за него:

— У Бастиана были сапоги, и он воспользовался ими, чтобы бежать.

А когда производивший перекличку три раза выкрикнул «Рошфор!» — один товарищ сообщил:

— Он уехал, но обещал вернуться.

Милый федерат не подозревал, что дсляет такое точное предсказание. Пятнадцать лет спустя я снова был приговорен к ссылке в Новую Каледонию, и если бы я не бежал до своего ареста, меня бы туда действительно привезли.

Одна — довольно смутная — надежда оставалась у губернатора: может быть, мы не успели еще выехать в море и находимся на каком-нибудь корабле, еще только собирающемся отчалить. Он выстроил поэтому на набережной все находившиеся в его распоряжении отряды жандармерии и морской пехоты. Затем семь солдат с заряженными ружьями спустились в трюм австралийского трехмачтового судна «Ellen Morris», получив распоряжение захватить ссыльных, которых они там найдут, и, в случае малейшего сопротивления, расстрелять их на месте.

Сам капитан «Ellen Morris», прибыв в Сидней, рассказал нам об этой мобилизации вооруженных сил. Солдаты вернулись на берег с пустыми руками, не пустив в ход своих шаспо.

Добрый капитан Лоу с доверием и терпением ждал уплаты обещанных ему десяти тысяч франков, как мы лихорадочно ждали выписанных мною двадцати пяти тысяч, потому что меня очень беспокоил долг нашему спасителю и не менее тревожили три тысячи франков, которые мне дал займы Кур-

вуазье. Наконец я получил от Австралийского банка уведомление явиться в его контору. Жоржу Перену удалось, наконец, откопать в Лондоне достаточно смелого банкира, взявшегося перевести деньги «convicts» *. Мне отсчитали все двадцать пять тысяч в золотых монетах, имеющих там в таком изобилии, что за бумажные деньги там приходится платить премию, и если бы я пожелал получить свои деньги в банковых билетах, я должен был бы уплатить значительно дороже за обмен.

Уплатив наши долги хозяину гостиницы и капитану Лоу, которому я вручил девять тысяч франков для него и тысячу франков для экипажа, я остальную сумму целиком разделил между моими товарищами по побегу, оставив себе только деньги на переезд из Австралии в Америку, т. е. две тысячи франков из двадцати пяти. Я упоминаю здесь об этом потому, что клерикально-помойная печать, совершенно подавленная официальным подтверждением нашего побега и не зная, какие еще новые поклепы взвести на меня, стала инсинуировать, что я прокутил все деньги, переведенные мне Эдмондом Адамом, не дав ни одного су своим товарищам, бродившим без средств и без хлеба по австралийским саваннам, в то время как я путешествовал барином. А между тем я не только отдал им большую часть полученной суммы, но — так как она нам была выслана под моей гарантией, по крайней мере, моральной — я взял на себя ее выплату.

Когда эти жалкие обвинения были выдвинуты против меня, я даже был немного удивлен, видя, как не торопятся протестовать против них те, что воспользовались щедростью Эдмонда Адама. Исключением явились только Оливье Пен и Грандтиль. Несколько лет тому назад я прочел даже в одной газете, за подписью Паскаля Груссе, письмо, которое меня ошеломило. Я ответил цифрами, которые устанавливали, сколько кому было выдано, и опровергать которые было невозможно.

В продолжение нескольких дней реакция, за неимением лучшего, цеплялась за правительственную сказку о рыцарях наживы, присвоивших себе наши имена, чтобы обобрать сострадательных людей. Это был абсурд, но людям так хочется верить тому, чего они желают!

Другие, более осторожные, даже допуская невероятную гипотезу побега, пытались отнестись к ней весело. Один из застрельщиков в бонапартистской партии, некий Жюль Амиг, излагал в газете «Ordre» («Порядок») такие осторожные размышления:

«Рошфор бежал, — подумаешь, какое важное событие! Это делает г-на де-Брой немного более смешным, что вовсе не очень плохо, хотя, быть может, немного несправедливо. Но это

* Каторжанам, ссыльным, осужденным. — Прим. перев.

все! Бежавший Рошфор, — если он действительно бежал, — поедет в Америку, где будет выступать с лекциями, заработает три миллиона и просто станет таким же реакционером, как вы и я, — впрочем, простите, только как вы.

О, скажу вам от души, скажу вам серьезно — общество, которое до такой степени может взволновать побег такого жалкого памфлетиста, как Рошфор, это — общество, которое не уверенно в себе, общество, которое боится!»

«Фигаро» не переставал надеяться, ибо он получил от одного морского офицера (должно быть, от того самого, который сообщил о пресловутом возмущении на борту «Виргинии») письмо, в котором категорически устанавливалась невозможность побега, а читатели, давшие себя провести такими невероятными рассказами, назывались невеждами и болванами.

«Paris-Journal», редактором которого был де-Пен, следующим образом информирован был о нас:

«Не все верят в чудесный побег г-на Рошфора, и один из неверующих прислал нам длинное письмо, из которого мы извлекаем следующие строки:

«Носится слух, что Эдмонд Адам, разыгрывающий из себя республиканца, и друг Рошфора, стал жертвой очень смелого и остроумного мошенничества. Дело произошло в Лондоне, и деньги, данные поклонниками «Фонаря», попали в руки мошенника, сфабриковавшего подложную депешу из Мельбурна. Это бывший convict, некий Ч. Фенвик. Лондонская полиция напала на его следы. . .»

«Gazette de France» («Французская газета») не подтверждала и не опровергала факта побега и формулировала свое выжидательное положение в таких выражениях:

«Г-н де-Рошфор действительно бежал из Нумеи? Или, может быть, он не бежал? Это сейчас весьма спорный вопрос. Но как бы то ни было, имя бывшего редактора «Фонаря» снова на устах у всех, и газеты никогда не уделяли ему больше внимания, чем теперь.

Г-ну де-Рошфору предопределено было стать легендарным. Он мог превратить свою жизнь в очень красивый роман. Зачем сделал он из нее столь скверную книгу?»

Это сожаление представляло собою *pensens* *, ибо я мог написать этот роман лишь при условии, что у меня были бы романтические похождения. А между тем именно этим и попрекала меня старая «Газета». Если бы я продолжал сочинять

* Бессмыслица — Прим. перев.

водевили, я, конечно, никогда не спал бы у людоедов, но роман моей жизни был бы тогда до того скучен, что я остерегся бы преподнести его публике.

Но когда вся недобросовестность, на которую они были способны, должна была отступить перед очевидностью и больше нельзя было сомневаться в реальности нашего возвращения в Европу, журналисты, короткое платье которых не делало их более дальновидными, стали издавать вопли, от которых камни могли расщепиться.

«Великое бедствие свалилось на Францию, — стонала «Patrie» («Отечество»). — Г-н Анри Рошфор действительно бежал».

Но так как нужно было все же продолжать лгать возможно дольше, Вильмессан тут же смастерил такую историю.

Капитан потребовал в момент высадки в Австралии немедленной уплаты десяти тысяч франков, которые я обязался уплатить, и так как их у меня не было, он тотчас же повернул обратно и поехал назад в Новую Каледонию, где и должен был нас сдать.

Другие газеты, не менее растерявшиеся, заявляли, что судно было зафрахтовано в Англии, и советовали объявить войну правительству королевы, виновному в участии в пиратском деянии, совершенном против дружественной державы.

«Patrie» дошла до того, что требовала, чтобы к французскому знамени прикреплен был траурный бант.

Строгий Жюль де-Преси, изучивший кодекс чести в камерах Меленской тюрьмы, объявил меня недостойным числиться в списках светских людей, так как лодка, в которой я бежал, была мне одолжена пенитенциарной администрацией, которой я торжественно поклялся, что не воспользуюсь лодкой для побега. Я нарушил, стало быть, свое обещание и совершил подлинное злоупотребление доверием, что наказуется статьями кодекса, которые он с тем большей точностью перечислил, что их часто применяли к нему.

Я был бы в таком случае первым осужденным, которого послали бы понести свою кару почти за семь тысяч миль в качестве арестованного под честное слово.

Однако из всех циркулировавших версий самой великолепной была та, по которой я из политического ссыльного вдруг превратился в альфонса. Да, молодая американка, красивая, как большей частью красивы все американки, и богатая, как богаты они все, дала пятьдесят тысяч долларов (двести пятьдесят тысяч франков) на наем судна, вооруженного пушками и обслуживаемого солидным экипажем, решившимся освободить меня какой угодно ценою.

Применение силы оказалось ненужным, но я все же принял от молодой девушки, соблазненной моими прелестями, сумму в двести пятьдесят тысяч франков, что мне создавало

среди сутенеров Старого и Нового света совершенно исключительное положение. Мне оставалось лишь заказать себе кепку с вышитым на ней изображением трех палуб отвозившего меня в Европу корабля. Отныне я был пригвожден к позорному столбу, и наиболее яростные поджигатели Коммуны не пожелают признавать меня своим,

И педодующий Риго

Моей руки коснуться не захочет.

Эта позорная авантюра имела большой успех, и я не опасаясь утверждать, что на бульварах, на внешних бульварах, пережили некоторое разочарование, когда узнали, что молодая американка называется Эдмондом Адамом.

Австралия, в которой мы прожили дней пятнадцать, показала мне подлинной землей равенства. Сенатор там женится, никого решительно этим не смущая, на кельнерше бара, принимающей у себя лучшее общество страны, которому она несколькими неделями раньше подавала в баре всякие напитки. Там вообще много пьют, и к девяти часам вечера редко бывает, чтобы языки, и даже языки женщин, не заплетались и веки не тяжелели.

В салоне гостиницы Курвуазье я встретился с одним молодым человеком, носившим великое имя О'Коннелль. Это был не кто иной, как племянник знаменитого патриота. Это родство, которым он имел столько оснований гордиться, не мешало ему постоянно напиваться пьяным до положения риз. Я, по крайней мере, ни разу не видел его в другом состоянии. Это было постыдно и грустно.

Иностранцы должны особенно опасаться в этой новой стране девиц, мечтающих подцепить мужа. Вы встречаете на улицах Сиднея модисточку, относящую работу какой-нибудь заказчице. Вы вступаете с нею в беседу, и она охотно идет вам навстречу. Вы ждете, что она вам назначит цену. Ничуть не бывало! Она, не переставая щебетать, ведет вас к какому-нибудь жалкому пастору, методистскому или англиканскому, который бормочет перед вами несколько непонятных слов, — и готово: вы связаны на всю жизнь с особой, о которой вы не знаете ничего, даже ее фамилии, а иногда и ее имени.

Свобода личности признается там в такой мере, что для брака не только не требуется согласия родителей, но девушка представляет им своего супруга уже после венчания. Мы посещали — из любопытства, так как никто из нас не пил — бар, в котором прислуживала восхитительная молодая девушка, одаренная межтропической красотой, олицетворяющей английский тип Ромнеяв²⁷³ и Томасов Лауренсов²⁷⁴, позолоченный экваториальным солнцем. Австралия — страна прелестных женщин. Но наша кельнерша, мисс Кэри, всех бы их побила на конкурсе красоты. Хотя она с удивительным тактом держала себя среди многочисленных посетителей, которых привлекали ее

великолепные глаза она проявляла в отношении нас особую любовь, объясняющуюся пережитыми нами бедствиями и нашей известностью, а мы не переставали восхищаться этим восхитительным созданием, повидимому, даже не задумывавшимся о своем торжествующем физическом превосходстве. По случайному совпадению она покинула свой бар в тот самый день, как мы покинули Сидней, и местные газеты говорили, что мы ее увезли или, как они выразились, сманили, хотя мы к ее исчезновению не имели никакого касательства.

Между тем наш счет в гостинице Курвуазье разбухал с часу на час, грозя поглотить и даже превзойти все, что у нас было. Мы пошли разузнать, когда отходят ближайшие пароходы, крейсирующие между Австралией и Америкой, и взяли билеты на один из них, «*Syphrines*», пароход Трансатлантической компании.

Кабины, которые мы не без труда получили, представляли собой противоположность комфорту. Это были не столько комнаты, сколько купе спальных вагонов, и на их кровати можно было взбираться лишь с помощью высшей гимнастики. Капитан, который, быть может, был первоклассным мореплавателем, был зато третьестепенным амфитрионом. Подававшееся у него главное блюдо состояло из смеси баранины с рисом, посыпанным кайенским перцем, обжигавшим рот и глотку. Через несколько дней такого питания Пен схватил воспаление кишок.

Пассажиры парохода, почти все крупные богачи, нажили свои состояния главным образом в лесном деле и на скотоводстве. Одна пассажирка, г-жа Лоулесс, возвращалась из Австралии с тремя детьми, дочерью и двумя мальчиками, сколотив себе меньше чем в десять лет состояние приблизительно в три миллиона. А поехала она туда, не имея в кармане ни одного лишнего фунта, покинув Ирландию после волнений, во время которых убит был ее муж, занимавший место капитана в английской армии.

После восьмидневного обратного плавания, во время которого мы были почти на виду у Новой Каледонии, мы причалили к островам Фиджи, населенным неисправимыми людоедами. Английские миссионеры пытались, правда, их усовещевать по этому поводу. Я не знаю, что отвечали им островитяне на их проповеди, но зато знаю, что они могли бы им ответить: «Конечно, вам, у которых есть все, легко возмущаться нашими каннибальскими нравами. Но так как у нас нет ни дичи, ни мяса в мясных лавках, мы вынуждены питаться человеческим мясом, если не хотим набивать себе желудок глиной».

Группа Фиджи состоит из ста пятидесяти островов, из которых только шестьдесят населены, и единственный остров, у которого останавливаются корабли, это — Кентаву. К нему-то мы и причалили после бури, заставившей нас лавировать всю ночь в открытом море, где я, оставшись неосторожно на па-

лубе, едва не был смыт налетевшей волной, точно огромной проволочкой охватившей мне обе ноги. Я кинулся в рубку парохода, чтобы не попасть под другую волну, которая, вероятно, выбросила бы меня за борт.

На улицах Сиднея я встретил молодого инженера из Центральной школы, г-на Бенедикта, двоюродного брата сотруди́ка «Фигаро», Адриена Маркса. Он как-то познакомился со мной на морских купаньях в Кабуре и теперь был крайне удивлен, встретившись лицом к лицу со мною, между тем как он знал, что я должен был находиться на полуострове Дюкос, согбенный под пенитенциарным игом. После этой неожиданной встречи он уже не расставался с нами и вместе с нами поехал в Европу, куда он возвращался, построив сахарный завод в австралийской провинции Квинсленд. Бенедикт был большой хохотун, да и мы непрочь были посмеяться, тем более, что вновь обретенный воздух свободы, который мы так жадно вдыхали, способствовал тому, что мы смеялись по всякому поводу и все превращали в шутку. Поэтому мы совсем не были склонны принять всерьез увещевания ресторатора-капитана, категорически заявившего, что даст нам сойти на берег только в том случае, если мы будем солидно вооружены и если нас будет не меньше пятидесяти человек. В противном случае он не ручался за нашу жизнь, ни даже за наше мясо.

Тем не менее мы знаком позвали одного из дикарей, целой армией выехавших нам навстречу на своих пирогах, и он при виде шиллинга выдвинул свою лодку, а также и свои руки, чтобы помочь нам спуститься в нее.

Я нахожу в своих старых записях ряд подробностей о при- сме, который нам оказали дикари и который был столь же забавен, как и интересен.

Встревоженная толпа ждала нас на берегу, но коралловые рифы так плотно преграждают доступ к нему, что путешественник вынужден пробираться к нему по колено в воде. Мы собирались уже разуться, чтобы пройти в брод, но к нам подбежали молодые парни, которые за шиллинг предложили нам свои плечи, и мы выбрались на плодородную землю острова на спинах канаков.

Мы ступили на фиджийскую почву под неудержимый смех и то пронзительные, то гортанные выкрики сотни туземцев, окруживших нас с явным желанием продать нам возможно больше всяких вещей. Женщины поворачивали нас во все стороны, трогали нас за наши галстуки и рассматривали внимательно все, вплоть до наших манжет, поражавших их своей твердостью и белизной. Некоторые из них с состраданием смотрели, как мы снимали перчатки, которые надели, думая, что придется грести, и их рассматривание сопровождалось отрывистыми фразами, в которых часто слышалось слово «мануйуй». Впоследствии мы узнали, что так почти по всей Океании называют

франдузов. «Мануйуй» на их языке значит — люди, которые говорят «oui, oui» («да, да»).

Видя, как мы снимаем перчатки, они вообразили, что мы сдираем кожу со своих рук. Этим и объясняется та жалость, которую им внушала эта хирургическая операция. Стая ребятишек наблюдала нас на приличном расстоянии и разбегалась, как стадо газелей, при малейшем нашем движении. Я обратил внимание на одну девочку, украшенную парой глаз, занимавших половину ее лица, круглых и черных, словно чернослив. Я хотел подбежать к ней, чтобы взять ее на руки, но она охвачена была таким ужасом и стала испускать такие истерические вопли, убегая в чащу, что я должен был отказаться от своего желания.

В фиджийском типе нет ничего зверского. Мы заметили высокого роста туземца, изумительно походившего на Александра Дюма-отца. Он не был ни чернее его, ни более выраженного негритянского типа.

Девушки, очень молодые, — их свежесть можно было бы буквально назвать «солнечным завтраком», — обладают и совсем скульптурными формами и часто прямо чарующими лицами. Лоб почти выпуклый, губы выпячены не больше, чем у многих европейских женщин, нос редко бывает приплюснутый.

Мы тотчас же узнали имена наиболее интересных из них, ибо они были вытатуированы на их предплечьях по-английски. Протестантские миссионеры, держащие под своим игом все племена побережья, обучили их азбуке, и молодые девицы очень гордятся тем, что могут таким образом изобразить свои имена нестирающимся способом, которым пользуются индейцы, чтобы начертать на своих телах всевозможные фантастические надписи и рисунки.

Мужчины и женщины расположили у наших ног метательные копья, кубышки из тыквы и разные гончарные изделия почти этрусского типа. На все предметы была одна и та же цена: один шиллинг. Слышен был только один тысячекратно повторяющийся крик: «One shilling!» Наш друг Бенедикт, купив великолепное ожерелье из свиных клыков, хотел уплатить за него монетою в два шиллинга. Продавец категорически отказался ее принять и отменил бы сделку, если бы мы не одолжили Бенедикту шиллинговую монету, которая вполне удовлетворила канак.

Эта невероятная страсть к шиллингу была привита фиджийцам протестантской миссией, выполняющей там ремесло католиков в Таити. Ее финансовые и коммерческие приемы ангельски и евангелически просты. Она заставляет туземцев обоего пола работать по сбору кокосовых орехов, масло которых стало источником неисчислимого богатства. Плата за двенадцать часов работы в день составляет один шиллинг. Этот шиллинг выплачивается Восточной миссией. Но как только канак

получил его, Западная миссия немедленно отнимает его у него в виде пожертвования христианскому богу. Каждый фиджиец обязан доставить определенное количество шиллингов в год под страхом всех кар ада, что держит эти робкие создания в состоянии непрерывного страха.

Две девушки, так весело встретившие нас при нашем вступлении на фиджийскую почву, Аламита и Теревини, успели уже, хотя они едва достигли четырнадцатилетнего возраста, передать миссионерам по тридцать семь фунтов стерлингов каждая, — все, что они заработали за всю свою жизнь.

Во время нашего короткого пребывания на островах Фиджи мы выучили несколько слов телеграфически простого канакского языка, специально для того, чтобы объяснить им, что проповедники, живущие на деньги женщин, не заслуживают уважения, но жертвы их эксплуатации обращали к небу взоры, в которых светился такой ужас, что мы сочли бесполезным продолжать выяснять им основы религии богини разума.

Преследуя нас под кокосовыми деревьями своими возгласами «шиллинг! шиллинг!», туземцы руководились только разумным стремлением спасти свои души.

Сперва мы испытывали некоторые угрызения совести, покупая так дешево блестящий перламутр, длинные, в три метра, пики из крепкого дерева и другие любопытные предметы. Но когда мы увидели, на что пошли бы наши деньги, мы перестали настаивать, чтобы с нас брали дороже.

Вскоре прибыл вождь острова в сопровождении своего сына, красивого мальчика лет десяти. Хотя этот сюзерен одного из островов Фиджи пользовался репутацией грозного воителя, победоносно защищавшего укрепленный пункт на одной из высот, имея рядом только пять человек, против наступавшего целого племени, он не гнушался увеличивать свой цивилизный лист, продавая иностранцам приношения, которые получал от своих вассалов. Мы купили у него немного перламутра, а он нас представил собственникам хижин, раскинувшихся по пути нашей прогулки. Глядя на инстинктивную веселость этих народцев, их добродушие и непрерывные взрывы их хохота, отказываешься трагически относиться к тем обвинениям в каннибализме, которые выставляет против них Старый свет.

Однако нельзя тешиться никакими иллюзиями на этот счет. Два англичанина, гг. Давидсон и Гольдсмит, уже в продолжение двух лет жившие в Кентаву, в десяти шагах от берега, где у них был большой магазин, в котором запасались необходимым останавливавшиеся у островов корабли, представили нам огромного детину фиджийца, лет двадцати пяти, с дышавшим весельем лицом, с очень мягкими манерами.

— Здравствуй, Урайя, — сказал Давидсон, говоривший по фиджийски, как природный канак, — где ты был? Вот уже несколько дней тебя не видно было.

— Я прибыл оттуда, — ответил Ураяя, указывая на север. — Я был на пиру, который нам задал Кавинавакави.

— И много там ели?

— Да, сто девушек.

Он сделал это признание без всякого смущения. Г-н Давидсон сообщил нам тогда, что все народцы Океании — в большей или меньшей степени людоеды, но что у фиджийцев каннибализм наиболее упорный и неискоренимый. Они всегда одержимы какой-то страстью к человеческому мясу. Он рассказал нам факты, от которых может дурно стать самому крепкому человеку. Он прочел нам, переводя их, выдержки из книги, опубликованной недавно одним немецким путешественником, имя которого я, к сожалению, забыл. В этой книге автор устанавливает, что христианство лишь в очень немногих местах вытеснило людоедство. Надежда вкусно полакомиться почти всегда является единственной целью возникающих между фиджийскими племенами войн. Сражение — бойня, а пленник — мясо из бойни.

Когда наступает час еды, пленника так крепко связывают, так туго перевязывают ему руки, ноги и рот, что он не в состоянии ни двинуть каким-нибудь членом, ни издать какой-либо звук. Если бы его убивали, прежде чем насыщаться им, ужас был бы хотя бы отчасти смягчен. Но его живым кладут на раскаленный докрасна камень, покрывают слоем земли, на которую набрасывают банановых листьев, и медленно жарят его, запекают, как картофель в мундире, пока он не испускает дух.

Эти кулинарные казни обычно производятся в храме, причем сразу казнят большое число жертв, но лишь одни вожди и жрецы пользуются привилегией принимать участие в этих пышных пиршествах. Хотя доступ в святилище запрещен женщинам, фаворитки всегда умудряются насладиться изысканными кушаньями.

На островах Фиджи преподносят своей метрессе зажаренное предплечье, как у нас — дюжину остендских устриц, брелок или платье цвета бедра нимфы, с тою только разницей, что красивые дикарки предпочитают не платье, а бедро.

Фиджийцы такого высокого мнения о человеческом мясе, что сравнивают с ним все, что они любят. Мясо женщин считается более тонким, чем мясо мужчин. Особенно вкусным считается мозг, предплечье и жирная часть ног.

Но отвращение становится даже сильнее ужаса при виде рафинированного обжорства туземцев, оставляющих трупы побежденных разлагаться целыми неделями, прежде чем употребить их в пищу. Разложение делает наслаждение более острым. Это, вероятно, особые обжоры, члены клуба людоедов, и они, подобно охотникам на куропаток, предпочитают тухлятину свежему мясу. Говорят, что труп врага всегда хорошо

пахнет. Но находить его тем вкуснее, чем сильнее от него не-сет, — значит переходить в жажде мести всякие пределы.

Когда война ничего не «приносит» и нет жертв, вожди, не имея возможности выходить на охоту, отправляются на рынок, т. е. покупать мясо, которое не могут захватить. А жизнь человеческая имеет для них такую малую ценность, что они считают, что слишком переплатили, когда они дают зуб кашалота за молодую девушку. А отец и мать охотно отдают ее за эту цену, считая, что совершили великолепную сделку. Это невероятно, но тем не менее это факт. Отдать за ненужное украшение свое дитя чужому человеку, чтобы он обернул его листьями и живьем зажарили его на раскаленных докрасна камнях, — это превосходит все ужасы, все мерзости, какие только воображение может измыслить. Невольно рисуешь себе образ матери, растирающей зуб кашалота, чтобы он сильнее блестел, в то время как ее дочь зажаривается и готовится по вкусу гостей. Попробуйте после этого писать произведения, в которых восхваляется *голос крови!*

Мы сошли на фиджийский берег раньше других пассажиров, имея в виду вернуться на борт «Cyphrines» после непродолжительной прогулки. Но внезапно забушевала буря на океане, который «тихим» бывает только тогда, когда это ему заблагорассудится. Довериться снова выдолбленной в стволе дерева пироге — значило рисковать быть поглощенными расходившейся стихией. Бенедикт, Оливье Пен и я предпочли быть съеденными Ураией, любезно предложившим нам провести ночь в его хижине.

Он нам постлал три *цыновки*, на которых мы улеглись после ужина из куска огромного картофеля, называемого «иням», и из коробки консервированных омаров, и плохо консервированных, которые нам продали наши английские негодяи и которые мне навсегда внушили отвращение к консервам.

Если наша постель была исключительно жесткая, то сон наш был очень легок и прерывался каждые четверть часа прилодом двух свиней, обнюхивавших нас как бы с целью выяснить себе, кто эти незнакомые гости.

Вместо подушек нам дали куски бамбука, который своей жесткостью причинял боль шее и убивал в зародыше всякую попытку задремать. А Ураия, лежа рядом с нами на такой же *цыновке* и с таким же куском бамбука под головой, блаженно храпел.

На следующий день, утром, я спросил его, не входит ли в ту симпатию, которую он обнаруживал к нам, некая задняя мысль кулинарного свойства. Он ответил на своем своеобразном английском языке:

— Нет, мы не любим мяса белых. Оно слишком соленое.

Нелюбовь к соли врождена народам Океании. Они ее никогда не употребляют и вымачивают в пресной воде даже

только что пойманную рыбу. А между тем все медицинские факультеты учили нас, что соль необходима для переваривания и усвоения нашей пищи. Туземцы же Океании отказываются от всего соленого, едят втрое больше, чем мы, и крепки, как дуб. Г-н Брюнетьер назвал бы это банкротством науки.

Наш приятель, Урайя, который положительно стал нашим братом, представил меня в нескольких хижинах в качестве *гуранга*, т. е. начальника. Мы там вступили в свободную, но не преступную беседу с красивыми бронзовыми девицами, одна из которых, Теревини, забавлялась тем, что, взяв мою левую руку, кусала ее своими великолепными, сверкающими белизной зубами, а потом укусила ее так сильно, что я издал пронзительный крик, от которого она смеялась до слез. Но мой большой палец дня три оставался после этого почти парализованным и в нем произошло излияние крови, давшее сперва синее пятно, которое затем стало зеленым, а потом — желтым.

Как у нас, в Париже, можно видеть плоты, сплавляющие по рекам лес, так на островах Фиджи можно видеть плоты огромнейших размеров, перевозящие кокосовые орехи.

Увидя к вечеру, что мы не вернулись на пароход, капитан «*Syphrines*» стал уже думать, что из нас меж четырьмя докрасна раскаленными камнями сделали тушеное мясо. Поэтому он на следующее утро решил отправиться в поиски. И мы с берега увидели целую флотилию, направляющуюся к нам. На берег вышел весь людской состав нашего парохода. Мужчины были вооружены револьверами, женщины — зонтиками. Все выходило с опаскою, и пассажиры двинулись гуськом, как бы для того, чтобы лучше было защищаться в случае нападения.

Наше появление в наилучшем состоянии рассеяло все опасения. Мы пригласили мужчин выкупаться в пресной воде под водопадом, где нагроможденные скалы образовали ряд глубоких бассейнов. После трехмесячного купанья в вязкой морской воде, это купанье в бурлящей холодной воде меня прекрасно освежило и укрепило. Затем мы все вместе отправились собирать бананы, которые даже в совсем свежем виде, только что сорванные с дерева, я продолжаю находить отвратительными. Остаток дня мы посвятили стрельбе в ствол бананового дерева, и в этом спорте нас всех победила одна молодая американка, жена капитана дальнего плавания.

Этот моряк носил в своем галстукке изумительную жемчужину — самую крупную, самую круглую и наилучше посаженную, какую я когда-либо видел. Я сказал ему, что он, вероятно, очень дорого заплатил за нее. На это он мне со смехом ответил:

— Она мне стоила здорового пинка ногою в спину канаку, только что нашедшему ее.

Если их так дешево добывают в Океании, почему же они так дорого стоят в Париже?

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Желтый карлик» («Nain jaune») или «Журнал искусства, науки и литературы». Основанный в конце 1814 г., журнал сразу привлек обширный круг читателей своими злыми и остроумными нападениями на людей старого режима, ставших хозяевами во Франции, и скоро был закрыт. После различных попыток воскресить его, возродился в 1863 г. под редакцией Орельена Шолля, но особенно крупным успехом стал пользоваться, когда перешел в руки Ганеско, французского журналиста, румына по рождению. Однако Ганеско, несколько раз переметывавшийся то на одну, то на другую сторону, скоро перешел в лагерь бонапартистов, и «Желтый карлик» захирел.

² Вильмессан, Огюст (1812—1879) — газетный издатель, основатель «Фигаро». Для него газета была в полном смысле слова лавочкой. Фонсгрив в своей книге «Как читать газеты» рассказывает, что однажды Вильмессан, выйдя из своего редакторского кабинета в общую редакционную залу, сказал, потирая руки от удовольствия: «Сегодня мы выпустим лучший номер за все время существования нашей газеты: в нем нет ни одной неоплаченной строчки», т. е. не проданной, не оплаченной заинтересованными лицами. И этот «лучший» номер «Фигаро» не был единственным.

³ Абу, Эдмонд (1828—1885) — публицист и беллетрист. Из его произведений в свое время пользовались известностью: «La Question romaine» («Римский вопрос»), и «Roman d'un brave homme» («Роман порядочного человека»).

⁴ Вильмо, Огюст (1811—1870) — журналист. Работал главным образом в «Фигаро» (см. примеч. 14). Свои газетные статьи собрал и издал в ряде отдельных книг.

⁵ Мюрат Ахилл (1847—1895) — принц, внук неаполитанского, короля Мюрата.

⁶ Жером (Иероним) Бонапарт (1784—1860) Наполеоном I посажен королем Вестфалии, где правил с 1807 по 1813 г. После воцарения Наполеона III занимал почетные должности в военном ведомстве.

⁷ Наполеон I (1769—1821) — французский император.

⁸ Делор, Таксиль (1815—1877) — французский журналист и историк. Долгое время был главным редактором еженедельника «Шаривари», где сам помещал часто статьи. Автор в свое время пользовавшейся известностью «История Второй империи»

⁹ Наполеон III (Луи-Наполеон) — сын брата Наполеона I, голландского короля Луи Бонапарта, и дочери первой жены Наполеона I, Гортензии Богарна, — французский император. В молодости имел касательство к итальянским карбонариям и даже участвовал в восстании против папской власти. Когда, после воцарения Луи-Филиппа, во Францию

обнаружилось сильное недовольство народных масс и в стране пронеслась волна восстаний, счел момент удобным для захвата власти и совершил две попытки в этом направлении: одну в Страсбурге (1836), а другую — в Булони (1810). Приговоренный после второй попытки к пожизненному заключению, просидел шесть лет в Гамской крепости и бежал. Приехав во Францию после февральской революции, был избран в Национальное собрание последовательно в нескольких департаментах, а 10 декабря выбран был, главным образом крестьянством, президентом республики. получив подавляющее большинство голосов (5 434 226 против 1 448 107 голосов Кавеньяку). Через три года, 2 декабря 1851 г., совершил переворот, распустив Законодательное собрание, арестовал вождей республиканской и монархической партии, беспощадно расправился с попытками восстаний, и путем плебисцита (всеобщего голосования) продлил свой срок президентства на десять лет. Еще через год, 2 декабря 1852 г., был провозглашен императором. О 18 годах его царствования и об его низложении — в тексте. Умер он в 1873 г. в Числехерсте, в Англии.

¹⁰ Морни, Шарль-Огюст (1811—1865) — побочный (на что Рошфор неоднократно намекает) сын голландской королевы Гортензии и, следовательно, единоутробный брат Наполеона III, усыновленный графом Морни. Финансист и политический деятель. Начал свою карьеру в качестве военного при подавлении восстаний алжирских туземцев, боровшихся против французов. Затем стал промышленником и финансистом, в то же время занимаясь и политической деятельностью. При монархии Луи-Филиппа поддерживал Гизо. В Национальном собрании стоял за Бонапарта. Был одним из его главных помощников в подготовке и осуществлении государственного переворота. В течение царствования Наполеона III был его правой рукой в качестве председателя Законодательного корпуса.

¹¹ Карагель, Клеман (родился в 1819 г.) — известный в свое время журналист, работавший в упоминаемых Рошфором изданиях: «National», «Sjagivari» и др. Автор нескольких беллетристических произведений.

¹² Казанова (называл себя также де-Сенгальт) (1725—1798) — известный авантюрист. Оставил 8 томов воспоминаний, в которых цинично рассказывает о своих бесчисленных любовных похождениях, о том, как он был шулером, альфонсом, кровосмесителем, сводником и пр. Эти воспоминания, переведенные почти на все европейские языки, автор не успел закончить.

¹³ Кремье, Гектор (1828—1892) — французский драматург и либреттист, писавший либретто для Оффенбаха, автора многих известных опереток, и др.

¹⁴ «Фигаро» — газета, основанная в 1854 г. Вильмессаном (см. примеч. 2) в виде еженедельного юмористического издания; потом, в начале 60-х гг., стала «литературной», а с 1866 г. — ежедневной политической и литературной газетой. Когда Рошфор начал в ней сотрудничать, она была только «литературной». Но литературой в ней занимались мало, зато много места уделялось в ней сплетням, скабрезным анекдотам и пр. «То было время, — говорит один писатель, — расцвета «хроники», то фривольной, то скандальной, то подслушивающей за дверьми, то прокрадывающейся впереди и даже в будуары, чтобы потом удовлетворять извращенное любопытство своих читателей». Этого рода «пресса» пользовалась особой симпатией правительства Наполеона III, которое освободило ее от цензуры, как и от штемпельного сбора, благодаря чему она широко распространялась по всей стране. И если таким газетам приходилось иногда иметь дело с правосудием, то отнюдь не за политическое вольнодумство, а за слишком откровенное описание нравов светского и придворного общества Второй империи. Вкусам и запросам этого-то общества и отвечала подобная пресса. Впоследствии «Фигаро» стал заниматься большой политикой, но до сих пор остается «светской» и «полусветской» газетой. и органом финансистов-империалистов.

¹⁶ **Зекон, Альберик** (1816—1887) — журналист и драматург из служащих, вследствие чего назначен был императорским комиссаром при театре «Одеон».

¹⁶ **Сеймур, лорд** (1805—1859) — англичанин, проживший почти всю свою жизнь в Париже и пользовавшийся там большой известностью благодаря своим эксцентричностям.

¹⁷ **Шенье, Андре** (1762—1794) — французский поэт, гильотинирован во время террора. Когда его везли на казнь, он воскликнул, ударив себя рукою в лоб: «А между тем у меня здесь было кое-что!» На эти слова и намекает здесь Рошфор.

¹⁸ **Орсини, Феличе** (1819—1858) — итальянский революционер, совершивший 14 января 1858 г. покушение на Наполеона III за его вмешательство в итальянские дела в пользу папы. Приговорен к смерти и казнен.

¹⁹ **Ламбесса** — селение в Алжире (департамент Константин). В эпоху Римской империи — один из наиболее цветущих городов северной Африки. В эпоху Второй наполеоновской империи — ценитенциарная колония.

²⁰ **Кайенна** — французская часть Гвианы (в Южной Америке). Наполеон III ссылал своих политических противников преимущественно в эту колонию (в которую, впрочем, и до него ссылали), потому что это исключительно губительная для здоровья местность.

²¹ **Мильо Полидор** (1813—1871) — банкир и газетный издатель. Основатель «*Petit Journal*» («Маленькая газета»), впоследствии самой распространённой газеты во Франции.

²² **Мильо Альбер** (1844—1892) — известный в свое время журналист, сотрудник бульварных изданий и автор многих остроумных водевилей и либретто для опереток.

²³ **Шаветт** (литературный псевдоним Эжена Вашетта) (1827—1902) — романист и журналист.

²⁴ «Который мог стать моим Ватерлоо, а стал моим Аустерлицем». В битве при Аустерлице (деревня в Моравии) 2 декабря 1805 г. Наполеон I одержал над русскими и австрийцами одну из своих крупнейших побед. При Ватерлоо (деревня в Бельгии) он окончательно был побежден 16 июня 1815 г. соединенными войсками Англии и Пруссии, после чего был заточен на острове св. Елены.

²⁵ **Персиньи, Виктор**, герцог (1808—1872) — политический деятель. Участник революции 1830 г., затем сен-симонист. Но «нашел» себя лишь тогда, когда Бонапарт был избран президентом республики. Был самым энергичным участником как в подготовке и осуществлении государственного переворота, так и в подавлении последовавших за ним попыток восстаний. После 2 декабря был вознагражден в полной мере — и золотом и почетом. Был одним из постоянных министров Наполеона III.

²⁶ **Додэ, Альфонс** (1840—1897) — французский романист и драматург. Почти все его произведения в свое время переводились на русский язык.

²⁷ **Кастилионе, Вирджиния-Ольдини** (1835—1899) — графиня, прозванная за свою редкую красоту «*la divina contessa*» («божественная графиня»). Она действительно пользовалась одно время большим влиянием на Наполеона III, но это длилось недолго. К тому же это происходило в 50-х гг., так что рассказ Рошфора о глумившемся своеобразно покушении в 60-х годах вряд ли соответствует действительности.

²⁸ **Жиро, Эжен** (1806—1881) — французский художник и гравёр.

²⁹ Геллогабал (204—222) — римский император, известный своими разгулом и жестокостью.

³⁰ Олоферн — библейский главный вождь царя Навуходоносора, убитый Юдифью («Книга Иудифь»).

³¹ Пикар, Эрнест (1821—1877) — адвокат, в последние годы империи — республиканец. Член правительства национальной обороны и министр финансов. 31 октября, когда правительство оказалось в плену, бежал и привел войска, освободившие пленников. Министр внутренних дел при Тьере. Вместе с Жюлем Фавром вел переговоры с Бисмарком о сдаче Парижа. Требовал жесточайшей расправы с Коммуной.

³² Рожар, Огюст (1820—1896) — публицист, член Коммуны. В молодости преподаватель в средних учебных заведениях. В 50-х гг. дважды подвергался аресту за принадлежность к тайным обществам. В 1865 г. основал вместе с Шарлем Лонге журнал «Левый берег» (см. примеч. 33), где и напечатал свои «Речи Лабиния», за которые получил пять лет тюрьмы. После 18 марта — член Коммуны. Успел бежать. После амнистии был сотрудником «*Rappel*» («Призыв»). Автор ряда памфлетов против империи.

³³ «Левый берег» («*Rive gauche*») — еженедельник, издававшийся в 1866 г. революционно настроенными студентами, из среды которых вышли будущие видные деятели Коммуны и дальнейшего социалистического движения (Поль Лафарг, Рауль Риго, Шарль Лонге и др.). В теоретическом отношении журнал определенной физиономии не имел (главные его сотрудники были прудонистами и контистами), но обзоры деятельности I Интернационала и другие статьи свидетельствуют о том, что значительная часть студенчества живо интересовалась пролетарским движением. Журнал должен был прекратить свое существование в виду вынужденного отъезда за границу почти всего состава редакции. В № 23 «Левое берега» был напечатан первый памфлет Поля Лафарга — «Энциклика святейшей яacobинской церкви, единойдержавной и единопостасной».

³⁴ Август, Цезарь Октавий, двоюродный внук Юлия Цезаря (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.) — первый римский император.

³⁵ Гораций (64—8 гг. до н. э.) — знаменитый латинский поэт.

³⁶ Октавий — имя Августа до того, как он был провозглашен императором.

³⁷ Цинна, Кней Корнелий, участвовал в заговоре против Августа, но им помилован. На это автор и намекает.

³⁸ Ламбаль, Мария-Тереза-Луиза (1749—1792) — княгиня. Убита была во время избития народными массами содержавшихся в тюрьмах контрреволюционеров, имевшего место 2—5 сентября 1792 г., причём голову княгини Ламбаль посадили на пику и понесли по улицам. На это и намекает Рошфор.

³⁹ Людовик XVI (1754—1793) — внук Людовика XV, французский король, казненный по постановлению конвента за измену и тайные сношения с иностранцами с целью подавления революции.

⁴⁰ Мария-Антуанетта (1755—1793) — дочь австрийской императрицы Марии-Терезы, жена Людовика XVI. Имела пагубное влияние на своего мужа. Вместе с ним участвовала в измене. Вскоре после него также казнена.

⁴¹ Генрих V. Так легитимисты называли претендента на французский престол, графа Шамборского (см. примеч. 232).

⁴² Сидорен, Поль (род. в 1814 г.) — журналист и автор множества комедий, водевилей и либретто для опереток.

⁴³ К о н ь я р, И п п о л и т (1807—1882) — один из двух братьев Коньяр, совместно написавших множество драм, комедий, водевилей и опереток.

⁴⁴ Б и с м а р к («Железный канцлер») (1815—1898). Захватил в свои руки дело осуществления давнишнего стремления революционной демократии и даже буржуазии (когда последняя еще была сколько-нибудь революционна) к объединению Германии, но осуществил это дело под гегемонией юнкерской Пруссии с железной настойчивостью против прусского ландтага, долго отказывавшего ему в ассигновании необходимых кредитов, иногда даже против своего короля, не останавливаясь ни перед какими средствами. Сперва он вместе с Австрией отвоевал в 1864 г. у Дании Шлезвиг и Гольштинию, причем Пруссия получила Шлезвиг, а Австрия — Гольштинию. Затем, под предлогом, что Австрия не выполняет заключенной между ними конвенции 1865 г., объявил ей войну в 1866 г. и, нанеся ей решительный удар при Садове, в том же году создал Северогерманский союз из 22 государств под руководством Пруссии, присоединив к ней Шлезвиг-Гольштинию, вольный город Франкфурт-на-Майне и три северогерманских государства. Наконец, воспользовавшись спором с Наполеоном III из-за кандидатуры на испанский престол, он решил объявить войну Франции, и когда прусский король заколебался и хотел пойти на некоторые уступки, Бисмарк сфальсифицировал депешу, составив ее в таком духе, что Наполеон III, подталкиваемый своими придворными и желая подкрепить свой шатающийся трон, объявил войну Пруссии. Бисмарк нанес ему жестокое поражение. Германская империя создана была под гегемонией Пруссии. Следующие двадцать лет своего правления Бисмарк в области внутренней политики отдал на развитие промышленности, на борьбу с католической партией центра, на борьбу с социалистами, против которых издан был известный исключительный закон, а в области внешней политики создал союз трех императоров, поддерживал союз с Италией и старался изолировать Францию. Под конец его правления появились значительные трещины в построенном им здании: социал-демократия, несмотря на все преследования, непрерывно развивалась и крепла (на выборах 1890 г. она собрала свыше 1 400 000 голов), и Бисмарк стал заигрывать с рабочими, заговаривая о государственном социализме, а в области внешней политики наметился союз между французской буржуазной республикой и русским царизмом и первые проявления антагонизма между Германией и Англией. Последние годы своей жизни, отставленный от дел Вильгельмом II, Бисмарк провел вдали от Берлина и писал свои мемуары.

⁴⁵ М а н т е й ф е л ь, барон (1809—1885) — прусский фельдмаршал. Принимал участие в войнах против Дании, Австрии и Франции. В 1880 г. назначен штатгалтером (наместником) Эльзаса-Лотарингии.

⁴⁶ Г ю г о, В и к т о р (1802—1885) — знаменитый французский поэт, драматург и романист. Глава романтической школы во Франции. В молодости роялист, он в 1848 г. стал республиканцем. Член Национального и Законодательного собраний, он после переворота 2 декабря бился на баррикадах. Уехав в Англию и поселившись на острове Джерси, он заклеил Наполеона III в едком памфлете «Наполеон-Маленький». Во Францию возвратился только после падения империи. До конца жизни оставался демократом-пауцифистом.

У нас в России он привлек к себе особенные симпатии революционной среды в период «Народной воли» своими сильными статьями по поводу пяти виселиц, воздвигнутых после 1 марта, и по поводу новых десяти смертных приговоров, вынесенных по делу 20-ти (Михайлова, Сухапова и др.). Тогда зачитывались его книгой «Последний день приговоренного к смерти», в которой он выступает страстным противником смертной казни.

⁴⁷ В а й я н, Ф и л и б е р (1790—1872) — французский маршал. Министр изящных искусств и военный министр при Второй империи.

⁴⁸ Ньюверкерке, Альфред-Эмиль, граф (1811—1892) — скульптор. Товарищ министра изящных искусств при Второй империи.

⁴⁹ Верди, Джузеппе (1813—1891) — известный итальянский композитор.

⁵⁰ Руэр, Эжен (1814—1884) — французский политический деятель, бонапартист. Начал свою министерскую карьеру в 1849 г. В 1850 и 1851 гг. принимал участие во внепарламентских министерствах. При империи — правая рука Наполеона. Автор закона о печати, с которого скопирован был и русский закон о печати, изданный в «эпоху великих реформ».

⁵¹ Сулук — президент негритянской республики. В 1849 г. совершил переворот и объявил себя наследственным императором Гаити. В 1859 г. был свергнут.

⁵² Риго, Рауль (1846—1871). Начал свою революционную деятельность среди студенчества в середине 60-х гг. Принимал участие в организации студенческого съезда в Льеже. В 1865 г. был арестован по обвинению в принадлежности к подпольным организациям. В 1869 г. был приговорен к тюремному заключению за резкий памфлет против империи. После 4 сентября примкнул к бланкистам и вместе с ними вел борьбу против правительства национальной обороны. При Коммуне стоял во главе полицейской префектуры, потом был назначен прокурором Коммуны и членом комитета общественного спасения. В разгар кровавой недели, 24 мая, встретившись в улице Гей-Люссак с отрядом версальцев, воскликнул: «Да здравствует Коммуна!» и тут же был расстрелян.

⁵³ Ферре, Шарль-Теофил (1845—1871). Примкнул к революционному движению в последние годы империи и всецело отдался ему. Член Коммуны, где принимал участие в комитете общественного спасения, был помощником Риго (см. примеч. 52) заведывал префектурой полиции. Расстрелян версальцами вместе с Росселем.

⁵⁴ Лонге, Шарль (1833—1903). Принимал участие в студенческом революционном движении в 60-х гг. Примкнул к Интернационалу. За речь, произнесенную на Базельском конгрессе Интернационала, был приговорен к году тюрьмы. Член Коммуны, где примыкал к прудонистам и был одним из редакторов «Официальной газеты». После поражения Коммуны успел бежать в Лондон, где женился на старшей дочери Маркса, Женни. После амнистии 1880 г. вернулся во Францию, занимался журналистикой, был в течение ряда лет муниципальным советником г. Парижа, участвовал в социалистическом движении, но заметной роли в нем не играл.

⁵⁵ Дельво — председатель шестой палаты суда исправительной полиции, в которой разбирались дела о печати. Интересно отметить, что председатель этой палаты всегда получал повышение через год после своего назначения на этот пост. Так было с председателями, назначенными с 1859 по 1865 г. Не мало услуг они должны были оказывать императорскому правительству, если оно столь щедро их вознаграждало. Поэтому оппозиция требовала, чтобы председатели назначались по жребию, а не по выбору правительства.

⁵⁶ Жюль Фавр (1809—1880) — типичный карьерист и буржуазный политикан. Не останавливался перед подлогами, чтобы сколотить себе состояние. Карьера его началась еще до июльской революции. В 1830 г. был против Луи-Филиппа, отстаивая республику. Республиканцем оставался и в первые годы июльской монархии. В 1834 г., после восстания, организованного «Обществом прав человека и гражданина», выступал в качестве адвоката на процессе по поводу этого восстания. В 1848 г. стоял за роспуск «национальных мастерских», за все мероприятия против рабочих и их вождей. К концу империи попал в законодательный корпус, а потом и в правительство Национальной обороны, в котором был вице-председателем и вместе с тем министром иностранных дел. Вместе с Трошю созна-

тельно и нагло обманывал парижан: с одной стороны, уверял их, что война будет продолжаться во что бы то ни стало, а с другой, — уже через две недели после изложения Наполеона III начал тайные переговоры с Бисмарком. При Тьере оставался министром иностранных дел и вместе с Тьером выпроводил у Бисмарка возвращение французских пленников для кровавой расправы с Коммуной.

Рошфор очень туманно упоминает о том, что он выступил в защиту Жюль Фавра в деле, в котором «честь» последнего была поставлена на карту. В действительности дело обстоит так. Коммунар и в то же время член Национального собрания, Мильтер, опубликовал в газете «Le Vring, ug» («Мститель») ряд подлинных юридических документов, доказывавших, что Жюль Фавр, живя с женою одного алжирского проходивца, захватил себе при помощи подлогов огромное наследство, которое сделало его богатым человеком, и что в процессе, который вели с ним законные наследники, он только потому не был уличен в подлогах, что пользовался особым покровительством бонапартистских судов» (К. Маркс, «Гражданская война во Франции». Изд. Института Маркса и Энгельса, стр. 40). Жюль Фавр ни словом не обмолвился об этих подлинных документах, а Мильтер, их опубликовавший, был версальцами расстрелян.

⁵⁷ Пьерри, Жозеф-Мари (родился в 1820 г.) — французский политический деятель и администратор. Преданный слуга Наполеона III. Последовательно префект в ряде департаментов, он в 1866 г. назначен был префектом в Париже. На этом посту свирепо преследовал всякие проявления народного недовольства и всякие республиканские выступления. После 4 сентября бежал в Англию, но вернулся во Францию, когда президентом республики избран был Мак-Магон. Впоследствии был одним из вождей бонапартистской партии.

⁵⁸ Верон, Пьер (1833—1900) — литератор. Главный редактор «Шаривари» (см. примеч. 59). Автор ряда книг, в которых высмеивал нравы современной ему эпохи, и нескольких драматических произведений.

⁵⁹ «Chaigivagi» («Кошачий концерт») — юмористический журнал, основанный в 1832 г. и имевший большой успех в некоторые периоды, когда обострилась борьба с господствовавшим строем. Особенно значителен был успех журнала в первое десятилетие царствования Луи-Филиппа и в конце 50-х гг.

⁶⁰ Луи-Филипп (1776—1850) — сын Филиппа-Равенство, представителя Орлеанского дома (младшая ветвь французских королей). Принимал заметное участие в войнах революции. При реставрации слыл за либерала и после низвержения Карла X, в 1830 г., был провозглашен королем. В его царствование крупная буржуазия достигла, наконец, полного господства. С первых же дней Луи-Филипп вручил власть крупным банкирам и промышленникам — банкиру Лафитту, потом банкиру и промышленнику Казимиру Перье и т. д. Рабочий класс и мелкая буржуазия, главные победители в революции, были жестоко обмануты. 30-е гг. озарены были пламенем ряда восстаний. В 40-х гг. пришла в волнение и мелкая и средняя буржуазия, а когда в 1847 г. начался промышленный кризис, борьба обострилась, и в феврале 1848 г. разразилась революция. Сперва Луи-Филипп думал отделаться либеральными уступками, потом отрекся от престола в пользу своего малолетнего внука, графа Парижского, под регентством его матери. Но революция снесла его династию, была провозглашена республика, и он бежал в Англию, где через два года умер.

⁶¹ Герцог Омальский (1822—1897) — сын Луи-Филиппа, отличившийся жестоким подавлением туземцев Алжира, боровшихся против нашествия французов. Избран был реакционерами членом Академии («бессмертных») в качестве историка.

⁶² «Стоячий судья» — прокурор, выступающий на суде стоя, в отличие от членов суда, исполняющих свои обязанности сидя.

⁶³ Жюльм, Эрнест (1836—1907) — драматург и журналист, в свое время пользовавшийся известностью.

⁶⁴ Дюма-отец, Александр (1803—1870) — знаменитый французский романист, историческими романами которого, мало считающимися с исторической правдой, до сих пор зачитываются во Франции. Написал также несколько пьес для театра, в том числе комедию «Кин, или гений и беспутство», о которой идет речь в тексте. Его сын, тоже Александр (1824—1895) — известный французский драматург.

⁶⁵ Жирарден, Эмиль (1802—1881) — известный в свое время журналист, основатель газеты «La Presse» («Пресса»). В истории газетного дела во Франции известен тем, что первый завел в своей газете, по примеру английских газет, платные коммерческие объявления. Это дало ему возможность сильно понизить подписную плату и таким образом в короткое время в несколько раз увеличить число подписчиков и сделать газету прибыльным делом. Другие газеты, конечно, последовали его примеру, и это был первый шаг к монополизации газетного дела крупным капиталом. В области политической Жирарден был человек беспринципный. Избранный в 1848 г. в Национальное собрание, он поддерживал кандидатуру Луи Бонапарта в президенты республики, а в Законодательном собрании повел против него борьбу. После государственного переворота должен был покинуть Францию, но вскоре возвратился и поддерживал Вторую империю.

⁶⁶ Сарду, Викторисн (1831—1898) — очень плодовитый французский драматург.

⁶⁷ Вольф, Альбер (1835—1891) — известный в свое время парижский журналист (натурализованный немец), работавший главным образом в «Фигаро», и автор множества театральных пьес.

⁶⁸ Людовик XVIII (1755—1824) — брат Людовика XVI. Во время Великой революции был одним из вождей контрреволюционной эмиграции. Вернулся во Францию в 1814 г. под охраной иностранных штыков. Бежал в Ганд, когда возвратился Наполеон, и снова был восстановлен иностранцами после окончательного поражения Наполеона при Ватерлоо.

⁶⁹ Карл X (1757—1836) — брат Людовика XVI и Людовика XVIII, пресмником которого был на французском тронс. Типичный представитель контрреволюционной эмиграции из Кобленца. При нем выдан был возвратившимся эмигрантам миллиард франков «вознаграждения», издан закон против печати, иезуиты поставлены у власти. Это была диктатура аристократии. Революции 1830 г. его свергла.

⁷⁰ Королева Гортензия (1783—1837) — дочь императрицы Жозефины (см. примеч. 71) и графа Богарнэ; была замужем за Луи Бонапартом, голландским королем. Мать Наполсона III.

⁷¹ Жозефина Ташердс-ла-Пажери (1763—1814). В первый раз была замужем за виконтом Богарнэ, гильотинированным в 1794 г. Вторично вышла замуж в 1796 г. за генерала Бонапарта. В 1804 г. стала императрицей. В 1809 г. Наполсон с ней развслся.

⁷² Бари, Антуан-Луи (1795—1875) — скульптор-анималист.

⁷³ Кератри, Огюст, граф (1769—1859) — французский писатель и политический деятель.

⁷⁴ Конти, Шарль-Этьен (1812—1872) — французский политический деятель. Член Национального собрания в 1848 г., ярый сторонник Бонапарта. После государственного переворота — государственный советник, а затем начальник канцелярии Наполсона III. После 4 сентября был одним из верных слуг бывшей императрицы.

⁷⁵ Артаксеркс — персидский царь, царствовавший с 465 до 425 г. до н. э.

76 К а с с и й — один из убийц Цезаря (умер в 42 г. до н. э.).

77 Б а з е н, А х и л л (1811—1888) — французский маршал. Принимал участие в крымской кампании. Был главнокомандующим экспедиционной армии, посланной Наполеоном III для поддержки императора Максимилиана в Мексике. Уже во время этой экспедиции его поведение было довольно подозрительно. Но явным изменником оказался во время франко-прусской войны, когда, после темных переговоров с Бисмарком, он сдал город Метц, решительно ничего не сделав для его обороны. Был предан верховному суду, приговорившему его к смерти. Казнь была заменена пожизненным заключением в крепости, из которой он бежал и погасился в Испании.

78 М и р а м о н, М и к е л е, генерал (1832—1867) — мексиканский политический деятель, поддерживавший Максимилиана и вместе с ним расстрелянный.

79 Х у а р е ц, Б е н и т о (1806—1872) — президент Мексиканской республики во время французской экспедиции.

80 В о й н а с М е к с и к о й — экспедиция Наполеона III в Мексику для поддержки на императорском троне австрийского эрцгерцога Максимилиана, расстрелянного в 1867 г.

81 М а к с и м и л и а н (1832—1867) — эрцгерцог австрийский. Стал императором Мексики в 1864 г., а через три года был расстрелян.

82 Б и л ь о, О г ю с т - А д о л ь ф (1805—1863) — адвокат и политический деятель. В 1848 г. — член Национального собрания. Поддерживал кандидатуру Луи-Наполеона. При империи — министр.

83 «И с к о р е н е н и е п а у п е р и з м а» («L'Extirpation du paupérisme») Когда Луи-Наполеон, видя, как ширится в стране недовольство монархией Луи-Филиппа, решил, что наступил момент попытаться счастья, он выпустил два произведения, в одном из которых, посвященном внешней политике, выступал защитником национальностей, а в другом ратовал за улучшение положения трудящихся.

84 О ' К о н н е л ь, Д а н и э л ь (1775—1848) — вождь ирландских патриотов, пользовавшийся огромным влиянием в своей стране, основатель ирландской национальной Лиги, глава так называемой «ирландской бригады» в английской палате общин, в которой она играла подчас решающую — в парламентском смысле — роль между ториями (консерваторами) и вигами (либералами), особенно в 30-х и начале 40-х гг., но мало добилась для своей страны в виду примирительной политики своего главы.

85 Т р е с т а й о н (действительное имя — Жак Дюпон) — один из вождей роялистских банд, которые в период белого террора при реставрации опустошали южную Францию. Грабили и разоряли они главным образом протестантов. Как правосверные католики, эти бандиты разбойничали шесть дней в неделю, а седьмой день, воскресенье, отдыхали.

86 «M o n i t e u r U n i v e r s e l» («Всеобщий вестник») — официальный орган французских правительств с VIII года революционного летоисчисления (начавшегося с 22 сентября 1792 г.) до 1869 г. Основан был этот орган частным издательством Панкук.

87 Г у с с, И о а н н (Ян) (1369—1415) — чешский реформатор. Родился в зажиточной крестьянской семье. Профессор пражского университета и одновременно проповедник в Вифлеемской часовне, в которой богослужение происходило на чешском языке. Последователь английского реформатора Викальфа (и вместе с ним предтеча реформации), выступавшего в защиту автономии английской церкви и против притязаний папы. Он отвергал догматическую сторону католицизма, поклонение святым, индульгенции, счи-

тал высших церковных сановников антихристами и пр. Когда пражский университет осудил тезисы Виклифа, Ян Гусс выступил в их защиту. Позже, когда в Праге стали торговать индульгенциями, торжачо проповедывал против этой торговли. В 1410 г. его книги были сожжены и он был отлучен от церкви, а еще через несколько лет, на Констанцском соборе, он был обвинен в ереси и, вопреки данному ему императором Сигизмундом обещанию, был предан в руки светской власти и сожжен.

⁸⁸ Доле, Этьен (1509—1546) — одна из крупнейших фигур эпохи Возрождения. За печатание в его типографии запрещенных католиками книг был судим инквизицией и предан в руки светской власти, которая его повесила и сожгла.

⁸⁹ Филипп II Испанский (1527—1598) — король Испании, Нидерландов и пр., ярый католик, при котором особенно свирепо преследовались еретики.

⁹⁰ Альба, Фернандо-Альварес де-Толедо (1503—1582) — терцот; прославился как своим военными подвигами, так и жестокостью.

⁹¹ Гюто, Шарль (1826—1871) — сын Виктора Гюто; романист и публицист. Талантливый сотрудник основанной в 1848 г. его отцом газеты «L'Événement» («Событие»), просуществовавшей до бонапартовского государственного переворота. Автор нескольких романов.

⁹² Сулье, Фредерик (1800—1847) — французский романист и драматург.

⁹³ Луи Блан (1811—1882) — историк и социалист. Как историк известен своими двумя основными работами: «История десяти лет», в которой собран богатый фактический материал о тайных обществах первого десятилетия царствования Луи-Филиппа и их восстаниях, и «История Французской революции». Как социалист стал известен и приобрел большую популярность своей книгой «Организация труда», в которой он предлагает построить социалистическое общество путем организации с помощью и на средства государства общественных мастерских. Луи Блан не был революционером. Он даже отрицал классовую борьбу, которую в то время признавало уже большинство социалистов. Это сказалось во всей его дальнейшей деятельности. Когда он после февральской революции был привлечен в состав временного правительства, с целью успокоить рабочих, он дал себя изолировать в Люксембургском дворце в качестве председателя комиссии, которой поставлена была задача — изыскание способов разрешения рабочего вопроса и улучшения положения рабочих. Когда решено было расправиться с рабочими и их вождями, воспользовались движением 15 мая и июньскими днями, и Национальное собрание выдало Луи Блана прокуратуре для предания его суду. Он бежал сперва в Бельгию, а оттуда перебрался в Англию. В эмиграции вращался в кругу буржуазных демократов, участвуя в их различных выступлениях. Остался он чужд и образовавшемуся I Интернационалу. Возвратившись после падения империи во Францию и избранный членом Национального собрания 216 000 голосов, среди которых были десятки тысяч голосов рабочих, он не только остался чужд и Коммуне и дальнейшему социалистическому движению, но в заседании 21 мая 1871 г., во время кровавой недели, вотировал вместе с большинством благодарность версальской армии за ее поистине бесчеловечную расправу с коммунарами. Это голосование отмечено в «Официальной газете» (L'Officiel).

⁹⁴ Гюто, Франсуа-Виктор (1828—1873) — сын Виктора Гюто. Издал свой перевод полного собрания сочинений Шекспира с вступительными статьями. Публицист.

⁹⁵ Мерис, Поль (1820—1905) — французский публицист, один из основателей газеты «Rappel».

⁹⁶ Р а с с и я, Ж а н (1639—1699) — знаменитый французский поэт-драматург XVII ст.

⁹⁷ Бу л а н ж е, Ж о р ж (1837—1891) — генерал. Будучи военным министром в радикальном министерстве в 1886 г., вел себя провокационно по отношению к Германии, демагогически используя «реваншистское» настроение мелкой буржуазии. Этим создал себе большую популярность, которую попытались использовать монархистские и клерикальные элементы. Началась памятная агитация, вначале имевшая большой успех. На сторону Буланже стали стекаться значительные слои мелкой буржуазии и даже рабочих, недовольных буржуазной республикой, обманувшей их ожидания. Но Буланже оказался трусом и в решительный момент бежал, поддавшись на провокацию министра внутренних дел Констанана, в Бельгию, где через некоторое время покончил с собою.

⁹⁸ Д ю г е к л е н, Б е р т р а н (около 1320—1380) — знаменитый французский полководец, почти совсем вытеснивший англичан с французской территории.

⁹⁹ Бу л а н ж е, Лу и (1806—1867) — художник романтического направления.

¹⁰⁰ Л а п е р у з, Ж а н - Ф р а н с у а (1741—1788) — известный французский мореплаватель XVIII ст. В 1788 г. потерпел крушение. Часть экипажа была убита туземцами, часть спаслась на острове Ваникоро, в Полинезии, где и умерла, часть пропала без вести.

¹⁰¹ Б а р о ш, П ь е р - Ж ю л ь (1802—1870) — один из верных слуг Наполеона III. Выдвинулся когда в качестве прокурора верховного суда в Бурже выступал против участников попытки разогнать Национальное собрание (15 мая) и против участников выступления радикалов 13 июня 1849 г. В марте 1850 г. он уже был министром внутренних дел, а потом принимал участие во внепарламентских министерствах Луи Бонапарта. Содействовал государственному перевороту.

¹⁰² В а к к е р и, О г ю с т (1819—1895) — драматург и публицист.

¹⁰³ К о р н е л ь, П ь е р (1606—1684) — знаменитый французский драматург XVII ст., которого по справедливости называют отцом французской трагедии.

¹⁰⁴ С е н т - А р н о, А р м а н - Л е р у а (1801—1854) — французский маршал. Начал свою карьеру в Алжире. Когда Луи-Наполеон подготовлял свой государственный переворот, он провел его на пост военного министра. На этом посту был одним из организаторов переворота. Впоследствии участвовал в крымской кампании.

¹⁰⁵ М о п а, Ш а р л е м а н ь - Э м и л ь (1818—1898) — французский политический деятель. Министр полиции при Наполеоне III. Известен своим преследованием печати: предостережения, приостановки и закрытия выпали на газеты по самым неожиданным поводам.

¹⁰⁶ П р и н ц е с с а М а т и л ь д а (1820—1904) — из семьи Бонапартов, дочь Жерома (Иеронима), который был королем Вестфалии с 1807 по 1813 г.

¹⁰⁷ К а р р е л ь, А р м а н (1800—1836) — известный французский публицист, выдвинувшийся своими статьями против монархии Луи-Филиппа и господствовавшей буржуазии. Имел большое влияние в первой половине 30-х гг. Убит Эм. Жирарденом (см. примеч. 65) на дуэли.

¹⁰⁸ «N a t i o n a l» — либеральная газета, основанная в начале 1830 г. при участии Тьера; играла заметную роль в революции 1830 г. и в последующих событиях. В 1848 г. была органом правого крыла республиканской партии.

¹⁰⁹ П л а я ш, Г ю с т а в (1808—1857) — французский критик; в течение долгих лет заведывал отделом критики в журнале «Revue des Deux Mondes». Свои главные статьи собрал в отдельных книгах: «Литературные портреты», «Новые литературные портреты» и др.

¹¹⁰ Л а ф о н т е н, Ж а н (1621—1695) — знаменитый французский писатель, создавший себе славу главным образом своими баснями.

¹¹¹ Б а р б ъ е, О г ю с т (1805—1882) — автор знаменитых «Ямбов», которыми зачитывались не только во Франции и в которых бичевались нравы и пороки эпохи июльской монархии.

¹¹² В о л ь т е р (1694—1788) — знаменитый французский философ, историк, драматург, оказавший огромное влияние на дореволюционную Францию. Самый яркий представитель просветительской философии XVIII в. Сотрудник «Энциклопедии». Расчищал путь для буржуазной революции во Франции. Во всех областях своей деятельности проявил изумительную плодовитость. Первое издание его сочинений составило 70 томов.

¹¹³ М о н т е с к ѣ е, Ш а р л ь д е - С е к о н д а, барон (1689—1755) — известный французский политический мыслитель, оказавший особенно большое влияние на общественную мысль первого периода Великой французской революции. Его главный труд — «Дух законов». Центральным пунктом его учения является так называемая теория разделения властей, по которой исполнительная, законодательная и судебная власть должны быть отделены друг от друга, — и в этом он видел основное средство избежать опасностей деспотизма. Эта теория почти в течение всего XIX ст. была краеугольным камнем буржуазного государствоведения, хотя фактически нигде не применялась.

¹¹⁴ С т е н д а л ь (литературный псевдоним Анри Бейля (1783—1842) — французский критик и романист.

¹¹⁵ Б а л ь з а к, О н о р е (1799—1850) — знаменитый французский романист. Автор «Человеческой комедии» — серии романов, в которых дана яркая картина современного ему французского общества.

¹¹⁶ Л а т и н с к и й к в а р т а л — квартал в Париже на левом берегу Сены, где сосредоточены высшие учебные заведения и где живет большинство студенчества. Пока буржуазии приходилось еще бороться за свое господство и она была еще революционна, Латинский квартал играл заметную роль во всех революциях.

¹¹⁷ Б а й а р, А л ь ф р е д (1796—1853) — французский драматург, автор ряда водевилей и комедий.

¹¹⁸ Д е ж а з е, В и р ж и н и (1797—1875) — известная в свое время артистка.

¹¹⁹ С к р и б, Э ж е н (1791—1861) — французский драматург и автор либретто некоторых классических опер.

¹²⁰ «Eugénie» — в свое время очень известная опера Вебера (либретто г-жи де-Шези). Впервые поставлена в 1823 г.

¹²¹ Н а т ь е, Ж а н - М а р к (1685—1766) — знаменитый французский художник-портретист.

¹²² Б у ш е, Ф р а н с у а (1703—1770) — известный французский художник XVIII ст.

¹²³ С а л ь в а т о р, Р о з а (1615—1673) — известный итальянский художник XVII ст. Принимал участие в 1647 г. в Неаполе в восстании против испанцев, во главе которого стоял молодой рыбак Мазаниелло (настоящее имя — Томазо Аниелло) и которое вызвано было тяжелыми налогами и притеснениями. Неаполь подвергся при этом бомбардировке и разгрому, а Мазаниелло был убит.

¹²⁴ Д'Эннери (псевдоним Адольфа-Филиппа Деннери) (1811—1899) — французский драматург, автор известной в свое время мелодрамы «Две сиротки» и либретто некоторых известных опер и опереток.

¹²⁵ Барбес, Арман (1809—1870) — французский революционер, человек исключительной чистоты и преданности своему делу, прозванный «Баяром (т. е. рыцарем без страха и упрека) демократии». В 30-х гг. принимал участие в ряде тайных обществ. За участие (вместе с Бланки) в восстании 1839 г. был приговорен к смертной казни, но помилован. После февральской революции выбран был в Национальное собрание, но за участие в попытке разогнать это собрание (движение 15 мая) снова попал в тюрьму, откуда вышел при обстоятельствах, о которых рассказывает у Рошфора. Являясь мелкобуржуазным революционером якобинского типа, Барбес пользовался значительным влиянием и среди рабочих. С 1839 г., со времени процесса, по которому они вместе привлекались, стал питать ненависть к Бланки, ненависть, которая его часто ослепляла и под влиянием которой он совершил не мало политических ошибок. Умер в изгнании незадолго до падения империи.

¹²⁶ Алько, Луи (1810—1836) — сын содержателя гостиницы. Служил во флоте, затем в пехоте. Выйдя в 1834 г. в отставку, принимал участие в 1835 г. в революционном движении в Каталонии (Испания). В 1836 г. приехал в Париж со специальной целью убить Луи-Филиппа, которого ненавидел за жестокие расправы с революционерами. Покушение было неудачно. На суде держал себя с большим достоинством. Он взял адвоката и защищался сам лишь для того, чтобы опровергнуть попытки прокуратуры набросить тень на его личную честь. Свою политическую программу он хотел изложить в своем «последнем слове», но председательствующий не дал ему говорить. Казнен как «отцеубийца».

¹²⁷ Кавеньяк, Годфруа (1801—1845) — сын депутата конвента, революционер и писатель. Свою революционную деятельность начал еще в 20-х гг. Возмущенный исходом революции 1830 г., в которой он принимал непосредственное участие, он через несколько месяцев принял участие в народных протестах. Привлеченный к суду и оправданный, он стал одним из вождей тайного «Общества друзей народа» и принял участие в майском восстании 1832 г. Снова оправданный судом, участвовал в создании «Общества прав человека и гражданина» и был одним из организаторов апрельского восстания 1834 г. Бежав из заключения в 1835 г., прожил несколько лет в Англии. Вернувшись в 1841 г. во Францию, был одним из главных сотрудников «Réforme». В 1843 г. избран председателем «Общества прав человека».

¹²⁸ Араго, Этьен (1802—1892) — французский писатель и политический деятель. Один из создателей газеты «Réforme», органа радикальной мелкой буржуазии. Участник революций 1830 и 1848 гг. В Законодательном собрании принадлежал к Горе. Принимал участие в качестве начальника батальона в движении 1849 г., после чего должен был жить в эмиграции, из которой вернулся после амнистии 1859 г. После 4 сентября — мэр г. Парижа. После движения 31 октября хотел провести муниципальные выборы, но должен был выйти в отставку.

¹²⁹ Общества «Права человека» и «Времена года». В примечании «Расстрел в улице Трансонэн (220) указывается, почему и при каких условиях Франция покрылась в 30-х гг. сетью тайных обществ. Здесь отметим только, что самыми сильными и наиболее разветвленными обществами были общества «Прав человека и гражданина» и «Времен года». Первое, кроме Парижа, имело отделения в Лионе, Люневиле, Сент-Этьене, Гренобле, Марселе и других крупных городах. Оно имело шансы свалить монархию Луи-Филиппа, но внутренние разногласия, преждевременное выступление в Лионе, отдельное выступление в Люневиле дали возможность правительству одних расстрелять во время выступлений

(апрель 1834 г.), а с другими расправиться на процессе верховного суда в г. Бурже. Второе общество — «Времена года», преобразованное из общества «Families» («Семейства»), насчитывало 1 200 членов. Оно организовало восстание в мае 1839 г., однако слабо поддержанное населением, сочувствовавшим повстанцам, но совершенно неподготовленным и взятым врасплох, потерпело поражение. Вождями его были Барбес, Бланки (оба были приговорены к смерти, но помилованы), Мартен, Бернар, Нетре и др. Это было последнее восстание тайных обществ при июльской монархии.

¹³⁰ **Гарибальди, Джузеппе** (1807—1882) — знаменитый борец за объединение и независимость Италии. Ему пришлось вести борьбу не только против Австрии, давнишней поработительницы Италии, но и против неаполитанского короля и против светской власти папы, которого поддерживал Наполеон III. Участник многочисленных походов и восстаний. Освободил Неаполь от Бурбонов. Дважды пытался освободить Рим. После 4 сентября командовал корпусом добровольцев против пруссаков. Сочувствовал Коммуне и Интернационалу.

¹³¹ **Гамбетта, Леон** (1838—1882) — адвокат и политический деятель. Выдвинулся во время шумевшего «боденовского процесса» (см. прим. 132). Выставив затем свою кандидатуру в законодательный корпус, выступил в парижском округе Бельвиль с программной речью, которая стала известна под названием «бельвильской программы» и на почве которой группировалось радикальное крыло мелкой буржуазии. После падения империи — член правительства Национальной обороны. Тщетно пытался организовать в провинции армию для продолжения войны. Видную роль играл в борьбе с Мак-Магоном, когда последний попытался путем внепарламентского министерства править против создавшегося республиканского большинства («16 мая»). После укрепления республики заметно поправел. Созданное им «великое министерство» было эфемерным.

¹³² **Боденовский процесс.** Когда Бонапарт совершил свой государственный переворот 2 декабря 1851 г. и в Париже были сделаны попытки восстания, на одной из баррикад был убит радикальный депутат Боден при следующих обстоятельствах. Стоявшие неподалеку от баррикады рабочие, помнявшие, как они были покинуты радикальной буржуазией во время июньского восстания 1848 г., стали насмехаться над депутатами, говоря: «эти годны лишь на то, чтобы получать двадцать пять франков в день!» (депутатское жалованье). Тогда Боден сказал: «Я вам сейчас покажу, как умирают за двадцать пять франков». Поднялся на баррикаду — и пал, сраженный пулей.

Когда к концу империи возгорелась борьба с Бонапартом, открыта была подписка на постановку памятника Бодену. Инициаторы подписки привлечены были к суду. Гамбетта, защищавший их, произнес на суде речь, в которой открыто напал на Бонапарта, — речь, создавшую ему такую популярность, что на ближайших выборах он избран был в законодательный корпус одновременно в Париже и в Марселе.

¹³³ **Вителлий** — римский император, царствовавший всего восемь месяцев и низложенный Веспасианом в 69 г. н. э. Отличался разгулом и жестокостью. Ему приписываются слова: «Труп мертвого врага всегда хорошо пахнет, особенно если этот враг — соотечественник».

¹³⁴ **Дерер, Симон** (1838—1900) — рабочий-сапожник. Организовал профессиональный союз рабочих своего ремесла. Делегат на Базельском съезде I Интернационала. Приговоренный к тюремному заключению по делам печати, освобожден революцией 4 сентября. Член Коммуны, после поражения которой уехал в Швейцарию, а затем в Сев.-Ам. Соед. Штаты. После амнистии был одним из основателей марксистской рабочей партии, членом национального совета которой оставался до конца жизни.

¹⁸⁵ «Пророк» — опера известного композитора Мейербера (1791—1864); либретто Скриба, — эпизод из эпохи кресгьянской войны в Германии. Представлена в первый раз в 1849 г.

¹³⁶ «Бельвильская программа» — программа, с которой выступил Гамбетта (см. примеч. 131) на выборах в законодательный корпус в 1869 г. в парижском округе Бельвиль. Обычная буржуазно-демократическая программа, в которой о социализме, конечно, и речи не могло быть. Рошфор считал себя «социалистом», потому что подписал эту программу.

¹³⁷ Генерал Фуа (1775—1825) — один из видных генералов армии Наполеона I. После реставрации старой монархии был либеральным депутатом и боролся против разраставшейся реакции. Пользовался он большой популярностью среди тогда еще либеральной буржуазии. После его смерти шодписка в пользу его семьи дала миллион франков.

¹³⁸ Распайль, Франсуа-Венсен (1794—1878) — ученый (химик) и революционер. Участник тайных обществ при монархии Луи-Филиппа. Член Национального собрания в 1848 г. Участвовал в движении 15 мая, за что предан был суду и приговорен к 6-летнему заключению, по отбытии которого уехал в Бельгию. В последний раз приговорен по литературному делу к годовичному заключению в 1874 г., когда ему было 80 лет.

¹³⁹ Флуранс, Густав (1838—1871) — проф. антропологии, революционер, боровшийся против второй империи. Участник восстания 31 октября 1870 г., член Коммуны. Взят в плен версальцами и убит. Примыкал к бланкистам.

¹⁴⁰ По, Эдгар (1809—1849) — американский писатель, талантливый, но крайне мрачный, с несомненно расстроеным воображением. Автор «Необыкновенных историй».

¹⁴⁰ * «Марсельезой» пользовалась парижская секция Интернационала для помещения своих сообщений членам секции и статей. Она даже считалась в некотором роде ее официальным органом. Вероятно, это устроил Симон Дерер (см. примеч. 134), активный член секции, работавший в «Марсельезе». Сам Рошфор придавал так мало значения этой близости своей газеты к Интернационалу, что даже не отмечает этого факта в своих воспоминаниях.

В «Марсельезе», между прочим, поместила две статьи старшая дочь Маркса, Женни, по поводу недопущения в палату общин избранного депутатом ирландского революционера О'Доннван-Росса, сравнивая этот факт с допущением в бонапартовский законодательный корпус тоже осужденного Рошфора. Маркс не без гордости сообщил Энгельсу об этом дебюте своей любимицы, а Энгельс, как известно, особенно интересовавшийся ирландским движением, поздравил молодую дебютантку и даже устроил по этому поводу небольшую выпивку.

¹⁴¹ Мильер (1817—1871) — рабочий-бочар. Участник революции 1848 г. Видный деятель Коммуны, где примыкал к бланкистам. Вместе с Бланки и другими принимал участие в движении 31 октября. Избран был в члены Национального собрания, но вместе с некоторыми другими деятелями Коммуны отказался в нем участвовать. Видный журналист. Основатель «Марсельезы». В газете «Мститель» опубликовал документы о подлогах Жюль Фавра (подробнее в примеч. 56). Редактор «Коммуны». По настоянию Фавра расстрелян версальцами.

¹⁴² Груссе, Паскаль (род. в 1845 г.) — журналист, последователь Бланки, член Коммуны. После амнистии продолжал работать в социалистической партии и долгое время был ее депутатом в парламенте, но потом от социализма отошел.

¹⁴³ Арну, Артур (1833—1895) — писатель и член Коммуны. До амнистии жил в эмиграции. Основатель газеты «Journal du peuple» («Народная газета»). Автор «Народной и парламентской истории парижской Коммуны». После амнистии 1880 г. стоял в стороне от социалистического движения.

¹⁴⁴ «Субъект, который прогуливался по пляжу в Булони с орлом на плече и куском свинины в своей шляпе» — намек на высадку Бонапарта в 1840 г. в Булони с целью объявить себя императором.

¹⁴⁵ С о б р и е, М а р и - Ж о з е ф — французский революционер. Начал свою деятельность при Луи-Филиппе, участвуя в тайных обществах и поддерживая своими средствами борцов и их семьи. В 1848 г. участвовал в движении 15 мая. Был в 1848 г. редактором газеты «Парижская коммуна» («Commune de Paris»). Приговоренный в 1848 г. к семи годам тюрьмы, вышел из нее в 1852 г. и через два года умер.

¹⁴⁶ «...обвиняли меня также в том, что я нападал на Гамбетту». В действительности Рошфор обвиняли не в том, что он нападал впоследствии на политику Гамбетты, а в том, что он поносил лично Гамбетту несмотря на то, что лично был ему весьма многим обязан. В дальнейшем Рошфор рассказывает, что когда он после Коммуны очутился, в ожидании ссылки в Новую Каледонию, в Олероне, где содержался в ужасающих условиях, за него хлопотал Эдмонд Адам и что тот же Адам послал ему по телеграфу 25 000 франков, когда он после побега из Новой Каледонии очутился без всяких средств. Это неправда. Рошфор знал, что в действительности хлопотал за него Гамбетта и что Гамбетта же собрал те 25 000 франков, которые ему посланы были в Сидней. И тем не менее Рошфор самым грубым образом нападал на Гамбетту лично. Став впоследствии антисемитом, Рошфор не мог простить Гамбетте и того, что даже не он сам, а его товарищ по правительству Национальной обороны, Кремье, предоставил французское гражданство алжирским евреям, и объяснял это тем, что один из предков Гамбетты был евреем.

¹⁴⁷ Т а р к в и н и — царский род в древнем Риме, давший двух царей, из которых второй, царствовавший от 534 до 509 г. до н. э., согласно преданию вызвал своими жестокостями и разгулом общее недовольство, приведшее к свержению царской власти и к объявлению республики.

¹⁴⁸ А р а г о, Э м м а н у э л ь (1812—1896) — сын знаменитого астронома, политический деятель. Член Национального и Законодательного собраний в 1848 и 1849 гг. Будучи послом в Берлине, вышел в отставку тотчас после избрания Бонапарта президентом республики. В 1869 г. — член законодательного корпуса, в качестве которого вошел в состав правительства Национальной обороны — сперва министром юстиции, а затем министром внутренних дел. Член Национального собрания 1871 г., затем сенатор и посол в Берне.

¹⁴⁹ К о н с ь е р ж е р и — старая тюрьма, находящаяся во «дворце правосудия». Из нее вывозили во время Великой революции приговоренных революционным трибуналом к смертной казни. Потом — тюрьма для некоторых категорий подсудимых.

¹⁴⁹ * О л и в ь е, Э м и л ь (1825—1905) — адвокат, политический деятель, академик. Приобрел известность в качестве способного адвоката и выдающегося оратора. В 1857 г. избран как республиканец, депутатом в законодательный корпус от Сенского департамента. Принадлежал к «пятерке» (Les «Cinq») т. е. к пяти республиканцам, заседавшим тогда в законодательном корпусе. Переизбран в 1863 г. Но когда империя заколебалась в своих основах под напором всеобщего недовольства, выступил глашатаем «либеральной империи». 2 января 1870 г. Наполеон III поручил ему составить министерство, в котором он занял место премьера и министра юстиции. Признательные реакционеры провели его в число «бессмертных» (в академии). Выступил сторонником войны с Пруссией, заявив в законодательном корпусе, что «с легким сердцем» берет на себя ответственность за эту войну. Но когда поражения стали следовать за поражениями, законодательный корпус его сверг (9 августа). Предвидя крах, уехал в Италию, откуда вернулся после избрания Мак-Магона. Попытки вернуться к поли-

тической деятельности были неудачны: на выборах терпел поражения. Оставил мемуары о периоде «либеральной империи».

¹⁵⁰ А м у р у, Ш а р л ь (1843—1885) — рабочий-шляпочник. Член Парижской Коммуны, где принадлежал к «большинству». Был приговорен к бессрочным каторжным работам, которые отбывал в Новой Каледонии. После амнистии принадлежал к фракции аллеманистов социалистической партии, был членом парижского муниципалитета, а в 1885 г., незадолго до смерти, был выбран рабочими Сент-Этьена в палату депутатов.

¹⁵¹ Л у и Н у а р (1837—1901) — литературный псевдоним Луи Сальмона, автора многочисленных приключенческих романов, брат убитого Виктора Нуара (действительное имя — Иван Сальмон), о котором рассказывает Рошфор.

¹⁵² П е р - Л а ш е з — старое кладбище в Париже, где похоронено много знаменитостей. Место последнего сражения уже поверженной Коммуны с версальцами. Туда отступил последний отряд, героически отбивавшийся от наступающих. Последние остатки отряда отисснуты были к высокой стене, где все были расстреляны и свалены в одну общую могилу, из которой, по рассказам современников, в продолжение долгих часов раздавались стоны недобитых. Эта стена — «Стена федератов» — до сих пор является как бы памятником коммунарам. Каждый год в дни «кровавой недели» парижский пролетариат приходит к ней, увешивает ее всю венками и возобновляет клятву продолжать дело павших героев.

¹⁵³ В а л л е с, Ж ю л ь (1832—1885) — литератор, социалист, автор в свое время известной книги «Жак Вентра».

¹⁵⁴ С и м о н, Ж ю л ь (псевдоним Жюля Сюис) (1814—1896) — французский политический деятель. В 1848 г. — член Национального собрания, где поддерживал Кавеньяка. Решительный противник Бонапарта. После переворота отказался в качестве профессора Сорбонны, где преподавал философию, принести присягу императору и лишился кафедры. Депутат с 1863 г. в законодательном корпусе. Был в решительной оппозиции к империи. Член правительства Национальной обороны, где был министром народного просвещения и поддерживал Жюля Фавра. Министр народного просвещения в кабинете Тьера; был его верным сторонником. Впоследствии неоднократно был министром и раз министром-президентом, стремившимся ладить со всеми партиями и поэтому восстановившим все партии против себя.

¹⁵⁵ П и ш е г р ю, Ш а р л ь (1761—1804) — французский генерал, отличившийся во время войны Великой революции. Арестованный в качестве участника заговора против Наполеона, он был, как предполагают по распоряжению последнего, задушен в тюрьме своим собственным галстуком.

¹⁵⁶ Ф о н т е н е б л о и К о м п ь е н ь — старинные дворцы, места отдыха и охоты королей и Бонапарты, а в настоящее время — президентов республики. Рошфор хочет сказать, что после этого и Наполеон III, пожалуй, станет его приглашать к себе.

¹⁵⁷ Ж о р ж З а н д (1804—1876) — псевдоним известной писательницы Авроры Дюпен, баронессы Дюдеван. Автор многих романов, в которых главным образом отстаивала эмансипацию женщин и свободу чувств и боролась против современной семьи и ее угнетения. В период, когда и у нас шла борьба за эти начала, особенно в 60-х и 70-х гг., ее романы, почти все переведенные на русский язык, читались нарасхват и имели большое влияние. Принимала деятельное участие в революции 1848 г.

¹⁵⁷ * По поводу ареста Рошфора Энгельс в письме от 9/II 1870 г. писал Марксу: «Итак, Рошфора они спокойно законопатили. Очевидно, Оливье хочет столкновения. Попытки устройства баррикад окажутся, вероятно, проделками «белоблузников». Если же Оливье столкновения не хочет, то

его хочет за его спиной Бонапарт» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, XXIV, стр. 285).

Возвращаясь к этому вопросу в следующем письме, он пишет: «Было бы очень хорошо, если бы почтенный Рошфор.. застрял теперь на некоторое время в тюрьме. «Petite presse» (мелкая пресса) очень хороша, но когда она вытесняет все остальное, она начинает надоедать. На всей литературе этого сорта все еще лежит печать ее происхождения от *l'ancien régime* (в данном случае — второй империи. — Е. С.)». Там же, стр. 290.

Наконец в письме к жене Маркса Энгельс пишет: «Хуже всего то, что в случае революционного движения в Париже некому стать во главе его. Рошфор наиболее популярен, а единственно пригодный — Бланки — кажется, забыт». Там же, стр. 384.

Таким образом Энгельс уже тогда, в расцвете популярности Рошфора, совершенно правильно оценивал и Рошфора и его литературу.

¹⁵⁸ **Маршал Канробер** (1809—1895) — французский военный деятель, командовавший экспедиционной армией в Крыму и, в отличие от других генералов, мужественно боровшийся с немцами в 1870 г. Один из палачей Коммуны.

¹⁵⁹ **Дакоста, Гастон** (род. в 1850 г.) — участник Коммуны, где занимал место помощника прокурора. Был приговорен к смертной казни, замененной бессрочными каторжными работами. Автор книги «Пережитая Коммуна».

¹⁶⁰ **Жеран** — ответственный пред судом за газету. Фактически обычно не имеет никакого касательства ни к изданию, ни к редактированию газеты, — «редактор для отсидки». Только в исключительных случаях, когда это диктуется политическими соображениями, жеран является действительным редактором газеты.

¹⁶¹ **Капуя** — итальянский город. Карфагенский генерал Аннибал, захватив его (216 г.), остался там на зиму со своим войском. Жизнь в Капуе доставляла столько наслаждений, что армию Аннибала стали обвинять в том, что она утерала под ее влиянием свой воинский дух. Отсюда употребленное Рошфором французское выражение — «наслаждения (или отграда) Капуи».

¹⁶² **Малон, Бенуа** (1841—1899) — известный французский социалистический деятель и писатель. В ранней молодости пастух, затем батрак, он лишь 20-ти лет научился читать и писать. Приехав в Париж, стал работать в качестве маляра, отдавая все свободное время самообразованию. Скоро стал социалистом. В 1866 г. примкнул к Интернационалу, на Базельском съезде которого был делегатом. При империи два раза подвергался судебному преследованию за революционную деятельность (между прочим — по поводу известной в истории французского рабочего движения забастовки в Крезо). Член Коммуны, где примыкал к группе Интернационала. Избран от Парижа депутатом в Национальное собрание. После поражения Коммуны перебрался в Швейцарию, где продолжает работать в Интернационале и над своим самообразованием. После амнистии вернулся в Париж, где основал социалистическую газету «Эмансипация» и журнал «Социалистическое обозрение» («Revue socialiste»), редактором которого оставался до конца жизни. Оставил после себя много трудов. Главные из них: «Интегральный социализм», «Новая партия» и «История социализма». Ясной и продуманной теории у Малона не было. К марксизму относился враждебно. В практической деятельности — крайний оппортунист.

¹⁶³ **Прудон, Пьер-Жозеф** (1809—1865). Приобрел большую известность своей книгой «Что такое собственность», которую Маркс считал его лучшей работой. Из других его книг большое влияние имели «Экономические противоречия или философия нищеты» (которую Маркс подверг уничтожающей критике в своей «Нищете философии») и «О способности рабочего класса к политической деятельности». По справедливости считается

родоначалнчником анархизма. Бакунин, познакомившийся с ним в первый свой приезд в Париж, стал его последователем и многое у него позаимствовал. Хотя Прудон и подверг всесторонней критике понятие собственности и пришел к выводу, что «собственность — это кража», однако он не был коммунистом. Он был только против крупной частной собственности, потому что она является результатом эксплуатации и средством эксплуатации. Мелкого собственника, который никого не эксплуатирует и которого никто не эксплуатирует, он берет под свою защиту. Больше того, мелкий собственник — предмет всех его заветных дум, он стоит в центре всей его системы. Для него он выдвинул свой план дарового кредита и обменного банка, в котором производители будут обмениваться продуктами своего труда, причем сырье и орудия труда будут ими приобретаться при помощи дарового кредита. Так, без насилия, мирным путем разрешается социальный вопрос, так создается свободный союз свободных ассоциаций. Естественно, что эти планы пришлось по душе мелкой буржуазии, столь многочисленной в те времена во Франции. Прудон был наиболее ярким ее представителем, властителем дум ее последующих идеологов.

После февральской революции избран был членом Национального собрания и создал свою газету «Представитель народа» («Representant du peuple»), в которой критиковал одинаково все партии и направления. В 1849 г. за статью против Бонапарта был приговорен к трем годам тюрьмы. Во время империи подвергался и другим репрессиям за свои произведения.

¹⁸⁴ Ба с т и а (1801—1850) — французский экономист. Основная его работа — «Экономические гармонии». В ней он отстаивает ту мысль, что экономические интересы, предоставляемые самим себе, своему «естественному» развитию, при полной свободе конкуренции, должны вести к гармонии, к общему благу. Отсюда полное отрицание вмешательства государства в экономические отношения, отрицание социализма, защита свободной торговли. Уничтожающая критика его взглядов дана Марксом.

¹⁸⁵ Д ю в а л ь (1841—1871) — рабочий-литейщик. Член французской секции I Интернационала. Примыкал к бланкистам. Избран был в военную и исполнительную комиссии Коммуны. Один из наиболее мужественных и смелых военных руководителей национальной гвардии.

¹⁸⁶ П е н, О л и в ь е (1845—1885) — публицист. Участвовал в Коммуне. После побега, о котором рассказывает Рошфор, поселился в Швейцария, был корреспондентом разных газет, между прочим, с театра русско-турецкой войны. После амнистии работал в газете Рошфора «Непримиримый».

¹⁸⁷ Л е б е ф, Э д м о н д (умер в 1888 г.) — французский маршал; военный министр, когда решался вопрос об объявлении войны Пруссии.

¹⁸⁸ М а к - М а г о н, М а р и - Э д м - М о р и с (1808—1893) — французский маршал и политический деятель. Принимал участие в крымской кампании, одержал победу над австрийцами в 1859 г. при Мадженте (за что получил титул герцога Маджентского), участвовал в франко-прусской войне. Исключительно зверскую жестокость проявил, когда назначен был главнокомандующим армии против Коммуны. 24 мая 1873 г. избран был Национальным собранием президентом республики, чтобы подготовить переход власти к «Генриху V», т. е. графу Шамборскому (см. примеч. 232). В январе 1879 г., до истечения срока своего президентства, вынужден был выйти в отставку.

¹⁸⁹ Г и м н Р у ж е д е - Л и л ь — марсельеза. Руже де-Лиль (1760—1836) был артиллерийским офицером. Он составил свой гимн в 1792 г. и назвал его «военная песнь рейнской армии». Но так как впервые ее пели в Париже марсельские федераты, ее окрестили марсельезой, т. е. марсельской песней.

¹⁹⁰ Г е н е р а л Б у р б а к и (1816—1897) — один из главных зачищников франко-прусской войны. Командовал восточной армией.

¹⁷¹ «Заговор в Блуа». «Заговор», если это можно назвать заговором, имел место не в Блуа, а в Париже; в Блуа же происходили заседания верховного суда, разбиравшего это дело, созданное провокаторами. В нем были замешаны будущие деятели Коммуны. Дело это разбиралось в июле 1870 г., т. е. незадолго до падения империи.

¹⁷² Дело на бульваре Лавиллетт — нападение бланкистов на казарму пожарных с целью захвата оружия. Попытка оружия не принесла, но Бланки вообще считал необходимым закалять своих сторонников в таких революционных выступлениях.

¹⁷³ Бланки, Луи-Огюст (1805—1881) — знаменитый революционер и социалист, давший свое имя одному из наиболее деятельных течений французского социализма. С ранней юности до конца его жизни не было ни одного тайного социалистического общества, ни одного народного революционного движения, к которому он не был бы причастен. Уже 19-летним юношей он член тайного республиканского общества (1824). В 30-х гг., ознаменованных рядом восстаний, организованных сменявшими друг друга тайными обществами, он является их душой. В 1839 г., после одного из таких восстаний, он приговаривается к смерти, замененной пожизненными каторжными работами. В 1848 г. организует силы для свержения временного правительства и за участие в попытке разогнать Национальное собрание присуждается к 10 годам тюрьмы. 31 октября 1870 г. участвует в движении против правительства Национальной обороны и снова приговаривается к пожизненной каторге. В общем Бланки провел в тюрьме 37 лет своей жизни.

Основной работой Бланки является его двухтомная «Социальная критика». Важны также для знакомства с его взглядами и его «Отечество в опасности», «Армия рабов и угнетенных» и его газета «Ни бога, ни господина». Путь к социализму Бланки видит в захвате власти социалистическим авангардом, который утверждает свою диктатуру и постепенно преобразует общество на социалистических началах.

И этого непреклонного революционера Рошфор для своих надобностей выставляет человеком, который пошел бы на соглашение с палачами Коммуны!

Бланки вернулся в Париж после амнистии в 1880 г., и умер в 1881 г. 76 лет от роду.

После его смерти 20 слишком лет просуществовала еще во французском социализме отдельная фракция бланкистов, но в последние годы своего обособленного существования она, под влиянием своего вождя — Эдуарда Вайяна, была по своему направлению революционно-марксистской партией.

¹⁷⁴ Эд, Эмиль (1844—1888) — по профессии фармацевт. Последователь Бланки. Участвовал 14 августа 1870 г. в нападении на казарму пожарных. Приговорен к смерти, но спасен революцией 4 сентября. Член Коммуны и один из ее генералов. После поражения Коммуны успел скрыться. После амнистии — деятельный член организации бланкистов.

¹⁷⁵ Герцог Энгийенский (1772—1804) — сын принца Конде (из семьи Бурбонов). По приказу Наполеона I был схвачен на немецкой территории, привезен в Париж и расстрелян.

¹⁷⁶ Трешю, Луи-Жюль (1815—1896) — французский генерал. Об его карьере достаточно сказано в тексте.

¹⁷⁷ Прудон, Пьер (1758—1823) — французский художник.

¹⁷⁸ Баррас, Поль-Франсуа-Жан-Никола, виконт (1755—1829) — политический деятель. В ранней молодости — офицер, принимал участие в индийской кампании, затем, промотав свое состояние, вынужден был выйти в отставку. Избранный в конвент и посланный с миссией в армию, он в Тулоне близко сошелся с Бонапартом. По возвращении в Па-

риж примкнул к термидорианцам, лично отправился арестовать Робеспьера и затем стал одним из свирепых вождей термидорианской реакции. Член директории. Хотя много содействовал возвышению Бонапарта, но последний, достигнув власти, выслал его из Парижа в провинцию, где он провел остаток своей жизни.

¹⁷⁹ «Скучающее общество» («Le Monde où l'on s'ennuie») — комедия Пайерона, высмеивающая педантичные и лицемерные круги, в которых создаются литературные и политические репутации. В первый раз представлена в 1881 г.

¹⁸⁰ Дюкро (1817—1882) — один из видных генералов Наполеона III, потерпевший ряд поражений во время франко-прусской войны. Перед последним сражением, которым руководил (в Шампиньи), торжественно заявил, что либо победит, либо останется на поле сражения, но живым и побежденным не вернется. Однако потерпел жестокое поражение — и вернулся живым и невредимым.

¹⁸¹ Прадье, Жемс (1794—1852) — известный скульптор, автор обеих «Муз» знаменитого Мольеровского фонтана в Париже.

¹⁸² Полле, Жозеф-Мишель-Анж (1814—1872) — известный скульптор.

¹⁸³ Паш, Жан-Никола (1746—1823) — деятель Великой французской революции. Сперва последователь жирондистов, он затем отделился от них, стал военным министром и, быстро привлеки к себе симпатии парижских низов, стал парижским мэром. Обвиненный в принадлежности к эбертистам (см. примеч. 211), он был освобожден Комитетом общественного спасения. Когда реакция окончательно восторжествовала, он отошел от политики и удалился в провинцию, отказываясь от всех предложений Наполеона.

¹⁸⁴ Шометт, Пьер-Гаспар (1763—1794) — прокурор-синдик Парижской Коммуны, игравший крупную роль в событиях Великой французской революции в период между фактическим низложением короля (10 августа 1792 г.) и гибелью Робеспьера (27 июля 1794 г.). Париж был разделен на 48 секций, каждая из которых являлась самоуправляющейся единицей. Высшим органом в секции было общее собрание правоспособных граждан. Высшим органом парижского самоуправления была коммуна Парижа. В ней большим влиянием пользовались эбертисты, вождь которых был товарищем прокурора Коммуны. Шометт был гильотинирован вместе с эбертистами.

¹⁸⁵ Анри, Эмиль (1872—1894). В 1892—1894 гг. пронеслась по Франции волна бессмысленных покушений анархистов. В 1892 г. Равашоль взорвал дома председателя и прокурора, участвовавших в одном анархистском процессе. В 1894 г. рабочий-анархист Вайян бросил бомбу в палату депутатов, никого, впрочем, при это не ранив. Оба они были казнены (Равашоль, кроме того, обвинялся в убийствах с целью ограбления). Тогда 22-летний юноша Анри (Эмиль) бросил бомбу в привокзальном кафе, где было много ни в чем неповинной публики, объяснив на суде свой бессмысленный акт желанием отомстить буржуазии за жестокую расправу с анархистами. Его казнили.

¹⁸⁶ Восстание 31 октября. Недовольство в Париже по поводу бездеятельности правительства Национальной обороны и все откладывавшихся муниципальных выборов прорвалось, когда стало известно об измене маршала Базена и сдаче без всяких попыток борьбы крепости Метца. Массы хлынули к городской ратуше. Находившемуся под влиянием бланкистов батальону удалось окружить ратушу. Заседавшее в нем правительство объявлено было низложенным. Назначено было новое правительство. Но стихийное движение, так легко захватившее власть, ничего не сделало

для ее удержания и укрепления. Вооруженные массы разошлись, и правительственные войска, вызванные Пикаром (см. примеч. 31), которому удалось бежать из ратуши, освободили плененное правительство. Главные деятели движения были арестованы.

¹⁸⁷ Кр емь е, А до л ь ф (1796—1880) — адвокат и политический деятель. Член временного правительства в 1848 г. и член правительства Национальной обороны. Председатель Всемирного еврейского альянса.

¹⁸⁸ «Д в о р о м к о р о л я П е т о» во Франции называют дом, в котором все хотят командовать, или собрание, на котором все хотят говорить. Происхождение этого выражения таково: в прежние времена нищие во Франции избирали себе, подобно общинам, вождей, которых в шутку называли «le roi Pétard» (король Пето, от латинского слова peto — прошу).

¹⁸⁹ К л ю з е р е, Г ю с т а в - П о л ь (1823—1900) — генерал Коммуны. Начал свою карьеру на стороне врагов рабочего класса. Принимал участие в качестве офицера в подавлении революции 1848 г. При империи перешел на сторону оппозиции. После 18 марта — член Коммуны и делегат ее по военным делам. Смешанный за сдачу форта версальцам, был арестован и предан суду, но оправдан Коммуной. После падения Коммуны скрылся в Турцию, откуда вернулся после амнистии. В 1888 г. избран голосами социалистов в палату депутатов, но в 1889 г., в период расцвета буланжизма (см. примеч. 97), перешел в ряды последнего и оставался националистом до конца жизни.

¹⁹⁰ В е з и н ь е, П ь е р (1826—1902) — журналист и революционер. В молодости — секретарь известного писателя Эжена Сю. Боролся в качестве журналиста против Бонапарта-президента и должен был покинуть Францию после переворота. Член Коммуны 1871 г., после поражения которой эмигрировал в Англию, где издавал газету «Fédération» («Федерация»), в которой вел бешеную кампанию против Маркса и марксистов.

¹⁹¹ Ш е л ь ш е р, В и к т о р (1804—1893) — французский политический деятель. Будучи товарищем морского министра по колониальным делам в 1848 г., издал известный декрет, которым отменялось рабство во всех французских колониях. В Национальном и Законодательном собраниях принадлежал к партии Горы. После бонапартовского переворота принимал участие в баррикадных боях и был изгнан из Франции. Возвратившись после низложения Наполеона III, принимал участие в организации армии. Во время Коммуны тщательно стремился примирить между собою Тьера и Парж. В 1875 г. избран пожизненным сенатором.

¹⁹¹ Ш е л ь ш е р, В и к т о р (1804—1893) — французский политический «упечества и городской голова» Парижа. Убит восставшими в день взятия Бастилии, 14 июля 1889 г. Подобно Трошю, он тоже пытался успокаивать население ложными обещаниями и сообщениями.

¹⁹² А д а м, Э д м о н д (1816—1877) — публицист и политический деятель. Член редакции «National», основанного Тьером. Правый республиканец. Его жена, о которой рассказывает Рошфор, — известная писательница Жюльет Адам, автор романов и воспоминаний, основательница и редактор журнала «Nouvelle revue» («Новое обозрение») (род. в 1836 г.).

¹⁹⁴ Д о р и а н, Ф р е д е р и к (1814—1873) — французский промышленник и политический деятель, член правительства национальной обороны.

¹⁹⁵ Ч и х л е х е р с т — местечко неподалеку от Лондона, где поселился Наполеон III после своего низложения и где он умер в 1873 г.

¹⁹⁶ П и а, Ф е л и к с (1810—1889) — революционер и драматург. До 1848 г. был журналистом и драматургом. Потом член Национального и Законодательного собраний. В 1849 г. подписал вместе с другими призыв к восстанию и, привлеченный к суду, бежал в Англию. Возвратился во Францию после амнистии 1869 г. и стал работать в газете Гюго «*Le Rappel*». В течение 17 дней он четыре раза был привлечен к суду и

«заработал» 17 месяцев тюрьмы. В это же время он на одном банкете предложил тост в честь пули, которая будет выпущена в императора, и получил за это от верховного суда пять лет заключения. После 18 марта — член Коммуны и член Комитета общественного спасения. Редактор газеты «Combat» («Сражение»). Приговорен военным судом к смертной казни, но успел бежать. После амнистии 1880 г. — депутат от департамента Устье Роны. Как политический деятель — крайне неуравновешенный и путаник.

¹⁹⁶ * Тамизье, Франсуа-Лоран-Альфонс (род. в 1809 г.) — инженер, политический деятель. До революции 1848 г. служил в артиллерии. После февральской революции — член Национального и Законодательного собраний. Во время переворота 2 декабря пытался вместе с генералом Удино организовать сопротивление. Изгнан из Франции, куда вернулся после амнистии 1859 г. На следующий день после революции 4 сентября назначен командующим парижской национальной гвардией, среди которой пользовался популярностью, но когда ему после движения 31 октября назначили в помощники генерала Клемана Тома (см. примеч. 224, 225), вышел в отставку. После перемирия избран членом Национального собрания, где выступал против монархистов.

¹⁹⁷ «... поднял люневильский гарнизон». Об этом восстании см. примеч. 129.

¹⁹⁸ Тьер, Адольф (1798—1877) — «либерал» во время Реставрации, участвовал в революции 1830 г., причем отстаивал кандидатуру на престол «короля-гражданина» Луи-Филиппа. Как только эта цель была достигнута, выступил ярким сторонником привилегий крупной буржуазии и столь же яростным противником обещанных рабочему классу и мелкой буржуазии реформ. С особенным зверством подавил восстание 1834 г. (в улице Транснонен и ряде других узких улиц). Потом, в предвидении более широких народных движений, воздвиг вокруг Парижа ряд фортов, из которых можно было бы обстреливать город. Все это обеспечило его политическую карьеру, и в 1836 г. он был уже министром-президентом. В 40-х гг. в борьбе со своим соперником Гизо, Тьер снова надел маску либерала, высказывался за революцию, принял в ней участие, когда она разразилась, и снова изменил ей, когда рабочие потребовали социальных реформ. Даже Кавеньяк, так зверски расправившийся с рабочими в июньские дни, казался ему слишком радикальным, и он поддерживал кандидатуру Луи Бонапарта в президенты республики. В 1849 г., в законодательном собрании, скатился еще дальше вправо, стал во главе монархистов и содействовал отмене социальных завоеваний рабочих в 1848 г., а также отмене всеобщего избирательного права. Но он был за восстановление королевской власти и противился государственному перевороту Бонапарта, а когда этот переворот произошел, он был выслан из Франции. Впрочем, меньше чем через год ему разрешено было вернуться. В течение десяти лет он держался в стороне от политики и написал свою «Историю консульства и империи» («Историю французской революции», до консульства, он опубликовал еще до революции 1830 г.). В 1863 г., когда под влиянием промышленного кризиса началось всеобщее недовольство, Тьер выставил свою кандидатуру и был избран в законодательный корпус. Там он выступал преимущественно по вопросам внешней политики и, между прочим, противился войне с Пруссией. После низвержения Наполеона III был назначен Национальным собранием главой исполнительной власти. Расправился с Коммуной с чудовищной жестокостью. Хотел показать крупной буржуазии, что республика может быть жесточе и реакционнее монархии. Но когда он закончил свое дело палача и укрепил новый строй, монархисты, стремившиеся к восстановлению королевского трона, свергли его и заменили Мак-Магоном.

¹⁹⁹ Клебер, Жан-Батист (1753—1800) — генерал времен Великой французской революции. Сын каменщика. Волонтером поступивший в ре-

волюционную армию в 1792 г., он быстро выдвинулся, командовал отрядом против вандейцев, особенно отличился в сражении при Флерюсе, где были разбиты австрийцы, а затем и в Египте, где был убит одним египетским солдатом.

²⁰⁰ П е л ь т а н, Э ж е н (1813—1884) — политический деятель и писатель. Во время революции 1848 г. активной политической роли не играл. Был журналистом и поклонником Ламартина. Активную роль в политике начинает играть с 1863 г., когда избирается в законодательный корпус, где ведет борьбу с империей. После 4 сентября — член правительства Национальной обороны. В Национальном собрании поддерживал Тьера. Из его произведений в свое время пользовались известностью «История трех февральских дней 1848 года», «Исповедание веры XIX века» и «4-е сентября пред лицом следствия».

²⁰¹ П а л и к а р с к и й м у н д и р. Паликар — солдат греческого ополчения во время войны за независимость Греции.

²⁰² Д а н т о н, Ж о р ж Ж а к (1759—1794) — знаменитый деятель Великой французской революции. Выдвинулся во время конвента. Когда после 10 августа Людовик XVI был лишен королевских функций и заключен в Тампль, Дантон был назначен министром юстиции. Был инициатором создания революционного трибунала, вошел в состав комитета общественного спасения. Был вдохновителем внешней политики революции. Гильотинирован в 1794 г., незадолго до гибели Робеспьера, его бывшего товарища, а потом противника.

Факт подозрительно быстрого обогащения знаменитого трибуна издавна уже привлекал внимание и заставил ряд историков усомниться в чистоте политических побуждений Дантона в последнюю эпоху его деятельности. В последнее время А. Матьез посвятил ряд работ доказательству фактической измены Дантона революции, его сношений с двором Людовика XVI и т. д.

²⁰³ К у т о н, Ж о р ж (1756—1794) — член конвента, друг Робеспьера и Сен-Жюста, вместе с ними гильотинированный 28 июля 1794 г. У него были шарлизованы ноги, и его перевозили в особо приспособленном кресле, — на это Рошфор и намекает в тексте.

²⁰⁴ Р о б е с п ь е р, М а к с и м и л и а н (1758—1794) — знаменитый деятель Великой французской революции, вождь якобинцев и Горы в конвенте, фактический глава комитета общественного спасения. Свергнут 9 термидора (27 июля 1794 г.) и гильотинирован на следующий день.

²⁰⁵ М л а д ш а я д и н а с т и я — династия Орлеанов, единственным представителем которой на французском троне был Луи-Филипп.

²⁰⁶ Ф е р р и, Ж ю л ь (1832—1893) — начал свою карьеру в качестве адвоката и журналиста. Когда в 60-х гг. загорелась борьба с империей, был избран в законодательный корпус. В качестве парижского депутата стал членом правительства Национальной обороны. После объявления Коммуны покинул Париж. Выдвинулся на политической арене, когда Мак-Магон подал в отставку и был заменен на посту президента республики Жюлем Греви и буржуазная республика окончательно восторжествовала. Ферри очутился тогда на правом фланге буржуазии. Ему принадлежит известный лозунг: «Главный враг — слева!» Предварительно, впрочем, он много содействовал проведению широкой реформы первоначального народного образования. В то же время способствовал проведению закона об изгнании иезуитов. Затем, чтобы утешить французов после потери Эльзаса и Лотарингии, затратил огромные средства и массу сил на завоевание Туниса, на экспедицию в Тонкин и вообще на колониальную политику. В этом он встретил сильный отпор со стороны тех элементов, которые считали, что все силы нужно направить на подготовку «реванша». Ненависть к нему достигла такой степени, что когда в 1887 г., после вынужденной отставки Жюля Греви, оппортунисты выдвинули его кандидатуру

в президенту республики, народные массы вышли на улицы и готовы были произвести революцию. На этом и закончилась карьера Ферри.

²⁰⁷ **Ф а з и, Д ж е м с** (1796—1878) — швейцарский политический деятель, француз по происхождению. Принимал участие в Париже в революции 1830 г., после которой был в оппозиции, борющейся против монархии Луи-Филиппа. В Женеве основал существующую еще и поныне газету «*Journal de Genève*». Был одним из вождей революции и главным автором принятой после нее конституции.

²⁰⁸ **В и н у а, Ж о з е ф** (1800—1880) — генерал, военные подвиги которого ограничились тем, что он был палачом Коммуны.

²⁰⁹ **Ш о д е, Г у с т а в** (1817—1871) — адвокат и политический деятель. После низложения Наполеона III назначен был мэром 9-го округа г. Парижа. Находясь 22 января 1871 г. в городской ратуше, он приказал открыть огонь по толпе, пришедшей в ратушу предъявить некоторые требования. После 18 марта был вследствие этого взят заложником, и 23 мая, когда версальцы своей зверской жестокостью вызвали всеобщее негодование, был, на основании декрета о заложниках, по распоряжению прокурора Коммуны, Рауля Риго, расстрелян.

²¹⁰ **Чернуски, Анри** (1821—1896) — итальянский политический деятель и экономист. Причастный к ломбардской революции, эмигрировал во Францию, где занимался промышленными и финансовыми делами. Завещал г. Парижу музей, в котором собраны коллекции японских и китайских предметов искусства.

²¹¹ **Э б е р т и з м** — одно из самых крайних течений Великой французской революции, требовавшее самого жестокого применения террора, обвинявшее в умеренности, снисходительности и даже умышленном потворствовании врагам революции и искусственном создании голода конвент, его вождей и даже Комитет общественного спасения и призывавшее для борьбы с ними к восстанию. По существу, это течение, как и предшествовавшее ему течение «бешеных», представляло интересы низов, интересы масс, больше всех других слоев страдавших от дороговизны и голода. Название свое оно получило от своего главы Эбера (Жака-Ренэ), помощника прокурора Парижской Коммуны, редактора газеты «Пер-Дюшен» (Пер-Дюшеном прозвали и самого Эбера). Главные вожди эбертистов были арестованы главным образом по обвинению в заговоре против конвента и были гильотинированы в 1794 г.

²¹² **Л е г и т и м и с т ы** — сторонники «законной» (легитимной) монархии, где власть переходит к тому, кто имеет на нее право согласно закону о престолонаследовании, в данном случае — сторонники династии Бурбонов.

²¹³ **С т а р е ц в «ч е р н о й ю б к е»**. Форменная одежда членов судебных учреждений всех инстанций во время заседаний (в том числе прокуроров и даже защитников) — длинные черные хитоны.

²¹⁴ **М е н т а н а**. Речь идет о памятнике, поставленном воинам отряда Гарибальди, павшим в несчастном для него сражении с соединенными папскими и бонапартовскими войсками, имевшем место 3 ноября 1867 г. при деревне Ментане, близ Рима.

²¹⁵ **В а л ь д е к - Р у с с о, Р е н э** (1846—1904) — один из адъютантов Гамбетты. Автор закона 1884 г. о синдикатах (профессиональных союзах). Когда во время известного «дела Дрейфуса» образовалась клерикально-монархическая коалиция, которая повела бешеную борьбу с республикой, Вальдек-Руссо образовал для борьбы с нею министерство, в котором портфель военного министра дал одному из самых кровожадных палачей Коммуны — генералу Галиффе, а министром торговли и промышленности пригласил тогда еще «социалиста» Мильерана.

²¹⁶ Спюллер, Эжен (1835—1896) — видный деятель правого крыла республиканской партии, отстаивавшей союз с монархистами и клерикалами.

²¹⁷ Грeви, Жюль (1807—1891) — деятель 1848 г. в 1879 г., когда Мак-Магон вынужден был выйти в отставку, был избран президентом республики. Переизбран был в 1886 г., но через год должен был подать в отставку по поводу скандального дела по торговле орденами, к которому причастен был его зять Вильсон.

²¹⁸ «Как в 1815 году». Тогда, после окончательного поражения Наполеона I и вторичного возвращения Бурбонов под охраной иностранных штыков, эмигранты и крайние роялисты составили такую палату (1816 г.), которая оказалась даже более реакционной, чем реакционное правительство Людовика XVIII. В истории она известна под названием «бесподобной палаты» («Chambre introuvable»).

²¹⁹ «Монархия, которую порыв ветра выбросил на английское побережье» — намек на Луи-Филиппа, который после изложения уехал в Англию.

²²⁰ Расстрел на улице Транснонен. Тридцатые годы ознаменованы были во Франции целым рядом восстаний обманутых рабочих и мелкой буржуазии. Зверски расправился с первыми восстаниями в Париже и Лионе тогдашний министр внутренних дел, богатый банкир Казимир Перье. В апреле 1834 г., после второго восстания в Лионе, произошло новое восстание в Париже, организованное тайным «Обществом прав человека и гражданина». На ряде улиц были построены баррикады. И Тьер, желавший выслужиться перед королем и буржуазией, превзошел в зверской жестокости даже жестокого банкира Перье. Кличка «убийцы с улицы Транснонен» (где расправа носила особенно зверский характер) осталась за Тьером в кругах революционеров до конца его жизни.

²²¹ «Journal des Débats» («Дневник прений») — газета, возникшая в первое время Великой французской революции в качестве отчета депутатов своим провинциальным избирателям о происходивших в представительных учреждениях прениях. Впоследствии — орган крупной буржуазии, вместе с нею проделавший всю ее эволюцию. Либеральный и даже революционный, когда буржуазия еще приходилось бороться за свое господство, потом консервативный, а в настоящее время — империалистический и реакционный орган.

²²² Брокка (1824—1880) — известный антрополог и врач.

²²³ Бувье, Алексис (1836—1892) — беллетрист и драматург.

²²⁴, ²²⁵ Генерал Леконт и генерал Клеман Тома. Когда читаешь страницы Рошфора о казни этих генералов, нельзя понять, почему же собственно они были казнены. В действительности дело было так. Генерал Леконт, верный бонапартист, шел в посланную Тьером ночную экспедицию против Монмартра, горя желанием расправиться с парижской «сволочью». На площади Пигаль он четыре раза отдавал приказ 81-му линейному полку стрелять в безоружную толпу, но солдаты, вместо того чтобы стрелять в беззащитных женщин и детей, расстреляли его самого. Они же в порыве негодования расстреляли и Клемана Тома, который заслужил генеральский чин в «страшные июньские дни» своей гнусной ролью палача. Назначенный главнокомандующим национальной гвардией, он не только не дал ей проявить свою боеспособность против пруссаков, но позорил ее обвинением в трусости, а за несколько дней до 18 марта представил военному министру Лефлю проект «раз навсегда покончить с цветом парижской «сволочи». Во всяком случае, вопреки тому, что сообщает Рошфор, центральный комитет никакого отношения к этой казни не имел и никакого суда над ними не производил. Казнь Леконта и Тома — дело самих солдат, ненавидевших этих генералов.

226 Июльские дни 1848 года. Февральская революция, низложившая Луи-Филиппа и объявившая республику, совершена была главным образом рабочим классом. И буржуазия в первые дни после победы говорила, что центральным вопросом республики является вопрос труда. В состав временного правительства введены были социалист Луи Блан и рабочий-механик Альбер. Организованы были так называемые «национальные мастерские», якобы для предоставления работы безработным. Но как только собралось Национальное собрание, буржуазия повела борьбу против рабочего класса, и Луи Блан и Альбер были удалены из состава правительства. Когда сделана была попытка разогнать Национальное собрание, гонения против рабочих и социалистов стали открытыми и провокационными. В июне постановлено было, что национальные мастерские закрываются и всем холостым рабочим от 18 до 25 лет предоставляется либо поехать на земляные работы в болотистую, губительную для здоровья местность Солонь, либо поступить в армию. Так как в то время свирепствовал промышленный кризис и работу нельзя было найти, рабочие устроили восстание. Против них выдвинуты были военные силы. Диктатором назначен был генерал Кавеньяк. Борьба длилась почти пять дней. Радикальная буржуазия и учащаяся молодежь, только недавно перевозосившие рабочий класс, покинули его. Студенты-медики отказывали раненым рабочим в помощи. Несмотря на героизм, проявленный рабочими в борьбе, они потерпели поражение. Убито было несколько десятков тысяч рабочих.

Эта бойня, в которой вчерашние союзники так подло оставили рабочий класс совершенно изолированным, привела к тому, что через год, когда начались гонения против радикальной буржуазии, рабочие также отказались ее поддерживать, и она, в свою очередь, потерпела полное поражение.

227 2 декабря 1851 года. После избрания Луи Бонапарта президентом республики начинается длительная и сложная борьба сперва в учредительном, а потом и в законодательном собрании, в котором большинство принадлежало уже к монархическим элементам. Продолжается борьба против рабочего класса и социалистов: отменяются социальные завоевания рабочих, закрываются клубы, распускаются ассоциации, закрываются социалистические газеты, предаются суду вожди рабочих. Ведется борьба против радикальной мелкой буржуазии: подавляется ее восстание, не поддержанное рабочими, ссылаются и арестуются ее вожди, которым не удается скрыться за границу. В то же время происходит борьба между различными фракциями монархистов, из которых одни стоят за легитимную монархию, между тем как другие высказываются за монархию орлеанскую. Эта внутренняя борьба, осложнявшаяся борьбой с президентом республики, добивавшимся удлинения срока своего президентства, постепенно истощила силы и господствовавшей в законодательном собрании партии. Всем этим и воспользовался Луи Бонапарт для своего государственного переворота. 2 декабря он распустил собрание, арестовал множество депутатов, жестоко подавил попытки восстаний как в Париже, так и в провинции, удлинил свою президентскую власть на десять лет, отправил в ссылку множество лиц. 20—21 декабря провел плебисцит (всенародное голосование), закрепивший совершенный переворот, а через год был объявлен наследственным императором под именем Наполеона III. (См. К. Маркс, «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»).

228 Лефрансе, Гюстав (1826—1901) — по профессии преподаватель. Как революционер был уволен с должности в 1850 г. После государственного переворота выслан из Франции. В марте 1871 г. избран членом Коммуны. После поражения Коммуны скрылся в Швейцарию и заочно был приговорен к смерти. В Швейцарии принимал участие в деятельности Интернационала. Ему Эжен Потье посвятил свой «Интернационал», ставший гимном международного пролетариата. К концу жизни Лефрансе теоретически приблизился к анархистам.

229 Ранк, Артур (род. в 1831 г.) — писатель и политический деятель. Еще будучи студентом, примкнул к революционному движению. В 1853 г.

приговорен к году тюрьмы за участие в тайном обществе. Потом в качестве соумышленника Бельмара, привлеченного по обвинению в покушении на жизнь императрицы, сослан в Ламбессу (см. примеч. 19), откуда бежал и вернулся во Францию после амнистии 1859 г. По литературному делу снова сидел в тюрьме. В 1871 г. примкнул к Коммуне, но покинул ее ряды незадолго до ее поражения. В 1873 г., уже будучи депутатом Национального собрания от г. Лиона, предан суду правительством Мак-Магона за участие в Коммуне, но бежал и заочно был приговорен к смерти. Возвратился во Францию еще до амнистии — в 1879 г. Впоследствии депутат и сенатор умеренно-радикального направления.

²³⁰ В а й я н, Э д у а р д (1840—1916) — инженер и врач по образованию. Видный деятель французского социалистического движения. Хотя примыкал к бланкистской организации, много сделал для пропаганды марксизма во Франции. Член генерального совета I Интернационала. Член Коммуны. Член ее исполнительной комиссии и делегат народного просвещения. После «кровавой недели» ему удалось скрыться и уехать в Англию. Вернувшись после амнистии 1880 г., много содействовал объединению французской социалистической партии. С 1889 г. до конца жизни — бессменный депутат от 20-го округа г. Парижа. Видный деятель II Интернационала. Во время империалистической войны занял шовинистическую позицию.

²³¹ Г р а ф П а р и ж с к и й (1838—1894) — внук Луи-Филиппа, низложенного в 1848 г., претендент на французский престол.

²³² Г р а ф Ш а м б о р с к и й (1820—1883) — внук короля Карла X, низложенного в 1830 г., претендент на французский престол. Требовал неограниченной власти с белым знаменем. Имел шансы стать королем и в 1849 и в 1873 гг., но не хотел уступить монархистам, настойчиво требовавшим конституции с трехцветным знаменем. Хотя он почти всю свою жизнь прожил в изгнании в Австрии, монархисты упорно величали его королем Генрихом V.

²³³ «Правительство из департамента Сены-и-Уазы», т. е. версальское правительство. Версаль — главный город департамента Сены-и-Уазы.

²³⁴ Л ю л ь с, Ш а р л ь - Э р н е с т (1838—1891) — морской офицер; один из генералов Коммуны. Приговорен к смерти, но казнь была заменена бессрочными каторжными работами. Сделанная после амнистии попытка вернуться к политической деятельности оказалась неудачной. Автор книги «Мои тюрьмы».

²³⁵ Ш у а н а м и первоначально называли во время Великой французской революции сторонников восстановления королевской власти, восставших до возникновения вандейской войны. Потом стали называть всех активных контрреволюционеров западной части Франции. Впоследствии это название стали применять ко всем контрреволюционерам, выступающим с оружием в руках.

Повидимому, это слово происходит от клички одного из вождей контрреволюции в Майене, Жана Шуана (настоящая фамилия — Котро). Но некоторые полагают, что оно образовалось от слова «chouette» («сова»), так как контрреволюционеры давали знать о себе друг другу криками совы.

²³⁶ Г а й н а у, Ю л и й - Я к о б (1786—1853) — австрийский фельдмаршал. При подавлении народного восстания в Италии, находившейся под властью Австрии, проявил особенную жестокость в Брешии (в Ломбардии). Командовал также австрийской армией против Венгрии, где вел себя столь же бесчеловечно.

²³⁷ Д р а г о н а д ы — жестокие преследования протестантов на юге Франции, особенно в Севернах, после отмены Людовиком XIV изданного Генрихом IV нантского эдикта, которым протестантам разрешалось, за не-

которые ограничеными, свободные ипсудование их кльта. Преследования производились главным образом при помощи королевских драгун, откуда и название их — драгонады.

«Великий король», о котором говорит здесь Рошфор. — это и есть Людовик XIV (род. в 1638 г., царствовал с 1643 по 1715 г.).

²³⁸ Россель, Луи (1844—1871) — генерал Коммуны. У Рошфора неправильно сообщается, что он прямо из Метца пробрался в Париж. В действительности он отправился в Тур к Гамбетте (см. примеч. 131), получил от него поручение содействовать организации армии в Северном департаменте, произведен был в чин полковника, затем назначен начальником артиллерии в Невер. 19 марта сознательно вышел в отставку, чтобы присоединиться к парижским революционерам. В Коммуне был сперва начальником штаба у Клузере (см. примеч. 189). Расстрелян в Сатори 28 ноября вместе с Ферре. После него осталась книга — «Воспоминания и переписка».

²³⁹ «Сентябрьские законы». Народ, главным образом рабочий класс, который, по признанию самой буржуазной печати, «дрался, как лев» в «славные июльские дни» 1830 г., был подло обманут буржуазией, захватившей в результате революции власть и оставившей рабочий класс и мелкую буржуазию такими же бесправными, какими они были до революции. Начались восстания — в Париже, потом в Лионе, потом второй раз в Лионе и Париже и пр. Страна покрылась сетью тайных обществ. Тогда был издан закон 1834 г. об ассоциациях, а также, в сентябре, был издан ряд постановлений против печати, ставших известными под названием «сентябрьских законов». Смысл этих законов тогдашний министр Гизо формулировал следующим образом: «Всеобщее и предупредительное устрашение — такова главная цель карательных законов. Нужно, чтобы все боялись, чтобы все опасались общества и его законов. Нужно глубокое и постоянное сознание, что существует верховная власть, всегда способная схватить и наказать... Кто ничего не боится, тот ничему не подчиняется». «Сентябрьские законы» оставили далеко за собой даже реакционные законы (ордоннансы) свергнутого в 1830 г. Карла X.

²⁴⁰ Коммуналистское движение. Коммунизм — течение, наиболее характерное для умонастроения огромного большинства деятелей Коммуны. Своими корнями оно восходит к средним векам, когда общины (коммуны) боролись за свою автономию (выдвинувшийся в этой борьбе в XIV в. староста торговцев Этьен Марсель памятен в истории Франции). Питалось это течение и традициями якобинской Парижской Коммуны 1792—1793 гг., самоуправляющейся, тесно связанной со всеми секциями, игравшей решающую роль в революционных событиях. Было в нем и стремление революционно настроенных горожан высвободиться из-под давления крестьян, составлявших большинство во Франции и становившихся поперек пути всем французским революциям XIX ст. в виду слабости рабочего класса, который был бы способен повести революционную часть крестьянства за собою. Был в этом течении и протест против крайнего централизма, оставшегося в наследие от империи Наполеона I. Наконец было в нем и стремление отстоять революционный Париж от нашествия иностранцев, слишком явно поддерживавших версальцев.

²⁴⁰ * Флоке, Шарль (1828—1896) — французский политический деятель. Во время второй империи — левый буржуазный демократ. Обратил на себя внимание восклицанием «да здравствует Польша, сударь!», с которым он обратился к Александру II, когда последний приехал в Париж на всемирную выставку в 1867 г. При третьей республике Флоке — умеренный радикал. Неоднократно был министром и министром-президентом. Играл заметную роль во время борьбы с буланжизмом.

²⁴¹ Вандомская колонна, свергнутая Коммуной, была воздвигнута в 1806—1810 гг. в честь побед Наполеона I. Верхняя ее оболочка

состояла из бронзы 1200 пушек, взятых у русских и австрийцев в 1805 г. После поражения Коммуны колонна была восстановлена.

²⁴² Дидро, Дени (1713—1784) — философ-материалист, один из наиболее последовательных материалистов XVIII ст., предшественник диалектического материализма. Один из основателей и редактор знаменитой «Энциклопедии». Один из тех, кто наиболее способствовал идеологической подготовке Великой французской революции. В области религии — атеист, в области политики — решительный противник монархии, сторонник представительного образа правления.

²⁴³ «Все Лоржерили и Белькастели» — повидимому, какие-то неизвестные депутаты «деревенского» большинства.

²⁴⁴ Мольер (литературный псевдоним Жана-Батиста Поклена) (1622—1673) — знаменитый писатель, преобразователь французского театра, пьесы которого смотрятся даже теперь, свыше двух с половиною веков после его смерти, с неослабевающим интересом.

²⁴⁵ «27 флореаля». Коммуна восстановила календарь Великой французской революции, принятый конвентом по докладу Фабр д'Эглантина. По этому календарю год, начинавшийся 22 сентября, делился на следующие месяцы:

вандеммер (от 23 сентября до 21 октября),	жерминаль (от 21 марта до 19 апреля),
брюмер (от 22 октября до 20 ноября),	флореаль (от 20 апреля до 19 мая),
фример (от 21 ноября до 20 декабря),	прериаль (от 20 мая до 19 июня),
нивоз (от 21 декабря до 19 января),	мессидор (от 20 июня до 19 июля),
плювиз (от 20, 21 или 22 января до 19, 20 или 21 февраля),	термидор (от 20 июля до 19 августа),
вантоз (от 20, 21 или 22 февраля до 20 марта),	фруктидор (от 20 августа до 19 сентября).

К этому счету прибавлялось в конце года 5, а в високосные годы — 6, дополнительных дней.

²⁴⁶ Верморель, Огюст-Жан-Марк (1841—1871) — писатель и политический деятель. Член Коммуны, где занимал примиренческую позицию. Автор нескольких книг, долго потом читавшихся: «Деятели 1848 года», «Деятели 1851 года» (обе книги написаны в тюрьме) и др. Раненный на баррикаде, Верморель был арестован и умер в версальской тюрьме.

²⁴⁷ Демье, Оноре (1808—1879) — известный французский карикатурист. Особенно известны его появившиеся в «Шаривари» серия «Робер Макер» и другие сатирические рисунки, в которых он высмеивал крупную буржуазию во время монархии Луи-Филиппа.

²⁴⁸ Лагорж, Виктор-Клод-Александр (1766—1812) — французский генерал. Вовлеченный генералом Мале (см. примеч. 249) в заговор против Наполеона I, был вместе с ним расстрелян.

²⁴⁹ Генерал Мале, Клод-Франсуа (1754—1812) — расстрелян за участие в заговоре против Наполеона I.

²⁵⁰ Далу, Жюль (1838—1902) — французский скульптор.

²⁵¹ Мадзини, Джузеппе (1805—1872) — известный итальянский революционер. Организатор и вождь общества «Молодая Италия». В 1848 г. — член временного правительства (триумвирата) в Риме. После поражения революции — неутомимый организатор заговоров, причем переносил свою деятельность то в Англию, то в Швейцарию, то в Италию. Между прочим, вместе с французским эмигрантом, тоже бывшим членом временного правительства (в Париже), Ледрю-Роленом, организовал

в Лондоне в 1849 г. в свое время нашедший «Европейский демократический комитет». По своему направлению — буржуазный демократ.

²⁵² «Вечная ссылка» — такова формула (à perpétuité) французского уголовного кодекса для обозначения наказания по пожизненному или бессрочному. На этом и основан следующий дальше вопрос Рошфора: «сколько времени длится вечность» в области политики?

²⁵³ Биλλιоре, Альфред-Эдуард (1841—1876) — по специальности художник. Член Коммуны, член центрального комитета. Приговорен к пожизненной ссылке в укрепленную местность.

²⁵⁴ «Баденгистская печать». Одна из кличек Наполеона III — Баденге. Отсюда Рошфор образует прилагательное — «баденгистский». «Баденгистская печать» — бонапартистская печать, но с оттенком презрения.

Кличку Баденге или Лже-Баденге Наполеону III дали потому, что при побеге из Гамбургской крепости 25 мая 1846 г. он пользовался одеждой производившего ремонт в крепости каменщика Баденге.

²⁵⁵ Чиприани, Амилькар (1844—1918) — итальянский революционер. Один из помощников Гарибальди. В Лондоне примкнул к I Интернационалу. Во время франко-прусской войны, после низвержения империи, боролся на стороне Франции и отказался от назначенного ему ордена. Участвовал в движении 31 октября (см. примеч. 186). 18 марта примкнул к Коммуне. Раненный и арестованный, был приговорен к смертной казни, замененной пожизненной ссылкой. В 1880 г. после амнистии возвращается в Италию, где примыкает к анархистам. За революционную деятельность отсиживает восемь лет в каторжной тюрьме в Порто-Лугано, после чего снова переезжает во Францию, где участвует в социалистическом движении.

²⁵⁶ Ласенер, Пьер-Франсуа, за ряд зверских убийств приговорен к смерти и казнен в 1836 г. На суде объяснял свои зверства ненавистью к современному обществу. В тюрьме написал книгу «Воспоминания, разоблачения и поэмы Ласенера», появившуюся в свет в 1836 г.

²⁵⁷ Папавуан, Луи-Югюст, совершил бессмысленное убийство двух маленьких детей, повидимому, в состоянии временного помешательства. Казнен в 1825 г.

²⁵⁸ Кастэн — французский врач. Отравил одного за другим двух братьев, своих друзей, с целью присвоения их состояния. Гильотинирован в 1823 г.

²⁵⁹ Букингем, Джордж (1592—1628) — английский герцог. Находился в сношениях с Ла-Рошелю, когда укрепившиеся в ней кальвинисты (тугеноты) образовали там почти автономную республику. Они продержались там всю вторую половину XVI и начало XVII века. Только в 1627—1628 гг. они были побеждены после долгой осады и город был взят. Как раз когда Букингем собирался оказать помощь осажденному городу, он был убит. После отмены Нантского эдикта (см. примеч. 237) из Ла-Рошели эмигрировало до трехсот семейств. О галлерее, которой кальвинисты пользовались для получения всякой помощи от Букингема, и рассказывает Рошфор.

²⁶⁰ Бародэ, Дезире (1823—1906) — политический деятель. Впервые выдвинулся на политической арене в Лионе, где в 1870 г. первый провозгласил в городской ратуше республику. В 1873 г. избран депутатом Национального собрания громадным большинством соединенных республиканцев против объединенных монархистов. Последние, усмотрев в этом опасность для своих реставрационных замыслов, свергли Тьера и избрали президентом республики на семь лет («септенат») монархиста Мак-Магона (см. примеч. 168). Впоследствии, до 1900 г., Бародэ был сенатором Сенского департамента.

Бародэ увековечил свое имя в истории французской палаты депутатов, предложив издавать сборники программ, с которыми выступали перед из-

бирательями избранные депутаты. Такие сборники издаются до настоящего времени и носят имя Бародэ.

²⁶¹ Пуасси и Клэрво — города, в которых находятся центральные тюрьмы для отбывающих по суду наказание уголовных преступников.

²⁶² «24 мая». Национальное собрание 1871 г., избранное, согласно договору с Бисмарком (см. примеч. 44) о перемирии, для санкционирования окончательного мирного договора, состояло в большинстве своем из монархистов. Но, как и в законодательном собрании 1849 г., они делились на две фракции, одна из которых отстаивала «белое знамя» с лилиями, т. е. так называемую «легитимную», «законную» монархию (см. примеч. 212), между тем как другая требовала трехцветного знамени, т. е. монархии конституционной. Попытки примирить «братьев-врагов» проваливались одна за другой. Тогда решено было поставить во главе власти «своего» человека, который будет править «пока», в ожидании благоприятного момента, когда можно будет призвать «законного» короля. Тьер для этой роли не годился, так как он в это время был «республиканцем», стремившимся показать буржуазии, что его республика так же защищает ее классовые интересы и столь же реакционна, как и монархия. И 24 мая 1873 г. Тьер был свергнут и заменен маршалом Мак-Магоном, отличившимся во время кровавого подавления Коммуны.

²⁶³ Мишель, Луиза (1830—1903) — анархистка. Занималась преподавательской деятельностью, сперва в государственных учебных заведениях, а потом частным образом. Принимала активное участие в Коммуне. В Новой Каледонии, куда была сослана, устроила школы для кананов. Возвратившись после амнистии, примкнула к анархистам. Часто выступала с пропагандистскими и просветительскими докладами, привлекавшими не мало и буржуазной публики. За свою агитационную деятельность не раз навлекала на себя судебные преследования. В личных отношениях была необыкновенно обаятельна.

²⁶⁴ «Вот там Тулон!» Во время Великой французской революции, в 1793 г., роялисты изменнически сдали англичанам город Тулон с его арсеналом и всеми находившимися в порту судами. Но республиканская армия, которую командовал тогда еще только артиллерийский капитан Бонапарт, отняла у англичан город. Это был первый военный подвиг в головокружительной карьере будущего Наполеона I. На это и намекает здесь Рошфор.

²⁶⁵ Васко да Гама (1469—1524) — португальский мореплаватель, открывший в 1498 г. морской путь в Индию (вокруг мыса Доброй Надежды), значительно более короткий и более удобный, нежели сухопутный.

²⁶⁶ 10 августа 1792 года народ, окончательно убедившийся в измене короля Людовика XVI, восстал и ворвался в королевский дворец. Король был лишен своих функций и заключен в Тампль. День 10 августа является таким образом днем фактического учреждения первой республики во Франции.

²⁶⁷ 10 декабря 1848 года Луи Бонапарт избран был огромным большинством президентом республики. Его конкурентом был генерал Кавеньяк, отличившийся зверской жестокостью при подавлении июньского восстания (см. примеч. «Июньские дни 1848 года»).

²⁶⁸ Пеллессон, Поль (1624—1693) — французский писатель XVII века. В качестве приближенного к главному интенданту по финансовым делам, Фуке, для которого он писал доклады и который был осужден за хищения и растраты, он попал в Бастилию, где провел пять лет. Там ему удалось до такой степени приручить паука, что последний даже ел у него на руке. После пятилетнего заключения Людовик XIV его освободил и назначил своим историографом.

²⁶⁸ Беклар, Пьер-Огюстен (1785—1825) — очень известный в свое время французский врач.

²⁷⁰ Эдмонд Дантес — герой романа Александра Дюма-отца (см. примеч. 64) «Comte de Monte-Cristo» («Граф Монте-Кристо»).

²⁷¹ Корей, Дафан и Авирон Библейское сказание. «Это те Дафан и Авирон... которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корей, когда они произвели возмущение против господина. И разверзла земля уста свои и поглотила их и Корей» («Числа», XXVI, 9, 10).

²⁷² Дюбарри, графиня (1743—1793) — фаворитка Людовика XV. Скрывшись в Англию, вернулась в Париж, чтобы спасти свои драгоценности. Была арестована по обвинению в сношениях с врагами и приговорена к смерти. Перед казнью просила: «Еще одну минуточку, господин палач!».

²⁷³ Ромней, Джордж (1734—1802) — английский художник.

²⁷⁴ Томас Лауренс (1769—1830) — известный английский художник-портретист.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Апри Рошфор. — С портрета Мане, (<i>Фронτισпис</i>)	3
Банкет газеты «Фигаро» в 1865 г. — Из книги Fleury et Sonolet «La Société du Second Empire»	37
Наполеон III	40—41
Ложа императрицы. — Рис. Гюиса	47
Рептильная пресса. — Рис. Регаме	56
Рис. Регаме	63
Филеры. — Рис. Кленка	75
Расстрел императора Максимилиана и его генералов Мирамона и Мехио. — С картины Мане	84
В. Гюго на террасе дома в Гернеси. — С фотографии 1869 г. Из альбома А. Dayot, «L'invasion. Le Siège 1870. La Commune 1871»	93
Дом в Гернеси, в котором жил во время ссылки В. Гюго. — С фотографии 1869 г. Из альбома А. Dayot	103
Семейный совет. — С карикатуры Форда	111
Преследование печати	125
Рошфор в палате депутатов	140
Депутаты Сены. — С фотографии 1869 г. (Из альбома А. Dayot)	—
Похороны Виктора Нуара. — С гравюры	154
Леон Гамбетта. — С фотографии 1870 г. (Из альбома А. Dayot)	160—161
Эмиль Оливье. — С карикатуры О. Домье	168—169
Министры 2 декабря. — Рис. Регаме	173
Прибытие Рошфора в городскую ратушу 4 сентября 1870 г.	187
Луи-Жюль Трошю	—
Джузеппе Гарибальди	192—193
Партизаны Коммуны, ворвавшиеся в зал заседаний правительства национальной обороны. Восстание 31 октября 1870 г. (Из альбома А. Dayot)	204
Армия генерала Бурбаки в Швейцарии. — С рис. М. Башелена	218
Париж в дни осады. — Из журнала «Illustration»	228
Адольф Тьер	240—241
Трупы генералов Тома и Леконта в подвале дома № 6 ул. Розье	243

Провозглашение Коммуны	248—249
Бомбардировка Парижа	252—253
Франсуа Журд	256—257
Свержение Вандомской колонны	272—273
18 марта 1871 г. Постройка баррикады	257
Огюст Бланки	272—273
Узники Версаля. «Опасные»	279
Последняя схватка на кладбище Пер-Лашез	296—297
Стена федератов. — С картины Эрнеста Пиччио	304—305
Форт «Бояр» — место заключения коммунаров	309
Пленные коммунары на борту понтона «Ифигения»	334
Луиза Мишель по возвращении из Новой Каледонии	342—343
«Виргиния». — Рис. Луизы Мишель	352—353
Журд и его товарищи по ссылке в Новой Каледонии. (Из аль- бома А. Dayot)	364—365
Острова Фиджи	395

О Г Л А В Л Е Н И К

<i>Ж. Смирнов.</i> — Анри Рошфор	7
П р и к л ю ч е н и я м о е й ж и з н и	
Предисловие	33
Глава I	
Вступление в редакцию «Фигаро». — Вильмессан. — Его грубость. — Принц и кокетка. — Г-н Бонапарт-Патерсон. — Графиня де-Сен-Лу. Морош. — Его театр. — Последний дворянин .	37
Глава II	
Полпдор Мильо. — «Солнце» — газета не политическая. — «Большая богема». — Премьера «Прекрасной Елены». — Несостоявшееся представление. — Обеды у Эжена Шаветта. — На скачках	47
Глава III	
Поездка за границу. — Мартен. — Цензура и Виктор Гюго. — «Фигаро» становится политическим. — Поэт и либреттист. — Прозрачные намеки	56
Глава IV	
Немного естественной истории. — Судья Дельво. — Прощание с «Фигаро». — Зарождение периодической брошюры. — Министр Пинар. — Бишефсгейм. — «Фонарь»	63
Глава V	
Неожиданный тираж. — Политическая программа. — Уловки власти. — Процесс. — Конкуренция. — Эдмонд Абу. — Полицейская критика	75
Глава VI	
Опять полиция. — Жеккер. — Коммюнике г-на Пинара. — Конфискация «Фонаря». — Отъезд в Брюссель	84
Глава VII	
Осуждение. — У Виктора Гюго. — Виктор Гюго на островах Джерси и Гернеси. — Портреты Виктора Гюго. — Кресло предков. — Сыновья поэта. — Пари	93
Глава VIII	
Благочестивый Дельво. — Восприимчик Жоржа Гюго. — Барош. — Дуэль. — Отчаяние влюбленной	103

Глава IX	Г-жа Гюго. — «Скупость» поэта. — Гостеприимный стол. — Гюго и Огюст Барбье. — «Le Rouge et le Noir» («Красное и черное»). — «Зют». — «Нищие». — Партия в баккара. — Покупка картины	111
Глава X	Уловка памфлетиста. — «Фонарь» госпожи Кавеньяк. — Барбес. — Визит к пленнику крепости Mont Saint-Michel. — Барбес и Виктор Гюго. — «Kappel». — Выборы. — С ножом к горлу кандидата	123
Глава XI	Арест кандидата. — Ипполит Карно. — Письмо Клемана Лорье. — Публичные собрания. — Кольфаврю. — Императивный мандат. — Ложные сведения. — Предсказание Вильмессава. — Избран! — Письма императрицы	140
Глава XII	Первые заседания. — Распайль. — Виктор Нуар. — Пьер Бонапарт. — Дуэль. — Убийство. — Эмиль Оливье. — Верховный суд. — Похороны Виктора Нуара. — Осуждение. — В тюрьме	154
Глава XIII	Задержан по другим делам. — Император и война. — В Берлин! — Да здравствует республика! — В Сент-Пелажи. — «Кузина». — Процессы в Туре и в Блуа. — Флуранс. — Письмо Виктора Гюго. — Преследования	173
Глава XIV	Освобождение. — Да здравствует папа! — Трошю. — Барон Жером Давид. — Сценарий. — Императорская орфография. — Респу-блика. — Префектура департамента Дордони. — Жюль Симон. — В Сен-Клу. — Мои протежируемые. — Шельшер	187
Глава XV	Арест Флуранса. — Орден Почетного легиона. — Забавная безответственность. — Захват городской ратуши. — В Бельвиле. — Клеман Тома. — Турский диктатор и парижские диктаторы. — Пруссаки в окрестностях Парижа. — Письмо Хама. — Грек Флуранс. — Осада	204
Глава XVI	План Жюля Фавра. — Клеман Тома. — Хлеб во время осады. — Торговец дичью. — Фавр и Трошю. — «Последние усилия». — Отставка или смещение. — Осадное положение. — Жюль Фавр ведет переговоры. — Протокол. — Бисмарк и Гарibaldi	218
Глава XVII	Отставка. — Воззвания. — Выборы. — Тирар. — Поражение Бланики. — Денъень и Маргарита Беланже. — Гарibaldi и папа. — В Бордо. — «Король капитулянтов». — Бурное собрание. — Болезнь	228
Глава XVIII	18 марта. — Преступление Винуа. — Смерть Клемана Тома и генерала Леконта. — Рауль Риго и игорные дома. — Версаль и Берлин. — Те, что начали войну. — Дом г-на Тьера. — Флуранс и Дюваль. — Ответственность. — Деятели Коммуны	243

Глава XIX	
Деятели Коммуны. — Арест Гарibaldi. — Г-н Тьер и республика. — Масонская манифестация. — Голодный Париж. — Россель. — В монастыре. — Статья «Таймс». — Публичные молитвы	257
Глава XX	
Вандомская колонна. — Взрыв на авеню Рапп. — Меня арестуют в Мо. — В Версале. — В тюрьме — Ложные вести	279
Глава XXI	
В форте Бояр. — Планы побегов. — Адмирал Рибур. — Нападки печати. — «Даная». — Медвежья яма. — В Олероне	309
Глава XXII	
Избрание Бародэ. — На борту «Виргинии». — Рассказы. — Ужасный переезд. — В Тенерифе. — Луиза Мишель и г-жа Лемель. — В Нумее	334
Глава XXIII	
В Новой Каледонии. — Наша рыбная ловля и наша охота. — Акулы. — Мой раб. — Наши планы. — Купанье и солнечные удары. — Общество Нумее. — Чиновники. — Заговор. — Капитан Лоу. — Побег. — На борту «П.-Ц.-Е.»	364
Глава XXIV	
В Австралии. — Ньюкестль. — Сапожник и золотоискатель. — Курвуазье. — Сидней. — В парламенте. — Доктор Эванс. — Во Франции узнали о нашем побеге. — Нелепая месть. — Наши двадцать пять тысяч франков. — Парижская печать. — На островах Фиджи	395
Примечания	421
Перечень иллюстраций	455

Редактор И. Смилга
Технический редактор
Н. Н. Филиппов.

*

Сдана в набор 20. II. 1933 г.
Подписана к печати
1. XII. 1933 г. Тир. 5300 экз.
Уполн. Главлита Б-24062
Индекс А-3 Изд. № 41
Бумага 62×94 в 1/16,
Печ. лист. 28,75+15 вкл.
Бумажн. листов 14,38
по 92 000 печ. знаков.

*

Отпечатана в типогр.
«Ленинградская Правда»
Ленинград. Социалисти-
ческая, 14.

ЦЕНА Р. 11,50
ПЕРЕНЛЕТ Р. 2,50

THE
MUSEUM
OF
COMPARATIVE ZOOLOGY

GEORGE